КОНСТАНТИН
ВОРОБЬЕВ

Вот пришел великан...

Scan Kreyder - 12.08.2014
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

КОНСТАНТИН
ВОРОБЬЕВ

Вот пришел великан...

ПОВЕСТИ

МОСКВА
«Известия»
1987

ББК 84 Р7
В 75

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

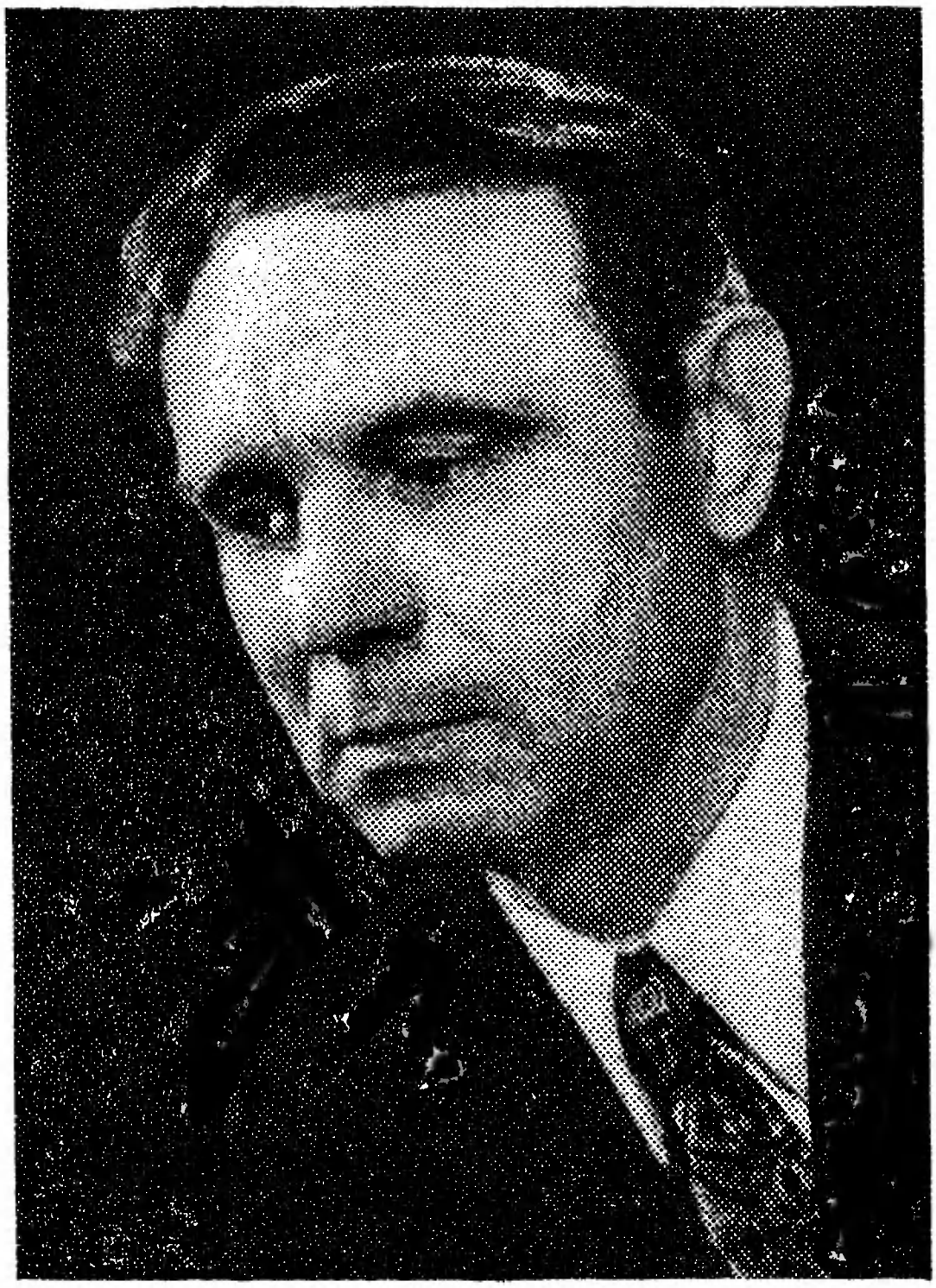
Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета:

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Василь Быков,
Юрий Ефремов, Игорь Захорошко,
Наталья Иванова, Наталья Игрунова,
Юрий Калещук, Николай Карцов,
Алим Кешоков, Юрий Киршин,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Константин Щербаков,
Камиль Яшен

В $\frac{4702010200-032}{074(02)-87}$ —49—87 подписное

© Послесловие. Оформление. Издательство «Известия», 1987 г.



Художник В. Медведев

ТЕТКА ЕГОРИХА

1

...Мимо нашего «сада» — три сливины, одна неродящая яблоня и две ракиты — к реке сбегает из села скотный проулок. Он взрыт глубокой извилистой бороздой иссохшего весеннего ручья, и на солнышке борозда слепяще сверкает промытым песком, осколками радужных стекляшек, голышками. Я сижу на теплой раките, обсыпанный желтыми сережками и полусонными пчелами. Мне нужно срезать черенок толщиной в палец и длиной в пядь. По черенку надо слегка потюкать ручкой ножика. Тогда кора снимается целиком и получится дудка-пужатка. Я режу ветку и давно слышу звонкий, протяжный зов:

— Санькя-я! Санькя-я, чтоб тебе почечуй вточился-я!

Это кличет меня тетка Егориха. Я унес из хаты ножик, а ей нужно чистить картошки на похлебку. Как только стихает теткин песельный голос, сразу раздается другой — резкий, торопливо-крякающий:

— Дяк-дяк-дяк!

Это дразнит тетку дядя Иван, Царь по-уличному. Он стоит на крыльце хаты, обратив к тетке оголенный зад и придерживая портки обеими руками. Царь у нас шалопутный, тронутый, и оттого мы, может, самые что ни на есть бедные в селе — работать-то некому и не на чем. Тетка Егориха не доводится мне родней, а Царь доводится дядей — он брат моей помершей матери. Отца у меня тоже нету — сгиб в гражданскую.

— Санькя-я!

— Дяк-дяк-дяк!

Я не откликаюсь и режу ветку — будет дудка-пужатка как ни у кого. По проулку к реке большой-большой мужик ведет в поводу жеребца. Потом, не скоро, я увижу еще таких лошадей в Ленинграде — литых из бронзы, в памятниках. Жеребец черный, как сажа, и сам мужик тоже черный — борода, непокрытая го-

лова, глаза. Белые у него только рубаха и зубы. Это сосед наш Мотякин Максим Евграфович — Момич по-уличному. Напротив ракиты, где я сижу, он сдерживает жеребца и говорит мне всего лишь одно слово:

— Кшше!

Так гоняют чужих курей с огорода, и я мигом съезжаю по стволу ракиты и бегу к хате.

Это незначительное происшествие врезалось в мою память необычно ярким видением, и с него мы оба повели начало нашей «дружбы», — мне тогда было десять, а Момичу пятьдесят. Тогда мы как бы одновременно, но на разных телегах, въехали с ним на широкий древний шлях, обсаженный живыми вехами наших встреч и столкновений. Момич громыхал по этому шляху то впереди меня, то сбоку, то сзади, и я никак не мог от него отбиться, вырваться вперед или отстать...

То лето было для меня самым большим и длинным во всем детстве, — я многое тогда подглядел и подслушал.

Вот Момич пашет наш огород. Жеребца держит под уздцы Настя — дочь Момича, а сам он одной рукой натягивает ременные вожжи, а второй ведет плуг. Мы с теткой ходим по синей борозде и сажаем картохи. Жеребец, завидя за версту проезжую подводу, ярится и встает на дыбки. Настя отбегает в сторону и стыдливо отворачивает лицо. Момич осаживает жеребца, заходит к нему в голову и кладет ладонь на малиновые жеребячьи ноздри. Тетка роняет лукошко и аж поднимается на цыпочки — ждет несчастья. Дядя Иван высовывается из-за угла сарая и злорадно кричит: «Дяк-дяк-дяк», но жеребец мурлыкает, как кот, и затихает, а Момич коротко взглядывает на тетку, и она делается прежней...

Вот в теплых и мягких сумерках вечера, за три дня до пасхи, Момич приносит нам полмешка вальцовки и завернутый в холстину свиной окорок. Ношу он кладет на крыльцо и молча идет со двора. Тетка прищемляет дверь хаты щеколдой, чтоб не вылез дядя Иван, и мы с нею тащим мешок в сени — там стоит сундук, но Царь выскакивает через окно, догоняет Момича и под «дяк-дяк!» бодает его головой в спину. Момич негромко хохочет и не оглядывается, и от этого его смеха в

темноте мне становится немного страшно... Мы спим с теткой в сенцах. Нам обоим долго не засыпается — я прислушиваюсь к звукам с улицы, а она не знаю к чему. Возле Момичевых ворот, на бревнах, гомонят девки. К ним должны прийти ребята с того конца. Перед глазами у меня плавают голубые шары — я изо всех сил таращусь в темноту, чтоб не заснуть. Радостно, как канун наступающего праздника, вливается в меня отдаленный рип гармошки:

Тури-рури, тури-рури,
Люли-лили, пиль-пиль!

Я сползаю с сундука, а тетка шуршит в своем углу соломой и счастливым голосом тихонько ругается:

— Ну куда ты, окаянный!

Смешная она у меня, тетка Егориха! Сама, небось, тоже сейчас подхватится, а в сенцы вернется, когда я буду уже спать. Я не знаю, где она тогда бывает, только нам с нею нравится все одинаковое — звезды, гармошка, карагоды, наступающие праздники, запах кадила в церкви, богородицына трава на полу хаты и чтобы на дворе всегда было лето. Тетка, наверно, уже старая, но лучше и красивее ее других людей на селе нету!

Я крепко люблю ее, и она меня тоже...

Момичевы ворота высокие, прочные и гулкие, как пустой сундук, на котором я сплю. Возле них, у плетня, лежит штабель толстых бревен. По вечерам тут всегда пахнет калеными подсолнухами, земляничным мылом, конфетами и еще чем-то непонятным и тревожным — девками, наверно. Они крепко и чинно сидят на бревнах, и к каждой на колени примостился кто-нибудь из ребят с того конца. Гармонист Роман Арсенин сидит у Момичевой Насти. Склонив кучерявую голову к подголосной части гармошки, он старательно выводит плакуче-истомное страдание. Изнуренный и заласканный тихими всплесками мелодии, я гляжу только на одного Романа. Все в нем чарует меня — хромовые сапоги с калошами, скрипучая кожанка, галифе, полосатый шарф... С клавиша его гармошки отскочила черная пуговка, и заместо нее Роман приспособил белый гривенник, не пожалел.

Тури-рури, тури-рури,
Люли-лили, лель-лель!

Рядом со мной на самом краешке бревна сидит Серега Бычков. Он тоже с того конца, но к девкам не подходит — знает, что они его не примут. Ростом Серега чуть побольше меня. Сапог у него сроду не было, не то что кожанки или галифе. Серегина мать — Дунечка Бычкова — почти каждый день побирается на нашем конце. За нею, говорят, гляди да гляди: то просыхающую рубаху стянет с плетня, то еще что-нибудь. Только у нас Дунечка ничего не крадет. Тетка сама дает, что есть.

У Сереги что ни слово, то матерщина. Я знаю, зачем он говорит при девках такие слова — от злого стыда за свою мать побирушку и за себя. Его и кличут-то не по имени, а Зюзей. Плоше не придумать.

Гармошка ноет и ноет. То дружно-слаженно, то вразнобой девки жалостно «страдают» про любовь, а Зюзя вертит головой то вправо, то влево и вдруг сообщает на крике не в лад с гармошкой:

Как у нашей Насти
Д-нету одной снасти!

Роман Арсенин, не переставая играть, воркующе смеется, а Настя поет сильно и чисто:

Пойду в сад-виноград,
Наломаю-маю!
Я такую сволоту
Мало понимаю!

В ответ Зюзя кричит смешную и непутевую частушку про всех девок с нашего конца. Тогда с заливом, обидой и местью в голосе Настя выговаривает в отместку:

Задавака, задавака,
Ты не задавайся!
Бери палку на собак,
Иди побирайся!

От этой Настиной присказки у меня пропадает охота сидеть на бревнах. Мы ведь с теткой Егорихой тоже не богачи, хоть и не побираемся, — Момич все сам дает нам под праздники. Зюзя словно чувствует мое настроение. Он пододвигается ко мне и, будто ему весело, спрашивает:

— Закурим, шкет?

— Давай, — соглашаюсь я и называю его по имени. Курить мне не хочется — у Зюзи самосад, а не папиросы «Пушки», как у Романа Арсенина. Те здорово пахнут. Но я курю за компанию с Зюзей, потому что мне жалко его. Зря он кричал про Настю. Самому же теперь хоть провались, и я шепотом соучастно спрашиваю у него, какой это снасти нету у Насти?

— Да левой титьки, — умышленно громко говорит Зюзя. — Заместо ее, сохлой, она очески носит...

Я не много уразумел в этом, а подступавшие праздники совсем вытеснили из моей памяти Зюзины слова: надо было шелушить лук, чтобы красить яички, помогать тетке таскать муку из сундука, лепить из пахучего сдобного теста завитушки и крестики на макушку кулича. Дядя Иван на это время присмирел, не шалопутил и только один раз спросил тетку:

— К свадьбе готовишься?

— Ага, — весело согласилась тетка. — Дунечку Бычкову за тебя будем сватать!..

Мы с теткой перемигиваемся и хохочем, потом я бегу в лозняк на речку за сухим хворостом. В лозняке не просох и не потрескался ил половодья, и в него туго и щекотно погружаются ноги по самые щиколотки. Я ломаю сухостой и бессознательно кричу все, что кричал на улице Зюзя про Настю и про всех девок с нашего конца. Я выкрикиваю это раз десять, пока не замечаю Настю. Она стоит на берегу речки с пральником в руках, а возле нее, на травяной гривке, лежит горка выстиранного белья. Я приседаю за ракитой, а Настя чего-то ждет, потом окликает меня негромко и почти ласково:

— Ходи-ка сюда, Сань!

— А зачем? — спрашиваю я.

Настя за что-то не любит тетку Егориху, а заодно и меня. Тетка говорит, что она вся в мать свою покойницу — некрасивая и кволая, хотя Настя вылитая Момич. Недаром я побаиваюсь ее.

— Ходи, не бойся. Ну чего спрятался?

Мне не хочется выходить из-за укрытия, — от ракиты до Насти шагов десять, и если она вздумает надавать мне, я убегу и даже хворост захватить успею. Но Настя не собирается ловить меня. Она отбрасывает пральник, поворачивается ко мне спиной и начинает

раздеваться. Я зачем-то обхватываю руками ствол ракиты и перестаю моргать, — Настя стоит вся как есть, белая, статная и большая.

— Слышь, Сань! Покарауль одежду, пока я искупаюсь, — ознобно говорит она и сигает в воду.

— Застынешь, шалопутная! — испуганно кричу я, но Настя не слышит. Она дважды окунается по самые плечи, коротко и обомлело вскрикивает и карабкается на берег. Я бегу к ее одежде и хватаю все в охапку, чтобы подать ей:

— Ой, скорей, Сань! Ой, закалела!..

— Дура такая! — говорю я и смятенно гляжу на крутые и смуглые, торчащие кверху Настины груди.

Потом, много лет спустя, я понял, какой ребячьей болтливости ждала тогда от меня Настя, но о том, что я видел, как она купалась в ледяной воде, никто не узнал. Ни Роман Арсенин, ни Зюзя...

Как мы и загадали с теткой, пасха тогда выдалась теплая и погожая. Мы разговлялись поздно, — тетка вернулась с куличом чуть ли не в полдень: наверно, лазала на колокольню, чтоб потрезвонить, а может, картины разглядывала в церкви. Все это она любит. Хорошо, потому что и страшно. Мы похристосовались, уселись втроем на одной лавке, и тетка развязала на куличе рушник. Кулич сидел на столе как наша камышинская церква, когда глядишь на нее издали: горит вся, сверкает и приманивает.

— Красивше нашего не было,— сказала тетка.—Все завидовали!

Еще бы! На макушке нашего кулича места пустого не осталось, — так мы его разукрасили. Мы сидели притихшие и согласные, — всего ведь было много: вкусной еды, целой недели праздников, вслед за которыми сразу же наступит лето. После того как мы съели по большой скибке кулича, тетка пошла в сенцы и принесла бутылку водки, настоенной на меду, — давно, видать, берегла для чего-то, да и не вытерпела. Из щербатой фаянсовой чашки сперва выпил дядя Иван, потом тетка. Она собиралась уже налить немного и мне, но в это время в хату степенно и неслышно вошла Дунечка Бычкова.

— Христос воскрес! — протяжно произнесла она и поклонилась.

— Пошла, пошла, дура! Ходишь тут! — отозвался дядя Иван, а Дунечка миролюбиво и пьяненько сказала:

— Сам ты дурак! В божий день и такие речи... Давай-ка вот похристосоваемся!

Она вынула из-за пазухи красное яйцо, поиграла им перед глазами и пошла к дяде Ивану, сложив в трубочку губы. И тогда я захохотал первый, а за мной и тетка, — мы вспомнили позавчерашний разговор насчет свадьбы. Дядя Иван вскочил и по-бабски сжатым кулаком неумело и слабо ударил тетку в плечо. Дунечка сразу же кинулась из хаты, а тетка поднялась с лавки и спокойно сказала:

— Ох, гляди, Петрович, беду на себя не накличь!

Она стояла и ладонью поглаживала, будто очищала то место на плече, где пришелся дядин кулак.

— А чего? Ему пожалишься? — злобно спросил дядя Иван, и я решил, что это он обо мне.

— И пожалюсь! — с вызовом сказала тетка.

— Ты больше не бейся! — похолодев от решимости, пригрозил я Царю и пододвинулся к тетке.

— Подколодники! Змеи! — выкрикнул дядя Иван, сронил голову на край стола и визгливо заголосил. Мне хотелось схватить веник или что-нибудь другое, нетяжелое, и надавать ему, чтоб не придуривался! Я ни разу не замечал, чтобы дядя Иван шалопутил один, когда на него никто не глядел и сам он не видел Момича. Только при нем — вблизи или издали — он кричал: «Дяк-дяк» и расстегивал штаны, а зачем это делал — никто не знал. И сейчас за столом, возле кулича, Царь голосил не взаправду, а нарочно, всухую, и мне хотелось надавать ему так, чтобы знал и помнил. Но мне было жалко его — слаборукого, встрепанного, не похожего на мужика. Видно, тетка тоже пожалела его, потому что вздохнула и сказала:

— Глаза б мои не глядели!

Как только мы с теткой вышли из хаты, дядя Иван затих. В сенцах я присел на корточки, заглянул в полуоткрытую дверь и увидел, как он подтянул к себе кулич и с мстительной деловитостью сломал верх со всеми украшениями. Потом он налил в чашку водки, выпил, сморщился и, прежде чем закусить, погрозил верхушкой кулича в сторону Момичевой хаты...

Тетку я нашел на бревнах у Момичевых ворот, — там уже сидели соседские бабы. В белом новом плат-

ке, острым шпилем торчащим над сияющим лбом, в розовой кофточке и черном саяне, тетка была похожа на чибиску, а все другие бабы — на ворон: сидят, лузгают подсолнухи и молчат. Тетке же ни минуты не сидится смирно, хотя у нее полный карман тыквенных зерен.

— Всю макушку разорил. Ломает и трескает! — шепотом сообщил я ей о куличе. Она притянула меня к себе и сказала на ухо:

— Пускай подавится им! Возьму завтра и другой затею.

— Тот будет не свяченый, — сказал я.

— А мы с тобой сами освятим. Воды из колодезя принесем, кропильник из чистой старновки свяжем... А Царя молитву творить заставим... — и тетка залилась озорным смехом, как маленькая.

К кооперации, где уже со вчерашнего дня стояли карусели, мимо бревен шли и шли разряженные парни и девки. Настя тоже проплыла мимо нас, как пава, и тетка, присмирев, долго глядела ей вслед, сощурив глаза. А потом из ворот на улицу вылетел Момичев жеребец, запряженный в бочку-водовозку. Сам Момич стоял на выступах оглобель позади бочки. Заваливаясь назад, чтобы сдержать жеребца, землисто-серый в лице, Момич был страшен и пугающе притягателен в своей пламенной атласной рубахе навыпуск, вздыбившейся на спине.

— Горю! — коротко и густо крикнул он неизвестно кому и гикнул на жеребца. От улицы проулок круто сбегал вниз, к речке, и по этой крутизне жеребец пошел галопом. Момич сначала пригнулся, а затем плашмя упал на бочку. Нельзя было ничего различить — где бочка и где жеребец, потому что все слилось в один грохоткий смерч, расцвеченный красным и черным. Вдогон ему, раскинув руки, медленно двигалась тетка, то и дело останавливаясь и приседая, будто готовясь словить цыпленка. Но как только жеребец врезался в береговой лозняк, а Момич поднялся во весь рост и откинулся назад, повисая на вожжах, тетка подхватила подол саяна и побежала к речке, выкрикивая что-то звонко и тоненько. Я зачем-то подождал, пока она скрылась за кустами ивняка, и только после этого оглянулся на Момичеву хату. Из-за нее, с огорода, на улицу грузно наплывал золотисто-желтый бурун дыма. Я побежал на огород через свой двор и за углом сарая, в прошлогоднем иссохшем бурьяне, увидел дядю

Ивана. Он сидел на корточках, низко пригнувшись, и просветленно, почти зачарованно глядел вверх, на столб дыма: над его вершиной и сбоку трепетно вились сизари, — их страсть сколько водилось в Момичевой клуне.

Это она и горела. С обоих углов, обращенных к нашей меже. На недавно посеянной нами картошке толпился веселый и по-праздничному разнаряженный народ. Огня не было видно, валил только дым, но он сразу же пропал, как только пламя с гулом выбилось из-под повети и охватило солому крыши. Тогда и подоспел Момич. Не слезая с закорков бочки, он натужно обвел взглядом полыхавшую клуню и ударом ноги вышиб из бочки кляп. Круглая радужная струя воды с визгом вырвалась и вонзилась в землю, буравя воронку, и Момич глядел только на нее и ни на что больше.

— Ничего не поделаешь, Еграфыч! Должна сгореть вся, как есть! — утешил его кто-то из мужиков. Момич будто не слыхал. Он подождал, пока вода вытекла из бочки, тронул вожжиной жеребца и медленно поехал с огорода к себе во двор.

Через час от клуни остался чадящий ворох золы, и люди разошлись, недовольные скоротечностью пожара. Я поднял грудку чернозема и швырнул в середину вороха.

— Не замай! — властно сказал у меня за спиной Момич, и я забыл, что умею бегать. Момич был все в той же красной рубахе и высоких яловых сапогах. Он обошел меня, остановился у обгорелой притолоки и проговорил непонятное:

— Та-ак... Выходит, дурак-то мал, да в две дудки сыграл...

Я пошел домой. Мне было обидно, что пожар случился в праздник, когда и без того забав у людей сколько хочешь. Да и тетка не видела его. Она чуть не до вечера пробыла на речке, — хотела, видно, поглядеть, как Момич во второй раз помчится за водой...

Может, это только наши камышане такие — в праздники аж охрипнут от песен, друг друга по отчеству величают и в гости закликают кого ни попало, а потом недели две ходят, будто у них коровы подохли. Зато дядю Ивана тогда как подменили. У него не исчез тот просветленно радостный взгляд, каким он следил из бурьяна неделю тому назад за полетом голубей над Момичевой клуней. Он даже покрикивать стал на тетку, и она удивленно вглядывалась в него и молчала.

Момич — этот сроду не был разговорчив, а после пожара совсем стал как черт — сердитый, черный. На красную горку он с самого утра начал возить на огород бревна, что лежали на улице, — новую клуню затеял ставить. Тетка раза два украдкой выглядывала в окно, тревожась чего-то, и дядя Иван, боевито стерегший ее, приказал:

— Чего зыришь? Обернись спиной к окну и сядь на лавку!

— А пропади ты пропадом, дурак! — с горькой силой проговорила тетка и пошла из хаты. В окно я видел, как она сказала что-то Момичу издали. Тот выпрямился, остервенело плюнул и спихнул с повозки на землю длинное и толстое бревно — то самое, на котором по вечерам сидели девки. А в полдень Момич взял и срубил дуб, что стоял на его огороде повыше сгоревшей клуни. На нем водились грачи, и я пошел поглядеть, что сделалось с детвой, — побилась, небось. Дуб был уже очищен и лежал коричневый и пахучий, как опаленный боров. Момич поддел колом тонкий конец его и одним рывком подсадил на подушку задних колес повозки. Я не отважился подойти поближе и присел на своей меже, — мне и оттуда было слышно, как сипели граченята под обломками сучьев.

Момичу не удавалось уложить на передок повозки толстый конец дуба: он был склизкий, неухватистый, и кол под ним зарывался в землю. Тогда Момич, не замечая меня, отшвырнул рычаг, приник к дубу и обнял его руками. Я поздно заметил, как приподнялся над землей комель дуба, потому что смотрел на спину и плечи Момича, — там у него под белой замашной рубахой медленно стали расти и шевелиться круглые клубки.

— Скорей... кол подсунь! — не подымая головы, удушенно крикнул Момич, но я не понял, кого и о чем он просит, и не сдвинулся с места. Момич выронил дуб, оглянулся зачем-то по сторонам и сказал мне укоряюще:

— Что ж не подмогнул? Неш так делают по-суседски!

Я схватил кол и подбежал к дубу. Момич поплевал на руки, потер их и наклонился к бревну. Я приготовил рычаг, но против воли смотрел не на дуб, а на спину Момича, — там опять вздулись и бурно взыграли под рубахой круглые клубки, а шея набрякла землисто-

малиново и укоротилась так, что почти пропала совсем.

— Ну? — рявкнул Момич, и я сунул под дуб кол и отскочил в сторону. Момич бережно опустил на рычаг дуб, выпрямился и сказал:

— Да и разиня ж ты, Александр!

Я тогда впервые узнал, что это — мое имя.

Новую клуню Момич поставил за какую-нибудь неделю или полторы, и все эти дни я провел с ним. Он, наверно, залезал на стропила затемно, а я приходил попозже, взбирался наверх и там торопливо и трудно умнел, потому что Момич работал и молчал, и я должен был угадывать, когда подать ему расщепленную ольшину —лату, когда буровец и топор, когда деревянный гвоздь, похожий на кляп от бочки: ими он крепил латы к кроквам. Все, что переходило из моих рук в Момичевы, мгновенно и странно оказывалось для меня непомерно большим и ценным, исполненным непонятного значения и смысла. Это, видно, происходило оттого, что Момич забирал вещи каким-то емким и властным движением обеих рук, забирал полностью и навсегда.

Все в нем покоряло и приманивало мое ребячье сердце. За эти дни там беспорядочным ворошком накопились неосознанная обида за его прежнюю суровость ко мне и ревнивое желание завсегда водиться с ним, быть у него на виду замеченным и привеченным. Он, наверно, догадывался об этом, потому что нет-нет, да и ронял какое-либо слово. Я отвечал ему десятью.

— Ну и балабон! В кого ж это ты удался такой, а? — спросил он меня однажды. Мне почему-то показалось, что ему хочется, чтобы я сослался на тетку, и ответил:

— Знаю в кого.

— В кого ж это?

— В тетку Егориху.

— Жалеешь, небось, ее?

— А то нет!

Момич на минуту задумался, медленно оглядел сады Камышинки и проговорил не в связь с прежним:

— Рясно нынче вишник цветет.

Несколько погодя он послал меня за водой — «холодничку захотелось», и я побежал с ведром к колод-

цу, а когда вернулся, то еще издали увидел под стропилами клуни дядю Ивана. Он стоял, задрав голову, ожидая чего-то от Момича, а тот несокрушимо сидел наверху, работал и молчал. Дядя Иван посеменил ногами и визгливо крикнул:

— Отстань, говорю! А то недолго и новой петуха подпустить!

Момич по обух вонзил лезвие топора в матицу и потерянно сказал, словно попросил:

— Ты в другой раз не дури, Иван. Слышишь?

— Вот и отстань! — окреп голос Царя.

— Не дури, — опять попросил Момич. — А то... знаешь?

— Что будет?

— Худо.

— Кому?

— Заднице твоей, — прежним увещающим тоном сказал Момич. — Поймаю и...

Он не договорил, заметив меня, и взялся за топор. Дядя Иван собрался было расстегнуть штаны, но раздумал, погрозил мне кулаком и поплелся домой. Я влез с ведром наверх, подождал, пока Момич напился, и спросил:

— Чегой-то он хотел?

— Кто? — непонимающе взглянул на меня Момич.

— Дядя Иван, — сказал я.

— Да это он так. Жалился тут мне... Ему, вишь, не к рукам цимбала досталась, — непонятно ответил Момич и кивнул на сады. — А вишник хорошо нынче цветет. Ты погляди-кась!

— Рясно! — сказал я.

В полдень мы покидали клуню и шли к Момичу обедать. Прежде чем попасть во двор, нам приходилось миновать крошечный Момичев сад, огороженный высоким сухим тыном. Там стояли три сизых улья-колоды, и на одной из них был вырезан бородато-лобастый мужик, похожий на самого Момича. Выходившие на огород ворота, сколоченные из толстых сосновых плах, висели на приземистой круглой верее, тоже чем-то напоминавшей Момича. Сразу же за ними меня обдавало прохладой чистых закут и оторопью, — тут опять все походило на хозяина: черный кобелина на длинной привязи, черный молчаливый петух, презрительно глядевший круглыми желтыми глазами, бурдастый черный

бык-двухлеток, приветно укладывавший голову на варок при подходе Момича. Меня пугала величина вил — об двенадцати рожках — и с таким держаком, что он годился бы на оглоблю, удивляла строгость и подобранность всего двора — тут не было того вольного запустения и той первородной гущины калачника и крапивы, к которым я привык у себя.

К нашему приходу Настя выносила из чулана чистый рушник, и мы возвращались на крыльцо. Там над лоханью я поливал Момичу из большого самодельного ковша-утки. Его как раз хватало ему на одну пригоршню. Перед тем как сесть за стол, Момич взмахивал рукой на единственную икону Николы чудотворца, садился в угол и оберучь брал со стола огромную чисто ржаную ковригу. Ребром установив ее себе на грудь, он под свой облегченный вздох вонзал в испод хлеба ножик. Скибки выходили через всю ковригу. Настя сажала на стол деревянную миску с лапшой, и мы начинали есть — неторопливо, навально. Я всегда садился напротив окна, глядевшего на наш двор, и все время стерег тетку: мне хотелось, чтобы она увидела меня тут, у Момича. Момич, исподтишка следя за мной, тоже начинал кренить голову вбок, заглядывая в окно, а Настя тогда хмурилась и резко, со стуком, клала на стол ложку. Момич отрывал лицо от окна, круто вскидывал глаза на Настю и спрашивал угрожающе и заботливо:

— Никак обварилась?

— Как огнем обожглась, — подтверждала Настя.

— А ты дуй. Вот как я... али он, — серьезно советовал Момич и сам протяжно дул на ложку, и я дул на свою вслед за ним.

После клуни мы с Момичем справили вместе не одну и не две работы: вывезли с его двора навоз, и в поле я приезжал на повозке, а обратно верхом на жеребце, уцепившись за сиделку; потом взметали два загона парины — один его, а второй наш, и все время я ходил по борозде сзади Момича. Он и не чуял, что я ступал по его следам, для чего мне приходилось каждый раз прыгать, и, наверно, от этого к вечеру все мое тело гудело протяжно и отрадно. Я похудел и отчего-то сильно подрос за это время, и не было случая, чтобы я проспал восход солнца, а с ним и Момича, — меня будила тетка, ей нравилось то, чем я теперь жил.

Сперва издали, с верха клуни, а потом вблизи Момич молча показал мне скрытый до этого от меня мир, окружавший Камышинку, — поля, острова кустарниковых подлесков, луга и болота, а дальше, к заходу солнца, — нескончаемую зубчатую стену сизого леса, что вместе с небом, белыми облаками и дующим оттуда ветром Момич называл странным словом «Брянщина». Куда-то в эту манящую сторону он и водил в ночное жеребца и пас там его в одиночку, — иначе было нельзя: жеребец, как дурной, сигал на всех чужих лошадей. Я маялся и ждал, когда Момич покличет меня в ночное, должно же было наступить такое время, от предчувствия которого у меня заходился дух. Но он все не брал и не брал, и незаметно подступила троица. Свою хату мы с теткой украсили ветками берез и кленов за день до праздников, и весь этот день она была как первая невеста в Камышинке. Особенно пышно и густо мы утыкали зеленью крыльцо и то окно, что выходило на Момичеву сторону. На земляной пол в сенцах настлали богородицыной травы пополам с мятой, а дорожку со двора на улицу посыпали желтым песком. Ночью в пахучей темноте мы долго гадали, привезут ли в Камышинку карусели и где их поставят — на выгоне возле церкви или за речкой. Лучше б на выгоне, тут нам ближе.

Кое-как мы прокоротали ночь. На заре тетка подхватилась в церковь, чтоб раньше всех занять место возле страшных картин, а через час и случилось то, чему тогда совсем не время было случаться. Момич нарочно, видно, подгадал, чтобы вернуться из ночного в такую пору, когда загудит колокол. Он потому и наладился не всегдашней своей дорогой по-за речкой, а выгоном, чтобы люди видели, когда пойдут к обедне. Сам он шел пешком, ухватившись рукой за уздечку, а верхом на жеребце ехали два человека, связанные друг с другом пеньковым путом и ременным поводом от уздечки. Передним на жеребце сидел Сибилёк — престарелый мужичонка-бобыль с того конца села, а позади него — Зюзя. Сибилёк мельтешился и дергался, то и дело кланяясь камышанам, обступившим жеребца, а Зюзя прятал за его спиной лицо и молчал. Момич тоже помалкивал и только на улице, возле своих ворот, объяснил все и всем сразу:

— Жеребца хотели увесть.

Он ссадил Сибилька и Зюзю в холодке ворот и увел жеребца, а связанных сразу же начали бить.

Потом, позже, я узнал, что конокрадов в наших местах положено было убивать обществом и что тот, кто поймал их, не должен присутствовать при этом, — так достигалась двоякая цель: схвативший лихоимца как бы в награду за это избавлялся от дополнительного труда, и одновременно следственные власти лишались в нем первоучастника и свидетеля самосуда. Нет, не всякий вор, а только конокрад подпадал под обряд сельской самораспpавы. Овеянный переходящими из поколения в поколение легендами и сказами, награжденный в них ласкательными «молодец» и «разбойничек», вызывавший к себе тайную зависть и восхищение своей удалью и отвагой, пойманный конокрад все-таки подлежал всенародному истязанию. Я тогда впервые видел Сибилька — знаменитого камышинского конокрада. Говорили, будто еще в молодости он ходил вместе с отцом — тоже Сибильком — подглядывать коней аж в донские степи. Старого Сибилька где-то там и прибили в ковыльнике, а над молодым учинили какую-то злую и веселую потеху, после которой он не мог жениться. Он и не женился, но любить чужих лошадей не перестал. В своем селе Сибилёк не баловал и только раз, лет девять или десять тому назад, когда в Камышинке стоял конный полк не то белых, не то красных, увел и спрятал в лесу офицерского дончака, похожего на лебедя, — как молоко белый будто был.

Теперь Сибилёк лежал в тени ворот рядом с Зюзей. Тот сразу же повернулся на бок, подтянул колени к подбородку и зажмурился под ударами ног, а Сибилёк улегся на спину, расслабил тело и беззащитно обратил к камышанам голое сморщенное лицо. Трудные у Сибилька были глаза, и, наверно, он знал эту их силу — знал по какому-то давнему и памятному для себя случаю! На них нельзя было долго смотреть: блеклосиние, беспомощные и детски невинные, они глядели покорно и моляще. В каком-то исступленном восторге самоотречения Сибилёк не говорил, а пел высоким жиденьким голосом:

— Православные! Казните меня, проклятущего! Колите мои глазушки... Нет моей моченьки глядеть на вас от стыдобушки в такой праздник... Бейте меня больней! Камушками бейте! В грудку мою и личико!..

Но камышане били Зюзю, а не его.

До этого я уже бывал свидетелем гуртовых уличных драк. Они всегда случались в праздник, и смотреть на них было весело: тогда никто не знал, кого били, потому что все наскакивали друг на друга, а после село справляло мировую и праздник протягивался еще на сутки. Видеть же то, что происходило в этот день у Момичевых ворот, было страшно. Зюзю били спокойно, трезво и расчетливо, а он только и знал, что сжимался в комок и берег живот. Сибилёк все канючил и канючил о «стыдобушке», но когда скрюченного Зюзю подняли и понесли из круга, чтобы ударить об угол вереи, старый конокрад испуганно притих.

Тогда я и побежал за Момичем. Он собирался куда-то ехать и яростно шуровал квачом оси повозки. Возле закуты стоял в хомуте жеребец.

— Дядь Мось! Побегли скорей, а то мужики Зюзю убьют! — крикнул я. Момич воткнул квач в мазницу, насадил на ось колесо и, не взглянув на меня, угрюмо сказал:

— То не твое соплячье дело!

Он направился к жеребцу, а я ухватился за подол его рубахи и повис, подобрав ноги. Я не умел плакать в голос, с притворной жалобой, и загудел трубно, с переливами. Момич остановился, не отцепляя меня, и удивленно сказал:

— Как недорезанный боров! Чего ты?

— Его об верею прямо... Черти такие! Самих бы так...

— Ишь ты. Самих. Они, небось... Ну-ка слезь, — сказал он, но я не выпустил из своих рук его рубаху. Так, со мной на подоле рубахи, он и вринулся в сутолочь мужиков и баб. Я не видел, кому он сказал: «Ну, будя, будя. Кладите на место», — и кто-то ответил ему, чтобы он не встревал и дал людям соблюсти закон.

— Будя, говорю! — гневно повторил Момич, и тогда я отлип от него и увидел Зюзю. Он лежал возле ворот, вытянувшись и запрокинув голову. Изо рта у него выталкивалась розовая пена. Зюзя дергался и потухающими глазами, вприщур, глядел на Момича. Я наклонился к нему, но Момич отстранил меня и знающе развязал ему руки. Путо он скрутил жгутом и отшвырнул в сторону. Зюзя перевалился на живот и рыв-

ками пополз к нам во двор. Сибилёк елозил по кругу и ловил мужиков за ноги. Он, наверно, решил, что пришла его очередь покачаться на руках у камышан перед дубовой вереей, и вымаливал себе откуп.

— Крещеный народ! Развяжите мои рученьки за ради Христа! Дайте мне тоже сподобиться и вдарить его напоследок!..

И его развязали с нетайным замыслом поглядеть, что будет. Стоя на коленях, Сибилёк нашарил возле себя обломок кирпича и сунул его в длинную холщовую сумку, добытую из-за пазухи.

— Вот я его... благословлю зараз ради праздничка... Куда он скрылся, родимые мои?

Легко, как перышко, он взвился на ноги и метнулся вслед за Зюзей, крутнув над головой сумкой.

— Ну ты! Осмёток! — грозно крикнул Момич, и Сибилёк понял, что это ему. Не оглянувшись, он прирос к месту и опасливо втянул голову в плечи. Никто ничего не говорил больше, все чего-то ждали, и Сибилёк ждал тоже.

— Пс-сина! — раздельно сказал Момич.

Дробной трусцой и как незрячий Сибилёк побежал к проулку. Сумку он держал в протянутой перед собой руке, будто там сидело что-то живое.

На крыльце у нас было сумрачно и пахуче, как в ракитнике. Я подложил под голову Зюзе беремя богородицыной травы с мятой, и когда тот улегся, из сеней высунулся дядя Иван. Он, как кот, фыркнул на Зюзю, а мне погрозил за что-то и захлопнул дверь. Потом я узнал, что Царь тоже бил Зюзю, пока я кликал Момича. Лягнул босой ногой и убежал.

Зюзя сплевывал сукровицу и всхлипывал, и, чтобы хоть чем-нибудь утешить его, я сказал:

— Сибилёк вон совсем хотел тебя... Знаешь чем? Кирпичакой в сумке!

Зюзя отнял от травы иссиня-чугунное лицо и посмотрел на меня неверяще, вприщур, как раньше смотрел на Момича. Мне хотелось, чтобы он поверил, будто я один отбил его у мужиков, — участие Момича в этом казалось мне сейчас, при Зюзе, совсем ненужным; для меня хватало и того, что он сделал один: поймал и связал двоих. Один двоих! Ночью! Я пододвинулся к Зюзе и спросил так, будто вместе с ним и Сибильком ходил красть Момичева жеребца:

— Как же он вас половил? Обоих сразу?

— Не, — брезгливо сказал Зюзя, — сперва одного.

— Сибилька, — догадливо подсказал я.

— Не. Его после...

— И отлупил? — я не мог скрыть какое-то неуемное восхищение Момичем.

— Не... Связал, и все. Ну да ничего. Пускай. Я с ним еще сквитаюсь! Он у меня... — Зюзя недоговорил и всхлипнул. В эту минуту и явилась тетка Егориха. Я сразу догадался, что она не ходила в церковь, а была в ракитнике за речкой, — только там и росли голубые пушистые цветы «мохнатухи». Она нарвала их целую охапку.

— А говорила: «К обедне иду!» — упрекнул я ее. Тетка хотела что-то ответить мне, но увидела Зюзю и вскрикнула:

— Серега! Да кто же это тебя так?

Зюзя зарылся лицом в траву и заныл протяжно и тоненько. Под его жалобу я и рассказал тетке о себе и о нем. О Момиче я упомянул лишь, как он один связал Сибилька с Зюзей и привез их на жеребце.

— А сам всю дорогу пешком шел, — сказал я. Тетка испытующе смотрела мне в рот и молчала, потом повернулась и пошла на огород, неся цветы как веник. Я посидел немного возле затихшего Зюзи и побежал за нею: мне не понравилось, как она поспешно ушла с крыльца.

Прошлогодний сухой бурьян за нашим полуразвалившимся сараем обновлялся новой дикой порослью, — тут уже пахло горьким и сырым духом чернобыльника, глухой крапивы и белены. Когда валом поднимется и зацветет репейник, тетку сюда силком не заманишь: боится Момичевых пчел. Сейчас же они еще по-весеннему смирные, ручные. Отсюда, из-за бурьяна, я и увидел тетку. Она стояла у Момичевой пасеки, прижавшись к плетню, и, как заводная, говорила и говорила кому-то:

— Шу-шу-шу-шу! Ти-ти-ти-ти!

— Так неш я... — прогудел голос невидимого за плетнем Момича. А я-то думал, что он уехал. Собирался ведь! Я не хотел и боялся, что Момич рассерчает за мою невольную неправду, будто не он, а я спас Зюзю...

Тетка вернулась минут через тридцать. В ладонях, поверх завялых цветов, она держала широкий лопух, а на нем, как на блюде, лежала косо обрезанная застарелая восковая глыба.

— Мед все хворобы и обиды лечит, — строго сказала она Зюзе. Лежа, Зюзя отломил кусок сота, запихнул его в рот и зажмурился.

Вечером он ушел домой. Под остаток сота тетка сорвала ему свежий лопух.

2

За лето я до конца перенял и впитал в себя все, что пленяло меня в Момиче. Все было во мне от него — медлительная и прямая походка, перебитый паузами разговор, манера щурить глаза, держать в руках ношу. Тетка ничего будто не замечала, но однажды, когда я чересчур долго продержался с ответом на какой-то ее вопрос, она уткнулась лицом мне в макушку и сквозь смех сказала:

— Ну прямо вылитый! Все повадки перенял от дяди Моси...

— Может, ты сама переняла! — сказал я, обидясь неизвестно на что.

— И сама переняла, — призналась тетка. — Куда ж я от вас денусь...

Трудная тогда выдалась для меня зима, трудная потому, что мне пришлось высвобождать место в сердце, чтобы разместился там второй человек, а я не умел ничего делить в себе на части, не хотел даже в тайне поступиться своей привязанностью к Момичу. Этим вторым человеком был наш новый учитель. Он явился к нам лютым январским утром, отбил на крыльце школы умопомрачительную чечетку — в сапожонках был, — а потом зашел в класс и с порога сказал:

— Меня зовут Александр Семенович Дудкин. Здорово, ребята!

Ему было лет восемнадцать, а может, и двадцать два. Он стоял, приплясывая, растирал уши синими набрякшими ладонями и чему-то смеялся. Щеки его пылали, как огонь. Мы встали и вразнобой ответили:

— Дра-а-асть!

Так он познакомился с нами, а мы с ним.

Тогда стояла какая-то непутевая погода: каждую ночь бушевала верховая метель, а по утрам наступала вселенская яркая тишина, и в мире ничего нельзя было различить — все пряталось под многометровым снежным покровом. Мы приходили в школу закутанные в полушубки, зипуны и платки. На каждом из нас слева направо висела белая холщовая сумка. Там мы носили хлеб, казенную книгу для чтения «Утренние зори» и самодельные грохоткие ящички под карандаши и ручки. До последнего стежка и метки сумки походили одна на другую, и только моя была как завезенная из другого села — тетка приделала к ней широкий откидной клапан, а на нем зеленым гарусом вышила петуха и две лупастые буквы «С» и «П». Эта теткина забава-забота и подтолкнула нас с учителем к нечаянной дружбе — на второй день после его приезда я запоздал на урок, а когда ввалился в класс, то был сражен и подавлен увиденным: у окна, в полосе солнечного клина, стоял учитель в зеленых брюках и гимнастерке, перетянутой желтым сияющим ремнем с портупеей. Я впервые видел юнгштурмовский костюм и топтался у дверей, не решаясь пройти к своей парте. В классе стояла непривычная тишина.

— Ну? А почему ты не здороваешься? — командно-весело спросил Дудкин и ступил ко мне, не выходя из солнечного луча. Я стоял и смотрел на его портупею. Он поиграл на ней пальцами левой руки, правой погладил гарусного петуха на моей сумке и заинтересованно спросил:

— Сам, что ли, нарисовал?

— Не, тетка Егориха вышила, — сказал я.

— А буквы что означают?

— Меня самого, — сказал я. — Санька Письменов.

— А по отчеству как тебя?

— Семенович, — почему-то не сразу ответил я.

Так мы разом выяснили, что ходим в тезках и что я до последних корешков души восхищен его портупеей. В тот же день я узнал — и навсегда почему-то запомнил, — что Лермонтов (стихи его были у нас в «Утренних зорях») буржуйский поэт. За всю жизнь он написал один-единственный пролетарский стишок — «На смерть поэта», но это получилось у него случайно, по-

тому что тогда какой-то белый офицерюга убил Пушкина. Между прочим, Пушкин тоже был крепостником-помещиком...

То ли мой гарусный петух и буквы, то ли неотрывный взгляд, каким я смотрел на портупею, но это особым и нужным ладом улеглось на сердце Александру Семеновичу: он пересадил меня с задней на переднюю парту, чтобы я был ближе к окну и к нему самому. С затаенным чувством родственности — тезка же! — я заметил, что в ясные дни Дудкину трудно совладалось с какой-то щекочущей его изнутри и снаружи радостью; он не выходил тогда из солнечного русла и не ступал, а будто плавал в нем и то и дело взглядывал на меня.

С каждым днем наши уроки по чтению и письму становились все больше и больше похожими на летучие праздники: мы по целым часам разучивали не слыханные до этого песни «Вперед, заре навстречу» и «Взвейтесь кострами, синие ночи». Слово «пионер» Дудкин произносил отрывисто-укороченно и сочно — «пянер», и оно воспринималось нами как обещание какого-то диковинного подарка. Наверно, просто невозможно было обмануться в этом пламенном ожидании грядущего дня, приготовившего тебе не испытанную еще радость, и первым она отыскала меня. Это случилось на масленицу. Мы тогда запаздывали к урокам и приходили веселые, добрые друг к другу, с лоснящимися рожами, — ели блины. Однажды, терпеливо подождав и усадив всех, Дудкин неожиданно приказал мне встать. Я вскочил, а он достал из кармана брюк огненно-красный косокрылый кусок шелка, распялил его в руках и пошел ко мне, ступая четко и гулко. Он долго примерял и завязывал на мне галстук, — шея была чересчур тонка, и шелковые концы свисали аж до гашника. Я изнемог от тишины, какая воцарилась в классе, от своих чувств и мыслей, от прикосновения к подбородку жарких Сашиных пальцев. Мне надо было сесть и отдохнуть, тогда все обошлось бы хорошо и достойно, но Дудкин вывел меня на середину класса и там, укрепившись по команде «смирно», сказал, чтобы я повторял за ним слова пионерской клятвы. Мы стояли с ним в полушаге друг от друга, и в его больших синих глазах я видел себя — маленького, головастого, с огненным галстуком на шее.

И я не одолел своего восторга и немого предчувствия тех незримых перемен, что должны были, как я думал, наступить в моей жизни; не перенес торжественного голоса Дудкина, себя, отпечатанного в его глазах, не осилил колдовски завораживающих слов клятвы. На первой же фразе «Я, юный пионер СССР. Перед лицом своих товарищей...» я шагнул к Дудкину, обнял его колени и заревел, как тогда на троицу, во дворе у Момича.

Всех остальных «третьяков» и «четверяков» школы Дудкин зачислил в пионеры дня три или четыре спустя. Они тоже получили галстуки, но те были не шелковые и раза в два меньше моего.

Клялись мы хором.

Нет, я ни в чем не обманулся, — та весна протянулась для меня как бесконечно разгонистый кон на каруселях, и за это никто не требовал платы. Как только начал таять снег, у нас почти прекратились занятия: было не до того. Каждое утро мы выстраивались у крыльца школы в колонну по четыре, а сам Дудкин становился шагах в трех впереди и, оглянувшись по сторонам — видит ли кто-нибудь? — подавал команду «Шагом марш» и «Запевай». Запевать полагалось ему самому, а мы под его соло отсчитывали в уме пятнадцать шагов на месте и лишь на шестнадцатом, с левого лаптя вперед, подхватывали разом:

Близится эра светлых годов!..

Нашу колонну постоянно замыкала подвода, наряженная сельсоветом. По виду ее хозяина всегда можно было узнать, был ли его сын с нами. Если был, то камышанин сидел в передке саней лицом к нам и посмеивался, но зачастую подвода плелась далеко позади, и тогда, не прерывая песни, нам надо было присматривать за ней: могла отстать совсем...

Мы собирали утильсырье.

Это слово так и не утратило для меня тот покоряюще-первородный смысл, который вложил в него тогда Саша Дудкин. Камышинку мы обыскивали и очищали с того конца. За школой, у ее глухой стены, уже до самой крыши высилась гора прохудившихся ведер, битых

чугунков и сковородок, копыт, веревочных осметков и разного тряпья, но нам все было мало и мало, — Дудкин сказал, что из этого в Москве будут строить аэроплан.

Я возвращался домой в сумерках. К моему приходу тетка грела горшок воды и перво-наперво отмывала мне руки, «чтоб не приключилась короста», а потом полуприказывала, полупросила:

— Ну, не томи!

И я рассказывал ей об аэроплане и Дудкине, обо всем, что подглядел и подслушал на том конце. Она долго смеялась, когда я сказал как-то, что все камышинские хаты точь-в-точь похожи на своих хозяев.

— А наша на кого ж?

— Ишь, змея! Забыла, кто тут хозяин! — плачуще отозвался Царь из чулана, но я молча показал пальцем на потолок и на сияющий лоб тетки. Она согласно кивнула и тут же поглядела в окно на Момичеву хату.

С Момичем я не встречался уже давно и с нетерпением и опаской ждал, когда очередь дойдет до его двора, — отдаст он нам железные обручи от рассохшихся кадок или нет? Они висят под навесом сарая на длинном деревянном кляпе. Штук восемь, а то и все десять. Но на наш конец мы так и не добрались: грянуло половодье, и через проулки и буераки нельзя было ни пройти, ни проехать. Зато на последний день нашего похода на тот конец Момичу выпало дежурство с подводой. Мы уже построились, когда он подъехал к школе в больших извозных санях. Хвост у жеребца был завязан узлом, чтобы не забрызгался, и сам Момич нарядился в сапоги, как на праздник. Не сходя с саней, он оглядел утильсырье, затем нашу колонну и, заметив меня, позвал негромко, но властно, как своего:

— Ходи-ка сюда, Александр!

Я подбежал. Момич окинул меня насмешливо-пристальным взглядом и кивнул на кучу утильсырья:

— Это куда ж потом деть надо?

Я сказал об аэроплане и почему-то покраснел. Момич снова оглядел живописную пахучую гору хлама и с сомнением сказал самому себе:

— Да неуж полетит?

— А то нет? — спросил я.

— Гм, — сказал Момич,— вот поплыть оно может... Ну садись, поехали. Нечего лапти мочить.

Я успел бы еще стать в строй — ребята только что начали топтаться на месте под запев Дудкина, но ослушаться Момича было трудно. Мы поехали следом за колонной. Жеребец лязгал удилами, колесом выгибал шею, кося по сторонам фиолетовыми глазами, и вдруг напрягся и призывно заржал, начисто заглушив песню. Дудкин выбежал на обочину раскисшей дороги и погрозил нам кулаком. Момич осадил жеребца и беззвучно захохотал, втиснув бороду в воротник полушубка. Это было в первый раз, когда я видел Момича таким веселым. Он полулежал в передке саней и взглядывал на меня так, будто я щекотал его.

— Ух-ух-ух! Слышь, Александр! А люди-то могут подумать... будто я навострился под вашу песню — ох-ох-ох — на погорелое собирать!..

Может, он и в самом деле смеялся только над этим и ни над чем больше, но мне было обидно и тревожно: зря он разговаривал со мной про утильсырье. «Плыть может»...

Я сидел в санях и не знал, как быть — слезть и пристать к колонне или же остаться с Момичем. Того и другого мне хотелось поровну.

С выгона Дудкин ввел колонну в улицу села и остановился на пригорке, возле приземистой хаты без крыльца и сеней,— тут нас вчера застал вечер. Хата стояла над скотным проулком, ненужным выносом из общего посада, и на ее растрепанной соломенной крыше вместо трубы опрокинуто сидел не то чугунок, не то горшок с выбитым дном. Хата кренилась на юг, к речке, и туда же зырились два узких окна, обведенных бурыми ковылюжинами,— такая краска получается из размолотого кирпича. Видно, ее развели больше, чем требовалось на окантовку окон, и на глухой стене, обращенной к улице, под самой поветью, чтоб всем видать в будни и праздники, перваковскими буквами-раскоряками были напечатаны два коротких матерных слова. Я так и не понял, заметил их Момич или нет: он стоял возле саней хмурый, большой, прежний и глядел мимо хаты куда-то за речку.

Я и не подозревал, что давно уже нарисовал в мыслях облик Зюзиной хаты. Только у меня она была с настоящей трубой. И без кирпичной краски.

Уже на пятый день после того, как растаял снег, никто, кроме нас с Дудкиным, не явился в класс,— он

пришел в своей юнгштурмовке, а я босой, с галстуком на виду. Мы отсалютовали друг другу, и Дудкин спросил, где остальные пионеры. Я сказал, что больше уж никто теперь не придет.

— Почему? — удивился он.

— Овечек погнали на поля, — не сразу ответил я.

— Вот тебе на! Разве в селе пастухов нет?

— Есть,— сказал я,— да только сперва всем хочется самим постеречь...

— Пянер прежде всего должен соблюдать свой устав, а не овец пасти! — строго сказал Дудкин, и от меня немного отхлынула беспокойная зависть к тем, кто погнал в поле овец. Мы стояли на школьном крыльце, залепленном толстым слоем подсыхавшего на солнце чернозема, и моим ногам было тепло как на печке. Выгон уже розоватился, — проклевывалась молодая трава, а на гребнях канав разноцветно сияли и шевелились лучистые пятна. Я-то хорошо знал, что это всего-навсего осколки бутылок, но они заманивали поднять их, отереть подолом рубахи и приложить к глазам, чтобы поглядеть на небо, на Камышинку, на церкву. Тогда сразу все увидишь преображенным, не своим, а каким ты захочешь: коричневым, голубым или пожарно-желтым...

— Надо немедленно собрать всех пянеров! — прежним строгим тоном сказал Дудкин.— Тебе известно, где они сейчас находятся?

— Наверно, во-он там, — показал я на заречные поля. Они были подернуты сизой пеленой, дрожавшей и переливающейся, как вода, и все, что там различалось — гряда разлатых крошечных ракит вдоль дороги, тут и там раскиданные бурые стога сена, кромка поднебесного мглистого леса,— все это не стояло на месте, сдвигалось, переламывалось и снова возникало как в сказке. Конечно ж, я погнал бы туда овец, если б они у нас были!

— Туда же километров пятнадцать будет! — определил Дудкин.

— Брянщина потому что, — сказал я.

Дудкину давно уже хотелось закурить, он несколько раз доставал из кармана брюк пачку «Пушек» и сразу же прятал ее, покосившись на мой галстук. Я бы мог и снять его, а потом повязать опять, но ведь

неизвестно было, сколько мы еще пробудем тут вдвоем, и я сказал:

— Не бойтесь, Алексан Семенч. Я никому не скажу.

— О чем? — растерянно спросил он.

— Про папиросы.

— Да я и... Ну и чудак ты, Письменов! Он, видишь ли, не скажет!.. А ногам тебе не холодно?

— Аж жарко,— сказал я.— Выгон вон уже какой сухой... Небось, и аэроплан не завяз бы.

Дудкин, видно, и сам все время помнил об утильсырье. Он повернулся ко мне боком и раздраженно сказал:

— Зимой не успели отправить в волость, а теперь трудно с гужтранспортом. Тут же вагона два будет!..

Мне хотелось сказать, что Момичев жеребец за один раз увез бы половину нашего утильсырья, только б телегу найти побольше, но Дудкин стоял ко мне боком, будто обидясь на что-то, и я смолчал и стал смотреть на речку. Там по-прежнему струилось знойное марево и двоились ракитки, а по небу, прямо на Камышинку, высоко плыла огромная темная рагулина диких гусей,— я сразу распознал их отрывистый тревожный крик. Над селом вожак заметно начал набирать высоту, и стая разорвалась, потом смешалась, но направления полета не потеряла. Дудкин смотрел на гусей из-под козырька ладони, приподнявшись на носки сапог, и когда стая скрылась, он порывисто оправил портупею и сказал мне весело, без передышки:

— Знаешь что, Письменов? Валяй-ка ты домой! А я отправлюсь в Лугань. Волкомпарт меня вызывает, понял?

Мы опять отсалютовали друг другу, и Дудкин, неуемно радуясь чему-то, сбежал с крыльца. На выгоне, в полверсте от школы, он долго стоял, уткнувшись лицом в ладони, — наверно, ветер гасил и гасил спички...

Дома, еще во дворе, я услыхал озлелый тонкий голос дяди Ивана, долетавший из хаты,— Царь у нас всегда начинал шалопутить с весны. Я поднял в сенцах круглое полено и вбежал в хату. Тетка сидела на лавке, полуприкрыв лицо фартуком,— это у нее такая привычка, если хотелось спрятать смех. На столе и на

подоконниках лежали как попало ковриги хлеба, горшки, чугунки и сковородки. Неумытый, весь какой-то раздерганный и чудной, дядя Иван стоял посередине хаты с пилой в руках. Я встал между ним и теткой, но она потянула меня за подол рубахи к себе, забрала полено и сказала мне в макушку:

— Петрович делиться задумал, Сань. Да вот не знает, как быть... Лавка-то одна, а нас трое. Пилить собрался...

— Слезь, говорю, с лавки, змея! — крикнул дядя Иван и стукнул пилой об пол. Пила изогнулась и побалалаечному заиграла, покрыв голос Царя, и я захохотал первый, а тетка за мной. Дядя Иван бросил пилу, схватил чугунок и швырнул им в окно, что глядело ось на Момичев двор. На звон оконных склянок и хрясь рамы тетка даже не обернулась.

— А в то, последнее, спробуй головой. Может, бог даст, не застрянешь, — чуть слышно сказала она Царю, а меня обняла за шею, и я ощутил мелкую дрожь ее похолодевших рук.

— Давай делить хату! — одурело взвизгнул дядя Иван.— А то я подпалю ее к чертовой матери!

— Что ж, давай делить, — с недоброй решимостью сказала тетка.— Давай позорься... Сань, сбегай за палкой, ведаться будем.

Я срезал в лозняке длинную хворостину и по дороге раза три поведался на ней сам с собой: верх приходился той руке, которая первой начинала перехват. Я отдал хворостину тетке, и дядя Иван подозрительно спросил меня, к кому я хочу отойти — к нему или к «подколоднице»?

— К подколоднице,— не раздумывая, сказал я. Тетка засмеялась и пошла к Царю, стоймя держа хворостину. Царь уцепился за нее своей рукой выше теткиной, и они стали быстро перехватывать лозину до тех пор, пока конец ее не очутился в теткином кулаке.

— Ага, змеи! — злорадно сказал Царь.— Чулан мой! Теперь к печке не подходите!

Я взглянул на тетку. Она ободряюще подмигнула мне, но ничего не сказала. Горшки и чугунки разделили на две части, а хлеб по едокам, — нам с теткой пришлось три ковриги, а Царю полторы. Лавка целиком досталась нам, а стол дядя Иван утащил в чулан, и в

хате сразу стало непривычно пусто и отчего-то невесело. У нас было всего-навсего пять куриц и один петух. Тетка предложила Царю на выбор любых трех, чтобы две остались при петухе. Уже к вечеру мы поделили в погребе картошку,— по семи ведер на каждого.

В ту же ночь мы с теткой переместили свои постели в сенцы.

— Как же мы теперь будем жить, Сань? Ума не приложу...— сказала в темноте тетка, и по ее голосу я не мог догадаться, смеется она или плачет...

Утром мы собрались варить себе кулеш прямо на дворе: из четырех кирпичей я сложил возле крыльца печурку, но щель топки была узка, — хворост в ней тлел, а не загорался. Тетка постояла-постояла над чадившим очагом и пошла в сенцы, а меня в это время окликнул со своего двора Момич. Он держал в руках пахотный хомут с новыми пеньковыми постромками и смотрел не на наш двор, а куда-то в сторону. Я подбежал к плетню. Не обернув ко мне лицо, Момич в досаде спросил:

— Чего это вы там таганите, как цыгане?

Я сказал, что мы поделились и чулан с печкой достались Царю. Момич как-то раскосо воззрился на меня, потом взглянул зачем-то на трубу своей хаты, и, рывком вскинув на плечо хомут, пошел прочь. Наверно, ему чуялся мой неотрывный взгляд в спину, потому что шагов через пять он приостановился и проговорил, не оказывая лицо из-за хомута:

— Скажи там... Егоровне, чтоб на огород шла. И сам приходи.

Я выманил тетку на крыльцо и сообщил ей наказ Момича.

Трудно сказать, чем обернулся бы для меня тот день, если бы накануне Царь не вздумал делиться: тогда Момичу не пришлось бы таскать глину из яра к нам в сенцы, чтобы сложить печку-времянку, а мне за него боронить огород, — в прошлом году там росла картошка, и перед пахотой нужно было сравнять борозды. Момич посадил меня на спину жеребца и два круга провел его под уздцы, а на третьем отступил в сторону и приказал не то ему, не то мне:

— Чтоб без огрехов. А то сызнова придется...

Он пообещал, что «будет так-сяк приглядывать», и ушел. Я совсем не правил,— жеребец ходил по кругу

сам, не сбиваясь с кромки следа, оставленного бороной, а я как бы парил над ним, боясь чем-нибудь выдать себя,— мне не верилось, что жеребец знает про то, что я сижу на нем. Напряжение, сообщавшее невесомость моему телу, было попеременным, оно нарастало, когда жеребец двигался в сторону выгона, и опадало в тот момент, когда он заворачивал обратно и я видел впереди свой сарай, Момичеву клуню, Камышинку. Тогда я заметно для себя тяжелел, оторопь сменялась волной восхищения, благодарности и любви к жеребцу, к его косматой буйной гриве, к небу и жаворонкам надо мной. На таком разе — завершался седьмой круг — я не заметил, откуда появился черный, как грач, жеребенок-сосун. Он подскочил к жеребцу сбоку, растопырил толстые неокрепшие ноги и заржал, вылупив радостно-шальные глаза. Жеребец остановился, вскинул голову и перестал дышать. Уши у него встали торчмя и почти сошлись концами, и в их косой просвет я увидел Момича. Он спешил ко мне от своего палисадника и куда-то показывал вскинутой рукой. Сосун в это время заржал снова, а жеребец коротко взвизгнул на него, ударил в землю передним копытом и вдруг одним рывком переместился в сторону выгона. Я уже падал, но все же успел увидеть на выгоне кудлатую пегую кобылу и услыхать ее рассыпчато-призывное ржание, сразу же пресеченное трубным гоготом жеребца. Он миновал борону и даже не заступил постромки, — это я тоже заметил, когда перекатывался под бороной, а потом волочился за ней, нанизанный подолом рубахи на последний рядок деревянных клецов. Я проехал так до оконечности огорода, и все время сосун бежал и подбрыкивал рядом со мной. Через гребень выгонской канавы жеребец перемахнул прыжком. Там я и остался вместе с оторвавшейся бороной и, сидя, не пытаясь отцепить рубаху, видел то смирно стоявшую пегую кобылу, и подлезшего под нее сосуна, то уносившегося мимо них по выгону жеребца: литой акациевый валек на толстых новых постромках колотил его по ногам. Далеко, у трех ветряков, что стояли за пряслом выгона, жеребец взметнулся в высоту и вбок и пропал, будто провалился куда-то. Тогда сразу же стихли строенные гулкие удары копыт, и я с надеждой на все благополучное оглянулся в сторону Момича. Он шел пригнувшись, почти волоча по земле руки,

и в черной кайме бороды лицо его белело как мел. Он подвигался ко мне медленно и развалисто, и глаза у него были полузажмурены. Я поддел ногами край бороны, отцепил подол рубахи и ползком перелез через канаву на выгон. Момич перебрался через нее так же, и после этого я уже не оглядывался на него. Я бежал к ветрякам, а Момич сугонил позади и изредка выкрикивал натужно и хрипло, как в тот раз, когда просил меня подсунуть кол под комель дуба:

— Александр! Погоди! Погоди, говорю!..

У меня вихлялись колени и все холодел и опускался книзу живот. Я ничком лег на дорогу и зажмурился, — меня никогда и никто еще не бил. Момич подоспел и до самой шеи заголил на моей спине рубаху. Я мгновенно почувствовал неудержимое расслабление тела, и ощущение мокрого тепла в ногах было отрадным и как бы избавляющим от всего, что мне грозило. Момич опустил подол моей рубахи и спросил:

— А ноги как?

Я сел, накрепко сдвинув колени, и солгал:

— Болят.

— Мы ж с тобой коня сгубили! — с осиплым стоном сказал Момич, обессиленно садясь рядом. Он невидяще глядел на меня и плакал, некрасиво распялив рот, и борода у него елозила из стороны в сторону. Я вскочил и побежал к ветрякам...

Маленькие и круглые, как ковриги, озерки назывались у нас околками, и жеребец утоп там, — я издали увидел торчащие из воды косицы его ушей и раздвоенный бугор крупа...

Потом мне никогда уже не приводилось наяву оказываться за гранью реального мира, которую я переступил тогда: околок, ветряки, недалекая Камышинка, выгон и бегущий Момич,— все окрасилось в сумеречно-красный цвет и поплыло вокруг меня, не отдаляясь и не смешиваясь, и я сел, вцепился в землю и закричал, и подбежавший Момич тоже закричал что-то и с ходу прыгнул в околок. Разом с ним я полетел в истомно душную красную высоту, а когда открыл глаза, то увидел несокрушимо замершие на месте серые ветряки, зеленый выгон, синее небо и мутный околок. Момич стоял там по самую бороду в воде и руками поддер-

живал над собой голову жеребца. Жеребец дышал, как боров в жару,— с отрывистым хрюканьем, и вдруг надулся и всхрапнул, обдав Момича струями грязной воды, хлынувшей из ноздрей. Момич тряхнул головой и всхрапнул сам протяжно и дико, похоже на жеребца,— подбивал его, чтобы он еще раз всхрапнул, и жеребец всхрапнул вторично, и Момич тоже... Неизвестно зачем я полез тогда в околок. Момич с какой-то ярой радостью в глазах увидел меня и заорал:

— Александр, мать твою... Беги, кличь людей! Чтобы с веревками и слегами! Скорей!..

На улице Камышинки я увидел бабу с коромыслом и несмело сказал ей, что в околке, возле ветряков, кто-то залился с лошадью...

Часом позже, когда Момич уводил по выгону грязного, приседающего на задние ноги жеребца, у меня разом начало болеть все тело. Всю ночь я куда-то падал и кричал, а утром тетка растопила свою венчальную свечку, поставила теплый каганец с воском мне на живот и стала чертить надо мной указательным пальцем широкие спиральные круги. Я спросил, про что она шепчет. Тетка мотнула головой, чтобы я не перебивал, и зашептала явственней: «... и тогда пошла матерь божья в степь-пустыню, а навстречу ей едет Иисус Христос на осляти. «Сын божий, куда ты едешь?» — «Еду я к малолетнему рабу своему Александру кости выправлять, жилы напрягать, испуг изгонять».

Вслед за этим тетка подула на каганец, поплевала себе за спину и с опаской сказала:

— Теперь давай поглядим, что вылилось...

По краям каганца воск застыл ровным желтым слоем, а на середине вздулся светлый пузырь величиной с фасолину.

— Видишь? — таинственно спросила тетка.

— Ага,— сказал я.

— Ну вот и все. Это ж околок. Теперь в тебе никакого страху не осталось.

Я забрал у ней каганец и стал разглядывать пузырь-околок,— там же должен виднеться Момич с жеребцом, но тетка, догадавшись о моем поиске, ни с того ни с сего рассердилась:

— Чи ты умный, Сань, чи дурак! Ну зачем тебе видеть то, чего не надо? Это ж коли б залился дядя Мося, тогда... Дай-ка каганец!..

В тот же день тетку зачем-то вытребовали в сельсовет. Она нарядилась в новый саян, уложила надо лбом платок острым шпилем и пошла, а вернулась такой, будто пять конов на каруселях проехала. Оттого, что ей было празднично одной, без меня, я молча обиделся и ни о чем не стал спрашивать,— пускай потерпит, рассказать-то, небось, хочется, зачем кликали в сельсовет!

Поздно вечером под запев сверчка в полутьме сенец тетка окликнула меня со своей постели:

— Сань, а Сань!

Я не отозвался, а она засмеялась и спросила:

— Что ж ты не попытаешь, зачем меня звали?

— А чего сама молчишь! — сказал я.

— Да днем не хотелось, не так ладно было б, а теперь давай побалакаем... Вышла я, значит, на выгон, а он голенький, пустой, одни смурные ветряки стоят да та пегая кобыла с жеребенком, и мне захотелось по-за речкой пойтить... Ну я и сошла по Большаковому проулку. Сошла себе и как глянула, батюшки-и! Луг весь в одуванах, так весь и горит, так и полыхает...

Она долго рассказывала про то, как шла по лугу и что там видела, и я не вытерпел и сказал:

— Ты ж опоздаешь, иди скорей!

— Погоди, — сказала тетка. — Нарвала, значит, я тех одуванов и прихожу. А там уже ждут — председатель наш, какая-то городская бабонька и учитель твой. Хороший он у нас, веселый... По имя-отчеству назвал меня, за руку поздоровался, петуха, что я вышила на твоей сумке, похвалил... Ну, ладно. Села я, а тут возьми и явись Дунечка Бычкова.

— Зачем? — спросил я.

— Да ее тоже позвали сдуру,— сказала тетка и засмеялась.

— А учитель что?

Мне почему-то не хотелось, чтобы Александр Семенович здоровался с Дунечкой Бычковой за руку, и тетка, разгадав мою ревность, ответила скороговоркой:

— Да с Дунечкой он так... нарочно поручкался, чтобы приличие соблюсть. Ты слухай дальше...

В это время дядя Иван споткнулся о порог хаты, остановился где-то на середине сенец и заверещал:

— Ай до зари не дадите спать? И буровят, и буровят, постояльцы проклятые!

— ...Тогда они и назначили меня, Сань, делегаткой от всей Камышинки, — певуче сказала тетка. — Утречком я и покачу в Лугань на сельсоветской бричке... А теперь давай спать.

Я не стал спрашивать у тетки, что такое «делегатка», чтоб нам обоим верилось, будто она едет в Лугань одна, без Дунечки Бычковой... Царь молча подождал чего-то и вкрадчиво прошлепал босыми ногами в хату.

Хотя мой испуг и вылился на воске, но в руках и коленках осталась какая-то квелость и дрожь, и два дня без тетки я почти ничего не ел и не слезал со своего сундука,— все спал и спал. На третий день утром в песочно-золотой полумгле сенец я увидел дядю Ивана. Он стоял над кучей глины, что принес тогда Момич для печки нам, и обеими руками держал за дрыгающие ноги обезглавленного, нашего с теткой петуха.

— Зарезал? — пораженно спросил я.

— А то я молиться на вашего кочета буду! — сказал Царь. — Та змеюка зыкает гдей-то цельную неделю, а тут... Вставай, беги за хворостом, варить зачнем...

На нижней приступке крыльца лежала и зевала петушиная голова, а возле нее бродили и осипло кряхтели наши поделенные куры. Я шугнул на них и поглядел на Момичев двор, и сразу же Момич показался на своем крыльце. Он махнул мне рукой подзывая, и я пошел, неся на ладонях петушиную голову.

— Кинь ее! — сумрачно приказал он мне, как только мы сошлись у плетня, и сам обернулся ко мне боком и стал глядеть из-под руки на речку.— Ну? Чего держишь-то? Кинь, говорю.

Я положил петушиную голову в траву, и тогда Момич, не меняя позы, негромко спросил:

— Егоровны-то все нету?

— Нету,— сказал я.

— Что ж это она... застряла там?

— Не знаю,— сказал я.— Теперь вот и петуха...

— А у тебя, случаем, ничего не болит? — перебил Момич.

— Не, — сказал я.

— А может, щемит где, да ты не чуешь. Как-никак, а под бороной сидел... Может, к доктору показаться?

— Нигде не болит,— опять сказал я.

— А чем черт не шутит! Потом поздно будет. Охромеешь или... мало ли? Выходи-ка на огород, в больницу поедем зараз.

Уже от угла сарая я видел на Момичевом току повозку, набитую до самых грядок свеженакошенной травой. Жеребец стоял на привязи возле клуни. Задние ноги его от щеток до колен были обернуты белой холстиной. Момич вышел из ворот с хомутом и вожжами в руках, наряженный в сапоги и кумачную рубаху. Следом за ним Настя бережно несла, как свадебный подарок неизвестно кому, новую пеструю попонку.

— Глядите, дегтем не замарайте! — гневно сказала Настя, кинув попонку в задок повозки, и пошла прочь. Момич пристально посмотрел ей вслед, но ничего не ответил. Пока он запрягал, я повинно стоял и глядел на ноги жеребца. Покосившись на меня, Момич коротко рассмеялся чему-то и, сунув руку под живот жеребцу, с веселой угрозой прикрикнул на него:

— Нарядился в онучи и страм потерял!

На выгоне опять паслась чья-то пегая кобыла, и жеребец, завидя ее, заржал и затанцевал в оглоблях, а Момич подмигнул мне и с притворным возмущением сказал:

— Мало, ему, кобыльему сыну, позавчерашнего, а!

Был будний день, и камышане возили на парину навоз, а мы ехали как на ярмарку. При обгоне подвод Момич пускал жеребца чуть ли не наметом, рывком сымал с головы картуз, здороваясь, и на вопросы, куда это он собрался, не отвечал,— тогда как раз приходилось сдерживать жеребца и тут же бодрить его вожжами и сулить: «Я тебя поне-е-ежу!»

До Лугани считалось шестнадцать верст, но они протянулись для меня дорогой вокруг бела света,— я никогда до этого так далеко не ходил и не ездил. Я сроду не видел двухэтажных домов, — хаты на хате, — и Момич тоже поглядывал на них с уважительной опаской. Мы остановились и распряглись на широкой каменной площади, возле церкви, величиной в пять наших камышинских, и жеребец сразу присмирел и показался мне маленьким, и Момич стал маленьким, а самого себя я не примечал совсем.

— Ну, вот мы и приехали,— притушенным голосом сказал Момич.— Ты погоди тут, а я схожу разузнаю, что к чему...

Он ушел, жеребец приник к сену, а я прислонился к колесу повозки. Странны, маняще-терпки были в Лугани запахи, неслыханны звуки, и то, что у нас в Камышинке стоял будень, а тут праздник, потому что взрослые ничего не делали, а только ходили и ходили мимо друг друга и не здоровались между собой; что дети были наряжены во все ситцевое и не поднимали с земли ни папиросные коробки, ни конфеточные обертки, — наполняло меня какой-то накатной обидой за себя и не то завистью, не то враждебностью к ним, луганам. Мне хотелось поскорей видеть свою Камышинку...

Тень от церкви давно переместилась, и повозка стояла на самой жаре, когда я заметил тетку, Момича и Дунечку Бычкову. Они шли гуськом — тетка впереди, Момич в шаге от нее и чуть сбоку, а позади плелась Дунечка. На ней и на тетке вместо платков пламенели косынки под цвет моего галстука. Видно, концы косынок были чересчур коротки, потому что не сходились у подборока и вязались на затылке, и от этого тетка казалась моложе. С ее плеча свисала до колен снизка желтых, как одуваны, бубликов, и в руках она держала какие-то кульки и свертки. Момич нес новую косу, лемех к плугу и рябой ситцевый картуз с черным лакированным козырьком. Картуз был маленький, и я издали радостно догадался, что он мой. Тетка кивала мне головой, и лоб ее светился, как бублик. Подойдя, Момич молча насадил мне на голову картуз, а тетка засмеялась и воскликнула:

— Ой, Сань! Да на кого ж ты похож теперь!

— А ты сама на кого?— сказал я. Она поправила косынку, а Момич лукаво посмотрел на нее, смешно скривив бороду.

Мне совсем бы хорошо уехалось из Лугани, если б не Зюзина мать. Пока Момич с теткой застилали попонкой задок повозки, а потом запрягали жеребца, она беспокойно сидела у стены церкви и выжидаючи-пристально вглядывалась в даль чужой праздничной улицы. Мне хотелось, чтобы тетка поскорей позвала ее и чего-нибудь дала. Наверно, это так и было б, но Момич подкинул меня в передок повозки, подсадил тетку и сам сел с нею рядом на разостланной попонке.

— Погоди-ка, Евграфыч, а как же она?

— Кто такое? — непонимающе спросил Момич.

— Да сельчанка-то наша!

— А-а, полномочная-то? Она пущай тем же манером, как и сюда. В казенной бричке...

— Так неизвестно ж, приедут нынче за нами или нет,— забеспокоилась тетка.

— Подождет и до завтрева,— безразлично отозвался Момич,— успеет подражнить камышинских собак красной шалкой...

— Ну это ты не свое чтой-то буровишь! — укорила его тетка. Я оглянулся на церковь. Дунечка сидела в прежней позе, полуприкрыв лицо некрасиво сбитой наперед косынкой,— от солнца загораживалась. Взяла б и пересела в тень!

На окраине Лугани Момич остановил жеребца возле лавки и молча передал тетке вожжи. Как только он отошел, я рассказал ей о петухе. Она привалила меня к себе и жарким шепотом, как хмельная, сказала:

— Теперь нам не нужен ни петух, ни Царь... Скоро мы с тобой в коммуну пойдем жить... в барский дом, что в Саломыковке. Ох, Сань, если б ты знал...

Она замолчала, — к повозке шел Момич. В одной руке он держал картуз с булками, а во второй бутылку с желтой, как мед, водкой. Он положил все на теткины колени, влез в повозку и, забрав вожжи, досадливо сказал нам обоим с теткой:

— Ну рассудите сами: куда б она тут села? Негде же! Да и поедем мы кружным путем...

— Через лес? — радостно подхватилась тетка, будто весь век ждала этого.

У меня занемела шея,— я не мог удержать голову прямо, чтобы не оглядываться на Момичев картуз с булками. Между ними лежала и сверкала бутылка. На ее этикетке был нарисован кусок сота, а на нем — большая, похожая на шершня, пчела. Тетка тесно сидела рядом с Момичем, и задумчиво глядела в поля. Момич весело понукал жеребца, и было видно, что он забыл, зачем привозил меня в Лугань...

— И все, Сань, под духовые трубы, все под музыку — и ложиться, и вставать, и завтракать, и обедать...

Только ты, гляди, не болтай пока ничего дяде Мосе. Ладно? А то он... возьмет и обидится.

Это всегда говорилось уже на зоревом реву чужих коров, под конец нашего всеночного сказа-беседы, и мне каждый раз было тогда нестерпимо жалко Момича, Насти, Романа Арсенина, Саши Дудкина и всех больших и малых камышан,— мы ведь уходили в коммуну одни — тетка и я, — а они навсегда оставались тут. Мы не знали, когда приедут за нами на казенной бричке, чтобы мы сели в нее и к восходу солнца,— нам хотелось, чтобы обязательно к восходу,— очутились в коммуне. Ни вслух, ни мысленно мы не решались с теткой до конца представить себе надвигающуюся на нас новую жизнь, — она ни на что не была похожа и ни с чем не сравнима, и каждый из нас обещал в ней себе все, к чему никла его собственная душа. Мне хватало одного этого странного и загадочного, как гармошечный звук, слова «коммуна», чтобы окружающая меня явь потускнела и убавилась в радостях: я перенес из нее в коммуну все до одного праздники, какие приходились в году, и все, что полагалось отдельно на каждый праздник, улеглось там вместе, в сплошной и бесконечный ряд. Тетка уже не снимала с головы косынки и не меняла саяна на будничную юбку, я тоже ходил в новом картузе, в белой с голубыми горошинами миткалевой рубахе и при галстуке. Мы и раньше не придумывали себе рабочих тягостей, а теперь и вовсе перестали что-нибудь делать по хозяйству,— нам даже печка не нужна была, обходились так.

Тогда вскоре приспело время метать парину, и Момич покликал меня в поле с собой. Накануне, вечером, мы накосили за речкой травы, залили в бочонок полтора ведра колодезной воды, всадили на повозку плуг.

— Гляди не проспи. До солнца чтоб выехать, — сказал мне Момич, и всю ночь мы с теткой не сомкнули глаз: сперва про коммуну шептались, а потом сторожили рассвет. Момич уже запряг, когда я показался на огороде.

— Ты чего это? К обедне собрался? Беги, скинь рубаху и картуз. Живо! — приказал он мне.

День обещался тихий и пасмурный, и все было сизым и грустным — и небо, и земля, и полевые дали.

Мы миновали ветряки и околок, обогнули ржаной массив и выехали к опушке густого кустарникового леса. Он круто спадал под уклон, потом выпрямлялся и тянулся, пока хватало глаз, в сторону Брянщины. Момич сказал, что это Кашара. Тут был паровой клин нашего кутка, сплошь заросший татарником, цветущей сурепью и диким чесноком. Момич сразу признал свой загон, и мы начали пахать,— он ходил рядом с плугом по стерне, а я по теплой и глубокой борозде шагах в трех позади. Одним концом загон упирался в Кашару, а другим в заказной, некошеный луг. Оттуда лес был почти невидим. Я давно проголодался, но солнце так и не выглянуло, и не было известно, когда наступит полдень. На двадцать пятом круге Момич вдруг бессовестно ухнул, быстро оглянулся на меня и посоветовал:

— Не греми, прогремишься! Не обедать садишься!

— Да это ж ты сам! — сказал я и неожиданно для себя попросил: — Давай взаправду чего-нибудь обедать, дядь Мось!

— Пробегался? Зараз пошабашим,— сказал он. — Я вишь, метил успеть вспахать ваш загон к вечеру.

Тогда-то я сказал ему, что нашу парину метать не нужно, потому что мы уходим скоро в коммуну. Момич придержал жеребца и переспросил, сведя брови:

— Куда-куда?

— В барский дом, что в Саломыковке,— сказал я.— Ты не знаешь, где такая Саломыковка, дядь Мось?

— За Луганью,— помолчав, сказал Момич.— Это тебе, что ж, Егоровна сказала?

— Ага,— признался я.

— Ну?

— Жить будем в коммуне, — сказал я. — Там все под духовые трубы. И ложиться, и вставать...

— Ишь ты! А работать тоже под трубу?

Момич спросил это точь-в-точь как спрашивал когда-то об утильсырье, и поэтому я ответил неуверенно:

— Как захочем...

— Та-ак,— сказал он.— Что ж, живая душа и в будень калачика чает... В коммунию, значит, навострились?

Я промолчал, а Момич спросил еще об одном:

— А добро на чем же повезете? Там ить под вас подвод и подвод нужно...

Наверное, он и сам почуял, что обидел нас с теткой зря, потому что впервые посмотрел на меня как на взрослого — выжидаюче-опасливо. Я встал и пошел через пахоть в сторону Камышинки. Момич непростудно кашлянул и позвал негромко, виновато:

— Александр! Куда ж ты попер? Обедать же надо...

— Я не хочу,— сказал я не оборачиваясь.

— Ну, значит, сыта теща, коли гущи не ест! — гневно сказал он и хлестнул жеребца.

Дома я поведал про все тетке. Она заставила меня повторить, что говорил Момич о нашем добре и подводах, и долго и как-то не по-своему смеялась, взглядывая на меня мокрыми от слез глазами. Мы пополудневали хлебом с колодезной водой и солью. Тетка посидела, подумала-подумала и сказала, чтобы я нарвал снитки в ракитнике, — «завтра курицу будем резать», потом сняла косынку, накрылась платком, выставив куль, и пошла зачем-то на выгон. Вернулась она вечером почти следом за Момичем, — может, только сажен на сто отстала от его повозки...

Царь подпустил нас к печке,— наверно, совестно стало из-за нашего петуха, и мы с самого утра кое-как зарезали «хохлушку» и поставили ее варить в большом глиняном горшке. Он долго не закипал, и я несколько раз бегал за хворостом в ракитник. Оттуда, из-под бугра, я и увидел въехавшую к нам во двор длинную грабарку с высокими решетчатыми грядками, на каких в жнитву возят снопы. В упряге была та пегая кобыла, что все время паслась на выгоне. Я не стал собирать хворост и нехотя, стараясь не взглянуть на Момичев двор, пошел домой. В грабарке полулежал, просунув ноги в решетку, болезненный мужичонка с соседнего кутка. Я знал только его уличное прозвище — Халамей. Он сонливо поглядел на меня и ничего не сказал. По двору, нарочно пугаясь своей тени, жировал сосун, высторчив веником хвост.

Тетка сидела в сенцах на сундуке, и ничего не делала.

— Приехали за нами, Сань, — жалующе сказала она, будто просила заступиться.

— А говорила «на бри-ичке!» — сказал я.

— Так я ж думала... Ох, Сань, чтой-то мне смутно стало на сердце. Бросаем же все. И хату, и сенцы вот, и речку, и... Да и как это мы одни с тобой будем там? Может, Петровича сманить? Что ж он тут сычевать будет? Совсем занудеет...

Дядя Иван сидел в чулане и чистил мягкие, проросшие картохи, сбрасывая очистки себе на ноги. Он был в кожухе и в шапке, надетой задом наперед. В серых клоках его бороды елозили и бились мухи. На загнетке лежал и бурунно дымил, заглушая пламя в печи, ворох мусора и кизяков,— Царь вредил нашему горшку с курятиной. Мы встали с теткой в проходе чулана, и я, совсем нечаянно и нестрашно для себя, мстительно подумал о Царе, что лучше б он взял и помер зараз, чем ехать с нами в коммуну!..

— Чего раскорячились тут? — спросил дядя Иван, глядя нам в ноги. Тетка погладила себе шею, будто комок прогоняла, и сказала громко, как глухому:

— Ты б собирался, Иван... А то Халамей ждет.

— Куда такое? — тихо спросил Царь и выронил в чугунок нечищеную картоху.— Кому собираться? Я никуда не поеду! Ты что такое задумала, змея? Сбагрить хочешь?! В сумасшедку?!

Он вскочил, перелез через скамейку и выставил перед собой грязные мокрые руки, а ногой стараясь подкопнуть поближе к себе упавший с плеч кожух. То, как помешанно-жутко глядел на нас побелевшими глазами Царь, пронизало меня от макушки до пяток какой-то взрывной болью, жалостью и страхом,— его испуг не вылился бы ни на каком воске, и я подбежал к нему, поймал его мокрые руки и потянул их книзу, к себе под грудь.

— Дядь Вань, не пужайся! — закричал я.— Мы ж в коммуну едем и тебя берем, чтоб вместе...

— Куда вместе? В какую такую? Зачем? — тоже на крике спросил он меня, но рук не отнял.

— Чтоб жить в коммуне. В барском доме,— сказал я.— Она, знаешь, где? В Саломыковке. Аж за Луганью! Там все будет под музыку... Собирайся, дядь Вань, поедем скорей!

Тетка стояла, как окаменелая, глядя куда-то сквозь нас с дядей Иваном. В хату всунулся Халамей и, невидимый мне за теткой, стал жаловаться тягучим брезгливым тенорком:

— Вы собрались али нет? Не поспеем же до ночи. Шутка ли, тридцать верст в один прогон! А у меня парина не метана. Ох и люди. Едут на все чужое, а с г... не расстанутся!..

От дяди Ивана отхлынул страх. Он освободил от меня свои руки и прежним «царским» голосом прикрикнул на Халамея:

— Ты там не вякай! Тебя назначили везть, вот и вези! А теперь выдь и дай людям сготовиться!

Из хаты во двор мы выносили каждый свое, поделенное, а в халамеевской повозке все соединилось в один большой серый ворох. Нам с теткой долго не удавалось осилить сундук,— мы тащили его через двор волоком и держались руками за переднюю скобу, чтобы не оказаться лицом к Момичевой хате.

— Ты б зашел оттуда, — шепотом просила меня тетка, но я не заходил и не хотел, чтобы она заходила «оттуда» сама. Нам жалко было оставлять курицу, и я поймал ее и посадил в сундук. Туда же тетка поставила и горшок с недоваренной «хохлушкой». Своих трех курей Царь загнал аж в ракитник, но не словил. Двери в сенцы мы прищемили щеколдой, но я хотел привязать ее веревочкой и сказал об этом тетке. Она ткнулась лицом мне в темя и заплакала, и, чтобы не зареветь самому, я наругал ее дурочкой и повел к повозке... На съезде в проулок Царь, усевшийся на наш сундук, вдруг победно-визгливо прокричал: «Дяк-дяк-дяк». Я оглянулся на Момичев двор. Момич стоял на крыльце своей хаты и глядел на нас, подавшись вперед, будто его толкнули, а он удержался и не упал...

На выгоне, в створе проулка, ждала нас возле кучки узлов и дерюжных сумок Дунечка Бычкова. Зюзя сидел поодаль и ел щавель,— он рос тут возле нас до самой осени. Я поглядел на тетку, но говорить ничего не стал...

3

Дома я никогда не видел закатного солнца,— его заслоняли подгоризонтные леса Брянщины, и оно скрывалось там белым и маленьким, каким бывало в полдень. Тут солнце садилось все на виду, в нашей камышинской стороне, и было оно большим, выпуклым и

рядным, как карусельный купол. В такие минуты всегда немного страшно загорался медно-малиновым огнем наш коммунарский пруд, и в нем на самом дне появлялась тогда вторая коммуна — двухэтажная, красная, с четырьмя белыми колоннами и множеством незрячих окон, каждое величиной в нашу дверь в сенцах. В пруду отражались и долго не меркли ясени, приземистые корявые вязы и голые, синие тополя. В глубине воды из высокой трубы коммуны тек и завивался в сквозные кольца сизый ольховый дым,— опять у нас варили горох,— но я старался не видеть его, потому что только тогда видение оставалось для меня той коммуной, тем загадочно манящим словом, которое увело нас с теткой из Камышинки...

Нас было девятнадцать человек — одиннадцать мужчин и я, шестеро баб и тетка. Председатель коммуны Лесняк в счет не входил. Он жил отдельно, на всем втором этаже. Туда я ни разу так и не заглянул. Председатель Лесняк никогда не снимал фуражки с зеленым облупившимся лакированным козырьком и дымно-серого выцветшего френча с четырья накладными карманами. На грудном левом, обшитом широкой кумачной лентой, уже шагов за двадцать лучисто блестел орден. Председатель Лесняк был мал, с дядю Ивана, а ходил медленно, как-то обиженно и угрюмо, вынося левое плечо вперед. Тот карман у него, на котором сидел орден, выпирал и топорщился,— в нем лежало что-то непостижимое моим разумом, нагонявшим на меня оторопь и бескорыстное почтение. Я верил, хотел и ждал, что Лесняк вот-вот приметит меня и позовет, как позвал когда-то Саша Дудкин. Тогда опять должно случиться что-то необыкновенное, и появится оно для меня из нагрудного кармана, из-под ордена. Это ожидание почти примирило меня с затаенной утратой камышинских снов о трубах, о том празднике, на который приходились все годовые радости и утехи...

Однажды ночью, в Камышинке еще, тетка долго ерзала на своей постели, потом засмеялась чему-то вслух одна, — вспомнила, наверно, о чем-то веселом, и подсела ко мне на сундук. Я увидел ее блескучие в темноте глаза и спросил:

— А я где тогда был, про что ты вспомнила?

— Да вместе мы, Сань, — сказала тетка. — Я, знаешь, о чем подумала? Везучие мы с тобой. Нам всю жизнь будет хорошо и сладко!

— А то либо нет! — сказал я.

— Это оттого, что сироты мы с тобой... Круглым сиротам земля кругла! Спи!

Она опять засмеялась, звонко поцеловала меня в левый глаз, и он долго мулил, потому что я не успел зажмуриться. Тетка забыла этот наш разговор о круглой земле, а мне он запомнился и оказался нужен сразу же по приезде в коммуну. Халамей тогда подождал-подождал чего-то и уехал, а к нам вышел председатель Лесняк, отобрал у Зюзи общую на всех нас справку из сельсовета и показал, куда мы должны выгрузиться. По отлогим каменным ступенькам коммуны мы с теткой втащили сундук в сумрачно прохладный зал, разгороженный двумя рядами витых мраморных колонн. За ними, по правую и левую сторону, под окнами, заколоченными фанерой и жестью, стояли в прорядь низенькие железные койки. На них сидели и лежали люди—за левым рядом колонн мужчины, а вправо — женщины. Мы остановились в проходе, и в сундуке тогда оглашенно закудахтала наша курица, — снеслась, наверное. За колоннами прислушались, и засмеялись — догадались, где сидит курица, и кто-то кукарекнул похоже на петуха. Тетка виновато взглянула на меня и притулилась на край сундука, будто он был чужой, а не наш. Я враз припомнил все черные слова, нажитые тайком от тетки в Камышинке,— мне хотелось выкрикнуть их на всех, кто сидел и лежал тут на койках, но Зюзя, с узлами в руках, зашел поперед нашего сундука и, оглянувшись направо и налево, свистнул пронзительно и длинно, как в лесу. Тетка привстала с сундука и сказала: «Господи», а Зюзя кинул узлы на пол и смело, будто вернулся из недолгой отлучки и тут его ждали, начал здороваться со всеми за руку.

Мне показалось, что каждому Зюзя шепотом сказал тогда какое-то потаенное слово, незнакомое нам с теткой, потому что все начали подходить к нам и в очередь здороваться за руку — с теткой, со мной, с дядей Иваном, с Дунечкой. Курица все не затихала и кудахтала, и тот, что кукарекнул — я признал его голос, — озорно-дружелюбно спросил:

— А может, она кусок сала снесла? Тогда я сбегаю за рыковкой!

— Е-есть у нас! — по-своему певуче сказала тетка. — Курятина есть. Доварить только надо. Спешили и не успели...

Когда меня дважды окликнули из-за колонн Сашкой, а тетку повеличали Татьяной Егоровной, у меня засвербело в носу и мне захотелось вслух, при всех коммунарах, сказать ей, что все у нас будет хорошо.

Царь облюбовал себе пустующую койку, стоявшую первой от дверей. Моя, с круглым парусиновым матрацем, туго напихтеренном соломой, пришлась по соседству с Зюзиной в конце ряда. Когда тетка принесла мою подушку и косичковое квадратное одеяло, я спросил у ней на ухо:

— А ты, небось, с Дунечкой там будешь?

— Да ничего, Сань, обпривыкну. Она же все-таки своя, только немного нехолюзная,— в подушку, чтоб не слыхал Зюзя, шепотом сказала тетка.

Я не знал названия тому своему чувству, которое испытывал, завидя Дунечку Бычкову. Мне тогда становилось скучно, неуютно и чего-то жалко. Это все равно как и с Царем. Мне нравилось и хотелось, когда тетка величала его Петровичем, заставляла переменить портки и рубаху, учила умываться не одной горстью, а пригоршнями, чтоб не одни только глаза и лоб споласкивать. Но мне никогда не приходило в голову, что тетка и Царь — муж и жена. Если б это оказалось для меня правдой, я бы давно, наверное, ушел из Камышинки куда-нибудь один,— тогда такая, Царева, тетка мне стала б чужой.

Мне было хорошо, когда тетка закликала Дунечку в хату и давала ей то, что та и не просила: то платок, то кофточку. Я бы и сам отдал Дунечке что-нибудь, если б нашлось и сгодилось для Зюзи. Но я не хотел и боялся, чтобы в Камышинке подумали, будто тетка и Дунечка — подруги. Не хотел и стыдился я этого и тут, в коммуне. Дунечке не обязательно спать рядом с теткой. Ей хватит и того, что мы взяли ее с собой в барский дом.

Я проводил тетку до колонн и там просяще посоветовал ей:

—Ты возьми и отодвинься от Дунечкиной постели. Ладно?

— Не буровь чего не надо! — сердито сказала тетка.— От Момича, что ль, научился?

Она впервые назвала его так — Момич, и я вспомнил луганскую церковь, возле которой сидела Дунечка и ждала, чтоб ее взяли в повозку, и еще вспомнил, как спутанно-дробно, будто больная, шла тетка с выгона того последнего моего камышинского дня, когда мы с Момичем метали парину. Мне стало жалко тетки и Дунечки, но убавить чего-нибудь от Момича я не мог. Теперь, издали, он как бы наполовину еще вырос перед моим мысленным взглядом; он будто стоял на какой-то горе, а я глядел на него снизу, из-под руки...

Может, со временем я и поладил бы в душе с близостью теткиной и Дунечкиной коек, но этому помешал председатель Лесняк: утром он вызвал тетку наверх и там назначил ее коммунарской поварихой. В столовую — тоже большой зал, но без колонн — можно было заходить прямо из общежития и еще из сада через крытую веранду, но там лежали мешки с горохом, лучисто зеленела бутыль с конопляным маслом и стояла койка, на которой спал, сторожа все, повар. До нас с теткой им был коммунар Сема — белый, большой и безобидно придурковатый мужик. Он нехотя опростал койку и сказал тетке приглушенно мурлыкающим голосом:

— Тут, бабонька, хорошо спать-баловаться... Принес же тебя окаянный!

— Да нешто я сама просилась! Товарищ Лесняк приказал. И спать тут велел, — вся пунцовая, оправдывалась тетка.

— Просить можно по-разному, — хихикнул Сема,— кое об чем и на бровях договариваются...

Как только он вышел, я не вытерпел и сказал:

— Вот. Теперь тебе будет тут рясно!

Тетка, радостная и аж помолодевшая, схватила меня за вихор и пропела:

— Ох и дурачо-ок ты, Сань!

Из-за смены поваров завтрак в то утро запоздал,— горох не разварился как следует, и у нас получился не то суп, не то каша. Самодельные столы-козлы двумя рядами — как наши койки в общежилке — разгораживали зал-столовую, и мы поставили на левый ряд одиннадцать оловянных мисок с горохом, а на правый—шесть. Хлеба на веранде не было, — наверно, хранился в дру-

гом месте, и тетка пошла спросить о нем бывшего повара Сему. Вернулась она в своем праздничном фартуке, повязанная красной косынкой, неся в руках хлеб— в одной нашу с ней недоеденную краюшку, а в другой почти цельную Цареву ковригу.

— Отдал? — спросил я.

— Да я сама взяла, — весело сказала тетка и засмеялась. Больше мы с ней ни о чем не говорили. У нас всегда и разом наступало все одинаковое — смех, радость или желание заплакать, и теперь мы тоже чувствовали одно: мы готовились встретить тут коммунаров, как если б они приехали к нам в гости в Камышинку. Они и в самом деле зашли в зал-столовую как гости, — особенно мужчины: хором поздоровались с теткой по имени-отчеству, а тот, что кукарекал вчера вечером и ходил куда-то за водкой, сказал, оглядев столы:

— Та-ак! Вчера курятина с сыринкой, нынче хлеб! А завтра чем вы нас угостите, Татьяна Егоровна? Кулебякой, может, а?

Тетка ничего не успела ответить, потому что в дверях показался председатель Лесняк. Левым плечом вперед, — наверно, оно было ранено на войне и он боялся нечаянно зашибить его обо что-нибудь, — он прошел к переднему, никем не занятому столу в мужской стороне и сел на скамейку. Мы с теткой не знали того, что председатель Лесняк ел вместе со всеми коммунарами и только жил отдельно, наверху. Мы не знали, а он скучно сидел, ничего не говорил и не снимал фуражку, и орден на оттопыренном кармане его френча сиял на нас колдовским обезволивающим блеском. Может, кому-нибудь нужно было так-сяк намекнуть нам, — мы бы сразу догадались обо всем, и я, может, все время помогал бы тетке варить горох. Но все ели молча, глядя в миски, и тогда председатель Лесняк досадливо сказал, поведя левым плечом:

— Товарищ Письменова, дайте мою порцию.

Тетка кинулась к котлу, забыв, где черпак и миска, и я подал ей то и другое. Мы наполнили миску одной гущей и пошли к председателю Лесняку рядом, — тетка несла кашу-суп, а я ложку и краюшку хлеба. Я положил все у левой руки председателя Лесняка и, чтобы побольше разглядеть орден, дважды поправил краюшку: сперва обернул ее к нему надрезом, а потом горбушкой.

К плите мы с теткой вернулись порознь, — я отстал, а там, у котла, опять встали рядом, лицом к столам. Председатель Лесняк ел без хлеба. Наша краюшка лежала на самом кончике стола, — отодвинул, когда мы уходили и не видели. Я пригнулся у плиты, поманил тетку и спросил:

— Чегой-то он? Это ж ты сама пекла из Момичевой муки!

Тетка ничего не сказала и резко выпрямилась — большая, статная и в лице аж малиновая не то от наклона, не то от жары в плите. Председатель Лесняк ел, низко наклонясь над миской, и я видел только верх его фуражки с темным, выпуклым пятном посередине. Он, видно, торопился, потому что ложка совсем не задерживалась в пути и ходила плавно и кругло, будто он наматывал клубок ниток. По-камышински это называлось «стербать», но я нарочно «забыл» тогда это слово, чтобы не подумать им о председателе Лесняке. Я знал, отчего выпячивается и маслится верх у картуза,— это когда голова «дулем», но мне не хотелось думать и знать, что председатель Лесняк только из-за этого не снимает свою фуражку.

Он вышел раньше всех, оставив в миске ложку торчмя, не стал есть густоту, и некоторое время спустя во дворе зазвонило коротко и часто, как при пожаре. Звонил сам председатель Лесняк в толстый железный брус, висевший в проходе пустых дверей коммунарской конюшни. Мы с теткой не знали, что делать, — стоять на крыльце возле колонн или куда-нибудь бежать, потому что коммунаров нигде не было видно, и даже Царь наш запропастился куда-то. Ничего не дымило, — тут все было каменное, под зеленую жесть, а председатель Лесняк все звонил, и звонил, и ни разу не оглянулся по сторонам, не переменил позу, — махал и махал коротким прямым ломиком, — шкворнем, верно, и тетка, готовая осесть у колонны, то и дело спрашивала меня:

— Сань! А куда ж люди делись? Люди-то!

Она не осилила неизвестности, высунулась из-за колонны и срывающимся голосом, как при беде, крикнула:

— Гражданин Лесняк! А нам куда ж надо?

Он ничего не ответил, — не слыхал за звоном. Из зарослей чертополоха возле конюшни не спеша вышел коммунар, что хотел какой-то кулебяки. Он миновал

председателя Лесняка, не взглянув в его сторону, но тот сразу же перестал звонить. Кулебяка — я уже называл его так мысленно — остановился посередине двора и запел:

Пошли-и девки д-на работу!
Пошли-и красны д-на казенну!
На работу, д-да, на работу!
На казенну, кума, на казенну!

На ра-аботе припотели!
На ка-азенной припотели!
Припотели, да-да, припотели!
Покупаться, кума, захотели!..

Песню кричал он смешливо-ладно, протяжно и стоял, чуть запрокинувшись назад, откинув ногу вбок и вперед. Председатель Лесняк так и остался в дверях конюшни. Слушал, наверно. Песня-то хорошая. Тогда начали появляться коммунары — кто из сада, кто из-за конюшни, кто неизвестно откуда, и Кулебяка построил всех в один ряд. Последним в нем оказался дядя Иван, а Дунечку я не увидел вовсе. Кулебяка встал перед строем и грозно кашлянул. Кто-то рассыпчато засмеялся, — бывший повар, наверно. Кулебяка кашлянул вторично и заговорил негромко и ласково, — я сразу догадался, что он шутит:

— Друзья мои! Братья и сестры! Известно ли вам, что такое осот? Нет. А пырей? Тоже сохрани боже! Тогда будьте сладки, не играйте по утрам в прятки, а лучше хватайте в конюшне тяпки, подмазывайте салом пятки и ступайте полоть грядки!..

Мне это понравилось, а тетке нет. Она повернулась и ушла, а я подождал, пока коммунары, с мотыгами на плечах, покинули двор.

Чтоб горох разбобел к обеду, мы решили варить его с утра. Я подставил к печке-плите скамейку, и тетка влезла на нее, — заглянуть в котел хотела.

— И какой только дурак клал ее тут? Чуть не под самый потолок вывел! — сказала она сверху. От котла шел пар,— закипал уже, и тетка не видела председателя Лесняка. Он стоял у первого от нас, своего, стола и заглядывал в сад через открытые двери веранды. Стоял, чего-то ждал и заглядывал. Я пододвинулся к скамейке и незаметно ущипнул тетку за ногу. Председатель Лесняк повернулся к нам лицом и сказал на одной ноте:

— Печку, товарищ Письменова, соорудили лично сами коммунары. Это одно. Теперь скажите, откуда вами был получен хлеб на завтрак?

Тетка поспешно и неловко спрыгнула со скамейки, и у нее развязались концы косынки, а фартук съехал набок.

— Хлебушко? — ничему улыбаясь, спросила она и переступила с ноги на ногу. — Да хлебушко я свой принесла. Тут не нашлось, а я взяла и... дала.

— То есть частный? — полубасом, утверждающим какую-то опасную для нас догадку, спросил председатель Лесняк.

— Да нет, хлебушко был свой, наш вот, — сказала тетка, кивнув на меня, и опять просеменила ногами. Она не замечала, что косынка сбилась ей на лоб, как у Дунечки Бычковой возле луганской церкви, забыла, наверно, что «хлебушком» называла хлеб тоже Дунечка, появляясь на пороге нашей хаты. Она тогда и хихикала ни над чем, и ногами переступала, будто стояла на горячей головешке.

— Так. Ясно, — сказал председатель Лесняк и туго повел левым плечом. — Это ваш сын? — показал на меня, глядя тетке в грудь. И тетка сразу тогда стала сама собой, прежней, камышинской, моей. Она поправила на себе косынку и фартук и ответила:

— Саня? Не-ет. Мы с ним си-ироты.

— В коммуне сирот нет! — приказательно сказал председатель Лесняк, а тетка подступила ко мне вплотную и обняла за плечи.

— Это одно, — выждав долгую паузу, сказал председатель Лесняк. — Другое. Коммунарам, не связанным с деятельностью пищевого блока, вход на кухню не разрешается. В-третьих. Обед, завтрак и ужин подавать мне наравне с другими. Такие же порции, как и всем коммунарам...

Он, видно, хотел сказать нам еще что-то, но не стал говорить.

После этого мы побоялись выпустить свою курицу на коммунарский двор, и она так и осталась сидеть в порожнем сундуке, стоявшем на веранде возле теткиной койки. Я кормил ее там вареным горохом из своих порций, и через неделю она разжирела до того, что не кудахтала, когда неслась, а только кряхтела. Каждый

день перед вечером тетка варила мне яйцо, и я прятался с ним в лопушных зарослях сада, как раньше в Камышинке прятался с украденным яблоком или дулей. Тогда тетка только посмеивалась да приговаривала:

— Ох, Сань, гляди! Поймают тебя да как надерут крапивой!

Мне казалось, что она и сама не прочь слазить вместе со мной в чужой сад, — нам ведь нравилось все одинаковое, но тут, в коммуне, тетка не хотела, чтобы я скрытно ото всех съедал яйцо.

— Ты чего это дуришь? Ешь при всех! — говорила она шепотом, хотя поблизости никого не было. Мы обрадовались, когда курица снесла яйцо без скорлупы.

— Все, Сань, — облегченно сказала тетка. — Плево, дурочка, положила! Нешто ты захочешь теперь такие?

— Ну их! — сказал я.

— Это она от темноты да неволи. На скорлупку, вишь, свет нужен, камушки, травка...

— Камышинка, — подсказал я. Тетка виновато поглядела на меня, зачем-то развязала, а затем снова завязала концы косынки и спросила:

— Что ж делать-то с курицей?

— А ничего, — сказал я.

— Ослепнет она, Сань. Околеет. А на вторник Петров день приходится. У всех людей праздник...

— Ну и пускай! — сказал я.

— Может, побаловать своих тут скоромным? Добыли б в селе молодой картошки, укропчику, лучку зеленого, а я бы и...

Мы стояли над сундуком и слышали, как по его исподу — взад и вперед, взад и вперед — бестолково шастала курица, каждый раз мягко торкаясь в поперечные стенки. Торкнется и сонно квохнет — раз в одном конце, раз в другом.

— Она ж одна теперь у нас осталась! — сказал я тетке, мысленно увидев перед собой все сразу — свою пустую хату, скучный без меня в нем ракитник, широкий розовый выгон, кого-то ждущие серебряные ветряки... Видно, тетка сама про то болела-думала, если схватила меня и спросила-крикнула два раза — в левый и в правый глаз:

— Ты откуда у меня такой, а? Ну откуда?

И мы решили выпустить курицу, но не на коммунарский двор, а совсем, на волю, в село. Коммуна си-

дела на самом краю Саломыковки, и до первого двора туда было с полверсты непаханым коммунарским полем, заросшим высоким донником и татарником. Я перебежал его одним духом и возле сарая с разметанной соломенной крышей увидел чужих курей. Свою курицу я посадил на землю, нацелил головой на сарай и отпустил. Она побежала вперевалку, как утка, и к ней, вытянув шею и готовно пуша крылья, кинулся большой, иссиня-черный петух.

Назад я пошел по дороге. Ею можно было попасть в Лугань, а оттуда... Я подумал, что если все время бежать и бежать, то к вечеру, наверно, и Камышинка завиднелась бы!..

Недалеко от коммуны мне встретилась подвода, груженная свежим сухим сеном. На возу лежал саломыковец, похожий на дядю Ивана, — в зимней шапке был. Я сошел с дороги, а он придержал лошадь и, не видимый мне снизу, спросил:

— Ты, случаем, не из коммуны, хлопец?

Я сказал. Он завозился на сене и свесил в мою сторону голову.

— То-то я гляжу, не наш вроде... Ну как там у вас? Хорошо, небось?

Я молча кивнул.

— Вот и я думаю. Чего больше-то? Ни тебе хозяйства, ни заботы... Ну, а едите вы что?

— А все, — сказал я.

— Казенное?

Он задумался о чем-то, глядя на мой картуз, и тронул лошадь.

Среди коммунаров никого не было, кто хоть чем-нибудь заслонил бы собой Кулебяку, а по-правильному Евгения Григорьевича Ларикова — самого интересного человека, что попался мне тогда после Момича и Дудкина. По вечерам мне уже не надо было хорониться в зарослях сада, чтобы съесть яйцо, и я засиживался у пруда, глядя на опрокинутые там тополя и вязы, «не видя» широкую коммунарскую трубу, из которой тек и тек в черную бездну сизый дым, — тетка все варила и варила горох. Тот вечер был душный, тяжелый. На востоке, за пустым коммунарским сараем, беспрерывно моргали сухие, беззвучные сполохи, где-то далеко в Са-

ломыковке перехватно визжала свинья, — резали, наверно, и мне до боли в темени хотелось домой, в Камышинку... Я не заметил, когда Кулебяка подошел и разделся, и увидел его уже в пруду: разрушив все, что я там любил, он плыл глубоко под водой — длинный, худой, коричнево-смуглый. Я хорошо разглядел на его спине толстый белесый рубец, протянувшийся от левого плеча до правой лопатки, и, когда Кулебяка вылез на берег, я, не сходя со своего места, спросил:

— Чтой-то у тебя на горбу?

Он в подсиге сразу на обе ноги вздел штаны, таким же немыслимым приемом — сразу обеими руками и головой — вынырнул в подкинутую вверх молескиновую косоворотку и после того ответил:

— Это у меня кесарево сечение, дружок. Мужское-угловое-полуночное называется! Понял?

Я промолчал, а он лег поодаль от меня животом на землю, подпер голову кулаками и стал глядеть в пруд. Было тихо, тоскливо, и мне все больше и больше хотелось зареветь.

— Сашок! А ты знаешь, кто я такой? — таинственно спросил Кулебяка. Я подождал немного и ответил:

— Знаю.

— А ну, скажи.

— Ивгений Григорьевич Лариков, — сказал я. Он медленно обратил лицо в мою сторону, подмигнул мне одним глазом и по-бабски нежным голосом пропел на мотив «барыни»:

Ша-ариков-Жариков! Чубариков-Лариков!
Он по свету рыщет! И чего-то ищет!
Ша-ариков-Жариков! Лариков-Судариков!

Он опять подмигнул мне, а я подполз к нему на коленях и спросил как глухого, на ухо:

— Дядь Ивгений, а тебе нравится коммуна?

Кулебяка насмешливо оглядел меня своими желудевыми глазами и спросил сам:

— А тебе?

Мне хотелось, чтобы мой ответ понравился ему, — тогда б я легче и доверчивей рассказал то, что хотел рассказать — про Камышинку, про все, что я видел там, знал и помнил. А он перестал играть глазами и глядел на меня почти строго. Я подумал, что лучше ничего не говорить, а только кивнуть головой, как тому мужику,

что лежал на возу сена, когда я относил в Саломыковку курицу, и я кивнул, а Кулебяка вскинул руку и больно щелкнул меня в макушку тремя пальцами.

— С таким отцом, как твой, в коммуне только и жить! — сказал он. — А вот мать у тебя, видать, молодец!

Если б Кулебяка не подумал, будто тетка доводится мне матерью, я б сразу сказал про Царя, какой же он отец мне, но раз он подумал так, я ничего не стал говорить. Он помолчал, потом встал и пошел к коммуне, не оглянувшись на меня.

Уже почти ночью я поскребся к тетке на веранду. В Камышинке она раз десять за вечер покликала б меня, а тут за все время ни разу не позвала, не поискала. Боялась, наверно, кричать. Да и некогда ей... Она тихонько отворила мне дверь, пощупала в полутьме мой набрякший нос и спросила:

— Ревел, что ль?

По сырому, осипшему шепоту я догадался, что она тоже недавно плакала, и не стал признаваться.

— Гречишного чибричка хочешь?

Холодный клеклый чибрик горчил и прилипал к деснам. Я ел его, стоя у дверей, и, как только чибрик кончился, тетка сказала:

— Горячие-то они смачнее. Со сковороды если...

— А гдей-то ты взяла? — спросил я.

— Да тут... одна знакомая баба дала, — с запинкой ответила тетка.

— Дунечка, наверно, — догадался я, а тетка отвернулась и всхлипнула. Я притянул ее к себе за фартук и сказал то, о чем давно хотел ей сказать: — Пойдем домой, слышишь? Я не хочу тут больше... А за сундуком потом когда-нибудь приедем. С Момичем...

Она вырвала из моих рук подол фартука.

— Ты ж большой! Подумай только: как же мы явимся? Ить нас засмеют там! Проходу не дадут... Пешком, скажут, прибегли! Стыдобушки не оберешься! Ох головушка моя горькая!..

— Момич не станет смеяться! — сказал я.

— Ох нет, Сань! Давай потерпим... До Покрова погодим. А по осени соберемся и... В негоду нам будет справней. Люди тогда по домам сидят, а мы подгадаем под вечер... Протопим хату, каганец засветим, и все узнают, что мы дома. Зимовать, скажем, пришли. Какая

ж тут оказия! Ну давай погодим! За ради Христа прошу!

Мы посчитали, сколько осталось до Покрова дня, и я побежал спать. На крыльце коммуны, в вершинах колонн, что-то металось и посвистывало, — летучие мыши, наверно, и я подумал, как это председатель Лесняк не боится там один, наверху? А если пролезть к нему и — «ррр!», взять Царев кожух, надеть шерстью наружу и — «ррр!»

В общежилке было темно, хоть выколи глаз. Зюзя сидел на своей койке и чего-то ждал. Я юркнул под одеяло, а он махнул на меня рукой — «тихо!» — и сказал в пахучую темноту:

— Это шкет тут зашел! Давай!..

В общежилке так было неживо тихо, что я испугался — чего надо давать? Зюзя опять сказал: «Ну, давай», и тогда Кулебяка негромко и жалобно запел:

В воскресенье мать старушка
К воротам тюрьмы пришла
И в платке родному сыну
Передачу принесла.
Д-передайте д-передачу,
А то люди говорят...

— Ивгень, а, Ивгень! — предостерегающе позвал бывший повар. Кулебяка замолк.

— Ну чего ты там встреешь?— озлело спросил Зюзя.

— А то. Тюрем-то теперича нету? Нету! — сказал бывший повар.

— Ну?

— Вот и «ну». Теперича они называются домзаками!

— Человек про тюрьму спевал, а не про зак твой, кляп ты моржевый! — заглушенно, из-под подушки, видно, проговорил кто-то в конце общежилки.

— А мне какое дело, — смиренно сказал бывший повар, и тогда Кулебяка позвал его протяжно и ласково:

— Сем, а, Сем!

— А! — готовно и доверчиво отозвался тот.

— Хрен на! — сказал Кулебяка. — А завтра придешь, остальное возьмешь!

На женской половине захихикали, а бывший повар восхищенно и завистливо сказал:

— Ну и бродяга! Ну и сукин сын!

— Ивгень! А чего остальное аж завтра? Пускай бы разом все забирал! — крикнул Зюзя. Уже сквозь сон

я слыхал, как одна коммунарка говорила другой:

— Не бугородица, а бо-го-родица. Бога потому что родила, а не бугор...

Мне приснился тогда Покров день.

Недели две сгодя к нам в коммуну приехал, чтоб жить, тот самый саломыковец, что встретился мне с возом сена, когда я относил на волю свою курицу. Он явился под вечер вместе с женой на подводе, загруженной сеном и узлами. И сам саломыковец и жена сидели на возу согласные, умытые и наряженные, будто к обедне собрались, и в гриве мерина я заметил две ленты — красную и голубую, — вплели, наверно, перед тем, как ехать. Сено мы сложили в пустующую конюшню и туда же определили мерина, а чтоб пройти ему в дверь, надо было убрать рейку, в которую бил по утрам председатель Лесняк. Мы ее не сняли, а только перевесили на другое место, но там она прилегала к стене и не звонила, как раньше. Председатель Лесняк обиделся и перенес ее на старое место. Ни саломыковец, ни кто-нибудь другой из коммунаров не знал, как быть, — мерина ж надо было водить на водопой, а как ему пролезть в дверь, если там рейка? Может, с водопоем и уладилось бы потом, — ведро б нашли, а пруд рядом, — но в конюшне скоро не осталось сена, что привез саломыковец. Первым свой матрац набил им заместо истершейся соломы бывший повар, — сходил ночью в конюшню и набил, потом набили Зюзя с Кулебякой и все остальные, и в нашей общежилке запахло хорошо-чисто, как пахло, бывало, после троицы на камышинском лугу...

Пробыл у нас саломыковец недолго. Как-то утром тетка послала меня насобирать для растопки плиты прошлогоднего бурьяна-падалицы. Я побежал к конюшне и там у дверей с висящей рейкой увидел председателя Лесняка, — звонить, наверно, собрался, а ему помешал саломыковец. Он нес мерину беремя лопухов, — в саду нарвал, и председатель Лесняк посторонился, но саломыковец кинул лопухи на землю и сказал:

— Ну, лето, ладно, перебьемся... А как же в зиму?

Председатель Лесняк держал руки в карманах френча и глядел куда-то в сторону коммунарского пруда.

— Распорядок будет прежний, — сказал он и повел левым плечом.

— Это пускай, — согласился саломыковец, — а вот как насчет работы и... житья тоже? Ничего ить нету ни

по хозяйству, ни по еде... И нешто можно удержаться в таких хоромах не топя?

Председатель Лесняк что-то сказал отрывисто и сердито, и саломыковец рассерчал тоже.

— Да меня хлопец тут подбил, — сказал он. — Набрехал, а я и поверил. А теперь как ворочаться? И сено разволокли к чертям... А все тот поганец! «Хорошо, мол, казенное, вишь...»

Я спрятался за угол конюшни и не слыхал, что ответил председатель Лесняк. Мне подумалось, хорошо б пугнуть его ночью. Вывернуть Царев кожух и — «ррр!» И еще мне подумалось про Александра Семеновича Дудкина. Он, наверно, не захотел бы ночевать один на всем этаже, если б был тут председателем...

В тот же день, подождав темноты, саломыковец съехал. Жена его в повозку не села, пошла пешком. Саломыковка-то рядом...

Тогда несколько дней шел обкладной теплый дождь. В коммунарском саду непролазно разрослась крапива. Головки ее выметнулись в толстые, желтоватые кисти — цвела, и тетка сказала, чтобы я натянул на руку шерстяные чулки и нарвал крапивных листьев. Побольше. Чтоб сварить щи.

— А председатель Лесняк? — спросил я. — Заругается, как тогда.

— Да лихоманка его забери! — гневно сказала тетка. — Нам-то что? Мы тут с тобой не вечные! Поднимемся вон, как тот саломыковец — и домой! А люди тут за все лето зелени не пробовали. Ни снытки, ни щавеля...

Я нашел палку и стал рубить крапиву прямо под корень. Зимой в школе Дудкин три дня читал нам вслух про красного командира Ковтюха и белого генерала Улагая, и когда я считался Ковтюхом, крапива рубилась начисто и аж подскакивала выше моей головы, а как только делался генералом, она лишь гнулась и даже не ломалась под палкой: красной конницей была. Я не заметил, как врубился в самую гущину зарослей, где вместе с крапивой расселись кусты бузины и засохлого крыжовника. Там я и увидел неглубокую, выложенную круглыми камнями яму, а в ней черно-белого, мокрого и грязного теленка. Он полулежал, подогнув передние ноги и стоя на задних, и я разглядел, что это

бычок. Я поторкал в него концом палки, и он чуть слышно замычал, но голову не поднял...

Я долго сидел на краю ямы, свесив в нее унизанные белыми волдырями ноги, — обстрекался о поверженную крапиву, потом встал и пошел к коммуне. Тетка стояла на веранде, — ждала меня с крапивой, и я сказал ей издали, что иду за чулками. Голос у меня был хриплый и толстый. Он всегда делался таким, если я собирался залезть в чужой огород или сад. Боялся и хотел залезть. Коммунары в тот день не работали и сидели в общежилке. Кулебяка, одетый и обутый, лежал на койке. Я подошел и незаметно тронул его за ногу. Он покосился на меня одним глазом, а я кивнул головой и пошел к дверям. На крыльце я прислонился к колонне и стал глядеть на мокрую крышу конюшни. Кулебяка вышел и тоже посмотрел туда.

— Дядь Ивгений... там в саду теленок сидит в яме,— осиплым шепотом, глядя на крышу, сказал я, и ноги у меня чуть не подломились в коленках.

— В яме? Кто ж его туда посадил? — без интереса спросил он и цыкнул через зубы длинную кривулину слюней. Когда хочется есть, они, как вода, бегут. И откуда только берутся!

— Он сам залез, — сказал я. — Нечаянно ввалился.

— Ну и что?

— А ничего. Сидит и все, — еще тише сказал я. — Давно, наверно, ввалился, дурак...

— А чей он?

— Не знаю, — сказал я. — Саломыковский, может... Неш его найдешь там? Крапива такая, что... А он чуть мычит.

— А кто еще знает? Ты кому-нибудь говорил? Мать знает? — быстро и тоже шепотом спросил Кулебяка.

— Нет, — ответил я.

— А отец?

— Он не отец. Он только дядя, — сказал я. — Отца у меня на войне убило, а мать померла сама. От тифа...

Я впервые в жизни говорил об этом, и мне захотелось зареветь, и тогда я опять сказал о теленке: — Неш про его узнают когда? Сроду не найдут...

— Значит, Татьяна Егоровна тебе не мать, а тетка?

— Ей про все можно говорить, — сказал я. — Она хорошая...

— Ух ты, ковырялка моя! — сказал Кулебяка, приподнял меня и переставил на нижний порог крыльца. — Иди, посиди у пруда. И цыц! Понял? Никому!

Я отнес на веранду охапку крапивы и побежал к пруду, на свое всегдашнее место. Вскорости показался Кулебяка с Зюзей, и по своей крапивной просеке я провел их к яме.

— Тю! Да мне одному тут нечего делать, — недовольно сказал Зюзя. Они с Кулебякой полезли в яму, а я отошел в сторону и загодя приготовился засвистеть, если кто-нибудь покажется в саду.

Теленок мыкнул два раза, а потом в яме что-то засипело и запахло хорошо и уютно, как от Момичевой закуты...

Я так никогда и не узнал, что сказал Кулебяка тетке про мясо. Она сварила его сразу, ночью, в том же котле, где всегда готовила горох. Мясо мы спрятали в сундук, а дверь из веранды в сад оставили открытой, чтоб председатель Лесняк не учуял утром в столовке негороховый дух.

Впервые за время жизни в коммуне я не слыхал утром звон рейки, — проспал. На дворе было погоже, росисто и радостно, и тетка тоже была веселой. Она достала из сундука кусяку отвердевшей телятины, я спрятал его под рубаху и побежал в сад. Подломанные, но не срубленные вчера крапивные стебли успели привять, а от ямы уже ничем вчерашним не пахло. Я съел мясо и пошел в поле, мимо конюшни, куда всегда уходили коммунары с тяпками на плечах. Я шел и думал, как быть с дядей Иваном: дать или не дать ему попробовать телятины? Откуда он догадается про яму? Лучше б дать... Он ни разу не сшалопутил тут. И даже перестал надевать кожух. Только шапку не сымал. Ни днем, ни ночью. Как председатель Лесняк... Царь всегда кланяется ему три раза — сперва низко, в пояс почти, попом помельче, а в третий раз кивком головы, будто с разгона остановиться не может. Председатель Лесняк по-военному прикладывал тогда руку к козырьку своей выпуклой фуражки. Нравился, значит, ему Царь за это. А мне нет, хоть он и свой... Наверно, он останется тут, когда мы с теткой уйдем на Покров день домой...

Коммунары окучивали картошку. На саломыковских огородах она давно цвела, а эта не собиралась даже. Потому что росла в глинистом месте на берегу ручья,

а тут пырея полно. Да и навоза в коммуне нету. Кто ж его у нас наделает!

Когда я подошел, Кулебяка кинул тяпку и сказал:

— А ну-ка, Сашок, показывай свой рожок, годится ли он для спевки нашим бабам и девкам!

Он подморгнул мне — дескать, молчок, а я подморгнул ему.

Дяди Ивана на картошке не было. И Дунечки тоже. Она, наверно, пошла отсюда в Саломыковку побираться, — будто мы, мужики, не знали, откуда у баб-коммунарок появились разномастные куски хлеба к гороху на ужин. И чибрик, что дала мне тогда тетка, тоже был побируший! Я подумал: хорошо, если б Дунечка сманила побираться Царя. Тогда б тетка враз различила, какой стыд хуже, и мы бы ушли в Камышинку завтра или нынче вечером!.. Но дядя Иван, оказывается, ходил к ручью за водой. Ведро он нес вихляючись, то и дело переменяя руку, и я побежал к нему, отобрал ведро и сказал, что ночью дам ему большую порцию мяса и что есть его надо в саду или лучше в конюшне.

С того раза я стал ходить на работу вместе со всеми, — теперь, когда мне не хотелось все время есть, а помогать тетке не полагалось, целый день жить совсем одному было трудно...

До того дня, когда я нашел в яме теленка, Зюзя не замечал меня, кликал «шкетом», сторонился дяди Ивана и тетки, как будто раньше не знал нас, а мы его. Наверно, он боялся, что мы возьмем и расскажем тут, как его били в Камышинке за Момичева жеребца. После теленка, пока Кулебяка, тетка, я и Зюзя украдкой ели мясо, он быстро научил меня разговаривать «шир на выр», чтобы, кроме нас, никто больше не знал, о чем мы говорим. «Шир на выр» не разумел даже председатель Лесняк. Как-то утром, когда он только что кончил бить в рейку и коммунары становились в строй, Зюзя громко сказал мне:

— Шанька-сац, шуй-дуц в шеревню-дец, и шоглядипоц шасеку-пац. Шочью-ноц шудем-буц шед-мец шасть-крац. Шонял-поц?

— Шадно-лац! — сказал я.

Председатель Лесняк послушал, повел левым плечом и скрипуче сказал:

— Товарищ Бычков! Молодому коммунару не подобает болтать на попугайском языке!

— Шиди-тыц на шен-хрец! — глядя мимо председателя Лесняка, внятно сказал Зюзя. Кулебяка засмеялся и первым направился в поле мимо конюшни, — наверно, он прежде нас с Зюзей знал по «ширнавыровски»...

Мед я любил зимой и летом, днем и ночью, потому что за всю свою жизнь ни разу не наедался им досыта.

Я пошел в Саломыковку тем же путем, каким относил туда курицу, и возле окраинного сарая свернул в концы огородов, подальше от людей и собак. Там была узкая, крепко утоптанная тропинка, и я пошел по ней, пошел и пошел. В конопляниках пахло душно и хорошо, как в церкви, и свет там был смурно-голубой и текучий, как в камышинской речке, когда, бывало, нырнешь с открытыми глазами. Я шел и «узнавал» по огороду, на кого похож его хозяин. Когда ботва картошки доходила мне аж до плеч и цвела бело-бело, и над ней кружились пчелы, — саломыковец был у меня все равно как Момич. Только чуть пониже ростом. И без черной бороды. А если росло абы что — кукуруза, табак, бураки-семенники, повилика, осот, веники, — мне становилось тоскливо и чего-то жалко, потому что тот мужик, что развел это, был точь-в-точь как наш Царь. Или как бывший повар Сема... Я подумал, какой огород выдался б у Кулебяки. Наверно, все засадил бы одними подсолнухами!..

Пасеки все не попадались, да и какой дурак станет держать ульи прямо на огороде. Их надо было подглядывать возле палисадников, поближе к клуням, но мне не хотелось бросать голубую дорожку в конопляниках. Я шел и шел и незаметно очутился возле глубокого обрывистого лога, поделившего Саломыковку напополам. Тут была чья-то бахча. Дыни только завязались недавно, а их уже стерегли: возле куреня у обрыва сидел большой грустный кобель и двое ребятишек с меня ростом. Кобель не загавкал, но я остановился и стал глядеть в ту сторону лога, будто мне нужно было попасть туда, а я не знал как. Я стоял и думал о своем еще совсем новом картузе, о ситцевой рубахе, что была на мне, и про то, что я коммунар и живу в барском доме, а они вот сидят тут на жаре возле лога и глядят на меня, и, небось, завидуют, как тот мужик на возу сена... Они ж не знают про председателя Лесняка, про Царя, про Ду-

нечку-побирушку, про горох и общежилку... Они знают про другую коммуну. Про мою с теткой коммуну, что бывает по вечерам в пруду... И пускай глядят и завидуют. Коммунар все-таки я, а не они!..

Назад я шел еще медленней, — спешить было некуда и не с чем. Вечером я сообщил Зюзе, что пасек в Саломыковке нету. Он сказал, что я шен-хрец шоржовый-моц, и ушел куда-то один. Я немного посидел возле пруда, и когда в столовке закончился гороховый ужин, сходил на веранду за мясом. Зюзю я ждал до полночи и все думал на своей койке, что зря не сказал ему, во что завернуть мед, чтоб не вытек из сота. В капустные листья. Или в лопухи, как тетка тогда...

Он пришел, тихонько залез под одеяло и стал там хряпать не то яблоки, не то морковку, и я заснул только под утро.

Самым скучным днем — длинным, пустым и трудным — выходило у нас воскресенье. Тут ничего нельзя было поделать, потому что на работу мы не шли, а в саломыковской церкви с самой зари начинал звонить колокол, и у нас все просыпались и узнавали, что на дворе солнце, роса и праздник. Может, нам веселей было, если бы скорей наступила осень. Осенью в праздники, когда туман и дождь, некуда ходить и не нужно наряжаться, а летом дело другое. Летом хочется — и все, я хорошо знал это по себе и тетке. И воскресенья у нас всегда начинались одинаково. Сперва кто-нибудь один доставал из-под койки свой сундучок, отмыкал замок и начинал возиться там, тишком что-то разглядывать и перекладывать с места на место. Потом сундучки доставали все — и бабы, и мужики, и даже Кулебяка, и только мне, Царю да Зюзе нечего было доставать и перекладывать.

На тот наш с теткой последний день в коммуне тоже пришлось воскресенье. Я проснулся от колокола и увидел, что Зюзя грыз ночью не яблоки и не морковку, а огурцы, — в проходе между нашими койками валялись их пупырчатые жупки, а сам Зюзя спал, укутав голову пиджаком, заляпанным не то свежим коровяком, не то конопляной зеленью. Молча и неприветно, как будто все тут были виноваты в чем-то, а он один прав, коммунары возились в своих сундучках. Царь тоже сидел на койке

и сердито разглядывал кожух. Плановал чего-то. Может, воротник думал отпороть, — совсем обтерхался...

В саду, на корягах засохшего вишенника, я наколупал сосулек затвердевшей смолы, — с виду она все равно, что мед, — потом нарвал пучок дикой мяты, посидел у пруда и пошел в столовку: по воскресеньям тетка не варила, а парила горох, и тогда он не вонял плесенью. Я зашел в столовку через веранду, чтоб положить на теткину койку мяту, и от плиты увидел председателя Лесняка и всех коммунаров. В открытые окна солнце било прямо на столы, и пустые цинковые миски блестели, как стеклянные, и орден на председателе Лесняке тоже хорошо сиял и лучился. Я побоялся идти через кухню, раз она какой-то пищевой блок, и остановился, и в это время председатель Лесняк сурово и раздельно сказал:

— Придет время, товарищ Бычков, и на всем земном шаре раскинется цветущий сад одной великой коммуны! Это вам давно надо знать!

У него покраснела шея, но к Зюзе он не обернулся, потому что глядел на мои ноги. Я повернулся и побежал назад, и во дворе коммуны, прямо напротив дверей конюшни, где висела железная рейка, увидел знакомую повозку... знакомого, черного, с желтыми шматками пены на пахах жеребца... знакомую кумачную рубаху... Самого Момича. Я никуда не пошел и сел на нижний порог крыльца между колонн, в проходе. Я сидел, глядел на Момича и ничего не хотел, кроме одного, приплюснувшего меня к широкому, теплому камню: чтобы Момич не пошел в коммуну, к нам в общежилку. Тогда б я кинулся к нему, вцепился б в рубаху и повис и не пустил бы!

Но Момич не пошел. Он глядел-глядел на меня, потом позвал, не отходя от повозки:

— Александр! Ходи-ка сюда!

Я еще немного посидел и пошел к нему, и руки у меня размахивались разом, в одну сторону — назад и вперед, и идти совсем было трудно, и я не знал, как их заставить раскачиваться порознь.

— Ну, здорово тебе! — сказал Момич и протянул мне руку, а я так и подал ему обе свои, и когда он сжал их и потряс, я оглянулся на коммуну и заплакал.

— Ну во-от, встрел гостя! — протянул Момич. Он не отпускал мои руки и стоял наклонившись, и от бо-

роды его пахло, наверно, той желтой медовкой, — ехать-то пришлось через Лугань.

— Чего это ты? А?

— Живот все время... болит и болит, — пожаловался я, а он лапнул меня за плечи, пощупал их зачем-то и сказал:

— Ну-к и что? Ревом-то его не вылечишь, небось!

— Да я и не реву, — сказал я и опять оглянулся на коммуну.

— Животы, они часто болят у людей. Вроде бы ел тогда человек молоко, а отрыгается чесноком, — сочувственно проговорил Момич, глядя на меня испытующе и весело, — пил, наверно, ту медовку, раз ехал через Лугань. Я отвернулся от него и стал глядеть на жеребца и на немую рейку в проеме дверей конюшни. Мне было как в тот раз на парине возле Кашары, когда Момич сказал, что под наше добро подвод и подвод нужно, и скажи он теперь еще чего-нибудь насмешливое про нас с теткой или про коммуну, я б повернулся и ушел от него, может быть, навсегда. Но он шагнул ко мне, опять облапал плечи и сказал настойчиво, сердито:

— Ну ладно, не дури!.. Живешь-то как?

Если б он спрашивал не про меня одного, а про всех разом, — про тетку, про Царя, про всю коммуну, тогда б дело другое было, тогда бы я вытерпел и не признался, а тут... Тут я ничего не мог поделать — ни молчать, ни говорить, и я заревел снова, оглянулся на коммуну и крикнул Момичу:

— Ну чего стоишь? Давай скорей поедем отсюда! А то увидит председатель Лесняк и... Вон туда давай, за сад!

Он молча вскинул меня в повозку на бугристый мешок, набитый чем-то упруго-податливым, вспрыгнул сам и, крутнув петлей вожжей, приглушенно и озорно прикрикнул на жеребца:

— У-у, змей Горыныч, дава-ай!

Роса уже подсохла, и следы от колес повозки не были заметны, — я только и думал, чтоб они не виднелись на траве. За садом, возле развалившегося каменного вала, Момич придержал жеребца и, полуобернувшись ко мне, шепотом спросил:

— Тут, что ль?

— Тут, — кивнул я.

— Ну?

— Больше ничего, — сказал я, — за теткой теперь надо сбегать... А за сундуком потом когда-нибудь приедем, ладно?

— Да на черта он сдался вам! — нетерпеливо и бесшабашно — медовку потому что пил — сказал Момич и сразу же посерьезнел: — А насчет этого самого... Петрович-то ваш как? Вместе думаете ехать или...

— А ему только тут и жить! — твердо и в какой-то неосознанной обиде на Царя повторил я слова Кулебяки. — Мы с теткой одни собирались. На Покров день аж... А за сундуком потом хотели...

— Хотели! — недовольно хмыкнул Момич. — До Покрова, брат, далеко. Вы б лучше взяли и... — Он не сказал, что нам надо было взять и сделать, и распорядился, будто у себя возле клуни: — Беги за Егоровной. Живо.

Уже шагах в пяти от повозки я почувствовал все то, что бывало со мной, когда я собирался перелезть чужой тын, — пустоту в животе, полынный холод в груди, сердце под самой шеей и еще хрипоту: голос тогда у меня делался толстым и низким. Я толчками вошел на веранду и оттуда, через порог, опять увидел всех коммунаров, блескучие миски с радужными завитушками пара над ними и сияющий орден на оттопыренном кармане председателя Лесняка. Председатель Лесняк гонял ложку, будто наматывал клубок ниток, — стербал и глядел исподлобья на мои ноги. Я не переступил порог в пищевой блок, и тетка сама пошла ко мне, торопясь и оглядываясь. Я попятился в глубь веранды, к сундуку, и там привстал на цыпочки, чтобы сразу, в ухо под косынкой, сказать ей о Момиче. Она, наверно, подумала про что-нибудь плохое со мной, потому что тоже, как и я на веранду, двигалась ко мне толчками и шептала:

— Ох Сань! Ох Сань!

— Дядя Мося приехал! — хриплым шепотом сказал я ей в ухо под косынкой. — На жеребце! Мы вон там за садом спрятались! Иди скорей!..

Я выбежал в сад, обогнул угол коммуны и прошмыгнул в общежилку. Это было все равно, что рвать помидоры или огурцы, когда уже перелезешь межу: хватаешь какие и как попало, и думаешь совсем о другом, и глядишь не под руки, а совсем в иную сторону. Оттого я и захватил только подушку да одеяло, а пиджак забыл. Я еще в общежилке знал, что не взял его, но это вспом-

нилось уже после того, как я закатал в одеяло подушку и побежал. Это тоже как в чужом саду. Раз ты уже держишь зубами и руками подол рубахи, то никак не остановишься, чтобы сорвать самое, может, большое и красное яблоко, виси оно прямо над твоей головой, — тогда только и знаешь — бежать, бежать, хотя за тобой никто и не гонится...

Тетку я увидел за садом, в спину. Она шла, закинув руки за голову и расставив локти,—развязывала и опять завязывала концы косынки. Она, как при игре в жмурки, когда не знаешь, на что наступишь, высоко поднимала ноги, — наверно, обстрекалась в саду об крапиву и все боялась опять обжечься, хотя крапива возле вала не росла. Момич стоял у задних колес повозки и глядел на тетку. Они даже не поздоровались, потому что тетка остановилась шагов за пять от повозки и не отняла от головы руки. Момич стоял, одергивал на себе рубаху и молчал. Потом он переступил с ноги на ногу и сказал, будто оправдывался, не отводя взгляда от тетки:

— Еду, а там, гляжу, нынче ярманка... В Лугани. Так что... сундук, к примеру, можно сторговать любой.

— Да этот-то был... хороший, — прерывисто сказала тетка и беспомощно опустила руки. — С разводами...

— Ярманка ж, говорю, в Лугани! — просяще сказал Момич.

— Там заодно и иное протчее приглядим. Одеялы, подушки какие ни на есть...

— Господи, да как же мы без всего поедем, Сань!— обернулась ко мне тетка, а Момич опять сказал, но уже нам обоим:

— Ярманка ж, говорю, по пути! Что ж нам тут теперь!..

Тетка все же дважды прокрадывалась на веранду и возвращалась с незаметными узлами.

Как только мы сели в повозку и Момич погнал жеребца, мне, как и тогда в Камышинке, стало жалко и обидно за всех, кто не уезжал вместе с нами...

Тетка зря боялась, — никто над нами не смеялся, потому что приехали мы ночью. А если б и днем заявились, тоже ничего. Даже лучше б было. Сгружали-то мы все новое — и сундук, и два одеяла, и две подушки, и Момичев мешок, набитый чем-то съестным, а я как

оделся в Лугани в городской полусуконный пиджак, так и сидел всю дорогу. Всякий бы подумал тогда, что это нам в коммуне выдали. Какой же тут смех!..

Каганец мы все-таки засветили. Хата показалась мне невеселой, чужой. Она совсем занужила и даже ростом умалилась, будто присела. И пахло в ней как в погребе, хотя окно было выбито. Ужинать мы не стали, — в Лугани всего чего наелись, и, когда легли, я сразу притаился, будто заснул, а сам стал думать о коммунарском пруде, о Кулебяке, потом о Дудкине, о школе, об утильсырье, о своей хате. В печке под загнеткой у нас все время жили два сверчка. Теперь их не было. Ушли куда-то. Слушать-то некому... Когда я о них подумал, тетка засмеялась и сказала:

— Да спи ты, дурачок! Придут наши чурюканы... Как обживемся, топить начнем, так и явятся. Спи!

На заре, до просыпа села, Момич принес новую застекленную раму, — загодя до нас, наверно, сделал, — и торопливо владил ее в пустые лутки окна.

— Ежели хату обновлять задумаете, то возле клуни белая глина лежит. Воз целый, — сказал он по выходе.

Хату мы побелили внутри и снаружи. Мы целыми днями работали, никуда не отлучаясь, и никто над нами не смеялся, тетка зря боялась. Только один раз, когда я подметал двор, Момичева Настя подозвала меня к плетню и, оглянувшись на свою хату, спросила:

— Али не сладко было на чужой стороне?

— Много ты понимаешь! — сказал я и сплюнул, как Кулебяка. — Там, знаешь, какой дом? С десять или двадцать хат! А пруд, а все!

— Чего ж прибегли?

— Захотели и... приехали! — сказал я. — Перезимуем тут и опять уедем! Шоняла-поц?

— Ну-ну! — недобро засмеялась Настя и пошла прочь, потому что Момич появился на крыльце и встал к нам боком. Запоздай он немного, и я бы рассказал Насте, что нам навыдавали в коммуне...

Меня манили ракитники, речка, луг. За ними, в полях, прибойно ластилась и выпрямлялась спеющая рожь. Стояла истомная, преджнитвенная жара. Мы с теткой чуть дождались воскресенья. Она нарядилась, выставила надо лбом белый куль нового платка и попросила:

— Сань, ты меня дуже не жди. Возьми вон из мешка, чего знаешь, и поешь. Ладно?

В церковь, наверно, торопилась, — соскучилась по своим страшным картинам. Я пожалел, что картуз и ситцевая рубаха сильно заносились в коммуне, и надел новый пиджак. Через улицу я прошел в нем, а в ракитнике снял, — тут его некому было видеть. На берегу речки меня ждали мои давние потаенные закоулки, заплетенные по бокам лозинами и хмелем, заросшие прохладной травой-купырем. Таких мест-церквушек я знал не одно и не два, и в каждом мне сиделось одинаково,— не хотелось думать и знать, что все тут росло и береглось само, без меня. Я сидел в купыре, а ноги держал в воде, и в пятки мне то и дело щекотно торкались пескари, — осмелели без меня! Мне ничего не хотелось, — сидеть и сидеть, и ни о чем не думать, и не помнить. К моим ногам подплыл большой, кривой и совсем целый огурец, — наверно, в том конце Камышинки кто-то упустил нечаянно. Он застрял у меня между щиколоток, и я вытащил его ногами и съел весь целиком — холодный, не то горький, не то сладкий, первый в то лето. В ракитнике я просидел до полудня, а потом меня потянуло на выгон — к ветрякам, к околку и ко всем знакомым местам, чтобы все видело и знало, что я опять тут, в Камышинке. Трава на выгоне подсохла и уже побурела, зато у канав и прясел цвели розовые метелки придорожника. На них качались черные волосатые шмели, и когда я проходил, они ворочались и сердито гудели, и я прозвал их «момичами». Я постоял у каждого ветряка, обошел вокруг обмелевшего околка и завернул на дорогу, по которой мы с Момичем ездили метать парину возле Кашары. Дорога совсем обузилась, — с обеих сторон на нее навешивалась желтая поветь колосков. Я сделал из них толстый и важкий кропильник, — тетку хотел повеселить, нарвал беремя васильков, — тоже ей, и незаметно подошел к лесу. Тут сразу стало прохладно, — все равно как в сенцах, когда выбежишь за чем-нибудь из душно натопленной хаты, и пахло молозиевыми орехами, разомлевшим дубом и земляникой. Она уже переспела и опадала сама, чуть дотронешься, и ее надо было искать в гущине кустов, где поменьше солнца. Там она росла на высоких былках, и их можно было рвать под корень, чтоб получился пучок для тетки. Мне мешал пиджак, кропильник и васильковый веник, и я выбрал купу ореховых кустов, какие погуще, чтобы спрятать там все, а потом найти.

Я все так и сделал, как хотелось, — тихо и пригнувшись, чтобы незаметней быть одному в Кашаре, и когда вылез из кустов, то совсем недалеко, под низким толстым дубом на поляне, увидел тетку и Момича. Они сидели бок о бок, и голову Момича криво опоясывал величиной с решето лохматый венок из ромашек и васильков, — тетка, наверно, сплела, не сам же Момич! Они сидели прямо, строго и молча, будто только что поругались, и неожиданно тетка сказала:

— Мось, давай скричим песню!

Момич искоса взглянул на нее, но ответил сипло и мягко:

— Ну-к, что ж!

Тетка умостила ногу на ногу, подперла ладонью щеку и завела никогда не слыханное мной:

— *Ах ты, ягодка-а, самородинка-а...*

— *... распрекрасное мое деревцо-о!* — широким, притушенным голосом встрял сразу Момич. Я присел за кустами, и спина у меня похолодела отчего-то.

— *Ты когда взошла, когда выросла, ты когда цвела, когда вызрела?* — томительно-протяжно пела-спрашивала тетка, а Момич низко и раздумчиво гудел:

— *Я весной взошла, летом выросла, я зорей цвела, солнцем вызрела...*

И снова ласково-печально спросила тетка:

— *Ах ты, ягодка, самородинка, распрекрасное мое деревцо! Ты почто рано позаломана, во пучечики перевязана, по дикой степи поразбросана?!*

Что собирался пропеть-ответить Момич — не услышалось: сомлевший от благодарной радости ко всему, с чем мне довелось встретиться в этот беспредельный день, я вышел из-за кустов, подошел к тетке и Момичу и сел у них в ногах...

Домой мы возвращались вечером и шли гуськом, — сперва я, потом тетка, а далеко позади — Момич. Венок свой он повесил в лесу на дубу.

В хате нас с теткой поджидал дядя Иван. Он, видно, только что заявился, потому что сидел понуро и уморенно. Кожух его был без воротника — спорол.

— Сманили, змеи, а сами драла! — беззлобно сказал он нам и попросил есть. Я почему-то решил, что теперь он не будет шалопутить.

4

Трудное это дело — найти, когда ты совсем не ждешь того, а потом почти сразу потерять, и долго не знать об этом, и ходить, и думать, что оно есть у тебя. Тогда лучше не находить, чтоб не жалеть себя и не обижаться на потерянное...

Я лишь осенью, придя в школу, узнал, что Дудкина нету в Камышинке, — наверно, как ушел весной в какой-то волкомпарт свой, так и остался там... А я приготовился к встрече и нес ему в той же сумке с петухом большой кусок сота, — Момич когда еще дал, а я все берег, — обернутый пятью капустными листьями, нес свой новый, на погляд ему, пиджак; таил длинный, заученный наизусть рассказ о коммуне, — не о председателе Лесняке, общежилке и пищевом блоке, а о моей коммуне, потому что только такая она и годилась бы тому, кого ты любишь и хочешь, чтобы ему хорошо слушалось и радовалось. А заместо Дудкина к нам пришла новая учительница. Она не виновата была, что приехала в Камышинку, да только мне оттого проку не виделось,— я не хотел глядеть в ту сторону, где она стояла — коротконогая, с водянистыми выпуклыми глазами и рыжая, как одуван, и не хотел помнить, что зовут ее Евдокия Петровна. Дунечка!.. Она задала нам урок по вольному сочинению, кто, где и как провел лето. Это было то, чего я хотел, идя в школу. Я бы исписал про свою коммуну целую тетрадь, а потом на перемене, чтоб никто не видел, отдал бы Дудкину мед. Мы б могли попробовать его вместе. Отойти за школу, где утильсырье, и там съесть... На дворе был сухой и яркий день. От окна и к задней стене класса тянулся через парты круглый и толстый, как матица в Момичевой клуне, солнечный столб. Дудкин бы ходил и ходил в нем, а Дунечка опасалась его и стояла сбоку, в тени, как одуван в холодке подворотни. Я все время помнил о меде и незаметно залез правой рукой в сумку, — вытек или нет? Учительница колыхнулась и пошла к моей парте, минуя луч, а я уже вонзил пальцы в отрадную клеклость сота, и они там завязли и не хотели вылезать.

— Товарищ! Ты что там возишься? Почему не работаешь? — нелюдимо спросила Дунечка и потянула мою руку из сумки. — Что такое? Что это?

Она, наверно, испугалась длинноты моих пальцев, потому что с них свисали желтые медовые сосульки, и я сначала облизал их, а потом ответил:

— Мед.

— Что-о?

— Мед, — повторил я, и у меня опять получилось «мот». Кто-то из ребят стыдливо засмеялся, а Дунечка оторопело посмотрела на мою руку, приказала «работать» и пошла на свое место, в тень. Пузатой ручкой, накрепко прилипшей к пальцам, я написал в тетрадке пять слов — «Летом я жил в коммуне». Я написал это красиво и лупасто, — ручка не ерзала, а Дунечка дольше всех других читала мою тетрадь и взглядывала на меня, как раньше на мою правую руку.

— Ты на самом деле жил в коммуне? — будто пугаясь чего-то, спросила она меня издали. Я не ответил, а она подошла к парте и наклонилась над ней, и мне запахло улежалыми грушами, — ела, наверно, в Камышинке их много.

— Слушай, товарищ! Это ж изумительно! Встань и расскажи классу о коммуне! Обо всем, что ты там видел! Это ж изумительно!

Может, она ела не груши, а «коханки», — запах одинаковый, что у груш, что у дынь.

— Что ты там видел? Самое главное и интересное? Ну?

Она спрашивала с придыхом, пугаясь, волнуясь и радуясь, — все вместе, и я сказал:

— Пруд.

— Ну хорошо, пусть пруд. А еще что?

— Сад.

— А в саду?

Она не знала, как люто не любил я ее в эту минуту, — за Дудкина не любил, за свой пропавший, приготовленный ему рассказ о коммуне, за не замеченный никем тут пиджак...

— Что же было в коммунарском саду?

— Яма, — вяло сказал я. — А там теленок... Сидит и чуть дышит...

Под хохот всех учительница горестно сказала, что не мне бы жить в коммуне, не мне! Наверно, она разгадала, что́ я мысленно сказал ей по «шыр-на-выровски», потому что худшего ученика, чем я, среди четверяков для нее в ту зиму не было...

Вернись мы с теткой домой на Покров день, как она хотела, мы б опоздали на собрание, когда наш камышинский поп отрекался от бога. Собрание было в школе, на самый Покров день, вечером. Народу собралось — не пролезть: исполнители с самого утра гнали, а поп пришел поздно, и я впервые увидел его тогда одетого не в рясу, а в полушубок и штаны, как все мужики. Разом с попом, сзади, на собрание пришли председатель сельсовета, уполномоченный из Лугани и милиционер Голуб. Он был как на картинке о войне — в желтых перекрестных ремнях, с наганом и саблей. До этого я видел раза два Голуба верхом на коне. Серый, в яблоках, под высоким — казацким, говорили, седлом, голубовский конь не мог быть ни жеребцом, ни кобылой, ни мерином, а только конем, как на войне. Все, что я знал к тому времени из школьных книжек о Ковтюхе и Чапаеве, все это сошлось и остановилось для меня на живом, а не картиночном герое — на Голубе. В черном с белыми выпушками, коротком полушубке, в серой шапке-кубанке на ухо, в перекрестных боевых ремнях, с саблей и наганом по бокам, Голуб-Ковтюх-Чапаев командовал не одной нашей Камышинкой — что она ему одна! — но и неведомыми мне селами за нами — Чикмаревкой, Гастомлей и Липовцем. Может, оттого ему и нельзя было ездить шагом или рысью, а только галопом, пригнувшись к гриве коня, как при атаке на белую конницу генерала Улагая. Про Голуба говорили, будто он никогда не бывает трезвым, но это только возвышало его в моих глазах, — я решил, что ему на каждый будний день приходится какой-то свой престольный праздник...

Когда поп зашел, то снял в дверях шапку и поклонился собранию сперва в пояс, потом два раза помельче — точь-в-точь как наш Царь председателю Лесняку. Все, кто сидел на партах, встали, как виноватые, и до самого конца собрания я не видел больше Голуба, — мы с теткой поместились в самом заду. Не виден нам был и поп — спины загораживали. Он негромко, но явственно сказал, что по науке бога нету и не было.

— Значит, ты умышленно обманывал веками трудящий народ?

Нам с теткой не видно было, кто спросил это — уполномоченный из Лугани или Голуб. Поп что-то отве-

тил, но совсем неслышно, и тогда Голуб, — я по военности голоса догадался, что это он, — крикнул:

— Ты мне тут не пой по малиновому мосту, а давай говори правду, как показывал раньше!

В школе наступила душная тишина, а поп все молчал и молчал, и тетка стала зачем-то быстро оглядываться и суетиться, будто искала кого. Тогда и погасла лампа. Она стояла на верхней перекладине нашей четверяковской доски — большая, двадцатилинейная, может, и все время моргала — пыхнет и прижмурится, пыхнет и прижмурится. В темноте сразу стало прохладней и просторней, — люди зашевелились.

— Обманывал или как?!

Конечно ж это опять крикнул Голуб, — не успел при свете, и мне стало боязно и хотелось, чтобы поп скорей ответил ему.

— Ну?

— Заблуждался... с божьей помощью, — пискляво с переливами сказал поп, но никто не засмеялся, потому что сразу же, справа от нас с теткой, от печки, услышался всеми — и Голубом тоже — угрожающе-обиженный голос Момича:

— Слышь ты, служба! Поиграл с человеком, и будя!

Он подгадал к засвету спички — наш школьный сторож дядя Прохор стоял на табуретке возле доски спиной к собранию и светил самому себе, чтоб снять с лампы пузырь, но он был накален, и дядя Прохор понес спичку из правой руки в левую, — обжегся, видно, и спичка выпала и погасла, и в новой темноте Голуб протяжно и властно крикнул на собрание:

— Што-о? Кто сказал?

Была какая-то трудная и тягучая пауза, пока дядя Прохор не зажег вторую спичку, — может, Момич нарочно ждал, и когда лохматая тень дяди Прохора шарахнулась по потолку, Момич сказал удивленно и растерянно, — к соседям, наверно, обращался:

— Вы поглядите-ка! Верезжит аж...

Тетка могла и не толкать меня, отсылая к Момичу, я и сам уже двинулся к нему промеж частокола ног, неподатливых, как ступы. Тогда дядя Прохор справился и вздул лампу. Момич просторно, один, стоял возле печки и вглядывался из-под руки в сторону дверей, где были поп и Голуб, а слева от них — стол и за ним уполномоченный из Лугани и наш председатель. Мо-

мичу совсем не нужно было глядеть так, — там и без руки хорошо все виднелось, потому что люди раздвинулись и получилась дорожка — хоть Голубу к Момичу, хоть Момичу к нему. Свободно иди! Может, Момич и пошел бы к дверям, и тогда неизвестно, что было б, но я подшмыгнул к нему сзади и потянул за полу полушубка. Он и на меня посмотрел из-под руки, когда оглянулся, а я схватил ее в обе свои и прижался к печке. Я никуда не смотрел и не знал, держу ли я Момичеву руку-ковш в своих руках или же сам держусь за нее. Я только слушал — ступает или не ступает к нам Голуб...

Уполномоченный из Лугани долго и складно, будто всю жизнь ходил тут к обедне, — корил нашу церкву, и дядя Прохор раз пять влезал на табуретку и засвечал лампу, — она все тухла и тухла. На мне все было мокро, хоть выжми, и ноги скользили как по горячему илу, — со спины и живота пот стекал прямо под онучи в лапти. Если б лампа не тухла, то уполномоченному из Лугани легче б виднелось, кто подымал, а кто не подымал правую руку, чтоб закрыть церкву, но в темноте было трудно, — мало того, что душно, еще и не видать ничего, и он, наверно, обиделся на нас и закрыл собрание...

На воле светил месяц, брехали в камышинских дворах собаки — так, ни на кого, и не вовремя, рано, кричали петухи, обещая веселую ночь. По выгону растекалась дымно-седая пелена, и под лаптями ломко хруптела обындевевшая трава.

— Ты один тут? — спросил Момич.

— Не, мы вместе, — ответил я.

— Сомлел к чертям! — облегченно сказал он. Мы сошли к огородным пряслам, и Момич остановился там и снял шапку. Из нее, как из чугунка, валил пар. Камышане толпами вливались в проулок к селу. — Ты б сустрел Егоровну, пока я охолону тут, — сказал Момич, но тетка сама увидела нас с проулка. Мы пошли по выгону возле огородов, — иней тут был гуще и лучистей. Теткин куль сник и сбился, и шла она торопливо, то и дело оглядываясь по сторонам. Момич забыл, видно, про шапку и нес ее в руке.

— Евграфыч, ты на случай не запамятовал, сколько годов тебе? — неожиданно и укоряюще спросила тетка. Момич поспешно накинул на голову шапку и повинно приостановился:

— А што?

— Да по разуму-то ты вроде вон Саньки! Нашел с кем брань затевать?.. С пьяным человеком!

— Да неш я затевал? — искренне спросил он.

— Ну прямо как Санька! — к моему ликованию опять сказала тетка.

— А я, вишь, тоже рос без отца и матери, вот оно и... — обиженно проговорил Момич, а тетка качнулась к нему и пошла тесно и молча под мышкой у него...

Царь ни разу не сшалопутил, а Момичу то и дело приходилось бывать у нас во дворе: то картошку ссыпал в погреб, то мешки заносил в сенцы, то то, то другое, — он сильней, чем до коммуны, жалел нас с теткой и землю нашу в то лето не опустовал, обработал исполу, как и раньше. Когда он, справив, что надо, уходил, тетка неизменно спрашивала меня, если поблизости торчал Царь:

— Ну что б ты делал, коли б не соседи, а?

— Да в побирушки пошел бы! — глядя на нее, говорил я не ей, а Царю, потому что она тоже спрашивала это не у меня, а у Царя, и он ни разу теперь не сшалопутил и жил тихо и смирно. Он не вспоминал о дележке и не считал своими тех трех курей, что достались ему и не захотели ловиться, когда мы уезжали в коммуну. Ютился Царь в чулане и на печке, а мы с теткой жили во всей остальной хате. Нам лучше всего думалось и разговаривалось ночами, — в сенцах привыкли. Когда мы пришли с собрания и легли спать, я спросил у нее про церкву:

— Что ж теперь и праздников больше не будет?

— Да я и сама вот гадаю, — сразу отозвалась она, — может, другое что власти придумают, а то как же людям без звона-то!..

В том девятьсот двадцать восьмом, с рождества, тетке пошел сорок первый, а мне двенадцатый год. Потом, позже, я узнал из паспорта, что родился в марте, но тетке, видно, хотелось, чтоб года нам исполнялись разом, в один день, — вместе получалось веселей, и ни в Камышинке, ни во всем, может, свете никто так не встретил ту зиму, как мы с нею. Зима тогда насту-

пила поздно, — сырая, тяжелая кура́ повалила в ночь под самое рождество, а утром треснул безветренный мороз, и получится большой веселый иней — «ви́шай» по-нашему. Это когда снег опушает каждую ветку, каждый кол в тыну, любую былинку на огороде и лозинку на речке. По вишаю все чего-то ждешь — хорошего и чистого, и немного тревожишься, что оно возьмет и придет к тебе не вовремя, не теперь вот. Нам с теткой ожидалось это легко, только временами беспокойно делалось за вишай — вдруг мир разденется и станет опять прежним, всегдашним. Но ветра все не было и не было, и снег на деревьях окреп и утвердился. Меня не сильно тянуло в школу, а тетка не неволила. «В такую благодать да сидеть взаперти!» — сказала она, и я ходил туда через два дня на третий. Тогда с нами приключилось что-то непутевое, — мы не могли ни пообедать, ни поужинать, чтоб не расхохотаться. Как только мы садились за стол и Царь накидывал на плечи свой кожух, так на нас с теткой накатывался необоримый, как напасть от ворожбы, смех. Нам нельзя было взглянуть друг на друга, чтоб не прыснуть, и мы смеялись не над дядей Иваном, а оттого, что он думал, будто мы над его кожухом без воротника; мы хотели, чтоб не смеялось, а получалось еще хуже, Царь обижался и уходил в чулан, а тетка, уже через силу, говорила мне, что это у нас не к добру. Тогда я показывал ей на Момичеву хату, — под аршинным слоем снега на крыше она утратила свой обычный «момичевский» облик и походила на тетку с миткалевым кулем надо лбом.

— Видишь? — спрашивал я. Тетка не отвечала, а только охала и жестами высылала меня поглядеть, на кого похожа теперь наша хата. Наша выглядела как дядя Иван в шапке, но мне не удавалось сообщить это тетке, — она загодя махала на меня руками и падала на лавку, сморенная смехом:

— Ой, молчи! Ой, не надо, а то помру!..

У нас почти завсегда сбывалось то, чего мы хотели и ждали. Вот как с коммуной. Тогда полностью вышло все по-нашему: о чем задумали сначала и под конец, то и получилось, — тетка правду, значит, говорила, что сиротам земля кругла. И мы с нею зря долго не спали в ту ночь, когда вернулись с собрания на Покров день, — праздники не пропали, хотя церква с тех

пор стояла немой. Она оказалась ненужной, потому что и без колокольного звона в Камышинке не прекращался какой-то сплошной самодельный праздник. Он начался сразу, как только в кирпичной церковной сторожке открылась изба-читальня, а в опустевшем поповском доме поместился сельсовет с флагом над коником. Флаг был новый, большой и, видать, шелковый, как мой галстук, подаренный Дудкиным, и оттого, что его не снимали ни днем ни ночью, никому, наверно, не хотелось думать о буднях, а нам с теткой — и подавно.

За Момичеву Настю посватался тогда Роман Арсенин, и на второй день Момич зарезал своего черного быка и улицей, на виду у всех, кому захочется глядеть, принес нам целый кострец. Мясо он внес прямо в хату, свалил на стол и сказал не нам с теткой, а Царю:

— Вот, сусед. Перемерял журавель десятину, говорит: верно!

Царь ничего не ответил, — что ж тут уразумеешь, а Момич не уходил, стоял и ждал чего-то, и вид у него был не свой всегдашний, а какой-то угрожающий — не замай нас.

— Егоровна, а у вас ненароком не сыщется чего-нибудь в хлопушках? — обернулся он к тетке. Она с затаенной опаской взглянула на Царя и степенно сказала:

— Мы, Евграфыч, хмельного не держим. Но ежели нужно... и ежели вот хозяин не прочь, то добыть можно.

— А я и не прочь, — буркнул дядя Иван, глядя себе под ноги, и поежился под кожухом как от озноба. Тетка накинула на плечи тулуп и пошла было из хаты, но Момич повел на меня глазами и приказал:

— Александр! Сбегай-ка сам. Да поживей!

Он дал мне слежалую троячку, — загодя, видно, сготовил и прятал в кулаке, и я понесся в кооперацию. До нее было с версту. Она стояла под бугром, возле гати, и я понесся по льду речки, чтоб шагов десять бежать, а шагов десять катиться. В самой лавке и наруже толпились бабы, и у каждой под мышкой млел петух, — ситец давали в обмен на курей. Бутылку с водкой я понес домой в открытую, чтобы все видели и знали, что мы с теткой тоже празднуем. Я для того только и свернул в проулок, что сбегал из села к га-

ти, и там, под бугром еще, меня настиг Голуб. Он сидел на своем коне, с винтовкой за плечами и с шашкой на боку, и ехал шагом, потому что впереди шли три мужика в длинных поярковых зипунах. Двое из них несли на плечах сумки, а один шел без ничего, и, когда я посторонился, он, поравнявшись со мной, быстро сказал:

— Малый, ты чей тут? Передай, слышь, Арсениным, — мол, Данилу Губанова забрали. Из Чикмаревки...

— Поговори у меня, б... худая! — озябло крикнул Голуб и ударил плеткой коня. Те двое, что несли сумки, прибавили шагу, а Данила, оглядываясь на морду голубовского коня, опять сказал мне:

— Из Чикмаревки, мол. Не позабудешь, а?

Я побоялся ответить ему, спрятал в карман бутылку и пошел не улицей Камышинки — «собаки будут брехать», — а низом, по-над речкой.

В хате у нас вкусно пахло. Тетка возилась в чулане возле загнетки, а Царь и Момич молча сидели на лавке поодаль друг от друга. Я поставил на стол бутылку, выгреб из кармана серебряную сдачу и подал ее Момичу, но он отвел мою руку и назидательно сказал:

— Пряников бы набрал тетке своей. Не смикитил?

— А у ей и так ландрины по-за скулами не тают! — ехидно проговорил дядя Иван и взглянул на Момича коротко и свирепо. Со сковородкой в руках тетка высунулась из чулана и пошла к столу, глядя на Момича тревожно и недоуменно. Я подошел к лавке и сел между Царем и Момичем.

— Ну вот и мясушко поспело. Кушайте на здоровье и не буровьте, чего не след! — напутственно сказала тетка, сажая на середину стола сковородку. Момич ребром ладони вышиб из бутылки пробку, наполнил чашку и бережно подал ее Царю. Не глядя ни на кого, дядя Иван понес ко рту чашку обеими руками и пил долго, сосуще, неряшливо взрыгивая и дергаясь, — не привык. Момич искоса, брезгливо хмурясь, следил за ним и, как только Царь опростал посуду, спросил у него удивленно и заинтересованно, как о прибыли на двоих:

— Стало быть, не тают? Ландрины-то?

— Во-во! — озлобленно и звонко, как свое «дяк-

дяк», проговорил Царь и мясо не взял, стал есть хлеб.

— Ишь ты! — уважительно протянул Момич. Тетка перегнулась через стол, подсунула поближе к нам с Царем сковородку и сказала сухим и низким голосом:

— Господи, да отчего ж вы не едите? Чего это с вами?

Момич даже не взглянул на нее, а Царь оттолкнул сковородку и крикнул, хмелея и готовясь, видно, к чему-то плохому для всех нас:

— Убери к чертям и не егози! Раскудахталась тут!

У Момича медленно взломались и взъерошились брови. Они не опали, пока он наливал и пил водку — одним глотком всю чашку, как холодник в жнитву, и, когда он обернулся к Царю и с угрозой спросил: «Ландрины, стало быть!», я встал у него между колен. Момич посунулся назад, взял меня под мышки и понес в сторону от себя, как непорожний кувшин. На весу я и придумал ему тогда свою роковую брехню:

— Дядь Мось! Там возле гати Голуб Данилу Губанова убил!

Момич поставил меня на пол и даже оттолкнул, но я опять втиснулся промеж колен его.

— Саблей убил! Слышь, дядь Мось!

Я не говорил, а кричал. Момич мутно, вскользь взглянул на меня и спросил трудно, как из-под ноши:

— Кто убил? Кого?

— Голуб! Данилу.

— Какой такой Голуб? Чьего Данилу?

В хате наступила тишина, и мне стало страшно, потому что я сам поверил в то, что сказал.

— Какой, говорю, Голуб? — повысил голос Момич, глядя на меня не с добром.

— Что на попа верезжал! — сказал я.

— Ну?

— Данилу из Чикмаревки, что Арсениным родней доводится...

Я будто мчался под обрыв на салазках, когда в груди колюче шевелится страх предчувствия неминуемого падения, перемешанный с отрадой продолжающегося полета и упованием на его скорый конец. Перед ним всегда успеваешь подумать — больно будет или нет и останутся ли целыми салазки. Это кончается сразу, как только ты очутишься в голубых потемках сугроба, где тобой овладевает одно-единственное победное чувство —

скатился! Все это я испытал и в тот раз. Момич наконец уразумел, о чем я кричал ему, и неведомо кому сокрушенно сказал:

— Ну вот. Дай черту волос, а он и за всю голову...

Он встал и пошел к дверям, а следом за ним кинулась тетка, подхватив тулуп на руки. Царь подождал немного и, покосясь на дверь, каким-то хватко-воровато рывком сцапал бутылку. Если б он не обрадовался и не засмеялся, я, может, на несколько дней сохранил бы сознание предотвращенного, как мне казалось, большого несчастья в нашей хате, замененного мной тем, выдуманным, но Царь захихикал, и в недетском взрыве обиды и ярости к нему за свою неоплатную брехню я по-момичевски угрожающе сказал:

— Не замай!

Он встряхнул бутылку и плеснул мне в лицо холодной водкой...

Тетку с Момичем я догнал под бугром. Они торопились к гати, — тетка шла по тропе, а Момич сбоку, по колени в снегу. О том, что к гати незачем ходить, я сообщил им в спины шагов за двадцать. Момич выбрался на тропу и шагнул было ко мне, но его тут же окликнула тетка. Она что-то сказала ему и засмеялась. Момич оглянулся, примирительно махнул мне рукавицей — иди, мол, домой, и слез с тропы опять в снег. Они пошли не спеша, шаг в шаг, — наверно, в кооперацию сманились за чем-нибудь...

Я так и забыл спросить у тетки, зачем приходил к нам Момич, потому что со стороны Брянщины подул мокрый ветер, и белые сады разорились сразу. Несколько дней тогда стояла смурная и волглая погода, но, видно, той зиме суждено было проторопиться через нашу Камышинку, все равно как Настиному свадебному поезду, когда и хмель, и песни, и бубенцы, и невестин плач, и разноцветные полушалки, — все вместе: вишай сменил куржак, и выметнулся он тоже ночью, тайком после дождя, а утром проглянуло солнце о двух радужных столбах по бокам, и было тревожно глядеть на стволы и ветки ракит, на изгороди, повети и трубы хат, — все казалось непрочно-стеклянным, и все лучилось сизо-бурым негожим отсветом. По такой погоде трудней,

чем при вишае, ходилось в школу, потому что каленая пупырчатая наледь покрыла все проулки и взгорки, и кататься можно было как угодно — и стоя, и сидя.

В тот день мне опять не удалось попасть в школу: на обледенелой церковной паперти я еще издали увидел Митяру Певнева, присланного недавно не то из Липовца, не то из Гастомли заведовать избой-читальней в нашей бывшей церковной сторожке. Митяра ничем не отличался от камышинских неженатых ребят с того или с нашего конца, и никакого интереса у меня к нему не было. Он меня не знал, но позвал как своего дружка:

— Иди-ка на минутку!

На порожках паперти лежали лестница и ременные вожжи, а в скважине зеленых церковных дверей торчал большой медный ключ. Заячья шапка на Митяриной голове сидела накось, а шубейка была распахнута, будто он только что колол дрова и уморился.

— Постой-ка тут, пока я отомкну, — сказал он мне и опасливо, обеими руками, два раза повернул ключ. Створки дверей плавно — сами — раскрылись внутрь, а Митяра отступил ко мне, поправив шапку, и ожидающе заглянул в притвор. Там виднелись широкие деревянные порожки, огороженные гладкими и желтыми, как бублик, перилами, примыкающими к внутренним дверям церкви, и больше ничего. Митяра постоял-постоял и поднял лестницу.

— А ты захвати вожжи, — сказал он мне. Я захватил, и он пошел впереди, а я сзади. До того я был в церкви раза два или три — тетка водила глядеть на диковинные картины, и все, что я там увидел тогда, осело во мне беспокойством и испугом. Чарующий и какой-то вечерний — хотя видел я это днем — блеск свечей; косые полосы пыльно-золотистого света, проникавшие откуда-то сверху и пахнущие совсем не знакомым и жалобным запахом; распевно гулкий, не то кличущий, не то прогоняющий людей голос дьякона; неотрывные — прямо на тебя — глаза бородатых стариков с настенных страшных картин; поднебесная высота купола и гневный размах там божеских рук; осанка знакомых и незнакомых камышан — стоят, молятся и чего-то ждут, — все это в моем воображении отторгло церкву от того моего ручного мира, в котором я жил с

теткой и Момичем. В нем все было понятно, и я знал, что и откуда к нам пришло: Момичеву клуню мы поставили вдвоем — я и он. Все хаты, сараи, плетни и ветряки тоже построили люди. Трава, подсолнухи, сливины и ракиты росли сами, потому что после зимы наступало лето. Свежие огурцы пахли колодезем, а груши — мятой. Темно становилось оттого, что кончался день... Тут все было нужным и мне близким, а в церкви этот мой мир почему-то тускнел и уменьшался, а большой, недоступной и яркой делалась только она сама. Я не решался подумать, что ее тоже построили люди, — этому мешали ее непонятные запахи, краски, звуки и то придавливающее и цепенящее чувство, которое охватывало меня в ней...

Митяра толкнул лестницей двери, и на середине церкви я увидел рассветно тусклые световые столбы, подпиравшие бога под куполом, а за ними льдистый блеск позолоты икон и кивотов, вздыбленные перистые крылья ангелов и гневные глаза больших синих стариков. Я ощутил колючий холод, свою заброшенность и страх и снял шапку. Митяра обернулся ко мне и шепотом сказал:

— Зараз иконостас будем ломать...

В церкви зашелестело, как рожь под ветром, и я кинулся прочь. Наверно, Митяра выронил лестницу, потому что на паперти меня настиг заглушенный перекатный гул, будто гром над Брянщиной. Я побежал не в школу, а домой, чтобы рассказать про все тетке, и когда оглянулся, то увидел Митяру, уходившего по направлению к сельсовету.

Для тетки главное было, какие картины я видел и на какой стене — на правой или на левой. Ежели слева, то там страсти господни, а справа она и сама не знала что.

— Ты больше не лазь туда, — сказала она.

— А то чего будет? — спросил я.

— Мало ли! И молоденчик может приключиться, и белая ужасть, и черный чемер... Пускай они сами ломают!

Мы с теткой никогда не доедали до конца борщ или похлебку, потому что свою миску — у Царя была отдельная — каждый раз наполняли с краями, — иначе не-

весело елось, и хлеб тетка резала большими скибками, и солили мы его так, что он аж хруптел, а потом черпали из ведра по полной кружке свежой воды и пили, как в жнитву — долго и сладко. Мы сроду не узнавали заранее, сколько дней проношу я новые лапти, когда кончится пшено и мука, хватит ли нам дров, чтоб протопить завтра печку. Мы не любили короткие однодневные праздники и летучие события; нам всегда хотелось, чтобы все интересное, что случалось в Камышинке, продерживалось подольше. Я так и не узнал, один или с кем-нибудь из сельсоветчиков Митяра порушил иконостас в церкви. В тот день у нас в школе не было уроков, — учительница куда-то ушла, и по дороге домой я завернул к церковному проулку, чтоб скатиться. Мне нельзя было миновать бывшую сторожку, и на ее крыльце я увидел большой ворох чего-то блескучего, как огонь. Я сразу догадался, что там лежало, — церковные двери были полуотворены, и когда подбежал к крыльцу сторожки, то не знал, что хватить: то ли медные, унизанные голубыми и зелеными глазками лампадники, то ли смугло-белые — с Момичев кулак — шары, то ли квелые, похожие на сабли, жестяные полосы, то ли еще чего, кроме икон, которые я «не видел». Я выбрал несколько шаров и двух золотых деревянных боженят — одного чтоб себе, а второго тетке. По проулку я катился сидя, и шары гудуче звенели у меня сзади, потому что сумка волочилась по наледи. Когда я опростал дома сумку, тетка заглянула в нее и спросила:

— И все? Что же там... нешто ничего кроме не было?

— Иконы одни, — сказал я, умолчав про лампадники. Тетка «не услыхала» и стала привязывать шар к лампе, чтоб он свисал над столом.

— Он же над «его» миской будет, а не над нашей, — шепнул я ей и кивнул на печку.

— Ну нет уж! Дудки! — сказала тетка и оборвала на шаре нитку. Мы долго гадали, куда их привесить, и оба нарочно не глядели на боженят, чтоб обрадоваться им после. Я предложил положить шары на уличное окно, — пускай видят все, и тетка сразу было согласилась, но потом поглядела на Момичев двор и сложила губы в трубочку.

— Ну ладно, давай на то окно примостим, — сказал я и пошел искать кирпичи: без подставок шары не

выглядывали б из-за рамы, — Момич сделал ее плотной и высокой.

С боженятами возни было еще больше, — куда ж их приладишь в нашей хате...

5

После Настиной свадьбы на Царя опять напало шалопутство. Он опять стал «дяк-дякать», как только замечал Момича, а после порывался бить тетку. Она тогда садилась на лавку и каменела, глядя на него скорбно, гадливо и беззащитно. Я доставал из-под лавки широкий осиновый пральник и садился рядом с теткой, а Царь пятился в чулан и оттуда ругался Зюзиными словами. Мне-то от них ничего не делалось, — на улице я слыхал похуже, а у тетки некрасиво острился и дрожал подбородок, и в эту минуту нельзя было утешать и жалеть ее — сразу б расплакалась.

И мы стали ждать, когда можно будет переселиться в сенцы. Как-то в полдень я снял с повети сарая самую длинную сосульку и понес напоказ тетке.

— Видишь?

— Ох, Сань, она ж голубая, мясоедская, — сказала тетка. Мы верили, что вороны закликают мороз и куру, и я сгонял их со двора и проулка, а над крыльцом привесил дуплистый ракитовый чурбак — скворцам. За день до масленицы Момич скрытно подложил под наше крыльцо уклунок гречишной муки и большую желтую бутылку с конопляным маслом. Незаметно от Царя мы прибрали все в хату. Вечером тетка завела тесто для блинов, а я стал скрести кирпичом сковородку, и под ее отрадное пение Царь спросил с печки, что я делаю,— догадался, видно, про муку и масло. Тетка загодя присела на лавку, а я поплевал на сковородку и пустил кирпич так, чтоб ничего не было слышно. Я сидел на полу спиной к чулану и не видел, как вылез оттуда Царь и выпадом ноги, сбоку, вышиб из моих рук сковородку. По привычке я кинулся за пральником, а Царь схватил с окна бутылку с маслом. Он замешкался, выбирая обо что ее треснуть — об печку или об порог, и тогда тетка сказала мне не то шутя через силу, не то взаправду:

— Ты б сбегал к Халамею. Пускай он отвезет его опять туда...

С бутылкой в откинутой руке Царь помешанно оглядел нас по очереди и спросил как в тот раз, весной, когда испугался сумасшедки:

— Куда отвезет? Кого?

— А тебя! — сказал я. — В коммуну.

Он, наверно, забыл, что собирался сделать с бутылкой и побежал в чулан дробно, вихляючись, как за внезапной старческой нуждой, и мне хотелось заругаться на него и заплакать — все разом.

— Гляди, не разбей бутылку, — попросил я его, невидимого, — это ж масло. Завтра блины будешь есть, дурак ты такой!

Он оставил бутылку на загнетке, а сам юркнул на печку и затих.

...А масленицы и не нужно было — ни тетке, ни мне, ни Момичу, ни целому свету, но кто ж об этом знал-догадывался, и нешто я не разорил бы свой скворечник и не прикормил бы ворон, чтоб только отдалить-отринуть то, что случилось тогда со всеми нами!..

Теперь трудно сказать, кто сманил тетку на церковную площадь, когда камышинские бабы с того конца привели туда Митяру Певнева и кооперативщика Андрияна Крюкова. Это было на четвертый день масленицы и на второй после того, как Митяра и Андриян скинули с церкви крест, а на его место поставили флаг, — такой же большой и веселый, как над сельсоветом. Митяру и Андрияна бабы привели на выгон в обед. Мы с теткой совсем не знали об этом, и я пошел в школу, а она...

Теперь трудно сказать, кто подбил-покликал ее к церкви!

Ни на троицу, ни на самого Ивана-Предтечу — наш престольный праздник, не сбивалось в одну кучу-хоровод столько баб-камышанок, как тогда. Они были в будней одежде, а галдели, как перед каруселями, и ни одного мужика, кроме Андрияна и Митяры, — нигде. Когда учительница, глянув в окно на церковную площадь, распустила нас на середине ненавистного мне урока по арифметике, мне б сразу побежать и протиснуться промеж баб, окруживших Митяру с Андрияном, — там-то и была тетка, а я, дурак, понесся глядеть свергну-

тый крест. Железный, черный, двухсаженный, пудов на восемнадцать, он лежал в разметанном сугробе по левую сторону от притвора и был совсем целый. Бабы и хотели, чтоб Митяра с Андрияном поставили его обратно на свое место, а те не знали как, — сверзить-то легче, и никто не знал, оттого и галдели все и не видели, как от сельсовета прямо на корогод помчался Голуб. Он мчался, как на картинке из книжки, и переливчато свиристел в свисток, — я давно подглядел его — маленький, роговой, засунутый в кожаное гнездо на левом переплечном ремне. Если б Голуб свистел через кулак или просто по-пастушечьи, тогда б дело другое, а тут... Бабы в первый раз услыхали этот не ручной и не губной свист и хлынули в проулок, как вода с поля. Я взобрался на стенку ограды и оттуда увидел тетку. Она, дурочка, не кинулась со всеми и осталась зачем-то стоять возле Митяры Певнева и Андрияна Крюкова. Голуб не погнался за бабами, — они и так хорошо бегли, и налетел на одну ее — плотную. Тетка не отступила и даже не присела, она только вскинула руки к морде голубовского коня, и он встал на дыбы, а Голуб...

Может, он, чужой у нас, не знал, какие длинные рукава пришивались к бабьим тулупам в Камышинке — узкие, длиной в полтора аршина, чтоб он сидел на руке густой и красивой сборкой. Голуб этого не знал, не свой у нас в Камышинке, и оттого испугался пустого, отороченного красным гарусом теткиного рукава, — может, тот гарусный узор показался ему чем-нибудь опасным, красное над снегом всегда страшно, — он что-то крикнул, пригнулся-прилип к холке вздыбленного коня и выстрелил из нагана незвонко и хрупко, будто сломал сухую ракитовую хворостину. Я на всю жизнь запомнил подкинуто-летящие в воздухе рукава теткиного тулупа, когда она падала, запомнил круглый, с куцо обрубленным хвостом серый круп голубовского коня, в подбрыке, с ярым овсяным гуком пересигнувшего через тетку, запомнил согнутые спины Митяры и Андрияна, убегавших с площади в разные стороны. Я запомнил это потому, что сразу же зажмурился и побежал сам, и все виденное застыло перед моими глазами на одном месте, как картина на стене в церкви.

Момич сидел перед лавкой на опрокинутой мерке и чинил пахотный хомут, когда я отворил дверь и крикнул:

— Голуб тетку убил!

Он не бросил хомут и сам крикнул на меня сидя:

— Ты чего брешешь такое? А?

— Из нагана! Возле церкви! — опять прокричал я, и он поверил — я это понял по тому, как откинул он в угол хомут и отшвырнул ногой мерку. Он схватил полушубок и нагнулся под лавку, — что-то искал и не находил, — рукавицы, наверно, а может, другое что.

До выгона я бежал впереди, а он сзади и все время просил меня, как тогда летом:

— Александр! Погоди!.. Погоди, говорю!

На выгоне я отстал от него сам. Кроме нас двоих, тут никого не было, и из села не доносилось к нам ни единого звука, будто оно вымерло, и Момич то и дело оглядывался на меня и подгонял:

— Скорей! Скорей, сгреб твою...

В своем длинном дубленом тулупе тетка лежала на пустой площади, как упавший с воза сноп. Момич и поднял ее, как ржаной сноп,— легко и бережно-хватко, и, качнув на руках, бело-черный и страшный в лице, позвал-окликнул ее как из-за тына:

— Егоровна!

Полы теткиного тулупа раздуло ветром, и ноги ее в отсыревших лаптях обвисше-кволо стукнулись о Момичевы колени. Он подкинул ее, перемещая руки, и позвал опять, но уже с угрозой и страхом:

— Слышь? Егоровна! Ты чего это? Ну?!

Я кинулся было к церковной ограде, чтоб спрятаться и подождать,—может, тогда, без меня, быстрее всего пройдет и с теткой и с Момичем, но в это время он захлебно зарыдал в голос и пошел по выгону, неся тетку на протянутых руках. Он шел не по дороге, а сбочь, как в тот раз, когда они сманились вдвоем в кооперацию, торя в сером ноздреватом снегу глубокие темные ямки. Через ровные промежутки он вскидывал-нянчил мертвую тетку и охрипло взрыдывал — гых-гых-гых, глядя сам поверх ноши, в недалекое небо над Брянщиной. Я до сих пор не решил, кому было тяжелей идти, — ему впереди или мне сзади, потому что ступал я по его следу-ямкам, — иначе, одному на дороге, мне было жутко. Я брел и выл без слез и усилий на одной какой-то зверушечье-призывной ноте. Момич ни разу не оглянулся

на меня, а на проулке, недалеко уже от нашей хаты, он не то уронил, не то по воле сложил тетку в снег и сам упал рядом и завыл, как я. Там, на церковной площади и на выгоне, пока мы шли, я боялся и не хотел взглянуть в лицо тетке, и только теперь на проулке увидел ее полуоткрытые и по живому чистые глаза. Они были сухие, и лоб под сбившимся платком блестел разглаженно и крепко, и подбородок круглился покойно и мягко, — наверно, не успела ни испугаться, ни заплакать... Потом Момич опять подхватил-подкинул тетку, а я отрыл в снегу его шапку и понес ее тоже в обеих руках.

Дядя Иван встретил нас в чистой рубахе, умытый и причесанный, — кто-то, видно, успел сказать ему о случившемся возле церкви. Мы положили покойницу на лавку головой в святой угол, и под Момичев взрыд Царь сказал умиротворенно и прощающе:

— Доигралась-таки!

Момич кивком головы выслал меня во двор и почти следом вышел сам, — без шапки, с голыми руками, обвисшими вдоль полушубка. Он больно ущемил меня за левое плечо, и мы сошли на проулок и двинулись прежним путем на выгон. У чужого прясла, на дальнем виду взметнувшегося над церквой флага, я отцепился от Момича и ногой сломал круглый ольховый кол. Момич стоял и глядел вперед, на дорогу к церкви. Я подал ему кол, и он принял его в правую руку, а левой опять ухватился за меня и повернул, опираясь на меня и на кол, к своей клуне. Мы шли по снежной целине, и я думал, что кол понесу потом сам, а он пускай идет с тем, что забыл в клуне... Мы ее сами — он и я — сделали, когда старую поджег Царь... Тогда рясно цвели сады, и вода в ведре была холодной как лед, а тетка взяла и пришла с охапкой одуванов... Нет, это было сначала, а уже потом... Потом они сидели под дубом, и на Момиче был венок... «Саня? Не-ет, мы с ним сироты»... А что тогда крикнул Голуб? И зачем он обрезал хвост у коня?.. И куда я теперь дену теткин тулуп?.. Рукава-то так навсегда и останутся поднятыми и пустыми!.. Совсем-совсем пустыми!..

Клуня, крыша нашей хаты, и снег, и все, что я видел, колыхнулось и поплыло в сторону от меня, а я задохнулся и полетел в красную высоту, и Момич полетел со мной вместе...

Я сидел в клуне у подножия сенного скирда, а на коленях у меня лежал желтый комок снега— Момич слепил. Я откусил от него, но он горчил и пахнул слежалой соломой и мышеединой. Я не забыл то свое, зачем, как мне казалось, мы вернулись с выгона, и встал. Тогда Момич молча и легко всадил меня на скирду, и я сам догадался, что нужно было делать, — на поперечниках кроков лежали, как восковые, толстые ракитовые доски. Я скинул пять штук, и он ничего не сказал, хватит их или нет.

В клуне мы пробыли до ночи. Гроб получился длинный и широкий, как на двоих. За все время мы ни слова не сказали друг другу, и, когда заперли клуню и я пошел к своей хате, Момич догнал меня и опять ущемил плечо.

— Ходи со мной, — не то попросил, не то приказал он. На его дворе по-весеннему отсырело пахло прелью закут. Подтолкнув меня под навес сарая, невидимый в темноте, Момич с тоской и натугой спросил:

— Как было... Видал аль нет?

Я рассказал, что знал, с самого начала и до конца.

— А она?

— Свалилась, — сказал я. — Сразу. Может, ей не больно было, оттого и...

— Чего? — оторопело спросил Момич.

— Так, — сказал я.

Из трубы нашей хаты поднимался белесый вялый дым, а окно, выходившее в сторону Момичева двора, было чуть-чуть желтым: наверно, дядя Иван перенес лампу к себе в чулан, — давно грозился...

Сердитая и наряженная, как в праздник, Настя сидела за столом и лузгала подсолнухи, — пришла отца проведать.

— Доигрались? — словами Царя спросила она у меня и умалила свет в лампе, — фитиль был вывернут до отказа и аж коптил. Я ничего не ответил, и Настя сказала опять:

— Нужно ей было, суматошной, кидаться!

Как чужой в своей хате, не раздеваясь, Момич присел на конце лавки возле дверей и замедленно-натужно обернул лицо к Насте:

— Куда такой... кидалась она?

— А на минцанера! — с вызовом сказала Настя и, не глядя на нас, опять заработала-залузгала озлобленно и быстро.

Целой и крепкой, — ее и тремя пулями не изничтожить! — в углу лежала мерка, а рядом — хомут.

Их-то обязательно возьмут и приберут, а теткин тулуп, платок, лапти... Куда я все приберу-дену? Куда?

— Ходи, сядь тут, — сказал мне Момич и так же глухо и смирно спросил Настю: — Не знаешь, там пришел кто... к покойнице?

Настя смахнула с губ шелуху семечек и промолчала. Момич прошел в угол, где лежала мерка, и слабым пинком ноги загнал ее под лавку.

— Побудь тут, я зараз приду, — сказал он мне и ушел, — в расстегнутом полушубке, без шапки. Потом я узнал, что он ходил на соседский куток просить бабку Звукариху, чтоб она обмыла и обрядила в смертное тетку.

В нашей хате всю ночь чуть-чуть светилось окно, где стояли шары, и всю ночь выл Момичев кобель, — волка, должно, чуял...

Мы не дождались дня, и нам никто не повстречался ни на проулке, ни на выгоне. Я до сих пор не понял, почему Момич заставил меня нести тяжелый длинный лом, а сам шел с лопатой, почему он, когда я спотыкался и падал, упрашивал меня, как о милости...

— Неси за ради Христа... Неси его сам!

Когда до погоста оставалось с полверсты, Момич свернул с дороги и пошел к нему напрямик, полем, минуя сельсовет и церковную площадь. Он шел не сгибая ног, прокладывая мне сплошную снежную борозду, и по ней я волочил лом.

Крестов совсем не было видно, — замело; и снег над могилами слежался плотней, чем на выгоне, — даже Момич не провалился. Мы выбрали место сразу, — на всем погосте, прямо у края канавы от поля, росло одноединственное дерево — колючее, шатристое, с черным комом давнего сорочиного гнезда на макушке. В рассветной мути дерево казалось маленькой церквой с куполком без креста, и мы подошли к нему с восточной стороны.

— Тут, — сказал Момич и забрал у меня лом...

Возвращались мы в полдень по своей прежней белой борозде, и лом опять нес я. Возле клуни Момич при-

остановился и, не оборачиваясь, сказал не то самому себе, не то мне:

— Оттуда ж солнце видать на восходе... ежели головой к дереву.

...Ножки у скамейки были неровные и вихлючие, и я сходил в клуню и набрал щепок. Момич поставил скамейку на середину хаты, и, когда хотел подложить щепки, Царь подступил к нему и протянул руку:

— Дай суды!

Момич выпрямился и непонимающе тупо уставился в макушку Царя.

— Дай, говорю! Ну? — повторил Царь. Желтые, когтистые пальцы воздето протянутой руки его шевелились и подрагивали, и я потянул Момича за полу полушубка и сказал, чтобы он отдал щепки.

— Это... зачем они ему? — силясь что-то осмыслить, спросил Момич, пряча щепки за спину.

— Он сам хочет! Пускай он сам! — сказал я, и Царь ошалело подтвердил:

— Я сам! Сам!

Гроб от дверей до скамейки мы несли вдвоем — Момич и я, а устанавливал его Царь в одиночку. Мы еще в клуне, когда вернулись с погоста, умостили в нем длинный, перевитый повиликой и засохлой синелью, сноп сторновки, обернув его колосками к ногам, а огузком к изголовью. Он был глубоким и просторным, и мы положили туда беремя лесного сена. Царь ненужно долго кружил и суетился возле скамейки, взрыхлял и уминал в гробу сторновку и все покашливал озабоченно и строго, — в первый раз почуял себя сильным. Момич стоял лицом к дверям и качал себя влево и вправо, влево и вправо, и перед моими глазами то возникал, то пропадал конец лавки и косо вздыбившийся на нем бугорок замашной простыни, — теткины ноги...

— Ну все, а то смеркнется. Все! — по-своему властно сказал Момич и обернулся к лавке, и я впервые, пока был в хате, заглянул дальше, в угол, под боженят...

Звукариха по-живому покрыла тетку платком, — с кулем над лбом. Лоб у тетки по-вчерашнему светился и выпячивался, и только нос был острый, прозрачно-бумажный, не ее. Из уголка накрепко сжатого теткино-

го рта под шею сбегала бурая ветвистая струйка, будто тетка закусила стебель какого-то диковинного цветка...

Мы с дядей Иваном сидели в задке саней, спиной друг к другу, разделенные гробом, а Момич до самого погоста шел пешком. Уже смеркалось. Сырой, колючерьяный ветер дул нам встречь. Пустые ржаные колоски, выбившиеся из-под крышки гроба, трепыхались и жужжали прерывисто и туго, как словленные шмели. Всю дорогу жеребец всхрапывал и косил назад, и Момич каждый раз охал и осаживал его, заваливаясь на вожжах.

Похоронили мы тетку головой к дереву.

6

Я спрятал в сундук тулуп, онучи, лапти, шары, боженят и все, что бралось в руки, а остальное — хата, двор, коммуна, церква, небо, день и ночь — осталось...

Мне казалось, что если очутиться возле ветряков или в лозняке на речке, то тогда сразу позабудется все и станет как при живой тетке, но оттуда меня тянуло в другое место, а от него опять на новое...

По утрам Царь гнал меня за водой, а мне не хотелось встречаться с чужими бабами,— они загодя, шагов за десять, сворачивали на обочину проулка и оттуда, клонясь над коромыслами, глядели на меня испуганно и враждебно, будто я собирался поджечь их дворы...

В школу мне не хотелось, да и в чем бы я понес тетрадки и учебники? Сумку-то я спрятал в сундук, на самое дно...

Наша хата нужела и паршивела: мы не подметали пол, не выносили помои, и я ждал, и хотел, чтобы Царь подпалил ее нечаянно, — он разорял сарай и докрасна накаливал печку сухими жердями. Но хата не загоралась. На пятую ночь без тетки объявились сверчки, — может, духоту и угар почуяли, а может, им пришло время возвращаться домой...

Под окном своей хаты Момич повесил рушник, а возле него на завалинке поставил блюдо с водой, — теткина душа, сказал, целых шесть недель будет летать тут, и надо, чтоб ей было чем умываться и утираться... Почти каждый день он куда-то уезжал то верхом, то в санях, а возвращался поздно, замерзший, хмельной и смирный. Я поджидал его возле клуни или на выгоне, и он всякий раз говорил мне одно и то же, непонятное:

— Ох, Александр, не дай бог сук-кину сыну молоньёй владеть. Ох, не дай!..

Потом я узнал, что Момич мотался тогда в Лугань,— искал там управы на Голуба. Может, он и нашел бы ее, если б Голуб не повстречался ему на дороге сам...

В ту последнюю поездку Момича мы разминулись с ним: я ждал его на выгоне, а он подался низом мимо кооперации, — не хватало, вишь, выпитого в Лугани. С выгона я прошел к клуне и уже в темноте посшибал с ее повети все до одной сосульки, — кому они теперь были нужны, хоть и желтые!

Под слепо-черным окном Момичевой хаты пугающе белел и шевелился рушник. Сани стояли возле крыльца, а упряжь и пихтерь с сеном валялись у плетня. На улице за воротами дробно гукал бубен и вызванивали балалайки. В расступившемся кругу ребят и девок, не в лад переборам «барыни», Момич грузно топтал сапогами свою шапку и, на потеху всем, рычал-присказывал:

Хоть пой, хоть плачь!
Хоть вплавь, хоть вскачь!
Ух-ух-ух-ух!

Я пролез в круг, поднял шапку и вытряхнул из нее снег. Момич надел ее задом наперед и ныряюще пошел к воротам. Под их навесом в гулком и темном затишье он обнял верею и заплакал, как тогда на проулке.

— Видят же все, пойдем домой, — сказал я, и он пошел, ухватясь за мое плечо. Он шел и косился на нашу хату, и от него пахло пихтером с сеном и цветущей гречихой, — медовку, видно, пил...

Утром в приречный ракитник прилетели грачи. Я оставил ведро у колодца и пошел к ним. Они, как куры, пешком лазили по снегу и все были с раскрытыми рта-

ми, — заморились. На вербах уже подпухали почки, а вокруг пней и ракитовых стволов узкой каемкой проклюнувалась земля. Из-под бугра далеко виднелись желтые, одинаково витые столбы дымов над трубами хат, — соломой топились, и только из нашей трубы дым выбивался сизовато-чадным буруном, — Царь жег пересохшие стропила сарая. По очереди, то лицом, то спиной к селу, я посидел на всех новых, гладко спиленных пнях, потом наломал пучок верб и пошел за ведром к колодцу. Было уже не рано, и на проулке потел и рыхлился снег. Ни Голуб, ни пустые рукава спрятанного теткиного тулупа, ни цепенящая неприкаянность углов нашей хаты — ничто не заглушало во мне неотвратимо вселившегося чувства ожидания чего-то огромного и светлого, — я встречал весну. Мне было совсем легко нести полное ведро, и лапоть сам нацеливался в лошадиный катыш, и губы — без меня — складывались в дудку-пужатку, чтоб подсвистнуть тетенькавшей синице. Я ни о чем не забыл — ни о чем, но мне не хотелось, чтоб мы встретились тут с Момичем, и не хотелось глядеть на рушник под окном его хаты.

Царь ждал меня, измазанный сажей и всклокоченный. Он спросил, куда меня носили черти, взял ведро и скрылся в чулан.

— Ты б хоть умылся, — сказал я.

— Чего? — натужно, под гуркующий слив воды в чугунок, отозвался Царь. — Дуже чистых теперь за Мажай гоняют... с утра прямо. Ай не видал?

Я глянул в окно на Момичев двор и увидел там подводу конных милиционеров — из самой, должно быть, Лугани...

Потом, когда Момича забрали, в Камышинке разное придумывали про его встречу с Голубом, но какой она была на самом деле — никто не знал: это ж случилось вечером в Кобыльем логу, а до него от нас верст восемь по дороге в Лугань. Говорили, будто Момич нарочно ездил туда целую неделю, чтоб подкараулить Голуба, а что Голуб, пеший конокрад какой, чтоб попадаться там? Он же верхом был, а Момич на санях. И нешто деревенский жеребец в упряжи догонит военного коня? И зачем Момичу нужно было подстерегать Голуба, если он не прибил его, а только связал? Нет, то неправда, что

Момич караулил, — Голуб повстречался ему сам, нечаянно... Кроме их самих, никому неизвестно, о чем они там говорили. А может, они и совсем не говорили, потому что Голуб, наверно, сразу схватился за наган, когда Момич спросил, за что он убил тетку Егориху... Конечно, Голуб схватился, да в Момича, вишь, не стрельнешь, как в тетку. Он, небось, не махал рукавами полушубка, чтоб закрыться, и нешто удержишь наган, если Момич схватит тебя за руку! Нет, не удержишь. И в седле не усидишь!.. Наверно, они ни о чем не говорили, и Момич молчком связал Голуба, а потом воссадил на седло и отпустил. Голуб так и появился в Лугани — связанный, поздно ночью, потому что галопом не помчишься, раз руки скручены за спиной... Нет, Момич не взял ни нагана, ни сабли, — их потом нашли в Кобыльем логу милиционеры из Лугани. Сабля была поломана на две части, а наган совсем на кусочки. Наверно, об сани раскрошил...

Я потом ходил в Кобылий лог, — думал, может, свисток найду, но там ничего уже не было...

Весны всегда приходили к нам со стороны Брянщины, и эту я ждал оттуда. Она обозначалась там в небе извивно бугристым хребтом темного леса и сизым, низко залеглым туманом. В полдни он уже дрожал и переливался как вода, а к вечеру даль по-зимнему меркла, и надо было всю ночь стеречь завтрашний день. Хату мы не подметали. Царь по-прежнему докрасна нажаривал печь. Я уже не заставлял его умываться и не умывался сам, — откладывал на весну, обещая себе в ней все, что было у нас с теткой раньше. Мы с Царем скудели с каждым днем, и нельзя было понять, отчего камышане сторонились нас, как приблудных цыган-таборников, — боялись, видно, что мы попросим у них чего-нибудь или своруем. Весна запаздывала. Мне все трудней и трудней становилось ждать то, что она сулила, и я стал готовиться в дорогу на Брянщину. Я достал из сундука свою сумку с гарусным петухом и положил туда теткины лапти, — на случай, если свои протрутся. Я б все равно вернулся, — с травой, с одуванами и со всем, что было нужно, чтоб жить в Камышинке, но половодье хлынуло тогда внезапно, и вскорости в Камышинку пришла весна. Сама.

В нашем «саду» по-прежнему стояли три сливины, одна неродящая яблоня и две ракиты. Ножик я унес из хаты в такую же самую пору, как и тогда. Я залез на ту самую ракиту. Она была теплой, вся в желтых сережках, и я срезал черенок толщиной в палец и длиной в пядь. Как и тогда, я потюкал по нему ручкой ножика. Кора податливо снялась, и получилась дудка-пужатка. Такая же, как тогда. Я сидел, слушал и ждал. В иссохшем ручье на проулке блестели склянки и копошились раскрылатившиеся воробьи. Я сам себе сказал «кшше» и съехал по стволу ракиты на разогретую землю. После я «перепробовал» и припомнил все то ручное и мысленное, что было утешного и радостного в прежних веснах, но оно не переселялось ко мне оттуда, потому что не было одним только моим, — в нем и с ним жили тетка и Момич. Нас всех теперь стало у меня по двое. Был Момич, с которым я строил клуню, метал парину и уезжал из коммуны, и был еще второй, чужой, тот, что топтал в снегу свою шапку... Жила и пропадала где-то на лугу за речкой моя тетка в красной косынке, с беремем мохнатух, и была вторая, чужая, обряженная Звукарихой... Был и кликался то Санькой, то Александром я сам, прежний, и был я второй, которому в весну не забывалась зима, я не знал, что с нею кончилось тогда мое детство...

В нашем погребе под обвалившимися песчаными стенками попадались картохи, опутанные длинными белыми проростами, и мы трижды на день ели похлебку. Дяде Ивану я сказал, что картох хватит надолго, но сам не отлучался дальше «сада» и речки, — Царь мог подхватиться просить куски. Он редко слезал с печки,— хворал, а где болело — не говорил. Я накладывал ему всю гущу от похлебки, а себе оставлял жижку, но Царь все равно ругался:

— Опять надуганил одной воды! Себя, небось, не обделил!

Я приносил напоказ ему свою порцию, и Царь проверял ее своей ложкой, но меняться не хотел.

— Той змеюке хорошо. Лежит себе в холодке, а тут...

Это он поминал погостинское дерево с сорочиным гнездом, а кому ж под ним и лежать, если не тетке!.. По ночам Царь не спал и маялся: из чуланного окна на печку к нему проникал дымный месячный столб, и боль-

ше ничего, а он чего-то пугался и будил меня криком через боровок:

— Чего разлегся там! Не чуешь, что ль, как скребтит под загнеткой!

Я говорил, что это чурюканы выводятся, но он не верил.

— А кобель чего воет? Иди уйми его, проклятого! Чего он закликает ее? Она сама найдет, кого ей надо!..

Я уже давно отвязал Момичева кобеля, — думал, прокормится, но он целыми днями лежал под крыльцом пустой хаты, а по ночам садился посередине двора, задирал морду к месяцу и скулил. А что ему было дать? Очистки от проросших картох? Мог бы научиться мышей ловить или земляных зайцев на выгоне... Ему можно и курицу чью-нибудь... Собаке это легче, чем кому-нибудь... На дворе под месяцем все было таинственным и неразгаданным, как в церкви. Кобель подходил к плетню, ожидающе-повинно глядел на меня зелеными глазами. Под бугром в речке протяжно и грустно курлыкали лягушки. Стеклянная марь луга и заречных полей манила уйти одному или с кобелем вместе, — иди и иди все прямо и прямо: мало ли кого можно там встретить — на самом лугу или дальше, на Брянщине...

По чистым фартукам на чужих бабах я узнавал про праздники, и они всегда были труднее и длиннее будней. Тогда тоже был какой-то праздник. Картохи у нас кончились, и Царь все утро охал и просил пить. Я несколько раз подавал ему кружку, но он выплескивал воду на стену, а меня ругал змеем, — гнал из хаты, чтобы самому пойти побираться. Я отыскал пральник и сел на лавку. Она временами поднималась и опускалась подо мной, как качели-самоделки. В полдень Царь покликал меня жалостным голосом, — притворялся. Я захватил пральник и пошел в чулан. Царь сидел на краю печи и подвертывал портки. От щиколоток до колен ноги у него распухли и светились, как сосульки под заговенье.

— Видишь аль нет, змей?

В том месте, где он лапал ногу, оставались ямки-вмятины. У него разбрякло и стало каким-то серотестяным лицо, а глаза заплыли и умалились.

— Ты б сходил к кому-нибудь да пожаловался: дядя, мол, родной захворал... — Он глядел на пральник, а сам все метил и метил ямками свои сизые ноги. —

Заодно и тулуп прихвати. Скажи: с гарусом, почитай новый. Пускай дают две ковриги... Ну чего вылупился?

Потом я никогда не испытывал такой люто-взрывной, мутящей разум ярости, как тогда. Я ничего не успел — ни подумать о чем-нибудь, ни прицелиться, и пральник ударился в потолок, потому что кидал я его в Царя обеими руками. Мы закричали разом, — Царь подголосно тонко, призывающе на помощь, а я задушевно и ослепше, чтоб он опустил портки. Я опять схватил и занес для броска пральник, и Царь оправил портки, повалился навзничь и заголосил.

Весь этот день-праздник я просидел с пральником на лавке. Она взлетала и проваливалась, и за нее надо было крепко держаться.

К нам никто не заходил, и по утрам я подпирал из сеней дверь хаты и шел на выгон. В такую пору в Камышинке доились коровы и затапливались печи, и я видел, в какой хате что пеклось и варилось. Чтоб проулок не качался, надо было глядеть повыше земли, на небо, а щавель я рвал сидя. Его лучше было есть пучками, а не по одному листку, — быстрей наедалось. Цареву норму я прятал за пазуху под рубаху: мне не хотелось, чтоб кто-нибудь видел и знал, что мы едим...

Словить пескарей было трудно, потому что все уплывало — и ракитник, и речка, и берег, и я сам...

Двух голубят, что я взял из гнезда на матице в Момичевом сарае, не нужно было ни резать, ни опаливать, и я сварил их в кипятке и отдал Царю. Он не спросил, что это, и не сказал, сладкие они или какие...

Чем больше мне хотелось есть, тем дальше я обходил встречных — чужих и знакомых...

Тогда наступила жара. Ветра совсем не было, а на проулке и на нашем да Момичевом непаханых огородах то и дело карусельно завихривалась и поднималась к небу горячая пыль, — ведьмы жировали. В хате у нас пахло прелыми дынями, и я редко заходил туда, — Царь не вставал, ничего не хотел и не просил, а ведро с водой я занес к нему на печку. По ночам в хате сильней думалось про еду, чем на воле, и я подолгу сидел на дворе. Над речкой и ракитником белой горой поднимался ту-

ман. От него то и дело табунками отделялись большие круглые шматки и, вытягиваясь в столбы, наплывали на Камышинку, — стоймя.

За луком на тот конец Камышинки надо было ходить на закате месяца, перед утром. Тогда все не стоит на месте, все шевелится и расплывается, — и тени, и блики, а в руслах канав и меж скопляется теплый воздух и запах полыни. Лук надо б было есть с солью, чтоб макать прямо, тогда, может, не палило б живот и не ломило скулы. Его уже накопилось в чулане целое беремя, но я все крал и крал, — про запас.

Я больше не подпирал дверь — Царю трудно было дышать, не то чтоб побираться, а в то утро я еще с крыльца услыхал оцепенелую тишину в хате. Моя веревочная петля-запорка на сундуке была целой. Каменная немота непустой печки пригнула меня к полу, и я как по чужой меже прошмыгнул в чулан, чтоб выложить из-за пазухи лук, а на двор выбежал во весь рост. Тут реяла предрассветная мгла, — уже потухали звезды. На проулке пахло овечками и молоком. Я вышел на выгон и в канаве, заросшей теплой глухой крапивой, подождал солнце. Оно взошло впереди меня из-за погоста, а Камышинка была сзади. Там позади, на западе, в сизом пару мрела Брянщина. По выгону можно идти на восток — мимо сельсовета и церкви, но можно и на север — мимо ветряков и околка. Я не стал ждать, когда пастухи пригонят коров, и пошел на север. Солнце било мне в спину. Оно сияло с той стороны, где осталась Камышинка — черное горе мое, светлая радость моя!..

1966

УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ

...Нам свои боевые
Не носить ордена,
Вам все это, живые,
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать,
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

А. Твардовский

1

Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт.

В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась голубовато-прозрачная мгла, будто тут сроду не было восходов солнца, будто оно навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное лихо — гарь от сгибших там «населенных пунктов». Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и дело появлялись «юнкерсы». Тогда рота согласно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала по команде капитана — четкой и торжественно напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте лицом к полегшим, и с губ его не сходила всем знакомая надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими кожаными перчатками, он не выпускал ивовый прут, до половины очищенный от коры. Каждый курсант знал, что капитан называет эту

свою лозинку стэком, потому что каждый — еще в ту, мирную, пору — ходил в увольнительную с такой же хворостинкой. Об этом капитану было давно известно. Он знал и то, кому подражают курсанты, упрямо нося фуражки чуть-чуть сдвинутыми на правый висок, и, может, поэтому самому ему нельзя было падать.

Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди — и уже недалеко — должен быть фронт. Он рисовался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов...

Снег пошел в полдень — легкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших антоновских яблок, и роте сразу стало легче идти: ногам сообщалось что-то бодрое и веселое, как при музыке. Капитана по-прежнему отделяли от колонны шесть строевых шагов, но за густой снежной завесой он был теперь почти невидим, и рота — тоже как по команде — принялась добивать на ходу остатки галет — личный трехдневный НЗ. Они были квадратные, клеклые и пресные, как глина, и капитан скомандовал: «Отставить!» в тот момент, когда двести сорок ртов уже жевали двести сорок галет. Капитан направился к роте стремительным шагом, неся на отлете хворостину. Рота приставила ногу и ждала его, дружная, виноватая и безгласная. Он пошел в хвост колонны, и те курсанты, на кого падал его прищуренный взгляд, вытягивались по стойке «смирно». Капитан вернулся на прежнее место и негромко сказал:

— Спасибо за боевую службу, товарищи курсанты!

Рота угнетенно молчала, и капитан не то засмеялся, не то закашлялся, прикрыв губы перчаткой. Колонна снова двинулась, но уже не на запад, а в свой полутыл, в сторону чуть различимых широких и редких построек, стоявших на опушке леса, огибаемого ротой с юга. Это сулило привал, но если бы капитан оглянулся и встретился с глазами курсантов, то, может, повернул бы роту на прежний курс.

Но он не оглянулся. То, что издали рота приняла за жилые постройки, на самом деле оказалось скирдами клевера. Они расселись вдоль восточной опушки леса—

пять скирдов, — и из угла крайнего и ближнего к роте на волю, крадучись, пробивался витой столбик дыма. У подножия скирдов небольшими кучками стояли красноармейцы. В нескольких открытых пулеметных гнездах, устланных клевером, на запад закликающе обернули хоботки «максимы». Заметив все это, капитан тревожно поднял руку, останавливая роту, и крикнул:

— Что за подразделение? Командира ко мне!

Ни один из красноармейцев, стоявших у скирдов, не сдвинулся с места. У них был какой-то распущенно-неряшливый вид, и глядели они на курсантов подозрительно и отчужденно. Капитан выронил стэк, нарочито заметным движением пальцем расстегнул кобуру ТТ и повторил приказание. Только тогда один из этих странных людей не спеша наклонился к темной дыре в скирде.

— Товарищ майор, там...

Он еще что-то сказал вполголоса и тут же засмеялся отрывисто-сухо и вместе с тем как-то интимно-доверительно, словно намекал на что-то, известное лишь ему и тому, кто скрывался в скирде. Все остальное заняло не много времени. Из дыры выпрыгнул человек в коротколом белом полушубке. На его груди болтался невиданный до того курсантами автомат — рогато-черный, с ухватистой рукояткой, чужой и таинственный. Подхватив его в руки, человек в полушубке пошел на капитана, как в атаку,— наклонив голову и подавшись корпусом вперед. Капитан призывно оглянулся на роту и обнажил пистолет.

— Отставить! — угрожающе крикнул автоматчик, остановившись в нескольких шагах от капитана.— Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан! Подходите! Пистолет убрать.

Капитан сделал вид, будто не почувствовал, как за его спиной плавным полукругом выстроились четверо командиров взводов его роты. Они одновременно с ним шагнули к майору и одновременно протянули ему свои лейтенантские удостоверения, полученные лишь накануне выступления на фронт. Майор снял руки с автомата и приказал лейтенантам занять свои места в колонне. Сжав губы, не оборачиваясь, капитан ждал, как поступят взводные. Он слышал хруст и ощущал запах их новенькой амуниции — «прячут удостовере-

ния» — и вдруг с вызовом взглянул на майора: лейтенанты остались с ним.

Майор вернул капитану документы, уточнил маршрут роты и разрешил ей двигаться. Но капитан медлил. Он испытывал досаду и смущение за все случившееся на виду курсантов. Ему надо было сейчас же сказать или сделать что-то такое, что возвратило и поставило бы его на прежнее место перед самим собой и ротой. Он сдернул перчатки, порывисто достал пачку папирос и протянул ее майору. Тот сказал, что не курит, и капитан растерянно улыбнулся и доверчиво кивнул на вороватый полет дымка.

— Кухню замаскировали?

Майор понял все, но примирения не принял.

— Давайте двигайтесь, капитан Рюмин! Туда двигайтесь! — указал он немецким автоматом на запад, и на его губах промелькнула какая-то щупающая душу усмешка.

Уже после команды к маршу и после того, как рота выпрямила в движении свое тело, кто-то из лейтенантов запоздало и обиженно крикнул:

— А мы, думаете, куда идем? В скирды, что ли?!

В колонне засмеялись. Капитан оглянулся и несколько шагов шел боком...

Курсанты вошли в подчинение пехотного полка, сформированного из московских ополченцев. Его подразделения были разбросаны на невероятно широком пространстве. При встрече с капитаном Рюминым маленький, измученный подполковник несколько минут глядел на него растроганно-завистливо.

— Двести сорок человек? И все одного роста? — спросил он и сам зачем-то привстал на носки сапог.

— Рост сто восемьдесят три,— сказал капитан.

— Черт возьми! Вооружение?

— Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.

— У каждого?

Вопрос командира полка прозвучал благодарностью. Рюмин увел глаза в сторону и как-то недоуменно-неверяще молчал. Молчал и подполковник, пока пауза не стала угрожающе длинной и трудной.

— Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? — тихо спросил Рюмин, а подполковник сморщил лицо, захмурился и почти закричал:

— Ничего, капитан! Кроме патронов и кухни, пока ничего!..

От штаба полка кремлевцы выдвинулись километров на шесть вперед и остановились в большой и, видать, когда-то богатой деревне. Тут был центр ополченской обороны и пролегал противотанковый ров. Косообрывистый и глубокий, он тянулся на север и юг — в бескрайние, чуть заснеженные дали, и все, что скрывалось впереди него, казалось угрожающе-таинственным и манящим, как чужая неизведанная страна. Там где-то жил фронт. Здесь же, позади рва, были всего-навсего дальние подступы к Москве. так называемый четвертый эшелон.

2

В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без креста и длинным каменным строением. От него еще издали несло сывороткой, мочой и болотом. Капитан сам привел сюда четвертый взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что ясен, а сам стоял по команде «смирно» и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана.

— Ну что у вас? — недовольно сказал капитан.

— Разрешите обратиться... Чем рыть?

Командир взвода спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо:

— Хреном! Вас что, Ястребов, от соски вчера отняли?

Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор, а

на это всегда надо было отвечать одним словом, и он сказал: «Есть!»

— Окоп отрыть к шести ноль-ноль! — строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы — прямой, высокий и в талии как рюмка. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал:

— Лейтенант!

Алексей подбежал.

— Взвод разместите в крайних семи домах. Спросите там лопаты и кирки. Ясно?

Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли план оборонительных работ. Любой из этих пяти курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы — от хрена с соской до лопат и кирок — и горючая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы поделенной с кем-то поровну. Но помкомвзвода сказал:

— Рыть так рыть. Третье отделение, живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили!

И через час четвертый взвод рыл окоп. Полуподковой. В полный профиль. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило Алексею досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого — утомительный поход, самолеты, — все это во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через три или шесть дней, и тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренно-скучная жизнь с четкой выправкой тела и слова, с тревожно-радостной, никогда не потухающей мечтой об аттестации. Дальше этого неизбалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определенно зримое.

В то, что он уже две недели как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это еще не взаправду, это только так, условно, как на за-

нятиях, и тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по уставу.

С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война. Тут он оказался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что происходило,— он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось,— пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве... Это было, конечно, правдой, потому что... потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз, прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп нашего любого соединения в несколько раз превосходит чужой, — об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом и неприступном, Алексей — воспитанник Красной Армии — знал с десяти лет. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны.

Окоп был отрыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось: двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помкомвзвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана.

Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней стыло мерк месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт. К ротному КП Алексей пошел по задворкам, ненужно далеко обойдя кладбище, — снег тут был нетронуто чист, и он осторожно и радостно печатал его новыми сапогами, и они казались ему особенно уютными и фасонистыми. «В хромовых бы сейчас! Я их еще ни разу не надевал...»

Командный пункт размещался в центре деревни в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры чуть проступавшими синими отечными буквами. «Правление колхоза «Рассвет». Связной курсант доложил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод.

— Это на левом фланге, — вдруг с начальническим видом объяснил он, но, смущенный своим тоном, тут же добавил: — А ваш правый, товарищ лейтенант...

Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неуемное притаившееся счастье, — радость тому хрупкому утру, тому, что не застал капитана и что надо было еще идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели — «как наш капитан»! — радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине, но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных и никому не нужных, и в одном из них, горбатом и длинном, как рига, еще издали заметил настежь распахнутые ворота, а в их темном зеве — неяркий свет не то фонаря, не то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и несколько курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились, и, не расставаясь со своим настроением, он громко и весело крикнул:

— Здравия желаю, товарищи тыловики!

Ему ответили сдержанно, по-уставному, — старшина тоже, и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостинкой и застегнут и затянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали, какую-то долю секунды подержал поднятой левую бровь и сказал:

— Старшина! Четвертый взвод получает еду первым, третий — вторым, а первый — последним. Лейтенант! Возьмите здесь каски для взвода и три ящика патронов. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву. Окоп готов?

Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. По его мнению, четвертый взвод должен беречь свои гранаты для других целей.

Соседом слева у Алексея был второй взвод. Его окоп извилисто пролегал в глубь деревни на виду противотанкового рва. На стыке взводов в кольце голых осин одиноко стояла опрятная, побеленная снаружи изба, за десяток шагов еще пахнувшая простоквашей — когда-то тут был сепараторный пункт. Командира вто-

рого взвода Алексей нашел в этой избе: тот заканчивал банку судака в томатном соусе.

— И пуля попэ-эрла по каналу ствола! — остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку. Они несколько минут хохотали, не сходясь еще, мимикой и жестами копируя движения и походку чудаковатого майора, потом разом подобрались, вспомнив о своих званиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах.

— Вам все ясно, лейтенант Гуляев?

— Ясно,— солидно отозвался Гуляев.— Сейчас пошлю получать. Второй взвод не задержится, это вам не какой-нибудь там четвертый.

— При отступлении тоже?

— Русская гвардия никогда не отступала, лейтенант Ястребов! Пошли, покажу свое хозяйство.

На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял огнисто, переливчато-радужно и слепяще — солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним, по рву, в деревню накатно, туго и плотно входил рокот. Алексей и Гуляев обогнули угол избы. Впереди рва, пока хватало глаза, пустынно сиял снег, и на нем нарисованно голубел лес, а ближе и левее чуть виднелось какое-то селение.

— Самолеты! — сказал Гуляев. — Видишь? На четыре пальца правее леса гляди... Ну?

— Это галки там, — не сразу, но слишком своим голосом сказал Алексей, а рокот уже перерос в могучий рев, и теперь было ясно, что лился он с неба. Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей; они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше пятидесяти штук. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем.

— Заходят на нас! — почти безразлично сказал Гуляев, и Алексей увидел его мгновенно побелевший, совершенно обескровевший нос, и сам ощутил, как похолодело в груди и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу.

— Пошли по взводам? — спросил он у Гуляева. Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым. Они

пошли под осинами томительно медленно, но бессознательно тесно, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно, плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые сумеречные тени от пролетавших самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев устало сказал:

— На Клин пошли...

У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом:

— Ну, я пойду к себе, Сашк.

— Ну, пока, Лешк. Заглядывай.

3

Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, и еще. Капитан распорядился не дразнить их ружейным огнем: деревню населяли молчаливые женщины да дети, и нужно было попрятать их в убежища. Землянки для них предполагалось рыть на околице, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах.

Всякий раз, когда самолеты скрывались и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго сохраняла в своих глубинах чуть ощутимую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в окопе, и тогда почему-то хотелось зевать и тело непроизвольно льнуло к стенке окопа. В такие межсамолетные паузы из сверкающей дали лениво прикатывались заглушенные обвальные взрывы: где-то там впереди по-живому ворочался и стонал фронт.

Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп. Желто-коричневый гребень бруствера присыпали снегом, дно устлали соломой, в передней стенке нарыли печурок и углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без на-

ката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш — помкомвзвода разложил там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут: приглаженно-ровный козырек бруствера, отшлифованно-четкий срез стен, какой-то русско-византийский овал печурок и ниш — все это было сделано и отделано с тем сосредоточенным старанием, которое полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окоп и не выглядел так, как положено на войне: в нем было что-то затаенно мирное и почти легкомысленное.

Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синей извилиной лес призрачно намечал зыбучую кромку горизонта, в окопы все чаще и явственней доносился раздерганно-клочковатый гул. Временами, когда гул спадал, можно было расслышать протяжные и слитные звуковые вспышки, словно кто-то недалеко и скрытно разрывал на полосы плащ-палатку.

Прекратилось это внезапно, сразу. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и было уже ясно, что это люди, но шли они как-то зигзагами, рассеянно, мелкими кучками и поодиночке.

— Товарищ лейтенант! Видите? — тревожно и радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов. — Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как?

В разрыве леса и чуть видимого селения висело лохматое закатное солнце, похожее на стог подожженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь ресницы, и все же Алексей угадал своих. Свои были у людей походки, свои шинели, свои каски и шапки.

— Это наши, славяне! — разочарованно сказал помкомвзвода, и Алексей чуть не спросил у него — откуда это они так? На виду рва бредшие по полю сошлись вместе и построились в колонну по три. В строю людей казалось совсем немного — не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, совещаясь, видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, Алексей заметил в скосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его надо было срыть и почистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это место для прохода через ров.

Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. Оглянувшись на окоп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел ко рву. У того, что стоял там на коленях, в выцветших черных петлицах алели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенький брезентовый ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему переступать ногами: ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник.

— Разрешите помочь, товарищ капитан! — сказал Алексей. Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими спутанными шагами пошел наверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности: старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то болезненно-брезгливо глядел куда-то мимо капитана и Алексея.

— Ногами работай, друг! Ногами! — посоветовал один из курсантов. Стоявшие внизу бойцы сдержанно засмеялись, а Алексей спросил капитана:

— Он ранен?

— Нет, — сквозь зубы сказал капитан.

— А что же?

— Ну... не может... Не видите, что ли?

Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и споро, подпирая друг друга прикладами. Без команды, они торопливо построились на краю рва и остались стоять там, переговариваясь полушепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели виднелась большая округлая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался прикрыть прожог ладонью.

Если б капитан сразу же приказал своему отряду двигаться, у Алексея не возник бы вопрос, откуда и куда он идет. Но капитан долго и старательно вытирал руки подолом шинели, хотя были они чистые, и то и дело поглядывал в сторону обособленно стоявшего красноармейца. Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз. «Наверно, вестовой его, — решил Алексей, — мне бы с ним минут сорок заняться по-пластунски!..» К бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими СВТ. Алексей заметил, как испытующе-тревожно поглядел на них капитан, и неожиданно для самого себя спросил:

— Откуда вы идете, товарищ капитан?

Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам и повторил вопрос.

— Мы вышли из окружения! — озлобленно сказал капитан и носком сапога сбил комок глины в ров. — И нечего нас тут допрашивать, лейтенант! Накормите вот лучше людей! Двое суток, черт бы его драл...

— Почему вы сюда... Где фронт? — торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятного, перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный красноармеец.

— А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? — не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом. Алексей едва ли сознавал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в карманы шинели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, выкрикнул за два приема:

— Где ваша... винтовка, товарищ боец?!

— Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант! — тоже фальцетом крикнул красноармеец и стал по команде «смирно». — Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор Переверзев! Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру!

Забыв отступить и только качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его глазах полностью и совершенно — в нем все теперь казалось ему иным, большим, генерал-майорским, кроме ремня, шинели и пилотки, и,

вспомнив, как он переходил ров, Алексей враз постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после стояли в стороне и переговаривались шепотом... Не сходя с места, Алексей крикнул через плечо:

— Помкомвзвода! Проводи товарища генерал-майора к капитану!

— Сам пойдешь! — сказал Переверзев, и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно прижав руки к бокам. Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы. Миновав окоп своего взвода и выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина: он стоял у сепараторного пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров. Заметив подходивших, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел как под знаменем, вскинув к голове руку.

О генерал-майоре он докладывал путано, и с каждым его словом у капитана Рюмина все выше приподнималась левая бровь. Как зачарованный, он смотрел на ремень Переверзева и вдруг побледнел и сказал чуть слышно:

— Предъявите ваши документы!

— Я попрошу не здесь, — увялым баском сказал Переверзев.

Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею:

— Назначьте себе связного! Вы не должны каждый раз отлучаться... Ваше место во взводе, лейтенант!

4

Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса.

— Всех в обход! — сказал капитан. — В разговоры ни с кем из них не вступать! Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находится в четырех километрах правее и сзади нас.

В четвертый взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не

то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла задернутая желто-коричневой пеленой, и стало еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и оттого, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи, — в погребах, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал:

— Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене... Кстати, что вам говорил о фронте... красноармеец Переверзев?

Пачка «Беломорканала» слежалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще:

— Курсанты все слышали?

— Все, — сказал Алексей. — Генерал-майор...

— Хорошо, — перебил капитан. — Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец... Контуженый. Установил это я сам. Понимаешь?

— Я все понял, — негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина.

— Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич, — неожиданно и просто сказал капитан. — Кажется, на нашем направлении прорван фронт... — и все тем же, немного не своим и немного не военным тоном, капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему — он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексея и легонько толкнул его к окопу.

До полночи от невидимого леса мимо деревни прошло до батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделени-

ем, и когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженых все было ясно...

В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка!» — подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продрогло-цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах.

Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе, — тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы — украдкой, через две-три хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и, стыдясь больно навернувшихся слез, он крикнул исступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал:

— Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!!

Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком молодом потяге:

— Сейчас бы кваску покислей да... рукавичку потесней! А-аxx! — И вокруг озорно и сочувственно засмеялись.

За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув

кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик, — наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой, кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке — один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес по-охотничьи, стволом в землю, и было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал:

— Ну во-от. Не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер, пер по этой вашей канаве, а тут гляжу — маковка церковная...

Он выглядел за сорок — возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним — до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе:

— Прикроешь шапкой — и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего...

— Перевязать надо, — морщась, сказал Алексей. — Чем это вас?

— Осколком. Как перепел: фрр — и ни его, ни уха. Даже не почуял.

Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помкомвзвода спросил тогда:

— У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?

— Этого не знаю, брат, — ответил боец. — С начальством я знаком мало. А что?

— Товарищ генерал на полсуток пораньше тебя переправился тут, — баском сказал кто-то из курсантов,

— Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается, — назидательно рассудил боец. — Что ему: голова на плечах, шапка небось нахлобучена на оба уха...

— Он в красноармейской пилотке... и в шинели без петлиц, — опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе.

— Да ну? — бесстрастно, для вида, удивился раненый. И помолчав, добавил: — Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит... Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось! Вот и блуждаем теперь... А он вроде того мужика — воз под горой лежит, зато вожжи в руках...

— Ну, вот что, нечего тут, — растерянно сказал Алексей. — Кончай разговоры. Всем по местам!

Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь разглядев кубари Алексея, начал было привставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица.

— Тут горе вот какое, товарищ командир, — виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. — Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе... Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает — окопы распаханы, люди размяты... Что делать-то будем, а?

— Вы давайте в госпиталь! Это вон в том направлении, — строго сказал Алексей и зачем-то загородил собой нишу.

— А может, мне у вас остаться? — спросил боец. — Ухо мое и без докторов присохнет.

— Давайте в госпиталь! — повторил Алексей. — У нас вам оставаться нельзя. Мы... — и не сказал, что хотел. Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.

— Ну что ж... Тогда пошли, кургузка, недалеко до Курска, семь верст отъехали, семьсот ехать! — стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.

В девятом часу к четвертому взводу — тоже, видать, на церковную маковку — от леса петляюче и осторожно поползли два грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфоресцирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой мото-

ров, — броневики на малых скоростях закружили на месте.

Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе как о людях, которых он знал или не знал — безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? «Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому...»

С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика, и сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить — раз по одному броневику, раз — по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу.

И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза; они молча и спешно наполняли магазины патронами.

— Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? — у помкомвзвода блестели зубы и трепетали ноздри.

— Сейчас нам капитан не так за это врежет, — сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета. — Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени.

— Ну и черт с ними! Пускай знают!

— Что «знают»? — невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.

— А все! — вызывающе сказал помкомвзвода. — Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!

Алексей помолчал и сказал:

— Ну пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже.

Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов — тихий сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и

больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое былое мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением».

Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно:

— Ну что, Ястребов, не подбили?

Наверное, его мутило — сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виновато и сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал:

— Задымил один, товарищ политрук...

— Ага! Вы их бронебойно-зажигательными?

— Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил... Точно.

— Ну, пусть знают!

Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки — деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.

5

Погода испортилась внезапно. На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному — то мягко-заглушенно, то резко-отчетливо — далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами, громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо. Политрук все не уходил, а на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише и остывал каким-то нестерпимо томительным духом. «Гуляев небось не постеснялся бы. У того хватило б смелости и при капитане пожрать, — обиженно подумал Алексей, — а это «значение» до вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар!» Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к низовому отдаленному грохоту справа, сказал: «Да!» Сказал убежденно и потерянно, как нечаянно открывший что-то ненужное, и в эту минуту высоко над церковью ломко и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколебимо, как приклеенное,

в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чоком образовались еще два дегтярных пятна.

— Это шрапнель? — спросил Алексей. Анисимов, стоявший рядом, трижды зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил: воздух пронизал тягучий, с каждым мигом толстеющий вой, пересекший окоп и оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно, рассыпчато. И сразу же, еще над полем за рвом, возникли тонкие жала новых запевов. Как невидимая игла, звук сразу же впивался в темя, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделать, чтоб не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все — мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины...

Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась ко рву. За гуляевским взводом большой ковылиной вырос и вверху пышно завился белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа, но Алексей бессознательно-властно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами, и, приседая на дно окопа — над ними близко взвыло, — Анисимов торопливо сказал:

— Хорошо. Я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажите убрать сверху винтовки. Покорежит ведь...

То было первое боевое распоряжение Алексея, и хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая команду и вглядываясь в курсантов — испытывают ли они при нем то облегчающее чувство безотчетной надежды, которое сам он ощущал от присутствия здесь старшего? Сразу же после его команды курсанты пружинисто садились на корточки спиной к внешней стене окопа, зажав между коленями винтовки, и, встречаясь с его взглядом, каждый улыбался растерянно-смущенно, одними углами губ — точь-в-точь как это только что проделал Алексей под взглядом политрука.

Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, каза-

лось, не залетал в окоп вслепую, дуром, — до того как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверху, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим излетным воем мин, Алексей каждую из них считал «своей» и инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня... В меня! В меня!» Он знал,— а может, только хотел того,— что каждый курсант испытывает то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними.

На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкий извилистый паз хода. По нему и еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека нежданно врывается что-то радостно большое, живое и победное. Жарким, никогда собой неслыханным голосом Алексей пропел:

— Взво-о-од! Поодиночке-е...

Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным — резким и испуганно-злым — Алексей крикнул: «Отставить!» — и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только... Это ж не отступление, разве он не поймет?»

Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. «Он подумает, что я... трус! Да-да! А если я уведу взвод без него, меня тогда...»

Впереди увязающе-глухо, не по-своему, треснула мина, и в грудь Алексея упруго двинул горячий ком воздуха. Он упал на колени, и сразу же его поднял тягучий, в испуге и боли крик:

— Я-ястре-бо-ов!

Он побежал на голос, необыкновенно ясно видя и навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов, и, когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы.

— Отре-ежь... Ну, пожалуйста, отре-ежь...— Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову. Первое, что осознал Алексей, это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели — они всегда мешают ползти... Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова — на мокрой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого... «Это «они»...— понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отворачивая глаза:

— Подожди тут! Подожди тут! Я сейчас...

Он бросился по окопу, не зная, куда бежит и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того как упасть, Алексей с ужасом отметил, что ему никто не встретился из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом:

— Я сейчас! Сейчас!

Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками и зажмурился, и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все: и где находится взвод — «они сами ушли... по ходам сообщения», и зачем Анисимов просил отрезать «то» — «там у него была вся боль и смерть», и почему разрывы мин теперь слышались как из-под подушки — «огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится».

К церкви он пошел по открытому месту, и, заметив его, из-за ее колонн и с кладбища к ходам сообщения побежали курсанты. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу и желание пережить все сызнова.

— По местам! Бегом! — отчужденно и властно крикнул он.— И без моего приказа ни шагу!

Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду...

Обстрел прекратился, как только несколько мин взорвалось за рвом. Над деревней пластом колыхался мутно-коричневый прах, и пахло гарью, чесноком и еще

чем-то кисло-вонючим, липко оседавшим в гортани. Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых — все в спину — оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать.

— Дойти до КП могут? Где они? — спросил наконец Алексей.

— В коровнике. Лежачий только один... Воронков.

— Его надо отнести к санинструктору... И политрука тоже... Я пойду сам. А те трое пускай самостоятельно идут.

Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ-палатку тело Анисимова, и смотрел только на их лица — курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого.

— Быстрее! — исступленно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что к горлу опять подступил тошнотворный ком. Курсанты неумело взялись за концы плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, менялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук, но мины взорвались на огородах — начиналось все сначала.

— Куда теперь, товарищ лейтенант?

Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земле ношу. Она шарахалась из стороны в сторону и шумела, и за ней стлался черный зигзагообразный след, и Алексей бежал по его обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осин у сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветви и крошево стекла.

— Кладите туда, и за мной! — приказал Алексей и побежал назад — в окоп влекло, как в родной горящий дом.

Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную ружейную стрельбу в своем взводе. «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. «Куда они стреляют? В небо?»

Но курсанты били не вверх, а по горизонту.

— Прекрати-ить! Прекрати-ить! — на бегу закричал Алексей. Помощник с лету подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды.

Все повторялось с прежней расчетливой методичностью, огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы... Я первым или последним? Наверно, надо первым... это ж все равно что при атаке... А может, последним? Как при временном отступлении?..» Алексей загодя набрал в легкие воздух, и когда разрывы взметнулись на улице и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца скомандовал взводу поодиночный побег из смерти... Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых, до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог — они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего. Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью. И не узнал, кто бежал впереди. И не догадался, что это не икота, а загнанный куда-то в глубь живота ненужный слезный крик мешает ему что-нибудь сказать курсантам...

Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затянулся, и проговорил все разом, без запинки:

— За коровником — бывший погреб, а может, другое что... ямка такая — под яблоней — они все там шестеро... Четверо допрежь раненых и двое, что я послал...

— Ну?

— Всех. Прямым. У Грекова полголовы, у Мирошника...

«Я не пойду... Не пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так... без меня. Ну что я теперь им...» Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет...

До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп.

— Попьют кофе и опять начнут,— сказал помкомвзвода, глядя через поле. Алексей промолчал.

— Я говорю, опять начнут! — повторил помощник.

— Ну и что? — отозвался Алексей, тоже вглядываясь через ров в невидимое селение.

— Что ж мы, так и будем мотаться туда-сюда?

— А ты думал как? И будешь! Один ты, что ли, мотаешься?

— В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы. Лишь бы... Может, выбить его оттудова?

— Хреном ты его выбьешь? — бешено спросил Алексей.— Я, товарищ Будько, не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно?

— У нас бронебойно-зажигательные патроны есть,— все тем же ровным, уныло-обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой.

— Ты что, ополченец или будущий командир? Тут же верных четыре километра!

— А пуля летит семь!

— Ну вот что. Иди на свое место. Нашелся тут маршал... Давай вон лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо ж доложить капитану о политруке... А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрей!

Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил:

— Командира второго отделения Гвозденку хотите в связные? Ему как раз каску просадило...

— Так что? — удивился Алексей.

— Ничего. Волосья на макушке начисто сбрило. Голова у него трусится...

— Он же, наверно, контужен!

— Да не-е. Это у него от переживаний. Смеется там братва над ним...

Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в третьем, первом и втором взводах ранено восемь человек.

— А у вас богато?

— Убиты шестеро курсантов и политрук,— вызывающе ответил Алексей.— Раненых нет!

— Ага. Ну, значит, мне у вас нечего делать,— обрадовался санинструктор.— Я побегу. Сейчас, наверно, будем отправлять раненых...

Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему тылу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. «Танки накапливаются. КВ, может. Этих нам достаточно будет и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать! Мы бы «их» пошшупали!..»

Он так и подумал: «Пошшупали» — и повторил это слово вслух.

6

Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями.

Связной возвратился в восемь двадцать с устным распоряжением роте немедленно отступать.

Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка.

Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор.

Рюмин видел, что связной говорит правду, — он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог.

С командиром первого взвода лейтенантом Клочковым Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот в восемь тридцать выехал в штаб полка на полуторке по прямой.

В восемь сорок в поле за рвом появились броневики — разведчики противника, неожиданно обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов. Командование над первым взводом Рюмин принял сам.

В десять пятнадцать начался минометный налет.

В тринадцать ноль пять Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов.

Лейтенант Клочков все еще не возвращался из штаба полка.

В четырнадцать тридцать минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности.

Клочкова не было. В тылу ревели танковые моторы.

И Рюмин понял, что рота находится в окружении. Он был человеком стремительного действия, не способным ожидать, таиться и выслеживать, оттого каждое поисковое положение, мгновенно рождавшееся в его мозгу, казалось главным, и в результате главным представлялось все, о чем бы он теперь ни думал.

Ему понадобилось не много времени, чтобы построить свои мысли в ряд и рассчитать их по порядку номеров. На первое место встала возможная танковая атака немцев с тыла. Рюмин мысленно немедленно отбил ее. Атака повторилась, и снова он увидел раздавленные сараи и хаты, уничтоженные танки и живых курсантов... Но он тут же спохватился и понял, что одним сердцем поражать танки курсантам будет трудно. В роте насчитывается двести двадцать винтовок. Есть свыше четырехсот противопехотных и полтораста противотанковых гранат. И есть еще бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием... «Атаки с тыла мы не выдержим, — думал Рюмин. — Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят...»

И у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется из-за рва. Это было не только надеждой — то стало почти желанием, потому что Рюмин, как и все те десятки тысяч бойцов, что однажды попадали в окружение, устрашился невидимого врага в своем тылу.

День истекал. Мины изредка перелетали через окопы и грохотно садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничего не предвещало атаки. Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе, Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это, хозчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что, если броском вперед... И разгромить и выйти к лесу, а по нему на север и... Но обязательно разгромить! Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении! А как же раненые? Их восемь человек. И уже семеро убитых...

В семнадцать часов обстрел кончился. Рюмин послал связного в четвертый взвод с приказанием подготовить

братскую могилу. Он решил с наступлением темноты двигаться по рву на север, захватив раненых, и где-нибудь по болоту или по лесу выйти к своим...

...Хату никто не тушил, и к вечеру она истлела до основания. В середине пожарища непоколебимо устремленно, как паровик, нетронуто стояла черная русская печь с высокой красной трубой, и вокруг нее бродил пацан без шапки и что-то искал в золе. «Гвозди собирает!» — с яростной болью подумал Рюмин и оглянулся назад. Курсанты шли в ногу и все смотрели на пацана, и все же Рюмин не сдержался и свирепо скомандовал:

— Тверже шаг!

Мальчишка испуганно спрятал за спину руку, попятился к печке и прижался к ней.

На кладбище скапливались вечерние тени. Четвертый взвод полукругом неподвижно стоял поодаль широкой темной ямы, а перед нею полукругом лежали семеро убитых, завернутых в плащ-палатки. Рюмин вполголоса приказал роте построиться у могилы в каре и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Откройте их.

Никто из курсантов не сдвинулся с места. Молча, взломав левую бровь, Рюмин осторожно повел глаза по строю, и Алексей понял, кого он ищет, и не стал ждать. Он подошел к мертвецам и, полузажмурясь, начал одной рукой развязывать концы плащ-палаток, и это же стал проделывать Рюмин, и тоже одной рукой. Они одновременно управились над шестью убитыми и разом подошли к седьмому. Это был курсант Мирошник. Он лежал лицом вниз, а в разрез шинели, между его ногами, торчмя просовывалась голая, по локоть оторванная рука. На ней светились и тикали большие кировские часы. Рюмин издал птичий писк горлом и выпрямился, враз поняв, что все, что он задумал с похоронами, — негодно для жизни, ибо, кроме отталкивающего ужаса смерти и тайного отчуждения к убитым, никто из курсантов — сам он тоже — не испытывает других чувств; у всех было пронзительное желание быстрее покончить тут, и каждый хотел сейчас же что-то делать, хотя бы просто двигаться и говорить. Тогда Рюмин и понял, что «со стороны» учиться мести невозможно. Это чувство само растет из сердца, как первая любовь у незнавших ее...

По тем же самым причинам — вблизи обращенные на него глаза живых — Рюмин не смог на кладбище сообщить роте ее истинное положение, и тогда же у него окончательно созрело и четко оформилось то подлинное, на его взгляд, боевое решение, путь к которому он искал весь день.

Уже в сумерках рота покинула кладбище и безымянную братскую могилу. У церкви Рюмин снова построил взводы в каре, и курсанты видели, что капитану очень не хватает сейчас стека.

— Товарищи кремлевцы! Утром мною получен приказ... — Рюмин замолчал и что-то подумал, кто-то еще боролся с ним и хотел одолеть, — приказ командования уни-чтожить мотомехбатальон противника, что находится впереди нас, и выйти в район Клина на соединение с полком, к которому мы приданы. Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить временно здесь. Их эвакуирует другая часть... По местам!

Курсанты заняли свои окопы. Минут десять спустя по селу метнулся горячий, с удавными перехватами щекочущий визг, и старшина сообщил вскоре взводам, что на ужин будет кулеш и бесхозная свинина.

Санинструктор нашел помещение под раненых.

— Главное, товариш капитан, две пустые комнаты,— доложил он Рюмину. — А под ними какой-то двухэтажный подвал. БУ прямо... Только вам самим надо поговорить с хозяином.

Домик был старый, широкий, покрытый черепицей вперемежку с тестом и подсолнечными будыльями. Рюмин оглядел его издали. Ему не хотелось входить в него и видеть пустые комнаты и «БУ прямо». «Надо оставить у них не только винтовки, но и гранаты... И санинструктора». Тот стоял рядом рост в рост, и сумка съехала на живот, и верхний рожок у креста на ней оторвался, образовав букву «Т».

— Вы... москвич? — негромко спросил Рюмин.

— Не понял вас, товарищ капитан, — сказал санинструктор и поправил сумку.

— Можете готовить раненых к переводу. Я здесь договорюсь, — мягко сказал Рюмин.

На крыльце домика отрадно пахло моченым укропом. При тусклом каганце в сенцах возился над кадкой маленький старик в дубленом полушубке. Рюмин встал

на пороге и поздоровался. Старик пощурился на него и незаметно выпустил из рук огурцы обратно в кадку. На вопрос Рюмина, он ли хозяин, старик сказал, что хозяин теперь всему война. «Наши раненые и санинструктор тоже должны знать это, — поспешно подумал Рюмин, — хозяин теперь всему война. Всему!» — Но осматривать комнаты и БУ он не стал.

Старик ничему не противился. Он только спросил:

— А кормить раненых вы сами будете?

— Да, — сказал Рюмин. — С ними остается и наш доктор.

— А вы все... никак уходите?

У него были белесые тихие глаза, готовые смотреть на все и всему подчиняться, и Рюмин подумал, что, может, не следует к нему определять раненых. Погасив каганец, старик проводил Рюмина с крыльца и во дворе сказал:

— А взяли они вас, сынок, как Мартына с гулянья!

Рюмин снова неуверенно подумал, что, может, не следует оставлять в этом доме раненых.

— Мы вернемся через три дня! — вдруг таинственно сказал он, вглядываясь в стариковы глаза. — И тогда заплатим вам за помощь Красной Армии. Понимаете?

7

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи, и с какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли. Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение — стремительным броском вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спасаться, заранее устрашась. Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим...

Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное и несбыточное — дня не нужно было; вместо него могла бы сразу наступить новая ночь...

Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило и было яснее направление ветра — он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта — своя тоже — вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для Родины — смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал:

— Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!

Рота двинулась вперед, и рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, до обиды ничтожная и назойливая, как комар, мысль: «А на чем она его носит? На чем?..»

Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал — голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением — как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками.

Лес завиделся издалека — темная кромка его обрисовывалась в белесовато-мутной мгле как провал земли,

и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и, благодарный кому-то за то, что он не один тут, видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури.

Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином — у кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух «лимонок» в карманах шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах 12 и 4. Село виделось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором — волновался — сказал: «Внимание!» — и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени...

Этот первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватило слаженности — они хлестали село ударами как бы с продолговатым потягом, и Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину.

После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания и все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат.

При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу:

— Сейчас побегут! Сейчас мы их!..

Бой в селе нарастал с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший с какой-то подавлявшей волю машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны.

Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завыли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку...

Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет. Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать — невозможно, и четвертый взвод закричал, но не «ура» и не «за Сталина», а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села.

Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом:

— Бутылками их! Бутылками!

Тогда же он услыхал рядом с собой, за кучей хвороста, испуганно недоуменный крик:

— Отдай, проститутка! Кому говорю!!

Как в детстве камень с обрыва Устиньина лога, Алексей с силой швырнул в грузовики «лимонку» и

прыгнул за кучу хвороста. Он не услыхал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал: «Отдай!» — и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени, и, рывком насаживаясь на полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то исступленно страстном заклятье.

— Lassen sie es doch, Herr Offizier. Um Gottes willen![1]

Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро-пронзительном взрыве ярости и отвращения, которые он испытал к курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца.

— Стреляй скорей в него! Ну?! — стонуще крикнул он, и разом с глухим захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле.

Горело уже в разных концах села, и было светло как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочно забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской «новейшей» винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и ярой радостью — «Меня не убьют! Не убьют!» — хлестали его тело рассыпчато-колкие и гремуче-тугие взрывы курсантских «лимонок» и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже

---

[1] — Оставьте, господин офицер. Ради бога! *(Нем.)*

бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел, — это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом...

Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять: почему сапог, желтый, короткий, с широким раструбом голенища, стоял? Не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора? Сахарно-бело и невинно-жутко из него высовывалась тонкая, с округлой оконечностью кость. Он не разглядывал это, а лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме самого главного для него в ту минуту — почему сапог стоит?!

Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клекотно охнул, и его автомат зарокотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог — для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то доверчиво сник и отяжелел и вдруг замычал и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексею в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то охоче рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть зачем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипало к голенищам и носкам сапог. «Это он... облевал», — со стыдом, обидой и гадливостью подумал Алексей. Внутренности его свились в клубок и больно

подкатились к горлу, и он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленном вязанками картофельной ботвы...

Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственней различал голоса своих,— бой затихал. Обессиленный, снятый холодной внутренней дрожью, Алексей наконец встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. «Я только посмотрю... Загляну в лицо и все. Кто он? Какой?»

Немец лежал в прежней позе — без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе «по-живому» прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора. По улице, в свете пожаров, четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных, и те бежали старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо-стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку:

— Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг.

— Куда вы их?

— В распоряжение лейтенанта Гуляева, товарищ, лейтенант! — строго ответил курсант и властно повысил голос: — Айн-цвай! Айн-цвай!

Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо — у плетней и заборов лежали знакомые серые бугорки. Курсанты повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа длинная узкая бочка в подтеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб красно-черного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив в бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку ярко блестела лакированная кобура парабеллума.

— Ну, Лешк! — закричал Гуляев, увидев Алексея.— В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!

Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же он взглянул на пленных, но искоса, скользяще, и совсем другим голосом — невнятно, сквозь сжатые зубы — сказал окружающим его курсантам:

— Туда!

Пленных окружили и повели в глубину сада, а Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею:

— В пух, понимаешь? Расположились тут, сволочи, как дома. В одних кальсонах спят. Видал? Вконец охамели...

Ожидающе вглядываясь в сад, суетясь и пряча от Гуляева полу своей шинели, Алексей спросил, где капитан.

— В том конце, возле школы,—сказал Гуляев.—Там сейчас мины и разное барахло взорвут. В твоем взводе большие потери? У меня всего лишь пятеро...

Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отсчитывалось «айн-цвай, айн-цвай», и он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытал внезапную, горячую и торопливую радость, когда увидел Рюмина.

...Рота вступила в «свой» лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых,— спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом — рукоятки в животы — курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Тут же били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования — «как из мешка!» Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной: они, как пилой, срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось не много времени. Как только утихла стрельба, раненые один за другим снова начали стонать и просить пить, и с какой-то своевольной властностью курсанты приказывали им потерпеть.

— Ну чего развели нуду? К утру доставим в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками!

— Это точно! Там их не меньше батальона сыграло...

— Одних автобусов штук сорок было!..

— Да шесть броневиков...

Рота двигалась медленно. Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села, и каждый знал, что он умалил там и к чему прибавил. Это нужно было не им, здоровым и живым, а семнадцати раненым и тем еще одиннадцати, что навсегда остались в горящем селе, кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди...

8

Лес выпуклым полукругом обрывался в поле. Северо-западным краем оно уходило в возвышенность, а восточным — сползало в низину, и там стояло несколько хат, а за ними тянулась какая-то рыжая приземистая поросль. Дальше ничего не виделось, потому что день застрял на полурассвете — узенький, серый и плоский: небо начиналось прямо над верхушками деревьев. Рота присела на опушке, и Рюмин заколдованно стал смотреть на хаты и на то, что было позади них,— туда предстояло идти, а раненые все время просили воды, и трое из них умерли перед утром, но их несли, потому что Рюмин не останавливался.

Все эти пять или шесть километров, что отделяли роту от места ночного боя, она прошла по восточной опушке леса, и в темноте он казался нескончаемым, широким и неизведанным, как тайга. Он словно по заказу все время заворачивал к северо-востоку, и мысленно Рюмин не раз уже переходил в нем с курсантами ту незримую и таинственную линию, за которой сразу же исчезало представление об окружении и где лишь только тогда изумительно дерзкой победой кремлевцев заканчивался прошлый ночной бой. Но к этому рубежу окончательной победы роту могла привести только ночь, а не этот стыдливый изменник курсантам, плюгавый недоносок неба — день! О если б мог Рюмин загнать его в черные ворота ночи!! Загнать его туда на целые сутки, ненужного сейчас русским людям, запоздалого пособника битых в темноте!..

Рюмин повел роту в глубину леса — чуть-чуть назад и больше на запад, и лес уже не был прежним: он мог быть значительно гуще, запущенней, а в нем то и дело попадались давно и аккуратно сложенные кучки валежника, давно и чисто прибранные полянки и просеки. Он

был избит глубокими скотными тропинками и стежками, припорошенными снегом, и на их обочинах в кустах орешника пуганно тетенькали синицы. Западная опушка показалась еще издали. Лес кончался тут густым мелким осинником. За ним полого поднималось наизволок серое поле, сливавшееся с серым небом...

Такие сигареты можно было не курить — хорошо тлели сами, и дым от них отдавал соломенным чадом, больно царапавшим горло, и есть после этого хотелось еще больше. Но, потому что сигареты были трофейные, в красивых ярко-зеленых и малиновых пачках, никогда до этого не виданных, и потому что рота не лежала, а сидела в лесу в круговой обороне, курсанты курили молчаливо, изучающе-въедливо. Раненые, перевязанные и забинтованные индивидуальными пакетами, лежали в середине круга. Они стонали, подлаживаясь тоном друг под друга,— может, им легче так было, и уже через час их голоса стали для роты привычной тишиной леса. Разведгруппы, посланные Рюминым к востоку и западу от леса, возвратились разновременно. Гуляев, ходивший на запад, доложил, что с бугра, километрах в двух отсюда, виден красный купол водонапорной башни. Наверно, совхоз. А может, станция какая-нибудь. Уточнить не удалось. Не идти же туда днем? Командир третьего взвода лейтенант Рыжков с тремя курсантами принес ведро с водой и четыре ковриги хлеба. Он, сказал, что хаты, видневшиеся с восточной опушки, называются Красными Двориками. Немцев там не было. Свои прошли на Москву позавчера ночью. Рюмин достал карту и тонким кружком обвел на ней зеленое пятно леса рядом с населенным пунктом Таксино, что в 37 километрах западнее Клина.

Такие же кружочки старательно потом вывели на своих картах и командиры взводов.

День разгуливался — небо углублялось, а лес становился прозрачнее и мельче. В одиннадцатом часу над ним неизвестно откуда неслышно появился маленький черный самолет с узкими, косо обрубленными крыльями. Он не гудел, а стрекотал, как косилка, и колеса под его квадратным фюзеляжем искалеченно торчали в разные стороны. Он снизился к самым верхушкам деревьев и начал елозить над лесом, заваливаясь с крыла на крыло, помеченные черно-желтыми крестами.

Кто-то из невесело-раздумчивых русских солдат с первых же дней войны назвал этот чужой самолет-разведчик «костылем», вложив в это слово презрение и горькую обиду — его трудно было сбить. Он часто попадал в сосредоточенный огонь нескольких зенитных батарей и, искореженный, почти бескрылый и бесхвостый, не улетал, а утягивался, сволочь, туда, откуда появлялся, после чего наступало жесткое лихо бомбежки. Курсанты впервые видели «костыль». Он трижды прошел над ротой, и казалось, что этому летучему гробу достаточно одной бронебойно-зажигательной пули, чтобы он рухнул. Но Рюмин трижды повторил команду не стрелять: до вечерних сумерек было каких-нибудь пять часов, и желание остаться незамеченными перерастало у него в уверенность, что разведчик не видит роту.

— Вверх не смотреть! Не шевелиться! — застыв на месте, вполголоса кричал Рюмин, и курсанты гнули к коленям головы, исподтишка косясь в небо, и тоном Рюмина Гуляев попросил:

— Товарищ капитан! Разрешите мне бутылкой его... Залезу на сосну и шарахну! Никто не услышит, товарищ капитан!

Рюмин внимательно посмотрел на Гуляева и ничего не сказал.

На пятом залете самолет неожиданно взревел и трудно полез вверх. Из-под его колес вываливалось что-то бесформенное, сразу же развернувшееся широким белым веером, и на роту в медленном трепете начали опадать листовки. Они застревали в верхушках деревьев, садились на каски и плечи курсантов, порошили раненых. Прислонясь к сосне, Рюмин смотрел на роту. Он видел ее всю сразу и каждого курсанта в отдельности, и то, чего он ждал, было ему противным, немым и темным, но он продолжал ждать и не снимал с рукава листовку, прилипшую к отсыревшему ворсу, и никто из курсантов не прикасался к листовкам. «Нет, они не возьмут листовки, — подумал Рюмин. — Они боятся. Кого? Меня или друг друга?»

Озлобленно и хватко Рюмин ударом ладони накрыл листовку и поднес ее к глазам. И сразу же листовки взяли все,— Рюмин хорошо это видел,— и кто-то из раненых стонуще спросил:

— Ребята... что там написано, а?

Ему никто не ответил — читали, и Рюмин весь превратился в слух и почти зажмурился.

— Что там, а? — снова простонал раненый.

— Да ни хрена тут нету! — с нажимом на басы и с какой-то гневной верой в то, что он понял, сказал позади Рюмина курсант. — В плен Гитлер кличет... А пропуск такой: «Бей жида — политрука, рожа просит кирпича!» Ясно?

— Как Пу-ушкин! — протянул раненый.

— П...юшкин! — окончательно сбился на басы курсант, и Рюмин засмеялся первый и повторил то, что сказал курсант...

Решение...

Была минута, когда Рюмину захотелось принять его всей ротой, но он мысленно представил себе, как по открытому месту, днем, в тылу у немцев на восток двигается из ста шестидесяти трех курсантов, трех лейтенантов, одного капитана и двадцати восьми «санитаров», несущих четырнадцать раненых... Очевидно, другого решения рота принять не могла, и раненых непременно понесли бы впереди, потому что враг на востоке для курсантов не существовал. Если же сообщить курсантам, что рота находится в окружении, то тем более все выскажутся за то, чтобы немедленно идти на восток — там ведь свои! В этом случае роту ожидало единственное и неминуемое — разгром. Лучше было встретить врага в лесу, чем в поле, потому что лес, как и грядущая ночь, был союзником курсантов.

Разведчик еще стрекотал, утягиваясь на юг, когда Рюмин приказал роте залечь в цепь, но не на западной, а на восточной опушке, лицом к лесу. Это было уступкой сердцу — оно ждало врага — только с запада, и отсюда ему на целых двести метров было ближе к своим...

Четвертый взвод лежал на левом фланге. В ночном бою он не понес потерь, и поэтому транспортировка и присмотр за ранеными были поручены ему. Алексей распорядился отнести их чуть-чуть в тыл и левее взвода — там была воронкообразная котловинка, заросшая орешником. Санитаром и сиделкой к раненым он назначил своего связного Гвозденко, и вскоре тот доложил:

— Кушать просят.

— А можно им? — зачем-то спросил Алексей.

— Не все,— значительно сказал Гвозденко.

— А что можно?

— Это пока неизвестно. Что достану, если разрешите сходить вон в те хаты. Воды тоже нету.

Он побежал к Красным Дворикам, гремя ведром. Алексей подумал, что раненых надо бы снести туда, и через плечо стал рассматривать хаты и то, что виднелось за ними. Гвозденко то и дело почему-то оглядывался, потом остановился, поднес к глазам ладонь, задрав голову, и бросился назад.

— Самолеты сюда... Много! — крикнул он и лег рядом с Алексеем, поставив в головах ведро.

— Ты давай к себе,— сказал ему Алексей, улавливая слабый отдаленный гул, и Гвозденко нехотя поднялся и побежал в котловинку, а Алексей снова подумал, что раненых следовало бы перенести в хаты. Самолетов еще не было видно, но с каждой секундой рокот усиливался, и в изголовье Алексея вдруг надсадно-тонко и чисто запело ведро. Острый ноющий звук жил и упрямо бился с мощным ревом неба и чем-то далеким и полузабытым больно пронизывал набухавшее тоской сердце Алексея. Он приподнялся на четвереньки и глянул в небо, но тут же припал к земле и сжался — из длинного журавлиного клина, каким шли самолеты, прямо на четвертый взвод отвесно падали три передних бомбардировщика. «Надо броском вперед или назад, как тогда в окопе»,— мелькнуло в его мозгу, и он крикнул: «Внимание!» — и услыхал над собой круто нараставший свист оторвавшихся от самолетов бомб. Они легли позади и слева, колыхнув и сдвинув землю, и в грохоте обвала сразу же обозначился очередной, до самой души проникающий вой. Эта серия бомб взорвалась тоже позади взвода, но значительно правее, и Алексей мысленно крикнул «Внимание!» — и непостижимо резким рывком кинулся вперед. в глубь леса. Он упал возле сосны и когда оглянулся, то на мгновение увидел наклонно бегущих в лес и падающих у кустов и деревьев курсантов, клубы синеватого праха на опушке, а в их промежутках — далекие силуэты хат и над ними несколько штук завалившихся на нос черных самолетов. Вид этих пикирующих на Дворики «юнкерсов» уколол его сердце надеждой — «может, они все перекинутся туда», и одновременно он подумал,

что раненых переносить в хаты было нельзя... Он видел, как в одиночку и группами разбегались по лесу курсанты. «Что ж он... его мать, завел, а теперь...» Это он подумал о Рюмине, но тут же забыл о нем, придавленный к земле отвратительным воем приближающихся бомб. Мысли, образы и желания с особенной ясностью возникали и проявлялись в те мгновения, которыми разделялись взрывы, но как только эти паузы исчезли и лес начал опрокидываться в сплошную грохочущую темноту, Алексей ни о чем уже не думал — тело берегло в себе лишь страх, и он временами лежал под деревом, вцепившись в него обеими руками, то куда-то бежал и в одну и ту же секунду ощущал дрожь земли, обонял запах чеснока и жженой шерсти; видел над лесом плотную карусель самолетов, встающие и опадающие фонтаны взрывов, летящие и заваливающиеся деревья, бегущих и лежащих курсантов, до капли похожих друг на друга, потому что все были с раскрытыми ртами и обескровленными лицами; видел воронки с месивом песчаника, желтых корней, белых щепок и еще чего-то невыразимого словами; видел куски ноздреватого железа, похожего на баббит, смятые каски и поломанные винтовки... Поддаваясь великой силе чувства локтя, он бежал туда, где больше всего накапливалось людей, и дважды оказывался в поле и дважды возвращался в лес — в поле было страшнее: десятки самолетов чертили над ним широкие заходные виражи...

Наконец для тех, кто был жив, наступила минута тягостного провала в глубину времени, свободного от воя и грохота бомб, но заполненного напряженным ожиданием окончательного взрыва земли: бомбы не рвались, а самолеты продолжали кружить над лесом, и облегченно-ровный их рокот постепенно увязал и растворялся в другом — накатно-тяжком, медлительном и густом.

Под это водопадное слияние звуков мало кто заметил, с какого направления вошли в лес танки и пехота противника...

9

...Курсант лежал лицом вниз, а нависшая над воронкой круглая лепеха соснового корня отекала на него сухим песком, и, полузасыпанный, он казался мерт-

вым. В падении Алексей оттолкнул его плечом и лег под самым корневищем.

— Больше тебе некуда, да? — ошалело, не поднимая из песка головы, заглушенно вскрикнул курсант и подвинулся на свое прежнее место. Алексей дышал часто и трудно, будто только что вынырнул из воды.

— Наложил или ранен? — уже миролюбивее спросил курсант, все еще не отрывая глаз.

— М...к! — выдохнул Алексей.— Лежи тихо! Танковый десант!..

Тот одним рывком повернулся на бок и подтянул к животу ногу. Алексей проделал то же самое, и колени его оказались прижатыми к заду, а голова — к спине курсанта. Они разом глубоко вздохнули и затихли. Все, что им слышалось, доносилось к ним не сверху, а как бы из-под земли: отрывисто-круглые выстрелы танковых пушек, гул моторов, протяжно-раскатный стон падающих деревьев, прореди автоматных очередей, и все это мешалось в единое и казалось отдаленным и неприближающимся.

«Может, это тоже пройдет... Как-нибудь пройдет и кончится»,— подумал Алексей, и тут же он вспомнил и увидел роту, свой взвод, раненых, капитана Рюмина, вспомнил и увидел курсанта, к которому прижимался под этим спасительным земляным зонтом. «А ведь он дезертир!.. Он трус и изменник! — внезапно и жутко догадался Алексей, ничем еще не связывая себя с курсантом. — Там бой, а он...»

Наверху, рядом с воронкой, гремуче прокатился железный вал и послышались близкие автоматные выстрелы, голоса немцев, улюлюканье и свист. Алексей всем телом подался к курсанту, затаенно молясь корню, осыпавшемуся на него песком и глиной. Валы катились рядом, слева и справа, и, ощущая коленями тепло и дрожь тела курсанта, Алексей уже смертно ненавидел булькающее урчанье его живота, эту тесно прильнувшую к нему спину, весь его мерзкий, скрюченный облик.

— Где твоя СВТ? — свистящим шепотом спросил он курсанта.

— Тут! — к чему-то готово отозвался курсант.— И немецкий автомат тоже... А твоя?

У него опять голодно зарычал живот, и курсант еще круче выгнул спину и сказал:

— Вот же сволочь! Ему хоть бы что...

В буреломном грохоте леса неожиданно явственно (и совсем недалеко) вспыхнула раздерганная ружейная пальба и раздались крики, потом несколько раз (знакомо по учебному полигону) звучно взорвались противотанковые гранаты, и все откатилось в сторону, и Алексей обнял курсанта и затрясся в сухом истерическом плаче.

— Тихо! Цыц, в душу твою!..— обернулся курсант и стал ловить горячими пальцами прыгающие губы Алексея.— Ты что...— Он осекся, с писком сглотнул слюну и отнял руку.— Это вы, товарищ лейтенант? Не бойтесь! Нас тут не найдут... Вот увидите! — зашептал он в глаз Алексею.

— Вставай! — крикнул Алексей.— Там... Там все гибнут, а ты... Вставай! Пошли! Ну?!

— Не надо, товарищ лейтенант! Мы ничего не сможем... Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их, гадов, потом всех... Вот увидите!.. Мы их потом всех, как вчера ночью! — исступленно просил курсант и медленно, заклинающе нес ладонь ко рту Алексея. Алексей ударил его в подбородок, и курсант встал на колени, упершись каской в корневище.

— Стреляй тогда! — тоже в полный голос крикнул он, и лицо его стало как бинт.— Или давай сперва я тебя! Лучше это самим, чем они нас... раненых... в плен...

И Алексей впервые понял, что смерть многолика. Курсант — Алексей видел это по его жутко косившим к переносице глазам, по готовно поддавшемуся на пистолет левому плечу, по мизинцу правой руки, одиноко пытавшемуся оторвать зачем-то пуговицу на шинели — курсант не боялся э т о й смерти и почти торопил ее, чтобы не встретиться с той, другой, которая была там, наверху. «Что это, страх или инстинктивное сознание пользы жертвы?» — мелькнуло у Алексея.— «Лучше это самим, чем они нас... раненых... в плен». «Мы их потом всех, как вчера ночью!..»

Тогда-то и открылось Алексею его собственное поведение, и, увидя себя со стороны, он сразу же принял последнее предложение курсанта — самих себя, но еще до этого мига его мозг пронизала мысль: « А что же я сам? Я ведь об этом не думал! А может, думал, но только не запомнил того? Что сказал бы я Рюмину перед его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет! Это было б неправдой! Я ни о чем не думал!.. Нет, думал. О роте, о сво-

ем взводе, о нем, Рюмине... И больше всего о себе... Но о себе не я думал! То все возникало без меня, и я не хочу этого! Не хочу!..» Веруя в смертную решимость курсанта и гася в себе чей-то безгласный вопль о спасении, Алексей выбросил руку с пистолетом и разжал пальцы. Курсант обморочно отшатнулся, но тут же схватил пистолет.

— Психический! — измученно прошептал курсант и лег.

Они лежали валетом и слышали, как над ними остановились двое и стали мочиться в обрыв воронки, под корень. Это были немцы. Они перебросились несколькими фразами, и скоро все стихло. Ушли.

Ночь была глухой и пустынной. Сквозь белесую пелену туч звезды просачивались желтыми масляными пятнами, а по земле синим томленым чадом стлался туман, и все окружающее казалось полуверным и расплывчатым. Курсант шел в двух шагах сзади с винтовкой на правом плече и с автоматом на левом, и, оглядываясь, Алексей каждый раз встречал его радостно-смущенные глаза. Он был из третьего взвода. Фамилию его Алексей не помнил, а спрашивать не хотелось. Не хотелось ничего: ни думать, ни разговаривать, ни жить, и все свое тело Алексей ощущал как что-то постороннее и ненужное. Он был пуст, ко всему глух и невосприимчив, и он не мог прибавить или убавить шаг — ноги двигались самостоятельно, без всякого его усилия и воли. Где-то далеко справа размеренно работали тяжелые орудия. Сначала слышалось обрывистое «дон-дон», а через десяток шагов впереди на краю света ворчали взрывы, и Алексей невольно забирал влево, на север.

— Так и дурак кашу съест, была бы ложка,— сказал раздумчиво курсант, прислушиваясь.

Алексей промолчал.

— Воюют-то они чем, — подождав, снова начал курсант, — минометами, пикировщиками да танками?

— Это ты кому следует скажешь, чем они воюют... А как мы с тобой воевали нынче... тоже доложишь! — озлобленно проговорил Алексей, не оборачиваясь.

— Нынче никто из нас не воевал, товарищ лейтенант! — угрюмо сообщил курсант.— И докладывать мне

некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке...

— Один? А я где был? — парализованно остановился Алексей.

— Не знаю. Мало ли... Там кто-то все время стрелял из пистолета по «юнкерсам». Кажется, сбил одного... Может, это вы были?

— Вот гад! — изумленно, самому себе сказал Алексей.— Рота погибла, а он... Вот же гад.

— Да кому это нужно, чтоб мы тоже там погибли? — так же изумленно, шепотом спросил курсант.— Немцам?

— Ты знаешь, о чем я говорю!

— Может, и знаю. Об НКВД, наверно?

— Вот-вот. И о своей и твоей совести...

— Ну, моя совесть чиста! — сказал курсант.— Я вчера ночью честно, один на один троих подсадил, как миленьких... А из НКВД с нами никого не было. Ни вчера, ни нынче. Так что нечего...

Он обиженно замолчал и пошел рядом, но через минуту спросил почти весело:

— А вы как... многих вчера, товарищ лейтенант?

— Одного,— не сразу, устало сказал Алексей.— Худой как скелет...

Курсант удивленно и немного насмешливо посмотрел на него сбоку.

— Шупали, что ли?

— Документы проверял... Он офицер был, — солгал Алексей и рукавом отер лицо.

— А я, дурак, и не подумал насчет трофеев! — сокрушенно сказал курсант.— Один вот только автомат прихватил...

Они дважды присаживались в поле и молча курили перемешанную с песком и галетными крошками махорку курсанта, запрятав цигарки в рукава, потом опять шли на северо-восток, потому что орудия по-прежнему били справа. Когда посреди неожиданно обозначилась в полумгле бурая горбатина леса, курсант сцепил локоть Алексея и захлебно крикнул:

— Немцы! Над самыми верхушками... Четверо!..

Было все сразу — волна горячего испуга («Он сошел с ума!»), вид четырех гигантов, возвышавшихся над лесом тускло блестевшими касками («Я тоже?»), и голос капитана Рюмина:

— Свои! Подходите!

Лес был шагах в двадцати, и на бегу курсант не то

смеялся, не то плакал и до боли сжимал локоть Алексея. Как только под ногами с морозным сухим треском стала ломаться рыжая заросль, Алексей догадался, что это всего-навсего подсолнечные будылья, и перестал противиться руке курсанта и сам закричал что-то слезно и призывно...

10

Это оказались те самые скирды, где четыре дня тому назад роту встретил майор в белом полушубке. Скирды узнали еще издали с опушки леса, и Рюмин, шедший впереди, так и не понял — сам ли он замедлил шаг, или же курсанты с Алексеем настигли его, и он очутился в середине и даже немного позади группы. Так, в тесной кучке, все шестеро и подошли к ним, и сразу же каждый почувствовал ту предельную усталость, когда тело начинает гудеть и дрожать и хочется единственного — упасть и не вставать больше. Остановившись, Рюмин удивленно и опасливо оглядел скирды, лес, светлеющее небо, потом перевел взгляд на Алексея и спросил его снова:

— Все? Больше никого?

Алексей ничего не ответил — это было сказано в десятый раз,— и тем же изнуренным и бесстрастным голосом Рюмин произнес:

— Тогда обождем здесь.

Курсанты один за другим молча нырнули в готовую дыру в западной стенке крайнего справа скирда, и когда Алексей тоже наклонился над ямкой, Рюмин просительно тронул его за плечо и с отчаянным усилием сказал:

— Не нужно туда! Сделаем сами...

Они подошли к соседнему скирду, и Рюмин, захватив в горсть несколько травинок, понес их к себе, как букет, а потом стоял и с неестественно пристальным, почти тупым любопытством следил за тем, как легко и хватко Алексей вынимал из скирда круглые охапки слежавшегося клевера и тимофеевки.

— Все. Давайте, товарищ капитан,— сказал Алексей.

— Что? — непонимающе спросил Рюмин.

— Заходите, а я свяжу затычку.

Рюмин согнулся, но пролаз был низок, и он опустился на колени и локти и пополз в пахучую темень дыры под немым страдающим взглядом Алексея. И хотя влезть

в дыру можно и нужно было иначе — задом, уперев руки в колени, Алексей зачем-то в точности повторил прием Рюмина. Он загородил затычкой вход и лег, стараясь не задеть капитана, и, затаясь, несколько минут ждал какого-то страшного разговора с Рюминым. Но Рюмин молчал, изредка сухо и громко сглатывая слюну. В недрах скирда шуршали и попискивали мыши, и пахло сокровенным, очень давним и незабытым, и от всего этого томительно-больно замирало сердце, и в нем росла запуганно-тайная радость сознания, что можно еще заснуть.

Было светло и спросонок зябко, потому что затычка валялась в стороне,— видно, Рюмин отбросил ее ударом кулака. Он лежал на животе, наполовину высунувшись из устья дыры, и, уложив подбородок в ладони, глядел в небо. Там, над лесом, метались три фиалково-голубых «ястребка», а вокруг них с острым звоном спиралями ходили на больших скоростях четыре «мессершмитта». Алексей впервые видел воздушный бой и, подтянувшись к пролазу, принял позу Рюмина. Маленькие, кургузые «ястребки», зайдя друг другу в хвост, кружили теперь на одной высоте, а «мессершмитты» разрозненно и с дальних расстояний кидались на них сверху, с боков и снизу, и тот «ястребок», который ближе других оказывался к атакующему врагу, сразу же подпрыгивал и кувыркался, но места в кругу не терял.

— Хорошо обороняются, правда, товарищ капитан? — возбужденно спросил Алексей. Рюмин не обернулся: на лес убито падал, медленно перевертываясь, наш истребитель, а прямо над ним свечой шел в небо грязно-желтый, длинный и победно остервенелый «мессершмитт».

— Мерзавец! Ведь все это давно было показано нам в Испании! — прошептал Рюмин.— Негодяй! — убежденно-страстно повторил он, и Алексей не знал, о ком он говорит.

Вслед за первым почти одновременно погибли оба оставшихся «ястребка» — один, дымя и заваливаясь на крыло, потянул на запад, второй отвесно рухнул где-то за лесом. Рюмин повернулся на бок, поочередно подтянул ноги и сел.

— Все, — старчески сказал он. — Все... За это нас нельзя простить. Никогда!..

У него теперь были худое узкое лицо, поросшее светлой щетиной, съехавший влево рот и истончившиеся в ненависти белые крутые ноздри. Увидав на его шее две набрякшие, судорожно бившиеся жилы — плачет?! — Алексей, встав на четвереньки и забыв сесть, одним дыханием выкрикнул в грудь Рюмину все то, что ему самому сказал курсант:

— Ничего, товарищ капитан! Мы их, гадов, всех потом, как вчера ночью! Мы их... Пускай только... Они еще не так заблюют!.. У нас еще Урал и Сибирь есть, забыли, что ли! Ничего!..

Несколько минут они молчали. Лицо Рюмина сохраняло прежнее выражение — невидящие глаза, скосившийся рот, приподнятые крылья ноздрей, но он сидел теперь затаенно-тихий, как бы во что-то вслушиваясь или силясь постигнуть ускользающую от него мысль, и как только это удалось ему, черты лица его сразу же обмякли и он как-то сожалеюще-любовно посмотрел в глаза Алексею.

— Покурить бы, — виновато сказал он.

— Это я сейчас,— вырвалось у Алексея.— У ребят есть, я знаю!..

Курсанты понуро сидели кружком у своего скирда. На охапке клевера перед ними стояла расковыренная штыком банка судака в томатном соусе. Они, видно, приготовили ее давно, до начала воздушного боя, и все еще не ели, может, потому, что не решили — чем. При подходе Алексея они не встали, но ожидающе подобрались. Сразу же, увидав банку, Алексей хотел вернуться и прийти попозже, но уйти, ничего не сказав курсантам, было нельзя, и он спросил, как они отдохнули.

— Как у тещи,— с мрачной иронией сказал кто-то, и оттого, что курсанты сидели и ждали от него чего-то другого, а не этого только вопроса, потому что Алексей стоял прямо над банкой и старался не глядеть на нее и не глотать приток слюны, он устыдился и покраснел от одной лишь мысли попросить сейчас закурить.

— Ну ладно,— торопливо проговорил он,— я зайду после...

Его догнал тот самый курсант из третьего взвода и на ладонях, залитых ржавым соусом, почти к самому лицу Алексея протянул банку.

— Ну-ка, берите с капитаном! — строго и загодя возмущенно на предполагаемое неповиновение сказал он.—

И под низ давайте, а то разольете к такой матери!..

Бессознательно подчиняясь приказному тону, Алексей машинально снял с его ладоней банку и тут же протянул ее назад, но курсант, на отлете поддерживая руки, побежал к своим и на полпути обернулся и напутственно кивнул Алексею.

— Я же только так... Закурить хотел! — слабо крикнул Алексей.

— Потом принесу! — отозвался курсант, но уже не оглянулся.

Рюмин встретил Алексея вопрошающе-длинным взглядом, и когда Алексей, приемом курсанта, поднес к его лицу банку, он отшатнулся и пораженно спросил:

— Что это?

— Консервы... Ничего нельзя было сделать,— растерянно проговорил Алексей.— А табак, сказали, принесут после...

— Сказали? — переспросил Рюмин.— Зачем? Черт знает... Как же ты не понимаешь всего этого! — И, побелев, скривив рот и пытаясь встать на колени, осипло крикнул: — Отнеси сейчас же! Бегом! И никакого табака! Ничего! Они не этим должны нас... Не этим!..

Все того же курсанта и Алексея, бежавших со своими ношами навстречу друг другу, разделяли шага три или четыре, когда в скирде позади Алексея треснул притушенный, до конца не окрепший выстрел. Видно, курсант тоже враз понял, кто и куда стрелял, потому что он сам выхватил из рук Алексея банку, рассыпав табак, а потом бежал следом за Алексеем и ярым полушепотом ругался в бога...

Рюмин лежал на спине. Левая бровь его была удивленно вскинута, а расширенные глаза осмысленно глядели в сумрак дыры. Он часто и слабо икал, выталкивая языком сквозь белеющие зубы розоватую пену, и правой рукой, откинутой далеко в сторону, зажимал пучок клевера. Все это Алексей вобрал в один короткий обыскивающий взгляд, и когда он позвал капитана и подхватил его под мышки, по всему телу Рюмина прошла бурная живая дрожь, но тело тут же опало и налилось тяжестью, а глаза вспугнуто померкли.

Это было впервые, когда Алексей не устрашился мертвого. Наоборот, он испытывал какую-то странную

близость и согласность к той таинственно-неподвижной позе Рюмина, в которой он лежал, и то, что он сделал, не вызывало у Алексея ни протеста, ни жалости. Как в полусне и с выражением просветленной оцепенелости он расстегнул на Рюмине шинель и стал ощупывать его грудь, ощущая пальцами угасающее тепло и липкую влажность. В проходе дыры молча стояли курсанты, и когда Алексей бессмысленно взглянул на них, кто-то спросил:

— Куда он попал, товарищ лейтенант?

Алексей не ответил. Курсант из третьего взвода сказал: «Какая разница»,— и выругался в бога.

Все, что делал потом Алексей — снимал с Рюмина планшетку и полевую сумку, вытаскивал из нагрудных карманов его гимнастерки крошечный блокнот и партийный билет, разглядывал и прятал в свой карман рюминский пистолет,— все это он совершал внимательно-прочно, медленно и почти торжественно. То оцепенение, с которым он встретил смерть Рюмина, оказывается, не было ошеломленностью или растерянностью. То было неожиданное и незнакомое явление ему мира, в котором не стало ничего малого, далекого и непонятного. Теперь все, что когда-то уже было и могло еще быть, приобрело в его глазах новую, громадную значимость, близость и сокровенность, и все это — бывшее, настоящее и грядущее — требовало к себе предельно бережного внимания и отношения. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью. Теперь она стояла перед ним, как дальняя и безразличная ему родня-нищенка, но рядом с нею и ближе к нему встало его детство, дед Матвей, Бешеная лощина... По очереди разглядывая лица курсантов, он раздельно и бесстрастно сказал:

— Надо его на опушке, под кленом.

— Как теперь узнаешь клен? Листьев-то нету, — сказал кто-то, но Алексей повторил с тупым упрямством:

— Чтоб небольшой клен... Разлатый.

Он сам нашел его метрах в ста от скирдов. Молча ходившие сзади курсанты составили в козлы СВТ, а под ними выставили две бутылки с бензином. Немецкий автомат курсант из третьего взвода повесил на ветку клена. Алексей, проследив за действием каждого, снял шинель и свернул ее пакетом. То же самое проделали и

курсанты, но шинели свои сложили поодаль лейтенантской.

— Дай мне свой штык, — сказал Алексей курсанту из третьего взвода.

— Да полно вам, мы сами выроем! — с досадой взглянул на него тот.

— Дай, говорю, ну? — прошептал Алексей. Курсант обратил кинжалообразный штык лезвием к себе и протянул его Алексею.

Земля промерзла всего лишь на ладонь, но ее верхний черный пласт был густо перевит и опутан белыми нитями пырея — жесткого и неподатливого, как проволока. «Пырей растет по всей, наверно, России... Бывало, пока нарежешь дерна, иступишь лопату... А земляные плитки назывались в Шелковке корвегами. После дождя ребятишки запруживали ими ручьи на проулках села...»

Первую плитку Алексей вырезал трудно и долго. Это всегда так бывало: первая корвега самая трудная... Трое курсантов, дробивших до того землю на мелкие кусочки, начали тоже вырезать плитки. Их принимал и складывал в штабель курсант из третьего взвода.

— Потом выложим ими верх,— сказал он Алексею.

Под черноземом слоем залегал нетолстый пласт глины, а дальше показался песок. Его черпали касками и выбрасывали на восточный край могилы. Он был теплый. Теплым и обмякло-рыхлым было небо, затянутое сплошными тучами, и теплыми были снежинки, липнувшие к рукам.

Танки показались в северной стороне поля, и стрелял лишь тот, кто шел на скирды, а второй молчал и двигался к опушке леса. Алексей видел, как курсанты, несшие Рюмина, повернули назад, в скирды, и капитана уносил уже только один — курсант из третьего взвода. Он тащил его на спине, как мешок, и голова мертвого держалась очень прямо, и каска сидела на ней удивительно по-рюмински — чуть-чуть набекрень. Не переставая думать, как положить Рюмина — головой на север или юг, — Алексей вылез из могилы и сначала собрал шинели, потом винтовки, автомат и бутылки с бензином и все это не сбросил, а сложил в углу могилы. Молчавший танк достиг опушки и шел теперь вдоль нее

к Алексею, поводя из стороны в сторону коротким хоботом орудия. Но он был еще сравнительно далеко, а второй елозил уже между скирдами, и из крайнего, где спрятались курсанты, нехотя выбивался, повисая над землей, сырой желтый дым. Почти равнодушно Алексей отвел от него глаза и встал лицом к приближающемуся танку, затем не спеша вынул рюминский пистолет и зачем-то положил его на край могилы у своего правого локтя. Наклоняясь за бутылкой, он увидел испачканные глиной голенища сапог и колени и сперва почистил их, а потом уже выпрямился. До танка оставалось несколько метров,— Алексей хорошо различал теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц, и снова болезненно-остро ощутив присутствие тут своего детства, забыв все слова, нажитые без деда Матвея, пронзительно, но никому не слышно крикнул:

— Я тебя, матери твоей черт! Я тебя зараз...

Он не забыл смочить бензином и поджечь паклю и швырнул бутылку. Визжащим комком голубого пламени она перелетела через башню танка, и, поняв, что он промахнулся, Алексей нырнул на дно могилы. Он падал, на лету обнимая голову руками, успев краем глаз схватить зубчатый столб голубого огня и лаково-смоляного дыма, взметнувшегося за куполом башни.

— Ага, матери твоей черт! Ага!..

Он успел это крикнуть и плашмя упасть в угол могилы, где лежали шинели, и успел вспомнить, что то место в танке, куда он попал бутылкой, называется репицей...

Когда грохочущая тяжесть сплюснула его внутренности и стало нечем дышать, он подумал, что надо было лечь так, как они лежали вчера с курсантом в лесу — на боку, подогнув к животу колени...

Он лежал и с протяжным нутряным воем втягивал в себя воздух. На каждый вдох и выдох приходился удар сердца, болью отдававшийся во лбу и пальцах рук. Он забыл все, что с ним произошло, и не знал, где находится. Телу ничего не хотелось, кроме одного — дышать, и он продолжал захлебно сосать из шинелей воздух, пропахший потом, ружейным маслом и керосином. А затем пришло все сразу — память, ощущение неподатливой тяжести, взрыв испуга, и он с такой силой рва-

нулся из завала, что услышал, как надломленно хрумкнул позвоночник и треснули суставы рук, метнувшихся вниз откуда-то сверху, от затылка. Теперь он опирался грудью на локти, как на колышки. Они тряслись и вот-вот должны были переломиться, но вокруг них была пустота и воздух, и, захватывая его ртом, Алексей по-прежнему утробно выл,— иначе он не мог, боялся дышать. Он повторил рывок и очутился поверх комьев земли и глины. Привалясь к обвалившейся стене могилы, он долго сидел обессиленный и обмякший, следя за тем, как из носа на подол гимнастерки размеренно стекали веские капли крови.

— Это только так,— гнусаво сказал Алексей.— Зараз пройдет...

Он лег, вытянувшись во весь рост, зажмурился и раскрыл рот. Падали крупные, лохматые и теплые снежинки. Они липли к бровям, наскоро превращаясь в щекочущую влагу, заполнявшую глазные впадины, и Алексею казалось, что это плачут глаза одни, без него...

Сначала он отрыл свою шинель и рукавом гимнастерки старательно очистил петлицы от налипшего песка и глины. Кубари были целы. Не вставая с колен, Алексей оделся и в десятый раз взглянул в сторону темного, неподвижно приземистого танка. В нем все еще что-то шипело и трескалось, и в белесом сумраке вечера над откинутым верхним люком виднелся трепетный черный сноп чада.

— Стерва,— вяло, всхлипывающе сказал Алексей.— Худая...

По-прежнему избегая глядеть на догорающие скирды, он отрыл бутылку с бензином, СВТ, рюминский пистолет и подолом шинели протер оружие. Винтовки он повесил на плечи — по две на каждом, пистолет спрятал в карман брюк, а бутылку взял в руки. Не глядя в сторону скирдов, он пошел от могилы по опушке леса, постепенно забирая вправо, на северо-восток.

Было тихо и сумрачно. Далеко впереди беззвучно и медленно в небо тянулись от земли огненные трассы, и Алексей шел к ним. Он ни о чем отчетливо не думал, потому что им владело одновременно несколько чувств, одинаково равных по силе,— оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и

тайная радость тому, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчетная боязнь этой встречи; горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк...

Подавленный всем этим, он шел и то и дело всхлипывающе шептал:

— Стерва... Худая...

Так было легче идти.

1963

ГЕНКА, БРАТ МОЙ...

(Записки таксиста)

Я минут на двадцать опоздал, но Генка не ушел — сидел в машине и ждал. Она была пыльная, неприбранная, и я помыл ее снаружи и протер внутри. Из паза отопления торчал красный лист клена, и я выкинул его вон.

— Мешал он тебе, да?

Генка глядел на меня заморенно и жалобно. Брюки его вздулись на коленках пузырями. Такую дешевку надо гладить каждый день, а не раз в месяц. Рубаху б тоже можно было не занашивать черт-те до чего, но это его личное дело... Я выкинул кленовый лист и не стал объяснять, что он похож на огонь. Будто забыл, как мы горели! А машину Генка мог бы сдавать мне чистой, как ни опасайся, но шлангом все равно что-нибудь испачкаешь на себе, а потом всю смену езди в плохом настроении...

— Тебе куда? Домой?

Мне хотелось сказать это как-нибудь порезче,—нашел дурачка, чтоб мыть каждый раз,— а получилось ни то, ни се. Эти его какие-то сиротские черные глаза. И пузыри на коленках. И рубаха. И весь он сам...

Я вырулил за ворота парка, и Генка сказал:

— Мне, пожалуй, следует закусить. Ты не против?

Это чтоб в машине. Чтоб мы выехали за город в наш перелесок, где когда-то горели. Там я должен остановиться и подождать, пока он высосет четвертинку и съест халу с ливерной колбасой. Он будет есть и отрешенно глядеть сквозь ветровое стекло, и я скажу ему тогда что-нибудь ласково-остервенелое, утешительное для обоих. Потом Генка до ночи будет ездить со мной, и план я не выполню. Впрочем, это пока неизвестно. План смены зависит не от шофера, а от первого пассажира. Не знаю, как там другие таксисты, а мы с Генкой хорошо знаем, что дело — в первом пассажире. Смотря как он тебя остановит. Как откроет дверцу, как

сядет, что скажет и как на тебя взглянет... Конечно, мне трудно объяснить это, потому что научной основы под такое не подведешь, но и суеверия в этом никакого нету. Может, причина тут заключается в том, что от хорошего человека всегда исходит только хорошее — настроение, удача, надежда — и мало ли что еще! Все дело в щедрости таких людей, и речь не о чаевых, а совсем о другом, — разве ты сможешь взять с него лишнее и показаться хуже его?! Речь совсем о другом, чего я не могу выразить словом. Просто мы знаем с Генкой, что такое хороший и плохой пассажир и что он несет людям вообще и нам с ним, таксистам, в частности...

Я ехал тихонько, прижимаясь к тротуару. Было пыльно и по-полуденному душно. В городе желтели липы, хотя стоял август. В лесу они еще зеленые, а тут... Что значит неволя! Их ведь перевезли сюда силком, взрослыми, с оборванными корнями.

— Сочинил что-нибудь? — спросил я у Генки. Я спросил об этом как всегда — безразлично: по-другому почему-то не мог. Возможно, во мне скрывалась зависть? Может быть... Генка не шелохнулся, но по тому, как сузились и блеснули его глаза, я понял, что сочинил.

— Она там? — показал я на багажник. Он кивнул и отвернулся, а я прибавил газ и свернул в переулок, ведший к загородному шоссе. Мы оба знали тут продовольственную лавчонку-полуподвал. Там работали две продавщицы—уже пожилые, веселые и добрые: у них, например, всегда можно было получить алкогольный напиток раньше десяти часов утра. Генка побежал и вернулся с халой, колбасой и четвертинкой, но я забыл потушить зеленый глаз, и минуты за две раньше Генки к машине подошел пассажир. Первый. Мой. Это была приземистая толстая дама в дорогом шелковом платье. Она подошла и зачем-то постучала свернутым зонтиком по капоту машины, хотя дверные стекла были опущены. Конечно, я открыл бы ей дверцу, но она стучала, а сама глядела куда-то в сторону, и я попросл ее не портить облицовку.

— Свободен аль нет? — спросила дама, гневаясь. Я выключил зеленый глаз и завел мотор, но Генка уже все видел и слышал. Он сложил снедь на заднее сиденье и кивнул мне, чтоб я пересел туда.

— Куда вам надо? — галантно спросил он пассажирку, но она сначала внедрилась в машину на перед-

нее сиденье, а затем уже сказала «давай на Заречную». Это было недалеко, хотя и не по пути нам, и Генка сказал «слушаюсь» и развернул машину. Зареченская мостовая — гибель для покрышек и амортизаторов, и все же Генка — как и любой шофер — мог проехать по ней неощутимо, если б хотел, но мы сквозили, что называется впронос, и пассажирка раза два искоса взглянула на Генку, а когда он чересчур резко тормознул, спросила нас обоих:

— Вы чево это?

— А чево? — осведомился Генка.

— Трясете, как незнамо кто!

— Чай она отечественная, дорога-то! — в тон ей объяснил Генка.

— Вот и ехай, как надо! А то нахрюкался и прёть! — сказала дама. Генка подрулил к тротуару и прокрутил рукоятку счетчика.

— Дальше, миледи, не едем. С вас двадцать шесть копеек,— изысканно сказал он. Дама нехорошо выругалась и пригрозила милицией, а я вежливо спросил, есть ли у нее дочка.

— А тебе чо? — обернулась она. Я немного помолчал,— на таких, как она, всегда почему-то пугающе действовали моя ослепительная финская нейлоновая рубашка и французский галстук, заколотый старинной русской булавкой с настоящей золотой цепочкой. Кроме того, на мне были брюки из стопроцентной английской шерсти и югославские башмаки. Я промолчал и затем серьезно сказал:

— Понимаете, это очень нужно. Пожалуйста!

— Ну есть! Ну и чо?

— Не дай бог такую тещу, правда, Ген? — сказал я Генке.

До своего перелеска мы ехали молча. Там Генка вдруг засмеялся и сказал:

— Думаешь, она запомнит номер? Она же передний и задний смотрела. Они для нее разные, понял? А двадцать шесть копеек я отдам тебе в получку...

Ему почему-то было весело, а мне нет.

Мы загнали машину под свой крушиновый куст, где когда-то горели, и Генка принялся за еду, а я пошел побродить по воле. Орехи уже поспевали, но попадались редко: всюду валялись лещиновые ветки и молозиевая

ореховая скорлупа, будто тут промчалось кочующее стадо обезьян, а путь назад им был заказан. Над полянами крутыми спиралями летали шмели и шершни. В верхушках сосенок стрекотали сороки. В тени дубовых пней отыскивались высокие былинки запоздалой земляники, а липы были зеленые и сочные, и от них пахло медом. Нет, осень придет сюда еще не скоро...

Генка двумя короткими условными ударами посигналил мне и я пошел к машине. Мы всегда так делали: если один, сменившийся, выпивал и закусывал, то другой — раз ему надо было выезжать на линию — уходил прочь, чтоб не согрешать и не расстраиваться. Генка сидел на заднем сиденье задумчивый и сытый. Я открыл багажник и достал гитару. Она была одета в мою старую итальянскую куртку с белым искусственным ворсом внутри. Гитаре было хорошо в этой куртке—мягко и безопасно. Я передал ее Генке, а сам сел к рулю. В стороне по шоссе проносились невидимые МАЗы,— километрах в пяти от него был песчаный карьер. Я прислушивался то к натужному вою машин, то к лесной тишине и ждал, когда взвизгнет молния на куртке и Генка разденет гитару. Его нельзя было торопить ни словом, ни жестом. Тут он должен был делать все сам, один, когда захочет.

— Ну, будешь слушать? — ворчливо спросил Генка. Это, наверно, тоже нужно было ему? — сперва спросить, а потом спеть свое новое. Я знал, что отвечать ему просьбой нельзя,— тогда у него «съеживался» голос,— и промолчал. На наш куст села сорока — никель машины, наверно, привлек — и заверещала, будто ее раздирали надвое. Я высунулся и шугнул на нее, а Генка в это время попробовал лад гитары и запел:

Небо серое, небо синее,
небо алое от зари.
Погляди в него,
полюби его
и судьбу свою не кори.
У тебя под ногами земля,
и в душе словно тысяча звезд...
По мирам пройди
и любовь найди
и в себе ты ее сохрани.
Ты узнаешь и счастье и горе,
ты приветишь тоску и печаль,
ты облазишь и горы и море,
и тогда ты меня повстречай...

Небо серое, небо синее,
небо алое от зари.
Погляди в него,
полюби его
и судьбу свою не кори!..

Мне и самому показалось диким, что я заплакал. Наверно, причина тут крылась в самом Генке, в его короткой, как детская рубашонка, судьбе, а не в словах и мотиве песни, хотя они тоже что-то значили,— до этого Генка сочинял какие-то похоронные куплеты. Мне они не нравились. Кому ты нужен, если слаб? Подумаешь, развел нуду! Вот я и толковал ему про небо над головой и про землю под ногами. И чтоб он считал ее своей личной, а тогда пускай кто-нибудь спробует отнять это у него!..

Мы сидели и молчали — я за рулем, а Генка там, сзади. Мне не хотелось, чтоб он заметил, как я плакал. Это ему ни к чему: кто-то из нас должен быть сильным, иначе мы не то что пропадем, но потеряемся в жизни, и она излохматит нас обоих... Я завел мотор и двинулся к шоссе. Была та предвечерняя пора, когда фары зажигать рано, а глазам уже трудно. Я украдкой заглядывал в зеркало и видел Генку. Он какими-то расслабленно-нежными движениями одевал гитару, и рожа у него была странная: наполовину мечтательная, наполовину хитрая,—заметил, значит, что я плакал. Мне надо было сказать ему что-нибудь такое, чтобы мы опять оказались каждый на своем месте, и я выбрался на шоссе и тоном старшего сказал:

— Слова годятся, а мотив не тот. Надрыв тут ни при чем, понял?

— Да ну? — засмеялся Генка.

— На руле баранки гну! — сказал я.

— Ну, дай одну, — объявил Генка. Я развил бешеную скорость, достиг города и затормозил у подъезда своего дома. Генка пересел ко мне вместе с гитарой и сказал: — Ладно, критик-шитик, давай сдвинем поцелуй!

Мы поцеловались дважды. От Генки попахивало «ерофеичем», маком и ливеркой. Я сказал, чтобы он никуда не уходил, вымыл в комнате пол и погладил свои брюки и мою рубашку.

Наш город не какая-то там Гавана,— кроме трех центральных магистралей да площади в нем не только

подфарниками, но и ближним светом не обойдешься, и на первом же перекрестке я не вовремя переключил фары. Старшина-регулировщик выдал мне квитанцию стоимостью в пятьдесят копеек, сверил свои часы с моими и попросил подкинуть его домой. Я сказал «ради бога», и мы поехали к чертям на кулички — в пригород. Настроение у меня было железное: план ведь рухнул еще в начале смены,— на то и существуют первые неприятные пассажиры. А старшина оказался из вежливых,— он попрощался со мной за руку и поинтересовался, как жизнь...

Я намотал уже тридцать шесть километров холостого пробега, что на языке нашего таксопаркового начальства называется плохим коэффициентом, халтурой и рвачеством. Что же, начальству с горы жизнь видней. Я тихонько ехал в центр, к главной своей стоянке, притормаживая у автобусных остановок, редких тут закусочных и пивных, но пассажиры не попадались. Недалеко от привокзальной площади меня суетливо остановила старушка, одетая по-зимнему — в валенки и телогрейку, опоясанную льняным полотенцем, расшитым красным гарусом. У нее была кладь — широкий, сшитый из рябой попонки мешок, набитый чем-то тяжелым и мягким. Я втиснул его в багажник, и старушка села на заднее сиденье, чтоб поближе, наверно, быть к мешку. Я спросил у ней, куда ехать. Она сказала «на железную станцию» и попытала, дорого ли запрошу. До вокзала было метров восемьсот. Старушка сидела напрягшись, обратив ко мне ухо.

— Говорю, чи много ль возьмешь?

— Рублей пять, не больше, — сказал я. Она, видать, собралась в дальнюю дорогу, раз оделась в зимнее, и я не стал включать счетчик,— с гривенника начинать план не стоило.

— Милай, да как же это? Погоди-ка... Со мной всего-то капиталу одиннадцать рублей! А мне аж до города Талпеды ехать...

— Как-нибудь доберешься, — сказал я. Мы уже подъехали к вокзалу. Я вылез и достал из багажника мешок. На весу нести его было трудно, а на плече — нельзя: что потом станет с моей рубашкой? Нужна была газета — старая, с засохшей краской, и я побежал за ней в вокзальный киоск. Когда я вернулся, старушка в прежней позе сидела в машине.

— Не доеду теперь... Пропаду,— покорно, на одной ноте сказала она, глядя на меня беспомощно и ласково, — наверно, древние верующие люди встречали таким взглядом свою смерть. Бабка протягивала мне темную сморщенную жменю, и я разглядел там ветхую чистенькую пятерку, сложенную в три сгиба.

— Ты чего это надумала? — сказал я.— Как же ты прожила жизнь? Я пошутил, а ты... Как же ты прожила?! Спрячь деньги!

— Так неш я знаю? Ты на меня не сердись, милой... Я в город Талпеду, к зятю еду.

Я не слыхал, чтоб на свете был такой город, и сказал:

— Сволочь твой зять, вот кто!

— Да не-ет,— не согласилась она,— Михалыч-то хороший! Он там на корабле рыбу полонит.

— В Клайпеде, что ль? — спросил я.

— Ага, в ей, в Талпеде... А ты не сердись, ладно?

— Сама ты Талпеда,— сказал я, и мы пошли в вокзал — она впереди, а я с мешком сзади. Настроение у меня было то самое, что мы с Генкой называем железным...

Пока я пристраивал в вокзале мешок и его хозяйку, пошел дождь. Осадки таксистскому плану не помеха, если они затяжные,— людям все равно надо жить и передвигаться, но короткий тучевой дождь—плохо: жители нашего города предпочитают пережидать его дома или в подъездах и не тратиться на вынужденное такси. Я поехал на ближайшую стоянку. Там уже припухали три наши машины и в последней горел плафон: ребята забивали козла. Они позвали меня «четвертым», но я не пошел. Эту игру, наверно, выдумали природные калеки или каторжане. Во всяком случае не сильные и не свободные в выборе развлечений люди.

В «Экране», что я захватил в вокзальном киоске, рекламировались съемки «Анны Карениной». Вронский с Анной тут были похожи «на себя» в такой же степени, как похожи мы с Генкой на испанских рыцарей. Не больше. Что ж, наверно, трудно актеру или актрисе подделаться под каких-то там князей и княгинь. Наверно, не простое это дело... А вообще-то в настоящей жизни подделаться под кого-то можно. И легче подделаться слабому под сильного, чем наоборот. Тут нужно только «напустить» на себя вид — заучить жест и слово, а вот сильному под слабого сыграть в жизни труднее, потому

что в этом случае надо «спускаться», а полностью спуститься с «себя», по-моему, невозможно... Мне, например, легко играть перед Генкой роль сильного, потому что на самом деле мы с ним ровня. Во всем, кроме внешности: у меня серые глаза, русые волосы и рост сто восемьдесят сантиметров. Генка же мне по плечо. Глаза у него карие, с цыганской поволокой, а нос трепетный, как у девчонки. Генка сентиментален. Он любит музыку, цветы, стихи и птиц. Его легко обидеть. Ну и что было б, если бы ему пришлось убедиться в том, что я в точности такой же, как он? Нет, Генке это не надо знать. Кто-то из нас должен быть сильным...

Нам с ним неизвестно, чьи мы родом и откуда мы,— судьба свела нас в детдоме, в войну, когда наши освободили Одессу и подобрали там беспризорников. Тогда нам было года по три, и с тех пор я старшинствую над Генкой...

Дождь прошел, а пассажиры не подходили, и я решил поискать их сам. В центре, возле редакции местной «Правды», ко мне сели двое в одинаковых белесых плащах-пыльниках и синих беретах. Мы поехали к шашлычной. У клиентов были поразительно схожие голоса — какие-то крикливо-перепальные, без переходных интонаций. Они всю дорогу ругали кого-то подонком и свинокожим мешком, набитым патологическими позывами к предательству. У шашлычной пассажиры одновременно начали обшаривать свои карманы. Мне следовало всего лишь девяносто пять копеек, а они все суетились и суетились, и движения их рук были расчетливо спутаны и безадресны, и я знал, что это значит — оба уклонялись от платежа. В таких случаях от того, кто первым не выдерживает и расплачивается, обычно следует щедрое «Сдачи не надо» и резкий захлоп дверцы. От таксиста в этих ситуациях требуется как бы бездоговорная солидарность с потратившимся,— таксист, видите ли, должен тогда оценить «жест широты», благодарно улыбнуться и сказать спасибо. Я ничего этого не сделал, потому что настроение у меня было железное, и вместо переплаченных мне пяти копеек, вернул шесть. Тому, кто платил. Он машинально взял у меня две трехкопеечные монеты и швырнул их на заднее сиденье. Я попросил его не сорить в казенной машине советскими полноценными копейками, и его непотратившийся приятель опасливо взглянул на меня и поспешно подобрал монеты.

— Вот таким путем! — сказал я.— Желаю приятно кутнуть.

— До свидания, товарищ водитель,—ответил тот, что подбирал копейки.—Рады были познакомиться с вами!

Он сказал это угодливо и вполне серьезно: решил, видно, что я стукач. Любопытно, а кто тот, кого они называли подонком? Наверно, приличный малый...

Я снова выбрался на центральную улицу и ехал медленно, у самого тротуара. Мне подумалось, что такси надо бы как-нибудь украшать внутри и снаружи чем-нибудь устойчиво радостным, чтобы людей тянуло к ним как на праздник, — недаром же гондольеры в Венеции сплошь гитаристы и песенники! Я до предела сбавил скорость и включил радио. Неведомый солист гремел-рассказывал каким-то бодро-бездумным голосом о том, что он не знает номера хотя бы, и на каком, не знает, этаже, что жизнь его — квартира — у прораба на сложенном гармошкой чертеже!

Удивительно, как это такое проходит? Разве Генкина нынешняя песенка хуже? Черта с два!

Мне пора было перекусить, и я поехал на Набережную, к дежурному гастроному. Это самая красивая улица в нашем городе, потому что дома тут старинные, приземистые и покойные, со своим обликом и цветом, и тут много каштанов и травы меж ними. В конце Набережной стоит древний белый собор. Колокольный звон ему запрещен в одно время с нашими сигналами, и собор служит втихую. В его монастырском здании — под каштанами и тополями, унизанными грачиными гнездами, — размещен роддом. Говорят, будто бабы легче всего рожают тут весной, когда выводятся грачинята. За все это— немой собор, каштаны и тополя с прочернью гнезд, грустная и кволая городская трава, рождающиеся дети, у которых есть и надолго останутся отцы и матери, — я люблю Набережную. Я нарочно, чтоб проехать по ней из конца в конец, свернул вначале к собору, и там меня остановил пассажир. Он стоял на мостовой и обеими руками взмахивал мне навстречу, будто отбивался от ос. Я уже затормозил, а он все взмахивал и пятился назад,— наверно, до этого мимо него прошло несколько занятых машин и теперь он не верил удаче. Я открыл переднюю дверцу и спросил, куда ему надо.

— Пожалуйста, прямо,— сказал он. На нем был какой-то немыслимый пиджак горохового цвета. Крахмаль-

ный воротничок рубашки приходился ему не то широким, не то тесным и взлезал к ушам — большим, розовым и оттопыренным. Очки, по-моему, тоже были ему малы, а может, велики, потому что то и дело спадали, и на безымянном пальце его левой руки я заметил толстое железное кольцо с большим черным глазком. Я тогда в третий раз читал «Войну и мир», и мой пассажир был не двойником и не копией, а настоящим, живым Пьером Безуховым, каким тот сформировался в моем мозгу. Мне уже не раз — особенно по ночам — приходилось возить героев из больших книг, но эта иллюзия обычно продолжалась до тех пор, пока не начинались разговоры. «Пожалуйста, прямо», по интонации голоса и нечеткости смысла было пьеровское, но мало ли что могло последовать за этим, и я молча проехал мимо своего гастронома, а в конце Набережной притормозил и взглянул на пассажира. Он ни к чему не готовился, и я пересек площадь и выехал на Степную улицу — длинную, неприбранную и затемненную, как наше с Генкой беспризорство.

Я уже признавался, что не всех мы возим одинаково, что все зависит от того, кто сидит, но теперь я ехал совсем особенно: машина шла бесшумно, неторопливо-плавно и по-живому свободно; она была чутко послушна мне, а я ей. Мне все еще хотелось молчания,— было хорошо в полутьме и втайне считать себя... ну, скажем, князем Андреем, подвозящим в своей карете Пьера куда-нибудь в пригород Петербурга на заседание масонской ложи. Он сейчас выйдет там, потрогает очки и невнятно скажет мне, щурясь и клоня вниз голову:

— До свидания, князь. Я непременно буду у вас завтра в полдень...

— Послушайте, а нельзя ли вместо красного зажечь зеленый? — неожиданно сказал пассажир. Я не понял смысла просьбы, и он дотронулся рукой до ветрового стекла. Я объяснил, что в таком случае придется выключить счетчик, а это привлечет к нам контрольную машину.

— Контрольную? Этого не нужно,— сказал он. Я засмеялся, а он смутился, и машина пошла еще плавней. Мне можно было уже не опасаться разрушения своей шальной ребяческой мечты, потому что наполовину она как бы сбылась, и я стал внимательней приглядываться к своему соседу. Нет, он ехал не на заседание братьев каменщиков, а совсем в другое место: к Ростовым, и

ему было не то что хорошо и радостно, но прямо-таки изнурительно и щекотно,— это угадывалось по тому, как он бессмысленно улыбался и шевелил пальцами рук, будто ворожил; как не находил нужного ему положения, ерзая на сиденье; как украдкой взглядывал на меня, решая, видно, способен ли я постичь что-нибудь в этом изменившемся, обновленном для него мире. Ему, наверно, хотелось поговорить, не обязательно о причине своей радости, а так, о чем угодно, и, конечно же, он не предполагал найти во мне достойного собеседника или хотя бы слушателя,— шофер есть шофер, и это нисколько меня не обижало. У силикатного завода, в который упиралась Степная, я на секунду осветил кабину, чтоб пассажир смог разглядеть табло счетчика. Он и посмотрел туда, но ничего не сказал. Тогда я приглашающе спросил, куда нам двигаться отсюда. Он, наверно, не расслышал или не понял вопроса, и я сделал круг и поехал назад.

Это трудно объяснить, почему тогда в мое сердце впилась короткая боль обиды за свое детство,— может, вид Степной напомнил его, и я подумал, что мы правы с Генкой, решив никогда не жениться, чтоб наши дети не унаследовали судьбу отцов. Затем я подумал, что это бред и чушь, и в то время мой пассажир сказал:

— Четыре с половиной! Надо же!

Я только мельком взглянул на него. Он сидел, подавшись вперед, и держал на весу руки. Сейчас он ими всплеснет, как там на Набережной у роддома, когда останавливал меня, и я сбавил скорость и спросил:

— Вас можно поздравить?

— Благодарю вас,— сказал он.

— Сын?

— Сын! — изнуренно подтвердил он.

— Богатырский вес,— сказал я.

— Правда?—встрепенулся он.—Это ведь редкость, а?

— Конечно, — сказал я, — обычно они весят не больше двух.

— Замечательно! Слушайте, а мы не могли бы поехать куда-нибудь за город? Чтобы костер, понимаете?

Он проговорил это фальцетом. Я подрулил к тротуару, осветил кабину и достал блокнот и карандаш. На левой стороне листа я написал единицу и двойку — свой сменный план в рублях, а на правой — фактическое выполнение, которое равнялось девяносто пяти копейкам

наличными и двум рублям десяти копейкам, показанным на счетчике. Дефицит в сумме восьми рублей и девяноста пяти копеек я предельным нажимом карандаша изобразил в конце листка и подал его счастливому отцу. Мне было плохо от всей этой бухгалтерии, и я сказал:

— Вот что будет стоить нам ночной сервис.

Он принял у меня листок, пощурился на него и достал тринадцать рублей.

— Пожалуйста. Хватит?

Вид у него был «а черт меня подери». Деньги, конечно, можно было взять, но тогда исключался костер на двоих и пропадал «князь Андрей», тогда я стану в стороне и не вылезу из машины. Но, может, он так и хочет?

— Денег вам хватит вполне, но заплáтите после. Счетчик будет работать,— сказал я.

Он снял очки и доверчиво спросил:

— На что вы обиделись? Может, мало?

— Как вы намерены жечь костер? В одиночку? — уточнил я.

— Нет, с вами, — ответил он.

— Я тоже так думал, поэтому и сказал «нашего сервиса».

— Так в чем же дело?

— В моей свободе у костра, — сказал я. — С вас два десять по счетчику и четыре сорок пять плановых. Итого шесть пятьдесят пять.

Меня подмывало брякнуть «позвольте получить, граф», но он сидел насторожившись и нахохлившись,— чего-то испугался, и я сказал:

— Да вы не беспокойтесь, я беру и «чаевые», и «сдачи не надо», и всякие другие. С вами у меня необычная поездка. Просто я подумал, что без меня вы в своих очках не разведете в темноте костра.

Он с сомнением посмотрел на меня, и с той смешной театральностью, когда робкие люди принимают смелое решение, спросил, где можно достать сейчас шампанское. «А городовых привязывать к медведям будем?» — хотелось мне спросить. Я выключил счетчик и поехал к вокзалу. Там он сходил в буфет и взял две бутылки коньяка и две бутылки шампанского. Он нес их как новорожденных — на груди, и сам ступал на носки как балерина. Я побежал в буфет и купил хлеба и четыре порции холодного языка.

Наш с Генкой перелесок спал. Под светом фар на деревьях потревоженно завозились какие-то большие птицы, и опадающая с веток капель вспыхнула ярко и радужно, как игрушечный беззвучный салют. Было ясно, что костра нам не развести, — тут все было мокрым, но я на всякий случай снял рубашку и пошел поискать сушняк в створе фар. Трава тоже была волглой. Обшлага моих брюк сразу же отяжелели и обмякли. Я пощупал их и вернулся к машине. Пьер самостоятельно зажег там плафон и сидел сосредоточенный, тихий и благостный.

— Ну как? — с придыхом спросил он и снял очки.

— Сейчас будет, — сказал я. Мне это — сжечь запасное колесо — пришло в голову внезапно, в момент, когда Пьер так доверчиво и вожделенно спросил про костер, и я подумал о себе старинно-книжно и красиво, в третьем лице, — «тогда он широким жестом открыл багажник, подхватил запаску и понес ее впереди себя легко и гордо, как носили когда-то псковичи свои боевые кованые щиты». Я все так и проделал, выпустил из камеры воздух, потом набрал из бака в Генкину пустую четвертинку бензина и облил колесо. Когда пламя с гулом взметнулось вверх, Пьер смятенно спросил, что я делаю, но я объяснил ему, что это старая запаска, без протектора, и он успокоился.

— На ней нельзя ехать?

— Теперь нет, — сказал я. Мы выбрали из машины заднее сиденье и поставили его близ костра, потом я надел рубашку и тогда мы познакомились, он назвал свое имя и отчество — Георгий Павлович, а я только имя — Владимир.

Колесо горело каким-то аспидно-красным огнем, и чад от него всходил тяжелыми бурунными клубами, но нам сиделось хорошо и покойно, потому что ноги были протянуты вперед, к костру, и пили мы из Генкиной баночки из-под сметаны — сперва шампанское за мать и сына, затем коньяк за них же, потом опять шампанское — за самих себя. После этого мы поцеловались, перешли на ты, и Георгий Павлович спросил, как я считаю, не назвать ли парня Владимиром? Я ничего не имел против, но все же предложил другое имя — Геннадий.

— Это неплохо слышится, — согласился он.

— Конечно, — сказал я, — вырастет и — Геннадий Георгиевич!

— И аристократично, — размыслил он. Я наполнил и передал ему баночку коньяка пополам с шампанским. Он выпил и решительно заявил: — Нет, Володя звучит лучше. Русее. Во-ло-ди-мир! Чуешь глубину?

— Еще бы! Улавливаю! Между прочим, в нашем доме Сталинита и, кажется, Никсерг живут, — сказал я.

— Ну ее к черту, политику! — трезво сказал он и оглянулся. Мне тоже хотелось обернуться, — что он там учуял?— но я не стал это делать и сказал как глухому:

— А крепко мы напужаны, граф. Изволили отбывать, что ли?

— Немного, князь, изволил в свое время, — неохотно признался он. — А ну ее к черту, политику! Давай лучше выпьем еще по одной!

Я не возражал, и мне захотелось спеть сегодняшнюю Генкину песенку, но, кроме мотива и начальных слов, я все забыл.

Мой Георгий Павлович заметно осоловел, — наверно, смесь повлияла, а я ощущал ту стремительную заостренность и невесомость тела, когда хочется летать. У нас еще оставались коньяк и шампанское, и нашему адскому костру конца не виделось, но было уже поздно, мне следовало возвращаться в парк. Мы установили в машину сиденье и загасили костер. Когда мне приходится немного выпить, езда со мной полностью безопасна, потому что я тогда вдвойне вижу, слышу и чувствую не только глазами, ушами и сердцем, но всем своим телом и духом, каждой клеткой и порой. Мы тогда сливаемся с машиной воедино и оба — я и она — точно знаем, в какой миг предупредить друг друга об опасности. Об этом, понятно, не потолкуешь с автоинспектором, но перед ночным другом я могу похвастаться или нет? Он выслушал меня и окончательно решил назвать сына Владимиром.

— Только возьми, пожалуйста, у меня еще пять рублей, — просяще сказал он. — И бутылку вон забери, ладно?

— Очень хочешь, чтоб взял? — спросил я и остановил машину.

— До смерти хочу! — сказал он и всхлипнул. Я положил в задний карман пятерку, и у меня тоже навер-

нулись слезы, и мы обнялись и минут пять посидели так — неудобно, спаянно и грустно...

На всем пятом этаже нашего крупноблочного ковчега со двора светилось только одно окно, — к Генке, конечно, прилезла Нита, и я сел на скамейку в скверике. Нита — это та самая Сталинита из нашего дома. У нас с нею трудные ножевые взаимоотношения, — мы терпеть не можем друг друга. Она из прочной семьи, что живут на вторых этажах. Ее отец — какой-то заслуженный гулаговец в отставке, а мать преподает литературу в средней школе. Сама Нита ведет «рассеянный» образ жизни, но дело тут не этом и не в ее благополучной родословной: когда я вижу прямоугольную мощь ее спины, мне никак не постичь, что нужно этой развратной барабанно-пустой махине от моего Генки — малосильного мужичонки-девственника! О том, что она глупа и лжива, — кричит в ней все: круглые сизые глаза, растопыренные щетки намастикованных ресниц, какая-то стеариновая сальность щек, маленький некрепкий лоб под поветью волос, выкрашенных в красный цвет, развально-потягушечья походка, чтоб волновался зад. Когда она так идет-мучается, мне хочется схватить ее и сломать в руках, как зловредную куклу-робота. Нита считает меня мелочным и злым старпером. Она называет меня «скобарником», а я ее «шкыдлой». Никто из нас не знает истинного значения этих слов, но взаимного отвращения заложено в них много. Может, я и на самом деле немного старомоден в своих словах и догляде за Генкой, но иначе нам нельзя, кто-то из нас должен быть старшим, а кроме того — мало ли чего нам — особенно мне — приходилось делать нечистого когда-то, что мы теперь должны скрывать и не хотеть помнить. Да где ей, шкыдле и добровольной беспризорнице, понять это! И я не дам ей зачумливать Генку, не дам! Я его не на помойке нашел!

В скверике было тихо, но я на всякий случай хорошенько посмотрел-послушал, что тут к чему, и спрятал в траву бутылки, — иначе, если я приду с ними домой, придется угощать Ниту. Я шумно открыл коридорную дверь, повозился с замком, нарочно споткнулся и протопал сначала в туалет, а затем уже вошел в комнату. Нита и Генка сидели за столом. На нем лежала ливер-

ная колбаса, остатки халы и стояла пустая бутылка. Генка спросил, чего я так поздно. Я отвесил Ните кинопридворный поклон, а ему сиротски сказал:

— Калымил, брат мой. На скудное пропитание.

Нита презрительно взглянула на меня и брезгливо поежилась. Я двумя пальцами взял за горлышко бутылку из-под тракии и сказал Генке:

— Фи, какой кислятиной ты угощаешь даму! Сталиниточка, насколько я проницаю, обожает вермут, как и подобает всяческой светской львице.

— Да ла-адно! — обиженно протянул Генка и допил из стакана остатки вина.

— Ты ошибаешься, — сказал я. — У нас не все ладно. У нас с тобой вышла из строя запаска. Вместе с диском. По этому случаю нам придется озаботиться ее монтировкой. С утра. К тому времени мы должны быть бодры и деятельны. А перед сном, как ты знаешь, надо еще принять душ. Потому что чистота — залог моральной устойчивости.

Нита поднялась и жеманно попрощалась с Генкой.

— Честь имею кланяться! — вполне, по-моему, галантно сказал я ей вдогон. Генка сидел насупленный и прибито жалкий. Мне хотелось обнять его и сказать «здравствуй, малыш», но этого не стоило делать,— один из нас все время должен быть сильным, и я распахнул створки шкафа и многозначительно потеребил Генкины неглаженые брюки и свою рубашку.

— Все же тебя произвел на свет немец! — трагически сказал Генка. Я предположил, что его сочинил румын или итальянец. Ему это не понравилось, — вид его стал еще бедственнее, и я сказал:

— Хорошо! Нас — тебя и меня — сделал один человек. Он был похож на Пьера Безухова.

— Почему это на него? — спросил Генка. — Лучше пусть на князя Андрея.

— Нет, — сказал я, — наш с тобой отец был похож на Пьера. И он не виноват, что мы... Тогда же война шла! Он погиб. И мать тоже... Ну чего вылупил свои каштановые!

— Не надо, Вов, а то я тоже зареву, — сказал Генка, и я пошел и хорошенько умылся, а потом спросил у Генки, не хочет ли он выпить.

— А ты? — подозрительно попытал он.

— Я хочу. Коньяк. Армянский. А после — шампанское. Мускатное, — сказал я.

— Ну и черт с нами, едем на вокзал! — предложил Генка, и глаза у него засветились надеждой на сладкую жизнь.

— Надень белую рубашку, почисти туфли и жди меня. Я вернусь через семь минут. Успеешь?

— Конечно! — сказал Генка. Я спустился во двор, забрал бутылки и минут пять посидел в скверике.

Мы никуда не пошли. Мы все выпили дома, а после пели Генкины песни...

А дни стояли по-летнему жаркие и длинные, но по сизой глубине их и звонкости уже угадывался август. Он угадывался и по многому другому. На тротуарах с государственных лотков продавали болгарские помидоры. На колхозном рынке приезжие кареглазые женщины, низко покрытые черными платками и обутые в кирзовые сапоги, торговали дынями и кавунами. В автоматах «газ-воды» стаканы были заполнены осами и шершнями. Для нас с Генкой август месяц — невезучее время, и все самое трудное выпадает нам на него. Счет этому мы ведем с сорок шестого года, когда благополучно убежали из своего детдома. Тогда в Одессе так же было сухо и знойно, но мглистый морской горизонт подступал чуть ли не к самому берегу, и за ним нам мерещился обрыв белого света. Мы подались на север, потому что в этой стороне земля, сходясь с небом, скрывалась в загадочной сизой дымке, которая сулила нам то, за чем мы бежали. Это была наша третья вылазка на волю. До этого нас два раза задерживали за городом на станции Свердлово, — Генка клянчил там хлебушка на двоих, а в этот раз мы проехали ее незаметно: мы лежали на трухлявых и теплых телеграфных столбах, которыми была загружена платформа, и я держал Генку за подол майки. Ночью нам стало холодно, и было страшно глядеть на небо, — там то и дело взрывались звезды и падали в степь. Уже близко к утру мы перебрались на крышу соседнего пульмана и спустились в тамбур. Он оказался огороженным полудверьми. Тут было еще холодней, и почему-то пахло нашим детдомом, и мы присели в углу и обплели друг друга руками. Нас разбудил окрик.

В тамбуре над нами стоял человек в громадных серых валенках, обшитых красной автомобильной камерой. Он направлял на нас керосиновый фонарь, и в его закопченном свете я различил на полу, прямо перед собой, затвердевшую кучу, — кто-то давно сходил тут по-большому. Мы с Генкой вскочили, и я сообщил как донос, за который полагается милость:

— Дяденька! Тут вон кто-то накакал!

— Нахезали, сволочи? А ну, геть отсюда! — почти мирно сказал проводник и шагнул к ступенькам, — это всегда так делалось, если нам хотели дать только пинка ногой, а не задерживать.

— Неш это мы? Там же вон сколько! — пискляво сказал Генка, и ресницы у него распушились и встали дыбком, — глядел вверх, потому что был не выше колен проводника. Тот не изменил расстановки ног, но прибавил в фонаре огня и заинтересованно спросил, не братья ли мы. Я поспешно сказал, что братья.

— И по многу ж вам?

— Мне семь, а ему, Генке, вот, шесть.

— Чего брешешь, мне тоже семь! — встрял Генка, но проводник, видать, поверил мне, а не ему.

— У нас румыны поубивали всех, а мы спрятались и остались живы, — с надеждой на хорошее соврал я.

— Живы-живы, мать его!.. — остервенело сказал кондуктор. — А ну, геть отсюдова!

Когда мы спрыгивали на рельсы, то я заметил, что у проводника пустой правый рукав брезентового плаща заправлен в карман, а из него неломано торчала ботва брюквы, будто росла там.

Вот так нечаянно получилось у нас с братством и моим старшинством. Позже, когда мы попали в Подмосковный детдом, я придумал нам фамилию — Корневы, а Генка отчество — Богдановичи. Имена у нас остались свои настоящие...

Уже несколько лет — с самой демобилизации из армии — мы с Генкой мечтаем пойти в отпуск одновременно, чтобы съездить в Одессу. Наверно, мы поедем поездом и обязательно в мягком вагоне. У нас будут одинаковые чемоданы — венгерские, желтые, на сквозной «молнии» — и всю дорогу мы будем мало разговаривать, кто бы ни сидел в купе, и понемножку —

отхлебнул и поставил, отхлебнул и поставил — пить шампанское. Двух бутылок нам вполне хватит. Вполне! Мы сойдем на Свердлово, наймем там такси, а лучше частную машину, чтоб без клеток, и на большой скорости въедем в город и остановимся у своего детдома. Он, конечно, покрашен сейчас в теплый розовый колер. Мы долго будем вылезать из машины, чтоб успокоиться, и никто из нас не взглянет на окно кабинета «скважины». Она, наверно, мало в чем изменилась, разве что перестала носить китель и сапоги. Конечно же, она будет смотреть в окно и гадать, кто это, нездешний, подъехал и зачем? Не знаю, как насчет Генки, а меня ей легко будет принять... мало ли за кого! Мы пойдем к дверям своего детдома, не глядя на окна, медленно и тесно, неся чемоданы в левых руках, и о нас тогда можно всякое подумать. Дверь открою я, и в это время она своей солдатской походкой выйдет в коридор.

— Евдокия Гавриловна? — вполне вежливо скажу я. — Здравствуйте! Рады вас видеть и приветствовать!

Я буду знать, почему у меня задрожит подбородок и сердце подскочит к горлу, — тут подступит все разом: и заклеклый с годами страх перед этой женщиной, и ненависть за него к себе, и совсем невольная и неподдельная радость встречи со своим детством. У Евдокии Гавриловны мгновенно пройдет напряженно-ищейское выражение лица (мы никакие не проверяющие), и она снисходительно, хотя и не догадываясь, кто мы, скажет протяжно и в нос:

— Здрасьте-здрасьте, молодые люди. Что-то я запамятовала... Вы по какому вопросу ко мне?

— Просто проведать. Это Геннадий Богданович, — скажу я о Генке и сделаю почтительный жест свободной рукой в его сторону. — Помните? В сорок шестом его еще укусила в карцере крыса. Позже, под утро, я убил ее миской. Крыса была без хвоста и воняла паленой шерстью.

— Ничего не понимаю! Какая такая крыса? Вы по какому вопросу пришли сюда?

Евдокия Гавриловна, конечно, узнает нас, и поэтому в ее голосе будут притворная оскорбленность и своя прежняя грубая властность. Я по возможности спокойно скажу ей, что это бред, будто прошедшее — страх перед злым, тупым и ничтожным человеком — не до-

пустит нас с Генкой к личной доброте и вере людям вообще. Для этого нам достаточно сейчас видеть ее, Евдокию Гавриловну Верхушину! Она, конечно, ничего не поймет, и тогда Генка, уже двинувшись к выходу со своим модным чемоданом в левой руке, учтиво и нарочно ни к селу ни к городу спросит, например, такое: известно ли мадам Верхушиной изречение ла Брёттеля о том, что стыд перед пролетариатом в конце концов загоняет буржуя на звезды?..

А город встретит нас ласково и всезабвенно. Мы долго будем бродить по улицам, а потом зайдем в самый лучший ресторан и закажем длинный-длинный обед, и шампанское будем пить медленно и умело — отхлебнем и поставим, отхлебнем и поставим!

Да, нам очень нужна эта поездка. Мы с нового года завели себе сберкнижку, и с той ночной пьеровской пятеркой у нас стало девяносто шесть рублей. А ведь будут еще отпускные!

Главное — это достать чемоданы. Венгерские, желтые, на сквозной «молнии»...

В ту неделю, последнюю перед нашим отпуском, Генка работал во вторую смену. Он почти каждый раз опаздывал, но являлся как ни в чем не бывало, потому что занимался сборами за обоих. Он опоздал и тридцатого — накануне нашего отъезда, и пришел какой-то хитро-веселый, со смеженными ресницами.

— Успел тяпнуть, да? Ну и лахудра ж ты! — сказал я, но он сострадательно поглядел на меня, сел за руль и уверенно выехал за ворота. Я поинтересовался, не кажется ли ему, что кое-кто из нас двоих начинает помаленьку привыкать к услугам няньки в штанах?

— В штанах? Это в каких таких? — притворно изумился Генка.

— В английских! — сказал я.

— А-а! В аглицких, вишь!.. Но если б эта нянька знала, что я достал! Ох, что я доста-ал! — сказал он не мне, а черт-те кому, и вид у него был загадочный. Я решил, что это он о чемоданах, — купил, значит, и не стал за него тревожиться. Он включил счетчик, с ходу набрал скорость, и минут через двадцать мы были в своем перелеске. Там на рыжем подпале травы неприютно и как-то устрашающе лежала наша недогоревшая запаска, и Генка недоуменно посмотрел на нее, но ничего не сказал. У меня пропала охота обмы-

вать тут чемоданы — иначе зачем бы мы сюда ехали — и я предложил Генке сочинить это дома после его смены. Он засмеялся, погладил меня по плечу и томительно медленно, двумя пальцами левой руки полез в боковой карман своего пиджака. Я подумал, что он купил мне какие-нибудь необычные запонки или, может, галстук, и изобразил бесстрастный вид, как всегда в таких случаях. Сам Генка откровенно радовался моим для него подаркам, а я давно запретил себе впадать при нем в сантименты, потому что это слабость. Я сидел и глядел в сторону запаски, а Генка в это время вытащил и поднес к моему носу маленькую обтрепанную книжку, пахнущую не то сосной, не то воском. На серой обложке бурыми буквами, как сукровицей, было обозначено «въ помощь голодающимъ». Генка глядел на меня умиленно и тихо, и я сказал ему как блаженному:

— Руководящее пособие приобрел? Ну теперь мы заживем!

— Да ты послушай, беспризорское твое отродье, что тут написано, — мечтательно сказал Генка. Он раскрыл на закладке книжку и нараспев, каким-то щемяще сказительным голосом начал читать: «Послала я к тебе, друг мой, связочку, изволь носить на здоровье и связывать головушку, а я тое связочку целый день носила, и к тебе, друг мой, послала: изволь носить на здоровье. А я, ей-ей, в добром здоровье. А которые у тебя, друг мой, есть в Азове кафтаны старые изношенные и ты, друг мой, пришли ко мне, отпоров от воротка, лоскуточик камочки, и я тое камочку стану до тебя, друг мой, стану носить — будто с тобою видица...»

Генка замолчал. Я смотрел в сторону, на запаску, и не видел, как он сидит — лицом ко мне или к боковому окну. Я подождал, установил голос, как ему положено быть, и спросил, что за чепуху такую читал он. Генка повозился на своем месте и рыдающе сказал:

— Письмо... жены к мужу... конца семнадцатого века.

— Ну и что?

— Ничего. Умели... А книжка издана в 1892 году. В помощь голодающим.

— Они, конечно, сразу насытились! — ехидно сказал я и сам на себя мысленно плюнул.

— Тебе не кажется, что один из нас временами корчит из себя неизвестно зачем холодного болвана? —

раздумчиво спросил Генка. Я поблагодарил и не обещал потеплеть, и он обнял меня, и мы несколько минут посидели молча.

— Ты гони от себя эту чумную Сталиниточку, — попросил я,— мы себя не на помойке нашли!

— Все равно таких женщин, как эта, теперь нету,— грустно заявил Генка и спрятал книжку в карман. Мне было неизвестно, есть они такие или нет,— скорее всего нет, время не то, и я сказал, что нежность — это слабость. Генка промолчал. Тогда я спросил, замечал ли он когда-нибудь, чтобы наши простые советские граждане, возвращаясь из леса, несли можжевельник?

— Ну допустим, что не замечал, — отозвался Генка.

— Вот то-то и оно! — сказал я. — Они волокут сирень, черемуху, рябину. То есть все нежное и слабое.

— Это не слабое, а просто красивое, — возразил Генка и завел мотор. Из пригорода я решил добраться домой автобусом с первой же остановки, но Генка проехал ее и притормозил возле столовой. В последние предотпускные дни мы немного поприжались в расходах и даже не всегда обедали, перебиваясь то кефиром, то жареной треской, то чем-нибудь еще подешевле, — наверстаем потом в Одессе. Я уже дня три тому назад заметил, что у Генки вздыбился пух на затылке,— это у него с детства так, если хотелось есть, но в последний день ни к чему было нарушать условие, и я сделал вид, что не понял, почему он тут остановился. Мы двинулись к следующей автобусной остановке, и меня все тянуло пригладить Генкин затылок, но впадать в сантименты не стоило.

Чемоданы мы решили искать вдвоем завтра с утра, а вечером выехать.

Я еще из-под арки ворот увидел десятка полтора пенсионеров-общественников из нашего дома, прогонявших из сквера двоих парней в кургузых брезентовых куртках, — наверно, это были штукатуры с соседней стройки. Они сидели за пустующим столом козлятников и собирались выпить: на столе лежали два яблока, стояла четвертинка водки и блестел алюминиевый колпачок от термоса. Пенсионеры колготились и грозили парням «сутками», а они сидели молча, пости-

гая, видно, свою вину, а потом разом, как под взмах чьей-то руки, слаженно и внятно послали «всех тут» к такой-то матери. Мне нельзя было миновать сквер, и я засмеялся не над уместностью фразы, сказанной штукатурами, а над тем, как они отчеканили ее: я решил, что они, наверно, давно и крепко дружат, раз умеют думать одновременно об одном и том же. Прямо как мы с Генкой. Это, может, и толкнуло меня подмигнуть им, когда я проходил мимо стола. Они мне тоже подмигнули — разом и одинаково — и дуэтом предложили выпить вместе. Я опять засмеялся — над этой их ладностью слов и жестов, а общественность решила, что над ней. Тогда и выяснилось, что я такой же бездельник и пьяница, как эти мои дружки. Это была двойная неправда, и я издали, уже от подъезда дома, посоветовал приятелям не обращать внимания на всех этих достойных леди и джентльменов. Сидеть, выпивать и разговаривать тут, раз некуда приткнуться!..

— Обычно я — Генка тоже — взбираемся на свой пятый этаж армейским физзарядным бегом. Это когда руки согнуты, ладони сжаты в кулаки, а колени ног подкидываются как можно выше. Между прочим, когда дела в порядке — план выполнен, начальство не рычит, а люди, которых ты возил, остались по-хорошему в памяти, то ступеньки лестницы преодолеваются так, будто ты несешься по прямой. В этот раз я добежал только до второго этажа, а дальше пошел шагом: хотелось сладить с каким-то царапным зудом в сердце от этой своей встречи с пенсионерами.

Я решил сразу же вымыть пол в комнате. Он тогда часа два будет отдавать прохладой, и по нему захочется походить босиком и припомнить что-нибудь веселое. Генкина постель была не прибрана, — на ней будто собаки дрались, и я мысленно посулил ему что полагалось, заправил ее и под подушкой обнаружил часы, — забыл, как всегда,—и новую толстую тетрадку в дерматиновой обложке. Я протер мокрой тряпкой пол, открыл окно, чтобы он поскорее просох, а после этого заглянул в тетрадку: было бы ни к чему, если б Генка перед самым отъездом сочинил что-нибудь грустное.

Мне всегда было трудно и обидно читать его почерк — слепой, мелкий и тесный, как мушиный помет на скатерти. Каждая буква заключена у него в квадрат клетки как в карцер: сидит там маленькая, загнан-

ная, детдомовская какая-то, черти б се взяли! То же самое было и в этой тетрадке,— даже свое имя и фамилию на заглавном листе Генка не решился вывести покрупней, и я взял ручку и на две клетки подтянул буквы вверх.

На второй странице все в тот же мушиный след было написано: «Я был малыш, голым-голыш и всем чужой, но вот поди ж: чудак прохожий подарил мне както бубен. В него ударил я рукой, притопнул босою ногой, и шаг мой сделался танцующе-нетруден. Однажды в город я пришел, в нездешний город я пришел, в далекий город привела меня дорога. Направо дом, налево дом, а я с растерянным лицом, и на душе моей — то радость, то тревога. А этот город был такой лазурно-сине-голубой, что захлестнул меня как праздник бесконечный. Я где-то бубен уронил, свою дорогу позабыл и горожанином стал сытым и беспечным. С тех пор прошли уже года, но я мечтаю иногда: вот если б кто-нибудь мне снова вверил бубен! В него ударю я рукой, притопну босою ногой и не расстанусь с ним ни в праздник и ни в будень!.. »

Ничего веселого в этой новой Генкиной песне не было. Под ее слова в уме сам собой складывался какой-то босоного-чечеточный мотив, напоминающий о нашем беспризорстве. А кому это нужно? И кто это нас одаривал бубном-радостью? Когда? Где?.. Разве что тот лейтенант-мальчишка, который подарил нам губную немецкую гармошку? Но ему ведь жалко было отдавать ее, он же сам чуть не заплакал... Мы повстречались с ним после того, как нас прогнал с товарного поезда проводник, у которого росла в кармане брюква. Тогда до утра мы просидели возле деревянного прирельсового склада. Он, видать, недавно был построен, потому что на желтых досках шелёвки проступали совсем мягкие смоляные сосульки. Мы поснимали их и съели, и мне ничего не было, а у Генки заболел живот. Я оставил его возле склада, а сам побежал на привокзальный рынок-толкучку и у сидячей старухи торговки схватил из решета два коржика. Они и в Одессе и тут стоили по трояку штука и были маленькие, шестиугольные, формованные граненой стопкой. Зацапал меня милиционер — тут же сзади, за шею, но коржики я потерял позже, когда меня били та моя и чужие торговки. Они били небольно, потому что мешали друг другу, но ми-

лиционер не отпускал шею, и тычки приходились мне в голову. Вот тогда и появился в нашей сутолочи этот лейтенант-мальчишка и скомандовал: «Назад, канальи!» Может, он выкрикнул только начальное слово, а второе — «канальи» — мы с Генкой присочинили ему сами, позже, потому что так хотелось, но все же он скомандовал, и я оказался в свободном круге наедине с милиционером. Он не отпускал мою шею потому, что не знал еще, что лейтенант — в самом деле лейтенант, а не солдат: это выяснилось после того, как милиционер крикнул ему: «А ну, давай отсюда!» Тот почему-то пригнулся, откинул с правого плеча плащ-палатку и обнажил пистолет. Тогда и обозначился на его плече зеленый полевой погон с двумя звездочками. У лейтенанта скосились глаза, а нос побелел как бумага; он двинулся ко мне и милиционеру молча, клонясь вперед, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если б милиционер не спрятался в толпе торговок.

После этого мы с лейтенантом пошли с толкучки. Он тоже обхватил рукой мою шею, но не для того, чтобы держать меня, а просто так, как старшой меньшего, и от этого я заплакал. Генка заметил нас и побежал прочь от склада. Он попросил лейтенанта издали, чтобы тот отпустил меня, потому что у нас всех поубивали румыны, а мы спрятались и остались живы. Лейтенант остановился и сказал «Ах ты черт», а я крикнул Генке, чтобы он не боялся своих. Мы признались лейтенанту, откуда бежим, но куда — не знали, и он опять сказал «Ах ты черт» и дал мне большую красную тридцатку, а Генке — не сразу, а немного погодя — подарил губную гармошку. Он посоветовал нам «рвать на Москву, там вас подберут, кому надо», а сам все поглядывал и поглядывал на Генку, сцепившего сияющую как огонь гармошку...

Вот и все насчет «бубна-радости». Может, Генке и следовало написать об этом песню, но не о тоске по беспризорству, будь оно проклято, а о лейтенанте, который навсегда остался в нашей памяти большим героем-мальчишкой, крикнувшим торговкам «Назад, канальи!». Милиционеру он тоже мог что-нибудь сказать в песне. Например: «Ты чем тут занимаешься, мерзавец!»

Обо всем этом я решил поговорить с Генкой завтра в поезде. Мы, наверно, возьмем не две, а три бу-

тылки шампанского и будем пить его долго и спокойно — отхлебнем и поставим, отхлебнем и поставим...

Пол к тому времени просох. Я закрыл окно, обернулся спиной к зеркалу и под слова «Бубна» сплясал чечетку — босой и с голосом на крике, как бывало в детдоме. Кто меня мог видеть и слышать тут?

Вечером я стал готовиться в дорогу. Мне хотелось, чтоб не только чемоданы, но и все на нас было одинаковое — куртки, галстуки, носки и даже трусы. Со своим личным хозяйством я управился быстро, — у меня все годилось хоть на свадьбу, но с Генкиным было трудней. Я никогда не мог постичь, почему его носильные шмутки сразу же приобретают — не только на нем, но и в шкафу — какой-то убедненный и стушеванный вид. Одно время я думал, что причина тут кроется в качестве вещи, — дешевка она и есть дешевка, как ее ни блюди, но мы ведь давно уже покупаем себе все одноценное, и просто непостижимо, отчего, например, у его импортных ботинок так скорбно-нелепо скосоротились носки; почему у нейлоновой рубашки — такой же, как у меня, — концы воротничка бесповоротно-сгибло завернулись внутрь, и чего ради его шерстяной берет — одной поры и цены с моим — разлохматился как бездомный щенок! Дело тут не в уходе за вещью и не в степени ее износа, а в чем-то другом, необъяснимом, непонятном и ненужном: все принадлежащее Генке рано или поздно становится чем-то похожим на него самого, когда ему плохо. Он тогда превращается в безгласный крик о том, что у нас всех поубивали, а мы спрятались и остались живы, но тот, кому он кричит это, глух и слеп, и ресницы у Генки пушатся и встают дыбком, и весь его облик выражает примерно такое — «вот-вот явится!» Что явится, почему — неизвестно. В таких случаях мне всегда становится обидно за себя и тревожно за Генку, и у нас происходят короткие беседы, похожие на стычки, и при этом мы не садимся, а стоим, — Генка должен знать и помнить, что во мне метр восемьдесят взрослой силы!..

Часам к десяти я закончил все приготовления. Генкины брюки я выгладил с нажимом всего своего веса на утюг, а в ботинки набил бумаги и поставил их на середине комнаты, чтобы они побыли у меня на виду. А вскоре явился Генка. По тому, как он открыл дверь

и взглянул на меня, я понял, что с ним что-то случилось. Я подумал об аварии и спросил, где машина. Он сел на мою койку и ознобно сказал:

— Во дворе. Там деревенская женщина...

— Ну и херувим с ней! — сказал я. — Она, надеюсь, не укусила тебя?

— Она везет домой мужа из морга, — сказал он, не шевелясь и не моргая. — В оба конца около ста километров... Может, поедем вместе, а? Они сзади сидят.

— Как сидят? — не понял я.

— Прямо, — сказал Генка. — Он без внутренностей. Их у мертвецов в моргах выбирают для учебы студентов.

— Ну и пусть! — крикнул я. — Какое это имеет значение?

— Все же... одну только оболочку повезем, — страшно сказал Генка. Как укольная боль, меня пронизало почти непреодолимое желание ударить его: он не смел, не должен был ввязываться в это ненужное для нас дело — калымить на перевозке мертвецов в такси, но раз тот уже сидит там...

— Она два дня искала подводу или машину, — сказал Генка. Вид у него был «вот-вот явится». — Говорит, просят восемьдесят, а у нее всего сорок три с копейками...

— Ну и что? И повезем, раз взялся, — сказал я.— Подумаешь, развел сентименты! Дорогу знаешь?

Машина стояла метрах в пяти от подъезда и мигала левым подфарником,— Генка забыл выключить рычаг указателя поворота. Мы одновременно открыли передние дверцы и сели, как гестаповцы в кинофильмах об отступлении: стремительно, тесно, наклонясь вперед. Мне не хотелось, чтобы Генка подумал, будто я, как и он, боюсь глянуть назад, но оборачиваться тоже не тянуло. Сзади нас цепенела трудная непустая тишина, и неизвестно было, что лучше — чтобы там шевелились или сидели тихо. Генка торчал за рулем как истукан. Он старался миновать оживленные улицы и держался поодаль от тротуаров. Как только мы выбрались за город, невидимая нами женщина на заднем сиденье заголосила переливчато и бессловесно. Мы не знали, как быть, — успокаивать ее или молчать, и как ехать — медленно или быстро, и нужно ли снять береты или оставаться в них. Ее голос становился все

изнурительней и изнурительней, и Генка повел машину зигзагами, потому что то и дело взглядывал на меня и зачем-то наваливался на руль. Я посоветовал ему переключить скорость с четвертой на третью, но после этого стало еще хуже — гуд мотора каким-то непутево утробным ладом вплелся в звериный вой женщины...

Нет, я не думаю, что именно это — голошение вдовы, привлекло к нам внимание контролера, — его служебную машину я заметил метров за сто. Она стояла на обочине шоссе, и красный светящийся диск нам был выброшен почти с того же расстояния. Генка сбил скорость на нейтральную и стал притормаживать, а глазами спросил у меня, как быть. Женщина, наверно, почуяла что-то неладное и стихла. Я сказал Генке, что все в порядке. Счетчик у нас включен, неположенного числа пассажиров нет, сменное время не истекло. Что еще? Главное было знать, как там сидят сзади, но оглядываться не хотелось, а кроме того, контролеру никакого нет дела до пассажиров. Тем более что их вполне нормальное число.

Контролер был ведомственный, но лично я видел его впервые, — они у нас менялись через две недели на третью, потому что рано или поздно люди так или сяк сходятся между собой, а по положению о контролерах это им с нами не полагалось. Генке бы сидеть спокойно, — внешне у нас ведь все было в порядке, но он заколготился и первым поздоровался с контролером. Тот не ответил, будто не расслышал приветствие, и потребовал путевку. Он не сказал ни «пожалуйста», ни «предъявите», а просто буркнул «путевку», и Генка поспешно и угодливо проговорил «сию минуту». Вот тогда я и напомнил Генке, что контролер забыл представиться. Ему, наверно, было лет под пятьдесят. При свете малых фар я как следует разглядел и его темно-синий плащ до пяток, и кожаную фуражку, и позауральски круглое дубленое лицо. О том, что он забыл представиться, я сказал Генке в меру независимо и заинтересованно, как и подобает пассажиру с каким-нибудь общественным весом. Возможно, я сказал это зря, но сожалеть об этом было уже поздно: контролер забрал у Генки путевку, а меня спросил, кто я собственно такой. Я сказал, что к любому собственно советскому человеку надо обращаться на «вы» не толь-

ко днем, но и ночью. Он порекомендовал мне с намеком на какое-то всегда возможное худо сидеть пока сидится, и в это время Генка нечаянно приоткрыл дверь и в машине зажегся свет...

Тогда уже ничего нельзя было сделать. Контролер до половины всунулся на заднее сиденье и, наверно, потеребил мертвеца, потому что женщина там суетливо и повинно проговорила:

— Это со мной едет... Муж мой. От жабы-рака помер...

Я в это время оглянулся и в какую-то дикую секунду успел схватить-увидеть крепкое, азартно преобразившееся лицо контролера, круто выгорченные под бязевыми кальсонами худые мужские колени и черный, с подрагивающей бахромой полушалок, распяленный в руках женщины, — она, видно, только теперь решила прикрыть голову мертвого.

Контролер выругался погано и неизвестно на кого, захлопнул заднюю дверь машины и приказал Генке поворачивать в город.

— Впереди поедешь! — сказал он и встал в створе наших фар. Генка сидел у меня где-то под мышкой, и берет у него совсем разлохматился и сбился на бок. Он спросил у меня, почему я молчу и не объясню товарищу контролеру, что тут одна только оболочка?

— И как я повезу э т о обратно? Зачем? — пискляво проговорил он мне на ухо.

Когда я вылез из машины и пошел к контролеру, то совсем не думал о чем-нибудь плохом для него. Я только хотел объяснить ему, что нам нельзя и ненужно возвращаться в город, потому что он сам видит, кого мы везем, и что мы ни о чем его не просим — пусть у него остается путевка и пусть он доложит начальству обо всем, в чем нас застукал! Я только с этой нашей бедой и пошел к нему, но он что-то крикнул мне и стал зачем-то расстегивать плащ. Я теперь не помню, что сказал ему, когда взял и поднял его на руки, — не как-нибудь там грубо и срыву, а как поднимают ребенка — с просовом рук под зад и шею. Он даже не пытался барахтаться, пока мы шли так к кювету дороги, и там я не сложил и не ссадил его, а поставил на ноги, как стоял он до этого. Больше я ничего с ним не делал и побежал к своей машине, и Генка сам догадался, что я хочу сесть за руль.

Как только мы рванулись вперед, женщина заголосила кручинно и как-то раздольно облегченно, будто была уже дома. Генка с натужным усилием приподнялся на сиденье и, как тиролец, прокричал в зеркало:

— Мамаша! Не надо так убиваться, слышите? Что ж теперь поделаешь!

— На войне вон сколько здоровых людей погибло!— зачем-то сказал я.

— Миллионы! — подтвердил Генка. — Вот и у нас... и маму и отца...

Я пнул его локтем и прибавил газу.

— И маму и отца, — клекотно проговорил Генка. — А мы с вас и денег не возьмем ни копейки, правда, Вов?

Я выключил счетчик и поглядел в зеркало. Дорога позади нас была пустынна.

1968

ПОЧЕМ В РАКИТНОМ РАДОСТИ

Машину я оставил на улице под липами — они сильно выросли,— а сам зашел под каменный свод ворот и оглядел двор. Все тут было прежним, как двадцать пять лет назад. Справа — красного кирпича стена потребсоюзовского склада, слева — пыльная трущобка индивидуальных сараев, а в глубине двора — уборная, помойка и длинная приземистая арка глухих ворот. Там в углу в благословенном полумраке, навеки пропахшем карболкой и крысоединой, я и поймал двадцать пять лет тому назад чьего-то петуха — оранжевого, смирного и теплого. Я спрятал его под полу зипуна, и всю ночь мы просидели с ним в городском парке недалеко от базара. Через ровные промежутки времени я пересаживал петуха на другое место — то под левую, то под правую мышку, — это было в марте, и каждый раз, повозясь и успокоясь под зипуном, петух порывался запеть. Утром я продал его за шесть рублей. Этого мне вполне хватило, чтобы отправиться дальше, в Москву...

Да, все в этом дворе было мне памятно, все оказалось непреложно сущим, нужным моей жизни. Стоило ли его стыдиться и вычеркивать из памяти? Я не стал долго раздумывать над тем, что скажу незнакомым людям, и вошел в пахучий коридор знакомого серого дома. Жили тут густо. Я насчитал пять дверей направо и шесть налево, и все они были обиты по-разному и разным. Я выбрал дверь под войлоком, — тут должны обитать люди пожилые, и постучал, прислушиваясь к тому, что выделывало мое сердце: оно билось так же трепетно и гулко, как и тогда, с петухом.

Открыла мне маленькая ладная старушка в белом фартуке и белом платке.

— А он только что уехал на речку, — хлопотливо сказала она. — Нешто вы не встретились?

Она обозналась — в коридоре был сумрак и чад.

— Я не к нему. Я к вам, — сказал я.

— Ах ты господи прости, а я подумала — Виктор...

Женщина кругло поклонилась мне, приглашая, и попятилась в комнату. Я вошел, встал у дверей и стащил берет, — в углу под потолком висела икона, а перед нею на цепочке из канцелярских скрепок покачивалась стограммовая рюмка и в ней, накренясь к иконе, стояла и горела толстая стеариновая свечка.

Икона, цепочка из скрепок и эта наша парафиновая советская свеча подействовали на меня ободряюще, — тут умели ладить со многим и разным, и я сказал:

— В тридцать седьмом году в вашем дворе я... украл петуха. Красный такой... Случайно не знаете, чей он был?

Я только потом понял, что так нельзя было говорить, — можно же напугать человека, но женщина, окинув меня взглядом, спокойно, хотя и не сразу, сказала:

— Да это небось дядин Васин... Дворника. Теперь он померши давно, царство ему небесное... А вы что ж, с нужды али так на что... взяли-то?

Я объяснил.

— А кочеток ничего себе был? Справный?

— По-моему, ничего... Веселый такой, — сказал я.

— Дядин Васин. Один он держал тут... А вы по тем временам прогадали. Четвертной надо было просить, раз уж...

Она замолчала, скорбно глядя на меня, и было непонятно, за что меня осуждали: за то ли, что я продешевил петуха, или же за то, что украл его у дяди Васи.

— Я думал... может, заплатить кому-нибудь... или вообще как-то уладить все, — сказал я.

— Бог знает, что вы буровите! — суеверно прошептала старушка, но лицо ее вдруг стало таким, будто она только что умылась колодезной водой. — Это кто ж от вас примет деньги... заместо мертвого-то! Да и зачем нужно? Ну взяли когдась кочетка и взяли! Ить небось на пользу вышло? Что ж теперь вспоминать всякое!..

Она смотрела на меня как-то соучастно-родственно. Я шел по коридору, а она семенила рядом в своем белом платке и фартуке, беспокойная, раскрасневшаяся, и опасливо — как бы не услыхали — советовала

мне шепотом, чтобы я больше никому и не говорил о петухе.

У ворот я встал спиной к липам и произнес горячую, бестолково благодарную речь старушке и всему двору. Я хотел проститься с нею именно здесь: нельзя же, чтобы она увидела мою «Волгу» — новую, роскошно небесную, черт бы ее взял! — Но она, выслушав и приняв все, как свое законное, повлекла меня на улицу и там, не взглянув в сторону лип, сказала:

— Не стыдись. Мы люди свои... Садись и поезжай куда тебе надо!..

Я ехал в Ракитное — большое полустепное село, затонувшее во ржи и сливовых садах. Мне не помнится, чтобы там стояли зимы: я унес оттуда никогда не потухающее солнце, речку, тугой перегуд шмелей в цветущей акации, запах повилики и мяты в чужих садах и огородах. И еще я унес песни. В Ракитном они не пелись, а «кричались». Их кричали гуртом на свадьбах и в хороводах, кричали в одиночку на дворах и в поле. Они были трех сортов — величальные, протяжные и страдательные. Эти выводились парнями и девками под гармошку как караул, но в моей памяти они улеглись навеки рядом со стихами Пушкина и Есенина.

Среди них осталась и частушка о козе и старике. Ею дразнили меня ровесники, и больше всех Милочка-лесовичка. Увидит на выгоне километра за полтора и затянет изнурительно тоненьким речитативом:

Ах, дед Кузьма!
Не дери козла!
Дери козочку!
Белоножечку!
Привяжи к кусту...

Дальше шло такое, что уши вяли, но Милочка не выбрасывала слов из песни, а мне тогда исполнилось четырнадцать, и я уже любил эту Милочку, и мое имя было Кузьма. Того запаса мистического проклятия и насмешки, что было заложено в этом ненавистном «Кузьме», хватило мне потом на долгие годы: мои рассказы, рассылаемые во все редакции тонких и толстых журналов, неизменно возвращались назад.

Сейчас на заднем сиденье машины лежат две книги. Их автор я, Константин Останков. Я везу книги в Ракитное, хотя не знаю, как объяснить сельчанам, что Константин — это я, Кузьма. В Ракитное я еду как на суд. Но, может, там и не читали моих книг?.. В этом случае я не покажу их там. Я привезу туда — потом, когда напишу — свою третью, единственную, книгу. Она начинается так: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно:

— Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»

Это все, что я написал за целую зиму. Тот, что хрюкал, — лежал и не шевелился, а этот, ударивший, стоял над ним и не уходил, и дело не подвигалось, повесть оставалась ненаписанной. Я видел ее — плотно-тугую, тяжко-маленькую, как булыжник, как этот удар, нанесенный неизвестным неизвестному, и сколько бы я ни бился, пробуя изменить начало, рука самостоятельно выводила на листе бумаги: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой...»

Все лучшее в этой моей ненаписанной книге — радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли — пришло ко мне на рассветах, в задумчиво-звучной тишине. Я тогда постоянно удивлялся прошедшему дню, не находя в нем того, с чем хотелось бы жить: правды жестов и искренности поступков тех, с кем я общался. Об этом — прошлом, темном и нелюбимом, и о том, что незримо еще проступало в новом дне: радостные, печальные, гневные глаза обыкновенных людей, в полную силу души высказанные ими мысли, — я и писал свою новую книгу. Я писал ее в уме легко и споро, пока не садился за стол. Тогда кто-то другой во мне рассеивал обаяние утренних грез, тушил решимость дерзания на подвиг, уводил во вчерашнее, привычное и нелюбимое. Я каменел за столом, потом писал все ту же фразу: «Он ударил его в подскулья...» В восьмом часу из своей комнаты приходил Костик — мой шестилетний сын. Любя в нем все потерянное и ненажитое собой, я называл его дедом Кузьмой, Кузякой, Кузилищем. Он приходил всегда одинаково — одной рукой поддерживая трусы, а другую ладонь вверх про-

тягивал мне. Я поворачивался к нему вместе со стулом и будто невзначай лягал стол правой ногой. Удар каждый раз приходился щиколоткой об острый угол. Щиколотка ныла потом часа три, и на все это время был предлог не подходить к столу, за которым я написал свои книги.

— Ну? Когда теперь получишь?

Сын спрашивал это каждое утро, и каждый раз голос его басел и басел, — Кузилище терял веру в меня.

— Теперь уже скоро,— обещал я.

— А какую? Красненькую?

Вслед за этим наступала минута немого ликования Кузяки. Он пригибался, работая руками у воображаемого руля, и под майкой у него круто выпячивался позвоночник — гибкий и вибрирующий, как пила.

В девять без четверти Костик отправлялся в детсад. На прощанье он говорил мне почти дружески:

— Ну гляди не свисти! Чтоб получил!..

Речь шла о машине напрокат, — мы второй месяц стояли с Костиком на очереди в автотранспортной конторе. Но где он научился этому «не свисти»? В садике? Во дворе? Я на всякий случай занес «не свисти» в свою записную книжку — емкое слово, но после этого письменный стол показался мне еще враждебнее...

«Волгу» нам дали небесного цвета. Надломленный непомерным для его силенок восторгом, Кузяка два дня не появлялся в садике. Следя за ним и за собой, я окончательно понял, что детство — посох, с которым человек входит в жизнь. Свой — сучковатый, законный, на всю жизнь хвативший бы — я потерял вместе с именем «Кузьма»...

На третий день я поехал в Ракитное.

...Все, что я видел и о чем думал, оставив позади город и старушку в белом платке, не годилось для записной книжки, — это не принял бы ни один редактор: день мне казался крашеным яйцом — давним весенним подарком малолетнему сироте. То, настоящее яйцо было окрашено в золотой цвет луковой шелухой. Меня одарил им тогда на пасху наш ракитянский дед Мишуня — перед тем я целую неделю стерег его трех овечек. Под бременем той ноши — первый в моей жизни подарок! — я оцепенел сначала от изумления и благодарности, а потом от горя, когда яйцо разбилось.

И теперь я узнал, что не все внезапные радости под силу человеку, не каждый подарок можно увезти в «Волге». Старушкина кладь не умещалась ни в моем сердце, ни в машине, она вытесняла меня в необъятную ширь этого апрельского дня, похожего на крашеное яйцо, и я съехал на обочину дороги, отошел от машины и лег в кювете. Надо мной в сторону Ракитного плыло большое облако. Оно было похоже на собаку, и я хотел записать это, но не стал шевелиться.

Человеку нужно временами побыть наедине с небом. Тогда он обязательно задумается над тем, куда исчезает — и исчезает ли? — из мира то, что потрясло когда-то все корешки его души: колокольный звон в росистом утре, слово привета, радость открытия, скуловоротное ощущение вкуса незрелого яблока, впервые увиденная, стыдливо-сокровенная завязь ореха, теплая бархатная пыль на руке от крыльев упорхнувшей бабочки... Куда может деться тот бесконечно огромный серый мартовский день? Идти почти было невозможно, потому что ветер дул в лицо, а шоссе обледенело и ноги разъезжались в сторону. Вот тут, где стоит «Волга», лежала большая, льдисто сверкавшая свекловина, и ты увидел ее и побежал к ней, а сзади на тебя наезжала высокая бричка на резиновых шинах. Лошади были белые, кованые на передок, — это ты увидел, когда схватил свекловину и сбежал в кювет, на то самое место, где лежишь сейчас и смотришь в небо. В бричке сидел и зачарованно глядел на твои босые ноги Косьянкин. Он узнал тебя, и ты узнал его...

Нет, это не исчезает из мира. Оно навсегда остается в своем первозданном виде, с началом, продолжением и концом, и хранится в кладовке вселенной где-нибудь там в космосе, как суть и основание жизни...

Я давно слышал нарастающий гул — со стороны города на большой скорости шла тяжелая машина. Она проскочила мимо меня, и я задержал дыхание, пережидая, когда развеется вонь солярки. Я смотрел на облако-собаку, а указательный палец правой руки держал на запястье левой, — в детстве я мог не дышать до пятидесяти ударов сердца. Я слышал скрип тормозов грузовика где-то рядом с «Волгой», слышал ладный, исправный звук захлопнувшейся дверцы и шаркающий

топот сапог по асфальту. Кто-то бежал ко мне, а я был всего лишь на двадцать втором ударе.

— Эй! Ты чего?

Я выдохнул воздух и сел. У кювета стоял маленький, сердитый и как огонь рыжий паренек в стильной клетчатой рубахе и разбитых кирзовых сапогах.

— Ничего, — сказал я. — А что?

— Да ни хрена! Лежишь как убитый. Нашел тоже место! Я думал, случилось что. Перебрал, что ли?

— Да нет, — сказал я.

— А чего ж?

— Извини, — попросил я.

— Сперва напугал, а потом извини... Ну, пока!

Медведовку — наш райцентр — я увидел издалека, с горки. Ни за что доброе не цеплялась тут моя память, но я должен был остановить машину, опустить боковое стекло и немного посидеть так, пока сердцу не стало легче от неожиданно радостной встречи со своим детством. Я так и не докопался тогда в себе, почему не хочу попасть в Ракитное днем. Наверное, дело было в машине — сияла она непомерно ярко. Я остановился в Медведовке, решив дождаться вечера. Здесь мало что сохранилось от прежнего. Иссох, превратясь в грязную лужу, большой медведовский пруд, исчезли, словно их сроду не существовало, тополя, заборы и палисадники. На площади не было тюрьмы, коновязи и базарных стеллажей. Теперь на этом месте стояло широкое, со всех сторон оголенное двухэтажное здание райкома партии. Чернозем вокруг него так плотно был утоптан, что казался асфальтом.

Я помнил все медведовские вывески — метровые листы красной жести с большими желтыми буквами. Теперь вывески были умеренные, черного стекла, но я долго искал ту, «свою» вывеску, водворенную на крышу низенького деревянного дома. Без нее я не представлял себе редакцию медведовской райгазеты. Мне хотелось найти тот домик, остановиться под окнами и посигналить. Да-да, обязательно погудеть, а потом выйти из машины, поднять капот и будто нечаянно взглянуть на окна редакции, — вдруг там покажется Косьянкин? Ему ни за что не узнать меня, я ведь постарел на двадцать пять лет...

Косьянкин... Ему тогда было под тридцать, а мне четырнадцать. Стихотворение, которое я послал в редакцию, начиналось так:

Фураж колхозники воруют,
Останков смотрит — наплевать!
Ему ведь что! Пускай таскают,
Весна идет, хотится спать.

Это я написал о председателе своего колхоза, — у нас в Ракитном почти все Останковы, и стишок напечатали, исправив «колхозники» на «воры» и «хотится» на «хочется». Мое ликование за себя, поэта, граничило тогда с болезнью, и на второй день после опубликования стишка я сочинил поэму о плохом ремонте сельхозинвентаря. Поэму редакция переделала в подвальную статью, и с этого времени я стал бичом родного колхоза, — на муки и горе его становления газета то и дело призывала через меня десницу прокурора и меч райотдела милиции...

Ох, и трудным же оказался для Ракитного тот, тридцать седьмой год! Главное — хлеба не было ни у кого, и его пекли... из чего только не пекли! Мы с матерью тоже голодали, но я все не унимался и «критиковал», потому что о «положительном» писать еще не умел. То несчастье, которое выбило меня из Ракитного, случилось в метельный день конца февраля. Я брел по выгону из школы, и у обрыва Черного лога на меня напоролся мирошник колхозного ветряка Мирон Останков — мой родной дядя по отцу. Это он сам так сказал «напоролся», сгибаясь под тяжестью мешка. Мы долго стояли молча, — от непонятного страха я не мог сдвинуться с места, и тогда дядя сказал:

— Жмыхи несу... У свата Сергеича разжился...

Мешок лежал поперек дядиных плеч, налезая на голову, и дядина шапка съехала набок, закрыв правый глаз. Весь залепленный снегом, бородатый, с оголенными малиновыми руками, вцепившимися в концы мешка, дядя глядел на меня одним глазом, и глаз был неправдоподобно велик и белый-белый, как смерть.

Я побежал к селу вдоль обрыва, а дядя крикнул мне вдогон со слезой и злобой в голосе:

— Не губи! Свой я тебе!..

Зря он это крикнул — я не думал о чем-нибудь худом, я только испугался его глаза, и больше ничего.

Дома мать подала мне мякинную лепешку, похожую на засушенный коровьяк, и письмо из редакции. То был «вопросник селькору», отпечатанный в типографии. Я стал читать его и есть лепешку, а мать всхлипнула и сказала:

— Ходила к Миронихе, думала добыть хоть махотку мучицы...

— Проживем и так, — сказал я, поняв, что тетка ничего не дала.

— Да глядеть-то на тебя мочи нету. Аж позеленел весь...

— Ну и пускай, — сказал я. — А ты больше не лазь туда!

— И Мирониха теми же словами проводила меня... А сами гречишные чибрики пополам с тертыми картохами пекут. Окунают в конопляное масло и трескают... Нешто ж ты им чужой!

«Вопросник селькору» призывал разоблачать двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, подпевал, летунов, оппортунистов. Вечером я отнес к сельсовету и бросил в почтовый ящик самодельный конверт. А через неделю в Ракитное пришла газета с моей заметкой «Мирошник поймался» и карикатурой на дядю Мирона. Он не был там похож, и мешок тащил раза в четыре больше себя. Мать долго и не без тайной гордости разглядывала подпись под заметкой — «К. Останков», — потом заголосила как по покойнику:

— Сиротинушка ты моя несча-астная, что же ты натворил-наде-елал!..

На том месте, где когда-то стоял редакционный домишко, плотники возводили стропила на новом срубе, и мне не пришлось сигналить и вылезать из машины. Тот домишко сгорел, видать, недавно, — в венцах сруба кое-где виднелись обгорелые кряжи-вставки, и к весенне-чистому духу оголенных осин примешивалась угарная горечь остывшего пепла. «Плохо горел, — подумал я,— надо бы до конца...» В восковом свечении сруба я старался не замечать отвратительные черные заплаты, — в конце концов они ведь закрасятся и не будут видны, но все же на кой черт понадобилось это старье плотникам? Из-за нехватки новых бревен? Вон же их сколько в неразобранном штабеле!

Плотников было двое. Они сидели наверху сруба и мерно, безостановочно тюкали там топорами, прорубая пазы для кроков. Как говорят у нас в Ракитном, работали они «спрохвала», будто зачарованные: тюкнут — и подождут какую-то секунду, пока эхо не ударится в стенку соседнего сарая и не отскочит мячиком назад, к срубу. Глядеть со стороны на такую неторопливо-согласную работу хорошо и одновременно трудно: вас начинает обволакивать какое-то покойное и вместе с тем обезволивающее оцепенение. Я сидел в машине и смотрел на плотников, прислушиваясь к тому, как в левой стороне груди впервые за многие годы у меня без валидола затихает «зубная боль». Особенно замечателен был старый плотник. На его большой лысой голове против всяких законов естества держалась маленькая, василькового цвета энкэвэдэвская фуражка — и каким только чудом-лихом занесло ее к нему на голову! Когда старик ударял топором, фуражка подпрыгивала и повисала то на правом, то на левом ухе, и каждый раз он водворял ее на макушку привычным и каким-то незаметно спорым поддевом ручки топора. Гладкое, до бубличного глянца отполированное топорище сверкало тогда зеркальным блеском, и старик успевал переложить на нем руки и тюкнуть топором вовремя, когда это и нужно было, чтобы не спутать лада ударов обоих топоров. На той же стороне венца, лицом к старику, сидел молодой плотник в теплой солдатской венгерке и кортовой кепке с матерчатой пуговкой на макушке. От обуха до седловины новая ручка его топора была окрашена фиолетовыми чернилами, — сам постарался, а топорище выстрогал, конечно, старик. Он тюкал и все время стерегуще заглядывал вниз, и вдруг с силой вонзил в бревно топор, ударил руками по коленям и сообщил старику с восхищенной завистью:

— Семую, дядь Саш! Ну, что ты скажешь, а?!

У подножия сруба, разгребая щепу, бродили куры — разомлевшие, круглые, красномордые, и на одной из них яро трепетал и бился огнисто-вороной петух.

— Эть, дурак головастый, — сказал старик, не прекращая работу,— у тебя только одно на уме...

— Так семую же за каких-нибудь полчаса, чуешь? И хоть бы хны ему!.. Ты давай погляди, погляди, что он выкаблучивает!

— Ай позавидовал? — усмехнулся старик. — Вроде бы не вовремя...

Искоса он все же заглянул вниз и сразу же переместил себя на другую сторону венца, а топор прижал к животу.

— Опять приперлись? — сказал он кому-то внутрь сруба. — А ежели, храни бог, топор сорвется вам на головы? Что тогда?

Я различил глуховатый мальчишеский голос, но не расслышал слов, а старик выпрямился и сказал напарнику осерженно и недоуменно:

— Нег, ты погляди-ка! «Брешет, — говорит, — топор не вырвется». Вот же согрешение!..

Напарник прилег на бревно и гулко, как в колодец, крикнул:

— Вот я зараз слезу, найду вашу мамку и...

Он произнес лохматое и веселое слово, произнес душевно и искренне, как обещание подарка матери невидимых мною детишек, и в тот же миг они — мальчик и девочка лет по шести — показались на гривке придорожной канавы. Они бежали молча — девочка впереди, а мальчик сзади, потому что он то и дело оглядывался на сруб и спотыкался. Старый плотник, все еще придерживая топор у живота, беззвучно смеялся, а молодой озабоченно и виновато смотрел вслед детям...

Было хорошо от всего виденного и слышанного, от того, что сгорел редакционный дом и на его месте строился новый, что день по-прежнему был как крашеное яйцо, что на прогретой гривке, по которой убегали дети, пробивались пятачки лопушника и над ним с чуть различимым стеклянным звоном толклись комариные столбы.

И мне показалось странным, что всего лишь полчаса тому назад я решил приехать в Ракитное в сумерках...

Ветряк был цел, я увидел его, не въезжая еще с полевой дороги на выгон, не видя села. Оно расселось лицом на юг по склону, сбегающему к Ракитянке — изумительной по бесподобной красоте речонке, неглубокой, по пупок только, с отлогими берегами, заросшими ивняком и красноталом. Ветряк одряхлел, позеленел. Он был раскрыт и только о двух крыльях вместо четырех. На нем, видать, лет десять или пятнадцать как не мо-

лоли. Его давно надо было растащить на топливо. Он мог и так сгореть... от грозы, например. Или во время войны... Могли же на нем немцы оборудовать НП или установить пулеметы. А наши бы всего лишь одним снарядом... Он же как на ладони тут!..

Ну да, это был тот самый ветряк. Дядю Мирона отлучили от мирошничества в этот же день, когда по мне голосила мать. Я не доел тогда мякинную лепешку и пошел на Ракитянку смотреть ледоход. Речка выперла из берегов, и в лозняке застревали громадные синие льдины. Их у нас называют крыгами. Я залез на такую крыгу и стал вылавливать сучковатым шестом проплывающие мимо снопы конопляной тресты, — в кооперации в обмен на пеньку давали соль и керосин. За этим делом и застиг меня дядя Мирон. Он держал в одной руке самодельный ножик, а в другой беремя лозы — кошель, видно, собирался плести. Не спрячься я тогда за снопы тресты — может, дядя Мирон прошел бы мимо. Но я поставил снопы стоймя и присел за ними на краю льдины, спиной к речке. В щель между снопами я видел, как дядя остановился у льдины, там, где можно было залезть на нее, и негромко сказал:

— Голову за пазуху не сховаешь!

Я пригнулся пониже, а дядя Мирон, подождав чего-то, шагнул на льдину и пошел ко мне — худой, большой и чужой. Он остановился от меня шагах в двух, поставив перед собой комлями вниз вязку лозы, уже покрытую серыми мохнатыми пуплышками.

— Ну? Схомячился? Давай побалакаем!..

Он меня видел, но я боялся и не хотел этого и поэтому молчал и не двигался.

— Платят они, что ли, тебе за брехню? — спросил дядя и выругался в закон и веру. Вот тогда-то я и оглянулся зачем-то назад. Я увидел неровную, сизо-темную муть реки и бегущие навстречу ее течению кусты ивняка того берега, оказавшиеся теперь в середине разлива. Я видел это и падал на спину, потому что на меня заваливались снопы тресты, — я тащил их на себя обеими руками. Я был уже в реке, но успел схватить глазами стоявшего на прежнем месте дядю Мирона. Я запомнил его раскрытый рот, белые глаза и вязку лозы у ног...

Из реки меня выловили под Черным логом бабы — белье там полоскали. Я так и не выпустил из рук сно-

пы тресты. Они зацепились за прибрежный ракитник и с ними застрял я. На шее у меня оказалась продолговатая царапина — проплывающей льдиной или корягой чикнуло. И захворал я не от этого. Просто простудился, а дядя Мирон... Зачем ему надо было прятаться в лозняке? Ну зачем? Он просидел там до вечера, — видел член сельсовета Яшка Кочанок, — и ножик потерял... Я не знаю, кто и как сообщил обо всем в Медведовку, но на второй день в Ракитное прибыли редактор газеты, прокурор и секретарь райкома комсомола. К нам в хату они не заходили, и о том, что приезжали, я узнал от председателя колхоза Останкова, того самого, которому в моем стишке хотелось спать. Почему-то он сам вез меня в больницу. Я лежал в задке саней закутанный в казенный тулуп, а он все время шел пешком, нещадно бил лошадь и ругался: дорогу развезло, и на проталинах земля курилась теплым туманом. Уже недалеко от Медведовки лошадь выбилась из сил и встала. Председатель снял с себя шубейку, накинул ее на спину кобылы и, взглянув на меня отчужденно, спросил:

— Чем он тебя колупнул? Ножиком, говоришь?

Память о стишке, заморенная дымящаяся лошадь, несчастный вид председателя и его откровенная, беспомощная ярость ко мне не допускали «благополучного» ответа, потому что тогда не было бы никакого оправдания этой нашей поездке с ним, и я заревел и подтвердил:

— Нож... Ножиком!

— Ну, будет, будет! — сказал председатель. — Там и ножик-то был, видно, с гулькин нос! Присохло бы — и все. А теперь вот...

Больше он ничего не сказал. В больницу мы приехали поздно вечером...

Со стороны Медведовки к Ракитному кто-то ехал на телеге, а я стоял на самой дороге, и посторониться мне было некуда: справа и слева к ее колеям подступали зеленя. Можно было проехать только вперед, к ветряку на выгон и там пропустить подводу, но я решил стоять там, где стоял: мне хватало ветряка издали. Я сидел в машине и в отражательное зеркало следил за приближающейся подводой. Она ведь не забуксует, если и объедет. Я видел только лошадь — муругую, статную

и сытую. Телега была не видна, и тот, кто сидел в ней, не думал объезжать «Волгу». Лошадь шла мелким танцующим шагом и остановилась рядом с машиной. В зеркало я видел ее большие фиолетовые глаза с белым ободком и темные чистые ноздри с розовым жаром в глубине. Такие глаза и ноздри бывают только у жеребца. Потом, когда его охолостят, глаза полиняют и ноздри потухнут. Это я подглядел в детстве и запомнил в обиде на коновалов. Танцуя на месте, жеребец все тянулся губами к стеклу машины — пить хотел, но вдруг голова его круто откинулась вбок — сильно рванули, видать, за вожжину, и мимо «Волги», в каких-нибудь двух сантиметрах проскочили дрожки. Я не разглядел того, кто в них сидел. Архаровец! Не мог забрать круче! Дрожки остановились недалеко, и ко мне, заваливаясь вперед, как ходят только с намерением бить, не спеша пошел лобастый приземистый человек. На нем была новая молескиновая спецовка с широкой латкой нагрудного кармана, откуда высовывались штук пять остро отточенных карандашей. «Местное начальство», — подумал я и вылез из машины, но ракитянин встал боком ко мне и остервенело, сухо и громко плюнул за дорогу, на то место, где в зеленях глубоко и остро пролег след колес дрожек. На меня он не взглянул и, вернувшись к жеребцу, ударил его ногой под пах. Дрожки выкатились уже на выгон, а я все слышал еканье жеребячьей селезенки...

Крылья ветряка надо было остановить вертикально или горизонтально, а не так, как они простерлись теперь: наискось по срубу. В этом их положении скрывалось что-то беспокойное и ненужное людям, будто они нет-нет да и «оживают» и вертятся одни, без мирошника.

Ненужное людям... Если бы на свете существовало только то, что им нужно. Кому нужно было то, что случилось тогда? Советской власти? Дяде Мирону? Мне? А вот случилось же!..

Первую ночь в больнице я просидел в коридоре. «Доктора нетути и местов тоже», — сказал сторож. Он лежал на двух составленных скамейках, и на его ногах, протянутых к открытому жерлу печки, вонюче испарялись мокрые валенки. Меня бил озноб и чох, а сто-

рож каждый раз протяжно и блаженно приговаривал:

— Будь здоро-ов, Иван Петро-ов!

А в следующий раз:

— Корову веде-ешь!

И потом:

— Здорово живе-ешь!

Утром коридор до отказа заполнился больным людом из деревень района. Мне хотелось есть и спать, и я дремал в углу, сидя на корточках. Там и нашел меня перепуганный чем-то старичок доктор, закутанный в халат из суровой холстины.

— Ты, случайно, не Кузьма Останков? — свистящим шепотом спросил он, наклонясь ко мне.

— Кузьма,— так же шепотом ответил я.

— Из Ракитного? Что ж ты, голубчик! Тебя ищут, а ты...

Он взял меня за руку, и я ощутил дрожь и липкую влажность его холодных пальцев. Через расступившуюся толпу больных мы прошли в приемную комнату. У окна спиной к нам стоял кто-то в длинном кожаном пальто, а за столом сидел маленький румяно-красивый человек в волчьей дохе и фуражке.

— Так что ж вы морочите нам голову?! — тоненько крикнул он, мученически глядя под ноги доктору. — Я же сам распорядился отправить его сюда! Вчера днем распорядился!

— Видите ли, товарищ Косьянкин, — жалующе заговорил доктор, все еще не выпуская моей руки, — я, как изволите знать, один тут...

— Ничего мы не изволим знать! Давайте быстрее заключение!

Это сказал не Косьянкин, а тот, который стоял у окна. Доктор приказал мне раздеться и холодными пальцами начал крепко и гулко постукивать по моим ребрам.

— Это вы после, — капризно сказал Косьянкин. — Исследуйте сначала рану.

— Рану? — спросил доктор. — Где?

— На шее, — сказал тот, что был в кожанке.

— Ах, вот это? — доктор погладил ладонью мою царапину, и она зачесалась, но больно мне не было. — Это не опасно. До свадьбы заживет, — сказал он мне и улыбнулся.

— Как называется такая рана по-медицински? — нетерпеливо-обиженно спросил Косьянкин.

— Ну... линейная, если хотите... резаная, — пробормотал доктор. Тогда тот, который был в кожаном пальто, сказал: «Яс-сно», а Косьянкин страдальческим голосом, будто это не меня, а его оцарапало льдиной, распорядился «обеспечить» за мной в больнице «большевистский уход». Ни Косьянкин, ни человек в кожанке ни разу не взглянули мне в лицо, и я чувствовал себя виноватым перед ними.

Потом недели две я жил как во сне. Я все-таки подхватил в речке воспаление легких, и все, что в бреду и наяву виделось мне, походило на длинный немой кинофильм, героем которого был я, Кузьма Останков. Я словно сидел на огромном возу сена. Я не знал, кто им правит и куда мы едем, но ехать хотелось, потому что мне было отрадно и гордо, как никогда не бывало до этого: почти каждый день меня в больнице навещали медведовские комсомольцы и пионеры с барабанами и горнами. Они выстраивались в коридоре и через открытую дверь салютовали мне молча и завистливо. Конечно же, я догадывался, за что они меня полюбили,— за дядю Мирона, за то, что я написал, как он поймался с мешком муки. И еще за то, что я чуть не утонул...

Выздоровел я сразу, в один день. Это было в воскресенье. Доктор тогда пришел позже обычного.

— Ну? Как дела? — спросил он, присаживаясь ко мне на койку.

— Ничего, — сказал я.

— Язык!

Я высунул язык.

— Хоро-ош!.. — басом сказал доктор. — И тут ты хорош. Не видел еще?

Он вынул из кармана халата вчетверо сложенную несвежую газету, развернул ее и протянул мне. То была наша медведовская «Колхозная жизнь». Я увидел в ней свой снимок, и во рту у меня стало прохладно и сладко, как от мятной конфеты. Под снимком через весь газетный лист тянулась черная строчка из огромных букв, и я никак не мог прочесть ее, потому что буквы плясали, пропадали и вновь возникали перед моими ликующими глазами.

Доктор встал и почему-то на цыпочках вышел из палаты. Я вскочил, уселся на подоконник и, минуя за-

головок, оставляя его себе в подарок под конец всего этого длинного праздника, стал читать статью. Она начиналась с описания половодья на нашей речке. Дальше в статье рассказывалось о том, как Мирон Останков накинулся с ножом на селькора, а после сбросил его в весеннюю пучину. Но убийца просчитался! Юный герой, превозмогая мучительную боль раны, спасся и сейчас находится в райбольнице, где советские врачи самоотверженно борются за его жизнь...

Первое, что я ощутил, прочитав статью, — это испуг и несчастье потери — статья была не про меня! Я кувырком падал с воза, на котором ехал все эти дни, а на мое место залезал тот, о ком писал под моим снимком В. Косьянкин, залезал какой-то Кузьма, кого резали ножом и кидали в пучину...

Заголовок статьи я так и не прочитал: ко мне пришла мать.

— Что ж ты тут сидишь, окаянный! — западающим шепотом крикнула она от дверей палаты, и я спрыгнул с подоконника и зачем-то спрятал газету за спину. Мать шла ко мне медленно, держа на отлете руку с каким-то большим темным узлом, и я подумал, что у нас сгорела хата, — мать всю жизнь боялась пожара. Я был так уверен в этом, что спросил всего лишь два слова:

— Когда, мам?

— Вчерась... к расстрелу его. О, господи!..

...В Ракитное мы шли не по дороге, а по полю, — так захотела мать. Снега уже не было, и земля успела обветриться и затвердеть. Я шел впереди, а мать сзади. Узел она несла в руках, и я не знал, что в нем лежало.

— Погоди. Может, не надо нам днем туда? — то и дело окликала она меня, и мы садились на землю, и мать вглядывалась в меня, как сквозь окно хаты на пустынный двор. В больнице я сказал ей, что «он» — так мы называли теперь с нею дядю Мирона — не пырял меня ножиком и не пихал в речку. Мать ударом ладони закрыла мне рот и, оглядываясь на дверь, пригнулась зачем-то к полу.

— Не бреши, а то пропадем! Только не бреши теперь! — суеверно зашептала она, и со мной случилось то, что было однажды за год до этого, когда я сорвался с дуба, куда лазил за грачиными яйцами. Очнув-

шись, я полдня искал тогда в Ракитном свою хату — я забыл, какая она и где стоит, забыл, чей я и как меня зовут. Все, за что удерживалась моя память, был картуз с оторванным козырьком, измазанный сукровицей желтка и серо-голубой скорлупой раздавленных яичек. Я помнил, что он мой, мой, а все остальное, видимое-чужое, и все время, пока искал хату, держал его в протянутой вперед руке.

И теперь, идя полем, я думал лишь об узле, который несла мать. Речка, больница, пионеры с горнами, статья в газете под моим снимком, дядя Мирон и его расстрел — все это отринулось от меня в сторону, вдаль, все было неразличимо, неправдоподобно устрашающе, как смутная память о давным-давно выслушанной в ночи сказке-угрозе о «свету-конце», которого никогда не будет. Я шел и думал только об узле, что несла мать в протянутых руках. Он был с нами, наш, и в нем должно лежать то, нужное, мне и матери...

— Ну чего глядишь так?! — теребила она меня и отодвигала, прятала узел. — Ну? Куда вылупился?!

Я молчал.

— Скажи правду. Мать я родная тебе! — просила она и сама пугалась чего-то. — Скажи, что «он» сманивал тебя на речку... Бил... Все равно уж теперь. Ну? О, господи!..

Первым с земли поднимался я. Мать подхватывала узел и брела за мной. Она поминутно сморкалась, всхлипывала и шептала исступленно, но неверующе, будто молилась тому, что не должно сбыться:

— Видели его там... Яшка Кочанок свидетелем выступал... И ножик нашли... Нешто задаром казнят? Нет, видели его! Видели!..

В село мы вошли поздно вечером — так захотела мать. Ночью ко мне постепенно вернулось то, что было в туманном отдалении днем: все, что случилось со мной и дядей Мироном. Оно отыскало меня, как отыскал я когда-то свою хату. Я закричал и перелез с лежанки к матери, но она не проснулась. Тогда я начал думать об узле. Чтобы только о нем и ни о чем больше. Чтобы было со мной как днем. Узел темнел на лавке, и я должен был забыть, что в нем лежало. Там были мой зипун, лапти и картофельные чибрики. Я взял зипун и не стал обуваться. Поэтому Косьянкин и встретил меня босого. Он ехал на бричке. Лошади были белые,

кованые на передок. Это я увидел, когда схватил на шоссе обледенелую свекловину и сбежал в кювет.

Косьянкин узнал меня, и я узнал его...

Мне пора было ехать. Сюда или туда. Оказывается, одновременно с воспоминанием того, прошлого, я все время подсознательно думал: не повернуть ли назад? Нужно ли мне показываться в Ракитном? Решить это предстояло на выгоне, где в случае надобности можно было развернуть машину. На нем пробивалась трава и четко метились следы тракторных гусениц. Я проехал мимо разрушенной церкви и увидел приземистую поросль калинника, окаймлявшего Ракитянский погост. За двадцать пять лет искривленные колючие деревца не прибавились в росте. Они сплелись верхушками, а между стволов пролегли глубокие канавки, пробитые телятами и овцами: на колючих ветках, начинающих зеленеть, висели клочья красной, белой и черной шерсти. Я не стал заходить на погост, все равно мне не найти было могилу матери: тут надо кланяться одним поклоном всем покойникам со времен основания села. Я поклонился погосту трижды, ощутив знобящий восторг благодарности к самому себе за то, что могу это сделать, что мне оказалось нужным такое здесь, в Ракитном.

Я еще не поднялся с колен, когда рядом с собой за кустами калины услыхал прерывистый, хлюпающе-задушенный смех и мягкий топот ног. Прыгая по холмикам могил, как по болотным кочкам, по погосту убегали ребятишки — трое мальчишек и одна девочка. Они бежали и оглядывались, прыская, и девочка держала в руках черный резиновый мячик, а один из мальчишек — короткую белую палку: наверно, играли тут в лапту, «мечики» по-здешнему.

— Ну куда вы! Идите сюда!— позвал я.

Они сели на могилу и притихли, потом девочка сказала:

— Побеги к ему ты, Кубарь.

Я сразу догадался, кто из них Кубарь, — тот, что держал било, и это в самом деле оказалось так. Ко мне подошел он смело, вперевалку. Он весь был набит смехом, весь, и оттого шел и глядел на меня вперекось. Все у него косилось от затаенного смеха — плечи, го-

лова, рот, глаза. Ему было лет десять или одиннадцать. На его ногах крепко сидели рыжие юхтовые ботинки. Вельветовые штаны и бобриковый пиджак топорщились ново, — впервые надел, видно.

— Ну чего ты? — спросил я.

— А так...

— Кубарь! — сказал я.

— И пускай... А ты молился тут! — сказал он и засмеялся.

— Ну и что? Молился, — сказал я. — Церкву-то ты разорил? Разорил... И ветряк вон тоже разорил!

— Неш я его разорял? — серьезно сказал Кубарь.— Он сам. От ветру.

— Как же, от ветру... Я лучше тебя знаю, кто его разорил! — сказал я. — Теперь небось рожь в ступах мелете!

— В сту-упах! А лектричка на что?

— Какая лектричка?

— А мельница.

— Где же это она у вас?

— А в восьмой.

— Что в восьмой?

— В бригаде. На покровском дворе...

Я поглядел на крылья ветряка и спросил Кубаря неизвестно зачем:

— Кто ж там... заведует ею?

— Мирошником, что ль? А дед Мирон, — сказал он и цыкнул себе под ноги длинную синюю струю слюны. — Сроду туда не пустит!

— Дед? Чей? — спросил я.

— Останков... Мирон Петрович.

Я посмотрел в лупастые синие глаза Кубаря. Там были смех, любопытство и чистое, ровное донышко ребячьей души.

— Погоди, — сказал я. — Давай сперва посидим... В машине давай посидим. Ладно?

— Ладно, — шепотом сказал Кубарь. Он оглянулся на погост и умело сам открыл дверцу «Волги». Мы посидели минуты две молча, и я спросил последнее, главное:

— Ты давно его видел? Какой он... дед Мирон?

— А лысый.

— Лысый? А где он живет? В каком месте хата его?

— У Черного лога... Новую теперь делает. Под черепицу...

...Их надо было взять — двух мальчиков и девочку, обязательно взять, потому что они стояли рядом с машиной и чуть не плакали, а Кубарь из-за стекла дверцы строил им рожи. Их надо было взять, но я не мог это сделать, потому что «Волга» уже присела на задние колеса и прыгнула вперед, и выгон понесся под нее, и на ухабах и промоинах она отрывалась от земли и летела по воздуху, — я это чувствовал по рулю: его можно было свалить тогда в любую сторону и не изменить направления.

Уцепившись за мое плечо, Кубарь сжался на сиденье, и в его растопыренных глазах я видел восхищение, испуг и просьбу. Сиди, Кубарь! Сиди! С тобой ничего не случится, я хороший шофер. Я научился ездить давно, еще во время войны в тылу у немцев в Прибалтике, когда командовал партизанским отрядом. В нем находились одни военнопленные, бежавшие из немецких лагерей. У каждого из них, когда он набредал на отряд, в глазах было почти то же самое, что сейчас у тебя, — восхищение, мольба и страх, но я принимал этих людей без анкет и допросов, потому что сам был таким, и глаза их успокаивались. У нас хватало оружия, еды и злости, но я понимал, что рано или поздно страх вернется в глаза каждого. Мы все это знали, и поэтому комиссар отряда — тоже бывший военнопленный — политически неуязвимо обосновал нашу задачу: как можно дольше держаться в тылу отступающих немцев и бить их. И мы держались до самой Пруссии. Там нам уже некуда было «стратегически отходить», и канун великой своей Победы мы встретили с восхищением, мольбой и страхом в глазах... Ты сиди спокойно, Кубарь! С тобой ничего не случится, я хороший шофер: после войны я два года водил в тундре трактор — это тоже что-нибудь да значит! Но я не об этом. Я о человеческих глазах, Кубарь! Ты знаешь, с каким полуночным вниманием ящеров глядели на нас «смершовцы», когда задавали вопрос, почему мы остались живы? Что им можно было ответить? Но им отвечали, да еще как! Ведь мы-то верили в правду, в Ленина, в добро, в день. И чтобы вынести побои, оскорб-

ления и унижения, обязательно нужна была такая вера. Иначе нельзя было выжить и одного дня, я хорошо знаю это по немецкому лагерю. Ты понимаешь, о чем я, Кубарь? О том, что в «своем» лагере я не имел права на такую веру. Только я один, потому что это право у меня украл Косьянкин, когда я был еще ребенком. Вот тогда-то, Кубарь, я и почувствовал себя виновным. Виноватым перед Ракитным, перед дядей Мироном. Мертвый, давно расстрелянный, он встал передо мной как искупление и возмездие. Тут, в «своем» лагере, я приблизился к тому водовороту несправедливости, надругательства и лжи, в которой был ввергнут дядя Мирон, и сознание своей невинной вины заменило мне то, что когда-то украл у меня Косьянкин. Я почти легко перенес свой лагерь, потому что, когда сдавал, дядя Мирон — он днем и ночью незримо стоял в двух шагах от меня — спрашивал:

— Ну как, селькор? Не удалось схомячиться?

— Ничего, — отвечал я. — Ты не беспокойся. Я вынесу. Все вынесу. И даже то, что вынес ты, — расстрел. Ты не беспокойся!..

— Ну-ну! — говорил мне незримый дядя Мирон.

Так я зарабатывал себе его прощение.

Но дело не в том, Кубарь. Сейчас главное — твои глаза. На своем веку я много повидал человечьих глаз. Я знаю, какими зрачками, когда и кто нацеливался в чужое сердце и убивал его бесшумно, наповал. Такие глаза были только у бериевских молодчиков... Да, я хорошо знаю человечьи глаза! Твои проглядываются до самого донышка, потому что ты ракитянский Кубарь, Кузяка, Кузилище, и ты, стало быть, сказал правду — дядя Мирон жив. Жив! Его никогда не расстреливали за меня, он строит новую хату под черепицу... Ты понимаешь, Кубарь, что произошло? Тогда в тундре дядя Мирон — тот дядя Мирон, расстрелянный — простил меня, и мы помирились с ним. Мы стали с ним там друзьями. Но сейчас я не знаю, как быть с живым дядей Мироном, с лысым мирошником, строящим новую хату... Я не знаю, Кубарь, чего во мне больше — безотчетной, нужной мне радости тому, что дядя Мирон жив, или горькой обиды к нему за тот свой ночной уход из Ракитного, за то, что с тех пор я пропал для матери без вести. Лишь в сорок седьмом году, когда мы уже помирились с мертвым дядей Мироном, я решил объявиться

и послал ей письмо из лагеря. Через два месяца я получил из Ракитянского сельсовета «Справку, выданную в том, что Останкова Пелагея Афанасьевна скончалась в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году и похоронена на погосте в селе Ракитное Медведовского района. К...й области». Справка была со штампом и круглой гербовой печатью. Подписали ее председатель Ракитянского сельсовета Д. Останков и секретарь М. Останкова... И вот я не знаю, Кубарь, что мне сейчас делать, как быть с живым дядей Мироном, с лысым мирошником, строящим новую хату под черепицу!..

— Вон туда, — сказал Кубарь, и я сбавил скорость, потому что нужно было сворачивать на Покровский двор. Раньше, при мне, к нему вела с выгона широкая аллея. Это тут я когда-то сверзился с дуба, куда лазил за грачиными яйцами. Теперь дубов не было, но прогон аллеи остался. Он шел под уклон, и я ехал тихо-тихо, потому что стали показываться верхушки хат села. Оно медленно воскресало передо мной, и в сердце у меня поднималось вверх, к гортани, как будто я опять бежал в ту последнюю свою атаку под Великими Луками или сызнова выслушивал слова начальника лагеря о своем освобождении и о том, что теперь я имею право обращаться к нему по имени «товарищ».

Покровский двор... Вот они, бывшие барские конюшни под зеленой жестью! За ними сейчас покажется сад, обнесенный каменным валом. Если залезать в пролом вала от речки, то «патошые» яблоки будут с правой стороны, а дули с левой. Я миновал конюшни и выехал на пологий, голо зеленеющий склон. От сада и помину не было. Я увидел внизу речку — голенькую, как холст, и увидел село — справа и слева. Оно проглядывалось насквозь — хаты, хаты и хаты, побеленные, под соломенными крышами, наши, прежние, свои. Все тут было моим родным, Ракитянским, все стежки-дорожки, все холмики и овражки. И ни единого деревца, ни одного кустика — нигде!

— А вон лектричка, — сказал Кубарь. — Работает. На ферму все не намелется...

Но я видел ее и сам — белесый, будто заиндевевший сарай на берегу речки. Из села к нему сбегали столбы с обвисшими проводами. В закатном солнце провода сияли накаленно золотисто, и так же сияла солома, раскиданная вокруг мельницы. Я ехал на нейтральной, ка-

тился прямо в мельницу, в сумеречный квадрат открытых дверей. Там стояла подвода с мешками, и я затормозил рядом с нею.

— Пойдем вместе, — сказал я Кубарю. Я хотел, чтобы он шел впереди, но ему нравилось идти сбоку, и тогда я взял его за руку. Мельницу наполняли три сказочные стихии — широкий и мягкий гул жернова, сытно-хмельной и теплый запах свежей муки и мерклый свет электрической лампочки, запорошенной мучной пылью. «Отчего же это «он» облысел? — с обидой подумал я о дяде Мироне. — Тут можно до ста лет прожить... и построить не одну хату...»

Жернов возвышался в глубине сарая маленьким лобным местом. Вокруг него беспорядочно валялись мешки. Четверо незнакомых мне ракитян сидели в уголке, занятые не то картами, не то выпивкой, — я не успел разглядеть это, потому что увидел дядю Мирона. Он выглянул из-за жернова, махнул рукой тем четверым и, будто не замечая меня, как не замечают некстати нагрянувшее начальство, наклонился над неполным мешком. Дядя Мирон... Старый. Живой! Я выпустил руку Кубаря, набрал в грудь воздуха и пошел к жернову. Дядя Мирон стоял ко мне боком и впустую, для виду, теребил огузок мешка. Я видел его безбородое обветренное лицо, кончик хитро прищуренного глаза, старчески лоснящийся нос. «И пусть живет хоть до ста! Хоть до двухсот! И что хату новую строит — тоже хорошо. Хоть две!» — думал я, а он все теребил и теребил мешок, и тогда я остановился и сказал:

— Здравствуйте, дядя Мирон!

Нас разделяли шага два, как и тогда на льдине. Дядя Мирон поднял лицо и выпрямился. Я стоял, прижав руки к бокам, а он свои пошлепал об полу кожуха и спрятал за спину.

— Не признаю чтой-то, — смущенно сказал он, клоня голову то вправо, то влево. К нам подошли те четверо и заинтересованно встали у жернова.

— Я Кузьма, — сказал я.

— Ага. Так-так, — сказал дядя Мирон, глядя на меня с напряженным любопытством. Я видел, что он не узнает меня, и ничем не мог помочь себе: язык мой онемел. — Так-так, помню, как же... Только вот хвамилие вылетело из головы. Вроде бы тот и вроде бы нет...

— Я Кузьма Останков. Гришакин сын, — сказал я.

Мало ли каких слов я ждал в ту минуту, но из этого ничего не сбылось, — дядя Мирон не сразу, молча и дробненько пошел ко мне, глядя куда-то в угол мельницы, и лицо его было белым, как мука. Я не знал, с чем он шел, и поэтому не двигался с места. Он подступил ко мне вплотную и не то сказал что-то, не то охнул, и голова его очутилась у меня под мышкой, — до такой степени, оказывается, дядя Мирон был мал ростом. Я обнял его за плечи и зажмурился...

Потом мы стояли друг против друга, и дядя Мирон водил по моему лицу шершавой, как брезентовая варежка, ладонью и спрашивал:

— Да ты чего это? Слышь?

— Это так, — сказал я. — Сейчас пройдет...

— Племяш, сгреб его мать! — плачуще сказал дядя Мирон всем, кто был на мельнице. — Я сразу признал, как только увидел. Он, думаю! Так оно и вышло... Племяш!..

Они, оказывается, выпивали и не кончили, — в бутылке, спрятанной за мешками, оставалась еще добрая половина сизовато-золотистой мути.

— Первачок! — ласково сказал дядя Мирон. — Давайте-ка на радостях...

Он примостился на поваленный мешок и откинул полу кожуха, чтобы на нее сел я.

— А то обмучнишься.

Дядя Мирон, конечно, видел, что моим заношенным спортивным брюкам и черт не сват, но дело было не в муке, и я сел на его кожух и благодарно ощутил локтем тугой и крепкий дядин бок. Те четверо сели напротив нас. Они были моложе меня, и я никого из них не знал. От их фуфаек и кепочек попахивало запчастями — наверно, парни работали шоферами или трактористами.

— Наши ракитянские все, — сказал дядя Мирон, хотя я ни о чем не спрашивал. — Это вот Шурка, младший свата Сергеича, это Андрюха Захарочкин, а это внуки Петички Останкова. Что бурдастым дражнили. Не помнишь?

Все засмеялись, и внуки Петички бурдастого тоже.

— Ну, побудем живы! — серьезно и строго сказал

дядя Мирон. Правой рукой он подносил ко рту разлатую, голубого стекла странную рюмку с выступами по бокам, — я только потом догадался, что это лампадка, — а левой стаскивал с головы картуз. Ему хором сказали: «На доброе здоровье», все, кроме меня, потому что я смотрел на его голову — совершенно лысую, чистую и блестящую. Когда-то у него были не волосы, а грива. За это и дразнили его кудлатым...

Вторую лампадку выпил я, третью Шурка, потом Андрюха, а остатки прикончили внуки Петички бурдастого. Каждый, перед тем как выпить, говорил: «Побудем живы», а я сказал это дважды — первый раз дяде Мирону, а во второй самому себе и всем. Закусывали мы хлебом и салом. Хлеб был как хлеб: черствый, ржаной, а сало... другого такого на свете нету! Это то, что в Ракитном называют «любовчинкой». Это когда оно не толстое и не тонкое, но обязательно с мясной прослойкой и со шкуркой воскового свечения, опаленной ржаной соломой и омытой колодезной водой на рождество. Оно непременно хранится в ивовом кошеле, в таком, что хотел сплести тогда дядя Мирон...

— Ну, как вы тут поживаете, а? — спросил я всех. Я спросил это негромко и доверительно, как спрашивает свой у своих о давней тайне, в которой все замешаны и заинтересованы поровну. Я спросил и напрягся, готовясь услыхать некую горькую правду, скрытую под чешуей ракитянских афоризмов, как луковица под кожурой, но внуки Петички бурдастого охотно и беззаботно сказали слаженно:

— Ничего живем...

— Жизнь, брат, наклюнулась правильная! — раздумчиво сказал вслед за ними дядя Мирон и неожиданно отшатнулся от меня и крикнул: — А ты чего прилез сюда? Ну чего? А?

Я положил на место недоеденный хлеб и начал медленно вставать, чтобы освободить полу дядиного кожуха. Я уже встал и только тогда взглянул на дядю Мирона. Он смотрел в сторону жернова. Там стоял Кубарь.

— Он со мной, — невнятно сказал я и сел. — Дорогу показал...

— Это дело другое, — извиняюще сказал дядя.— Тогда пускай побудет...

Надо было выпить, и я встал, чтобы пойти к машине за коньяком, но дядя Мирон поднялся со мною разом и сказал:

— А я ить писал тебе. Два письма писал и одну телеграмму отбивал!

— Куда? — удивился я.

— Да туда. На Север... Мне тогда из сельсовета письмо твое передали. Насчет матери ты справлялся... Служил там, что ли, при лагерях?

— Н-нет, — не сразу ответил я.

— А хоть бы и служил. Какая ж оказия! Не один ты там служил, — сказал он.

Кубарь, наверно, не помешал бы нам, но дядя Мирон захлопнул перед ним дверку машины и приказал мне ехать.

— Выгоном давай, низом завязнем.

— Я знаю, — сказал я.

— Не забыл?

— Нет. Ничего не забыл...

Он сидел прямо, оценивающе и по-стариковски суетно следя за моими руками, за рычажками и указателями распределительного щита, — а умеешь ли ты, дескать, справляться, — и от этого и я не вовремя переключал скорости и ехал рывками. На выгоне стрелка спидометра плавно всползла на «80», и дядя Мирон, успокоенный, откинулся на сиденье.

— Значит, не забыл? А я, грешным делом, насилу угадал село, когда пришел, — сказал он. — Вроде и все тут было на месте, а все ж не то... Сады свели без меня, вот в чем загвоздка сидела!

— Как без тебя? — спросил я и сбавил скорость. — А где же ты был?

— Далеко, брат! — почти весело сказал дядя, но засмеялся деланно и на меня не взглянул.

— Сидел? За то самое сидел? Да?

Я спросил это резко, с неосознанным гневом к нему, и таким же тоном ответил мне дядя Мирон:

— А за что же!

— Сколько?

— Все десять. Под обрез!

— Заменили расстрел?

— Я не жалился... — нехотя сказал дядя. — Ну хватит об этом. Что было, то прошло. Ты-то как? Машинка своя или казенная?

Нам пора было сворачивать к селу, к дядиной хате, но я взогнал стрелку спидометра на «100» и проскочил мимо Черного лога.

— Куда ж ты? А говорит — помню! — забеспокоился дядя Мирон. — Заворачивай!

— Нет, я помню, — сказал я. — Только сперва давай побудем одни. Давай выпьем немного... Чтоб одни. Ладно?

— Да выпить нам не грех, — согласился дядя. — Тут чуть подальше можно того самого бурашного самогончику достичь у Лесовички. Недорогой.

— У Милочки? — спросил я.

— Ага. Ты должен помнить ее. Ровесница твоя. Вдовухой давно...

— У меня есть с собой,— сказал я. — Коньяк. Три бутылки. И закуска есть.

— Ну-ну! — поощрил дядя. — А где мы пристанем?

Я не ответил и не сбавил скорость. Верстах в четырех от Ракитного прямо по выгону был Кобылий лог — широкое зеленое приволье, где я стерег когда-то трех овечек деда Мишуни. Там мы остановимся и будем совсем одни...

Солнце уже село, и небо в том месте догорало теплым шафранным пламенем. Я включил подфарники. Машину наполнил ровный уютный полусвет. Как на мельнице. И мотор гудит, как жернов. Хорошо, если бы дядя Мирон ни о чем не спрашивал меня до Кобыльего лога. Особенно о Севере. Сейчас ему нельзя говорить, что я тоже сидел, — не поверит, подумает, подлаживаюсь... Может, совсем не говорить? А что же тогда я делал там? В охранниках служил? Ну, нет! Пошли они к чертовой матери!..

Дядя Мирон будто понял мои мысли и сидел покойный и какой-то печально-светлый. Лишь возле самого Кобыльего лога он снова спросил меня:

— Говорю, машинка своя или казенная?

— Напрокат взял, — сказал я.

— Это как понимать?

Я объяснил.

— Что ж так! — почти обиженно сказал дядя. — Служишь-то кем?

— Я... видишь ли, писатель, — неуверенно сказал я.

— Вот оно как! — негромко произнес дядя и повернулся ко мне всем корпусом. — Ну, а пишешь об чем?

Многое было в этом вопросе, в глазах и голосе дяди Мирона: и удивление, и разочарование, и насмешка, и досада пополам с сожалением. Тут нужен был ответ, равный вопросу по краткости и ясности, и я не стал отвечать, затормозил машину и включил фары. Мы стояли на Долгом мысу — первом из семи тут бугров, полого сбегающих к болоту. Два мощных световых столба протянулись по нему и широкой золотой гатью перекинулись через болото. Там засвиристело и запищало, — потревожили птиц; в затихшем моторе что-то стрекотало и пощелкивало, и я вышел из машины, и трижды прокричал Кобыльему логу: «Эге-ге-ей!» Он мне ответил тем же, и я достал из багажника ящик из-под сливочного масла и вынул из него коньяк, консервы, корейку и хлеб. Все это я сложил на сиденье, и когда взглянул на дядю Мирона, то увидел его в прежней позе, с прежним вопросом в глазах.

— Не надо, дядь Мирон, — сказал я. — У меня все в порядке. Понял?

— Что ж, ладно... Это дело такое, — проговорил он и провел рукой по лицу, будто смахивал мучную пыль.

— Я хороший писатель, — сказал я.

— Ладно, — улыбнулся дядя Мирон.

У нас не было рюмки, и я отвинтил с термоса колпачок, потом откупорил бутылку, нарезал корейку и открыл консервы.

— Может, свет побольше зажечь?

— А зачем, — сказал дядя Мирон, — нам же не читать тут...

Я передал ему колпачок и бутылку. Он опять проделал все, как на мельнице: сперва наполнил посудинку, а затем отставил бутылку, снял свободной рукой картуз и сказал: «Побудем живы!»

Я выпил два колпачка подряд — мне это нужно было — и дважды сказал: «Побудем живы». Дядя Мирон вкусно и бережно закусывал консервами, то и дело наклоняясь над банкой, и я близко видел тогда его шею — сплошь в сетчатке морщин и морщинок. «Каждая у него обругана матерщиной, каждая!» — подумал я и спросил:

— Где ты отбывал, дядь Мирон?

— Далеко, брат! — с прежней неискренней веселостью ответил он.

— А все же?

— Подписку дал не разглашать...

— Теперь на это начхать! — заявил я.

— Это верно, — сказал дядя, — да только видишь ли какое дело: говорить не хочется... Ну было и было... А зачем его вспоминать?

— А можешь не вспоминать? Все чтобы не вспоминать?

Я не только спрашивал, но и просил, и дядя Мирон все понял, что я хотел. Он положил рядом с колпачком кусок батона, подобрал с колен крошки, кинул их в рот, прожевал, выпрямился и, строго глядя на меня, сказал:

— Дурак ты! Ну что ты означал тогда в моей беде? Ты ж был... ховрашок, вот кто!.. Кто ж из нас с тобой был виноват?!

Я нарочно уронил на пол машины колпачок и стал искать его там, чтобы подождать, пока остынут глаза, но дядя Мирон тоже наклонился и начал шарить руками около педалей... После этого мы немного посидели смирно, затем выпили, и дядя Мирон сказал о коньяке:

— А все ж верно говорят, приванивает он!

— Клопами? — спросил я.

— Клопами, будь они неладны!

— У вас в лагере много было?

— Заедали! — зажмурился дядя.

— Нас тоже, — сказал я.

— Да неужели ты в самом деле сидел? — пораженно спросил дядя Мирон.

— В самом, — просто и легко сказал я.

— За что, господи?

— В плену был...

— Ах, вот оно что-о! И сколько отдул? Ну тогда мне понятно! Тогда все... Ах же ж курвецы! Ах же ж...

И мы начали с дядей Мироном ругаться беззлобно и с удовольствием, оба дивясь молитвенной складности страшной лагерной матерщины, какой мы обкладывали караульных, надзирателей, клопов, голод, стужу, тоску... Мы разговаривали, ругались и выпивали, и это было впервые, когда я испытывал чуть ли не благодарность судьбе за то, что сидел в «своем» ла-

гере. Потом мы спели лагерную песню, и мне стало не очень весело, а дядя Мирон положил руку на мое плечо и как по секрету, который он доверяет мне первому, принялся расхваливать наступившие времена, — «жизнь наклюнулась законная», — а Хрущева называл, как своего свата, — «Сергеич»!

— Виссарионовича в родню уже не хочешь? — засмеялся я.

Дядя Мирон не уловил в вопросе шутки и сказал отчужденно:

— Этот в моей родне не ходил!

— Ну как же! А кому ж он доводился великим отцом?

— Не знаю, — сказал дядя Мирон.

Он замолчал, засунул руки в рукава кожуха, как при холоде, и сидел ершистый, враз постаревший. Черт меня дернул вспомнить «отца»!

— Ты что, дядь Мирон, шуток не признаешь? — осторожно спросил я.

— Индюк, милок, тоже однова пошутил, — сказал дядя Мирон и разнял руки, будто готовясь к чему-то. — Он пошутил, а курица снеслась... Ты лучше скажи мне, об чем пишешь?

Черт меня дернул вспомнить «отца»!

— Я хороший писатель, Мирон Петрович, — сказал я.

— Ты уже хвалился раз. А вот пишешь об чем? — с прежней настойчивостью повторил дядя. Я протянул назад руку, нащупал на сиденье свои книги и кинул их на колени дяди Мирону. Он взял по одной в каждую руку, приблизил к глазам, потом отдалил, и я засветил кабинную лампочку.

— Тут же... Константин какой-то, — нерешительно проговорил он.

— Это псевдоним, — сказал я.

— Чего-чего? — подозрительно спросил дядя Мирон. Тогда я объяснил, что такое псевдоним, о чем мои книги, когда и как я их написал...

...Тот, «чужой», лагерь размещался в Литве, и мы с младшим лейтенантом Вороновым убежали ночью, когда военнопленных погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию. Воронов был доходягой, и я та-

щил его на себе. На рассвете мы набрели на одинокий хутор, — они все там были одинокие, и в деревянной кадке с водой, стоявшей возле колодца, я обнаружил отстойник с молоком литров на пять. Мы прихватили его с собой и еще захватили сноп сухого мака, зашли за сарай, — он стоял метрах в ста от дома, и там выпили молоко и охолостили все головки мака. Воронову стало плохо сразу же. Он извивался, грыз маковые стебли и почти кричал. Я сделал для него все, что мог: мял живот, зажимал рот ладонью, но он кусался, кричал, а ночь кончалась. Тогда я оглядел недалекий лес и светлеющее небо, и Воронов перестал кричать и сказал:

— Я сейчас умру, уходи один...

Он правильно разгадал мою мысль, но я ударил его по щеке и побежал к воротам сарая. Они оказались запертыми на внутренний засов, а под ними был проем, загороженный сосновой плахой, и я вышиб ее ногой. Через этот проем я втащил Воронова в сарай, заваленный немолоченым овсом и горохом. В горохе я проделал туннель, и мы затиснулись туда, и все время Воронов молчал. Хутор просыпался, и я вспомнил про отстойник, забытый наруже. Его надо было спрятать и приставить к подворотне плаху, но Воронов опять стал корчиться и стонать. Он норовил выпростаться из-под гороха, а я не пускал его и совал ему в рот пилотку...

Я был убежден, что выдал нас не стон Воронова, а горох: сухой и ломкий, он громыхал, как кровельное железо, но Марите потом сказала, что виноват был отстойник. Она нашла его у сарая, увидела пустой зев подворотни и потом уже услыхала стон Воронова. Она вошла в сарай и позвала:

— Э-эй... пленчик... не боись!

Я обеими руками сдавил горло Воронова, он хрипел и бился, и горох громыхал, как кровельное железо.

— Не боись, пленчик!

Голос звучал искренне и напуганно, — однажды в детстве я так уговаривал собаку, которая кинулась на меня в Кобыльем логу, — и я отпустил Воронова и полез из укрытия. Белоголовая маленькая девушка стояла у раскрытых ворот сарая. Увидев меня, она попятилась и загородилась отстойником, и я понял ее страх и не встал с колен: вместо гимнастерки на мне

Feldpost

был немецкий мешок с черным орлом и надписью «фельдпост», а кожу с лица я облупил, когда падал из вагона.

— Мы только что зашли! Мы уйдем вечером! Не бойтесь, пожалуйста! Мы только так! — сказал я ей.

Она потом говорила, что я держал руки у подбородка и кланялся как в костеле, и если это было так, то в костелах молятся не зря...

Воронов умер в полдень. Я проделал в горохе дыру, и на матице под крышей сарая увидел живых, воркующих голубей. Они улетали и тут же возвращались... В сумерках пришла Марите. На этот раз она не произнесла «эй», а сказала только «пленчик». Она принесла продолговатую ковригу хлеба, два куска сала и пачку листового табаку.

— Надо еще бумагу, спички и лопату, — сказал я.

— Лопат у нас только один, — сказала Марите.

Я объяснил, для чего нужна лопата. Марите прошептала: «Езус-Мария!» — и побежала к дому. Я смотрел на нее в щель ворот и думал, что она забудет о спичках и бумаге. Она вернулась с лопатой. Мы пошли на восток, к лесу — туда мне было по пути. Марите несла хлеб, сало, табак и лопату. Я нес мертвого Воронова и думал, как быть без бумаги и спичек. Хотя бы только спички. Табак ведь листовой, и его можно будет скрутить так, без всего...

Могилу я вырыл в глубине лесной опушки под густой елью. Копать пришлось недолго, — на четвертом «штыке» показалась вода. Я утопил в нее тело Воронова, заровнял яму и разбросал по кустам излишнюю землю, — Марите сказала, что возводить холмик нельзя: о мертвеце может узнать полиция и в хутор «придет плохо». Мне оставалось вытереть руки и взять у Марите хлеб, сало и табак. Я знал, что отойду недалеко, сяду и буду есть хлеб с салом. Я полночи буду есть, а полночи идти на восток, и никакого заворота кишок у меня не будет! Марите долго объясняла, где мне перейти вброд речку, которая впереди, но я плохо понимал смысл ее слов, потому что хлеб тяжко-любовно прильнул к моему телу, и оно молчаливо вопило, что он тут, наш!

— До свидания, — сказал я Марите. — Спасибо тебе за все!

— Свиданья, — ответила она. — А какая твоя имя?

— Кузьма, — сказал я. — А твое?

Она назвала. Мне хотелось сказать ей благодарное слово побольше, чем «спасибо», и я спросил:

— Как же ты узнала, что молоко... взяли пленные?

— А кто ж украдить? — спросила она.

— До свидания, — сказал я. — Большое тебе спасибо за все!

— Тебя скоро будут посадить лагерь, — сказала она. — Литва люди не ходить мешок. Ночью я буду взять рубашку отец и буду дать для тебя.

— Хорошо, — сказал я, — большое тебе спасибо за все!

В гороховой скирде я проделал новую туннель и полночи ел хлеб с салом, а полночи ждал Марите, но она пришла только утром и принесла голубую ситцевую рубаху и домотканые шерстяные штаны. Спички и бумагу опять забыла. Я переоделся в своем логове, и, когда вылез на свет, Марите оглядела меня и чему-то засмеялась... Перед вечером она принесла лепеху домашнего сыра, спички, хлеб и ножницы.

— Надо будешь немножко стригать тебя, — сказала она.

Позже, с годами, я заметил, что в лагере волосы отрастают быстрее, чем на воле. За четыре месяца плена у меня образовались косы, они спадали на плечи и на концах закручивались кольцами. С боков, возле ушей, я подстригся сам, а с затылка помогла Марите. Я стоял на коленях в проходе между овсом и горохом. Через щели ворот в глаза били узкие лучи закатного солнца, и то ли от них, то ли от безопасного прикосновения чужих рук я зажмурился и мог простоять так ночь и еще день. Марите сказала, что, наверное, я сердитый человек, потому что волосы у меня как «желез», что поэтому я и не заплакал вчера там, в лесу. Я сказал, что над мертвыми не могу плакать, я видел их очень много.

— Над свои друзья надо плакать! — сказала она.

— У меня нету слез, — сказал я. Тогда она заплакала сама и ушла из сарая, а минут через двадцать принесла бутылку молока, старенький брезентовый плащ и опять хлеб и сало. Это ее деяние было для меня как сама Родина, куда я стремился, и я не ушел этой ночью. Я не ушел на вторую и на третью ночь.

Каждый вечер Марите приносила мне еду и окликала шепотом:

— Кузма-а, ты жива-ая?

Я не поправлял ее и не объяснял, почему мне надо говорить «жив»: так было лучше и нужнее сердцу...

Ушел я на шестые сутки. Стоял сентябрь, но было тепло, как в середине лета. Марите проводила меня до леса и объяснила, как перейти вброд речку.

— Свиданья! — сказала она и не стала ждать, что я отвечу.

Потом я не раз приходил на хутор Побальве. Я не мог задерживаться в нем больше суток, потому что меня ждали в партизанском отряде. Там все знали, куда я хожу, и я знал, что все полтораста бывших военнопленных хотели тогда быть в охране хутора.

За два года Марите прислала мне на Север сто два письма и четыре посылки — две новогодние и две майские. В них был знакомый продолговатый хлеб, знакомое сало, знакомые лепехи домашнего сыра и еще мак, сухой, в головках. Почти в каждом письме она спрашивала, куда я поеду, если меня «отпускают». Я не отвечал ей на это, потому что не знал, когда меня освободят и куда мне можно будет ехать. Наша переписка временно прекратилась после того, как начальник лагеря разрешил мне обращаться к нему со словом «товарищ», а не «гражданин»: мне хотелось жить у себя на родине, и чтобы это «у себя» оказалось неожиданным и родным домом Марите.

За два месяца я побывал у сорока кадровиков. Большинство из них были в стареньких кителях без погон и в новых фуражках. Это были смелые люди, разгромившие фашизм на Земле, но меня, своего, они боялись...

И я написал Марите, что мне некуда деваться. Ответ до востребования я ждал в северном портовом городе. «Надо поезжать скорей Литва», — написала Марите, и через неделю, летним вечером сорок седьмого года я был на знакомом хуторе.

— Кузма-а, милая! — прошептала Марите, оглядев мою ватинку, котомку и валенки. В ее глазах ничего не было радостного, и она спохватилась и сказала:

— Тебе тюрьма как гусак вода!

Хорошо, что она сказала это. Я ей поверил, и прилипший было к моему сердцу лагерный страх перед

жизнью развеялся к чертовой матери, — мне было легко и отрадно, хотя я не знал, как жить и что делать на хуторе.

Мы выпили с отцом Марите пол-литра самогона, после чего он сообщил, что бункер для меня готов.

— Можно искать сто лет хоть своя, хоть чужая милиция!

Старый лесник говорил по-русски не лучше дочери. Я показал ему справку об освобождении, но он, видно, не поверил сразу гулаговской бумажке, потому что дважды еще за вечер напоминал о бункере...

Если человек захочет вторично родиться на свет божий, то пусть сходит после лагеря в крошечную деревенскую баню, пахнущую березовым листом, жаркую, как ад. У этой бани должна быть дырявая крыша, тогда в ушате с водой будут отражаться звезды; и чтобы вокруг бани осторожно-стерегуще ступали легкие девичьи ноги; и чтобы бывшего каторжника то и дело окликали протяжно и застенчиво:

— Ты жива-ая?..

Спал я на сеновале в сарае: подо мной была чистая новая простыня, а в головах — подушка; большая, мягкая, одна. Ворота Марите заперла на щеколду, и сама осталась там, наруже.

— Ну иди на минуточку ко мне! Ну, пожалуйста! — просил я.

— Не-е, ты моя хитрая Кузма... Без свадьба сарай ночью страшна! — пела она и смеялась.

Утром она повела меня в контору лесничества наниматься на работу. Идти надо было далеко и все лесом и лесом. Я не верил в благополучный исход Маритиной затеи, но это не мешало мне видеть первозданную красоту вольного летнего мира, и «чужие», и «свои» лагеря в нем казались мне собственной выдумкой.

Лесничему — маленькому чистому старичку-литовцу — Марите сказала обо мне по-русски:

— Это моя муж Кузма... Невинно тюрма сидела.

Лесничий встал и поздоровался со мной за руку. Я отдал ему гулаговскую справку — единственный свой документ, и часа полтора отвечал на вопросы о Севере.

На хутор мы вернулись поздно вечером. Марите была в венке из ромашки и кукушкина льна. Я его сплел

перед тем, как она стала в дороге моей женой...

По работе я подчинялся тестю. Я ходил по его участку и оголял от коры комли сухостойных и больных деревьев. После мы их валили и складывали в штабеля. Платили за это немного, но аппетит на хлеб и сало нагуливался порядочный.

Тут я и написал свою первую повесть. Нет, не эту и не эту. Та была меньше. Та была о плене, и в ней не величался Сталин. Ни разу. В рукописи было пять ученических тетрадей. Марите сшила их суровыми нитками — одна к одной. Стояла уже глубокая осень, и для того чтобы все было ладно, чтобы все сошлось у нас на одном хорошем, мы послали повесть в московский журнал с мягким осенним названием. Ответ пришел зимой. На девяти страницах рецензент с надзирательской фамилией Матов злобно глумился над тем, о чем я писал. Пленных он называл предателями, а меня Кузьмой: видно, корень моей фамилии пугал его и ярил.

— Она что — дурак? — спросила Марите о рецензенте. Тогда я разъяснил ей, что мужчине надо говорить «он», что я не Кузма, а Кузьма, и это пора ей знать!

— А может, он совсем не мущин! — заплакала Марите, а мне впервые стало стыдно за свое ракитянское имя. Я сжег рецензию и к весне написал партизанскую былину. Я опять рассказал о том, что знал, видел и помнил, и мне некем было заменить пленных. Мы сшили пять тетрадок и снова надолго покинули в мечтах хутор, поселясь в каком-то голубом веселом городе, в маленькой голубой комнатушке, но с отдельной кухней — так хотела Марите. Я работал в этом городе шофером на «Победе», а она училась в русской вечерней школе — этого хотел я.

Тетрадки вернули нам в середине лета. Рецензент был другой. Героев моей повести он назвал «беспаспортным сбродом, которым нельзя восхищаться». Я все понял и стал хлопотать о собственном паспорте. Помог мне лесничий. При заполнении трудовой книжки он посоветовал скрыть плен, а лагерь оставить, но я сделал наоборот — мы не могли придумать вину, за которую я «отбывал». Большой нарядной печатью с изображением дубовых листьев вокруг герба лесничий закрепил в моей прошлой судьбе четыре месяца плена, полтора

года партизанки и три года работы мастером лесонасаждения. По его мнению, я вполне мог быть хорошим мастером лесонасаждения, поскольку война не дала мне закончить Московский пединститут.

Тем же летом мы перебрались с Марите в Вильнюс. Там я написал за зиму пять рассказов, послал их в разные журналы, и в разное время рассказы вернулись назад. Тогда Марите сказала — она училась в русской вечерней школе, а я возил на «Победе» замминистра лесного хозяйства, — что я не тем методом пишу. В этом все дело. И через год я написал вот эту книгу, а потом эту...

Мы с дядей Мироном выпили по колпачку без «побудем живы». В бутылке еще кое-что оставалось, но дядя Мирон заткнул пробку и распорядился ехать домой. Я развернул машину и поехал в Ракитное так, как ездят шоферы в автоинспекцию после аварии — покорно, медленно и молча, — и дядя Мирон сидел как автоинспектор, у которого просить права бесполезно. Но на полдороге он сказал:

— Ну, ладно. Что было, то было. Что ж теперича делать! Как говорили в старину, нужда придет — стала не стала цена, а продавай!.. Другое теперь скажи: жена-то как? Ничего себе?

— Ничего, — сказал я.

— Марите — это Манечка по-нашему?

— Маша.

— Ну-ну, А чего же не привез поглядеть? И детишки есть?

— Сын,— сказал я.

— Ишь ты! Как звать?

— Костиком.

— Молодчина! — сказал дядя Мирон. — Сколько ж ему?

— Седьмой год.

— Молодчина! Так им и надо!

— Кому? — спросил я.

— Ну... мало ли!

Я не понял, кого он имел в виду — надзирателей, кадровиков или рецензентов, но спросить об этом не удалось, потому что впереди справа показались огни Ракитного, и дядя Мирон сказал:

— Видал? Третий год уже. А ежели с бугра из-за речки глянуть, то прямо как город!

Реденькая цепочка столбовых лампочек ломано убегала в конец невидимого села, разоряя в моем воображении привычный и давний облик Ракитного. Я не хотел, чтобы оно было похоже не на себя, и сказал:

— Керосиновые лампы лучше. Поэтичнее...

— Да провались они пропадом! — по-бабьи тоненько воскликнул дядя Мирон. — Слепня одна, а тут... Говорю ж тебе: ежели глянуть ночью с бугра, то город — и все!

Ему явно хотелось глянуть со мной на Ракитное из-за речки — село сидит окнами туда.

— Давай переедем и глянем, — предложил я. — Гать цела?

— Полагалось бы теперь глянуть! — вожделенно сказал дядя Мирон. — Да придется, видно, отложить на другой раз. Дома, поди, нас ждут... Нет, в другой раз!

Возле Черного лога мы свернули на еле приметную узенькую дорожку. Я бы ее не заметил: раньше тут пролегал широкий проулок, а теперь он был взрыт под огородные сотки, наверно. Я ехал и ждал — вот-вот фары нащупают мироновский сад, акациевый тын и скотные воротца на проулок, но дорожка все тянулась и тянулась посреди рыхлого, хорошо разработанного чернозема, пока мы не оказались на улице села.

— Налево давай и во двор! — скомандовал дядя Мирон, но я и сам уже знал, куда давать, потому что увидел белую знакомую хату, а рядом с нею — незнакомую, новую, до половины накрытую розовой черепицей. Прямо во дворе, между старой и новой хатами, был разбит квадратик палисадника, огороженный железной сеткой. В квадратике сидели кусты крыжовника и несколько штук крошечных побеленных яблонек. В глубине двора стоял прежний, вросший в землю сарай, и под светом фар, ударившим в его плетеные воротца, там захлопал крыльями и запел петух.

— Обмишурился дуралей! — засмеялся дядя Мирон. Об изгороди палисадника он сказал: — Не то что скотина, а даже пискленок не пролезет...

Новая хата была еще не готова, там не жили, а мне бы легче ступилось в нее, там бы я смелее и лучше встретился с теткой. На крыльце старой хаты я ос-

тановился и прислонился к косяку дверей. Я хотел скрыть от дяди Мирона свое тревожно-нелегкое чувство и стал оглядывать улицу, но он все понял и закричал на меня шепотом:

— Ну вот что: не дури! Домой ить приехал!..

Нас и в самом деле ждали, — в хате было полно народу, и я сразу же узнал тетку Мирониху, постаревшую, тоже умалившуюся, но с прежними колюче-черными глазами. Она чинно подошла ко мне, остановилась в шаге и сказала:

— Ну здорово ж тебе!

Тетка поклонилась и не вынула рук из-под фартука, и я так же, как и она, поклонился ей поясным поклоном... Всем остальным я жал руки и что-то говорил, и лишь после этого опознал Андрюху Захарочкина, сватова Шурку и принаряженных внуков Петички бурдастого. Один из них был с гармошкой. Он дольше всех задержал мою руку, здороваясь. Были еще двое или трое парней, и на этом кончался мужской состав гостей. Зато баб и девок набилось десятка полтора. Они жались в одном месте возле дверей. Я никого из них не помнил и не знал. Дядя Мирон, успевший в чулане надеть новые кирзовые сапоги и голубую сатиновую рубаху навыпуск, повел ко мне застыдившуюся немолодую женщину в шелковом цветастом платье.

— Это ж Надичка, — сказал он. — Не признаешь?— У нее были теткины черные глаза.

— Ну как же! — вспомнил я и обеими руками пожал круглую и потную ладонь своей двоюродной сестры. Надичке было лет девять, когда я ушел из Ракитного.

— За Кирюшкой Останковым была, что на том конце жил, — пояснил дядя Мирон. — Может, помнишь? Не вернулся с позиций, а она вот с дочкой у нас...

Тут нужны были гостинцы. Или хотя бы приличные брюки на мне, потому что тетка Мирониха, хлопотавшая у стола, раза два окинула меня пытливо-настороженным взглядом. Я вышел к машине, переоделся и захватил бутылки с коньяком, консервы и корейку.

— Ну вот что, — проговорила тетка, как только я вошел в хату, — милости просим кого за стол, а кого и за ворота.

Она сказала это полушутя и только бабам, но, видно, каждая из них знала, что ей тут причиталось, и вышли почти все.

— Люди к тебе пешком, а ты к ним все на карачках, — ядовито, шепотом сказал дядя Мирон тетке и не стал ждать, что она ответит, повернувшись ко мне. Но тетка обернулась ко всем нам, оставшимся в хате, и расчетливо-певуче сказала:

— Гость, Петрович, невольный человек, на чем посадят, на том и сядет.

Внуки Петички бурдастого слаженно засмеялись и ободряюще подмигнули мне, — дескать, ни хрена то не значит, все равно зараз врежем! Кроме коньяка врезать было что: каждый из парней поставил на стол по бутылке первача. Как икону — на протянутых вперед руках, — тетка вынесла из чулана цельную коврригу хлеба и бережно посадила ее меж бутылок. Дядя Мирон принес тарелку толсто нарезанного сала, Надичка — блюдо студня, и снова тетка — глиняный горшок неизвестно с чем. Там могло быть молоко или розовая простокваша-топлюшка. Но мог быть и квас для студня. Такие небольшие горшки в Ракитном испокон называют махотками.

Ими же отмеряют муку, когда дают друг другу взаймы...

Тогда я оглядел хату, как оглядывала меня до этого тетка Мирониха.

Ракитянское тут перемешалось с городским: земляной пол и ковровая дорожка; косоногие скамейки и широкий дерматиновый диван; загородивший окно радиоприемник и деревянная солонка времен доколхозных веселых ярмарок. Абажур над электрической лампочкой был самодельный: на обечайку решета тетка — конечно, тетка! — натянула полинялую розовую ветошу, наверно, старую кофту свою, чтоб не выбрасывать. Ложе дивана горбилось туго и выпукло, к нему, видно, не прикасались, и я сел на скамейку. Меня начал обволакивать «лагерный спрут» — цепенящее окаменение. Тогда я могу только молчать и ничего не хотеть и не видеть, и людям лучше не видеть меня.

Дядя Мирон налил восемь полустаканов самогонки и пять рюмок коньяку — по числу мужчин и женщин —

и, подойдя ко мне, шепотом сказал: «Не дури!», а в голос: «С приездом!»

Выпили все, кроме тетки. Выпили степенно, бережно и чего-то ожидаючи, — наверно, в старину причащались так, и сразу же стали закусывать жесткой и кислой городской корейкой, а не салом. Оно лежало в синей тарелке, и я бы умолол его в одиночку, если б тетка отняла руку от своих скорбных усохших губ. И тут дядя Мирон стал торопиться. Под его «не дури!» для одного меня и «побудем живы!» для всех мы выпили еще и еще. Я привстал и обеими руками захватил махотку. Там оказалось холодное как лед топленое молоко с пенкой. При одобрительных и уже пьяненьких напутствиях я выпил молоко через край, а махотку поставил на угол стола возле своего локтя. Я установил ее правильно — она непременно должна была упасть при малейшем колебании стола. Но стол дрожал и колыхался, а махотка не падала, и тогда я спихнул ее локтем на виду у всех. Она была еще в воздухе, когда дядя Мирон поднялся со скамейки и под хрясь черепков приказал внуку Петечки бурдастого:

— А ну, вжарь комаря!

Тот тоже встал — сидя нельзя было в тесноте развернуть меха гармошки — и сначала вывел какую-то замысловатую руладину, чтоб размять и разогнать пальцы. Дядя Мирон стоял на середине хаты, выжидая и шевеля носками сапог, и как только гармошка сыпанула «камаринского», он пригнулся, выбил ладонями на голенищах чечетку и, раскинув руки будто для обнима всех, четко и в лад коленам плясовой не пропел, а просказал, глядя на одного меня:

Ай да дедушка лысенький,
Запасал муку-высевки!
А за что ж его высекли?
За муку да за высевки!

Присказка была с «бородой», я знал ее с детства, но дядя Мирон подмигивал мне плутовски, намекающе-откровенно и весело. Наверно, он увидел, что я все понял и принял так, как ему хотелось — «не дурить», и, подплыв в плясе к тетке, тоненько проголосил ей почти на ухо:

Не по-старому закон повела!
Полну хату женихов навела!

У тетки оттаяли глаза, и она засмеялась со всеми вместе. Застолье нарушилось. На середину хаты выбежали Надичка и Андрюха Захарочкин. Оттиснутый ими к дверям чулана, дядя Мирон снова хитровато подмигнул мне, и я кликнул, чтобы он скорей шел ко мне.

— Чего ты? — тревожно спросил он и взглянул в сторону тетки.

— Я люблю тебя!— сказал я. — Я всю жизнь любил тебя! Давай поцелуемся!

— Это давай, это сколько хочешь, — сказал дядя Мирон, и мы стали целоваться истово и горячо.

— Ну будет, будет вам миловаться! Ишь, дорвались, — ревниво, без осуждения сказала тетка. Я подошел к ней, обнял и поцеловал в глаза. Она всхлипнула и села на диван, а я стал перед нею на колени и заплакал, и дядя Мирон заплакал тоже.

Гармошка унялась. За столом насупились и замолчали.

Потом мы еще пили, плясали и целовались. Спать я улегся на диване с дядей Мироном — так захотел он сам...

Может, только в Ракитном звенят потемки в хатах, когда засиневаются окна, когда все, кроме слушающего, спят. Звон похож на ветровое касание балалаечной струны, если знать, что такое балалайка. Но, может, это не во всех хатах так. Может, певучих тут только две — наша да вот дядина... Дядя Мирон спал на спине, умиротворенно покоя руки на груди, и я тихонько перелез через него, благолепного, лысого и чистого, как младенец. Дверь я открыл неслышно, и в сенцах на лавке нашел то, что мне было нужно, — ведра. Колодезь был внизу, под горкой. Оттуда я должен увидеть свою хату, если она цела.

Простор, в который я вышел, был устрашающе широк. Раньше от улицы к речке — справа и слева, в оба конца села — сбегали огороженные сады и коноплянники. Теперь тут была целина, степь. В рассветной просини утра степь чуть-чуть розовела — пробивалась молодая трава. Под бугром залегал еще ночной полу-

мрак, и голая речка блестела там сизо и холодно. За речкой, сходясь где-то с небом, полого возвышались черные поля. Это оттуда дядя Мирон хотел вчера взглянуть на Ракитное.

Колодезь вековал на прежнем месте — тот же дубовый, позеленевший от времени сруб, то же дубовое корыто для водопоя лошадей, та же окостеневшая орясина журавля. И ни следа от купы темных вязов. При мне их ветки шатром нависали над колодцем, и летом невозможно было пройти мимо, чтобы не «ухнуть» и не плюнуть в студеную преисподню. Плюнешь и ждешь, когда прилетит к тебе стеклянное «чуль», и не услышишь и не увидишь, а только почувствуешь задницей обжигающий шлепок чьего-нибудь коромысла...

Мне надо было припомнить тут многое — важное и неважное, — потом достать воду, поставить ведра на козырек сруба и снова что-либо припомнить. Любое. Мне надо было стоять спиной к селу и оглянуться на него в самый последний момент, когда уже нельзя будет не оглянуться и не увидеть свою хату. Но может, ее давным-давно нет и я зря тут ворожу с собой? И что лучше: чтобы она была цела или чтобы ее не было?

Этого я не знал...

А хата стояла. Как нарисованная. Как тогда. Как постоянно в моей памяти. Хаты всегда похожи на хозяина. Как носит хозяин шапку — прямо, криво, мелко или глубоко, так сидит на хате соломенная крыша; как смотрит хозяин — робко, насмешливо, весело или грустно, так глядится окнами его хата. Наша всю жизнь была похожа на маму. Мать носила платок, сдвинутый на лоб, и поветь хаты нависала над коником. Мать всегда смотрела на людей с виноватым прищуром, и в окнах хаты было это выражение...

Она топилась — единственная в такую рань на всем кутке.

В дядином палисаднике зацветали яблоньки, и на них в просвет между сараем и штабелем черепицы косым лучом било встающее солнце. Огромный лилово-вороной кочетище стоял на «Волге» и пел. Клавка — Надичкина дочь — издали шугала петуха, но он не хотел покидать этот нечаянно очутившийся тут кусок неба, гремел по нему шпорами и пел, и из его разверзтого клюва живым цветком вытекал радужный пар.

— Не надо, — сказал я Клавке, — пусть покрасуется.

— Так он же, дядь Кузь, видите, чего наделал, дурак такой!

— У меня есть тряпки, — сказал я, — пусть покрасуется.

Клавке надо было купить подарок. Платье, например. Под цвет ракитянского неба, потому что глаза у девки невообразимые — янтарные. И Надичке надо подарок. И тетке тоже. И дяде Мирону.

И тому, кто живет в нашей хате...

Мы слегка опохмелились, и я повез дядю Мирона на мельницу.

— Припаздываю, — сказал он. Я поднажал, и на выгоне, недалеко от Черного лога, настиг вчерашние дрожки. Муругий жеребец шел боком, жируючи, норовя все забрать влево, и я стал обгонять его справа. В дрожках, уперев ноги в грядку, напряженно прямо сидел тот лобастый, что плевался вчера на побитые зеленя. Он искоса взглянул на машину и вытянул жеребца вожжиной. Я отстал — впереди на обочине завиднелась тракторная колея — и, вырулив на дорогу, во второй раз начал обходить дрожки. Лобастый оглянулся и пустил жеребца галопом. Дядя Мирон азартно раздул ноздри:

— А ну, кто кого!

На всякий случай я забрал покруче от дороги и, когда дрожки оказались сбоку, сбавил газ. С полкилометра мы ехали вровень, как спаренные, — было невозможно оторвать глаза от красоты и мощи летящего жеребца, крохотной колесницы, от седока. Он стоял теперь на коленях в передке дрожек и размеренно крутил над головой петлей ременных вожжей. Я бы уступил ему, обязательно сдался; я даже ждал: вот-вот поперек выгона протянется борозда или канава,— нельзя же дать этой прокатно-бессердной коробке попрать вольный дух живых, — но дядя Мирон, тоже привстав на сиденье, все время выкрикивал:

— А ну, кто кого! А ну, сгреб вашу...

Я вырвался вперед, и через минуту мы оказались у голенькой аллеи, что вела на Покровский двор.

— Давай подождем его тут, — сказал дядя Мирон. Вид у него был довольный и вместе с тем смущенно виноватый.

— А кто это? Председатель? — спросил я.

— Не, тот на «Победе» фугует. Это Михаил Иваныч. Бригадир нашей восьмой. Да ты должен знать его. Егораку помнишь? Ну что в пуньке возле речки жил?

Дед Егорака и Михан... Еще бы я не помнил их! Деду, наверно, шел тогда девяностый, а Михан был моим ровесником и круглым сиротой. Пунька — это амбар. Она стояла на возвышенном мыске, поросшем ракитником, у самой речки. Нигде — ни в чьей-нибудь хате, ни в кооперации — не пахло так хорошо и отрадно, как в Егоракиной пуньке: зимой и летом ее стены и потолок были увешаны пучками засушенной травы, ветками дубов и вязов. В половодье пуньку отрезало от села и от всего мира. Тогда было страшно глядеть с бугра на мысок, — он стремительно несся вместе с пунькой и ракитником навстречу течению реки. Несся и оставался на месте. Я первым навещал пуньку после спада воды. Первым. Наверно, кроме меня, одному богу было ведомо, чем питались дед Егорака и Михан, и тут нельзя было ничего поделать — один стар, другой мал, а кругом голодуха. И я был им свой...

Каждый год по веснам дед Егорака распухал — отекали и стеклянели ноги, руки и лицо. Мы с Миханом кормили его тогда вареными печерицами — так называли у нас шампиньоны, их никто, кроме нас, не ел, потому что росли они черт-те где — вьюнами, гольцами и будто бы съедобной травой свербейкой. К середине лета дед Егорака оживал, а к осени совсем поправлялся: он делал нам с Миханом луки из подсушенной акации и стрелы из краснотала. Для наконечников я крал у матери большие «цыганские» иголки. Забредшему в конопляники пискленку надо было угождать в голову или шею. В другое место стрела не брала, и пискленок уносил иголку...

Еще бы я не помнил деда Егораку и Михана! В тридцать шестом году под спад лета в Ракитное прибилось кино. Ставили его под открытым небом, прямо на стене чьей-то хаты. На второй день кино перебралось в соседнее село Соломыково, и дед Егорака, Михан и я подались туда. После мы были в Рожновке,

в Спасском и еще в трех селах. Показывали «Чапаева», и мы все ждали: не выплывет ли он на этот раз из реки Урала?

Не выплыл...

Мы вышли с дядей Мироном из машины и закурили. Михан подъехал шагом, сидя на дрожках в прежней позе, как ни в чем не бывало.

— Ну, как Михал Иванч? — издали окликнул его дядя Мирон.

— Восемь, — хмуро ответил Михан и натянул вожжи.

— Чего «восемь»? — обеспокоился дядя Мирон.

— А чего «ну как»? — без улыбки спросил Михан, искоса поглядывая на меня. Я подошел к нему, протянул руку, и мы разом сказали одно и то же:

— Не узнал тебя вчера...

— А я сразу признал, — торопливо сказал дядя Мирон. — Чего ж не заглянул вечерком?

— А ты покликал? — расстановочно спросил Михан.

— Да тех чертей тоже никто не заманивал. Пришли — и все!

— Вы ж до этого на мельнице пили! Мне Кубарь доложил! — укоряюще сказал Михан.

— Там всего-навсего по одной лампадке пришлось,— махнул рукой дядя Мирон. — А вот вечером дома выпили. Это верно. Зря ты не заглянул... На-кась вот докури. Хор-рошие цигаретки. Из самой аж Литвы...

Что-то с дядей Мироном было неладно. Что-то он излишне мельтешился и семенил около дрожек, растопыривал локти, оттирая меня от Михана, не давая нам поговорить. Михан плохо слушал его. Оглядев машину и мой костюм, он не очень весело сказал мне через голову дяди Мирона:

— Ну и вымахал ты! А был меньше меня...

— В отца пошел, — суетно подхватил дядя Мирон. — Брата Гришаку всю жизнь сажнем дражнили. Бывало, сидит верхом, а ноги под пузом у лошади волокутся... А однава едет, понимаешь, в кобеднешних портках и едет, а мерин возьми и...

Что-то с ним было неладно. Он все больше и больше колготился, беспокойно перехватывал наши с Михаиом взгляды и без умолку говорил и говорил о моем отце. Я подумал, что это у него от сознания вино-

ватости перед начальством за выпивку в рабочее время, — Михан, видать, крутоват был характером, если принять в расчет нашу с ним вчерашнюю встречу в поле.

— Вот что, Михаил Иванович, — решил я выручить старика, — сейчас мне надо проскочить в Медведовку, а вечером давай встретимся. Добре? Ты где живешь?

— Как где? Да в твоей хате! — сказал Михан с осиплой обиженностью в голосе, будто уличил меня в чем-то немужском и нечестном, когда надо сказать «эх ты, а я-то думал...» Он нагнулся, и я увидел, как побурело у него широкое плоское лицо. Эту его внезапную растерянность я мгновенно связал с образом тетки и непонятным мне поведением дяди Мирона и сам покраснел до испарины: я подумал, что у них какая-то тяжба с Миханом из-за моей хаты. Я настолько был уверен в этом своем предположении, что боялся взглянуть на дядю Мирона, но он исподтишка толкнул меня в бок и вполушепот сказал Михану:

— Взаправду не знает, а я позабыл сказать. Так что... никакой тут оказии нетути. Живешь и живи... А вечерком давайте встретимся. Ты зараз подвези-ка меня на Покровский. Я только вот захвачу в машинке кое-что...

Он буквально подталкивал меня к «Волге», и я не стал оглядываться на Михана. Я ждал трудного и ненужного объяснения с дядей Мироном, — ведь в машине он ничего не забыл. Я сел на свое место, а дядя Мирон зашел справа, просунул голову в полуоткрытую дверцу и, одергивая на мне пиджак, сказал:

— Сгорел со стыда человек!

— А чего это он? — спросил я.

— Ну как же. Жил-жил вроде бы в казенной хате, а тут хлоп тебе — хозяин явился... Ты, гляди, не обидь его чем-нибудь. Мужик он хороший, достатку большого нетути, а детишек настругал как грах Покровский.

Дядя Мирон залился тихим и озорным смехом, как маленький, и я тоже засмеялся, но не этому его сравнению Михана с графом, а другому — своей внезапной и беспричинной радости.

— Чудаки вы! — сказал я.

— Это верно. Все мы люди... А ты зачем в Медведовку-то?

— Заправиться. Через час вернусь.

— Ага. Ну поезжай... — Он пошлепал ладонью руль и попятился было из машины, но тут же притиснулся ко мне и проговорил на ухо: — Ты вот чего... Ты не признавайся тут, будто служишь писателем, слышь? Коли кто спросит, скажи, что по ученой линии насчет леса, дескать. И машинка, мол, своя... Ладно?

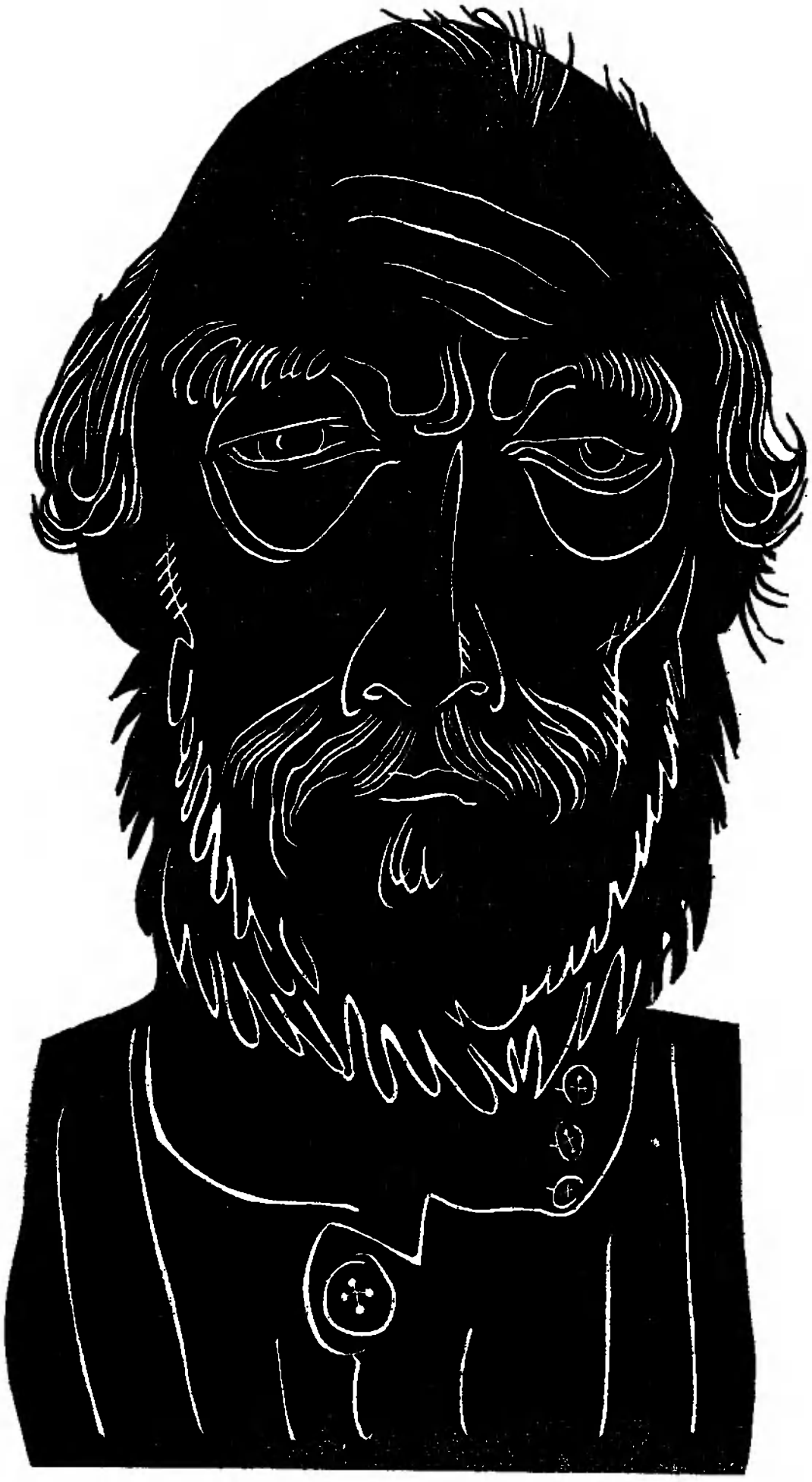
Я молча кивнул.

...Косьянкин мог ехать как и тогда, и мы бы встретились и узнали друг друга. Нет, не на выгоне, а чуть подальше от Ракитного, там, где объехал меня вчера Михан. Интересно, как агрономы называют след колеса в зеленях? Линейной резаной раной?.. Косьянкин должен ехать в той же бричке, на белых лошадях. Тогда я загорожу ему дорогу, выйду из машины и, может, после этой встречи закончу свою повесть...

За ночь след колес михновских дрожек помелел и затянулся встающими зеленями. След заживал. Я остановился возле него, вышел из машины и ощутил, увидел и услышал все сразу: текучую прохладу утра; искристо лучащийся солнечный диск над невидимой Медведовкой; серебряную нитку жавороночной песни, спиралями вьющейся в поднебесной шири; радужное сияние окропленных росой зеленей; диво живой могучей тишины, в которой зарождался огромный новый день; созревание в сердце бессловесного гимна в благодарность кому-то за то, что все это есть и все это мое!.. Мысленно, чтобы ничего тут не осквернить и не нарушить, я сказал тени Косьянкина всего лишь одно слово — наше, ракитянское, — и до самой Медведовки пел в машине наши же, ракитянские, частушки про деда Кузьму и козу, горку и черемуху, валенки и завалинку...

Если б только кто послушал эти частушки!..

Вывеска на Медведовском сельмаге была новая, не та, что я помнил. Вот тут, метрах в ста от него, тогда уже колобродил, туманил голову запах хлеба. Тот хлеб назывался коммерческим, и я до сих пор не знаю, что это значит. Вот тут, возле угла пожарного сарая, где



я сейчас сижу в машине, тогда оканчивалась хороводная очередь.

— Хвиль, а Хвиль! Ну дай же ради Христа, а?

— Хвиль!

— Хвиль!!

Это все вразнобой, в костоломной давке, в ненависти, любви и вере к кому-то, и я, тоненький, как балалаечный гриф, кричал, пожалуй, пронзительнее всех и тоже: «Хвиль!», потому что все величали его так в надежде получить клеклую кирпичину хлеба за деньги, без сдачи. А он, завмаг Филипп Женеев, был сыто невозмутим и сонно припухл, и глаза у него были круглые, серые и бессмысленные, как шляпки новых гвоздей.

Теперь в сельмаге пахло разным и сложным — сыромятной кожей, скобяным товаром, камсой, ситцем, ванилью. Черный и белый хлеб лежал на своем месте — в левой части магазина, и я не ощутил его запаха. Постаревшего, обмякшего Филиппа Женеева я узнал с порога — те же глаза, те же сонливость и безответная сытость. Он стоял за прилавком в бакалейном отделе, поближе к свету и хлебу, а я прошел в промтоварный затененный угол. В магазин изредка заходили покупатели и знакомо здоровались с Женеевым. Он молча кивал им. Он кивал почти незаметно, и не вперед головой, а вбок, как это делают, когда не соглашаются на просьбу.

И я понял, что Женеев не забыл тот коммерческий хлеб и в лицо помнит всех, кто стоял за ним в очереди, и что у меня не прошли к нему, к Женееву, тот детский трепет, смятение и удивление его всесильностью; в моем сердце все еще жила ненавистная готовность крикнуть ему: «Хвиль!» Я закурил, зная, что в магазине курить нельзя, и, когда Женеев заметил это, повернулся к нему спиной. «Ну давай, давай! Скажи мне что-нибудь», — втайне просил я Женеева, но он молчал и не двигался с места. Тогда и я увидел эти повешенные комплекты. Их было двенадцать, и висели они спинками ко мне на крючьях, вбитых в невысокий потолок, — фуражка, телогрейка, свисающие из-под нее молескиновые штаны, оттянутые книзу юхтовыми ботинками на резиновой подошве, и нельзя было понять, чем они крепились к штанам и почему штаны пузырились в коленках. Я вторично пересчитал комп-

лекты — их было двенадцать — и обернулся к Женееву. Он стоял, курил и подозрительно смотрел на меня.

— Подите сюда, товарищ Женеев! — сказал я. Я сказал это неожиданно для себя и для него, и он пошел по-за прилавком, торопясь и чего-то пугаясь, гася пальцами папиросу.

— Слушаю вас, — сказал он.

— Уберите это! — показал я на комплекты.

— А что такое? Маркировка неправильная?

— Снимите и разложите все отдельно. На полках,— сказал я, и он молча и нелегко полез на прилавок.

После, когда он управился, я купил телогрейку, большой коричневый полушалок, модные остроносые туфли сорокового размера и четыре метра штапельного полотна цвета моей прокатной «Волги». Михану я купил металлический портсигар, украшенный орлом. Еще я купил три бутылки «Ерофеича» и две буханки хлеба.

— Это не коммерческий? — спросил я у Женеева.

— Обнаковенный, — буркнул он.

Сдачу за хлеб я пересчитал дважды, и когда уходил, Женеев дважды сказал мне: «До свиданьица».

Плотников на срубе не было, но я остановился на вчерашнем месте и стал ждать: мне не хотелось везти в Ракитное муторное настроение от встречи с Женеевым.

За ночь на гривке канавы подросли лопушки. В их морщинистых зеленых ладошках, обернутых к солнцу, скопились лучащиеся монисты росы. На восковом стропиле сруба сидел скворец, сверкавший, как кусок антрацита. Он пушил хвост и крылышки, разбойно верещал и пружинисто скакал — пять скачков вправо, пять влево. Он проделывал это до тех пор, пока рядом, на отбитое им у невидимого соперника место, не села маленькая, крапинно-серенькая скворчиха, и, упоенно свистнув и непостижимо кувыркнувшись в воздухе, скворец коротко, на секундный миг слился с нею прямо на виду целого мира.

— Жулик! — сказал я ему и стал разворачивать машину, — ждать плотников было уже не обязательно...

Какая бы ни была радость — маленькая или большая, тайная или открытая, — но она, как жених невесту, обнимает сердце человека, и сердце сперва замирает, а затем торопится сообщить телу о наступле-

нии в нем праздника, и тут не каждый справляется со своими руками: им сообщаются юная порывистость и резвость.

Это, может, и было причиной тому, что моя «Волга» прочно засела в канаве. Там под слежавшимся пластом выветренного мусора оказался сизый крупитчатый снег, и задние колеса машины, пробуксовав, зарылись в него и провисли, — диффер улегся на кромку дороги. Я промерил палкой глубину канавы, влез на гривку к лопушнику и сел: надо было ждать той неведомой минуты, когда я выберусь отсюда с помощью грузовика. В неминуемость этого сокровенного момента верует каждый порядочный шофер, застрявший в канаве, и дело лишь в спокойном ожидании, а бесконечным оно никогда не бывает. Я сидел и смотрел на «Волгу» — беспомощно сияющую безножку, смешно задравшую нос из канавы; она была похожа на смарагдового жука, когда его чуть-чуть щелкнешь пальцем. Тогда он замирает, оседая задом на землю, и может сидеть так, притаясь, минут двадцать. Попробуй не щелкнуть его еще и еще раз! Я сидел и смотрел на «Волгу», а по проулку к центру Медведовки и ко мне шел и по-девичьи заливисто пел «страдание» паренек в расстегнутой засаленной телогрейке.

Мой миленочек не глуп,
Завернул меня в тулуп.
К стеночке приваливал,
Замуж уговаривал.

В правой руке у него болталась авоська с разноцветными пустыми бутылками. Они позвякивали и сверкали на солнце, как драгоценные камни. Поравнявшись со мной, он снова пропел тот же куплет и оглянулся. Позади него, не нагоняя и не отставая, шел другой, пожилой, медведовец в длинном синем плаще и кожаной фуражке, надетой глубоко и прямо, как каска. Она и отсвечивала по-железному.

— Посидим-подымим? — окликнул его передний на высокой песенной ноте, не переставая размахивать авоськой, и я решил, что он — «дядька» на чьей-нибудь свадьбе и телогрейка тут ни при чем. Он остановился и весело ждал, а тот в плаще шагал прямо на него и, сойдясь, скрипуче сказал:

— Продулся? На закурку нету?!

Такие коростельные голоса и прокисшие лица бывают у больных язвой прямой кишки, — я давно это заметил: почему-то им нехорошо бывает в ясные весенние дни и в праздники. Язвенник сказал и пошел, и в утренней тишине, перевитой петушиными запевами, я отчетливо слышал сухой скрип его крепких хромовых сапог. На моего свадебного «дядьку» жалко было смотреть, — он стоял и смущенно разглядывал авоську и вдруг ловко перебросил ее в левую руку, а правую сунул в карман телогрейки и достал пачку «Севера». Папиросу он забрал из пачки зубами и пошел мимо «Волги» ко мне на гривку.

— Привет!— сказал он, будто мы вчера только расстались.— Завяз, говоришь, по самую ступицу?

— По самую, — сказал я.

Он сел рядом и закурил, запрокидывая голову после каждой затяжки, — так птицы пьют воду, — сладко щурясь и собирая пучочки резвых морщинок в уголках глаз. Морщинки эти он нажил, видать, не годами, а смехом, хотя я не мог определить, сколько ему лет — двадцать четыре или тридцать.

— Грибановская? — спросил он, кивнув на «Волгу».

— Нет, прокатная, — сказал я, а он восторженно посмотрел на меня, и захохотал, ткнув рукой в сторону уходившего человека в плаще:

— А Самойленка подумал — ха-ха-ха, — что это бывшая его... Точно такая ж! Грибанов теперь ездит. А у этого запор от зависти!

Я все понял и хохотал вместе: Самойленка — бывший райначальник.

— Что он теперь делает? — спросил я.

— Самойленка? Пенсию получает и обижается...

В канаву под провисшие задние колеса «Волги» мы принесли от сруба щепы и слег, потом подрыли кромку дороги и освободили диффер. В центре Медведовки, перед тем, как выйти из машины, веселый парень посигналил призывно, озорно — для невидимого Самойленки, конечно...

Конец апреля в наших местах похож на бабье лето. Ласковой прохладой воздуха похож, лоснящимися дорогами, мотками паутины в полях и на выгонах, розовым светом утренних и вечерних зорь. В апреле и в

августе у нас далеко проглядывается мир, километров на пятнадцать проглядывается, а дальше — там начинается тогда слепяще-синяя зыбь марева — таинственная, зубчато текучая и манящая, как океан.

Вправо и влево от дороги в полях бесшумно елозили крошечные тракторы, а следом за ними рассыпным строем, то и дело кланяясь, ходили маленькие бабы, повязанные белыми платками, в белых чулках и передниках, и это делало их похожими на чибисок.

Я ехал предельно медленно и почти не управлял машиной, а впереди посередине дороги шел высокий старик с желтым, как бублик, отполированным посошком. Он шел степенно, прямо, не глядя по сторонам. На нем были зимняя шапка, рыжий поярковый пиджак с широким хлястиком, усаженным четырьмя золотыми офицерскими пуговицами, белые шерстяные чулки по самые коленки и новые калоши. Они трепетно посверкивали, будто из-под ног старика все время вспархивали и никак не могли улететь два грача. Я не мог объехать его — слева и справа росли зеленя, и ему нельзя было посигналить — он о чем-то думал, а может, просто шел и радовался новой весне. Сигналить тут было нельзя, и я притормозил и отпустил его метров на пятьдесят, потом хлопнул дверкой. Старик оглянулся, сошел с дороги и переложил посошок из левой в правую руку. Он стоял и ждал, пока я проеду.

— Садись, отец, подвезу, — предложил я.

— Да я и сам докултыхаю, — сказал он, залезая в машину, — ветряк-то наш вон уже завиднелся...

Ракитянин не может без этого. Пригласи его за стол, и он тут же сядет, но непременно скажет, что пообедал дома. Любят у нас деликатности!

— Из Медведовки иду, — сразу же объяснил он,— дочка у меня тут за аптекарем. Ну я и гостевал у ней три денька. А на пасху вот домой взгребтилось.

— А когда пасха? — спросил я.

— Послезавтра. Нынче страстная.

— Празднуете?

— Пасху? А как же!..

У него были легонькая белая бородка и чистые цепкие глаза. Я не знал его, но мне хотелось, чтобы он оказался — что ж тут странного! — Петичкой бурдастым или сватом Сергеичем: и тот и другой доводи-

лись мне со вчерашнего дня вроде бы как и родней.

— На мельницу к вам еду, — издали начал я.

— Ну-к и ладно! А я на выселках живу. Перейду гать — и дома!— сказал старик и чему-то улыбнулся, — видно, на выселках ждали его, и он знал об этом. Выселки — это двенадцать дворов за речкой, в полукилометре левее Покровского двора. На выселках жил Яшка Кочанок, тот самый мой свидетель «по делу» дяди Мирона. Мне с ним обязательно надо встретиться и поговорить. Его хатенку я узнал бы сразу — она была похожа на кочаниху, Яшкину мать-побирушку. Хата никогда не белилась снаружи. Вместо трубы на ней торчал перевернутый чугунок с выбитым дном. И покрыта она была абы чем — подсолнечными будыльями, кукурузными лучовками, чернобылом... Нет, с Яшкой я поговорю по-хорошему. Я просто узнаю, зачем он сказал тогда на суде неправду. Ну зачем?

— Не расслухал вас, — встрепенулся старик.

— Говорю, знакомый у меня живет на выселках,— сказал я.

— Кто ж там такой?

— Яков Кочанок.

— А его ж убили, — сказал старик тоном, каким говорят о чем-нибудь благополучном. — Давно убили!

— Немцы?— спросил я.

— Нет, свои. Сразу же, как только война началась. Когда отступали мы. Нашли в погребе, да там и... Не хотел вылазить. Там и остался, негодник. Дезертиром был...

Я высадил старика на выгоне у голенькой аллеи, что вела на Покровский двор, а сам поехал в Кобылий лог. Мне надо было остаться одному и до конца разделаться с выплывшей тенью Косьянкина; мне надо было понять: почему Яшка не поверил в свою силу?

На самом темечке Долгого мыса лежали туго набитые чем-то узкие и длинные холщовые сумки, а возле них сидели на корточках две простоволосые девочки лет десяти, распялив в руках большие белые платки. Они держали их над собой и, затаясь в ожидании какого-то немыслимого и неминучего чуда, смотрели в землю, готовые вот-вот до смерти испугаться, вскрик-

нуть и убежать. Они покосились на «Волгу», но не шелохнулись, и я, подойдя, ни о чем не спросил их, потому что увидел в земле отвесную, голубовато-сумрачную сусличью нору. Ховрашок! Я бросился к машине, чтобы взять ведро, а затем — под бугор, к болоту. Я бежал так, как бегал тут в детстве, и мною полностью владело давно забытое чувство ребяческого азарта и ожидания того увлекательно таинственного, что должно сейчас произойти. Мои ракитянки сидели в прежних заклинающих позах и, как только я подоспел, приказали мне шепотом:

— Лей, дяденька! Только гляди, помалу давай...

Вода буравцом входила в нору, — я лил медленной и острой струей, и девочки подались назад, и глаза у одной из них скосились к переносью. Вода лилась и лилась в узенькую голубоватую прорву, и когда в ведре остался только ил, мы все трое наклонились к норе и прислушались.

— Хлюптит! — трепетно прошептала та, у которой косились глаза. — Зараз полезет...

Но это ей только казалось, — я-то хорошо знал повадки ракитянских сусликов! Он теперь сидит в верхнем ярусе своих подземных хором на сухом «балконе», где у него хранится запас прошлогодней пшеницы. Он сидит и готовится заткнуть собой — задом — коридор, через который подступает к нему вода снизу. Тут нужно было еще одно ведро воды, и я прикрыл на всякий случай нору своим беретом и побежал к болоту.

— Ой, дяденька! Ой, скореича догоняй чепец свой! Ой же окаянный!..

Девочки причитали испуганно-радостными голосами, а с бугра в лощину коричневой птицей летел над землей мой берет, — суслик уносил его на себе. В лощине он перекувыркнулся, опростался от ноши и маленькой пестрой торпедой понесся дальше. Преследовать его было бесполезно, и я поднял испачканный грязью и слизью берет и пошел на Долгий мыс. Девочки, обессилев от смеха, катались по траве.

— Ой, дяденька! Ой, смехота-то какая!..

Я спросил, как их звать.

— Меня Танечкой, — сказала та самая, у которой недавно азартно косились глаза, — а ее Олечкой.

— Сестры, что ли?

— Мы? Не-е. Мы только суседки!

Девочки были похожи, обе курнопятые и беловолосые. То, что они называли себя уменьшительными именами, привычно воспринималось слухом: в Ракитном до глубокой старости Дарьи ходят в Дарочках, Марьи в Манечках, а Петры в Петичках. Это тут полагается так. Танечка хотела побыть еще в Кобыльем логу и хоть втайне, да досмеяться надо мной и моим беретом, но Олечка манила ее домой и показывала подбородком на таинственные сумки, тоже схожие между собой.

— Я подвезу вас, — сказал я. — Что в сумках-то?

Подруги застыдились чего-то, переглянулись, и Олечка негромко сказала:

— Да это так...

— Секрет?

— Да не-е... Это коровьи пряженцы.

— Прошлогодние. Сухие-пресухие! — пояснила Танечка. Она, видно, боялась, что я раздумаю брать их в машину.

— Печки топить?

— А то ж зачем!

Мы поехали тихонько и плавно. В зеркало мне были видны раскрасневшиеся лукавые рожицы и блестевшие глаза девочек; я слышал их перебитый смехом шепот, и мне хотелось остановиться и спросить у них: отчего мы, русские, несмотря ни на что, сохранили открытое лицо, живой ум и чистый смех?

— Дяденька, а дяденька! Прокати подюжей, чтоб нам аж страшно стало! Прокати, дяденька...

Кто ж в Ракитном не любит быстрой езды!

Я промчал их до Черного лога, и они пошли по выгону с сумками на плечах — маленькие пошли, живые, сполна одаренные трудами и радостью этого огромного весеннего дня, похожего на крашеное яйцо, а я был голоден, уморен и свободен от всего, что привело меня нынче в Кобылий лог, и мне хотелось писать повесть, но не ту, дракой начатую, а другую. Совсем другую...

Подарки были нужны именно те, что я купил, — это виделось по глазам тетки. Все и всем пришлось тут впору и по размеру, и только дядя Мирон, ощупав ватинку, сказал мне, как бы между прочим:

— А те были жиже. У вас тоже небось?

Я поздно понял, что зря купил ему это поминанье о Севере. Совсем зря.

К Михану мы могли проскочить и по улице, но дядя Мирон хотел почему-то ехать кружным путем, выгоном. Опять, как вчера, мягким шафранным пламенем горело на западе небо, обещая долгую и крепкую погоду, опять было сумрачно и уютно в машине, и дядя Мирон по-вчерашнему покойно сидел рядом со мной.

— Пожалуй, рановато едем, — сказал он, как только мы выбрались на выгон. — Надо бы подождать, пока там управятся с детвой...

Я подумал, что ему хочется покататься немного, и предложил проехать до Кобыльего лога.

— Туда далеко, — возразил дядя Мирон. — Погодим тут. Отверни вон в сторонку — и шабаш.

Я свернул с дороги и заглушил мотор, а дядя Мирон перегнулся и достал с заднего сиденья мои книги. Вчерашним приемом он отнес их от глаз, осматривая, потом похлопал одна о другую и под эти шлепки спросил, не глядя на меня:

— Ну, а об чем они все-таки?

— О литовских колхозах, — сказал я.

— Та-ак. Ну, а сколько, к примеру, платят за это?

— По-разному, — сказал я. — Начинающим очень мало.

— А какой же ты начинающий! Ты ить когда еще...

Он осекся, посмотрел на меня жалующимися глазами и, привстав на колени, понес книги на место. Мне надо было сказать что-нибудь, потому что он не садился и все шуршал и шуршал ладонями по дерматину.

— Я не плохой писатель, дядь Мирон! — сказал я.

— А то либо нет! — поспешно согласился он. — А вот в плену ты где ж находился? В самой Германии?

— В Восточной Пруссии, — сказал я. — Хочешь, прочитаю тебе свой неопубликованный рассказ об этом? На память прочитаю...

— Ну что ж, давай.

Он сел, и мы сначала закурили, и оба курили с преувеличенным старанием, то и дело раздувая огоньки сигарет. Затянемся — и раздуем. То он, то я, то оба разом.

— Слушай, — сказал я. — Вместо гимнастерки на нем был мешок...

— Нет, ты давай все по порядку, — перебил дядя Мирон. — Где попал и как.

— Это долго, — сказал я. — Тут нужно начинать с сути, понимаешь? Ну вот... Вместо гимнастерки на нем был мешок. В нем он проделал три дырки — одну для головы и две для рук. Брюки еле-еле доходили ему до щиколоток. Зато волосы — белые, с зеленоватым отливом тины — спадали на плечи и закручивались на концах в большие роскошные кольца. Рядом со мной на нарах умер полковник. На нем были синие диагоналевые галифе и суконный китель. По праву соседа умершего — это в плену все равно что родственник — я предложил их Светлоголовому. Он долго и брезгливо рассматривал мой лоб, потом сказал за два приема:

— Пшел... вон!

Это была моя последняя попытка завязать с ним дружбу. Он, как и я, считался полудоходягой, а все остальные в бараке — доходягами, и с наступлением ночи мы с ним одновременно сползали с нар, и я занимал место у печки на квадратике жести, а он принужден был ходить вдоль нар и не останавливаться, потому что клопы — мелкие как просо и злые как собаки — кусали за ноги.

По ночам барак особенно ощутимо пахнул отхожим местом, грозил какой-то глухонемой пустотой и гибелью, — зимой нас было тут двести, а к лету осталось сорок шесть человек. Обычно доходяги умирали по ночам. Это очень трудно — умереть не в бою, а с голода, в полной памяти, при открытых глазах: тут видится смерть издалека, и при ее подходе каждый доходяга непременно кликал мать. Лежит в темноте и зовет. Бородатый. Сорокалетний. На воле командовавший батальоном или полком. Слушать это было страшно, — в мозгу начинало завязываться сумасшествие, и тогда Светлоголовый, не останавливаясь, потому что клопы кусали за ноги, кричал каким-то исступленно-гневным и чистым голосом:

— Послушайте, бывший командир! Ведите себя прилично!

Умирающий затихал, но в противоположном конце нар рождался шелестящий шепот:

— По какому он праву, а? Житья от него нету... сволочь!

— Мол-чать! — звенел Светлоголовый, и в бараке становилось невыносимо тихо.

Мы ничего не знали о фронте — наш лагерь был штрафной, офицерский, и размещался он в чужой стране. Мы работали на сооружении железнодорожной насыпи на берегу моря. Дорога к каторге проходила через поселок. Домики в нем были серые, прочные, с большими радостными окнами. На тротуарах было много цветов и белокурых детей. Дважды в день — утром и вечером — мальчишки осыпали нас камнями. При каждом броске они выкрикивали отрывистое и веское слово, произнося его с акцентом и злобой, потому что слово это было не их, а наше, советское. Это было имя, и не оно, а удары камней вызывали в нашей памяти образ того человека, кому оно принадлежало. В колонне раздавались робкие стоны и жалобы, а конвоиры смеялись. Тогда Светлоголовый — он ходил в первой четверке — оборачивался к колонне и приказывал:

— Мол-чать!

Сразу же каменный град обрушивался на него одного, и он обхватывал голову руками — тонкими, голыми, обсыпанными золотыми веснушками, и молчал.

Я давно уже ходил позади колонны. Она оставляла за собой невыразимый словами запах увялой черемухи, иссохшего тела и еще чего-то неживого, обреченно-грустного и нездешнего. Я ходил позади колонны потому, что так приказал Светлоголовый. Он хотел, чтобы я подбадривал отстающих. Он так и сказал — «подбадривал», но это у меня не получалось: я был всего-навсего лейтенантом, самым младшим чином среди пленных командиров, и поэтому думал, что мне нельзя учить достоинству тех, кто «больше» меня. Я просто ходил сзади, и мне больше всех выпадало пинков от замыкающих конвойных.

Однажды вечером, уже на подходе к лагерю, нам повстречалась сухопарая молодая женщина с продовольственной корзинкой в руках. Там лежал хлеб. Женщина стояла на обочине дороги, пропуская нас, прикрыв нижнюю часть лица носовым платком и отвернувшись, — откуда ей было знать, чем пахнут незажившие раны и мощи святых! А в ее корзинке ле-

жал хлеб. Он был круглый, с ярко сверкавшей желтой коркой, и мы смотрели на него как на немыслимое в свете диво, и у нас слезились глаза как от солнца, и шедший впереди меня пленный крикнул вдруг слабо и тонко:

— Тетенька! Дай крошечку, а?!

Женщина не знала русского языка. Но она поняла, о чем ее просили, и, отняв от лица платок, сузив глаза, проговорила какую-то длинную фразу. Мы не знали языка той страны, где размещался наш лагерь. Но женщина дважды произнесла с акцентом и ненавистью знакомое нам слово, и мы поняли, что нас должен накормить тот самый человек, именем которого вместе с камнями швыряли в нас белокурые мальчики из поселка. Мы поняли все, что нам следовало. Светлоголовый, обернувшись к женщине, почти вежливо сказал ей что-то о матери, а мне крикнул:

— Вы за чем там смотрите?

Он крикнул и машинально прикрыл голову руками, хотя поселок был уже давно позади. Я отыскал глазами пленного, который просил милостыню.

— Съели, товарищ майор? — спросил я его.

— Ах, да идите же вы все... — слезно ответил он, и тогда я подбодрил его слабо сжатым кулаком между острых лопаток. Я хотел повторить это, чтобы вызвать у него хоть небольшое впечатление от совершенного им позора, но Светлоголовый крикнул «хватит», и мы пошли своей дорогой.

На следующий день у нас сменились конвойные. До этого колонну долгое время сопровождали одни и те же солдаты — молодые, сытые и рослые. Мы хорошо знали лицо и руку каждого из них. Мы знали, когда и за что может застрелить Вилли Броде и когда Ганс Бенк. Теперь нас должны были охранять старики-фольксштурмовцы. Вид у них был немногим лучше, чем у нас. Они не улыбались, не разговаривали друг с другом и явно нуждались в подбадривании, как и мы. Как только колонна вышла из ворот лагеря и взяла предписанный прежними конвоирами темп шага, старший фольксштурмовской охраны скомандовал «лянгзам», и мы потянулись как похоронная процессия.

В тот день доходяги укладывали рельсы, а мы со Светлоголовым забивали костыли. Молот водил меня из стороны в сторону, и было трудно попасть им в

темя костыля: он двоился перед глазами, и невозможно было угадать, какой из них настоящий, а какой миражный. От неверных ударов они часто гнулись. Я сказал Светлоголовому, что из пленных получились бы костыли крепче этих. Он с тоской посмотрел на меня и ответил:

— Тюрьмы и страдания не укрепляют человека. Гвозди из него не получатся... Это выдумал какой-то подлый раб в угоду кающимся тюремщикам! И вообще знайте: несчастные люди эгоистичны, злы и несправедливы. Они менее, чем глупцы, способны понимать друг друга... Поняли?

Я не стал возражать, рассуждал ведь замученный человек. В его положении заговоришь и не такое.

— Это сказал Чехов, — пояснил Светлоголовый.— Ну, давайте работать. Конвоир смотрит...

Мы разошлись. Я поднял и опустил на костыль молот и оглянулся — фольксштурмовец сидел недалеко у штабеля шпал. Он разглядывал Светлоголового и что-то ворчал. Автомат готовно лежал у него на коленях. Мы знали, что могло быть, если пленный не нравится конвоиру.

— Он что-то замышляет, — сказал я Светлоголовому.

— Я вижу, — ответил он. — Станьте к нему спиной.

— Он смотрит на вас, — сказал я.

— Все равно... Повернитесь спиной!

Я стал, как он приказал, поднял и опустил на костыль молот и из-под руки увидел фольксштурмовца. Он медленно шел к Светлоголовому, не спуская с него глаз. Тот выпрямился и сам ступил к нему, вскинув голову и обхватив ее руками. Немец перекинул автомат в левую руку, а правую протянул к Светлоголовому и пощупал его волосы и мешок.

— Шайзе![1] — сказал он, остервенело плюнул и решительно пошел в сторону поселка. Светлоголовый отнял от головы руки и обморочно покачнулся.

— Вы бы отдохнули немного, — сказал я и сам присел на шпалу.

— Нет, — сказал он. — Не надо им показывать, что мы... ослабели. Встаньте!

---

[1] Дерьмо *(нем.)*.

Больше мы ничего не сказали друг другу. Шляпки костылей теперь уже троились, и было не одно, а много солнц, и земля то и дело вставала дыбом, и на нее можно было стоя опереться плечом, если бы не Светлоголовый...

Того знакомого конвоира я увидел еще издали. Он тоже двоился и как бы плыл над насыпью, и в его руке пламенело что-то продолговатое, конусно-заостренное, как раскаленный костыль. Фольксштурмовец возвращался к нам. Светлоголовый стоял к нему спиной, но я не стал предупреждать его, — он ведь сам приказал мне в тот раз «обернуться спиной, чтобы было легче».

Я пошел к конвоиру полузажмурясь, втайне желая, чтобы Светлоголовый увидел меня в эту минуту. Но он по-прежнему стоял к нам спиной. Немец плыл мне навстречу бесплотным сизым видением, как дым, и когда мы почти столкнулись с ним, я не выдержал и оглянулся на Светлоголового, — видит ли он меня, ведь больше я никогда и ничего уже не сделаю! Тогда немец что-то крикнул и несильно толкнул меня в плечо. Падая, я увидел Светлоголового. В каком-то нелепом ныряющем наклоне и с руками на голове он бежал к нам, а конвоир стоял, протягивая к нему что-то продолговатое, малиново-рдяное... Я сидел и всем телом ждал чего-то сверхъестественного и страшного. Того же самого ожидал, наверное, и Светлоголовый, потому что он остановился перед конвоиром и медленно-медленно выпрямился. Стало очень тихо — пленные прекратили работу, и я услыхал, как немец произнес коротко и негромко:

— Немен зи![1]

Когда он проплыл мимо меня, я взглянул на Светлоголового и увидел в его руке толстую морковку. Он стоял и брезгливо смотрел мне в лоб. Он не понял, зачем я бежал к конвоиру, как не понял этого и немец. Я поднялся и отошел в сторонку, где валялся мой молот. Светлоголовый повернулся ко мне спиной и осипло сказал пленным:

— Подходите!

Они двинулись к нему разом, скопом, на ходу доставая из тайников своих рубищ клинки перочинных

---

[1] Возьмите! *(нем.)*

ножей, обломки бритвенных лезвий, отточенные гвозди. Я отвернулся и стал глядеть в море. Позади меня наступила вселенская тишина — Светлоголовый делил морковку. Это продолжалось невероятно долго, может, минуты три или четыре, и все время я изо всех сил боролся с желанием оглянуться. Когда я это сделал, то увидел пристыженно-угрюмых пленных, рассеянной толпой бредших по насыпи прочь от Светлоголового. Сам он стоял спиной ко мне, отведя руку с оранжево-зеленоватой морковной головкой. Против него окаменел тот, «мой» майор. Он стоял, натужно вытянув голову по направлению руки Светлоголового. Тот не шевелился, молчал и смотрел на свои босые ноги.

— Всем дал, а мне? — тонким, злым и недоуменным голосом прокричал майор, и Светлоголовый рывком выбросил к нему руку из-за спины. Майор поймал ее как скворец пчелу — с лету — и хотел повернуться, чтобы уйти, но не успел: они встретились глазами со Светлоголовым и оба застыли, не разнимая рук, не двигаясь с места. Потом я услыхал, как сказал майор, будто спросонок:

— Возьми... Мне не надо.

Я смотрел в море, не видя его, и не слыхал, как подошел Светлоголовый.

— Вы чего? — спросил он.

— Так, — сказал я.

— Ну ладно! — примиряюще произнес он и стал обрывать ботву с головками. Он немного подумал, что оставить себе, и протянул мне головку.

— Не возьму! — крикнул я.

— Не валяйте дурака! — шепотом приказал Светлоголовый. — И перестаньте плакать! Немцы ведь смотрят... Отвернитесь сейчас же! Смотрите вон туда! Ну!

Я отвернулся и съел головку...

Умер Светлоголовый за месяц до нашего освобождения. На внутренней стороне мешка, у самого отверстия для левой руки, я обнаружил крепко пришитую латку. Под нею была спрятана красноармейская книжка. Я потом переслал ее в Шелковку — на родину Светлоголового. Это село с таким песенным названием. И стоит оно в глубине России...

— Вот и все, — сказал я и включил мотор. Дядя Мирон сидел полуотвернувшись, глядя на потухающий

закат. Теперь там светилась лишь узкая рдяная полоса, а над нею стояло невесть откуда приплывшее круглое облако, похожее на подожженную соломенную скирду. Еще выше, где небо было уже зеленовато прохладным, мигала большая звезда. Мы ехали медленно и тряско, и бутылки звонко булькали на заднем сиденье.

— Этот-то, белоголовый... в самом деле помер? — спросил вдруг дядя Мирон.

— Нет, — поспешно сказал я.

— Ну вот! Так я и думал... А чего ж ты на живого человека смерть покликал? Мало ему без того довелось?

— Так нужно. Это литературный прием, — объяснил я.

— Да какой же то, к черту, прием, коли человек жив остался! Теперь-то он где ж находится? Там, что ли? В Литве?

— Там.

— Ну?

— Больше ничего.

— А домой чего не едет? В Шелковку свою?

Впереди показалась наша с матерью хата, и мне уже трудно было что-либо ответить...

Тут тоже был крошечный палисадник. Он притаился посередине двора на том самом месте, где тогда рос калачник — незаказанная утеха для всех, с кем я водился. Только на нашем дворе — кто ж его потопчет! — он и вымахивал такой: зерна-коржички с пуговку. Две горсти съешь, а третью и не захочешь... Наш всегда пустовавший сараишко Михан переделал. Теперь он стал длиннее, просторнее, и соломенная крыша сидела на нем круто, по-чужому. Я прошел к нему и незаметно для дяди Мирона погладил притолоку ворот, — она, окостеневшая, потрескавшаяся, была прежней, к ней прикасались когда-то материны руки... В сарае шумно вздыхала корова и стонал боров.

— Ну пошли, пошли! Тут все на месте, — позвал меня дядя Мирон. Он стоял возле машины и, как котят, держал на руках бутылки «Ерофеича».

Хата... через приделанное Михаиом крыльцо и наши сени я ступал впереди дяди Мирона и, кроме тревоги, переходившей в испуг, не испытывал других чувств. Эта

тревога росла с каждым моим шагом, и когда я взялся за ручку двери — нашу ручку, латунную, широкую и холодную, — то хотел повернуть назад.

— Ну чего стоишь? Отчиняй, — сказал дядя Мирон, и я потянул на себя дверь...

Нет, в хате ничего не было, с чем я боялся встретиться, в хате все переменилось, все было незнакомым, начиная с красного дощатого пола и кончая синькой окрашенных стен. Тут жили чужие предметы, запахи и краски, и только печка, белая, ладная, и вечная, оставалась нашей, «своей». Она стояла в том же, северном углу, а от нее, разделяя хату, тянулась новая фанерная перегородка, оклеенная картинками из «Огонька». Пятеро русых ребятишек, один одного меньше, юркнули мимо меня в чулан, оставив на свежевымытом полу четкие отметины пяток и растопыренных пальцев. Михан сидел за столом, щурясь на меня под сильной незащищенной электролампочкой. На лавке возле него стояло блюдо голубых и красных яичек, а на столе второе блюдо — с белыми яичками и две чашки с разведенной краской.

— Возишься? — весело спросил дядя Мирон, ставя на подоконник бутылки. — А мы только завтра собираемся красить.

— Это я детишкам, — хмуро сказал Михан, не трогаясь с места. Было похоже, что он не рад нашему появлению. С полными ведрами воды в хату вошла и скрылась в чулане жена Михана, обронив: «Здорово ж вам». Михан проводил ее длинным и виноватым взглядом, забрал со стола некрашеные яички и тоже пошел в чулан.

— Кажется, мы не вовремя набились в гости, — сказал я дяде Мирону.

— Да мы ж со своим! — кивнул он на бутылки. Вид у него был уверенный и бодрый. Он сел у окна подле бутылок. Я сел с ним рядом и снова оглядел печку. Она так и запечатлелась в моей памяти — со всеми выступами и неровностями, с четырьмя печурками для сушки лаптей и портянок, с широким кирпичным лоном, никогда не остывавшим зимой. Там мы с матерью спали. Там на стенках под тринадцатым или двадцать пятым слоем белой глины — это зависит от того, сколько раз белилась с тех пор хата, — живут мои, нарисованные углем, огромные петухи. Хвосты у них завиваются

как дым — через всю стену до самого потолка...

Михан вернулся к столу с пустыми руками, сел на прежнее место и, не взглянув на меня, спросил:

— Сколько кладешь?

— Чего кладу? — не понял я.

— Ну чего! Не черепков же! Сколько хочешь за хату?

Дядя Мирон смотрел на меня, как тогда на льдине в ожидании ответа на свой вопрос — платят ли мне за брехню. Я вынул из кармана портсигар, перевернул его орлом кверху и протянул Михану.

— Вот тебе в придачу к хате. В Медведовке купил,— сказал я.

Портсигар Михан выбрал из моей ладони щепоткой, как выбирают уголь из костра, а дядя Мирон крикнул фальцетом:

— Во! Так тебе и надо! Нашелся тут купец Иголкин на недвижимое имучество!..

Он по-ребячьи заливисто засмеялся, схватил бутылку и ударом ладони в донышко вышиб пробку.

— Давай рюмки и что надо. Смочим подарки. Давай-давай! — приказал он Михану.

Михан и его жена Нюшечка были здорово похожи, похожи всем — ростом, круглыми движениями, друг от друга перенятыми интонациями речи; и глаза у них были цвета спелой синели, и лбы одинаково широкие; и было видно, что днем им хорошо вдвоем можется, а ночью спится. Они все носили и носили из чулана тарелки и миски «с чем надо», и я подозревал, что там, без чужих, у них ведется какой-то тайный и праздничный разговор о самих себе.

— Ну все, что ли? — не вытерпел дядя Мирон. Он весь сиял — глазами, лысиной, крепкими зубами.

— Зараз студень только принесу из погреба, — сказала Нюшечка. Она вышла, и я спросил Михана:

— В каждой хате это есть?

— Что?

Я показал на стол.

— У всех поголовно! — заверил дядя Мирон. Михан помолчал и сказал не мне, а дяде Мирону:

— До всех еще далеко, Петрович.

— А у кого нетути? — прижмурился дядя Мирон.

— Смотря чего, — сказал Михан.

— Хлеба, к примеру!

— Кузьма про сало с мясом спрашивает.

— И про хлеб. Мне лучше знать, об чем он спрашивает. А сало тоже, почитай, у всех! — стоял на своем дядя Мирон, и было трудно понять, чем он вдохновлен — убеждением, что так это и есть, или желанием, чтобы у всех в Ракитном было сало. Мне не хотелось, чтобы Михан возражал, и я спросил его о другом:

— А что с садами?

— Повырубили к чертовой матери, — с тихим остервенением сказал он.

— На топку?

— От налога. Обкладывали ж каждый живой дрючок, рожает он что или так стоит...

— А чего о другом молчишь? — вкрадчиво спросил дядя Мирон. — Разводим же опять! В любом дворе загородка!

— Это верно, — сказал Михан, — сады будут.

— Второй год как тветут, а «не будут», — заявил дядя Мирон. Михан растерянно посмотрел на него, а мне сказал:

— Ох, и поперечный же человек! Ты ему с начала, а он завсегда с конца... Ну у кого это они цветут? — обернулся он к дяде Мирону. — Третий год только, как разводить люди начали!

— У тебя ж у самого тветет! — с укором сказал дядя Мирон. — И у меня тоже. И у свата Сергеича, и у Матюшной Доньки...

— Ну ладно, забирай, твое! — махнул рукой Михан и засмеялся.

— Если б я не сидел, — тенорком сказал дядя Мирон и закашлялся, загородившись ладонью.

— Что тогда было бы? — насторожился Михан, но дядя Мирон не отвечал, и, учуяв, видно, какой-то скрытый упрек себе, Михан спросил с обидой: — Я что, по-твоему, не сидел?

— Ну сколько ты там! Две недели, — смущенно сказал дядя Мирон.

— Хрен съели! Как-нибудь восемь месяцев оттерпужил!

В пору было бы выпить и помолчать, — мне не хотелось отсюда, из нашей с Миханом хаты, возвращаться мыслями на Север, но Михан смотрел на меня и ждал вопроса, а спрашивать надо было дважды — когда сидел и за что.

— В пятьдесят первом, — сказал он. — Да меня дальше Медведовки не увозили. В КПЗ там продержали...

— А за что сидел?

— За Милочку-лесовиху, за что ж больше! — сказала Нюшечка, входя в хату с глазурованным горшком в руках.

— Да брось ты молоть, — как о надоевшем сказал ей Михан. — При чем тут лесовиха!

— А ты расскажи, не стыдись. Ну какая тут оказия! Дело ж прошлое...

На печке, в соседстве, наверно, с моими петухами, давно уже чурюкал сверчок. У меня не было сил и желания противиться тому печально-отрадному наплыву воспоминаний, которые будил этот мохнатолапый запечный музыкант, поверенный моих первых тут снов, и все, о чем я вспоминал, мне хотелось пережить снова. Я сидел и как начало радостного стиха мысленно твердил: «Жизнь благо, и бремя ее легко». Я не знаю, кто и когда изрек эти слова, но это сказано о живой жизни на земле, обо всех, кто на ней живет, радуется и страдает... Да, жизнь в этой старой русской хате — благо, и Михану нельзя тут рассказывать то, о чем просил его дядя Мирон, — я все равно не услышал бы этого рассказа.

И Михан не стал рассказывать. Мы закусывали «стюднем», салом, гусиными потрохами и сметаной. Я пил больше всех, но не пьянел, а лишь ощущал в теле нарастание крепкой и радостной силы. Когда «Ерофеич» иссяк, Михан выбрал для меня остроносое малиновое яйцо, а себе круглое тупое, и сказал, как тогда, в пуньке, когда я приходил к нему на пасху:

— Слышь, Кузь! Давай на битки, а?

Я расколотил его биток, и он дважды еще выбирал себе из тарелки тупые яйца, и я побил их и положил себе в карман вместе со своим остроносым...

Во дворе, не сев еще в машину, дядя Мирон запел: «Хорош город, хорош город Лебедин, где я мальчик, где я мальчик, д-эх, долго был». Мы возвращались выгоном, и я не свернул к селу у Черного лога, а поехал в сторону Покровского двора, к гати, и дядя Мирон, прервав песню, сказал:

— Верно! Надо нынче глянуть! Говорю тебе — как город, и все!..

На бугру за речкой мы с трудом развернулись на узкой проселочной дороге, и когда утих вой мотора и потухли фары, нас окружила тихая тьма, пахнущая землей и зеленями. Дядя Мирон взял меня за руку и повел от машины навстречу Ракитному — далекому и как бы поднебесному пунктиру зыбучих огней в два этажа.

— Ну? Видишь теперича? Видишь?

Он стоял у меня под мышкой, стоял без картуза, и на его голове светился крошечный звездный блик.

— Ты гляди сюда, прямо по моей руке... Видишь аль нет?

— Я все вижу, — сказал я.

— Да не-е. Ты не туда глядишь! Нашу новую хату ищи! Она ж будет как нарисованная! Под черепицу, три комнаты... К спасовкам закончу, вот тебе и... Сколько ж ты будешь про чужих писать-то?

Я смотрел в пугающую глубину звездного неба — мне надо было смотреть туда некоторое время, — потом сказал:

— Давай, дядь Мирон... съедим по яичку, а? Ну давай, пожалуйста!

Мне хотелось рассыпать тут на черной пахучей дороге крашеную скорлупу, — ничего не будет радостнее этой находки для завтрашнего пешехода, ничего! Увидит и обязательно подумает, что это дети насорили. И куда это они только шли? В гости, что ли? Или из гостей?..

1964

ВОТ ПРИШЕЛ ВЕЛИКАН...

Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом.

Жан-Жак Руссо

Я позвонил ей по телефону минуты за три до обеденного перерыва, и мы встретились на лестничной клетке своего этажа. Тогда я впервые взял ее под руку при всех сотрудниках — они шли в буфет на третий этаж — и повел по коридору к окну, где стояли два стула. «Ты сошел с ума! Что случилось? Ты сошел с ума!» — под колючий костяной цокот своих каблуков безгласно кричала она мне, глядя перед собой, и вид у нее был почти полуобморочный, и в то же время тайно-радостный. На подоконнике и стульях лежал и метельно шевелился слой тополиного пуха, и там я сказал ей, что распиналка над нами назначена на восемнадцать часов. Я был тогда в той степени отвращения к ближним своим, когда ты приходишь к решению, что жить можно лишь в том случае, если помнить о головокружительной бесконечности Вселенной, перед которой человеческая возня смешна и бессмысленна, — в этом случае ты не только обретешь спокойствие безразличия, но становишься способным на отпор и дерзость. Я сказал ей, чтобы она не являлась на этот суд над нами и шла домой сейчас же.

— А ты сам? А ты сам куда?

Ей немного не хватало до обморока, и я вдруг будто со стороны увидел, как некрасива, мелка и тщедушна фигурка этой полуживой от страха женщины с седеющей головой на нервной тонкой шее, похожей на ручку контрабаса, и как смешно и бессмысленно все то, что готовится нынче к шести часам вечера ей и мне.

— Вот пришел великан. Большой, большой великан. Такой смешной, смешной. Вот пришел он и упал, — сказал я ей. Всю нашу жизнь — нашу жизнь! — я говорил ей эти слова, когда ничего другого нельзя было придумать.

Я нарочно подождал, пока в коридоре раздались чьи-то шаги, и поцеловал ее в открытую шею, в самую ямку «контрабаса». Там успела приютиться мохнатая тополиная пушинка, приставшая к моим губам, и она сняла ее с меня щепоткой холодных пальцев и пошла по коридору на выход. Я умышленно загляделся в окно, придав себе застигнутый вид. Я стоял и слушал шаги двоих — удаляющиеся перебойно-дробные ее, будто она готовилась и не решалась бежать, и размеренно-пристойную мужскую кладку каблуков того, кто нас «застукал». Когда я оглянулся — мне пора было помочь ей там, — она уже разминулась с бедой, но шла впритирку к глухой коридорной стене и руки держала по бокам врастопырку.

— Я позвоню тебе домой сразу же после этого! — сказал я ненужно громко вдогон ей, и она в самом деле тогда побежала, а я достал сигареты и закурил. Вениамин Григорьевич стоял у дверей своего кабинета, заложив руки назад, тесно составив курносые чистенькие ботинки, и как-то радостно-обретенно смотрел в конец коридора. Я стоял и ждал, когда он оглянется в мою сторону. Он хозяйски-благополучно кашлянул и, минуя меня взглядом, повернулся к двери. Тогда я окликнул его сам. Я спросил, не помнит ли он со времен сороковых годов папиросы под названием «Для знатóков». Длинные такие, душистые. «Для знатóков», — опять сказал я с этим ударением. Он подумал и ответил, что не увлекался.

— Это вы совершенно зря делали, товарищ Владыкин, — сказал я без всякого ожесточения. — Ведь только увлечение приводило людей к великим открытиям, украсившим нашу землю!

Он ничего не сказал и скрылся за дверью.

С Вениамином Григорьевичем мы впервые встретились год тому назад. До этого, после окончания Литинститута, я долго плавал в Атлантике матросом на рыболовном траулере, — нужно было заработать деньги, чтоб сесть и написать книгу. Я все сделал так, как хотел, — купил комнату и потрепанный «Москвич» первого выпуска, новую резиновую лодку и одинарную палатку с голубым марлевым окном. Свое первое вольное лето я жил и писал близ озер, — в наших местах их

больше, чем нужно. Осенью, чтобы помнить об озерах, я нарочно оставил лодку дома, возле секретера, где стояли удочки и спиннинг, и за зиму резина пересохла и расклеилась. Я обнаружил это весной, когда повесть была закончена и жить стало нечем. На озере, если оно находилось где-нибудь у чертей на куличках, ощущение мира обновлялось, и возникало снова — в который раз! — пресловутое «а вдруг?».

Лодку я заклеивал во дворе, утром, пока стол-самоделка пустовал без козлятников. Уже истомно пахли почки городских лип, верещали скворцы, и теплый ветер подувал с разных направлений, кружа подушечный пух, обрывки газет, пыль и сор — прах нашего большого кооперативного дома. Я клеил и видел, как из подъезда вышла женщина с курицей и ножом в руках. Следом за ней шел ее муж. Это были симпатичные люди — пожилые, молчаливые и опрятные: в свое время они вернулись с Севера, и в доме и во дворе не было их видно и слышно. Супруги оглядели двор, о чем-то пошептались, и я все понял и переместился, чтобы оказаться спиной к ним. Удивительное это дело: кто вернулся оттуда, не в состоянии потом зарезать курицу. «Сейчас они подойдут и попросят, — подумал я. — Но, может, постесняются?»

— Вы не могли бы вот ее, а? — сипло спросила женщина, и я подумал, что курицу они покупали вдвоем и, пока плелись с базара, успели привыкнуть к ней и полюбить.

Когда все было кончено и золотистые курицыны глаза померкли, а кровь иссякла, впитавшись в пыль, женщина, не взглянув на меня, пошла прочь той напряженной непреклонной походкой, какой уходят люди от темных и злых мест. Я принялся за прерванную работу, но лодка не клеилась: хотелось скорей очутиться на каком-нибудь озере, и в то же время я думал над тайной крови, почему ее нельзя отворять, особенно при солнце... Не знаю, как это связалось тогда с моим настроением, но я тихонько засвистел мелодию старинной песни про чайку, убитую безвестным охотником. Когда-то, давно, эту песню пела моя мать. Она выводила ее почти на крике, исступленно и тоскующе.

— Хорошая песня! — убежденно и задумчиво проговорили у меня за плечом. Это сказал муж женщины, унесшей зарезанную курицу. Я понимал, что ему неку-

да деваться, пока курицу не распотрошат, и подвинулся, освобождая место на скамейке. Он присел, отказался от папироски и сказал снова:

— Хорошая была песня...

— Конечно, — сказал я, невольно раздражаясь на что-то. — Хотя русский человек редко пел от добра, но в этом случае он бывал истинным творцом. Вы не находите?

— Какое там добро! — с какой-то смиренной кротостью сказал муж, а я надеялся, что он не согласится.

— Я слышал эту песню раза два или три. В детстве, — сказал я неизвестно зачем.

— А я однажды, — не сразу сказал муж. Он глядел куда-то в поднебесье. Глаза у него были жидко-голубые, как вода, и по левой щеке от ноздри к заушью пролегал хорошо пробритый шрам. Под столом и у нас под ногами бродили разжиревшие голуби, потерявшие обличье вольных птиц. Я шугнул их, а муж неодобрительно взглянул на меня и хмыкнул, — голубей ведь положено любить, раз мы боремся за мир во всем мире. Ему, как видно, хотелось потолковать про убитую чайку, потому что через минуту он сказал опять:

— Да, русская была та песня!

Голуби снова слетелись к нашим ногам, и я опять шугнул на них, а муж, глядя в поднебесье, сказал:

— Я тогда стоял часовым, а на заре перед самым расстрелом он, значит, подозвал меня и попросил дозволения спеть..

— А кто он был? — спросил я.

— Белобандит наш, поручик, — тоном охотника, когда тот рассказывает о набежавшем на него зайце, сказал муж.

— Вы дозволили?

— Нет, сам я не имел прав... Тогда он, между прочим, дал мне портсигар и попросил покликать комиссара.

— Вы позвали? — спросил я.

— Другие это сделали. Сам я не мог. Он же в неприспособленном помещении содержался. В амбаре.

— Удрать мог? — предположил я.

— Смело!— сказал муж.

— Что ж комиссар?

— Не разрешил сразу.

— А как поручик просил его?

— По-хорошему. Дозволь, дескать, перед смертью спеть мою любимую...

— И чем кончилось? — спросил я.

— Спе-ел, — охотничьим тоном сказал муж. — Отрядные наши потребовали у комиссара, чтоб спел... Он, помню, пошел навстречу и согласился, но чтоб в амбаре, значит, а поручик хотел на воле. Ну мы уговорили комиссара, пускай, мол, на месте, в степи... И там он спел. Ох, и спел же! Встал, понимаете, к восходу, обратил глаза на солнце и — до конца!..

Я свернул лодку, вогнал ее в мешок и сказал, что эти поручики умели, черт их возьми, красиво умирать.

— А что им оставалось? — усмехнулся муж.

— Конечно, — сказал я. — Но странно, что вы до сих пор помните это... Песня мешает?

Он вприщур посмотрел на меня и поднялся со скамьи.

— Песня, дорогой товарищ, никогда не мешала жизни. Вот если наоборот — дело другое! Поняли?

Сказал и ушел.

А неделю спустя я понес в местное издательство свою повесть. Она была отпечатана на старой канцелярской машинке и на плохой серой бумаге, и чтобы скрасить этот внешний недостаток рукописи, я переплел ее за трояк в отличные дерматиновые корки, а название «Куда летят альбатросы» и свое имя «Антон Кержун» наклеил заглавными буквами, подобранными и вырезанными из «Огонька». Когда я в свое время нанимался в матросы, а затем долго был им, то меня все время не покидало тайное сознание своей маленькой исключительности,— как-никак за плечами у меня был заочный Литературный институт и та цель, ради которой я добровольно, а не вынужденно оказался среди людей... ну, скажем, не всегда умеющих быть джентльменами. Я постоянно помнил о своей будущей книге, о новых интересных знакомствах и немножко о гонораре. Может, оттого слово «издательство» звучало для меня чуть-чуть возвышенно и оторапливающе, и я робел перед ним.

Издательство размещалось на шестом этаже. В лифте перевозили куда-то железные корзинки с бутылками кефира, и я пошел наверх пешком. То, что каменные ступени лестницы были разбиты, грязны и заплеваны, а стены и проемы окон выкрашены в бездарный свинцово-коричневый колер, внушило мне странным обра-

зом уверенность, что повесть свою я написал хорошо. На шестом этаже это чувство во мне окрепло еще больше, — коридор тут был удручающе узок, сумрачен и бесконечен, и по левой его стороне густо темнели низенькие одностворные двери с табличками о времени приема авторов, и возле притолок дверей стояли жестяные урны-пепельницы, как в любой порядочной конторе. Я немного побродил по коридору, а потом постучал в дверь комнаты, что была рядом с туалетной, — это соседство кабинетов тоже почему-то ободряло меня. Комната оказалась величиной с могилу, вырытую в негожую осеннюю пору, и в ней каким-то чудом умещались три стола — два вдоль стены, а третий барьером между ними. На нем лежал какой-то выгоревший бумажный хлам, а за пристенными столами сидели две женщины: ближняя ко мне — толстенькая и беленькая пышка, с бесстрастными фиолетовыми губами, собранными в трубочку, — сосала, наверное, конфету, а дальняя — цыганово-смуглая, стриженная под пацана. Я направился к ней потому, что она выжидательно смотрела мне под ноги, и потому, что над ее головой к стене была пришпилена фотография Хемингуэя. Я еще не успел миновать барьерный стол, когда она спросила, что у меня, и я издали протянул ей рукопись и совершенно глупо и неожиданно для себя поклонился. Тогда выдалась затяжная пауза, — она удивленно покачала на руках повесть, потом поцарапала на ней ногтем заглавную букву моей фамилии.

— Намерены переиздать? Вера, обрати внимание, какой роскошный переплет!

На меня она не смотрела. Я не видел повода для такого вопроса и сказал, что повесть оригинальная.

— Вот как?

Она опять как-то недоуменно и капризно, как школьница кляксу в своей тетради, поцарапала букву «К», затем сказала, придерживая над ртом большой цветной карандаш:

— Понятно. И куда они у вас летят?

Если бы у меня спросили это на траулере, а женщин у нас там не было, я б, наверно, с ходу и всего лишь двумя словами ответил, куда летят мои альбатросы, но тут был не траулер, и я вежливо сказал, что альбатросы обычно летят за кораблем.

— Неужели? — не отрывая глаз от чьей-то несча-

стной, как мне подумалось, рукописи, шепеляво сказала пышка. — Что их приманивает?

— В своей повести я объясняю это достаточно ясно, — сказал я. Пышка вскинула на меня круглые печальные глаза и сказала лениво, но заинтересованно:

— Даже объясняете? Это потрясно!

Она засмеялась, приглашающе взглянув на ту вторую, и я увидел на ее малиновом языке льдистый обсосок дешевого леденца. Тут был не траулер, и я молчал. Я стоял в тесном закутке возле барьерного стола, и острый угол его крышки упирался мне в брюки так, что я все время помнил о возможной оплошности с пуговицами, и от этого у меня давно намокла рубашка под мышками.

— Видите ли, на ближайшие два года у нас уже сверстан план издания оригинальной литературы, поэтому...

Это сказала поклонница Хемингуэя, возвращая мне рукопись, и я принял ее зачем-то обеими руками и опять неожиданно для себя поклонился. Я пошел к дверям раскачной корабельной походкой, чтоб казаться независимей, и там на пороге столкнулся с хозяином курицы, которую я зарезал пару недель тому назад, когда клеил лодку. Он узнал меня и отступил в коридор, потому что дверь открыл я первый, и там мы поздоровались, и я закурил. «Муж», как я мысленно называл его, отказался от сигареты и ради приличия спросил, что у меня хорошего. На нем был старомодный плечистый пиджак с черными молескиновыми нарукавниками, и я решил, что он служит в бухгалтерии. Я сказал ему — в шутку, понятно, — что пытался ограбить издательскую кассу, да вот не вышло.

— Как то есть ограбить?

Он спросил это вполне серьезно и немного растерянно, и мне понадобилось объяснить ему, что я имел в виду.

— Это неправильно, — сказал он, но я не понял, что. — Дайте-ка...

Он взял у меня рукопись и уважительно оглядел и погладил переплет. Наверное, ему понравился и заголовок повести, — он дважды прочел его шепотом, и «альбатросы» получились у него «альба́тросами». Мы стояли у двери, в которой столкнулись, и я все время ждал, что за нею вот-вот раздастся пышкин смех.

— Тема современная? — спросил «муж».

Я молча подтвердил.

— Адрес свой и все такое указали?

— Да-да, — сказал я, — все указано... Вы хотите передать кому-нибудь?

— Да нет, зачем... Посмотрим тут сами, — веско сказал он, — зайдите через месяц ко мне прямо...

Простился я с ним не в меру почтительно. В нем тогда все: и шрам на лице, и детски наивная голубизна глаз, и даже нелепые нарукавники — приобрело для меня какое-то — хоть и не до конца постигнутое — обещающее значение, и я вышел из издательства своей нормальной, а не матросской походкой, которой проходил мимо пышки.

Несколько дней я жил неуютно и тревожно, — мне почему-то не хотелось неурочно встретиться с «мужем» во дворе или на улице, и надо было уехать на дальнее озеро. Тогда в спортивном магазине давали шведские кованые крючки и немецкую радужную леску на поводки. Я купил то и другое и, когда выходил из магазина, то возле своей машины увидел «хемингуэйку»,— она неловко, перехилясь, держала на руках новый красно-голубой матрац: наверно, ей не удалось втиснуться с ним в автобус, потому что в капиллярах матраца оставался воздух. Она увидела меня издали и отвернулась, но с места не двинулась, — ждала хозяина моего драндулета. Я подошел к нему, открыл заднюю дверцу, а ей сказал «кладите, пожалуйста». Я сказал это без всякой иронии и помог ей впихнуть матрац на заднее сиденье.

— Я не знала, что это ваша... А такси нет...

У нее пунцово горели щеки. Я придурковато сказал, что как-нибудь доедем, и это ее подбодрило. Наверно, для того, чтобы полностью обрести себя, редактрису, она знакомым мне царапным жестом школьницы дотронулась до вмятины на крыле машины и спросила, где это ее так изувечили. Я сказал, что это не «она», а «он».

— Он?

— Он, «Росинант», — объяснил я, и она с каким-то новым вниманием посмотрела на меня и не очень смело села в машину. Ей, видно, все же хотелось как-нибудь умалить степень моей непрошеной услуги, потому что, как только я включил скорость, она подчеркнуто спросила, почему мой автомобиль подпрыгивает на ровном месте. Я напомнил, что «Росинанту» почти четыреста лет, устал, мол, и похлопал рукой по рулю.

— Теперь понятно, — светски сказала она. — Кстати, вы неосновательно жаловались на меня Владыкину.

— Разве? А кто это? — спросил я.

— Вениамин Григорьевич! — едко сказала она.

— Тот товарищ, что носит нарукавники? — догадался я и поздно сообразил, что сказал это зря. Она высокомерно взглянула на меня и пожала одним плечом, приподняв его к уху, как это делают не по годам серьезные дети. Я понимал, что она хотела выразить этим своим движением, и невольно засмеялся.

— Вы не могли бы побыстрей ехать? — сухо сказала она.

— Вам к издательству? — спросил я.

— Почему? Мне надо домой. На улицу Софьи Перовской, дом десять. Пожалуйста!

— Благодарю вас, — галантно сказал я, и она откинулась на сиденье и вдруг подалась вперед и затаилась: со мной давно ездили два снимка Хемингуэя, — лакированно-красочных и грустных, наклеенных к ветровому стеклу в правой нижней стороне. На одном он был снят рядом с убитым леопардом, а на втором — в лодке. Она смотрела на них с каким-то страдающим напряжением, и я видел, что ей хочется потрогать их мизинцем.

— Где вы это... достали? — спросила она и показала на снимки не рукой, а глазами. Я немного помедлил с ответом, — впереди был красный свет, — потом сказал, что купил их на Кубе. Она недоверчиво усмехнулась, но на меня не взглянула.

— В Гаване, — уточнил я.

— Скажите пожалуйста!

— Я был там дважды, — безразлично сказал я, потому что это была правда.

— Каким, простите, путем?

— Водным. Мы заходили туда сдавать рыбу... Если вас интересует кубинский дом-музей Хемингуэя в Финка-Вихия, то должен сказать, что это печальное зрелище, — сообщил я, что было тоже правдой.

— Почему?

— Потому, что дом без хозяина...

— Да, пожалуй... И вы написали об этом в своей повести?

— И об этом, — сказал я.

— А еще о чем?

— Об акулах, о крабах с ногами на спине, о бонитах, медузах.

— Вы разве ихтиолог?

— Нет, — сказал я.

— Ну хорошо. А еще о чем?

— А еще о ностальгии... Об огнях Святого Эльма,— бесстрастно сказал я.

— Понимаете, я хочу спросить, каков сюжет вашей вещи, в чем главный смысл ее? — оторопело сказала она. Матрац топорщился на заднем сиденье, и я протянул к нему руку и сказал, что книга не должна походить на эту штуку.

— Не понимаю, — настороженно сказала она.

— Отлично понимаете, — сказал я. — Вы спрашивали о конечной заданности произведения, а я полагаю, что это не двуспальный матрац, смысл и назначение которого предельно выражены для каждого и формой его, и содержанием.

— Очень нелепое сравнение! — сказала она и отвернулась. Дальше мы ехали молча, и я знал, что у своего дома она непременно захочет заплатить мне за проезд. «Наверно, даст серебряный рубль, если он есть у нее, его удобно кинуть на сиденье, эффекта больше», — подумал я, и это так и случилось. Я подбросил рубль на ладони, потом попробовал его на зуб. Она брезгливо и в то же время обеспокоенно спросила, что я делаю, и я объяснил: проверяю, мол, не фальшивый ли.

— Могу заменить на бумажный! — раздраженно сказала она, но я предположил, что фальшивые бумажные рубли изготовлять ей еще проще, чем металлические, поскольку она работает в издательстве и имеет доступ в типографию. Я сказал это ровно и убежденно, и она посмотрела на меня с тем недоуменно-мученическим вниманием, с каким разглядывала снимки Хемингуэя.

В тот же день я уехал из города. До моего прошлогоднего озера было километров сорок по песчано-лесистому проселку, пустынному и диковатому. Стояла неважная для рыбалки погода — тихая, яркая и засушливая, но проселок был еще по-весеннему плотным и легким, и на опушках сосновых подлесков то и дело попадались колонии анемонов. Я остановился на своем прежнем месте. Тут сохранилось все в целости—обмелевший ровик и колышки для палатки, обуглившиеся рогульки для подвески котелка, голубая развеянная зола костри-

ща, пологий травянистый спуск к озеру, заросший молодой «куриной слепотой», само озеро, кипящее по осокистым закрайкам, — наверно, нерестилась плотва. Я привез с собой для прикорма два целлофановых мешка с пареным горохом и пшеницей, а за наживкой пошел на тот конец озера, — там я знал бабку Звукариху, одиноко жившую в километре от деревни Звукарёвки. Изба ее сидела на самом берегу озера под нависью старых ракит, и на ее крылечном конике алели три большие звёзды из фанеры, приколоченные одна над другой, — неукорный знак живым о том, что Звукариха не дождалась с войны трех сыновей. Бабка кормила кур возле крыльца. Она успела загореть и обветриться с лица, — огород, где я обычно добывал червей, был вскопан и разделен на грядки, и там уже выметывал третий лист огуречник и щетинился лук. Я стал спиной к фанерным звездам и поцеловал ее трижды — в щеки и в лоб, и она заплакала, а я достал из сумки и положил ей в фартук килограмм дрожжей: сколько раз просила привезти еще в прошлом году.

— В следующий раз опять привезу, — сказал я. — Все слава богу?

— А гоню кой-када, — призналась она, поняв меня правильно. Самогон выходил у ней слабый и кислый, и сбывала она его только хорошим людям по рублю за пол-литра. За прошлое лето я стал для нее этим хорошим человеком. Звукариха спросила, долго ли я тут заживу, сходила в избу и вынесла сизую бутылку с тряпичным кляпком вместо пробки. Пока что мне это не требовалось, но ей, возможно, нужен был рубль, и я с удовольствием достал из кармана тот металлический, что «заработал» утром при перевозке матраца.

— Не карай, не карай! — замахала она руками. — То ж я за дрожди.

— Этот рубль принесет тебе счастье, — сказал я и сам поверил в это. — Ты его спрячь и не трогай, а на новый год он принесет тебе большое светлое счастье!

Она беспомощно взяла рубль и суеверно поглядела на коник крыльца. Я во второй раз поцеловал ее в лоб и щеки, и она снова заплакала...

А рыба почти не брала. Ни в первую, ни во вторую неделю. Я не брился, и моя борода начала завиваться в колечки. Я мало ел и плохо спал: тут, в одиночестве, во мне еще больше укрепился какой-то смутный страх

перед неизбежным приходом в издательство. Я высчитал, когда это должно случиться, и число дня выпало нечетным, невезучим для меня, и было тревожно, что «муж» оказался не просто «мужем» и, как мне тогда подумалось, бухгалтером издательства, а кем-то другим. Погода стояла по-прежнему солнечная и спокойная. В деревне за озером ни днем ни ночью не смолкали петухи, и над моей палаткой в дупле старой осины с рассвета и дотемна не затихала дятлиха. Она, наверно, сидела там на яичках и с рассвета и дотемна не прерывала почти слитный царапный звук «кти-кти-кти». В нем была какая-то машинная неумолимость, бесстрастность и самозабвение, и он стучал мне в темя, как поклев. По кустам и деревьям, не отлучаясь далеко от осины, все время сновал дятел, — искал корм. Когда он подлетал к дуплу, в звуке «кти-кти-кти» возникал мгновенный перебой, тут же возобновлявшийся и сгонявший дятла с осины. Безгласный, остервенелый и яркий, он целыми днями метался тут как огненный осколок, и я возненавидел дятлиху и не мог постичь, как дятел выносил эту свою каторжную жизнь. Я попробовал подвешивать на сучья ольхи толстых малиновых выползков, — такого вполне хватало, чтобы она заткнулась там в дупле хотя бы на полчаса, но выползки не привлекали дятла. Однажды он пропал. Его не было минуту, две, три и четыре, а «кти-кти-кти» к тому времени превратилось в пульсирующий болью незримый буравчик, проникавший сквозь темя в сердце, и я пошел на розыски дятла. Он сидел рядом с осиной и на теневой стороне сосны, загородившись ею и прижавшись к коре. У него был разинут клюв и распластаны крылья — отдыхал. Я тогда решил, что смогу написать еще вторую повесть, что жизнь — это черт знает что такое, хорошее, конечно, и что мне надо много работать и лишь изредка прятаться от нее, чтобы набираться сил к встрече с неизбежным...

На следующий день перепал ласковый тучевой дождь под радугу и начался настоящий клев. Брали перестарки подлещики, уже тронутые медной окалиной, и большие горбатые окуни с малиновым опереньем, не хуже чем у дятла. К вечеру я набил ими садок, снял палатку и отнес Звукарихе пустую бутылку с тряпичным кляпом вместо пробки, пять подлещиков и пять окуней. Она насильно — тоже на счастье — дала мне десяток яиц,

крупных и золотисто-смуглых, будто окрашенных луковой кожурой. В город я въехал в ранние сумерки, когда еще не зажигают фонари, когда даль улицы тонет в исчадно-легкой пелене и люди там кажутся маленькими и светятся как моль. В такое время на память почему-то приходят блоковские стихи и старинная светло-печальная музыка и о себе думается с уважением и надеждой. Я ехал медленно. «Росинант» вел себя молодцом, он не фыркал и не подсигивал, и на нас мало кто обращал внимание. От всего этого мне было хорошо, и я не то что безразлично, а просто философски готовно отнесся к тому, что не увидел на месте свой гараж. Я возвел его мгновенно, за одну ночь, по соседству с домовой помойкой, где уже стояли три таких гаража, тоже спешно сделанных в темноте из обломков досок, старого кровельного железа и фанерных ящиков. Нас, «владельцев», несколько раз вызывали в домоуправление, но мы не спешили туда являться и не снимали с гаражных дверей предписаний о добровольном сносе своих незаконных сооружений — предписания печатались на папиросной бумаге и больше двух дней не продерживались. Конечно, вид у наших гаражей был вполне трущобный, не настраивавший общественность дома на умиление, зато с улицы за ними не был виден помойно-мусорный ларь —огромный, мерзостно пахучий и всегда переполненный. Теперь ларь открывался со всех сторон, а площадки, где стояли гаражи, были расчищены и посыпаны песком. Я заехал на свой прибранный пятачок и попытался предположить, как разорялись гаражи — вручную или бульдозером. Если вручную, то был смысл спросить у кого-нибудь, куда делись моя канистра с маслом, воронка, паяльная лампа и лыжи, а если бульдозером, то об этом не стоило беспокоиться. Я сидел в «Росинанте» и поглядывал на окна своего дома,— кое-где там зажигались огни, и мне были видны силуэты жильцов, прильнувших к подоконникам: конечно, им сейчас интересно было понаблюдать за мной издали, да еще сверху! Тут требовалось вести себя достойно, и я запел «Широка страна моя родная», запел, понятно, не во весь голос, но и не шепотом, и переложил в садке рыбу так, чтобы крупная лежала сверху, а мелкая внизу. Яйца я вместил в берет, и они улеглись там ладно и согласно, как в гнезде. За «Росинант» волноваться не следовало, кроме меня его едва ли кто смог бы завести, но я на всякий

случай поднял капот и стал вынимать ротор. Я вынимал его, а сам пел, поэтому не видел и не слышал, как подошел и остановился позади меня Вениамин Григорьевич Владыкин. Когда я оглянулся, он сидел на корточках возле моего садка с рыбой и берета с яйцами и разглядывал не рыбу, а яички, и рядом с ним стояло пустое мусорное ведро. Я прервал песню и поздоровался, а он опустил в берет яйцо и спросил, чьи это.

— Яички? Цаплиные, — сказал я. Мне до сих пор непонятно, что толкнуло тогда меня на эту вздорную мальчишескую ложь. Прозаичность правды, что яйца куриные? Смущение оттого, что мне посулила за них бабка Звукариха? Возможно. Но не исключена и другая причина. Когда Вениамин Григорьевич положил в берет изученное им яйцо и спросил «чьи это», я понял, что он не признал их за куриные, и мне просто оказалось не по силам разуверить его в ошибке.

— Цаплиные? — переспросил он и поднялся с корточек. Я подтвердил и тут же захотел подарить их ему как свой приозерный трофей, — цаплиные яйца не часто попадаются в жизни. —Н-да, — сказал он, забирая свое ведро. — Это вы зря. Зачем же... Выводок весь загубили. Нехорошо.

— Может, это и не цаплиные, там ничего не было видно, — сказал я.

— Чего не было видно? — хмуро спросил он.

— Не видно самих цапель, только гнезда, — пояснил я. — Мне показалось, что они оставлены...

Он с сомнением произнес «гм» и пошел прочь, а я подумал, что рукопись моя уже прочитана и что она ему не понравилась, иначе он воздержался бы от выговора мне за цаплиные яйца. Я окликнул его по имени-отчеству и независимым тоном удачливого рыбака предложил окуней и подлещиков.

— Возьмите и сочините себе, пожалуйста, уху, — сказал я, — мне все равно некуда это деть.

Он полуобернулся, помедлил и отказался.

— Это ведь всего-навсего рыба, — уточнил я.

— Да нет, зачем же, — неуверенно сказал он. Садок с рыбой я понес к дому в правой руке, удерживая его на отлете, чтоб заметней был, а берет с яйцами — на ладони левой, чтоб тоже как следует виднелся людям. Я шел метрах в пяти сзади Вениамина Григорьевича, и на середине двора, где нам надо было разойтись по

своим подъездам, он замедлил шаг, оглянулся и сказал, что повесть мою прочитал давно.

— Она, знаете, не подойдет нам... Так что вы можете забрать... завтра или когда там.

Его, наверно, раздражало то, как я держал берет с яйцами, потому что глядел он на него, а не на меня. Я молчал и не изменял положения левой руки. Вениамин Григорьевич кашлянул и двинулся к своему подъезду, а я к своему. Соседка по лестничной клетке, которой я отдал рыбу, сообщила мне по собственной охоте, что гаражи ломали бульдозером аж в прошлую субботу. Я умышленно безразлично сказал «ай-яй-яй», и она растерянно улыбнулась.

В моей комнатенке было уныло и бесприютно. Я вспомнил про дятла, вымыл пол, потом принял душ и до полночи думал, как жить с завтрашнего дня: денег оставалось месяца на полтора, если тратить по трояку в день. Мне представилось, что в сущности я большой горемыка и неудачник, не наживший к тридцати годам ни кола ни двора. Ну что я умею делать? Рыбу ловить? И на кой черт было обещать себе то, что не в состоянии исполнить? Я хотел побыть перед собой несчастным и никчемным человеком, и это мне вполне удалось, — я даже мысленно увидел свои собственные похороны, «без жены и друга» за гробом...

Утром все это у меня прошло. При солнце и радостном визге ласточек оказалось, что мне всего-навсего двадцать девять лет, что у меня как-никак есть «Росинант», отличная заграничная обувь, свитеры и рубашки, а что касается специальности, то я могу работать директором, например, кинотеатра, учителем, шофером, слесарем-водопроводчиком, грузчиком или рыбаком на траулере. Я тщательно побрился, сделал из пяти яиц глазунью и съел ее неторопливо и серьезно, потому что верил в пожелание бабки Звукарихи. Потом я оделся и сбежал во двор. У «Росинанта» был какой-то справный и даже внушительный вид, — под ним празднично сиял аккуратный песчаный квадрат, издали смахивающий на ковровую подстилку, и завелся он с полуоборота, и двинулся с места без подсигов. Я опустил боковое стекло и вслух поприветствовал солнце, ласточек, людей на тротуарах и в автобусах, а затем уважительно поздоровался сам с собой и поехал в издательство за рукописью. Я поехал кружным путем, чтобы не обминуть набереж-

ную и мост. На нем плечом к плечу стояли рыбаки с удочками вдопуск, и я подумал, что в такой тесноте неизбежны помехи друг другу, и тут обязательно надо было пожелать людям мира и удачи, — хотя бы издали. В тот день кто-то делал все так, чтобы потом, позже, нам нельзя было решить, выдался ли он таким к худу или к добру. До того как мне встретиться у подъезда издательства с «хемингуэйкой» и пышкой, я увидел на тротуаре девочку-цыганку, продававшую цветы — всего два пучка. То, что она была в длиннющем ветхом пальтишке, босая и непокрытая, грозило разорением всему утру, и я купил у нее оба пучка, составленные из поблекших уже фиалок, нерасцветшего чебреца и нескольких стеблей ландыша.

— Купи, купи, пожалуйста! Богатый будешь, счастливый будешь, только не скупись!

Цыганке, наверно, было лет четырнадцать. Я дал ей два рубля, и она засмеялась, показав два больших сахарно-белых передних зуба. Чебрец чуть-чуть розовел, и глазки его были еще слепые, но от них уже летуче пахло степной зарей и медом. Девочка называла ландыши колокольцами, а чебрец — мятухой. Она не прятала свои нелепые и трогательные зубы, и нельзя было не смеяться с ней вместе.

Редактрис — пышку и ту вторую — я настиг недалеко от подъезда издательства. Они, видать, не торопились на свой шестой этаж в конуру рядом с туалетной, потому что шли так, как ходят вечерами по набережной. Я остановился впереди них, вышел из машины и поклонился издали. Пышка первой сказала «здравствуйте» и спросила, куда так рано летят альбатросы. Она смотрела на меня уважительней, чем в тот раз, и в слове «альбатросы» умышленно, как мне показалось, сделала ударение на втором «а». Ее подруга невесело усмехнулась, глядя в сторону «Росинанта», и вдруг спросила, виделся ли я с Владыкиным. Теперь трудно предположить, что толкнуло меня тогда взять и рассказать им о своей встрече с Вениамином Григорьевичем возле помойки, о «цаплиных» яичках и рыбе, — наверно, сознание своей независимости, поскольку с повестью тут все было уже решено. Пышка сказала «потрясно» и засмеялась, а ее подруга наставительно заметила, что мне не следовало отдавать рукопись сразу главному редактору, да еще жаловаться на них, младших.

— Господи, у вас же там какие-то грифы-индейки похожи на русских княгинь в вечерних туалетах! — сказала пышка. — Вы видели их когда-нибудь?

— Индеек? — спросил я.

— Княгинь, несносный вы Кержун! — капризно сказала она. Пышке было весело, как и мне, и то, что она назвала меня несносным Кержуном, хорошо и нужно легло на мое сердце — ведь стояло ликующее утро, еще крепко свежее, молодое и чистое, когда добровольно безработному мужчине совершенно необходима дорогая прочная одежда под стойким запахом одеколона «Шипр» или в крайнем случае «Кремль». В тот раз это было на мне и со мной, о чем я не мог не знать, и обе женщины были одеты по-весеннему изысканно, о чем они, как я видел, тоже не могли не знать и не помнить. Им, конечно же, не хотелось торопиться в свою конуру на шестом этаже, и я не без галантной рисовки извлек из машины цыганкины цветы и вручил по пучку каждой. «Хемингуэйка» тогда почему-то смутилась, а пышка шутливо и неумело сделала книксен и сказала «благодарим-с».

— Вы не находите, что нам следует в таком случае познакомиться? — спросила она. Я назвал свое имя и отчество и шаркнул ботинком, — им вполне уместно было шаркать, потому что он выглядел новым, прочным и аспидно сверкавшим, как лоб малайца. Пышка первой подала мне руку, она просто вложила в мою ладонь щепоть теплых безвольных пальцев и сказала невнятно и слитно:

— Вераванна.

Ее подруга назвала только фамилию — Лозинская. Она назвала ее чересчур уж нажимно и четко. Рука у нее была породистая — сухая, крепкая и узкая, и меня подмывало брякнуть: «Ах, какие мы аристократки, мадам!».

В своей конуре на шестом этаже они вернули мне рукопись, — оказывается, Владыкин держал ее у себя всего лишь семь дней. У меня не прошел приступ галантности, и, прощаясь, я поцеловал им руки. Тогда выдалась какая-то неприятная пауза, — женщины почему-то построжели, будто я их обидел, во мне же ничего не пропало, что вселилось утром, и поэтому уйти от них виноватым в чем-то не хотелось. Я подошел к двери, загородил ее своей спиной и сказал, что километрах

в пятнадцати от города мне известен лесной ручей в зарослях поздней черемухи. Там, сказал я, прорва соловьев, свежести и свободы, и бог сегодня послал меня, Антона Павловича Кержуна, в эту дыру затем, чтобы я показал ее обитателям все это.

— Сейчас прямо? Мы же на работе, Антон Павлович! — беспомощно сказала Вераванна. — Вот после пяти, наверно, смогли бы...

Лозинская пристально взглянула на нее и недоуменно пожала плечом.

— Лично я не смогу ни днем, ни вечером, товарищ Кержун. Весьма признательна вам за внимание, — сказала она. Я подумал, что в конце концов можно показать весну и одной пышке, и не стал настаивать, хотя и пообещал Лозинской любой из тех двух снимков Хемингуэя, что ездили со мной в машине. Это получилось у меня немного неуклюже, как ребячий посул капризе, но исправлять тут что-нибудь было уже поздно...

В «Росинанте» я просмотрел рукопись. На полях страниц то и дело попадались вопросительные и восклицательные знаки. Они были аккуратные, цветные и сочные, — то синие, то красные, и сама старательность их начертания понуждала к какой-то немой робости перед ними, и в то же время рождала недоверие к самому себе. Мне надо было сохранить — хотя бы до вечера — ощущение моего радостного утра, и я поехал за город и занялся «Росинантом». Я почистил его внутри и снаружи, потом нарвал одуванов и гирляндой из них окантовал кромки сидений.

В городе было почти знойно. Дома я принял душ, сделал из пяти яиц глазунью, и она оказалась такой же, как и утром. У меня оставалась еще уйма времени, и по дороге к издательству я купил две бутылки румынского шампанского, коробку марокканских сардин, халу и килограммовую банку маринованных слив. Покупки я сложил на заднее сиденье. Мне было хорошо, что они есть и лежат там, и я поехал с недозволенной скоростью и у подъезда издательства увидел Лозинскую. Одну. Она оглянулась по сторонам и сухо сказала мне издали, что Вера Ивановна выйдет позже.

— Вы не могли бы проехать немного вперед? За угол?

Я сказал «ради бога» и поехал вперед, за угол, а она пошла вслед за мной по тротуару. У нее был какой-

то надменно-брезгливый вид, и я подумал, что она, наверно, горда и глупа, как цесарка. Мне стало жаль обещанного ей снимка Хемингуэя — любого, но тут уже ничего нельзя было поделать и оставалось только гадать, какой из них она выберет.

За углом я остановился и стал ждать, загодя приоткрыв переднюю дверцу, но она подошла к «Росинанту» с моей левой стороны, и вид у нее был по-прежнему надменный.

— Понимаете, товарищ Кержун, я не посчитала нужным сказать в свое время Вере Ивановне, что вы... помогли мне однажды, — сказала она смущенно и насильно.

— Подвезти матрац? — догадался я и не стал выходить из машины.

— Ну да, — недовольно сказала она. — Поэтому ваше обещание подарить мне снимки Хемингуэя, которые я будто бы уже видела, прозвучало для нее... немного странно.

— Я просто обмолвился, — сказал я. — Вы их заметили только теперь. Это вас устраивает?

— Но ведь вы сказали, что я видела снимки раньше... Их нельзя повернуть обратной стороной? Чтобы они просматривались через стекло?

— Пожалуйста, — сказал я. — Но каким образом я узнал, что они вам понравились? Вы, значит, сказали мне об этом?

— Да. Это было, допустим, три дня тому назад. Я вас случайно встретила в городе...

— Не получается, — сказал я сочувственно. — Я ведь только вчера вечером вернулся с озера, и мы встретились с вашим Владыкиным на помойке. Забыли?

— Ах да!.. Какой все же общительный у вас характер! — досадливо сказала она.

— Разве нельзя объяснить вашей подруге, почему иногда об одном скажешь, а о другом умолчишь? — спросил я. Она искоса и как-то пытливо посмотрела на меня, но сказать ничего не успела, потому что к машине подходила Вераванна. Я вышел на тротуар и распахнул обе дверцы машины — переднюю и заднюю, кому, дескать, где нравится, и, может, из-за того, что позади неприкрыто и откровенно лежали бутылки, обеим женщинам понравилось первое сиденье. Тогда у них произошла короткая заминка, — они мягко столкнулись

и молча отступились от дверцы, ожидая одна другую, но вторичного столкновения не последовало: Вераванна порывисто села сзади, а я немного повозился у радиатора, чтобы скрыть лицо.

— Нам обязательно ехать через центр?

Это спросила меня Лозинская, обыскивающе оглядев улицу. Она до такой степени съежилась на сиденье, прижавшись к дверце, что на нее было жалко смотреть, и я подумал, что ей лучше бы не ехать или пересесть к Вереванне и спрятаться там за гирляндой одуванов. Центр я миновал окольными переулками и ехал как при погоне, заглядывая в зеркало, — мне передавалась тревога соседки по сиденью.

— Что вы там видите? — беспокойно спросила она, как только мы выбрались за город. Я сообщил, что сзади нас на дороге никого нет.

— А кто там может быть? — неискренне, как мне показалось, удивилась Вераванна.

— Не знаю, — сказал я. — Просто мне не нравится, когда тебя настигнет какая-то машина...

— Почему?

— Тогда у меня пропадает ощущение независимости, а от этого порывается связь с миром, — сказал я.

— Господи, Антон Павлович, вы думаете, что с нами обязательно разговаривать так вумно? — засмеялась Вераванна — ей там было, видать, хорошо среди одуванов и бутылок. Лозинская выпрямилась на сиденье и, взглянув на меня черными, озорно косящими глазами, спросила почти с вызовом:

— Так какую же фотографию Хемингуэя вы мне пожертвуете, товарищ Кержун?

— Люблю, товарищ Лозинская, — сказал я. — Даже обе.

— Отлично! Я не откажусь... А зовут меня, между прочим, Иреной Михайловной!

Я убрал с педали правую ногу и шаркнул ботинком по полу машины. «Росинант» неуклюже подпрыгнул и завилял, но я тут же перевел его на прежнюю скорость.

В лесу над ручьем и в самом деле запоздало цвела черемуха и там предвечерне, грустно ныли горлинки и перебойно-яростно били соловьи. Сам ручей был с гулькин нос, но вода в нем светилась опалово и настойно, как июльский мед, и у песчаного дна то и дело вспы-

хивали сизые молнии не то форелек, не то пескарей. Тут все понуждало к молчанью — хотя бы к недолгому, и я боялся, что женщины сразу же начнут ломать черемуху и восторгаться землей и небом, но этого не случилось. Они, притихшие, постояли возле машины, потом как-то крадучись и тесно пошли в глубь леса.

Я разостлал на траве палатку и разложил на ней угощение и оба спасательных круга от лодки, чтоб сидеть женщинам. Круги были заляпаны подсохшей чешуей подлещиков, и я припорошил их головками одуванов от той своей гирлянды и против каждого положил по букету черемухи. Со стороны, из сумеречных кустов, где я собирал валежник для костра, стол выглядел изысканным и пышным, потому что круги казались как золотые венки или чаши. Стол был хорош, только ему не хватало для законченной асимметрии третьей бутылки.

Я разжег костер и пошел искать женщин. Они, притихшие, порознь, стояли на берегу ручья под купой черемухи, — вверху над ними гремели соловьи, и я остановился меж двух ракит и оттуда сказал, как из дверей старинной гостиной, что кушать подано. К столу мы подступили молча. Вераванна рассеянно оглядела его и присела на круг, томная и отсутствующая, прикрыв ноги черемушным букетом, — наверно, опасалась комаров. Круг запел под ней внезапно — нежно, чисто и переливчато, как утренний жаворонок, — из него выпала резиновая затычка. Он пел и постепенно обмякал под Веройванной, а она, парализованная и беспомощная, мученически взглядывала то на Лозинскую, то на меня и вскрикивала тонко и погибельно:

— О боже мой! Что там такое? О боже!..

Я не успел ни помочь ей встать, ни объяснить причину звучания круга, — на Лозинскую тогда обрушился приступ безудержного изнурительного смеха: она ничком упала на палатку, обняв голову руками, — наверно, не хотела ничего слышать и видеть, и я захохотал вслед за ней. Было невозможно ни удержаться, ни подумать о неуместности такого своего поведения, потому что тогда возникал облик Верыванны, сидящей на круге, и становилось еще хуже. Смех двоих над третьим обиден — тут создается своеобразная цепная реакция, и я так же, как и Лозинская, не мог стоять на ногах и не хотел ничего слышать и видеть. Когда нам полег-

чало, Верыванны за столом не было. Мы обнаружили это одновременно и разом поглядели в сторону шоссе.

— Очень глупо, — сморенно сказала Лозинская. — Вы совершенно, извините, невоспитанный человек. Совершенно!

В ее куцей вороной челке застрял одуван — прямо над лбом, а на ресницах висели большие зеленые слезы, — она вот-вот готова была прыснуть. Я согласился насчет своей невоспитанности, но предположил, что Вереванне не следовало так суетиться.

— Суетиться? Ха-ха-ха...

— Она зря обиделась, — сказал я. — Это больше не повторилось бы.

— С кем?

— С кругом, — сказал я. — Все дело в прочности затычки.

— Все дело в непрочности вашего воспитания, сударь. Взять и разразиться над дамой таким пошлым хохотом... Веру Ивановну нужно сейчас же догнать и уговорить сесть в машину, слышите? И ведите себя, пожалуйста, при этом серьезно.

— Конечно, — сказал я, — но вам тогда надо будет сесть сзади, чтобы я вас не видел. Вы вся набита смехом. Снимки заберите сейчас.

— Оба? А вам не жаль будет?

— Потом — возможно. А сейчас нет... Сейчас уберите, пожалуйста, со своей головы одуван, а то Вера Ивановна решит, что это я вас украсил, — сказал я. Она осторожно и опасливо, как пчелу, высвободила из волос одуван и оставила его на ладони — узкой и маленькой, отсвечивающей какой-то хрупкой голубизной. Я принялся разорять стол, а она взяла свой букет черемухи и пошла к ручью. Там по-прежнему курлыкали горлинки и били соловьи, и она притулилась на корточки возле ручья, по-детски выстрочив колени и плечи и, былинку за былинкой, стала опускать на воду черемуху, уплывавшую от нее белым рассеянным косяком. Я все это проследил и стал ждать ее в машине, положив снимки на заднее сиденье, а когда она пришла и села там, спросил, о чем было гаданье над ручьем. В зеркале мне было видно, как она поочередно подносила к лицу снимки, дольше всего задержав взгляд на том из них, где Хемингуэй был в лодке, и глаза ее при этом косились к переносью, и мне казалось, что она готова заплакать.

— Так о чем же вы гадали над ручьем? — сказал я настойчиво.

— Гадала? Я? У меня, Антон Павлович, давно все предрешено... без гаданья.

Она проговорила это как ребенок, когда его заступнически утешают, а ему трудно забыть обиду. Я хотел посоветовать ей спрятать снимки, но вместо того — совсем неожиданно для себя — спросил, сколько ей лет.

— Мне? Уже тридцать один, — сказала она. Я завел мотор и поехал к шоссе на первой скорости, стараясь миновать ухабы и корни сосен.

Веруванну мы увидели, как только выбрались на шоссе. Она шла к городу — далеко уже, крепкая и ладная как ступка, клонясь вперед и неколеблемо глядя перед собой. Перед тем как настичь ее, я спросил у Лозинской, как мне поступить: извиниться за одного себя или за нас обоих, и она сказала «наверно, за обоих».

— А за круг тоже?

— Нет-нет! Она тогда совсем обидится... Мы лучше подойдем к ней вместе. Господи, я ведь не хотела ехать, но она настояла, а теперь вот...

— Круг запел бы и без вас, — сказал я. — Вы представляете, как это было бы дико — смеяться мне одному?

— Вы бы не смеялись... Виновата ведь я...

— Много вы знаете обо мне, — сказал я. — В детприемниках ведь не учили этике поведения!

— В детприемниках? — удивленно спросила она. Мы в это время догнали Веруванну. По тому, как чинно ступала она по асфальту шоссе, можно было заключить, что легкое примирение между нами невозможно. У Лозинской был растерянный и беспомощный вид. Я сказал ей, чтобы она оставалась в машине, тогда, возможно, все обойдется благополучно. На меня Вераванна не взглянула и не сбилась с походки. Я покаянно извинился за свой дурацкий смех, затем заступил ей дорогу и встал на колени, раскинув руки.

— Вы что, успели напиться? Перестаньте паясничать! — сказала она. У меня, по-моему, был чересчур серьезный вид, потому что я не мог не подумать тогда о том, как будут выглядеть мои брюки, когда я поднимусь с размякшего от дневного солнца асфальта.

— Садитесь в машину. Сейчас же! — сказал я не очень учтиво, решив, что ее интеллектуальная меблировка не шибко богата, раз ей чуждо всяческое чувство юмора.

— Интересно, а что будет, если я не сяду? — не без опаски спросила она, но я в это время поднялся с коленей. На брюки и в самом деле налип клейкий пыльный гудрон, и его рваные круглые пятна были похожи на ветошные заплаты. Я попытался было сковырнуть их щепкой, но Вераванна решительно оттолкнула мою руку: по ее мнению, это надо смыть сперва теплым раствором лимонной кислоты, а после отпарить под утюгом густым раствором чая.

— Китайского или цейлонского? — спросил я. Она считала, что лучше всего такие пятна отпаривать грузинским чаем через холстину, но ни в коем случае не пользоваться вафельным полотенцем. Что, у меня не найдется дома куска холстины? Я сказал, что, может, и найдется, взял ее под локоть и повлек к машине. Локоть у нее был горячий, потный и пухлый, и мне подумалось, что румынское шампанское ей пришлось бы сейчас очень кстати.

— Ты только глянь, Ириш, что он с собой сделал! — сказала Вераванна Лозинской о моих брюках.— Я думаю, что чаем отпарится, правда?

Не то мне, не то ей Лозинская благодарно сказала, что, конечно же, отпарится, и они сели вместе на заднем сиденье. Было еще сравнительно рано, — солнце только что свалилось к горизонту, и мы вполне смогли бы успеть выпить шампанское, но меня слаженным дуэтом попросили ехать в город. Я поехал медленно, и мне все время хотелось заглянуть в смотровое зеркало на Лозинскую, — мол, я же говорил вам, что все обойдется. Она, наверно, догадалась об этом и, боясь, что я вот-вот как-нибудь нанесу ущерб самолюбию Верыванны и делу мира, неожиданно и деловито спросила меня, что я намерен делать со своей рукописью. Я пропустил обгонявший нас грузовик и сказал, что съем ее с марокканскими сардинами под румынское шампанское.

— А вы не паясничайте, я ведь спрашиваю серьезно,— с чуть заметным нажимом на слове «не паясничайте» сказала Лозинская. — Почему бы вам не послать ее в журнал?

— В «Октябрь»? — спросил я.

— Н-нет. Для этого издания ваша вещь не подойдет. Она ведь бессюжетна, сентиментальна и в то же время... как бы это сказать? Местно незаземлена, что ли? Понимаете?

— А кроме того, у вас там сквозит какая-то тайная неприязнь к цветным, — заметила Вераванна. — Можно сказать «цветной»? — спросила она у Лозинской, но та не знала сама. Я сказал, что никакой неприязни к темнокожим в моей повести нет. Просто, сказал я, они показались мне ленивыми и попрошайными, но в этом ведь виноваты колонизаторы, не так ли?

— Конечно, они! — живо сказала Лозинская, а я тогда глянул в зеркало и встретился там с ее острыми черными глазами.

— Повесть надо послать в какой-нибудь молодежный журнал, — проговорила она мне в зеркало. — Только без этих... красочных обложек. И «огоньковских» букв. Понимаете?

Я кивнул и до предела сбавил скорость у «Росинанта».

На въезде в город они решили выйти. Я хотел им сказать, что страх — это наследие рабов и груз виноватых, но слова эти показались мне слишком книжными, и пришлось промолчать. Мы расстались дружески, но не очень весело, и я пообещал им сохранить шампанское до другого раза, а Вереванне сказал, что проделаю с брюками все, что она советовала.

Дома, как и вчера, на меня напала тоска, и прошедший день предстал предо мной, убогий событиями, прожитый бесцельно и нелепо, — в памяти от него ничего не осталось, кроме разве потешного пения круга под этой глупой Веройванной. Я не мог ответить себе, зачем понадобилось приглашать этих женщин в лес, тратиться на вино, распускать павлином хвост перед ними. И снимки подарил... И брюки испортил... А Лозинская, конечно, замужем. Иначе на кой черт ей понадобился бы двуспальный матрац...

Я опять вымыл пол, опять подсчитал остатки денег и долго пытался вернуться в сегодняшнее утро, но из этого ничего не получилось. Дом уже спал, — в нем не светилось ни одного окна, когда я спустился со своего четвертого этажа. Прямо над двором отшибно-костерным огнем мерцала какая-то большая лохматая

звезда, и фары «Росинанта» лучились больным красноватым отсветом. Я открыл багажник и достал оттуда обе бутылки и снедь. Я не знал до этого, что замок у багажника издает такой отвратительный ржаво-скрежещущий звук, если крышку опускать тихо, а не хлопком. Звук этот сразу заставил меня оглянуться на окна дома, и к подъезду я пошел на носках ботинок, как вор, — я боялся почему-то Владыкина...

В шампанском чувствовался привкус горелых слив, и пахло оно болотом.

Работу я стал искать на второй день. За неделю я побывал в двух редакциях газет, в областном управлении культуры, в радиокомитете и еще в трех просветительно-деловых облконторах. Может, оттого, что мне не хватало уверенности в себе, а возможно, и по другой причине, — «ну какое им собачье дело до меня!» — я держался с кадровиками напряженно и неестественно, не мог сесть на предлагаемый стул, на вопросы отвечал отрывочно и почему-то хрипло и руки зачем-то держал за спиной. Самой трудной минутой был уход, преодоление тех самых трех или четырех шагов от стола до дверей, когда ты знаешь, каким взглядом провожают тебя, неудачливого просителя, в спину, когда ноги плохо слушаются, а руки пора убирать не то в карманы, не то опускать по швам. В этих случаях меня выручал «Росинант», стоявший у подъезда, — я нырял в него и некоторое время сидел расслабленно и тихо, проникаясь к нему, как к живому существу, чувством благодарной признательности за его безопасность, преданность и верность... В те дни я жил неприкаянно и отчужденно, — рядом с занятыми людьми мне становилось беспокойно, почти стыдно за себя, неполноценного и праздного, и в магазин я ходил раз в день, рано утром, когда там бывали одни домохозяйки да пенсионеры. В промежутки между поисками службы я придумывал себе различные дела по квартире — мыл и мыл пол, протирал стекла окон, потом уходил к «Росинанту» и возился с ним. Ему полагалось еще пройти километров шестьсот до очередной смазки, но я все же решил съездить на профилактическую станцию, — в конце концов он же безъязыкий, он же не скажет, когда и что ему хочется!

Был ранний, низенький и хмурый субботний день. На набережной светло и чисто цвели каштаны и под ними гуртились подростки с рюкзаками и с большими новыми гитарами. Рюкзаки они держали в руках, а гитары за спинами, для этого к ним были приспособлены шпагатные лямки-помочи. Ребят следовало бы подбросить за город или куда они там собирались, но для «Росинанта» их было слишком много.

На профилактической станции я оказался третьим: у запертых железных ворот стоял задрипанный «Запорожец», а за ним — «Волга». Владелец ее приплюснутоник за рулем, и мне виднелась лишь его свечно-желтая бритая голова на короткой шее, сдавленной стоячим воротником кителя военного времени. «Волга» была далеко не первой свежести, но без единой царапины, с пронзительно-колючим блеском бампера и благополучно-уверенной осадкой, насплошь застланная внутри дорогим ворсистым ковром. Все в ней: сытокастрюльная голубизна, свободный от какой-либо поклажи простор углубления за задним сиденьем, сквозной малиновый жар хорошо вылизанных стекол задних фонарей, глубокий и резкий протекторный рисунок на колесах — все говорило о том, что эта машина сама ездит на хозяине, а не он на ней, и это почему-то раздражало и звало к отпору. У меня было сильное желание взять и плюнуть на лунно сияющий колпак этого чужого колеса, в котором я, проходя мимо, отразился далеким уродливым карликом.

Обладатель «Запорожца» был маленький рыжий паренек с ярко-голубыми глазами под белыми ресницами. Он сидел на корточках перед носом своей машины и перочинным ножом соскребал с фары известковую блямбу, похожую на восклицательный знак.

— Грач, наверно, обделал, — свойски сказал он мне, — и так, понимаешь, прилипло, ну прямо силикатный клей. А я не видел... Не знаешь, кто нынче на смазке? Мишка или Володька?

Я не знал.

— Хорошо, если б Володька, а не тот курвец. Понимаешь, принимает, гад, в лапу помимо квитанции, а в масленки обязательно набьет какого-нибудь дерьма заместо солидола. А она же не пожалится, она же небось молчит? — показал он на моего «Росинанта». Я сказал, что еще как, мол, молчит.

— В том и дело! Такой зловредный халтурщик, прямо злость берет... В прошлом году он мне отработанное масло засобачил в мотор. По рублю литр. Его тогда ни на колонках, ни тут не было... А машина ведь не скажет, она же немая, правда?

— Конечно, немая, — сказал я.

— Тогда какого же хрена он так делает?

Я подумал о своем недавнем желании плюнуть на чужое благополучное колесо и предположил, что Мишка-смазчик, возможно, поступает так из чувства святой пролетарской мести имущим.

— Ну, тоже мне нашел имущего! — не то о себе, не то обо мне сказал рыжий брезгливо. — Вон кто имеет машину, понял? — жестко, но вполголоса проговорил он, кивнув на «Волгу».

— Ни черта он не имеет! Это она его имеет! — нарочно громко сказал я. Собеседник мой засмеялся и погладил своего «Запорожца», как гладят послушного и веселого щенка.

Касса станции открылась в половине девятого. На смазке стоял Володька. Он тоже принимал в лапу, но машину обрабатывал старательно, и к одиннадцати часам я был свободен. День так и не разгулялся, — небо было серым и низким и на нем ярко выделялась зелень городских деревьев. Как всегда перед окладным дождем, над газонами остервенело и молча сновали стрижи, и я подумал о ребятах с гитарами: уехали они или нет? Если у них есть пара палаток, то бояться дождя нечего, только костер надо разводить под густой елкой, но об этом надо знать. Как и обо всем, что ты собираешься делать... Их как будто было человек семь или восемь с четырьмя рюкзаками и тремя гитарами. Рюкзаки и гитары, пожалуй, влезут в багажник, а их я смогу вывезти за два раза... Мне только не надо спешить, и день закончится вполне занято и хорошо. Вполне!..

Но парней на набережной не было. Тогда пошел спорый, отвесно-тихий дождь, — Звукариха такой называет «огуречным». Он подряжается не на день и не на два, и огурцы под ним будто бы вырастают за одну ночь. Хорошо бы знать, израсходовала она те мои дрожжи или нет? Наверно, еще нет, но привезти ей все равно что-нибудь надо. Хотя бы ту вчерашнюю банку маринованных слив. И вторую бутылку шампанского. Она ког-

да-нибудь пробовала шампанское? Наверно, нет... Ну вот и пусть попробует. А я напьюсь самогонки и вернусь только в понедельник. К вечеру... Я бы все проделал так, как решил, если бы не встретил Лозинскую: она, как мне показалось, бесцельно и неприкаянно шла куда-то вдоль набережной. На ней был не по росту длинный, странно-серебристый плащ с островерхим капюшоном, и за мглистой сеткой дождя плащ этот делал ее похожей на монашка или попика в ряске. Когда мы поравнялись, она вскользь и невидяще посмотрела на «Росинанта» и прошла вперед. Я тоже поехал дальше, но в зеркало видел, как она внезапно остановилась и оглянулась, откинув с головы капюшон. Может, ей не следовало это делать — откидывать капюшон и стоять непокрытой под дождем, — я бы тогда поехал и поехал своей дорогой, и мы, возможно, никогда бы больше не встретились, но она стояла и стояла, глядя в мою сторону, а дождь лил и лил, и я затормозил и дал задний ход. Все дело было в дожде, — я только поэтому ударом руки поторопился открыть правую переднюю дверку, а Лозинской крикнуть: «Садитесь скорей!» Потом, позже, она говорила, что испугалась тогда этого моего окрика, решив, что мне срочно нужна какая-то ее помощь. Она почему-то обежала машину не спереди, а сзади, и на сиденье опустилась как при толчке, и плащ ее гремел, как железный.

— Он не из фольги? — спросил я после того, как мы поздоровались.

— Из фольги? Нет, конечно, — сказала она. — У вас что-нибудь случилось?

— Когда? — не понял я.

— Ну сегодня. У вас все в порядке?

Мокрые волосы ее спускались витыми косичками к заушью, отчего лицо казалось продолговатым и совсем детски-девчоночьим. Я подумал, что речь идет о моем несуразном костюме: в тот день я нарочно — наполовину в пику, а наполовину в утешение себе — надел старую вылинявшую тельняшку, заскорузлую морскую брезентовую куртку, такие же брюки и кирзовые сапоги. Ими, понятно, не шаркнешь, да мне и не хотелось этого. Не трогаясь с места, я с непонятным для себя злорадным удовольствием объяснил, что значит эта моя одежда. У Лозинской было какое-то полуироническое выражение лица.

— И кому же вы мстите? Всем нам, маленьким? Или только себе, большому?

Это было неожиданно и обидно, и я ничего не ответил, а она вдруг предположила, как гадалка:

— У вас, очевидно, нет друзей. Я права?

Я сказал, что права, Друг, сказал я, это тот, с кем тебе свободно и безопасно.

— Что имеется в виду?

— Бескорыстие в отношениях, — сказал я.

— Да, но вот эта ваша... неестественность, что ли, непростота, куражность... Я, например, никак не пойму, что заставило вас, извините, нести мне какую-то чепуху о фальшивых рублях, помните? Зачем это вы? От недоверия к людям? Или от обиды на них?

— Вы считаете, что поступили «доверчиво», кинув мне тогда рубль? — спросил я.

— Нет, это было плохо. Но я ведь не знала...

— Я тоже, — сказал я.

— Значит, это у вас своеобразное защитное свойство?

— Возможно. Я ведь безработный неудачник, — сказал я неизвестно зачем и с таким затаенно-взыскующим и горьким чувством, будто во всем этом была виновата она, Ирена Михайловна Лозинская, — и больше никто. Она с каким-то веселым блеском в глазах выслушала, как я искал службу, и мне было непонятно, что ее забавляло.

— И ни разу не присели, когда вам предлагали?

У нее косили глаза и трепетали крылья ноздрей.

— А вы бы присели? — спросил я.

— Не знаю. Наверно, тоже нет... Ну, и вы решили, что ни в одном ларьке вам уже не продадут коробку спичек? У вас большая семья?

— Я один, — сказал я.

— Совсем?

— Отца с матерью у меня...

— Не надо, — перебила она, — я уже знаю.

— О чем? — спросил я.

— О детприемнике... А живете вы как? То есть я хотела сказать: где?

Я объяснил и заодно рассказал, как впервые повстречал Владыкина, когда клеил лодку.

— Ну вот и хорошо! И отлично, — сказала она с внезапной гневной неприязнью неизвестно к кому. — Вы в самом деле были на Кубе?

— Не только там, — сказал я.

— Ну вот видите! И хорошо! И отлично! Чего же вы... потерялись? Возлагали розовые надежды на повесть, да?

Я промолчал и закурил.

— Понятно, — сказала она себе. — А почему мы стоим здесь?

Дождь лил, и не было надежды, что он когда-нибудь прекратится. Тротуары были пустынны. Мне не хотелось сразу, теперь же, ехать на улицу Софьи Перовской, — мне непременно нужно было еще что-нибудь рассказать о себе этой чужой маленькой женщине в большом нелепом плаще. Я тихонько двинулся вдоль набережной и, когда включил дворники, то заметил, что Лозинской не нужно, чтобы смотровое стекло было прозрачным.

— Вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь увидел? — спросил тогда я совершенно зря и, конечно же, невоспитанно. Она сухо ответила, что это ни для кого не важно, и я извинился.

— Только, ради бога, не переходите на свой прежний бравадный тон, — серьезно сказала она. — Он вам совсем не идет.

— Как вам этот серебряный плащ, — сказал я тоже серьезно.

— Правда, я в нем как поп? — обрадовалась она чему-то.

— Вылитый, — сказал я, а она засмеялась, но без доброты и веселости. Сквозь смутное потечное стекло мне было плохо видно, поэтому я ехал медленно, прижимаясь к тротуару и никуда не сворачивая, — набережная в конце концов выводила за город, где я мог, наверно, включить дворники.

— Кто были... ваши родители? — за два приема и почему-то полушепотом спросила вдруг Лозинская, не глядя на меня.

— Мать врач, а отец военный, — ответил я. «Росинант» тогда подпрыгнул: я нечаянно выжал до конца педаль газа, и Лозинская, охнув, откинулась на спинку сиденья.

— Их... уже нет?

— Конечно, черт возьми! — сказал я. Ей не нужно было в ту минуту спрашивать меня об этом, да еще таким участливым голосом. Мы уже выбрались за город, и я включил дворники и сбавил скорость. Лозинская сидела в прежней позе, и глаза ее были крепко зажмурены, и в их уголках я различил разбег наметившихся морщинок. Я попросил прощения за нечаянную резкость своего ответа и попытал, знает ли она, как поступают взрослые сироты, когда их неожиданно приветит посторонний человек. Она сказала, что знает.

— Как же?

— Они тогда... почему-то плачут, — прошептала она и заплакала — сразу же, следом за сказанным, заплакала некрасиво, напряженно, с затяжными и задушенными рыданиями. Я подрулил к обочине дороги и заглушил мотор. Мне еще не приводилось утешать рыдающих женщин, и я не знал, что в таких случаях полагается говорить и делать. По ее лицу на плащ веско скатывались большие, голубого свечения слезы, и несколько штук я снял щепоткой пальцев, — прямо с ресниц, а потом взял и поцеловал ее в лоб, — тоже издали и молча. Это помогло ей неожиданно и мгновенно: она отшатнулась к дверце и взглянула на меня изумленно и гневно, и глаза у нее были настойно-темные и тревожные.

— Почему вы остановились?

Я завел машину и поехал вперед. Дождь по-прежнему лил отвесно, и теплый асфальт дороги курился белым курчавым паром. Наверно, это привлекло на дорогу жаб, и приходилось следить за ними и ехать зигзагами. Я понимал, что мне надо сказать что-нибудь в свое оправдание, но ничего такого не приходило на ум. С этим моим утешным поцелуем получилось, конечно, дико, но и она тоже хороша, — разревелась ни с того ни с сего как девчонка, которую укусила оса. Наверно, немного истеричка... Это я подумал о Лозинской под летучее чувство неосознанного сожаления о самом себе, и в ту же минуту она издали и смущенно извинилась за свою блажь. Она так и сказала — «блажь».

— Вам не надо было спрашивать у меня... про взрослых сирот. Только и всего. Понимаете?

— Господи! Да черт с ними! — сказал я с надеждой неизвестно на что. — Мы больше никогда не будем говорить о них, хорошо?

Она насильственно улыбнулась и напомнила, что пора возвращаться. Я развернулся и больше не стал объезжать встречавшихся на дороге жаб. Дождь все лил и лил, и мы ехали молча. При въезде в город я незаметно выключил дворники, а она быстро взглянула на меня и сказала:

— Нет-нет. Вот здесь, пожалуйста, остановитесь и слушайте сюда.

«Сюда» она произнесла подчеркнуто, как учительница перваков. Я остановился и закурил.

— Что вы кончали?

Я сказал.

— В Литинститут принимают ведь с готовыми и самостоятельными работами?

— Я писал и даже печатал стишки, — признался я, и после этого выяснилось, что в издательстве есть свободная должность младшего редактора. Оклад около сотни. Принять меня обязаны, потому что я молодой специалист. Да-да, важен диплом! Его надо принести вместе с заявлением в понедельник. Хотя нет, это нехороший день. Лучше во вторник, часам к двенадцати. Когда предложат стул, надо будет сесть. Обязательно. Понимаю ли я? И хорошо, что «Куда летят альбатросы» не отосланы еще в журнал: в повести надо кое-что почистить, там встречаются сопли-вопли... Между прочим, это в Литинституте рекомендуют переплетать рукописи и наклеивать на них буквы из «Огонька»?..

Ей захотелось выйти из машины тут же, почти за городом.

— Вы же промокнете, — предостерег я, но она потеребила полу своего плаща и сказала, что он ведь из фольги.

— Ну до свиданья, — сказал я, — большое вам спасибо!

— За что?

— За меня,— сказал я. Она накинула капюшон на голову, и в глубине его глаза ее стали еще настойнее.

К Звукарихе я не поехал...

Моим рабочим местом в издательстве оказался тот самый третий барьерный стол в комнатенке рядом с туалетной. На нем грудился вылинявший бумажный хлам, пахнущий сухим древесным тленом, и я высвобо-

дил там небольшое квадратное пространство, куда положил свою металлическую шариковую ручку и сигареты. Мне никто не сказал, что я должен делать, а Вераванна и Лозинская почему-то были хмуро насторожены и молчаливы. Они сразу же вникли в рукописи, а я присел за свой стол и выкурил сперва одну сигарету, потом вторую, затем третью. Я сидел, вертел свою многоцветную японскую ручку, курил и думал, что мне тут в этой комнате не прижиться. Да и вообще... Ну какой из меня, к черту, редактор? Зря я послушался эту женщину... И чего это она ожесточилась? Сидит, как...

Я закурил новую сигарету, и в это время Вераванна встала из-за стола и вышла из комнаты, крепко прихлопнув дверь.

— Не обращайте внимания, — тихо и сдержанно сказала Лозинская, не отрывая глаз от рукописи. — Это только сначала, а потом у вас все наладится.

— У нас? — спросил я.

— Да, с Верой Ивановной... Ей не верится, что вы поступили сюда помимо меня, понимаете? И не сидите такой букой. Возьмите и расскажите ей что-нибудь занятное.

— Ей? — опять спросил я.

— Ну не мне же, господи! — сказала она. — А кроме того... кроме того, позвольте вам заметить, что в присутствии женщин курят только с их разрешения. Верины авторы, между прочим, знают это хорошо.

— А ваши? — глупо спросил я.

— Я ведь сама курю, — сказала она. Я спрятал в карман сигареты и уложил на прежнее место стола выгоревшие бумаги. За окном был смиренный серый день. В такую погоду в Атлантике жируют поверху акулы, а сельдь и сайра, которых мы ловили, уходят в глубину... Как выдуманный собой же многодневный радостный праздник, как какая-то складная и захватывающая дух сказка из детства представилась мне моя матросская работа на траулере, и я удивился, что никогда до этого дня не вспомнил о ней с такой острой тоской и благодарностью. Я решил не объясняться с директором издательства и просто уйти, будто и не появлялся тут, тем более что никаких документов в подлиннике я ему не сдавал. Все это пришло ко мне в одну какую-

то дикую секунду, и я еще раз оправил на столе чужие бумаги и поднялся на ноги.

— Не будьте мальчишкой, Кержун! Это ведь в конце концов просто недостойно!

Меня тогда радостно и как-то обнадеживающе поразили эти слова Лозинской, — как она могла разгадать мой замысел с уходом! Она сидела, глядя в рукопись, и крепкий выпуклый лоб ее пересекала прядь темных глянцевитых волос. Потом — месяца через три — она уверяла, что будто бы отгадала то мое намерение, с которым я «сумасшедше» пошел к ней из-за стола, — «ты хотел насильно поцеловать меня на прощанье и, конечно же, получил бы пощечину», — но я не уверен, что действительно намеревался поцеловать ее тогда, да еще насильно. Нет, я только хотел проститься, а как — только ли на словах или за руку — осталось неизвестным, потому что этому помешал Владыкин. Он вошел в комнату, когда я был уже у стола Лозинской, отшатнувшейся к окну вместе со стулом. Мне подумалось, что вошла Вераванна, и, не оглядываясь, я протянул Лозинской свою японскую ручку.

— Пожалуйста, в ней полный спектр, — сказал я, — и пишет замечательно!

Она поблагодарила и рывком взяла у меня ручку. Владыкин в это время поздоровался с нами, и я обернулся и поспешно подал ему руку. Он слабо и коротко пожал ее и поглядел на меня с опасливым недоумением.

— Вот это, товарищ Кержун, надо отредактировать и вернуть, — сказал он, передав мне жиденькую рукопись, напечатанную на плотных листах меловой бумаги. — Устроились?

— Да-да, благадарю вас, — с полупоклоном сказал я. Он кивнул, оправил нарукавники и пошел к дверям, а я опять невольно и машинально поклонился ему в спину. Мне надо было немного посидеть и отдохнуть, — сердце у меня билось тревожно.

— Что он вам дал? — не сразу и тоже устало, как мне показалось, спросила Лозинская.

— Рассказ какого-то Аркадия Хохолкова, — сказал я.

— «Полет на Луну»? Не трогайте в нем ничего, он уже иллюстрирован, набран и сверстан... Прочтите это дня за два, а на третий верните Вениамину Григорьевичу. Скажите ему, что рассказ вам очень понравился,

понимаете? И заберите скорей свою дурацкую ручку!..

Тогда как раз пришла Вераванна с кульком леденцов и молча уселась за свой стол...

Рассказ «Полет на Луну» начинался с того, как отец дошкольницы Наташи-украинки космонавт Гнатюк полетел на Луну и в назначенный срок не вернулся на Землю.

К спасательному полету на Луну готовился старый летчик-космонавт профессор Бобров.

Друзья девочки русский мальчик Петя и негритенок Том решили отправить с ним щенка Тобика на розыски Наташиного отца, но потом передумали, — будет лучше, если полетит Петя.

Они притащили на ракетодром большой ящик, вежливо поздоровались со стариком сторожем, который сидел в своей проходной будке и пил чай, и сказали ему, что этот их ящик надо срочно отправить на Луну.

Сторож согласился, но полюбопытствовал, что в нем такое.

Ребята сказали «продовольствие», и сторож распорядился заносить груз.

Едва они успели запихнуть в ракету тяжелый ящик, как раздалась команда к старту.

Яркая огненная вспышка озарила небо.

Стоя в толпе, ребята видели, как ракета с ревом взметнулась вверх.

Через секунду она исчезла в звездном небе.

Ребята облегченно вздохнули:

— Порядок! Теперь Наташин папа будет спасен!

Ракета была далеко от Земли, когда сидевший в ней профессор беспокойно оглянулся по сторонам.

— В кабине посторонний шум, — озабоченно сказал он. — И кажется, из этого ящика! Надо проверить.

Профессор обомлел: в ящике сидел Петя.

— Позвольте! Как вы сюда попали?

Мальчик смущенно оправдывался:

— Извините, профессор, что вот так... Я обещал ребятам разыскать Наташиного папу... Ой, ой! Держите меня, закричал Петя, кувыркаясь в воздухе и перелетая из одного угла кабины в другой.

— Не волнуйтесь, — профессор засмеялся. — Все идет как надо. Скоро будем на Луне.

— Но я же не могу ходить по полу! Ой, ой!

— Это невесомость, мой дорогой космонавт. Вам надо бы знать.

Ракета плавно опустилась на дно лунного кратера. И в тот же миг во все стороны полетели радиосигналы:

— Р-1! Р-1!.. Я — Р-2... Прибыл на ваши розыски! Отвечайте! Перехожу на прием!

Ракета Р-1 молчала. И космонавты вышли на поиски.

Профессор едва поспевал за Петей.

— Осторожно, молодой человек! Вы слишком увлеклись спортом. Мы еще не нашли пропавшей ракеты.

— Тут хорошо прыгается, — восхищался Петя, одним махом взлетая на высокую скалу.

— Еще бы! Здесь, на Луне, все весит в шесть раз меньше! — заметил профессор.

Вдруг дальние скалы покрылись огненными вспышками.

— Метеориты! Скорей под скалу! — закричал профессор, увлекая Петю за собой.

Каменный дождь обрушился на лунную поверхность. Неожиданно профессор споткнулся и упал.

— Профессор! Что с вами? — испугался Петя.

— Нога. Кажется, я повредил ногу, — простонал ученый.

— Я понесу вас! — предложил Петя. — Держитесь крепче! Вот так! Ведь на Луне все весит в шесть раз меньше!

— Спасибо, мальчик! Только мы не успеем. Уже темнеет.

— Я вижу огонек нашей ракеты! — бодро воскликнул мальчик и быстро побежал по скалам с профессором на закорках.

Но Петя ошибся. Это была вовсе не их ракета.

Петя постучал по стальной обшивке ракеты, и из люка выглянул незнакомый человек.

Петя сначала удивился, но потом узнал отца Наташи.

— Как хорошо, что я вас нашел! — обрадовался мальчик. — Помогите, пожалуйста. Профессор ранен.

— Нет-нет! — замахал руками профессор. — Мне уже лучше!

— Товарищ Бобров! — по всем правилам доложил космонавт. — Наша ракета ликвидировала повреждения и готова к полету.

— Отлично. Все возвращаемся на Землю.

Сколько людей собралось на Красной площади! Героев засыпали цветами. Наташа, сияя от счастья, кинулась к отцу.

— Папа! Папа! Я знала, что Петя тебя найдет. Обещал — и нашел!

На этом рассказ кончался. Я прочел его четырежды, — а вдруг чего-нибудь не понял, и, наверно, от той пристальности, с которой вглядывался в строчки, у меня тупо заболел затылок. Мне было впору закурить и поделиться с Лозинской впечатлением о рассказе, и я украдкой взглянул на нее, отгородившись от Верыванны локтем. Лозинская сидела в косой неудобной позе, почти полуотвернувшись ко мне спиной, и сосредоточенно отчеркивала что-то в рукописи толстым цветным карандашом. Я подождал и посмотрел на нее снова. Потом еще и еще. Тогда она выронила карандаш, прикрыла лицо ладонями и пожаловалась Вереванне на головную боль.

— Просто нет спасения, — сказала она. — Я, наверно, пойду домой.

Она отняла ладони от глаз, и я увидел в них откровенный, насильно задушенный смех. Я для нее пожал плечом, а для Верыванны щелкнул по рассказу пальцем, — так ведь можно, например, сгонять и муху, поскольку им теперь везде раздолье. Когда Лозинская ушла, у нас в комнате наступила глухая емкая тишина, какая бывает только в потемках какого-нибудь нежилого чулана. Внезапное ощущение пустоты неизменно связано с неподвластной человеку летучей грустью о какой-то безотчетной утрате, — сердце тогда начинает тосковать и сожалеть о чем-то без вашего спроса и чувствовать себя сиротой. По крайней мере именно это испытал тогда я. Вераванна с обиженным видом вкусно сосала леденцы, не отрываясь от рукописи и не переворачивая страниц. Мне было непонятно, почему ей не следует знать, что я «устроился» в издательство по совету Ирены Михайловны, и с какой это стати я должен развлекать ее какими-то занятными историями? Пошла она ко всем чертям! Курить же можно в конце концов и в коридоре.

Я решил еще раз прочесть рассказ, — а вдруг все-таки недоглядел там чего-нибудь, но пустая стылая тишина комнаты, нечаянно издаваемый Веройванной слад-

ко-сосущий звук, похожий на чмок линя, когда он пойман и лежит в лодке, сознание того, что я веду себя в высшей степени недостойно, сидя истуканом с женщиной, которой недавно лишь дарил цветы и приглашал в лес на шампанское, — все это цепеняще обезволило и приплюснуло меня к столу, мешало сосредоточиться, и со стороны я, конечно же, представлял собой вполне законченное жалкое зрелище. Первой не вынесла подавленной немоты нашей комнаты Вераванна. Она за три приема обернулась ко мне вместе со стулом и в упор, заинтересованно, обидчиво и не совсем внятно, потому что рот был не свободен, попросила, чтобы я сказал, пожалуйста, кто меня протежировал.

— Ирена Михайловна, да?

От нее на меня крепко попахло теплой пудрой и сырой мятой. Я подумал и решил, что не понял ее.

— Ну на работу к нам!

— Нет, — солгал я с непонятным самому себе удовольствием. — Мы ведь с Вениамином Григорьевичем живем в одном доме.

— А-а, — сказала она. — Хотите леденцов?

Я предпочел закурить с ее разрешения, и мы опять замолчали.

Остаток того дня я просидел в комнате один, — Вераванна не вернулась с обеденного перерыва. Сидеть было не то что трудно, но просто мучительно, потому что приходилось то и дело принимать деловито-напряженную позу над рассказом, если в коридоре за дверью раздавались мужские шаги, и тут же возвращаться к нормальному состоянию, когда шаги удалялись. У меня болел затылок, ныла спина, а челюсти сводила затяжная нервная зевота: рассказ я заучил наизусть, как полуночную уличную частушку, и было какое-то мстительное желание повидать его автора. В коридоре все ходили и ходили походкой Вениамина Григорьевича, и со мной случилось то, что случается с новичками в океане во время качки: им тогда требуется лимонный сок. В туалетной я привел себя в порядок, сполоснул рот и умылся. До конца работы оставалось еще минут двадцать. Я вернулся в свою комнату и сел за стол Лозинской, — тут было дальше от дверей и ближе к окну. Мне подумалось, что за таким столом можно читать любое,—это же небось в подспорье себе в работе над чужими рукописями она заселила его сработанным кем-то

щедрым и искусным, вот-вот готовым крикнуть черным маленьким деревянным грачонком, раскрывшим большой розовый зев; крошечным белым плюшевым щенком, хитро скосившим морду, с пронзительно-карими глазами-монистами; бронзовым пацаном, невинно орошающим спросонья утро нового дня; коричневой обезьянкой, зацепившейся хвостом за ветку зеленой жаркой пальмы... Это все было расставлено по конечному закрайку толстого полированного стекла, а под ним, в левом верхнем углу, чтоб оставаться на виду, темнел дешевый книжный снимок матери Есенина. Она была по-деревенски низко покрыта темным широким платком в белую горошину, и под его поветью светились чистые, печально-прощающие кого-то глаза, полные горькой мудрости и усталости. Они излучали какое-то гипнотизирующее успокоение, какое-то бессловесно-затаенное не то благословение, не то увещевание, и смотреть на них хотелось долго и покаянно. Под этим же стеклом, но только в правом нижнем углу, лежали оба снимка Хемингуэя, подаренные мной, три открытки, кусок какой-то муаровой ленты и адресный список сотрудников издательства, отпечатанный типографским способом. В списке этом фамилия Ирены Михайловны значилась двойной — Лозинская-Волобуй, и я прикрыл стекло чьей-то тяжкой как кирпич рукописью и пересел за свой стол. Я сидел и думал о вечерних зеленых сумерках Гаваны, о платанах, заполненных крикливыми ярко-желтыми птицами. Мне очень захотелось попасть туда снова. Гавана — веселый город, красивый, пахуче-знойный и вкусный как тамалес — это кубинское национальное блюдо из кукурузы. Его завертывают в листья банановой пальмы... Кубинские девушки и женщины похожи друг на друга, потому что носят голубые юбки колоколом и белые платки. Они все там полуиспанки-полунегритянки... Наверно, Лозинская могла бы сойти за кубинку, смело могла, и в ливень ей пригодился бы там ее нелепый плащ... Но что за обрубочный довесок к ее фамилии — Волобуй! Мужнина фамилия? Она могла быть и неблагозвучней, срамней, лично мне это — до лампочки!..

...Перед уходом я достал из-под стекла список и предельным нажимом вымарал слово «Волобуй» своей радужной ручкой. Я решился на это потому, что оно лохматилось бумажными ворсинками и, значит, его уже царапали до меня ногтем...

Номер домашнего телефона у Лозинской был запоминающе легкий, как есенинская строка, — два двенадцать шестнадцать.

На второй день утром была большая гроза, и когда я подъехал к издательству, сыпанул град. Он сыпанул как из мешка в тот самый момент, когда я остановился под издательским балконом, нависавшим над тротуаром с выносом на мостовую,— тут оказался сухой квадрат пространства, как раз хватавший для «Росинанта». Тогда у меня что-то случилось с замком зажигания: ключ плотно засел в гнезде, мотор не глушился, и я не заметил, как сзади подошла «Волга». Она подошла ко мне вплотную, впритык, потому что ее неприятный, клекотно-распевный сигнал раздался у меня прямо под задним сиденьем. По его тембру и настойчивой требовательности, с которой он повторился, я решил, что прибыло начальство и шофер хочет стать на мое место, под балконом. Я кое-что сказал себе о начальстве и его шофере и проехал вперед, под град. Ключ прочно застрял, не вращался ни влево, ни вправо, и мне нельзя было заглушить мотор. Из «Волги» почему-то долго никто не выходил, потом там ладно и гулко, как крышка у старинного сундука, хлопнула дверца, и на тротуаре показалась Лозинская. Следом за ней, но шагах в двух сзади, семенил маленький плотный человек, распяленно неся в руках знакомый мне серебряный плащ. Человек сердито говорил что-то Лозинской, но она, не оглядываясь, скрылась за дверью издательства, а человек аккуратно свернул плащ и пошел к машине. Это был пожилой кряжок. Он был из тех долголетних крепышей, что не чувствуют своего сердца и спят на левом боку. На нем был китель в обтяжку тугого крутого зада и коротковатые брюки с облинявшими голубыми кантами. Стоячий воротник кителя врезался ему в затылок, и я узнал его и его «Волгу»: это на ее колесо мне так непреодолимо хотелось плюнуть в тот раз на профилактической станции... Я, наверно, не рассчитал силу рывка и обломал кончик ключа, после чего мотор заглох сразу. А туча, казалось, навсегда повисла над нашим городом. Она была аспидно-сизая, с тревожными белесыми космами, и гром лупил то сдвоенно, то строенно, как в тропиках. Я сунул руку в окно «Росинанта» и стал

собирать в ладонь больно-летучие градины — льдисто-каленые, пропахшие грозой. Мне было стыдно за свою трусливую угодливость, с какой я уступил Волобую — «конечно же, это был он, а кто же еще!» — свое место под балконом. Я сидел и убеждал себя в том, что, если б у меня был цел ключ зажигания, я непременно и немедленно вытеснил бы волобуйскую кастрюлю под град, — я двинулся бы на нее задним ходом, без сигнала, готовый к столкновению, потому что никакая новая царапина или вмятина «Росинанту» не страшна. Но ключа у меня не было, и сердце мое все набухало и набухало безотчетной яростной обидой на Лозинскую и каким-то непокойным и враждебным удовлетворением оттого, что фамилии ее супруга так великолепно соответствовали его рост, поросячий затылок, китель военного времени, бабий зад и штаны с облинявшими кантами...

В издательство заходить мне не хотелось, но рассказ все же следовало вернуть Владыкину, и я решил сделать это завтра. Как только прошла гроза, я отправился в слесарную мастерскую и, пока там вытачивали мне ключ, рассчитал, что в Мурманск смогу двинуться не раньше как через неделю: «Росинанта», лодку, палатку и еще кое-что нужно будет продать на месте, а комнату я смогу забурить и находясь в море. День после утренней грозы получился яркий и свежий, но с каштанов град обил свечи, и они валялись на набережной растерзанные и неряшливые: прохожие черт знает почему норовили наступить на них, будто не хватало пространства, куда можно было шмякнуть своим идиотским сапогом или ботинком. Я колесил по городу без цели и при разминках с «Волгами», окрашенными в голубой цвет, стремился прижаться к ним как можно поближе. В тот раз мне чересчур часто попадались отставные кряжистые военные, — по крайней мере я встретил человек двенадцать в кургузых кителях без погон. Своими боевито-крепкими походками и благонажитыми, а не унаследованными, сановитыми выражениями лиц эти отставные люди возбуждали во мне сложное чувство недоброжелательства, убежденности в их никчемности и приверженности к различным человеческим слабостям и порокам — скупости, мелочности, подозрительности, эгоистичности и вообще ко всему низкому и недальнему, — иначе их, наверно, не отставили бы! Я колесил и коле-

сил по городу и в конце концов пришел к выводу, что на земле непозволительно много накопилось всякого ничтожного, вздорного и ненужного хлама, засоряющего жизнь человека. Вот хотя бы взять эти дурацкие полуторные там и двойные надувные матрацы, придуманные, конечно, с благой целью окомфортить семейные кущи— эти пресловутые ячейки государства. Но ведь придет время, когда семьи не будет. Не будет — и все, хоть ты тут лопни любой домостроевец!..

Как сказала бы бабка Звукариха, день этот оказался для меня измордованным: я ни на секунду не смог заставить себя забыть случившееся утром под издательским балконом, не мог то с тоской, то с ненавистью, то с какой-то сумасшедшей призывной надеждой не видеть перед собой маленькую женскую фигурку под распяленным над ней серебряным плащом. Уже вечером я водворил на место «Росинанта», пару раз поднял и опустил на нем крышку багажника, после чего оглядел окна дома и пошел в кафе. Там я просидел до двух часов ночи, но помочь себе не смог, потому что ни коньяка, ни водки не было и пришлось пить сухое вино, очень схожее с марганцовкой. Лозинской я позвонил в половине третьего. Трубку сняла она, а не он. Я поприветствовал ее с наступающим рассветом и сказал, что во всем мире нынче не спит только один человек — я. Она ничего не ответила и продолжала слушать, — в трубке я чувствовал ухом ее тихое детское дыхание. Я немного подождал и сказал, что в телевизионную вышку только что сел месяц. Из моей телефонной будки он похож, сказал я, на разрезанный арбуз в авоське, и не знает ли она: кому досталась его вторая половинка?

— Нет-нет, вы не туда попали, — сказала она, но трубку не положила.

— Это вы не туда попали, — сказал я шепотом.

— Но это квартира. Наберите, пожалуйста, нужный вам номер.

— Это вы наберите, пожалуйста, нужный вам номер, — сказал я, но она уже положила трубку. Телефонная будка, откуда я звонил, стояла шагах в десяти от парапета моста под каштаном, и оттуда мне в самом деле виделся далекий кувшинообразный верх телевизионной вышки. Он был прозрачный и медноцветный на фоне мерклого месяца, совсем не похожего на арбуз в авоське, но я был недостаточно пьян, чтобы решиться

позвонить Лозинской вторично и сказать о своей ошибке. И все же мне очень хотелось сообщить ей что-нибудь еще, — например, о светофоре, мигавшем на меня через дорогу желтым циклопическим глазом: в тишине и безлюдье ночного города такое око не предостерегает, а грозит напоминанием о какой-то извечной пустынной опасности для одинокого человека, вот такого, как я. Я чуть не заплакал от неожиданной умиленной жалости к самому себе, но звонить было нельзя, и я попятился из будки. Она была узка и низка, как поставленный на попа гроб для несовершеннолетнего, и мне снова захотелось позвонить Лозинской и сказать, на что похожи телефонные будки в ночное время.

Но звонить было нельзя.

Я вытиснулся из будки и стал закуривать. От реки на мост и сюда, к каштану, доползали рваные клочья теплого росистого тумана, и каштан ронял веские теплые капли. Я стоял к нему спиной. Его нижние ветки приходились почти в уровень моего плеча, поэтому я не сразу обернулся, когда почувствовал лопаткой короткое скользящее касание.

— Эй!

Им, этим четверым, не нужно было ни стоять так рассредоточенно-готовно, ни окликать меня таким притушенно-напряженным голосом, раз уж пришла идея работать под дружинников. Стой они спокойно да еще произнеси что-нибудь вроде «извините», я бы поверил их красным лоскутам на рукавах черных спецовок и предъявил свое любительское шоферское удостоверение, поскольку никаких других документов со мной не было. А так я не поверил. Тому, что стоял ко мне ближе всех и потребовал «доку́мент», я сказал, что не понял юмора. Он был самый рослый из всех своих, и все же голова его, стянутая темным беретом, едва ли достала бы до моего подбородка,— во мне с семнадцати лет было метр восемьдесят три. Он, наверно, тоже не понял моего юмора и призывно поглядел на своих. У меня тогда мелькнула мысль сказать им что-нибудь дружелюбно-матерное — всем четверым, что-нибудь такое международно-притонное, в котором было бы всего понемногу — и моей вроде бы блатной матросской удали («не на того, мол, нарвались, салажата»), и достаточной дозы панибратства («все мы немного подонки и поэтому равны»), и готовности добродушно расстаться тут же

(«всего, мол, хорошего»). Но мне ничего не удалось сказать им, — они тихо пошли на окружение меня, неслышно ступая и высоко, как в болоте, поднимая ноги. Под каштаном была пепельная сутемень. При вспышках светофора я успел окинуть взглядом остальных троих, тоже в беретах на головах, и под грудной холод страха мне подумалось тогда, как мало значил каждый из них сам для себя, а все вместе друг для друга...

Ударил первым я — того высокого, лидера. Я метил ему в подскулье, но попал в переносицу,— все же он был мал для меня, и когда он упал, я перепрыгнул через него и побежал на мост, и мост тогда озарился навстречу мне малиновым огнем...

Когда пожилая, чистая и вся круглая нянюшка сказала, что мне тут у них пошел пятый денек, было утро. В раскрытое окно, под которым лежал я, просовывались ветки какого-то густо-широкого дерева, и как только я разглядел, что это липа, в палате запахло медом, потому что липа цвела. Я помнил решительно все, что со мной когда-нибудь было,— от самого раннего детства до малинового огня на мосту, когда упал тот ублюдок, и поэтому казалось странным и страшным, что пять громадных дней могли пройти мимо моей памяти и жизни.

— Они меня в спину? Ножом? — спросил я у нянюшки. Она испуганно сказала: «Да не-е, по головке чем-то», и я поверил, что это лучше, чем в спину. После этого я поинтересовался, в какое время привезли меня в больницу, и она ответила: «Утречком».

— Очень мило! — сказал я ей и отвернулся к стене.

— А то как же... Ну подреми, подреми...

Без нее я ощупал свою голову — громадную, в твердой марлевой чалме, и потрогал нос — заострившийся, холодный и раздвоенный по хрящу. Под правым ушьем у меня все время стрекотали часы,— как дешевый будильник, то скрежуще, то звонисто, и я решил, что это какой-нибудь регистрирующий аппарат, прибинтованный к моему затылку. В палату то и дело залетали пчелы, подолгу кружились под потолком и, обессилев, садились на тумбочку и на мою кровать, и брюшки у них пульсировали как под болью собственного жала. Я вытащил из-под графина накрахмаленную сал-

фетку и попробовал катапультировать пчел в окно, но при взмахе руки будильник под ухом ускорил ход и зазвучал как колокол...

В полдень ко мне в палату зашли трое в белых врачебных халатах — две женщины и немолодой высокий мужчина с черными грустными глазами. Я первый сказал «здравствуйте», и мужчина тогда коротко усмехнулся чему-то и мгновенно принял обиженно-изнуренный вид человека, не рассчитывающего ни на признание, ни на благодарность окружающих. Я понял, что он мой лечащий врач, что ему пришлось со мной трудно и что его спутницы не верили ему в чем-то. Я поднял правую руку, чтобы поприветствовать его — только его одного! — но он бросился ко мне, схватил на лету мою руку и медленно, как тяжесть, уложил ее на одеяло, а затем погрозил мне кулаком...

Тетя Маня — та чистая и круглая нянюшка — сказала мне, что Борис Рафаилович пять дней и ночей жил тут со мной в палате после операции.

— Жи-ил, а то как же... А ты что же, заезжий, видать? Ну небось через неделькю,— она так и сказала: «неделькю»,— можно будет отбить телеграмму своим, пущай приедут...

Снова было утро в раскрытом окне, и были пчелы на липе и на моей койке, и тикали и тикали часы в моем затылке. Я лежал и изо всех сил ждал Бориса Рафаиловича, и когда ему где-то там стало, наверно, невмочь, он тычком распахнул двери моей одиночной палаты, а я спросил, можно ли мне теперь его поприветствовать. Он ворчливо, от дверей сказал, что можно, и я поднял над головой правую руку, собрал пальцы в кулак и поработал им то вниз, то вверх, то вправо, то влево, а этот резака серьезно и, как мне показалось, подозрительно следил то за моей рукой, то за глазами, и тогда я заплакал.

— Ну что такое? — возмутился он.

— Ничего,— сказал я. — Сейчас пройдет.

— Что пройдет?

— Все,— сказал я. — Только вот часы... Они долго будут тикать?

— В каком ухе? — насторожился он.

— В левом,— соврал я.

— Не может быть!

— В правом,— признался я.

— Это прекратится... Через неделю! — прокричал он, и я видел, что он верит себе, и сам я тоже поверил, что часы в моем затылке прекратятся.

— А я потом не... это самое? — спросил я и покрутил пальцами над своим лбом.

— Глупости! — буркнул он, но глаза увел в окно, на липу и пчел. Я не очень отчетливо улавливал их гуд — мешали часы и, может быть, слезы, которые набухали помимо моей воли.

— Слышите? Я не это самое? — опять спросил я. К этому времени доктор справился с чем-то в себе и на крике сказал мне, что история мировой хирургии знает случаи благотворного действия пролома черепа на пострадавших. Я сделал вид, что не понял, иначе мне следовало обидеться, а он подтвердил с непонятным ожесточением:

— Да-да! Пострадавшие в этом случае обретали ясность собственного мышления!

Я поблагодарил его, а он засмеялся и подмигнул мне с каким-то всесветно-обобщающим намеком.

Дня три спустя ко мне в палату явился следователь из уголовного розыска,— осанистый, лет под сорок, с сырым женоподбным лицом, одетый в форменный китель под несвежим посетительским халатом. Он издали спросил, могу ли я дать показания, и я кивнул.

— А разговаривать вы можете?

— Как слышите, — сказал я. Он сел возле тумбочки и с вожделением поглядел на графин с водой. Мы начали с самого начала — с даты рождения, а когда подошли к кафе, следователь умышленно небрежно спросил, что я пил и сколько.

— Две бутылки тракии,— сказал я, решив, что три бутылки, которые я выпил, для него покажется много.

— Тракии?

— Это сухое вино,— объяснил я. Он с сомнением взглянул на мою голову и спросил, в какое время я покинул общественное заведение.

— Это вполне приличное кафе на проспекте Мира,— сказал я, поняв, что напавшие на меня парни в беретиках не задержаны. — Оно закрывается в два часа ночи.

— Понятно,— кивнул следователь, косясь на графин. — И куда отправились?

— Домой,— сказал я. Следователю хотелось, видно, пить, но он почему-то не решался проделать это,— опа-

сался, наверно, сбиться с тона допроса, а может, брезговал больничной водой.

— Значит, отправились домой,— сказал он и опять взглянул на мою чалму. — И что дальше?

— У Зеленого моста мне понадобилось позвонить, и когда я вышел из телефонной будки, то...

— Минуточку. Куда вам понадобилось позвонить?

У нас тогда выдалась затяжная пауза. Следователю было душно. Он то и дело отирал с лица пот серым и, видать, мокрым платком, зажатым в кулаке, и это было неприятно. Его пухлая полевая сумка свиной кожи стояла на полу между тумбочкой и моей койкой, и от нее противно пахло. Мне хотелось вызвать в себе хоть немного симпатии к следователю,— в конце концов человек пришел сюда ради меня, и я сказал, что воду в графине меняют тут, между прочим, каждый день. Он не расслышал меня и вторично спросил, куда я звонил. Ему было жарко в своем кителе под бязевым халатом, и когда он снова украдкой от меня отер пот со лба и подбородка, я сказал, что в Москве уже этой весной введена для работников милиции новая форма.

— Да-да, — подтвердил он. — Так кому вы звонили?

Я поправил подушку, улегся на спину и прикрыл веки. Следователь ждал, тогда я вслух предположил, что новая милицейская форма будет элегантнее прежней и что зимой в ней, надо думать, будет тепло, а летом прохладно. Он молчал и ждал. Я наблюдал за ним сквозь ресницы, и он виделся мне размыто и дрожаще, как за отдаленным полевым маревом. Я до сих пор не могу постичь, почему бы мне не ответить тогда на его вопрос неправдой — ну, скажем, звонил в справочное бюро вокзала, чтобы узнать, когда идет поезд на Мурманск. Номер телефона справочного бюро? Пожалуйста, я знал его: шесть одиннадцать сорок четыре, но из-за какой-то запретной преграды в себе я не мог сказать неправду и молчал, и следователь молчал тоже.

— Почему вы не отвечаете на вопрос? — изнуренно спросил он и налил в стакан воды из графина — полный, с краями. Я подождал, пока он напился, и сказал, что звонил одной замужней женщине. На этом месте мы застряли окончательно, потому что следователю обязательно нужно было знать, кто эта женщина и «по какому вопросу» я ей звонил.

— По любовному, что ли? — на каком-то гарантийном для меня полушепоте раздраженно подсказал он вечность сгодя, и я кивнул. — Ну так бы и показывал, а то уперся, как... Это ведь к делу не относится, понятно?

Он, наверно, засиделся в уголовном розыске и привык не доверять ни правому, ни виноватому, но после такого моего признания дело с допросом у нас почему-то пошло быстрее. Я «по возможности точно показал» количество напавших на меня бандитов, их рост и одежду и не мог понять, какая разница в том, на правых или левых рукавах у них были красные повязки.

— Большая, — сказал следователь. — Теперь точно показывай, во что был одет сам.

Я показал, но расцветку носков забыл. Не запомнил я и купюры тех четырнадцати рублей, что дала мне официантка кафе в сдачу с двадцатипятирублевки. Под конец допроса следователь извлек из своей полевой сумки длинный, в каких-то бурых потеках дамский чулок с засунутым в него свинцовым яйцом.

— Это твое или нет?

— А что это? — спросил я.

— Обнаружено под тобой, — сказал он. От чулка несло мерзкой падальной вонью, и меня стошнило.

Оказывается, далеко не все равно, чем вам проламывают голову. Я, например, безразлично отнесся бы к известию о том, что меня ударили булыжником, скажем. Или шкворнем. Или там другим каким-либо «тупым предметом», поскольку тут все равно уже ничего нельзя поделать. Но это гнусное свинцовое яйцо, заправленное в пакостный бабий чулок сорокового, видать, размера, вызывало во мне отвращение, бессильную ярость и стыд...

Как и говорил Борис Рафаилович, часы в моем затылке перестали тикать через неделю, и тетя Маня собралась переселять меня в общую палату. Она напомнила о своей готовности «отбить телеграмму моим родным», и тогда я попросил ее позвонить Лозинской.

— Часов в шесть вечера, — сказал я. — Зовут Ирена Михайловной, запомнили? Если к телефону подойдет мужчина, то ничего не говорите. Положите трубку, и все. Ладно?

— Ну-ну, — угасше сказала она. — И что ей передать?

— Что, мол, Антон Павлович Кержун лежит в больнице... В такой-то палате, на таком-то этаже.

— Ну-ну... А чтоб, значит, пришла, не намекать?

— Нет, — сказал я. — Большое вам спасибо!

— Поругамши, что ль?

Тетя Маня спросила это, уходя уже, с гневом не ко мне, и я поверил, что Лозинская непременно придет, потому что мало ли что ей там скажут, и пусть скажут!.. Что я, не сын родины? Сволочи! Бросили тут одного...

Она пришла в начале седьмого, — я увидел ее еще в коридоре через открывшуюся дверь, притворенную за ней тетей Маней. Ирена Михайловна как-то косо и полубоком пошла по палате к окну, подальше минуя стул и тумбочку, смятенно глядя на мою голову. Я привстал на койке и сказал, что ни в чем не виноват.

— Мне все известно, не надо разговаривать, — перебила она, уйдя в противоположный угол, за тумбочку.

— Я не ввязывался, а только позвонил вам, чтобы проститься, понимаете? — сказал я. Она молча наклонила голову, избегая моих глаз своими.

— За весь тот вечер я выпил всего лишь три бутылки тракии. Это красное сухое вино почти без градусов, — объяснил я.

— Я знаю, это очень хорошее вино, только, пожалуйста, не разговаривайте! — сказала она.

— Но я в самом деле не ввязывался, — сказал я.

Она веряще кивнула, и мы впервые встретились глазами.

— Они меня каким-то свинцовым кругляшом... в женском грязном чулке, вы представляете? — сказал я.

— Господи! Я не хочу! Не надо об этом говорить!

Она держала сцепленные руки у подбородка, и глаза у нее были какие-то провальные, немигающие и косящие к переносью.

— Очень больно?

— Нет, — сказал я. — Вам нельзя... подойти поближе?

Если бы она не взглянула тогда с опасением на дверь, я бы не решился назвать ее по имени, без от-

чества, но она трижды, пока медленно шла ко мне по палате, взглядывала на дверь, и я трижды назвал ее имя.

— Почему же вы... — сказала она и запнулась, потому что опять оглянулась на дверь.

— Что? — спросил я.

— Почему не попросили сообщить мне давно, сразу?

— Разве ты пришла бы? — сказал я и зажмурился.

Она остановилась у моего изголовья и молчала, и я ее не видел.

— Пришла бы или нет?

— Не знаю... не с этим. У меня этого нет к вам... Не должно быть! Разве вы сами не понимаете?

Я открыл глаза и сказал, чтобы она ушла.

— Но вам, может быть, что-нибудь надо? Вам дают тут есть и... все?

— Дают есть и все-все. До свиданья, — сказал я ей и натянул на лицо простыню. Она тогда осторожно и невесомо присела на край моей койки и своим прежним, редактрисским тоном спросила, сколько мне лет. Я сказал «тлидцать тли», и она засмеялась и отогнула край простыни с моих глаз.

— Слушайте сюда. В ваши «тлидцать тли» надо соображать, что замужней женщине, у которой дочери пошел одиннадцатый год, нельзя звонить по ночам и...

— Если б ты знала, что я хотел тебе сказать! — перебил я и не стал зажмуриваться.

— Что вы мне хотели сказать? Вы с ума сошли? Вы же видели моего мужа... Да и не в этом дело!

— Ты меня совсем-совсем не...

— Замолчи! Замолчи! — истерично, шепотом крикнула она, а я схватил ее руку и прижал к своей щеке, и она до самого ухода не отняла ее и сидела как в столбняке — прямо, напряженно, дыша раскрытым ртом, как птица в жару...

Когда она ушла, тетя Маня заглянула в дверь и спросила строже, чем следователь:

— Ну?

— Большое вам спасибо, — сказал я.

— Помирились?

Тогда был какой-то библейский свет вечера в мире за окном и в моей палате, — он был густо-голубой, чуть прореянный ранним лунным током, и в этом свете мягко увязали и глушились шумы города, и непроходя-

ще стоял чистый и радостный запах меда. Я лежал и благодарно думал, как по выходе отсюда куплю что-нибудь тете Мане в подарок, потому что я любил ее, и что-нибудь Борису Рафаиловичу, потому что его я тоже любил, и тем двум врачихам, которые вошли тогда с ним в мою палату, и надо обязательно купить что-то — кофту, может? — бабке Звукарихе, потом еще — что-нибудь хозяйственное — той своей соседке, которой я отдал тогда рыбу, и хорошо бы еще раз повстречать того рыжего владельца «Запорожца» — у него, возможно, нет гидравлического домкрата, а у меня их два, и почему бы не отдать ребятишкам из нашего дома стартовый пистолет, зря ведь валяется только... Мне подумалось, а что было бы, если бы в ту ночь со мной оказался этот пистолет? У него форма и звук выстрела браунинга. Стрелять нужно было бы трижды, в ветки каштана, и тогда эти четверо в беретиках пошли бы в трех шагах впереди меня, заложив руки назад. Да, конечно, пошли бы... И я сейчас был бы не здесь, а в Мурманске, — конечно, был бы уже, и поэтому нельзя знать, хорошо или плохо, что со мной тогда не было стартового пистолета...

На утреннем обходе Борис Рафаилович как никогда до этого остался доволен состоянием моего затылка и собой, но я заметил, что ему немного беспокойно, — он как бы торопился в словах и жестах, не желая, наверно, оставлять мне паузы для какого-нибудь вопроса сродни тому, когда я ворожил пальцами над своим лбом. Это его опасение — как бы я не стал рефлектировать или как это там у них называется — было совершенно напрасным: я чувствовал себя отлично, даже лучше, чем прежде, хотя причина этому была совсем не та, что приводил он из истории мировой хирургии.

Этот день был очень длинным, и под конец его я потерял веру в человечество. Крушение моего вечернего и утреннего мира началось с семи часов вечера, и к восьми его обломки полностью заволок прах лютой тоски и обиды. А в половине девятого Лозинская наконец постучалась в дверь, — я сразу догадался, что это она: стук был тревожный и ноготной, как побег застигнутого кролика. Мы даже не поздоровались, и нам почему-

то нельзя было остановить глаза друг на друге, — наши глаза просто прятались сами от себя. Ей совсем не надо было приносить этот громадный нелепый пакет в серой оберточной бумаге. Он оттягивал ей согнутую руку, и она не знала, что с ним делать, а я не мог ни принять его у ней, ни указать ему место. Она сама догадалась примоститься на стул возле тумбочки, оставив пакет у себя на коленях. Я сидел на койке и тщательно расправлял кромку простыни.

— Ну как... лучше? — спросила она, избегая обращения «вам» и «тебе», и растерянный вид ее раздирал мне сердце нежной жалостью и восхищением, что она есть на свете.

— Положи это рядом с графином, — сказал я грубо, мстя всему, что загнало нас в этот тупик неразрешенности, и она как под ударом поднялась со стула и почти выронила пакет на тумбочку. Я бы даже под палкой не решился сойти при ней с койки в той умопомрачительной пижаме, что была на мне, — штанины брюк сантиметров на двадцать не доставали до щиколоток, но когда из пакета посыпались апельсины и какие-то веские стеклянные банки, а она, смертно побелев, оглянулась на дверь и кинулась убирать пол, я забыл о пижаме. Мы подобрали все молча и спешно, а ее лицо по-прежнему оставалось белым как бумага, и я не знал, что ее потрясло, — то ли стыд перед собой за эту свою тайную и «беззаконную» больничную передачу мне, то ли детский страх за нечаянно учиненный тут грохот.

— Ну что случилось? — опять сказал я умышленно грубо, — мне было известно, что на такие нервные натуры, как она, окрик действует иногда как лекарство.

— Я боюсь, — призналась она, помешанно глядя мне в зрачки. — Я боялась весь день... А он был такой огромный!

— Кого? Чего ты боялась? — втайне ликуя, спросил я.

— Всего... Себя. Тебя. Их...

Я усадил ее на стул и, все еще не вспомнив о пижаме, стал перед ней на колени.

— Слушай, — сказал я и почувствовал, как озноб преданности, решимости и восторга ледяным обручем стянул мою голову под бинтом, — пусть весь мир будет наполнен одними чертьми, я все равно никогда тебя...

— Да не чертьми, а чертями, — всхлипывающе перебила она и своей детской и почему-то ледяной ладонью уперлась в мой лоб, чтобы отстранить от себя мою голову...

Третье наше свидание в моей одиночной палате было нелепым и кратким. Она и в этот раз принесла апельсины и две банки маринованных слив, — как потом мы выяснили, идти без передачи она не могла, потому что в таком случае у нее не было бы перед собой «оправдательного мотива». По тому, как она уверенно и спокойно постучала в дверь и вошла в палату, как любезно-приветливо и издали поздоровалась со мной, будто пришла по долгу навестить знакомого, как сосредоточенно и внимательно уложила на тумбочку свое подаяние мне, как осознанно-достойно села на стул в своем, впервые увиденном мной на ней, простеньком темном домашнем платье, делавшем ее совсем подростком, как открыто и посторонне-внимательно, хотя и с заметно подавляемой независимостью взглядывала на меня, я понял, что в ней произошло какое-то решительное освобождение от себя вчерашней. И я живо и с каким-то злорадно-мучительным чувством самосокрушения вообразил сцену с распяленным плащом у подъезда издательства. Я знал, какие у меня при этом глаза, рисунок губ и подбородка и как металлически скребуще и серо прозвучит мой голос, если я заговорю. И когда я спросил: «Вас можно поздравить?» — голос мой был таким, каким я хотел его слышать. Она, как мне показалось, с радостным облегчением встретила мой призыв к враждебной отчужденности, но спросила без притворного удивления:

— С чем?

— С миром в душе, — сказал я неожиданно пискляво. Она длинно посмотрела на меня, а затем устало сказала:

— Вы ведь, кажется, собирались уезжать, Антон Павлович.

Я кивнул.

— Ну вот и хорошо.

— Вы хотите, чтобы я обязательно уехал? Теперь? — спросил я.

— Да. Между прочим, вас уволили из издательства за невыход на работу. Там ведь никто не знает, что с вами.

— Черт с ними, — сказал я с беспечностью погибающего, которому никто уже не поможет. — Как поживает ваша подруга?

— Спасибо, по-прежнему, — догадалась она, о ком я спрашивал. Я не вкладывал в свой вопрос никакого подспудного смысла, но она усмотрела в нем какую-то обидную для Верыванны иронию, потому что назидательно добавила: — Вера Ивановна, между прочим, большой друг моего мужа... Вообще нашей семьи.

Я сказал, что рад это слышать. Она тогда как-то подчеркнуто превосходяще надо мной усмехнулась, взглянув на свои ручные часы, но я опередил ее и сказал, что расходы ее на компоты мне я возмещу по почте перед отъездом. Уже на середине фразы я знал, что это мелко, несправедливо и хамски дурно, но ничего не мог с собой поделать. Она стремительно поднялась и пошла из палаты, и каблуки ее туфель издавали какой-то разломно-костяной цокот, и мне хотелось, чтобы в эту минуту какой-нибудь американский полковник из тех, что носят на шее серебряные ключи от красных пусковых кнопок, сошел с ума...

В тот же вечер я перешел в общую палату. Там было пять коек, но только одна из них — у окна — оказалась занятой: на ней лежал унылый сухой старик со стеариновым лицом и желтым голым черепом.

— Доигрался? — коростельным голосом сказал он мне, когда вышла нянюшка. Я решил, что у него язва желудка, и не стал противоречить.

— Хозяина не стало на вас, вот вы и рассобачились.

У него, наверно, сильно болело, и я ничем не мог ему помочь. Полночи он нудно кряхтел, стонал и возился на своей койке, а утром я увидел ее пустой, без матраца, и мне стало стыдно за свои тайные ночные пожелания старику. Я лежал и старался не смотреть на опустевшую койку, и мне было тревожно и страшно от сознания хрупкости человеческой жизни, ее незащищенности и скоротечности. Людям не следует забывать об этом, подумал я, и тогда они станут добрее друг к другу и жить будет легче. Вот и я сам. Разве я нынче вел бы себя тут так непозволительно безобразно с Ирэной Михайловной? Вел бы?..

В тот же день под вечер в палату внедрились трое больных, — опять смертообразные старики, и я снова, как утром, стал тихим в сердце и тогда же понял, что не хочу никуда уезжать и не хочу, чтобы меня увольняли с работы.

С Борисом Рафаиловичем у нас установились превосходные отношения, — при его обходах мы нашли какой-то сдержанно-дружеский тон вопросов и ответов с доверительным и немного ироническим подтекстом, который полностью исключал мое неравенство перед ним. Я спросил у него, не находит ли он как лечащий врач, что мое начальство по работе обязано проявить ко мне хотя бы казенную чуткость, поскольку я пострадал не по своей личной вине.

— Конечно, — сказал он, — но ваше начальство едва ли захочет принять эту вину на себя.

Я сказал, что размышлял об этом пункте и нашел выход для начальства: оно располагает полной моральной возможностью переложить вину за случившееся со мной на общество и не увольнять меня с работы. Доктор подумал и категорически заявил, что я имею право на чуткость. Мне не известно, что он говорил директору издательства по телефону, но случилось то, чего я ждал и хотел: в больницу пришли Лозинская и Вераванна. Был воскресный день. У коек стариков томились навестившие их родственники. Я лежал и ел маринованные сливы, пристроив на грудь банку. Первой в палату вступила Лозинская, следом за ней впучилась Вераванна, и когда я увидел ее, мои руки самостоятельно, без приказа мозга, спрятали банку под одеяло. Они метнулись с ней к коленям и сами тут же, под напряженным взглядом Лозинской, выпростались наружу и прикрыли косточки, которые я складывал на газету возле подушки. Я тогда же подумал, что «друг семьи» никак не мог догадаться о том, чьи сливы я ел, и все же я был благодарен рукам за их проворство. Вераванна была в состоянии какой-то ленивой меланхолии с примесью брезгливого сострадания ко мне, поэтому ничего не заметила. Она остановилась в шаге от моей койки и оттуда поздоровалась, назвав меня товарищем Кержуном.

— Нам поручено навестить вас, — сказала она. — Что с вами случилось?

— Да пустяки. Спасибо вам за чуткость, — сказал я и взглянул на Лозинскую. У нее тревожно ширились глаза, но все было в порядке: косточки от слив я успел прикрыть газетой, а банку крепко зажимал в коленях. Я мог держать ее там хоть целые сутки, но Вераванна, оглядев мою чалму, тронулась, наверно, сердобольем и протянула мне руку, и мне тогда понадобилось привстать. Ее рука была набрякло-веска и безответна, как тюленья ласта. Я немного передержал ее в своей ладони, потому что вникал в то, как липуче-вязко подплывал под меня маринад из опрокинувшейся банки. Горячие сухие пальцы руки Лозинской лишь на короткую секунду коснулись моих. Мы украдкой столкнулись глазами, и в ее широких черных зрачках я прочел вопрос: «Пролилось?» — «Все до капли», — ответил я ресницами. «Что же теперь делать?» — «Не надо волноваться, — внушил я. — Тут есть чудесная нянюшка — тетя Маня, она все уладит с простынями». — «Не поняла», — сказали зрачки Ирены. «Ты только не волнуйся, пожалуйста, — попросил я, — это все подо мной, в низине».

— Так как же это вас угораздило? — настойчиво спросила Вераванна. Мне показалось, что она примеривается глазами к койке, чтобы присесть, так как все стулья разобрали родственники стариков, но я не мог сосредоточиться и ответить ей, потому что стерег ее намерение: вдруг она в самом деле присядет? Тогда маринад неминуче хлынет под нее!

— Вы что же, в драку ввязались?

— Совершенно верно, я очень люблю, когда мне проламывают голову свинцовым котяшом, — сказал я. Вераванна беспомощно помигала на меня ресницами и сложила губы в трубочку — обиделась.

— Ну хорошо, а в дальнейшем... Вы намерены вернуться в издательство? — спросила она меня, взглянув на Ирену. У той трепетали крылья ноздрей, и смотрела она в пол. Я сторожил ее глаза, чтобы после встречи с ними ответить что-нибудь Вереванне. К нам вежливо прислушивались истомившиеся родственники стариков. Маринад подо мной становился теплым и щекотным. Я подождал еще немного и сказал — не Вереванне, — что мне некуда деваться. Тон голоса у меня получился ненужно скорбным и просительным, и тогда Ирена, попрежнему глядя в пол, бесстрастно и сухо сказала:

— Видите ли, Антон Павлович, вас уволили за невыход на работу, но поскольку вы находитесь в больнице, то это решение должно быть отменено. Понимаете?

Наши глаза скрестились, и я кивнул.

— Значит, дирекции можно передать, что вы выходите на работу, так?

— Да-да! Мне было радостно повидать вас! — вырвалось у меня. Вераванна сказала «нам тоже», и мы простились издали, без пожатия рук.

— Спасибо вам за чуткость, — сказал я вслед Вереванне. Она шепеляво и серьезно ответила «пожалуйста», а Ирена стремительно оглянулась на меня и горестно покачала головой...

Мы потом и сами не могли объяснить себе, почему этот нелепый случай с маринованными сливами как нечаянной волной прибил ко мне Ирену. В чем тут было дело? В сострадании ко мне, воровато спрятавшем ее «незаконное» приношение? В благодарности за мой ребячий страх перед Веройванной? В этой нашей вымученной тайне? Все может быть. Она пришла ко мне в общую палату в тот же воскресный день, вечером. Пакет из серой толстой бумаги опять, как в тот раз, косил ее набок, и я сел на койке и счастливо засмеялся ей навстречу.

— Ну чего ты? Сидит как... дурачок! — сказала она как старшая сестра моя или мать и сама открыла тумбочку и, присев перед нею, стала опрастывать пакет. — Сырок хочешь?

Я ничего не мог поделать с собой, — меня бил какой-то глубинный, счастливый и беззвучный нервный смех, граничащий с затаенным рыданием, и я знал, что, если она скажет еще что-нибудь про еду или о том, как я сижу, я глупо и блаженно зареву при всех, никого тут не таясь и не стесняясь.

— С халой. Совсем свежая, — сказала она. — Ты же ее любишь.

— А ты... откуда знаешь это? — с трудом спросил я.

— Видела в твоем «Росинанте», когда ты пытался угостить нас шампанским... Ты ее, наверно, не режешь, а ломаешь, правда?

Я шепотом крикнул, чтобы она замолчала, и она захлопнула тумбочку. Ей тоже откуда-то было известно, что в какую-то слабую его минуту человеку очень нужно строгое слово. Она села на стул у моего изголовья и сердито спросила, где мои «Альбатросы».

— Надеюсь, ты их не съел, как обещал?

Со мной все уже было в порядке, и я сказал, что рукопись лежит в «Росинанте», а ключи от него и от квартиры остались в брюках, снятых с меня молодцами с красными повязками.

— Между прочим, водительские права тоже там, — сообщил я.

— Где?

— В заднем кармане, — сказал я.

— Очень мило! Почему же ты молчал об этом раньше? Ты соображаешь что-нибудь или нет?

Глаза у нее трогательно косили к переносью, а лоб пересекала гневная вертикальная хмуринка. Я наклонился к ее уху и благодарно прошептал, чтобы она не устраивала мне тут скандала.

— Разве я устраиваю? — отшатнулась она. — Ты уверен, что они не угнали машину и не очистили комнату?

Это не приходило мне в голову. Да и как они смогут узнать мой адрес, разве только через справочное бюро? Нет, для такого гангстерского завершения дела они слишком ничтожны и трусливы.

— Недаром же они ударили меня оловяшкой в бабьем чулке, — напомнил я.

— Господи, да не шпагой же они должны были бить тебя! — возмущенно сказала она. — У каждого негодяя свое оружие! Как же ты попадешь домой? Ты же... без одежды здесь? Совсем без всего?

— Как Адам, — сказал я.

— Ну?

— Все.

— Что все? Чему ты радуешься?

Тогда я объяснил, что у меня нет никого на свете, кто бы заказал ключи в слесарной мастерской, что против рынка, а после поехал на улицу Гагарина и в доме номер семь дробь девять, подъезд первый, квартира восемнадцать нашел все, что мне нужно из одежды.

— Стенной шкаф, — сказал я, — расположен в коридоре возле кухни. Там в целлофановом футляре висит

костюм, а рубашки, майки, носки и плавки лежат в нижнем ящике секретера. Ящик туго открывается, и его надо пнуть кулаком в левый край. А ботинки, — сказал я, — стоят под раскладушкой. Она, наверно, не прибрана, поэтому на нее не обязательно смотреть...

Я не до конца понял, почему Ирена, порывисто и молча простясь тогда со мной, вдруг тихо заплакала.

Нет, «Росинанта» не угнали и не очистили комнату, но, к моему сведению, в целлофановом мешке оказалось пальто, а костюм висел под плащом в коридоре на вешалке, и его нелегко было найти. Я прошу прощения? Пожалуйста. Боялась ли? Ну, конечно! Соседей, понятно. Назваться сестрой из больницы? А почему не коллегой по работе? Правда ведь всегда безопасней. Кстати, неужели трудно — господи, да в любом хозяйственном ларьке! — купить пачки три нафталина и положить их под эти свои заграничные пижонские свитеры! Что? Обыкновенная моль. Тучами! Сам сделаю? Когда! Нет, это надо немедленно, завтра. Между прочим, «Альбатросов» придется читать и править дома. Так будет лучше. Что? Я с ума сошел? Руку тоже поцеловать нельзя. Посмотрел бы я лучше на свою рыжую щетину!..

По выходе из больницы я несколько дней жил на какой-то поднебесной парящей высоте, и все, что делал — брился, ел, убирал комнату, хлопотал о восстановлении водительских прав, ходил или сидел, разговаривал или молчал, — все для меня полнилось громадным смыслом первозданной новизны и значения: я тайно радовался жизни и тому, что я в ней не одинок. У меня пропала суетность и нетерпимость, я был очень внимательным и вежливым с миром, и только одно разоряло этот мой несрочный праздник — не поддающийся рассудку страх на улице, когда я слышал позади себя шаги. Мне тогда хотелось прикрыть голову руками, и я оглядывался на прохожих и норовил пропустить их вперед, если то были мужчины втроем или вчетвером. И все равно жить было хорошо, даже с этим подлым страхом. Я легко примирился с тем, что на затылке у меня навсегда останется лысая метина величи-

ной с куриное яйцо, и, чтобы скрыть ее, мне придется отращивать волосы под стилягу. На это потребуется месяца два или три, а до той поры я буду носить соломенную шляпу, чуть-чуть сдвинутую на правое ухо. Чем это плохо? Мой больничный лист позволял мне не выходить на работу еще девять дней, и, может, поэтому меня пока не тревожил предстоящий разговор с начальством о моей драке.

Ирене я позвонил на третий день после выхода из больницы. Я позвонил ей вечером, домой, потому что в издательстве телефон помещался на столе Верыванны. Трубку взял Волобуй. Он боевито сказал «слушаю», а я вежливо поздоровался с ним и попросил, чтобы он был любезен и пригласил к аппарату Ирену Михайловну. Это получилось у меня ладно и церемонно, особенно к «аппарату». Волобуй поинтересовался, кто ее спрашивает, и я назвался автором повести «Куда летят альбатросы». Ждать пришлось минуты полторы, там что-то не спешили, и я успел мысленно увидеть трогательную и совсем безобидную для себя картину — Ирена в том своем темном детском платьишке стоит на кухне у плиты и что-то жарит. Скорее всего котлеты. Две маленькие — себе и дочери, и одну большую — ему. Сковородка там, конечно, добротная, чугунная, а ухватик раскалился, и поднять ее трудно. «Не торопись, я подожду, — сказал я ей молча. — Переверни еще раз вон ту, большую... Пускай лопает на здоровье».

— Очень хорошо, что вы позвонили, товарищ Кержун, — сказала она посторонне в трубку, — дело в том, что нам надо согласовать некоторые купюры...

Я молчал.

— Совершенно верно, — сказала она. — Но прежде чем приходить в издательство, позвоните мне завтра... скажем, ровно в час дня вот по этому телефону... Всего хорошего!

Я звонил из той своей будки у парапета моста. Я проторчал там минут пятнадцать, потом послонялся под каштаном, но было еще рано, и я никого не встретил, и во мне не было никакого страха. Ни перед кем.

На второй день была пятница — базарный день в нашем городе, и я с утра пошел на колхозный рынок и купил два пучка редиски, два больших свежих огур-

ца и две пол-литровые кружки полуспелой вишни. Это из овощей и фруктов. А в магазине я купил халу, две банки сметаны и две шоколадные плитки «Аленка». Дома у меня было еще тридцать четыре рубля. Они лежали в словаре Павленкова, и я сходил домой, взял пятерку и купил три бутылки тракии. Все это я разложил и расставил на откидной крышке секретера, и получился скромный светлый стол, и нельзя было догадаться, что застлан он не скатертью, а обыкновенной новой простыней. Телефон-автомат помещался у нас в первом подъезде. Я нарочно спустился к нему задолго до условленного времени, — мне казалось, что там будет легче найти те два или три тихих, доверчивых слова, которые я мог бы сказать Ирене, чтоб пригласить ее к себе в гости. Такие слова в мире были, должны быть, но я их так и не нашел и возле телефона почувствовал что-то сродное стыду и страху за эту свою затею...

Ровно в час я опустил в щель автомата гривенник — так мне хотелось — и набрал номер ее телефона. Где-то на краю белого света рывком сняли трубку, и она сказала:

— Лозинская.

— Это я, — осторожно сказал я ей.

— Здесь никого нет, — сказала она, — но дело вот в чем: в воскресенье я уезжаю в Кисловодск, поэтому...

— Зачем? — спросил я.

— Что? — не поняла она.

— Зачем в Кисловодск? — сказал я.

— Ну в отпуск, боже мой... Алло!

Я отозвался. Она сказала, что ей надо передать мне рукопись, но не в издательстве, поэтому не мог бы я часов в пять подъехать, например, к тому месту на набережной, где мы когда-то встретились в дождь?

— Подъехать на «Росинанте»? — спросил я.

— Ну, наверно, — сказала она. Тогда я как о счастливой своей находке напомнил ей, что у меня нет водительских прав. Она помедлила и не совсем охотно сказала, что у нее с собой ее права. Я бы не мог в таком случае самостоятельно съехать хотя бы со двора? В рукописи много ее помарок и замечаний, и об этом следовало бы поговорить в машине, а не на улице.

— Конечно, — сказал я.

— Значит, условились. Ты что, неважно себя чувствуешь?

— Нет, очень хорошо, — сказал я и сообщил, что дома у меня есть свежие огурцы, редиска и вишни. Она серьезно заметила, что мне полезны сейчас витамины, и мы попрощались.

В пять часов я благополучно съехал со двора и остановился в конце своей Гагаринской улицы. Отсюда мне чуть-чуть виделась автобусная остановка, и каждую девочку-подростка, чинно выходившую из очередного автобуса, я принимал за Ирену, но она подошла к «Росинанту» сзади — добиралась, оказывается, на такси. Я не вышел из машины, потому что не узнал ее, — у нее была новая, волнисто взбитая прическа, сильно изменившая форму лба и всего лица, и одета она была в невиданное еще мной платье. И прическа, и это сиренево-стальное клетчатое платье делали ее старше и строже, и я сразу вспомнил о Кисловодске, Волобуе и об их совместной голубой «Волге». Конечно, они поедут туда на машине, всей семьей. Тем более что у нее есть права...

— Ты неважно себя чувствуешь? — сказала она вместо «здравствуй». Я забрал у нее папку со своей рукописью и освободил место за рулем. — Разве мы не здесь будем?

— Я думал, что ты сама не хочешь, — сказал я.

— Какой он маленький, бедненький, — ласково, как на ребенка, сказала она о «Росинанте» и погладила руль. Узкие выпуклые ногти на ее пальцах розовели лаком, — полностью собралась в Кисловодск, и я сказал:

— Да. Это, конечно, не «Волга».

Она коротко, вприщур взглянула на меня и включила зажигание. «Росинант» с подскоком сорвался с места. Вела она трудно. Ее чрезмерная пристальность и напряженность давили на меня, как ноша, и перед светофорами я тоже жал на воображаемый тормоз и переключал скорости. За городом ей немного полегчало.

— Ты и свою «Волгу» так водишь? — спросил я.

— Как?

Голос ее прозвучал жестко и упрямо.

— Старательно. Как и твой муж, — сказал я.

— Ну еще бы!.. Какие дополнительно будут вопросы?

— Больше ничего, — ответил я.

— Весьма признательна, — по слогам сказала она и в нарушение всех правил, не сбавляя скорость и не заглянув в зеркало, пересекла шоссе, — там, слева от нас, в сизом овсяном поле пробивался первый встреченный нами проселок, заросший ромашками и синелью. Тут, по цветам, она ехала тихо и неощутимо и за пригорком, скрывшим от нас шоссе, заглушила мотор. Тогда у нас выдалось несколько летучих секунд совершенно свободного и какого-то грозного времени, заполненного нашим обоюдным ожиданием чего-то громадного, опасного и неотвратимого, и когда ничего не случилось и мы молча и настороженно остались сидеть поодаль друг от друга, Ирена усталым и доверчивым движением взяла у меня рукопись.

— Так вот, вернемся к нашим баранам, — сказала она. — Помнишь, товарищ Кержун, какой сентенцией заканчивается у тебя повесть?

— Да, — сказал я. — «Окруженная грозовыми тучами, огромная и темная, неслась в мировом пространстве Земля».

— Верно. Но это не годится,— сожалеюще сказала она, и я подумал, что мог бы теперь поцеловать ее.— Ты ведь сам редактор и обязан понимать, почему это не годится.

— Не понимаю,— сказал я.

— Фраза очень уязвима. Что значит «огромная и темная?» Земля наша не вся темная. На ней есть и вечно светлое пятно, различимое с любого расстояния,— одна шестая ее часть, понимаешь?

— Ты это насчет «темной» серьезно? — спросил я.

— Вполне,— сказала она.— Я хочу, чтобы повесть твою напечатали. Очень хочу. И все мои правки преследуют эту цель, как говорит твой друг Владыкин. Между прочим, его вопросительные и восклицательные знаки, что он наставил на полях страниц, были мне очень полезны: он дотошный и осторожный редактор... Ну, пойдем дальше.

— Не нужно, пусть все остается так, как ты исправила,— сказал я и хотел взять у нее «Альбатросов». Она отшатнулась от моей руки за руль и оттуда подала мне рукопись растерянно и повинно.— Что ты делала вчера вечером, когда я позвонил? — спросил я.

— Я была на кухне,— сказала она.

— Котлеты жарила? Две маленьких и одну большую, да? Ты была в том своем черном платье, правда?

Она суеверно посмотрела на меня.

— Не надо, Антон... Дай мне спокойно уехать. Как же ты не понимаешь!

— Я нарву тебе цветов, ладно? — попросил я.

— Нет-нет, я не смогу... Мне придется их выбросить... Поедем скорей домой. К себе, — поправилась она. Ей не удалось самостоятельно развернуться на узком проселке, и мы поменялись местами. На шоссе, при виде встречных голубых «Волг», она медленно и натяжно вжималась в сиденье и отклоняла голову к дверце, чтобы быть подальше от меня. Я ехал по краю пропасти, и руль почему-то давил мне на мышцы так, как будто я нес машину на себе.

— Он что, всякий раз разыскивает тебя после пяти часов? — спросил я и, вспомнив волобуевский затылок, выругался отвратительно, как пьяный портовик. Ирена зажмурилась и приказала остановиться. Я подрулил к кювету, и она спустилась прямо в него и пошла там по запыленной траве в город — маленькая, жалкая, прибито перекосив плечи. У меня тогда разломно заболел затылок, поэтому, может, я и окликнул ее таким непутевым, испугавшим меня самого голосом. Она обернулась и побежала назад ко мне.

— Что случилось?

— Когда ты вернешься? — спросил я.

— Господи! Это же не я еду... Ну через двадцать четыре дня, двадцатого. Не выходи, не выходи! Подожди тут, пока я сяду в автобус...

На нашем проселке, куда я возвратился немного погодя, плавал теплый сладкий дух травы, смытой шинами «Росинанта», гудуче сновали шмели, и в поле радостно били и били перепела, будто мир только что сотворился несколько мгновений тому назад.

Вернулся я в полночь. Дом воспаленно светился всеми окнами, кроме моего,— во дворе, за столом козлятников, тесно сидели несколько мужчин в брезентовых спецовках штукатуров и не очень весело пели «Шумел камыш» на мотив «Когда б имел златые горы». От этой их мужской заброшенной спаянности и пьяно взыскующих голосов на меня нахлынуло горькое чувство бездомности и одиночества, и я поднялся к себе с мыслью, что мне тоже надо напиться. Одному. Мой стол белел

в полутьме комнаты как саркофаг,— низко свисал край простыни с крышки секретера, и я решил не включать свет, чтобы не лишаться сумрачной жалости к себе и к тем, что пели во дворе.

Я ничего не тронул на тарелке Ирены,— туда я еще утром положил самую крупную и твердую редиску, самые спелые вишни и лучший огурец.

— Ты не бойся,— вслух сказал я пустому стулу, на котором она должна была сидеть.— Я тебя никогда и ничем не обижу, и пусть мир будет наполнен одними чертьми... нет, чертями, я все равно не отступлюсь от тебя!

«А как ты это представляешь себе?» — спросила меня невидимая Ирена.

— Не знаю. Этого я не знаю...— сказал я. — Давай лучше выпьем еще. Ты же сама говорила, что тракия хорошее вино. Я все время буду сидеть поодаль от тебя, ты ничего не бойся.

«Конечно. Ты никогда не посмеешь испугать меня или обидеть».

— Никогда! Я очень боялся пригласить тебя к себе.

«Почему?»

— Я подумал, что ты поймешь это неправильно. Просто дело, наверно, в том пенсионерском поверье, что будто жизнь таких вот перерослых одиночек, как я, заполнена различной сексуальной пошлостью.

«Этого я в тебе не боюсь. Но есть ведь и другое — моя собственная для тебя высота, на которой я хочу оставаться. Разве ты не потерял бы какую-то долю уважения ко мне, если бы я на самом деле сидела сейчас здесь?»

— Да, потерял бы. Впрочем, нет. Я бы тогда просто насторожился... Нет, опять не то. Это трудно объяснить словами.

«Но потеря, значит, была бы?»

— Да. Ты всегда должна оставаться на своей высоте. И хорошо, что я не решился пригласить тебя. Это значит, что у меня тоже есть своя высота, ты не находишь?

«Я ведь тебя еще не знаю».

— Но я же постеснялся пригласить тебя?

«Ну для этого достаточно элементарного чувства такта: я ведь замужняя женщина».

— Как же мне быть?

«Не знаю. Мне пора домой».

— Ты всегда будешь торопиться уйти от меня?

«Всегда».

— Возьми своей дочери шоколадку. Как ее зовут? Иренкой?

«Нет, Аленкой».

— Ну, прощай. Счастливой тебе дороги, — сказал я.

В ту ночь мне снились белые горы, а над ними, в небе, громадный черный шар с пронзительно сияющим на нем пятном...

До выхода на работу я восстановил водительские права, успел перепечатать и отослать в молодежный журнал повесть, безрезультатно наведался в милицию к своему следователю, закрыл бюллетень и отрепетировал предстоящий разговор с директором издательства о своей драке. Я даже составил конспект его предполагаемых вопросов и своих ответов, и моя ночная история приобрела на бумаге какую-то книжную убедительность, потому что в своих ответах директору я вынужден был отступать от правды. Я утаил, например, свой телефонный разговор с Иреной и не сказал, что первым ударил одного из нападавших. Поразмыслив, я решил удовольствоваться тут не двумя бутылками тракии, как сообщал следователю, а всего лишь одной,— не может того быть, чтобы самому директору не приводилось выпивать бутылку сухого вина! Взамен всего скрытого мне очень хотелось увеличить число бандитов и вооружить их не бабьим чулком с оловяшкой, а чем-нибудь посолиднее и потипичнее, ну хотя бы финками, но это я не стал изменять.

Понедельник правильно считают несчастливым днем — ведь никому не известно, хорошо или плохо провел воскресенье тот, от кого зависит твое благополучие. Спускаясь во двор, я загадал на количестве лестничных ступенек, и вышел нечет. Спидометр «Росинанта» показывал сто семнадцать тысяч девятьсот одиннадцать километров, и на мусорном ларе сидели и вещуще мяукали три черных приблудных кота.

Уже тускнела и по-июльски жухло коробилась листва городских деревьев, и небо было пропыленно-седым и томительным, не сулившим добра.

Ни на мосту, ни на берегах реки не было удильщиков, и вода чудилась густой и вязкой, как расплавленный гудрон.

«Росинанта» — давно не мытого и оттого, казалось, еще больше мизерного и сгорбленного,— я оставил прямо у подъезда издательства, чтобы на обратном пути все время видеть его с площадок лестницы,— крепость свою и защиту. В кабинет директора я прошел корабельной походкой. Он собирался звонить и уже снял трубку, поэтому, может, и не ответил на мое приветствие. Мы виделись с ним во второй раз, но он смотрел на меня неузнавающе, и тогда я сказал, что я Кержун.

— Ну и что?—спросил он.—Вы думаете, этого достаточно, чтобы разговаривать со мной от дверей и в шляпе?

Я решил, что дело мое тут дохлое, но все же объяснил со своего места, почему не могу снять шляпу.

— У меня там была рана,— сказал я.

— Какая рана? Где? — возвысил он голос.

— На затылке,— сказал я тоже неестественно громко.

— Да вы, собственно, по какому вопросу ко мне?

Он меня не узнавал, просто не запомнил, и я плохо соображал, зачем пошел к нему от дверей не по середине ковра, а по его обочине, кружным путем по паркету, трещавшему под моими ногами, как крещенский снег. Директор кинул на рычаг телефонную трубку, и по его тревожному торканью руки над столом было ясно, что он ищет кнопку звонка.

— Я Кержун, ваш новый сотрудник,— выкрикнул я и остановился в шаге от кресла для посетителей. Стало так тихо, что я слышал стрекот директорских ручных часов. Он что-то сказал, чего я не расслышал, а переспросить не осмелился.

— Садитесь,— предложил он. У него были трудные ореховые глаза с кавказской обезволивающей поволокой, и смотрел он на меня заинтересованно и насмешливо.— Так что с вами случилось, дорогой товарищ Кержун? Бюллетень у вас есть?

Я сказал, что есть.

— Сдайте его в бухгалтерию, приступайте к работе и запомните, пожалуйста, мой совет: если не умеете пить водку, употребляйте квас. В любом количестве!

В туалетной я выкурил две сигареты, потом пошел приступать к работе.

На Вереванне было какое-то диковинное платье, отливавшее роскошной купоросной зеленью. В комнате сладко пахло сырой пудрой и леденцами. Вераванна

встретила меня рассеянно-недоуменным взглядом, будто хотела спросить, что мне угодно.

— Велено приступить к работе,— сказал я ей сочувственно, после того как поздоровался.— Вы не находите возможным подать мне руку?

— Кажется, первым протягивает руку мужчина,— заметила она, покосившись на мою шляпу. Я сказал, что, значит, я ошибался, думая на этот счет иначе, и мы, что называется, поручкались ни горячо ни холодно. Мой стол был завален разным бумажным хламьем, и я прибрал его, сложив бумаги стопками по краям. Вераванна, огородив лицо белыми колоннами рук, чутко прислушивалась к тому, что я делал. По-моему, она читала все ту же рукопись.

— Вам не кажется, что это похоже сейчас на письменный стол Льва Николаевича? Что в Хамовниках? Который с решеткой? — спросил я ее о своем столе.

— Нет, не кажется,— ответила она из-за локтя.

— Жаль,—сказал я немного погодя.—Но вам, конечно, встречались в литературе насмешливые замечания о Толстом — как он выносил по утрам свое ночное ведро?

Она убрала со стола локти и величественно обернулась ко мне вместе со стулом.

— Ну допустим. И что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что это негодовал раб на то, что кто-то брал на себя его обязанности,— сказал я. Ей, конечно, трудно было понять меня в ту минуту,— я ведь разговаривал не с нею, а с собой: мое унизительное поведение в кабинете директора, эти его нелегкие восточные глаза, набитые уверенной независимостью и насмешливостью, мужской и, наверно, искренний совет мне насчет кваса, мои немые и благодарные поклоны ему при уходе,— я опять пошел почему-то не по ковру — все это было до того нехорошо, противно и разорительно, что мне обязательно требовалось обрести себя прежнего, каким я был на самом деле или старался быть, и ночное ведро Толстого понадобилось мне для самобичевания, только и всего. Но Вереванне трудно было понять это. Ее чем-то встревожил негодующий раб, упомянутый мной, и она, раздумно помедлив, вдруг напрямик спросила, был ли я у директора. Я безразлично сказал, что был.

— Ну и как?

— Что именно? — не захотел я понять ее.

— Побеседовали?

— С обоюдным удовольствием,— сказал я.

— Представляю себе,— проговорила она с усмешкой и огородилась локтями. Я прикинул, как бы подипломатичней спросить у нее о причине отсутствия Лозинской,— то ли назвать ее «коллегой», то ли «вашей подругой», но в это время меня позвали к Владыкину.

Вениамин Григорьевич по-прежнему внушал мне чувство растерянности и недоумения: я не мог до конца поверить, что он — главный редактор издательства, и дело было не в том, что эта должность не подходила ему, но он сам как-то не вписывался в нее,— своим притаенным житьем в нашем сутолочно-кооперативном доме, не вписывался зарезанной мною для него курицей. К этому еще прибавлялась младенческая кротость его глаз и эти горестные молескиновые нарукавники! Кабинетик у него был крохотный, с единственным продолговатым окном. Овальная верхушка его веерно разделялась узкими деревянными планками, между которыми церковно горели косячки витражного стекла. От этого в кабинете реял пестрый и какой-то келейно-благостный полусвет. Стол стоял в створе окна, и Вениамин Григорьевич сидел за ним уютно и степенно. Я снял у дверей шляпу и поклонился, но не глубоко. Он поклонился мне тоже и плавным выносом руки показал на стул, глядя на меня тихо и прискорбно. Тогда я неизвестно почему — и всего лишь на короткий миг — мысленно увидел перед собой портрет своего отца, помещенный лет пять тому назад в газетах. Отец был там в шлеме, с четырьмя шпалами в петлицах и с большими, наверно, синими, как и у Вениамина Григорьевича, глазами, но смотрели они у отца смело и непреклонно. Мне впервые подумалось, что я, должно быть, ни в чем не похож на отца, и, уже сидя на стуле, под оторопелым взглядом Вениамина Григорьевича надел свою соломенную шляпу, как и предполагал носить постоянно — чуть сдвинуто на правый бок.

— Та-ак,— сдержанно произнес он.— Ну, как вы, товарищ Кержун, выздоровели?

Я поблагодарил и сказал, что у меня все в порядке.

— Ну, а что будем делать? Работать или...

— Я сказал, что намерен работать.

— А как?

— По возможности добросовестно, — сказал я.

— Ну что ж, это хорошо. Мы тут решили предоставить все-таки вам месяц испытательного срока, а там... будет видно.

Я поблагодарил его за чуткость. Он передвинул на столе пластмассовый стакан с остро отточенными карандашами, но тут же опять водворил его на прежнее место.

— Вы были у товарища Диброва?

— Был,— подтвердил я, поняв, что речь идет о директоре.

— И что он вам сказал?

— Предложил сдать бюллетень и приступать к работе.

— Так-так... Ну, а еще что?

Вениамин Григорьевич смотрел на меня как-то постариковски притухше, будто не верил в то, что я способен на трудную правду о себе. И тогда я сказал, что директор посоветовал мне потреблять квас, если я не умею пить водку.

— В любом количестве,— сказал я твердо под его кротким взглядом. Он не изменил позы, но выражение лица у него стало печально-беспомощным.

— Товарищ Дибров, конечно, пошутил насчет кваса,— неуверенно сказал он, и я серьезно заверил его, что именно так это и понял. После этого мы поговорили о рассказе «Полет на Луну». Я сказал, что он очень мне понравился и править там, на мой взгляд, было нечего. Вениамин Григорьевич согласно кивнул и протянул мне легонькую рукопись, сшитую черными нитками. Он сказал, что она самотечная и что я должен внимательно прочесть ее и письменно изложить свое мнение страницах так на двух или трех. Я не стал спрашивать, к какому времени надо это сделать и о том, что такое «самотечная».

Может, мне следовало зайти в туалетную и покурить там, чтобы во мне улеглась вспышка эгоистичного торжества по случаю благополучного исхода своих утренних опасений, но этого я не сделал, и Вераванна, откровенно насмешливо поглядев на меня и на рукопись, ко-

торую я держал под мышкой, загадочно чему-то улыбнулась. Я сел за свой стол и приступил к работе. Повесть называлась «Позднее признание». В ней было сто три страницы, напечатанных густо и слепо. Написала ее женщина с легкомысленной фамилией Элкина, и то, что это могло быть псевдонимом, сразу же вызвало у меня настороженность — я почему-то решил, что эта Алла Элкина похожа на Веруванну. Тоже мне Жорж Санд! Я посмотрел конец повести, потом несколько кусков из середины, затем стал читать первую страницу. Она начиналась словами Стендаля о том, что прекраснейшая половина жизни остается скрытой для человека, не любившего со страстью. Эти строчки были подчеркнуты синим карандашом и старательно остолблены справа и слева двумя восклицательными знаками. До обеденного перерыва я прочитал третью часть рукописи и пришел к убеждению, что надо быть чертовски гордым, а может быть, очень несчастным человеком, чтобы осмелиться рассказать о себе такую опасно откровенную правду: «Позднее признание» оказалось дневниковой записью женщины, нарушившей закон о семье и браке. В рукописи было много грамматических ошибок, но это странным образом усиливало искренность ее исповедальности и непорочности. Я читал и незаметно для себя становился доверенным автора в ее греховном счастье, а от него, безымянного, обозначенного в дневнике буквой «Р», все чаще и чаще требовал упорства, находчивости и мужества. Им там все время негде было встречаться,— в осенние вечера таксисты брали десятку за час времени, пока они молча сидели на заднем сиденье, и я был готов предложить им своего «Росинанта», чтобы увозить их в лес и оставлять у костра, а самому оставаться в стороне и следить, чтобы к ним не забрел кто-нибудь посторонний. Наверно, я читал «Позднее признание» не по издательским правилам,— приходилось забываться и помогать этим двум бедолагам то словом, то жестом, а это не могло не потревожить эмоции Верыванны. Она, должно быть, просто усомнилась не только в моей редакторской компетенции, но и в литературной образованности, потому что ни с того ни с сего спросила, как я нахожу стихи Н. Я подумал и дипломатично сказал, что нахожу их вполне читабельными.

— Но они нравятся вам или нет?

— Не очень,— сказал я.

— Почему?

— Потому что после Блока и Есенина стихи писать не только трудно, но почти невозможно. Если, конечно, считать себя настоящим поэтом.

— Ах, вот что! Ну, а как насчет наших современных прозаиков?

— Тут, пожалуй, то же самое. Нельзя ведь не бояться Толстого. Или Бунина, — сказал я.

— Бунина?

— Да. Ивана Алексеевича.

— Потрясно! — самой себе сказала Вераванна. — Кроме непристойностей, я, например, ничего у него не читала. Эти его «Руси», «Таньки», «Кофейники» какие-то... ужас!

Она не вернулась с обеденного перерыва, и я пересел за Иренин стол.

В те утомительные длинные вечера я открыл, сторожа улицу из окна своей комнаты, что зеленовато-серые колпаки на удавно изогнутых стеблях фонарей очень похожи на каски немецких солдат, виденных мною в кино; что если тебе уже под тридцать, то никакой дьявол не вытурит засевшую в твое бобылье сердце тоску, и что вообще хуже всего ждать по вечерам. Сразу же, на второй день после отъезда Ирены, я установил на секретере двадцать четыре свечи. Я установил их в три ряда на металлических крышках для закупорки банок,— купил все разом в хозларьке,— и издали, от дверей, такая подставка казалась под горящей свечой чем-то непростым и загадочным. Каждый вечер я увеличивал — на одну — число горящих свечей, но это мало чему помогало: до двадцатого августа оставалось еще девятнадцать дней, и мне все чаще и чаще хотелось засветить сразу все двадцать четыре. Ложился я поздно,— иногда на наш двор забредали какие-то люди в белых брезентовых куртках штукатуров и за опустевшим столом козлятников принимались петь песни. Чаще всего это был «камыш», но иногда они с мучительной искренностью заводили «Лучинушку» или «Хаз-Булата», и я бежал на кухню и открывал окно. Штукатуров мгновенно окружала негодующая толпа пенсионеров из нашего дома, грозившая им «сутками» и мне тоже, потому что я защищал «этих пьяниц» сверху, из окна...

Возможно, потому, что я не снимал шляпу, а в обеденный перерыв не ходил в буфет,— мне надо было жить тогда экономно, а может, из-за моей вынужденной молчаливости,— я не находил, о чем бы нам поговорить,— Вереванне, как я замечал, все трудней и трудней приходилось переносить мое присутствие. Сам я тоже через силу терпел сырой сладкий дух не то пудры, не то раздавленной земляники, теплыми волнами исходивший от нее. Меня раздражали ее толстые голые локти, ленивые эмалевые глаза, неспособные удивляться, потому что для них, по-моему, не существовало никаких тайн мира, тревожила ее манера часами глядеть в рукопись, не переворачивая страниц, бесил, наконец, телефон на ее столе,— он не звонил, а мурлыкал, как сытый кот: наверно, чашка звонка была заправлена ватой. Я так и не спросил у нее о Лозинской,— что, мол, с нею. Я понимал, что такое мое равнодушие к коллеге могло дать Вереванне лишний повод к тому, чтобы подумать обо мне как о «потрясно» некультурном, скажем, человеке, но помочь себе я ничем не мог. Впрочем, вскорости отсутствие Лозинской «разъяснилось» для меня само собой. Однажды в нашу комнату заглянул из коридора большой, неопрятно одетый старик. Он курил янтарную разлатую трубку с длинным изогнутым мундштуком и, не здороваясь с нами, сквозь дым спросил, когда будет Ариша. Он так и сказал, кивнув на пустующий стол. Вераванна почему-то молчала, а старик ждал, и я предположил, что Ирена Михайловна, очевидно, больна.

— Больна?— обеспокоенно сказал старик и почему-то неприязненно поглядел на мою шляпу. Вераванна тогда оторвалась от рукописи и сообщила не старику, а мне, что Волобуй в отпуске.

— Простите?— не понял старик.

— Волобуй Ирена Михайловна в Кисловодске,— сказала ему Вераванна.

— Но она здорова?

— Да,— сказала Вераванна в рукопись.

— Благодарю вас,— проговорил старик и пошел к столу Ирены, небрежно притворив дверь. Трубку он держал двумя пальцами, как полную рюмку, и нес ее на отлете, и оттуда шел сизый дым с припахом донника.— Я не слишком помешаю вам? — спросил он нас. Вераванна промолчала, а я сказал «ради бога» и закурил сам.

Старик сел за Иренин стол и тихо засмеялся там чему-то, постучав трубкой по стеклу осторожно и трижды, как стучат ночью в чужое, но ждущее вас окно. Я не заметил, по какому месту стекла он стучал там,— то ли по снимкам Хемингуэя, то ли правее и выше, где был портрет матери Есенина.

— Вы не знаете, когда вернется Ариша?— немного снисходительно спросил он у меня. Глаза у него были сухие, сине-вылинявшие, а брови широкие, грозные, с завитком. Я неуверенно назвал двадцатые числа августа, и он кивнул и снова критически поглядел на мою шляпу. Он был худовато и как-то вызывающе одет,— кирзовые сапоги с бахромой на концах голенищ, плотные кортовые штаны и гнедая вельветовая куртка, из-под которой бантом выбивался пестрый ситцевый шарф, делали его похожим на сказочных бродяг из рассказов Грина. Это сходство с ними усиливало лицо — крепкодубленое, в седой щетине и рубцах морщин. Я никогда не встречал таких внушительных советских стариков, но все, что я тогда мгновенно-радостно подумал, оказалось впоследствии моим вздорным домыслом,— вопреки разящей внешней несхожести их я вообразил, что этот человек — отец Ирены. Когда-то он — так мне хотелось — разошелся с дочерью, но в конце концов простил ее, хотя с Волобуем так и не примирился. Еще бы! Сейчас он, конечно, живет один, может быть, даже не в нашем городе — и правильно делает! Наверно, Вераванна была у Волобуя свахой — сводней, и старик ненавидит ее, а она его и поэтому величает при нем Ирену Волобуихой... Он что-то начертил на листке блокнота, сложил его аптечным пакетиком и подсунул под стекло. На нас он не обращал внимания, и мне лично это не наносило морального ущерба — мне было отрадно следить украдкой за его лицом и за тем, как он изящно, глубоко и вкусно курил трубку и и как до всего, чем был заставлен стол Ирены: бронзовый писающий мальчик, деревянный грачонок, плюшевая обезьянка, зацепившаяся хвостом за ветку пальмы,—по нескольку раз дотрагивался мундштуком трубки с таким нежным ожидающим вниманием, будто грачонок или обезьянка были живые. Я снова подумал, что он смело мог быть отцом Ирены: ему здорово подходила фамилия Лозинский—как, например, мне моя, а Волобую—его! Я не уследил, когда он взял с подоконника какую-то толстую новую книгу,— они там лежали двумя прибранными стопками,

сложенные, наверно, Иреной. Он читал ее минут десять, раскрыв на середине, и вдруг спросил у нас с Веройванной, что такое свет горний. Вопрос был неожиданный и странный, и мы молчали.

— Это,— сказал он нам сквозь дым,— то, чего нет у автора вот этой книги. Да и как он может написать что-нибудь дельное, если не касается по неведению двух таких великих стихий, как краски и запахи! Разве ему известно, к примеру, что свежесрезанная и очищенная от коры ореховая палка пахнет арбузом, настоящим хохлацким кавуном, а третья бутылка шампанского — конским копытом!

— Позвольте,— оторопело выпрямилась Вераванна,— почему это третья бутылка шампанского так...так идиотски у вас пахнет?

— Потому, уважаемая, что вторая еще пьется с наслаждением,— проникновенно сказал старик, и мне показалось, что он на секунду зажмурился.

— Но отчего же конским копытом? Кто это знает, как оно пахнет?

Вераванна, не моргая, поочередно оглядывалась то на старика, то на меня.

— В том-то и все дело. Писатель обязан совершенно точно знать, чем и что в жизни пахнет. Для этого надо обладать хорошим обонянием, а не только носом!

Старик кинул на подоконник книгу и встал из-за стола. Он ушел, как и появился,— в сизом дымном ореоле, небрежно притворив за собой дверь. Я почтительно спросил у Верыванны, кто этот человек, и она сухо ответила, что он бывший художник. Она не пожелала объяснить мне, почему он «бывший», будучи живым. Она считала, что этот вопрос мне следовало задать лично ему, старику, и мы замолчали...

В этот день, вечером, дома у меня горело тринадцать свечей. На них лучше всего было смотреть издали, из коридора, оттуда пламя свечей виделось торжественней, потому что подставки под ними притушенно мерцали тогда каким-то таинственным древним сиянием. Свет свечей вызывал тихую сожалеющую грусть и потребность в опрятности: при нем почему-то нельзя было оставить в углу комнаты щетку, а в пепельнице — окурки, и тянуло

к несуетной работе по дому, и хотелось ступать неслышно для самого себя. Я переставил на новое место раскладушку — подальше от секретера, переместил радиоприемник и перевесил поближе к окну и свечкам единственную у меня картину — литографию врубелевского «Демона». Комната стала знакомо-чужой, будто я во второй раз пришел к кому-то в гости, но застал там лишь самого себя. Я сварил кофе и включил радиоприемник. По нашему «Маяку» под старинную рязанскую молодайку пела Зыкина, по «Би-Би-Си» ярились битлсы, а Варшава передавала то, что мне было нужно,— полонез Огинского, «Афинские развалины» и «Танец маленьких лебедей». Мне не приводилось бывать на Кавказе, например в Кисловодске, и я стал думать о нем, как о вознесенном на скалу давно полуразрушенном городе-замке,— розово-светлом, повитом плющом. Там не бывает закатов солнца, и люди носят белые одежды. Я перенес туда на скалу Бахчисарайский фонтан, развалины дворца хана Гирея и башню Тамары,— поэтичнее этого я ничего не помнил из книг о Кавказе, что годилось бы к перемещению. Я собирался мысленно спросить у Ирены, хорошо ли ей там сейчас, после всего, что мною проделано для Кисловодска, но музыка прекратилась, и я услышал короткие торопливые звонки в коридоре. Ко мне редко кто заходил, и то, что я тогда подумал: «А почему бы ей не послать мне телеграмму?!»— было схоже с тем ударом на мосту: моя комната озарилась для меня сияющей вспышкой, и я побежал к входной двери. Звонили, наверно, давно и веряще в то, что я дома, потому что звонки были прерывисто-множественные, как сигналы бедствия. Я распахнул дверь. За нею стояли трое — чистенький щупленький лейтенант милиции, пожилой осанистый мужчина в кожаном картузе и женщина в квадратных очках. Она спросила, «чего я не открываю», и я извинился и отступил в коридор.

— Стоим, стоим, а он хоть бы чего!

Это опять сказала женщина, и я снова извинился. Лейтенант вскинул руку к козырьку фуражки и назвался участковым Пёнушкиным. У него хорошо это получилось — и ловкий взмах руки, и четкий пристук каблуков, и с удовольствием произнесенное слово «участковый». Он был белесый и синеглазый, и его, видно, распирала какая-то веселая и посторонняя от всех нас

причина: иначе ему едва ли бы понадобилось здороваться со мной за руку, когда я назвал свою фамилию, и этим разрушать мое подозрение о недоброй цели своего визита с понятыми. Он сказал, глянув на своих спутников, что на меня вот поступила жалоба от общественности дома, но тон его голоса не грозил мне бедой, и я открыл перед ним дверь в комнату, а у тех двоих спросил, угодно ли им войти тоже.

— Пускай заходят,— сказал участковый, и я пропустил их мимо себя. В комнате по-прежнему горели свечи, и свет их был тепел и ласков. Пёнушкин снял фуражку и прошел к окну, где стояли оба мои стула. Общественников я усадил на раскладушку,— мне не захотелось предлагать кому-нибудь из них второй стул, потому что на нем я решил сидеть сам.

— Так вот, товарищ Кержун, жалоба на вас поступила, — сказал Пёнушкин, косясь на свечи. Мы сидели с ним лицом к лицу, чуть не соприкасаясь коленями. Я сказал ему, что весьма сожалею, и спросил у общественников, удобно ли они там устроились. Женщина сердито что-то проговорила, и я поблагодарил ее, а участковому снова выразил свое сожаление.

— Вы не могли бы изложить существо жалобы? — сказал я.

— Давай, Птушкина,— кивнул он женщине,— в чем у вас дело?

— Он и сам знает, в чем,— сказала она.— Мы ведем на территории своего двора борьбу с пьяницами, а он вмешивается, срывает! Было это или нет?

— Это вы насчет рабочих со стройки?— спросил я.

— Не рабочих, а пьяниц,— выкрикнула Птушкина и поднялась с раскладушки. Я попросил ее не шуметь и сказал, что она ошибается: это в самом деле, сказал я, были штукатуры с соседней стройки.

— А хоть бы и штукатуры,— подал утробно-низкий голос ее сосед, тоже вставая. — Твое какое собачье дело?

— Не выражайся, Дерябин,— предупредил его участковый,— давайте разбираться по существу.

Он все поглядывал и поглядывал на свечи,— недоуменно и чуть подозрительно, и я наклонился к нему и сказал извиняюще, что жду гостей.

— Это ничего,— дозволил он.— День рождения, что ль, у кого?

— У невесты моей,— сказал я ему полушепотом и не почувствовал никакой неловкости за эту свою мгновенно придуманную радостную неправду.— А за штукатуров я действительно пару раз заступился тут,— признался я.— Видите ли, вся беда в том, что полы их курток не прикрывают карманов их брюк, и головки бутылок видны издали.

— Конечно видны,— сказал Пёнушкин.

— Но бутылки у них пустые,— сказал я,— штукатуры изредка заходят в наш двор после выпивки, чтоб попеть песни за столом козлятников, понимаете?

Птушкина крикнула, что это брехня. Всем известно, сказала она, что эти штукатуры сперва пьют тут водку, а потом кричат всякие похабные песни, и Дерябин подтвердил это. Я сказал, что штукатуры никогда не пели в нашем дворе плохих песен.

— Будя брехать! — опять крикнула Птушкина. Пёнушкин солидно выслушал обе стороны. Он сдержанно разъяснил мне, что в ночное время во дворах и на улицах города петь запрещено, и я пообещал ему не вмешиваться больше в дела общественности дома.

Они ушли гуськом — первым участковый, следом за ним Дерябин, а замыкающей Птушкина. Я постоял немного в коридоре, затем прошел в комнату и зажег остальные одиннадцать свечей.

Синим погибельным огнем горел мой испытательный срок в издательстве: сто три страницы «Позднего признания» решительно не поддавались никакому отзыву, и я знал, чем это для меня пахнет. Потрясенная, видно, своим недолгим, «преступным» и трагичным счастьем, сосредоточившаяся на одном этом, Алла Элкина написала не повесть и не дневник, а что-то похожее на несмелый призыв к участию, и может, к прощению, потому что у них там с этим Р. было все, что в конце концов неминуемо вызывает непрошеное вмешательство посторонних. Могла быть и другая причина, побудившая эту женщину, послать в издательство свою рукопись,— страх забвения случившегося с нею,— автору хотелось, наверно, чтобы пережитое не кончилось для нее в ту самую секунду, когда оно ее покинуло. Меня изнурила ее тихая хрупкая печаль, вымученная робкая откровенность и полное отсутствие писательского навыка. Закончив читать ее записки, я испытал сложное чувство немого удивления перед покоряющей силой обнаженного слова и осуждения себя за под-

глядывание чужой тайны. По разноцветным кольям восклицательных знаков, похожих на те, что наставил Вениамин Григорьевич в моих «Альбатросах», по его нечаянно оброненному в напутствие мне пренебрежительному слову «самотечная» я понимал, что «Позднее признание» надо забраковать, но как это сделать— не знал. Не хотел знать. До конца моего испытательного срока оставалось четырнадцать дней, а до возвращения Ирены — десять. Мне, наверное, причитались кое-какие деньжонки по бюллетеню, но предчувствие изгона и предполагаемая мизерность суммы мешали пойти в бухгалтерию...

В тот день, когда появилась Ирена, была пятница. Ирена пришла раньше Верыванны. Я сидел за ее столом, щелкал мизинцем обезьяну на пальме и курил последнюю в пачке сигарету. Никогда потом Ирена не была такой неожиданно высокой, обновленно-смуглой и вызывающе гордой, почти презрительной. Она остановилась у дверей и длинно посмотрела на меня, скосив глаза к переносью, и я встал и пошел к ней. Я поцеловал ее в лоб — сверху, издали и молча, как покойницу.

— Я думала, что тебя нет. Совсем... Я зайду позже, сядь за свой стол,— сказала она, как при простуде. У нее возвратились на место глаза, но в росте она не уменьшилась.

— Я ждал тебя каждый день... Со свечками,— сказал я.

— С какими свечками? Почему со свечками?

— По числу дней. Двадцать четыре свечи, но позавчера я зажег их все,— сказал я.

— Я зайду позже. Мы с тобой не виделись, сядь скорей за свой стол,—почему-то ожесточенно сказала она и вышла, а я сел за свой стол. У меня почему-то похолодели руки, и было трудно сердцу, будто я нырнул на большую глубину. Сейчас вот, на этом месте своей книги, я долго размышлял над тем, что это со мной тогда было, почему я испытал в ту минуту живую пронзительную тревогу за Ирену, как будто мне хотелось — издали и молча — оградить ее от какой-то далекой смутной беды. Впрочем, это у меня быстро прошло, и когда появилась Вераванна, я неумеренно весело и искренне поздоровался с нею и сказал, что рад ее видеть.

— Скажите пожалуйста! Что это с вами случилось нынче? — спросила она.— Пятак на дороге нашли?

— Ничего не нашел,— сказал я,— но у вас сегодня неотразимо добрый свет глаз.

— Неужели? Вот не знала... А вам никто не говорил, что вы в своей шляпе похожи на архи... архихирея?

Вераванна, видимо, и сама сознавала, что обмолвка получилась смешной, потому что дважды пыталась поправиться, но «архиерей» у нее не прояснялся, и я не удержался и захохотал.

— Дурак! Самовлюбленный пижон!— с неизъяснимой томной яростью сказала она, и в эту минуту в комнату зашла Ирена. Меня опять поразила в ней какая-то напряженная недоступность и готовно-стремительная собранность, как при опасности. Я ненужно поспешно встал и поклонился ей, а Вераванна, замедленно оглядев ее, удивленно спросила, когда они вернулись. Ирена сказала, что прилетела одна ночным самолетом, потому что доломитные ванны оказались ей противопоказаны.

— Надо же! Неделю не могла подождать... А Лавр Петрович как? С Аленкой остался? Вы же собирались к своим в Ставрополь заехать. Как же теперь?

Вераванна спрашивала дотошно и въедливо, с большими испытующими паузами и с каким-то стойким и ненавистным мне свекровьим правом на Ирену. Я встал из-за стола и вышел в коридор. Там я неожиданно для себя установил, что имя «Лавр» нельзя произнести, чтобы не рычать, что оно вообще не человеческое, а черт знает какое имя, Лавр, видите ли... В бухгалтерии, куда я так же внезапно для себя решил независимо зайти, мне не очень охотно и почему-то сердито старичок кассир выдал три замусоленные десятки и два трояка. Я купил в буфете пачку сигарет и, когда вернулся в комнату, то ни Ирены, ни Верыванны уже не застал. До конца рабочего дня я несколько раз звонил Ирене домой, но там молчали. От стола Верыванны нестерпимо пахло удушливой земляничной прелью.

По пути домой я купил бутылку шампанского, халу, ливерную колбасу и шоколад «Аленка». Я давно не ездил на «Росинанте», и он запылился и отчего-то присел на задние колеса, будто готовился к прыжку. Я обтер его, подкачал камеры и поехал на рынок за фруктами,— мало ли что могло там оказаться. Но рынок уже иссяк, фруктов никаких не было, и я купил два стакана тыквенных

семечек, — раз ты сам что-нибудь любишь, то почему другой не должен любить то же самое! Звонить я поехал к той своей будке у моста,— меня никто не смог бы убедить в том, что это — несчастная для меня будка. Наоборот. У реки, возле моста, каждый на единолично-собственном клочке земли, упрямой шеренгой стояли удильщики. Они ловили тут на дикуна, но сырть, охотно бравшая его, воняла клоакой и нефтью. Я отрадно подумал о своем озере, о бабке Звукарихе, и хотелось, чтобы Ирена тоже приучилась когда-нибудь удить...

Будка была стыдно запакощена внутри всевозможными срамными рисунками и безграмотными надписями. И от этого, и еще по другим, смутным для меня самого причинам я не захотел звонить Ирене двумя копейками, а гривенника не оказалось. Возможно, тут все дело во мне самом, а не в тех кассиршах и продавцах различных магазинов, где я пытался иногда выменять нужную, срочную двухкопеечную монету,— я никогда не получал ее, если издали не оценивал, способен ли тот продавец и кассирша вообще оказать услугу, и это всегда оборачивалось для меня трудным, почти неразрешимым усилием. На этот раз дело было проще, мне требовался гривенник, а не две копейки, но и его я заполучил лишь с третьей униженной попытки. Уже с ним, с гривенником, по пути к своей будке я подумал, что Ирена, например, не сможет отказать в помощи человеку. И я тоже не откажу. И бабка Звукариха. И Борис Рафаилович. И тетя Маня. И тот рыжий владелец «Запорожца». И наш директор Дибров. И «бывший» художник-старик, что назвал Ирену Аришей... А вот Вераванна откажет. И Волобуй тоже. И Птушкина с Дерябиным откажут. И черт-те сколько их еще, безымянных и нам неведомых, которые откажут! Я так и не решил, как поступят Вениамин Григорьевич Владыкин и участковый Пёнушкин. Они откажут? Или нет?

По тому, как Ирена поспешно, четко и приветливо сказала мне «здравствуйте, Владимир Юрьевич», я понял, что там в квартире есть кто-то чужой, кому не надо знать, кто звонит.

— Я, наверно, тот художник-старик, что оставил тебе под стеклом записку?— спросил я.

— Да-да,— засмеялась она.— Я нашла вашу записку, Владимир Юрьевич. Спасибо, что надумали позвонить. Как здоровье Анны Трофимовны?

— Толстеет неизвестно с чего,— сказал я.

— Передайте ей, пожалуйста, мое почтение,— сказала Ирена. Она говорила весело, почти озорно и совсем безопасно.

— У тебя сидит эта вальяжная ступа?— спросил я о Вереванне.

— Да-да.

— Я ее терпеть не могу! — сказал я.

— То же самое и там,— ответила Ирена.— Погода одинаковая, только в Кисловодске еще жарче. И устойчивей.

— Она сказала, что я дурак и самовлюбленный пижон,— пожаловался я.

— Эту новость я уже слышала, Владимир Юрьевич... Очень прискорбно, конечно.

— Я хочу тебя видеть,— сказал я.

— Непременно, Владимир Юрьевич. Звоните иногда.

— Через час, ладно? — сказал я.

— Да-да. Не забудьте поклониться от меня Анне Трофимовне.

— Гони скорей эту корову вон!— посоветовал я.

— Вы очень добры, Владимир Юрьевич... До свидания,— сказала Ирена.

Я оставил «Росинанта» под каштаном возле телефонной будки, а сам спустился к реке, но больше минуты не смог пробыть там, потому что отрешенная, безучастная занятость рыбаков показалась мне непонятной, дикой и просто противоестественной в том тревожном, что было вокруг,— стремительно текучая куда-то река, беспокойно-недобрый крик городских чаек, белесое и низкое городское небо с пожарно рдеющим на нем городским предзакатным солнцем. Я вернулся к «Росинанту» и сел на заднее сиденье: там можно было вообразить, что ты находишься не в своей, а в чужой машине; что через час ты не сам поедешь на ней куда-то, но что тебя повезут друзья; что тебя совсем-совсем ничего не тревожит, что все обстоит благополучно и надолго надежно...

Ровно через час я позвонил Ирене снова и не узнал ее голоса, — он был какой-то намученно-уклончивый и потерянно-тусклый. Она посторонне осведомилась, как я себя чувствую, и я поблагодарил.

— На работе все в порядке?

— Все,— сказал я.

— Ну и отлично.

— Я купил тыквенные зерна,— сказал я.

— Что?

— Белые семечки, говорю, купил. Два стакана...

— А, это вкусно...

— Ну вот видишь!— сказал я. Мы помолчали, и в трубке я слышал ее дыхание.

— Меня, наверно, прогонят с работы,— сказал я и объяснил почему. Она долго медлила, потом трудно спросила, где я нахожусь и со мной ли «Позднее признание». Мы условились встретиться на том самом месте, где расстались накануне ее отъезда в Кисловодск,— почти за городом. По дороге туда я заехал в издательство и взял дневник Элкиной. Наше овсяное поле было уже сизым, спелошафранным, легким и шумным, и на щербатых головках полинявших васильков одиночно ютились подсыхавшие к исходу лета шмели. Ирена приехала в автобусе. На ней было то самое черное полудетское домашнее платье, и прошла она к «Росинанту» по кювету,— убедненная и жалкая, как тогда...

У ручья в лесу, где под Веройванной когда-то пел круг, в кустах ольхи и краснотала уже копились предвечерние тени и было тихо и по-августовски свежо. Ирена сидела надломленно-беспомощная, прикрыв зачем-то ладонями тыквенные зерна, которые я еще на дороге близ города насыпал ей в подол платья. На нее было трудно смотреть, и я сказал, что мы уедем отсюда в ту же секунду, как только она скажет об этом. Она, как заводной кукленок, кивнула головой и зябко поежилась, вдавливаясь в сиденье. Я снял с себя свитер и набросил его ей на плечи.

— Надень с рукавами, а я пойду разожгу костер,— сказал я, и она опять кивнула бессмысленно и трогательно... Ручей усох и чурюкал невнятно и вкрадчиво. Он почти зарос дикой мятой, а там, где кромка берега была доступна солнцу, розовыми круглыми наметями стлался чебрец — ладанно-пахучий и шелестяще-ломкий, как иней. Костер я развел прямо на берегу ручья у трех тронно возвышенных островков чебреца, чтобы на среднем из них поставить шампанское, а на крайних сидеть самим. Я стоял у костра и ждал, пока он разгорится, и когда обернулся, чтобы идти к машине, увидел по-

зади себя Ирену. Она была в моем свитере, доходившем ей до коленей. Она была совсем маленькая и изнуряюще невообразимая со своим трепетно-жертвенным и доверчивым взглядом, вонзенным в меня. Я подхватил ее на руки, и она обняла меня за шею, и мне стало нечем дышать...

Костер чуть тлел,— она не согласилась разжечь его до неба, как хотелось мне, и я знал почему: боялась, что нас заметят с дороги. Он чуть тлел, и прямо над нами стояла высокая синяя звезда с двумя косо-отвесными белыми рогами. У нас не было никакой посудинки под шампанское, а пить из бутылки Ирена не умела. Она сидела против меня на своем чебрецовом троне и то и дело оглядывалась в темноту за собой — на шоссе.

— У этой дуры что, своей семьи нету, чтоб не следить за чужими, черт подери?—спросил я о Вереванне.

Ирена помедлила и сказала, что она одинока.

— Она лахудра,— сказал я.— Кто ей мешал самой выйти за твоего коротышку? Или ты у ней отбила его?

— Ты не мог бы не говорить мне этого?— прибито попросила Ирена.

— Почему?— спросил я.

— Ну хотя бы из соображений пристойности.

Я пожалел, что сказал это, и поцеловал ее ладони. Она всхлипнула и ткнулась головой мне в грудь.

— Ты не знаешь, как мне будет противно увидеть себя завтра в зеркале! А тут еще она, Вера... У нее и фамилия какая-то родственная с ним — Волнухина. Волобуй — это гриб?

По-моему, существовал гриб валуй, но я не стал это уточнять. Какая разница!

— Но ты все равно будешь думать не то, что было и есть,— сказала Ирена.— Я вышла замуж, когда мне шел шестнадцатый год...

Я встал, отошел за костер и оттуда спросил:

— Такая волобуйная страсть нашла?

— Да! Страсть!— на крике сказала она.— В тридцать восьмом году мой отец комбриг Лозинский и мать военврач первого ранга... Я четыре раза убегала из детприемника, пока...

Я тогда уже держал ее на руках и пытался зачем-то зажать ей рот. Я не давал ей говорить, и у меня в затыл-

ке колюче ворочался комок боли, и сердце подпирало гортань. Изо рта Ирены под моей ладонью выбивался скулящий зверушечий вой. Я ходил вокруг костра, выкрикивал ей в темя слова утешения пополам с угрозой, и она постепенно затихла. Она была совсем невесома. Мне вспомнилось, как ей трудно было тащить тогда в городе резиновый матрац, полунаполненный воздухом, и я подумал, что в двадцать лет еще можно нажить силу, а в тридцать один — едва ли.

— Вот пришел великан,— сказал я.— Такой большой, большой великан. Вот пришел он и упал. Понимаешь? Взял и упал!

Ирене, наверно, было уютно у меня на руках, и она не пыталась сойти на землю. Уже в середине ночи мы обновили костер, и я сделал из шоколадной фольговой обертки бокал для Ирены. Мы опять сидели на своих прежних местах, и Ирена была до слез дорога мне, утонувшая в моем свитере, бережно державшая обеими руками этот мой звездно мерцавший бокал.

— Послушай, Антон,— вдруг просительно сказала она,— а тебя ничего не стыдит и не давит обидой из твоего прошлого?

Я не понял.

— Ну из поступков...

Она отодвинулась от костра, чтобы быть в тени, а я боялся услышать от нее самой что-нибудь темное и ненужное для нас обоих,— мало ли каким мог быть ее собственный поступок!

— Ты не хочешь говорить?

Я видел, что ей самой становится страшно.

— Почему ты молчишь?

— Я воровал,— сказал я.

— Воровал? Когда?

— Когда убегал из детприемников. Это всегда случалось летом, и я жил на рынках...

— Ну говори же!

— В последний раз я обокрал пьяного сонного старика, когда мне было шестнадцать лет.

— Антон, милый... Обокрал?

— Да. Это был сторож нашего ФЗУ,— сказал я.— У него оказалось всего три рубля. А что ты?

— У меня страшней... Мне было пятнадцать лет, — сказала она и заплакала. Я поправил костер и не тронулся с места.— Это было осенью в Энгельсе. Я зашла

домой к своей учительнице. Так просто зашла... У них тогда какие-то заключенные под охраной пилили в сарае дрова...

— Черт с ними со всеми! — сказал я ей через костер.— Я ничего не хочу знать. Чище тебя нет ни снаружи, ни изнутри!

Она поперхнулась каким-то словом и, с радостным сумасшествием взглянув на меня, сказала, что я помешанный.

— Я только блин украла, дура-ак,— в слезный распев заголосила она и смяла бокал. Я кинулся к ней и посадил к себе на колени.

— Какой блин, дурочка?

— Горячий! Я ждала, пока они ели, а потом...

— Вот пришел великан,— перебил я.— Такой большой, большой великан, слышишь?

— Я спрятала его под берет... но все думала, что он виден, и закрывала голову руками...

— Пришел и упал, понимаешь?— сказал я.

— Лидия Павловна догнала меня во дворе и сняла берет... При тех, что пилили... Она думала, что я украла зеркальце...

— Зацепился ногой за ступеньку и упал! Почему ты не слушаешь?— крикнул я.— Сейчас же замолчи! Сейчас же!

В город мы вернулись на заре.

Отзыв на повесть Элкиной Ирена уместила на двух страничках, но за счет величины букв и ширины полей я довел их до трех с половиной. Самотечную рукопись «Позднее признание», по моему мнению, нельзя было, к сожалению, рекомендовать издательству, ибо все, что заложено в нее автором, могло явиться пока лишь подсобным материалом для будущей книги. Я считал, что сюжет рукописи беспомощно рыхл, а поведение и взаимоотношения действующих лиц лишены психологической основы и убедительности. У меня создалось впечатление, что А. Элкина написала свою повесть, так сказать, не переводя дыхания, мало заботясь об отделке страниц, не придерживаясь элементарных законов, по которым создаются книги, — четкая идея, строгая фраза, сознание нужности сказанного советскому читателю. Самый главный недостаток повести я видел в том, что автор не справился с задачей показать богатый внутренний мир наших современников, их духовный облик, красоту и

страстность общественно значительных поступков.

Вениамин Григорьевич встретил меня пасмурно. Наверно, оттого, что день был сумрачный, в его кабинете устойчиво залегала тускло-цветная полумгла, побуждавшая к молчанию и тревоге. Пока он читал мой отзыв, я стоял у стола между стульями и держал руки по швам,— больше их некуда было деть.

— Та-ак,— сказал он неопределенно.— Вот то же самое получилось и с вашей повестью, товарищ Кержун. Мелкий факт быта еще не значит факт жизни, понимаете?

— Конечно,— сказал я.

Мне до сих пор непонятно самому, что толкнуло тогда меня на безоглядно вздорную похвальбу, хотя сказал я это твердо и даже с вызовом,— я сказал, что мои «Альбатросы» приняты молодежным журналом. Вениамин Григорьевич поднял на меня глаза и посмотрел испытующе-собранно и затаенно, как смотрит рыбак на поплавок, когда тот качнулся и замер.

— Журнал что же, письменно уведомил вас?

— Письменно,— сказал я. Руки я держал по швам.

— Ну что ж. Это хорошо. И когда они намерены печатать?

— В декабрьском номере,— сказал я, как во сне. Я стоял и вспоминал о необъяснимо удивительном случае, когда однажды ночью на моего «Росинанта» надвинулся слепой МАЗ. Он выскочил из-за пригорка шоссе по левой стороне и ударил меня светом метрах в пяти или шести. Я помню, что мои глаза, руки и все тело отключились тогда от моей воли, подчинясь какой-то неподвластной мне безымянной силе самопроизвольного расчета и действий. Я думаю, что только благодаря этому мы разминулись в ту секунду с МАЗом, и теперь, стоя перед Владыкиным, я надеялся, что тут это тоже как-нибудь пройдет и я останусь цел. Он по-прежнему смотрел на меня ожидающе, со смутным оттенком недоверия, и моя правая рука самостоятельно торкнулась в задний карман брюк и извлекла записную книжку. Я перелистал ее, но ничего не нашел. Это, наверно, должно было означать, что извещение журнала я оставил дома или же утерял. Вениамин Григорьевич сказал «ну-ну» и спрятал в стол дневник Элкиной вместе с моим отзывом. Рукопись, которую он выдал мне для работы, называлась «Степь широкая». В ней было шестьсот

страниц, и она значилась в плане издательства на будущий год.

О своем вранье Владыкину я рассказал вечером Ирене. Она нашла, что тут нет ничего ни позорного, ни опасного. Ну, скажу, если он поинтересуется в декабре, что, мол, перенесли на февраль. Или вообще раздумали. Мало ли? Действовал же я так, по ее мнению, только потому, что хотел психологически воздействовать на него из чувства самосохранения. Только и всего...

Несмотря на то что с Веройванной я был, по совету Ирены, не человеком, а облаком, она встречала мою тайно торжествующую вежливость с непонятным ожесточением и подозрительностью. Я чувствовал, что ее раздражали мои свитеры, шляпа, ботинки, запах «Шипра», моя походка и мой рост. Ее появление по утрам я каждый раз приветствовал теперь стоя, с серьезным и вполне учтивым поклоном, но она почему-то воспринимала это как насмешку, и лицо ее покрывалось бурыми пятнами. Мне полагалось ждать, пока она первой усядется за свой стол, и я так и делал, и это опять-таки встречалось глухим отпором. Когда я спрашивал у нее разрешения курить, она, уже сося леденец, говорила «отштаньте от меня», и грудь ее колыхалась как кочка на трясине. Я извинялся и курил в коридоре, а возвращаясь, предупреждал ее об этом стуком в дверь. Ей тогда приходилось говорить «пожалуйста», но поскольку это был всего-навсего я, она откровенно фыркала и злилась.

— Что вы кочевряжитесь? Больше вам заняться нечем?

Я с большим удовольствием послал бы ее к чертовой матери, но Ирена говорила, что этого нельзя делать.

К тому времени, когда нам приходила пора возвращаться в город, костер обычно дотлевал полностью и я прикрывал горячую золу чебрецом или листьями ольхи. Мне всегда было грустно покидать эту жалкую серую кучку пепла: тогда невольно думалось о неизбежном конце любых земных горений и хотелось, чтобы зола не остыла до ночи, когда нам тут опять можно будет воскресить новое живое чудо. В ту зарю, когда Ирена

уже в самом городе приказала мне вернуться к ручью, был наш четвертый сгоревший там костер. Я не стал ни о чем ее спрашивать, развернул на обратный курс «Росинанта» и выжал из него все, на что он был способен. Наша поляна была обновлена робкой световой зыбью зарождавшегося дня, и от горки пепла, из-под чебреца, которым я прикрыл перед отъездом прах костра, выбивался розовый и витой, как буровец, столбик пара.

— Жив!— счастливо и хищно сказала мне Ирена.— Ты хоть что-нибудь понимаешь из этого?

— Понимаешь из этого!.. Ты же редактор областного издательства художественной литературы,— сказал я, восхищенный тем, зачем она сюда вернулась. Тогда с нею произошло какое-то странное преображение: в ее подбирающихся к моему лицу руках, в сузившихся и скосившихся к переносью глазах, в покривившихся полураскрытых губах и вообще во всей фигуре появилось что-то мстительное и старинно-степное — ни дать ни взять настигнутая врагом черемиска!

— Ты хочешь меня оцарапать? Давай,— засмеялся я.

— Откуда ты это знаешь?— отшатнулась она.— Господи, что я говорю! Антон, скажи мне... Это всегда-всегда бывает у замужних женщин? У всех?

— Что?— не понял я.

— То, что у меня теперь с тобой... Я тогда лечу и лечу! Я никогда этого не знала, слышишь? И рождение Аленки тут совсем ни при чем, понимаешь, о чем я говорю?

— Да,— сказал я.— Когда он возвращается?

— В понедельник, двадцать первого.

— Он же хотел заехать в Ставрополь,— вспомнил я.

— Нет... Я получила вчера телеграмму.

— Дерьмо он!— сказал я.

— Нет. Он хуже... Ему нельзя было так меня обкрадывать, нельзя!..

Я поцеловал ее и сказал о великане, как он зацепился за порог. Мы выехали на шоссе — пустынное и чистое. Из-за города вставало солнце и ослепляюще било мне в глаза.

— Мы сейчас поедем прямо ко мне,— сказал я,— а в понедельник заберем Аленку.

Мысль эта пришла мне в голову мгновенно, и я ощутил, как под шляпой у меня упруго выпрямились волосы, вздыбленные ознобным восторгом, похожим на ужас.

— Куда к тебе? Что ты говоришь?!

Ирена отодвинулась от меня к дверке.

— На Гагаринскую,— сказал я.— В воскресенье мы обвенчаемся в Духовом монастыре. Ты будешь в белом платье!

— Что ты говоришь? В каком монастыре? Ты сошел с ума!.. Он убьет сперва меня, потом тебя и... всех!

— Убьет? Этот кожаный мешок с опилками? Я распорю его по всему шву, вот так!— показал я рукой, как распорю его.

— Я тебя боюсь!— воскликнула Ирена.— Высади меня, пожалуйста, тут. Останови!

Мы уже въехали в город. Он был еще малолюден. Я погладил Ирену по плечу и сказал, что довезу ее до моста, а там она дойдет сама.

— Конечно, там дойду,— сказала она, как заблудившийся было ребенок, которому показали дорогу к его дому.— Не надо так больше пугать меня, ладно?

И все-таки день этот получился для меня хорошим. Я тогда проспал,— прилег на раскладушку, не раздеваясь, а когда проснулся, шел уже двенадцатый час. Я спустился в подъезд, чтобы позвонить Ирене и спросить, как быть. Она подумала и голосом Владыкина сказала, что все порядочные советские люди имеют обыкновение спать ночью.

— Днем они, товарищ Кержун, созидают!

— В том-то и дело,— сказал я.

— Это не оправдание. У вас есть какие-нибудь уважительные причины опоздания на работу?

Я признался, что в самом деле боюсь попасться Владыкину на глаза.

— Я вам не Владыкин, а Вениамин Григорьевич!

Ей почему-то было весело.

— Ты что там дуришь?— сказал я.

— Пришла вторая телеграмма. Там решили заехать в Ставрополь,— сказала она.— А Владыкин с нынешнего дня в отпуске. Что же касается председателя месткома товарища Волнухиной, то ее тоже нет сейчас в издательстве. Она завтра утром отбывает в Сочи. Тебя это устраивает?

— Вполне,— сказал я.

— Очень рада! А почему ты все же спишь днем, а не ночью?

— Да вот связался с одной полуночной шалавой,— сказал я.

— Ах, вот что! А она в самом деле шалава? Или только шалавка?

— Шалавка!— сказал я.

— А она хорошая?

— Так себе...

— А ты ее любишь?

— Очень!

— А она тебя?

— Это пока не совсем ясно ей самой.

— Ах ты пижон несчастный! Мало тебя били тогда женским чулком! Врун детприемовский! «Мои «Альбатросы» печатаются, видите ли, в двенадцатом номере».

— Ты чего там разболталась? — сказал я. Мне очень хотелось видеть ее в эту минуту.— Когда мы нынче встретимся?

— В три часа дня в издательстве. Я приду с Верой, чтобы взять у ней рукопись для доработки. Пожалуйста, веди себя тогда прилично, ладно?

— Шалавка ты,— сказал я.

Когда они появились, я встретил их стоя молчаливым поклоном из-за своего стола. Полноте добротности поклона мешала, конечно, шляпа на моей голове, но тут ничего нельзя было поделать, и Вераванна, уже разомлело приуготовленная к отбытию в Сочи, решительно игнорировала его, а Ирена сделала мне за ее спиной легкий грациозный кникс. Она, наверно, сознавала, как искристо блестят и торчат ее глаза, и, чтобы скрыть это от Верыванны, сразу же прошла к окну. Я тогда тайно поблагодарил судьбу за все мне уже посланное в жизни — от детприемников и до чулка с оловяшкой, так как подумал, что без всего этого нам бы не жечь с Иреной своих костров. Еще я подумал — но уже совсем сумасбродное, специальное для Верыванны,— что вот возьму и вскочу со стула и подниму на руки Ирену и поцелую ее в глаза, и не по одному разу, а по четырежды четыре, и что ты нам сделаешь, попа ты этакая? Завизжишь, как подколатая свинья? Ну и визжи!

— Вот, Ириш. От закладки на триста седьмой странице,— томно сказала Вераванна. Вид у нее был скорб-

но-страдальческий, и рукопись она протягивала Ирене через стол, не вставая со стула.

— А сколько там всего?— спросила Ирена в окно, не оборачиваясь.

— Четыреста шесть... Остались какие-то пустяки. Ну сколько тут, господи! Тебе это на три вечера...

— Конечно... Мы ведь условились,— вибрирующим голосом сказала Ирена. Она припала к подоконнику, заваленному книгами, и я заметил, как содрогаются ее плечи в беззвучном смехе. Было непонятно, какой бес ее разбирал, но мне оказалось достаточно одной догадки, что она боится взглянуть на меня, чтоб нам не расхохотаться одновременно, как в свое время в лесу, и меня начал душить смех. Я заклинал себя удержаться от желания взглянуть на Веруванну, — она что-то подозрительно притихла, но взглянуть очень хотелось. Она по-прежнему держала на весу рукопись, где для Ирены «остались какие-то пустяки»; и, привлеченная моими горловыми звуками, похожими на подавляемую икоту, глядела на меня брезгливо и удивленно.

— Если б вы только знали, что тут написано!— сказал я ей и, так же, как и она, приподнял над столом свою рабочую рукопись. Тогда все еще могло обойтись благополучно, не скажи она капризно «отстаньте от меня, пожалуйста, очень мне нужно». Но она сказала это, и я рассмеялся.

— Вера!.. Иди скорей! Ты только посмотри, что тут творится, — задушенно сказала Ирена в окно. Вераванна подошла к ней, и неизвестно, чем бы все это кончилось, не войди тогда к нам тот «бывший» художник, от имени которого я разговаривал с Иреной по телефону, когда у нее торчала Вераванна. Он заглянул в дверь, оставаясь в коридоре,— сердитый, о чем-то думающий и с трубкой, как в первое свое появление.

— Аришенька? Рад тебя видеть, деточка,— сказал он Ирене, заметив ее, и было видно, что он на самом деле обрадовался. Ни с Веройванной, ни со мной он не поздоровался, а Ирене поцеловал руку.

— Как отдохнула?

— Хорошо, а как вы поживаете? Анна Трофимовна здорова?— чересчур поспешно спросила Ирена.

— Толстеет неизвестно с чего, — небрежно сказал старик.— Вы нашли мою записку?

— Да-да,— растерянно подтвердила Ирена. Я пой-

мал ее взгляд, уперся подбородком в ладонь и прикрыл указательным пальцем губы,— «не давай, мол, задавать ему вопросы, спрашивай сама».

— Вы хорошо выглядите, Владимир Юрьевич,— сказала Ирена.— Что у вас новенького? Кончили писать монастырь?

— Почти, — ворчливо отозвался тот. Вераванна все заглядывала и заглядывала в окно, но во дворе издательства, конечно, ничего не «творилось». Ни смешного, ни грустного.

Минут через десять они ушли — Ирена с «бывшим» впереди, а Вераванна с рукописью сзади. Старик не попрощался со мной, и это, как я подумал, было не обязательно, поскольку мы не поздоровались сначала.

В тот раз мы впервые за неделю не смогли поехать к своему ручью, потому что Вераванна улетала в четыры часа утра, и Ирена, как она выразилась, должна была провожать ее в добропорядочном виде.

— Вот так, мой шушлик! —сказала она мне в телефонную трубку. Я не понял, кто я, и она повторила.

— А что это такое? — спросил я.

— Это значит суслик. Так тебя называла бы Вера, если бы...

— Если бы я?

— Нет, не ты... Если бы не я!

— Это потряшно! — сказал я. Мне стало совсем весело.— Ты что там сочиняешь!

— А почему ты притворяешься передо мной, будто не понимаешь причины ее неудовольствия? Но, возможно, у вас все еще наладится. Тем более что человек она свободный, разведенный...

— И пышный,— подсказал я.

— Еще бы!

Голос ее изменился, в нем была уже злость пополам с обидой.

— Ты что там чудишь? — сказал я.— И кто этот «бывший» старый пират, который величает тебя Аришей, а со мной не здоровается и не прощается?

— Бывший? Почему бывший?

Она спросила меня об этом строго и как чужого. Я сказал, что так называет его товарищ Волнухина.

— Ах вот что. Это, очевидно, у нее производное от сло-

ва «отбывал», — предположила Ирена. — Я иногда устраиваю ему халтурку, иллюстрации к детским книжкам.

— Все понятно,— сказал я.— Но мы все равно не встретимся?

— Сегодня нет. Слушай, Антон... Скажи мне, про свечки ты все выдумал тогда, да?

— Ты можешь их увидеть сама в любое время,— сказал я.— Что с тобой стряслось?

— Не знаю,— тихо сказала она,— мне что-то подумалось...

— О чем?

— Я, наверно, не хочу, чтобы ты сидел с нами в одной комнате, понимаешь?

— С вами? — спросил я.

— С нею!

— Господи ты боже мой! — сказал я.

— Ты меня крепко любишь?

— Дурочка! Где ты там есть? — крикнул я в трубку.

— А ты сам где?.. Ложись пораньше спать, ладно?.. Не шаландайся по улицам...

Мне почудилось, что она плачет.

Когда тебе долго-долго не спится, а в комнате стоит удушливая меркло-серая тишина, подсвеченная в окно уличным фонарем, в это время хорошо — точно и беспощадно — думается о многом: прошедшем и настоящем, реальном и выдуманном, дозволенном и запретном, и все это в конце концов сводится к одному большому-большому вопросу — как жить дальше...

Утром, еще по безлюдью, я поехал на бензоколонку и за восемьдесят семь копеек — все, что у меня оставалось,— приобрел пятнадцать литров бензина. Все еще по безлюдью я благополучно проделал несколько рейсов от вокзала до рынка, — была пятница, базарный у нас день. Перевозить пришлось деревенских торговок с громоздкими корзинами и мешками — таксисты не брали их с таким багажом,— и к семи часам я заработал девять рублей деньгами и полведра яблок натурой. После этого я вернулся домой и принял душ. Под темный костюм не шла соломенная шляпа, а берет свалялся и сел, и его пришлось стирать и натягивать на тарелку. Я так и не мог решить дома, какие розы купить по дороге на работу — одни белые или разные? И сколько их

надо — три или четыре? Оказывается, четыре. Три белые и одну черную: это стало ясно на рынке. В издательство я занес розы в бумажном пакете, а в своей комнате укоротил на них стебли, встромил в стакан с водой и поставил на стол Верыванны. Я впервые тут свободно и с удовольствием закурил и принялся за работу. Рукопись «Степь широкая» оказалась романом о целине. Начинался он с того, как демобилизованный солдат Антон Павлович Беркутов привез в степь «Большой земли» глухую обиду на человеческую неблагодарность: девушка Тося, с которой у него была «большая дружба», не захотела ехать с ним в Казахстан. «Ну и плевать на нее»,— солидарно сказал я ему вслух, потому что как-никак этот Беркутов был моим тезкой. На столе Верыванны давно уже мурлыкал телефон, но я не сразу осмыслил свое право отзываться на его звонки. Я снял трубку и сказал, что издательство художественной литературы слушает.

— Это невероятно! Даже художественной? А кто со мной говорит?

Голос у Ирены был насмешливый и радостный.

— Младший редактор отдела изящной прозы Антон Павлович Кержун,— сказал я.

— Сроду не встречала такой надменной фамилии! Хотя, позвольте. Вы случайно не тот Кержун, который однажды...— Она осеклась и замолчала.

— Который что? — спросил я.

— Ничего. Почему ты мне не позвонил за все утро?

— Который однажды что?

— Не допытывайся, Антон. Я не скажу.

— Нет, ты обязательно скажешь. Сейчас же! — сказал я.

— Ну ладно, горе ты мое... Я хотела пошутить насчет твоего сторожа ФЗУ, но вспомнила свою учительницу, и дошучивать не захотелось. Удовлетворен?

— Да,— сказал я.

— А почему ты не звонил?

— Ждал, пока ты проснешься после проводов.

— Я совсем не ложилась, глупый!

— Тогда слушай сюда,— сказал я.— В семнадцать ноль-ноль мы едем венчаться...

— Куда венчаться? Что ты опять выдумываешь? Я же тебя просила...

— Мы обвенчаемся на озере, одни. Совсем без никого. Отсюда это сорок километров. Вернемся утром в понедельник. Едешь?

Она молчала.

— Ты вернешься домой, на свою Перовскую,— пообещал я. Дыхания ее не было слышно, и мне очень хотелось знать: как она меня слушает, стоя или сидя? Сам я стоял.

— Что надо взять с собой? — издалека спросила она.

— Хлеб, десять брикетов дрожжей, перец для ухи и две ложки,— сказал я,— все остальное найдем там.

— У кого найдем? Ты же говорил, что мы будем только вдвоем!

Я объяснил, что там живет одна моя знакомая бабка.

— А зачем нам дрожжи?

Это я объяснил тоже.

— Хорошо,— покорно сказала она.— Я буду ждать там, где всегда.

— Ничего подобного! Я приеду за тобой на Перовскую. Ровно в пять,— сказал я. Она молчала, и я не слышал ее дыхания.

Эта наша пятница выдалась тогда как по заказу — было солнечно и жарко, но без зноя, и поднебесно-широкий полет городских стрижей обещал такую погоду по крайней мере еще дня на три. Мы, наверно, раскинем палатку, думал я, на моем прежнем месте и до заката солнца успеем словить что-нибудь на уху. Хотя бы десяток окуней. Этого вполне хватит. Надо только не забыть остановиться при выезде из города возле молочного магазина и прихватить две банки из-под сметаны заместо рюмок: я вез бутылку шампанского и пол-литра польской чистой водки выборовой. Еще в тот раз, когда я подвозил на улицу Софьи Перовской матрац, мне подумалось о доме под номером десять, что жить в нем, наверно, невесело и трудно: дом был трехэтажный, готически стремительный и узкий, из красного глянцевитого кирпича старинной выделки. Это был какой-то сумрачно-холодный и прочный голландский особняк, а не русский дом, а сколько можно жить в голландском особняке за его кирхообразными стрельчатыми окнами, если знать, что рано или поздно, но все равно надо будет собираться домой! Он стоял в глубине, а не в линию с

соседними домами, и поэтому широкий квадрат тротуара перед ним казался пустым и неприветливым, как запретная зона. Я подъехал к этой зоне ровно в пять часов, захватил розы и пошел в подъезд особняка. Там оказалась железная, колокольно крутая и тесная лестница, поэтому рюкзак, который несла Ирена, не помещался сбоку, и она спускала его впереди себя.

— Ты сумасшедший! Скорей иди в машину! — сказала она мне шепотом, глядя не на меня, а на розы. Я подал их ей издали, с нижней ступеньки лестницы, и она выпустила лямку рюкзака и пошла к «Росинанту» дробными неспорыми шагами, неся перед собой розы, как носят факел. Она была в белом платье и голову держала прямо и напряженно, будто все те прохожие, что встречались нам на тротуаре, знали, куда и зачем она идет. Я шел раскачной корабельной походкой в полутора шагах сзади, чтобы загородить ее от окон особняка, и рюкзак прижимал к животу, чтобы его тоже не было видно из окон. Ирену прибило не к передней, а к задней дверце «Росинанта», и я впустил ее внутрь, положил рядом рюкзак и совершенно серьезно — для них, кто хотел слышать,— спросил ее, как глухую, за кем сперва заезжать, за товарищем Владыкиным или за Дибровым?

— За товарищем Дибровым сначала, пожалуйста,— сказала Ирена. На окна я не оглядывался, но подумал, что «Росинант» мог быть поновей и посолидней,— не обязательно «Волгой», но хотя бы «Запорожцем». Он снялся с места рывком, и о банках из-под сметаны мне вспомнилось уже за городом при въезде на лесной проселок, что вел к озеру. Там я остановился и перевел Ирену на переднее сиденье.

— Ну, здравствуй! — сказал я ей.— Спасибо тебе за белое платье.

— А тебе за розы,— растроганно сказала она.

— Я хороший у тебя малый?

— Да,— сказала она.— Но ты совсем сумасбродный. Как ты мог явиться с ними на виду у всех? Что же будет потом, после?

С нами, значит, ехал Волобуй. И Вераванна. И Владыкин с Дибровым. И весь город. Проселок был разбит и разъезжен тракторами. Я норовил держаться между колеями, но диффер зарывался в песок, и приходилось то и дело переключать скорости, выжимать до отказа газ, злиться на «Росинанта» и на то, что черную розу

Ирена устроила в середину трех белых,—она, значит, не хотела — ну и пусть не в самом городе, а тут вот, в лесу, — вышвырнуть ее за окно! День для меня померк, и ехать становилось все трудней и трудней. Я смотрел вперед, молчал и не видел Ирену.

— Вот там, кажется, можно развернуться, — сказала она мне в плечо так, будто мы только за тем и забились на этот проселок, чтобы найти место, где можно развернуться. Я сказал «да», вырулил на полянку и развернулся. Я поехал по своему же следу, но с удвоенной сосредоточенностью, а сердце кричало Ирене, чтобы она сейчас же приказала мне остановиться!

На шоссе я закурил и увеличил скорость,— мы возвращались в город.

— Дай мне, пожалуйста, сигарету тоже,— бесстрастно сказала Ирена. Она не смотрела на меня и розы попрежнему держала на весу, как держат подсвечник с горящими свечками. На мое вежливое «ради бога» она с неподражаемым достоинством сказала «благодарю» и закурила и отвела от себя сигарету тем плавно грациозным движением, которое доступно только женщине с тонкими аристократическими руками. Я ехал, намечал телеграфные столбы и ждал — вот у этого или у того она прикажет остановиться. Или взглянет на меня,— этого вполне хватило бы, чтобы я повернул назад. Но она молчала, а когда мы достигли пригорода, отстраненно проговорила, что выйдет тут. Я сказал «как будет угодно» и стал притормаживать. У меня ломило в затылке, и сердце я ощущал в груди так, будто там ворочался ежик и устраивал себе гнездо. Ирена вышла из машины, и я подал ей рюкзак. Она взяла его в левую руку, потому что в правой держала розы, и пошла к автобусной остановке. Рюкзак бил ее по ногам и волочился по тротуару, а я сидел в машине под властью какой-то немой сладострастной муки саморазорения и ничего не мог поделать — ни позвать ее, ни шевельнуться.

Вряд ли можно объяснить, зачем мне понадобилось ждать, пока уйдет автобус, в котором скрылась Ирена, и лишь после того погнаться за ним. Я несколько раз обходил его, а на остановках выбегал из «Росинанта» и становился у выходных дверей автобуса,— Ирена всякий раз видела меня, но автобус уходил, и я обгонял его снова. На пятой остановке — уже перед центром города — она тем же приемом, что и на лестнице своего

дома, спустила со ступенек автобуса рюкзак, и я забрал его у ней, а ее взял под локоть и повел к «Росинанту», как слепую,— немного впереди себя. Розы она несла в правой руке. Они растрепались и сникли,— их можно было выбросить к чертовой матери все. Я сказал ей об этом уже в машине. Сказал я и о черной — для чего ее покупал и что имел в виду.

— О, какой дурак! Какой дремучий дура-ак! — изумленно ахнула Ирена.— При чем тут Волобуй!

Она выпустила за окно черную розу и заплакала тихо, горько и беспомощно. Видеть это было невыносимо, и как только мы опять очутились за городом, я самобичующе сказал, что она еще не представляет себе, какая я несусветная сволочь! Ирена перестала плакать и притаенно насторожилась.

— Ты думаешь, Волнушкина не права насчет того, что я самовлюбленный пижон? — спросил я.

— Она пока что Волнухина, — напомнила Ирена.

— Черт с ней, — сказал я, — все равно она права.

— Предположим, хотя исповедоваться передо мной ты несколько запоздал. Не находишь? — Ирена смотрела на меня влажным раскосым взглядом, в котором таились ирония, растерянность и любопытство. — Что же за тобой водится?

— Все что хочешь, — сказал я. — Уже в детприемниках я считал себя лучше всех. Вообще необыкновенным... Я как-то увидел над своей тенью золотой обруч вокруг головы. Это случилось летом, рано утром, когда нас гнали на речку купаться. Ни у кого такого обруча не виднелось, только у меня одного!

— И что же?

— Лет до четырнадцати я считал это... вроде отметки на мне свыше, что ли. Может, поэтому я чаще других убегал на волю...

— А потом?

— А потом узнал, что такой солнечный нимб светится в росной траве над тенью каждого, но видится он только самому себе.

— Но ты поверил этому не до конца, да? И как теперь проявляет себя твой нимб?

— По-разному,— сказал я.— Ты знаешь, например, что я сделал сегодня, когда покупал тебе розы? Я нечаянно вступил в лужу, вытер ботинок новым носовым платком и отшвырнул платок в сторону. Вот так отшвыр-

нул,— показал я, каким жестом это было сделано.— Но суть не в платке, — сказал я, — а в моем злорадстве, — оттого, что за него подрались две торговки.

— Понятно. Какие еще за тобой пижонские грехи? — внимательно спросила Ирена.

— Многое. Меня бесят маломерные пожилые пенсионеры с толстым низким задом в полинялых брюках. Мне они представляются олицетворением какого-то долголетнего незаконного благополучия!

Ирена отвернулась и стала глядеть в боковое окно.

— Ты своего отца отчетливо помнишь? — неожиданно и тихо спросила она.

— Нет, очень смутно,— сказал я.— А при чем здесь он?

— Не знаю...— неуверенно сказал она.— Но мне подумалось, надо ли винить всех его ровесников за то, что — они живы, а его нет? И почему я должна понимать это лучше тебя?.. Лучше моего вздорного и тщеславного Кержуна, автора морской повести, которая будет, видите ли, напечатана в декабре!.. Кстати, а как это ты смог попасть на корабль, заходящий в иностранные порты?

Мне сделалось тошно от этого вопроса, потому что я подумал почему-то о Волобуе.

— Деточка моя, до этого я три года служил на флоте подводником. И на какой лодке! — с вызовом сказал я.

— Ты? — спросила Ирена. Она спросила недоверчиво и восхищенно, и я съехал с проселка и заглушил мотор,— мне очень нужно было поносить ее немного на руках, как ребенка...

В лесу у озера на моем прежнем месте все было цело — рыжий квадрат хвои, где стояла палатка, конопатые крушиновые штыри для нее, пепел костра. Уже наступала та кроткая и всегда почему-то печальная пора межсветья, когда день кончается, а вечер еще не завязывается. Лес казался загадочным и строгим, и из машины я ввел в него Ирену, как в собор без людей.

— Непостижимо,— чуть слышно сказала она,— я тебя еще не видела и не знала о твоем существовании, а ты тут жил...

В прогал прибрежных кустов и деревьев проглядывало озеро. Далеко на середине оно было светло-опаловым, как и небо над ним, а ближе к берегам вода таинственно синела и туманилась. Спуск к озеру зарос ежевикой и черничником, а тропа, что я проторил весной лодкой в молодой осоке, лебедино белела лилиями. Через ее створ хорошо виднелся на том берегу озера одинокий двор бабки Звукарихи. Хата топилась, и голубой сквозящий дым стоял над трубой неколебимо, мирно и чарующе.

— Боже мой! Ты только посмотри туда, Антон!.. Пусть струится над твоей... над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет,— продекламировала Ирена и ткнулась головой мне под мышку.— Я сейчас поплачу, ладно? Немного...

Я обнял ее и сказал, что вот пришел великан. Большой, большой.

— Но он нынче не упал,— сказала Ирена сквозь слезы.— Ты не обращай на меня внимания, это сейчас пройдет. Мне так хорошо и радостно и поэтому трудно...

Мы не могли остаться в лесу, потому что я забыл одеяло. Это выяснилось, когда надо было ставить палатку: в багажнике лежали только мешки с лодкой и палаткой, моя рыбацкая одежда, яблоки, о которых я не вспомнил за всю дорогу, и бутылки. Мы посоветовались и решили ехать к Звукарихе.

— Она совсем-совсем одна? — спросила Ирена.

— Совсем,— сказал я.— Ты купила ей дрожжи?

Дрожжи были.

Звукариха, видать, услыхала шум мотора загодя и сошла с крыльца прежде, чем я вылез из машины. Я поцеловал ее трижды, и она всхлипнула. Фанерные звезды на конике крыльца кровянились густо и темно,— наверно, недавно были подкрашены.

— Ну здорово ж тебе, — сказала она приморенно и сипло.— Карал-карал тогда, а я все жду да жду...

Было неясно, что она имела в виду — дрожжи или мое обещание на том серебряном рубле.

— А там ктой-то ж сидит? — различила она в «Росинанте» Ирену. Я сказал, что там жена.

— А брехал — один междомишь!

— Мы только неделю назад поженились,— объявил я.— Теперь вот приехали порыбачить. И дрожжи тебе привезли. А постель себе забыли...

— Да будто у меня места мало,— сказала Звукариха. Я позвал Ирену, и она пошла к нам по двору плывущей балегной походкой, вытягиваясь в струну и размахивая руками не в лад шагов. Она смущенно поздоровалась с бабкой и тычком, защитно притулилась ко мне.

— Во-во! — поощрила ее Звукариха.— Не выпускай соловья из клетки, пока он тебе все песни не скричит!

Она повела нас в хату. Там крепко пахло перекисшей хлебной дежой, укропом и полынью: седые метелки ее были раскиданы по полу — наверно, от блох. Хорошо — тепло и от чего-то ограждающе — мерцала в сумрачном углу под потолком большая старинная икона. Под ней стоял непокрытый стол за скамейкой, а на нем дымился чугунчик с вареной картошкой.

— А я вечерять собралась,— пояснила Звукариха. Она засветила лампу, и в хате возник тугой роиный гуд мух,— их было столько, что потолок и стены шевелились как миражные.— Ну не б..? — сказала о них Звукариха невинно и ласково, как о нужной ей в доме живности. Я засмеялся, а Ирена ничего «не услышала».— Гоню-гоню утром, ну, кажись, ни боженной, а вечером опять пропасть. Ну не...

— Бабушка, а может, мы все поужинаем на берегу? — перебил я.— У нас выпить есть. И костер разведем.

— Ну! — согласно сказала Звукариха.

Мы разостлали палатку за баней возле мостков из двух слег, с которых Звукариха черпала воду из озера, и я стал сотворять из готовых бабкиных дров костер, а Ирена стол: в рюкзаке был хлеб, шпроты, ветчина и бутылка коньяку. Я побежал к «Росинанту» за яблоками и остальными бутылками, и Ирена окликнула меня, чтобы я захватил розы. Звукариха носила и носила из хаты свою нам, как она сказала, закусу́ — чугунчик с картошкой и блюдо с малосольными огурцами, кринку с какой-то «топлюшкой» — это потом оказалась обыкновенная, только почему-то розовая сметана — и квадратный кусок улежавшегося соленого сала. Справа от нас в парном расстиле приозерного плеса стоял беспрерывный, истомно-торжествующий стон лягушек, а через озеро, прямо к подножию мостков и нашего костра, пролегла жутковатая червонно-золотая дорога с голубыми окоемами,— напротив нас из-за леса всходил огромный крас-

ный месяц. Широк, щедр и фантастичен был этот наш свадебный стол, раскинутый на палатке, освещенный луной и костром. Мы расселись вольно, на просторном расстоянии друг от друга, но наши с Иреной руки то и дело сталкивались и путались, и Звукариха на первом же стакане шампанского — Ирене захотелось начать с него — крикнула нам, что она «горькая — и шабаш!» Наверно, мы поцеловались не совсем по правилам застолья, потому что бабка молодо засмеялась, и мы поцеловались еще и еще...

Огурцы с картошкой одинаково здорово подходили под шампанское и под коньяк.

— Ты подюжей питай жену,— сказала мне бабка.— А то она ишь какая!

— А какая я, бабушк? — встрепенулась Ирена.

— Да... малешотная,— определила Звукариха.— Чегой-то ты так?

— Не знаю... Я просто миниатюрная.

— Она просто миниатюрная,— подтвердил я.

— Ну, тебе видней,— сказала мне бабка и опять засмеялась озорно и молодо. Тогда мне и пришла мысль искупаться, но не потому, что хотелось во хмелю лезть ночью в озеро, а совсем по иной причине. Причина эта возникла в тот момент, когда Звукариха назвала Ирену моей женой, а потом сказала, что мне все видней. Я тут же мысленно столкнулся с Волобуем, и не обязательно вспоминать все до конца, что я тогда подумал и что вообразил... Купаться надо было! Это надо было для того, чтобы в свете костра и луны Ирена увидела при свидетелях, какой я юный и стройный, будь он проклят ее пузатый коротышка, и как я умею плавать и нырять...

Сарай стоял у кромки плеса. Крыша его была щелиста, и лунный свет просачивался к нам на сеновал тонкими игольчатыми стрелами. В сене сухо стрекотали кузнечики, пружинисто, с щелкающим отливом лап прыгали по одеялу и подушке, и я нащупал в изголовье свой берет и осторожно прикрыл им лицо Ирены.

— Спасибо, родной,— сказал она,— А я решила, что ты мгновенно заснул. Вы ведь всегда тогда...

Мы долго лежали молча, не шевелясь, потом я спросил в крышу сарая:

— Почему ты запнулась? Что мы тогда?

Я не запнулась, — сказала Ирена, садясь на постели,— а спохватилась, что ты можешь подумать об этих моих словах. Так вот, о том, что «вы тогда», я знаю из книг. Преимущественно переведенных с иностранного... Почему ты окаменел? Что с тобой? Ревнуешь? Но это же несправедливо и дико! Пойми, мне трудно и стыдно говорить тебе... Ты должен понимать все сам! Он ведь старше меня на двадцать два года, и мы давно чужие. Совсем! А в первые годы, кроме отвращения и боли... Господи! Ты и есть мой муж... Один... С самого начала. Почему ты не хочешь поверить мне, почему?

Я сел и обнял ее.

— Потому, что ты не хочешь уйти от него.

— Куда?

— Ко мне на Гагаринскую,— сказал я.

— Одна?!

— Нет, с Аленкой.

— Это невозможно, ей ведь одиннадцатый год! Ты понимаешь, что это такое? Дети в ее возрасте, особенно девочки, страстно привязываются к отцу, а он... Ах, да что об этом толковать! Она не пойдет к тебе со мной. Он ее не отдаст, суд не присудит... Нет, это совершенно исключено... Зачем ты меня мучаешь?

— Но это же противоестественно, что ты жена какого-то Волобуя, а не моя! — сказал я.

— Нет, я твоя жена! Твоя! Я сама пришла к тебе... Ты это знаешь!

— Давай спать,— сказал я.— А то я позову великана, и он заберет тебя в сумку.

— Великан это ты сам, и я не боюсь...

Меня испугало, как трепетно и бурно колотится у нее сердце. Я сказал ей об этом немного погодя, и она натянула на наши головы одеяло и спросила:

— А ты тоже летишь тогда как жаворонок? Все выше и выше, до страшного, а потом так же страшно камнем вниз?

— Да,— сказал я.

— Хорошо, что мы ровесники, что я даже немного постарше... А теперь скажи... Только не утаивай, мне это безразлично... Я какая у тебя?

— Невообразимая.

— Ты знаешь, о чем я спрашиваю.

— Вторая,— сказал я в темноте.

— Кто она была?

— Позор один... Повариха ФЗУ... Старше меня лет на двадцать пять. Она совращала меня и подкармливала...

— Ну все. Замолчи!.. У нас совсем родственные судьбы. Я люблю тебя. До смерти!

Заснула она сразу, впервые покойно и доверчиво прижавшись ко мне.

На заре вселенную взорвал пронзительно-разбойный крик, и мы вскочили одновременно, я думаю, с одной и той же мыслью, что нас застигли,— по крайней мере именно этот разоряющий человека страх застигнутости метнулся в глазах Ирены и передался мне. Орал кочетище. Он стоял у нас в ногах — лупастый, большой, с кустистым малиновым гребнем и сам весь сизо-пламенный, как дьявол. Он спел еще раз, и я кинул в него пучок сена.

— Это же... петух, — рвущимся шепотом сказала себе Ирена, когда он сринулся с сеновала.— Отроду такого не видела!

Я тоже не встречал таких могучих петухов, и, пожалуй, раскрывалась природа тех диковинно-красочных яичек, которые я выдавал весной Владыкину за цаплиные, — должны же петухи нести какую-то ответственность за то, какой величины и цвета яички кладут куры? За стеной сарая, на воле, причетно ругалась Звукариха,— должно быть, гнала к плесу корову. Она просто, видно, не придавала никакого смысла словам, что произносила, и мат у нее получался напутственно-добрый, милостивый. Ирена зажмурилась и спряталась под одеяло. Я поцеловал ее, подождал, пока она заснула, и тихонько слез с сеновала. Солнце уже взошло, но еще не показалось из-за леса, и трава была седая, холодная, в мотках обросевшей паутины, а озеро томлено-розовым, покойным, только по закрайкам осоки вскипали свинцовые всплески — подпрыгивала мальва. На этих местах и следовало удить: там охотились окуни. «Росинант» тоже обросел и опаутинился, и вид у него был заброшенно-бродяжий. Я обласкал его словами бабки Звукарихи, надел на себя тельняшку, куртку, парусиновые брюки и кирзовые сапоги, потом накачал лодку. Был соблазн похмелиться остатками коньяка, и я так и сделал, закусил яблоком и пошел на огород за наживкой. Червей было сколько угодно. Я наполнил ими консервную банку, сложил в лодку якоря, насос, садок, удочки,

круги и весла и поволок лодку к озеру. На мостках, то припадая к ним, то выпрямляясь, тулилась спиной ко мне бабка Звукариха, и нельзя было понять, что она делала — то ли умывалась, то ли молилась на восход солнца. Позади нее стояли два ведра, и мне не было видно, полные они или пустые. Я верил примете, что перед ловом хорошо повстречать женщину с полными ведрами, и стал ждать, когда Звукариха управится и пойдет мне навстречу. Она была босая, но в теплом платке и телогрейке, и лицо ее было сухим и печальным,— молилась, значит.

— А я, чуешь, не смогаю с властями,— пожаловалась она мне, когда я забрал у нее ведра с водой, чтоб поднести к крыльцу хаты.

— Попалась? — спросил я.

— Пятьдесят рублей штраху заплатила... Как один гривенник!

— Как же ты так неосторожно работаешь? — сказал я.

— А чтоб ты сам подеял, када они цельных три дня, соковозы проклятые, елозили тут на лодке... вот как твоя. И молоко покупали, и бабушкой кликали... И три рубля за две бутылки посулили. А после минцанерами объявились. Перерыли все, ну и... остатные три сноровили. Аж в печку лазали, ну не ироды, а? Нешь вот ты полез бы?

— Избавь меня бог,— сказал я.— И заводилку твою разрушили?

— Ну не-е! То все там, махнула она рукой куда-то на лес за озеро.— Как присоветуешь-то, затеять маненько для своих, раз дрожди есть, аль погодить?

— А как тебе самой-то хочется? — спросил я.

— Да вроде затеять.

Я посоветовал затевать,— ее мокрые ноги напоминали озяблые гусиные лапы, и хотелось, чтобы она поскорей ушла в хату.

А рыбалка не задалась. Я сразу же, как только заякорился, стал ждать Ирену, а не поклев, и приходилось то и дело привставать в лодке, так как осока загораживала от меня не только сарай, но и мостки. Лодка тогда шаталась, а удочки падали в воду, и все это никуда не годилось,— удить надо всегда одному. Совсем одному! Солнце уже выкатилось из-за леса, и было обидно, что Ирена не видит, во что и как преобразился мир, в ко-

тором я торчал в одиночку, будто все это надо мне одному! Меня стали раздражать стрекозы, их пунцовые колдовские глаза,— они у них не смежаются, потому что стрекозы будто бы никогда не спят... Наполеон, говорят, тоже мало спал — всего четыре часа в сутки. И ничего. Жил человек... А она, конечно, может проспать и до двенадцати. Она же не Наполеон!..

Она окликнула меня с мостков — беспокойно, ищуще, потому что не видела, где я, и у меня хватило выдержки подождать, чтобы услыхать еще и еще раз от нее свое имя и уловить ее тревогу, а потом только отозваться. Она была в голубом лыжном тренинге и издали казалась пацаном, на которого нельзя было долго смотреть,— возникало какое-то странное и необъяснимое желание надавать, надавать ему за то, что он был вот такой невыразимый, стоял там на самом кончике мостков, что-то говорил, и ждал, и любил меня...

— Почему ты так рано встала? Я еще ничего не поймал,— сказал я ей, когда подплыл к мосткам, и она поверила, что я недоволен ее помехой.

— Я испугалась, что тебя нет, — сказала она. — И тут тоже не было...

— Могла бы спать и до двенадцати. Теперь вот останемся без ухи...

Черт знает, для чего я это говорил, и неизвестно, что сказал бы еще, похожее, если бы она не повернулась и не пошла с мостков, и в волосах у нее пониже макушки я не увидел засушенный стебель папоротника — разлатый, золотой, целый. Я не думаю, что посредством маленьких темных знаков, именуемых буквами, возможно объяснить, почему это ее невидимое и неощутимое самой «украшение» так больно ударило меня в сердце, напомнив мне, кто мы с нею такие и где находимся...

Она, оказывается, и не знала, что стрекозы никогда не спят. Летом по крайней мере...

Мы поплыли в тот конец озера, где видели вчера лилии. Рюкзак с едой Ирена держала на коленях, а я греб и все время помнил, что в нем сидит бутылка выборовой. Становилось жарко, но Ирена сказала, чтобы я побыл пока в куртке и в сапогах, и все время посматривала на меня исподтишка то с затаенной иронией, то с недоумением, как на чужого,— ее что-то забавляло в моей одежде. До этого, пока я подкачивал у мостков лодку и круги, она произнесла воспитательный монолог о том,

что мы никогда и ничего не должны скрывать друг от друга, будь то плохое или хорошее, вот такое, что у меня было, когда она звала меня, а я не откликался. Разве можно это утаивать от нее?

Мы были уже на середине озера, и мне становилось нестерпимо жарко.

— Ну все? — спросил я.— Можно снять куртку?

— Сиди-сиди! — приказала она.— Тоже мне норовит в большие!

— Что-то ты слишком разошлась, — сказал я.

— Я тебя еще бить начну со временем!

У нее трогательно косили глаза. Я подумал, что ей, наверно, хочется нашлепать меня, как хотелось мне нашлепать ее, когда она стояла на краешке мостков. Ну, если не нашлепать, то царапнуть меня, как кляксу в тетради. Я посмотрел на ее руки.

— Вот-вот! Это и имелось в виду! — сказала она и кошачьим движением поцарапала воздух.— Хочешь перед завтраком яблоко? Я тоже буду! Где ты их купил такие?

— Заработал, как когда-то твой рубль,— сказал я.— Кстати, я в тот же день подарил его нашей бабке на счастье.

— У тебя совсем нет денег?

— Послезавтра ведь получка, — напомнил я.

— Но ты же мало получишь... Я тебе одолжу. Ладно?

— Еще бы! — сказал я.

— Господи, какой ты все-таки устойчивый дурак,— с досадой сказала Ирена.— Я одолжу тебе собственные деньги, понятно?

— Угу,— сказал я и пристально и, как мне думалось, непроницаемо посмотрел ей в глаза.— Ну-ка отгадай, о чем я подумал!

— Знаю.

— О чем же?

— О том, что я ведь живу не на Гагаринской!..

Это так и было.

— А сейчас?

— Не скажу.

— Почему?

— Ну, что ты меня любишь и не перестанешь ревновать...

— Допустим,— согласился я.

— А теперь ты отгадай,— предложила она.— Ну?

— Я устойчивый дурак, и тебе жаль меня,— истолковал я ее взгляд.

— Конечно.

— Ладно,— сказал я,— давай в интересах сохранения мира на Ближнем Востоке перейдем к нашему давнему прошлому. Скажи, как ты отнеслась ко мне сразу?

— Я решила, что ты... не слишком умен.

— Из-за обложки рукописи?

— Нет. Это делало тебя всего-навсего смешным, как всякого графомана. Но я не могу забыть, как ты подошел и распахнул дверку своего несчастного «Росинанта», когда я стояла с матрацем... Ты проделал это так, как будто приглашал меня... ну, в «линкольн», что ли! А с каким небрежным превосходством мне было сказано, где приобретены снимки Хемингуэя! А снисходительная нотация, что книга — это, видите ли, не двуспальный матрац! А заявление насчет огней Святого Эльма и ностальгии! А эта комедия с рублем из желания унизить меня! Фу! Как не стыдно?

Я перестал грести.

— Не ожидал, да?

— Чего не ожидал? — спросил я.

— Что я так умна!

— Фу, какая хвастунья! — сказал я.

— Сударь, а с какой это тайной целью вы вздумали вчера ночью купаться?— спросила Ирена и прищурилась.— Что вас понудило вдруг раздеться на глазах у постороннего старого человека, а потом набрать в грудь воздуха, неестественно втянуть живот, медленно пойти на берег озера и там томительно долго проделывать вольные гимнастические движения?

— Сейчас же возвращайся к нашему давнему прошлому, иначе тебе будет плохо,— предупредил я и оглядел озеро. На нем никого, кроме нас, не было.

— Моя бабушка в подобном случае, я думаю, сказала бы так — ниц не бенде, пан! Понял? — заметила Ирена. — Поэтому слушай лучше о своем прошлом.

— Что-то ты чересчур разошлась,— сказал я.

— Мне очень хорошо... Так вот, я не до конца была убеждена, что ты в самом деле то, чем казался.

— Дураком?

— Мне хотелось, нужно было так о тебе думать. Для самоустойчивости... Затем какое-то время я жгуче...

или, как говорит наш Дибров, активно тебя ненавидела. Терпеть не могла!

— Я знаю. Это у тебя прошло после того, как под Волнушкиной запел круг,— сказал я.— Ты тогда убедилась, что у нас с нею полный комплекс психологической несовместимости.

— Возможно,— согласилась Ирена,— но лично ей такая несовместимость... Как это говорят в народе? До чего?

— До лампочки,— сказал я.

— Вот-вот... И сидеть в комнате рядом с нею ты не будешь, понятно?

— А где же я буду сидеть?

— Я найду место, не беспокойся!.. А что ты подумал обо мне сразу?

— То же самое, что ты обо мне. Только красочней,— сказал я.

— Как?

— Горда и глупа, как цесарка.

— Очень мило!.. Ах ты шушлик несчастный!

— Шалавка полуночная,— сказал я.

— Дай я посмотрю, как там у тебя, совсем зажило?

Я перестал грести, встал на колени на середине лодки и повернул голову так, чтобы она видела мой затылок.

— Уже все, уже ничего нет, — утешающе сказала она. — Тебе бывает больно? Подожди...

Ей не следовало это делать — касаться губами моей метины, потому что после того мы оба были близки к реву неизвестно почему. Я поцеловал ее в глаза и в лоб, и она присмирела и показалась мне беспомощной и очень маленькой...

Завтракать мы решили в лодке, среди лилий и кувшинок, недалеко от берега. Мне было позволено снять куртку и сапоги, и мы подвинулись поближе друг к другу, умостили на ногах рюкзак, а на нем разложили еду. Хорошо, что у нас имелась бутылка выборовой, но пить было не из чего,— бабкины рюмки Ирена забыла в машине. Я припомнил вслух есенинское «воду пьют из кружек и стаканов, из кувшинок тоже можно пить» и сделал из них две чудесные пузатые зеленые пахучие чарки.

— Послушай, ты однажды скромно обмолвился, что писал и даже печатал где-то стихи,— ехидно сказала

Ирена.— Прочти, пожалуйста, самый первый. Помнишь его?

— Презренная дочь, не помнящая родства! Как я могу забыть свое первое опубликованное творение? Оно явилось для меня ковровой дорожкой в заочный Литинститут. Слушай!— надменно сказал я.— Сорок лет моей стране, сорок лет! Путь борьбы, труда, и счастья, и побед. Путь постройки деревень, городов, воссоздания полей и садов!.. И так далее. На четырех машинописных страницах. Почти поэма!

— Я так и предполагала. Какая неподражаемая вдохновенная прелесть! — воскликнула Ирена.— И все твои стихи написаны с такой же эпической силой?

— Нет, были и другие, камерно-приглушенные,— сознался я, — но, по отзывам литконсультантов, те получились у меня удручающе несозвучными эпохе. Я почему-то подражал в них Надсону.

— С ума сойти. С чего бы это тебе?

— Понятия не имею,— сказал я. Мы бережно и торжественно выпили по кувшинке выборовой и вкусно закусили бабкиным салом.

— Хочешь попользоваться еще? — спросил я. Самому мне хотелось,— когда еще придется пить из кувшинки!

— Хемингуэй говорил это не о водке,— сказала Ирена. — Они в тот раз там пили сухое вино.

— Ну, тогда давай отведаем по-русски.

— Нет, родной, мне будет плохо. Отведывай на здоровье сам. Ты вообще, как я начинаю замечать, любишь отведать по-русски, правда?

— Иногда. Особенно отечественное шампанское.

— А тебе приходилось пить иностранное? И виски ты пробовал? Что это такое?

— Смрадный самогон.— сказал я.— Примерно как наша «московская». Даже хуже.

— А «кока-кола»?

— Великолепный жаждоутоляющий напиток,— сказал я.— Что-то вроде смеси кофе, сока вишни и запаха утренней розы...

Мы немного поговорили о своих родителях, о заграничных местах, которые я так или сяк видел, о мировой политике и о своем издательстве. Я и не знал, что Вениамин Григорьевич — автор. Его книга «Страницы прошлого» вышла год тому назад в нашем издательстве, и редактировала ее Ирена. Она советовала почитать «Стра-

ницы». Мне пора было выпить очередную кувшинку, и я сказал Ирене «побудем живы». После этого у нас что-то нарушилось, как будто мы взяли и разом постарели лет на пятнадцать. Я подумал, что нам следует сменить место. Просто взять и выплыть из-под тени деревьев на середину озера. Или сойти на берег и побродить по лесу.

— Антон, давай поплывем вон туда,— предложила Ирена.— Посмотри, как там радостно сияет на воле солнце! Давай выпьем сейчас вместе и поплывем. Только ты не повторяй больше эту свою похоронную здравицу...

— Да бог с ней, с этой здравицей.— сказал я,— можно и молча.

— Нет! Я знаю, подо что мы выпьем!

Ее тост о нашей взаимной верности мы произнесли трижды, и это было как суеверное заклятье, наложенное нами самими на себя. Я перегнулся через борт лодки и поднял из озера три лилии. Стебли их надорвались далеко, у самого дна. Лилия — растение невеселое: нельзя заглянуть в бело-жаркую глубину чаши этого цветка без того, чтобы не испытать тревогу за его неземную хрупкую ненадежность. Лилии очень нежные, человечные цветы, и лучше их не трогать.

Ирена взяла их у меня молча и неохотно.

На середине озера не надо было грести,— тут временами задувал с разных сторон игровой слабосильный ветер, и лодка колобродила по кругу, и никого не было, кроме нас, речных рыбалок и двух грязно-серых цапель: они все время ошалело летали из одного конца озера в другой, неуклюже выпятив зобы, затевая драки и вскрикивая неприятно-охрипло и резко.

— А все Кержун виноват,— следя за ними, рассудила Ирена,— выкрал весной у них яички, разорил гнездо, а они вот теперь и ссорятся. И разойтись поздно, и...

Она запнулась и занялась лилиями,— их понадобилось окунуть в воду и приподнять, окунуть и приподнять, а потом исследовать стебли: равной ли они длины.

— Считай, что я поцеловал тебя,— сказал я. Мы полулежали на кругах в противоположных концах лодки, а в ногах у нас были якоря, насос и рюкзак.

— А как ты меня поцеловал? — серьезно и тихо спросила она.

— Хорошо,— сказал я.— Цапли тут ни при чем.

— Я так и подумала... Трудно нам будет, Антон. Ох и трудно! Одни ассоциации замучают...

— Плевать нам на все ученые термины,— сказал я.— Давай пристанем к берегу и поищем грибы, раз ты помешала наловить рыбы для ухи. И запомнила ли ты, детдомовское исчадье, что стрекозы никогда не спят?

— Да,— сказала она радостно.

— А Наполеон сколько спал в сутки?

— Четыре часа!

— То-то же! — сказал я.

Мы поплыли к берегу. Грибов не было,— стояла засушь, зато на полянках попадались заросли переспелой черники, и мы садились там, и я набирал полные пригоршни ягод и кормил Ирену не по одной и не по две черничины, а помногу, целой горстью,— было счастливо сознавать свою вольную возможность делать это и помнить наказ Звукарихи подюжей питать свою малешотную жену...

Больше в тот день не надо было ничему у нас случаться,— уже всего хватало, чтобы он запомнился и так, но, видать, на то он и выдался таким бесконечным и ярким, чтобы в нем случилось все до конца, чего нам хотелось и не хотелось... На Ирену нельзя было взглянуть без тайного смеха: ее лицо — губы, подбородок и щеки — оказались густо вымазаны черничным соком, а глаза осоловело слипались, и вся она сморенно сникла и походила на ребенка, впервые попавшего на поздно наряженную для него елку. Я перенес в лес лодку и перевернул ее кверху днищем,— резиновое полотно тогда провисает, но земли не касается, и получается уютная люлька. Туда только надо было настлать аира,— его чистый прохладный запах отдает мороженым и погребным топленым молоком, а это в жару не так-то уж и плохо.

— Залезай и отдыхай, и чтобы я не видел твоей сонной замурзанной физиономии,— сказал я Ирене. Ей тут же понадобилось глянуть на себя в зеркало, и я побежал на берег озера, где оставался рюкзак: в нем должна лежать ее сумка. Она действительно была там,— тисненная в подделку крокодиловой кожи, похожая по величине на бумажник, и когда я достал ее, она раскры-

лась, и оттуда выпали блокнот, ручка, пудреница, две десятирублевые бумажки и семейная фотокарточка. Я вскользь отметил, что Аленке там было года два или три. Она сидела в середине, и головы Ирены и Волобуя — он снялся в военной форме с погонами подполковника — кренились над ней, соприкасаясь висками, как я оценил, умильно и трогательно. Я, наверно, немного замешкался, разглядывая фотографию, а может, Ирена «угадала», чем я был занят над рюкзаком, и поэтому оказалась у меня за спиной.

— Зачем ты это взял?

Она спросила звонко, обиженно и протестующе, и ноздри у нее побелели и расширились. Я сказал, что сумка раскрылась сама.

— Дай сюда!

— Бери,— сказал я с чувством застигнутого вора.— Это выпало само, а я только подобрал...

— Ну и что?

— Ничего,— сказал я.— Подобрал, и все. Что тебя в этом обидело?

— Это тебя обидело, а не меня... Разве я не вижу? Посмотрел бы ты сейчас на свои глаза и нос!

— Нос как нос, у тебя он не лучше,— ответил я. Над озером по-прежнему суматошно летали цапли и ссорились. Выпученные зобы их и крик были отвратительны. Я следил за ними и думал, что им помог бы разлететься в разные стороны выстрел. Не обязательно прицельный и зарядный, но даже холостой.

— Ты когда-нибудь сам фотографировался вдвоем или втроем? — как больная спросила Ирена.— Ты знаешь, как там заставляют сидеть и держать головы?

— Возможно, и заставляют,— сказал я и спросил, кем был ее муж.

— Он... Что ты к нему привязался? Зачем тебе это?

Я мгновенно определил должность Волобую. Ту, что мне хотелось. Цапли в это время летели в нашу сторону, и я опять подумал о ружье.

— Ну хорошо,— раздраженно сказала Ирена,— он был всего-навсего начальником военизированной пожарной команды. Что это меняет?

— Иди умойся, — сказал я. — Или давай я наберу воды в бутылку и полью тебе.

Ей лучше было, чтобы я полил из бутылки.

В остаток дня и вечером я все сделал для того, чтобы вернуть Ирену в этот наш праздник на озере, но с ее душой что-то случилось, она куда-то ушла от меня и не отзывалась на мой призыв. Когда мы приплыли к тому месту, где росли лилии,— Ирена не захотела оставаться в лесу,— я попросил у нее записную книжку и ручку.

— Для чего? — спросила она подозрительно. Я объяснил, что хочу написать ей стихи.

— Мне? О чем?

Она чего-то тревожилась.

— О лилиях,— сказал я. С нею что-то случилось непонятное,— она передала мне блокнот вместе с фотокарточкой, хотя могла оставить ее в сумке, и при этом посмотрела на меня вызывающе. Фотокарточку я «не заметил», и стишок написал в строку поперек блокнотного листка: «Облик юности текучей, птицы радости летучей, шелест тайны, вздох печали, вы любовь мою венчали на воде лучисто-чистой с той, что может лишь присниться, а поутру вдруг растаять и оставить вас на память».

— Вот,— сказал я. Самому мне стишок понравился.

— Разве это не Бальмонт?— безразлично спросила Ирена, раскосо все же глядя в блокнот.— И почему она должна поутру растаять? В угоду рифме?

Я не стал отвечать.

Вечером долго тлел край неба над лесом, где зашло солнце, и в плесе опять трагедийно-победно гоготали лягушки, курился белый прозрачный пар, и через озеро протянулась льдисто сверкающая лунная полоса. Я опять разжег костер за баней возле мостков. Звукариха принесла бутылку самогона,— выходило, что не все сноровили в ее печке те соковозы, на которых она жаловалась мне утром. Было тепло, но Ирена зябла.

— Хочешь попробовать мато бичо? — спросил я ее о самогоне. Она равнодушно поинтересовалась, что это такое, и я объяснил, что «мато бичо» — значит убей беса, так африканцы называют спирт из лесных фруктов.

— Как ты, однако, много знаешь, — со смутной усмешкой сказала она и пробовать самогон не стала. После этого я погасил костер и убрал стол. На сеновал мы вскарабкались поодиночке — я не посмел помочь ей ни рукой, ни словом. Там, наверху, в косой месячной пряже лучей миротворно пахло свежим сеном. От этого таин-

ственного полусвета и запаха было почему-то грустно и жаль себя. Я немного полежал молча, потом напомнил Ирене, что она забыла поблагодарить меня за стихи.

— Да-да, спасибо,— устало и малолюбезно сказала она.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— пожелал я ей. В сене знойно и надоедливо сипели кузнечики,— видно, эта тварь тоже никогда не спит. Я боялся пошевелиться, чтобы не потревожить Ирену, хотя лежали мы не слишком близко друг от друга. В середине ночи на крыше сарая закугыкал и захохотал сыч. Я метнулся рукой к плечу Ирены, чтобы не дать ей испугаться во сне, но она проворно отвела ее в сторону.

— Это сыч,— сказал я.— Хочешь, пойду прогоню его?

— Нет, не надо,— бессонно ответила она и привстала.— Послушай, Антон... поедем, пожалуйста, домой.

— Сейчас прямо? — спросил я.

— Мне очень беспокойно... Я давно уже не здесь, понимаешь?

Я сказал, что понимаю.

— Я убеждена, они приедут сегодня утром. Обязательно приедут!

— Ты же говорила, будто пришла вторая телеграмма,— успокаивающе сказал я.

— Да. Но ты его... не знаешь. Поедем! Я больше не могу тут оставаться.

Мы поднялись и собрались, как матросы по тревоге. Мне пришлось разбудить бабку Звукариху, что-то пробормотать о внезапной болезни жены, со стыдом отдарить ее в темноте сенец тремя яблоками, что у нас оставались, и пообещать приехать через неделю, чтобы уже тогда... Денег у меня не было ни копейки.

Луна ярко светила, и я ехал без огней. Проселок мы проскочили впронос — «Росинант» как будто сам направлял себя по гривкам колей. Временами нас швыряло и заваливало, креня и прижимая Ирену ко мне, и тогда она пыталась отодвинуться, но это ей не легко удавалось.

— Скоро будет лучше, потерпи немного,— сказал я. На шоссе она попросила сигарету, и мы закурили одновременно.

— Антон, куда ты тогда... до всего у нас, собирался уезжать? — как-то очень издали спросила Ирена. Я

назвал Мурманск.— Ну вот... Мы больше не должны встречаться. И лучше было бы кончить все разом...

Я выбросил сигарету и закурил новую.

— Ты ведь один.

— Да,— сказал я,— а одинокому, по свидетельству Чехова, везде пустыня.

— Мне надо выходить на работу в среду. Ты не мог бы уволиться к тому времени?

Я сказал, что для этого мне понадобится всего лишь девять минут. Почему девять, а не десять или пятнадцать, я не знал сам. Шоссе было пустынно, и «Росинант», оказывается, мог еще выдать на асфальте сто пять километров в час...

Дома я написал заявление об увольнении, вымыл пол в комнате и лег спать.

Солнце еще не всходило.

Днем, а потом и вечером, мне опять нужно было мыть пол не только в комнате, но и в коридоре: по свежевымытому и не совсем просохшему полу отрадно ходить босиком, если норовить точно попадать ступнями в свой же след. Так можно ходить очень долго и уверять себя, что ты ни о чем плохом для себя не помышляешь. Просто ты ходишь в свое удовольствие по сырому прохладному полу и ни о чем таком не думаешь. Ходишь — и все! Ты один у себя дома, и ты можешь делать все, что тебе хочется. Ходи и ходи себе и попадай ступнями в свой же след, а если пол высох окончательно и следов не видно, то кто тебе мешает вымыть его снова?

Ночью я написал небольшую записку — никому — и положил ее на край секретера, а на рассвете пошел в кухню, чтобы никуда не возвращаться оттуда, и за окном услыхал страстную воркотню голубя, и во дворе увидел поседевшего от росы маленького сгорбленного «Росинанта». Его фары ожидающе зарились прямо на мое окно, на меня...

Никто не знает, что несет новый день, и это неведение тем и хорошо, что может обернуться для человека чем угодно,— надо только дождаться нового дня. В половине девятого утра я нашел в почтовом ящике про-

долговатый серый конверт с оттиском названия журнала, куда послал свою рукопись. В конверте было письмо. Мне. Письмо о том, что «Куда летят альбатросы» планируются в первом номере будущего года!

Я прочел это несколько раз, и мне вдруг захотелось есть...

Торопиться в издательство уже не следовало,— заявление об увольнении можно было вручить Диброву в десять или в одиннадцать, и я сдал пустые бутылки, купил кефир и халу, а после этого позвонил из автомата Ирене: больше некому было сообщать о письме из журнала, а знать об этом только самому оказалось для меня непосильным бременем. К телефону подошел Волобуй. Я спросил у него, поступили ли на базу трубы, а если нет, то когда, черт возьми, поступят. Он сказал, что я не туда звоню, и повесил трубку. Голос у него был крепкий и бодрый,— значит, приехал вчера, дома застал все в порядке и отлично выспался.

Увольняться с работы так же неприятно и муторно, как и наниматься,— в этом случае тоже возникают различные вопросы, не поднимающие тебя, увольняющегося, ввысь, потому что тот, кто задает их,— всегда сидит, а кто отвечает — стоит. Это мне никогда не нравилось, и свое заявление директору я решил отдать через секретаря. Ему же можно будет оставить и рукопись о целине. На все это мне едва ли понадобится девять минут, и стало досадно, что я завысил перед Иреной время на свой уход из ее жизни. Надо было ограничиться пятью минутами. Или даже тремя...

Лифт не работал, и вид лестницы опять почему-то натолкнул меня на мысль, что своих «Альбатросов» я написал хорошо. Конечно же хорошо. А вторую повесть напишу еще лучше. Я им еще дам себя почувствовать! Всем!.. По коридору издательства я пошел звучным мерным шагом, укладывая подошву туфли плашмя, всю разом и полностью, как ходит солдат под знаменем, и было приятно сознавать, что туфли мои на всякий случай дорогие и прочные...

Когда я вошел, Ирена сидела за своим столом и читала рукопись, что передала ей Вераванна.

— Где ты был?— возмущенно и тихо спросила она, как только я прикрыл за собой дверь.

— Когда?—спросил я.

— В девять утра. Я приезжала к тебе домой... Сейчас, между прочим, половина одиннадцатого. Что за манера постоянно опаздывать на работу? Ты думаешь, Диброву это очень понравится? И вообще... Почему ты не позвонил мне вчера за весь день?

Лицо у нее было злое и усталое. Я сказал, что звонил ей сегодня.

— И что?

— Ничего,— ответил я. Там отозвались довольно жизнерадостным голосом.

— И что ты из этого заключил?

Она смотрела на меня испытующим взглядом.

— Что ты хочешь, чтобы я сказал? — спросил я.

— Что ты подумал, почему у него жизнерадостный голос.

— Человек, значит, нашел дома все в порядке и отлично выспался в супружеской кровати,— сказал я.

У нее мелко задрожал подбородок.

— За что ты меня мучаешь? — с болью спросила она.— Что я тебе сделала худого? И как ты не можешь понять, не пожалеть... даже не подумать, каково мне было встретить его!

Я пошел к ней за стол, и она судорожно зажмурилась и потянулась лицом мне навстречу. Я поцеловал ее в глаза и в подбородок, и у меня слетела с головы шляпа. Прихлоп двери совпал с ее соломенным шорохом, когда она катилась по полу, и я ничего не успел заметить: только услыхал липко чмокнувший дерматином прихлоп двери.

— Кто-то заходил, да? — всполошенно спросила Ирена. Я поднял шляпу и сел за свой стол.

— Зачем ты приезжала на Гагаринскую?

— Так просто. Хотела сказать тебе, что я решила выйти на работу с сегодняшнего дня... Дай мне сигарету. Кто нас видел, как ты думаешь? Мужчина или женщина? Лучше бы мужчина...

Я передал ей сигареты и свое заявление об увольнении. Она пробежала его и молча порвала на мелкие части. Тогда я издали кинул на ее стол письмо из журнала.

— Ты действительно бессердечный негодяй!— сказала она, когда прочитала письмо.— Получить такое известие и молчать! Ты большой, большой негодяй, а не великан!

Глаза ее ревностно косились к переносью. Мы набросали для журнала черновик моего «творческого лица»— кто, что и почему я, и Ирена сказала, чтобы я обязательно приложил свою фотографию, только не пижонскую, а какую-нибудь рыбачью, победней и попроще. Есть у меня такие? Бедных у меня не было.

— Ну еще бы,— сказала она,—на то мы и Кержуны! Тогда пошли любую, все равно там, наверно, полно литбаб.

— Какое это имеет значение?— спросил я.

— Очень большое... Но кто нас видел, как ты думаешь? Лучше бы мужчина, правда?

Я не был уверен, что это лучше. Лично ко мне мужчины всегда относились почему-то враждебно и подозрительно. Особенно бедные ростом.

Во второй половине дня меня вызвал к себе директор. Мои волосы отросли уже достаточно, и я пошел к нему без шляпы. На этот раз я не сбился с ковра в его кабинете, и за время пути от дверей к столу он откровенно и оценивающе изучал меня, не готовясь здороваться. Мне все же показалось, что он остался доволен тем, что хотел во мне увидеть, потому что глаза его хитро щурились и смеялись. Этот человек нравился мне своим пристрастием к красивой одежде,— издали я видел его не раз и не два; он носил хорошо сшитые костюмы, свежие белоснежные рубашки и грамотно повязанные галстуки... Дело, по-моему, немного портила вульгарная поросль на кистях рук, выбивавшаяся из-под манжет рубашки, но зато ногти его были длинные и чистые, и чувствовалось, что Дибров любит одеколон «Шипр». Все это, понятно, мелочь, но такое нравилось мне в людях.

— Извините, что я помешал вам, товарищ Кержун,— сказал он, а сесть не предложил.— У вас, очевидно, много сейчас работы? Чем вы занимаетесь?

Я инстинктивно нащупал в кармане письмо из журнала и ответил, что редактирую плановую книгу.

— И как подвигается дело?

— Я сдам рукопись в срок,— сказал я вызывающе.

— Это для вас очень важно,— заметил Дибров.—Садитесь, пожалуйста. Я хочу позволить себе задать вам

один неделовой вопрос. Вы семейный или холостой человек?

— Пока холостой,— повинно вышло у меня.

— Понятно. А как ваша голова? Надеюсь, все в порядке?

Я подтвердил.

— Вообще свою голову надо беречь не только в праздничных драках, дорогой мой. Бывает, что ее теряют и в будничной мирной обстановке. Вы никогда не задумывались на этот счет?

Он говорил невыразительно, без переходных интонаций, но то ли его южный акцент, то ли размеренная кладка слов делали их значительными и чуть-чуть издевательскими. Мне было жарко и хотелось курить. Отпустил он меня лучше, чем встретил,— мы пожали друг другу руки. В коридоре я ощутил, что рукава моей рубашки совершенно мокрые под мышками, и это было очень противно.

Ирена помертвело ждала меня, стоя у окна за своим столом. Я коротко изложил ей суть своего разговора с Дибровым.

— Боже мой! Ты хоть догадался показать ему письмо из журнала? Догадался или нет?

Я сказал, что этого не требовалось, потому что он остался доволен моим ростом и без письма.

— Каким ростом? При чем тут твой рост?

Этого я не смог ей объяснить.

Редактор из меня не получался: я не мог отрешиться от чувств и претензий обыкновенного читателя, не мог, как всякий литературно сведущий любитель печатного слова, не знать древней истины, что хороший писатель в недалеком человеке обнаруживается так же редко, как плохой писатель в умном человеке, и Ирена не без язвительного сарказма учила меня главному искусству редактирования — приводить рукопись в удобочитаемое, как она выражалась, состояние и не набиваться в непрошеные соавторы к областному писателю,— он, предельно чуткий и легкоранимый индивидуум, всегда склонен в этом случае истолковать такое бескорыстие совершенно неожиданно для редактора-новичка, особенно для младшего, получающего девяносто пять рублей в месяц...

Тогда зарядили нудные сентябрьские дожди с промозглыми туманами, и по утрам Ирена являлась в издательство в своем серебряном волобуевском плаще. Она вешала его позади себя на оконную задвижку, и мне приходилось полуотворачиваться от окна и с повышенной внимательностью править «Степь широкую». После того как нас кто-то тут застукал и доложил директору, мы уже недели полторы не встречались помимо издательства. В обеденный перерыв мы не могли пойти одновременно в буфет, и по окончании работы Ирена уходила первой, а я сидел еще минут десять за своим столом, после чего бежал к «Росинанту» и искал ее по городу. Мне казалось, что она знает об этих моих вечерних поисках ее, и поэтому я молчал и добросовестно правил роман о целине. Ирена за это время превратилась в полуобгоревшую спичку. Она усохла и умалилась в росте, а глаза у нее стали непомерно большими, сухими и черными, и шея ее опять была похожа на ручку контрабаса. Я перестал любопытствовать, что с нею происходит,— она не отвечала и сердилась.

— Может, мне все-таки уехать в Мурманск? — спросил я как-то под конец рабочего дня. Ирена с враждебным недоумением посмотрела на меня, поднялась из-за стола и надела плащ.

— Уезжай. Хоть сегодня!— сказала она в дверях. В комнате было сумрачно, промозгло, и в окно со двора издательства несло почему-то запахом пустого трюма сломного траулера. Шел дождь. Домой мне не хотелось,— мало ли что там придет в голову кроме Мурманска, а до января оставалось совсем немного: если «Альбатросы» будут напечатаны, я напишу тогда вторую повесть.

Улицы города казались по-осеннему скучными и горестными. Уже желтела листва лип, и подъезды дворов сквозили туманно и сизо. Я поколесил по центру, миновал на малой скорости особняк на Перовской и выехал на набережную. Над речкой низко, натруженно и молча летали чайки. Перед мостом, у той моей телефонной будки, я нечаянно придавил клаксон. Наверно, в сигнале произошло замыкание,— он прозвучал клекотно и смертно-тоскливо, как подбитый на лету журавль. На мосту я посигналил уже умышленно. Потом еще и еще,— так было легче ехать домой. Ни тогда, ни позже мы не выясняли, зачем Ирена забрела сюда, в правобе-

режную часть города. Я увидел ее издалека, в спину. Она шла по противоположному от меня тротуару,— значит, не «Росинанта» тут караулила, и я проехал вперед и развернулся ей навстречу. Было непостижимо, как она различала, куда ступать,— она шла с откинутым капюшоном, и ее волосы, расчесанные дождем, спадали с головы прямой бахромой, нависая над лбом и глазами, и голова от этого казалась нелепо крошечной, луковицеобразной. Я затормозил у обочины тротуара, выпрыгнул из машины и загородил ей путь.

— Ну что тебе еще нужно?— квело сказала она, глядя на меня рассеянно и мутно сквозь пряди волос. Я попросил ее сесть в машину.

— Не хочу,— сказала она самой себе.— Не хочу идти домой, не хочу никого видеть...

Плащ на ней топорщился колоколом, а в капюшоне скопилась вода, и он висел у нее за спиной, как котомка. Я не мог отделаться от мелкой и недостойной мысли — как это на макушке ее головы уместился уворованный когда-то ею блин? Какого же размера был на ней берет? Кукольный, что ли? Я вытряхнул из капюшона воду и накинул его ей на голову, отведя волосы со лба.

— Разве ты меня любишь!— себя осуждающе сказала Ирена. Она была как помешанная. Я не справился с тем, что тогда прихлынуло к сердцу,— страх за нее, боль обиды за себя, неожиданное взрывное отвращение к ее маленькой темной головке луковицей, желание недобра ей за что-то и своя готовность всю жизнь вот так встречать ее — жалкую, полоумную с виду, бесконечно любимую, мою нежену-жену. Я заплакал и, чтобы скрыть глаза, прижался ртом к ее руке. Она была вялая, холодная и мокрая.

— Ты что?— с просветленным беспокойством спросила Ирена.

— Пойдем в машину,— сказал я.— Пойдем, пожалуйста, а то с нами случится беда...

— Разве она не случилась давно? Какая беда?

В машине я ей сказал о той своей короткой записке никому, — это надо было сказать ей, потому что она сразу стала сама собой, прежней, потом я рассказывал, как ищу ее вечерами по городу. Мы сидели, смотрели друг на друга, и ее глаза постепенно углублялись и темнели, и вся она внутренне подобралась и насторожилась.

— Идиот! Мальчишка!— с гордым презрением не ко мне, а к кому-то сказала она.— Хлюпик самолюбивый! Я думала, что ты... Дай свой носовой платок. Есть он у тебя?

Она крепко и больно отерла мои ресницы и пригладила брови. За этим должно было последовать какое-то наказующее приказание мне, и это так и случилось.

— Поезжай до первой телефонной будки. Мне надо позвонить домой, — сказала она.

Мне было отрадно от ее решительных действий старшей и только хотелось, чтобы она сбросила с себя плащ и кинула его на заднее сиденье, но просить ее об этом я не стал. Еще мне хотелось стереть или хотя бы как-нибудь затушевать в памяти то свое оскорбительное для Ирены сравнение ее головы с луковицей и унизительное гадание насчет украденного блина,— как он там уместился... Мне обязательно надо было что-то сделать для уничтожения этого, и я попросил ее подождать меня минуту, а сам побежал через дорогу в кондитерский магазин и купил большой круглый торт, нетолстый и белый как снег. Когда я вернулся к «Росинанту», Ирена была без плаща,— он валялся на полу за нашими сиденьями. Я передал ей торт. Она положила коробку на колени, а меня спросила, скосив глаза: не думаю ли я, что он уместится на ее голове? Как могло такое случиться, что она постигла мою ворожбу с самим собой и с этим тортом? Как? Может, все это было видно по мне? Возможно. У телефонной будки мне было приказано идти звонить вместе. Ирена так и не узнала, что я тогда подумал, во что поверил и чего ждал,— мне показалось, что она идет звонить при мне Волобую о нас, о Гагаринской, и к телефонной будке я шел позади нее так, как в войну, наверно, ходят на подвиг: сердце под горлом, а руки под грудью. Мы втиснулись в будку. Ирена опустила в щель автомата монету и набрала номер. Я встал в углу так, чтобы она видела меня,— я рядом, вот, под рукой. Мне было слышно, как звучно и справно щелкнул рычаг того, ч у ж о г о телефона и Волобуй сказал нам «слушаю».

— Чем занимается Аленка?— строго спросила Ирена. Там слышно для меня осведомились «это ты, голубка?», и я увидел, что у Ирены расширились и побелели крылья ноздрей.

— Пусть подойдет к телефону Аленка,— произнесла она, как диктант. Там опять о чем-то мягко спросили.

— Позови, пожалуйста, Аленку,— настойчиво сказала Ирена. Ноздри у нее оставались белыми. Мне подумалось, что так могут разговаривать лишь те двое, у кого ссора уже окончена, а мир не достигнут по вине одного. Потом она мгновенно преобразилась. Она неотрывно смотрела на меня и радостно кивала головой. Голос Аленки достигал моего слуха и сознания, как отдаленный зоревой взмыв чибиски, и в ответ я кивал головой Ирене, чтобы она знала и верила, что я очень люблю детей. Всех!

— Аленушка, подожди, послушай меня, — сказала Ирена,— я задержусь немного после работы, слышишь? Нет, не к тете Вере. Тетя Вера на курорте. К другой своей подруге, ты ее не знаешь. Что? У нее сегодня свадьба. Нет, она выходит замуж. Женятся ведь мужчины. Конечно. Если я запоздаю, ты покушай и ложись спать без меня. Слышишь? Ну пока...

Что ж, Ирена была права, приказав мне присутствовать при этом ее разговоре по телефону. Хотя девяносто процентов всей информации о внешнем мире человек получает через зрение и лишь девять через слух, я узнал и понял в будке многое, и в первую очередь то, что материнское чувство Ирены к Аленке полностью регулируется тем, что происходит у нас: мы в ладу — и там судорожная любовь через сознание вины. Тут разлад — и домой не хочется возвращаться... Только и всего!

Наверно, потому, что я молчал и был покорен, у Ирены не прошло желание распоряжаться. Как только мы сели в машину, она достала и протянула мне шесть рублей.

— Торт твой, а шампанское мое!

— Мы поедем ко мне?— спросил я.

— Нет, к себе в лес, — сказала она. Шел дождь, но я не стал включать дворники. Шампанское можно было добыть в ресторане на центральной улице, и Ирена вышла на набережной и укрылась в подъезде. Старик гардеробщик украдкой вынес мне две бутылки за материальную заинтересованность по рублю с каждой. Захолустный подъезд на плохо освещенной по ночам улице днем, конечно, не способен тонизировать настроение, особенно если прячешься в нем, — мало ли что там увидишь, ощутишь и что подумаешь, и Ирену я нашел раздраженной.

— Господи, до чего же все мерзко!— сказала она с едкой силой.

— Что именно?— спросил я.

— Все... И сама я тоже. Я стала какая-то нечистая, лживая... Все теперь лгу и лгу! Дай мне сигарету.

— Ничего ты не лжешь,— сказал я.

— Нет, лгу! Я и тебе солгала. А зачем — и сама не знаю. Помнишь, ты спрашивал, кем служил... Волобуй? Так вот, он был начальником тюрьмы, а не пожарной команды!

— Ну и что?— сказал я.— Тюрьмы же у нас есть? Есть. Значит, должны быть и начальники над ними.

— Помолчи! Тоже еще философ нашелся, — с досадой проговорила Ирена.

— Сама помолчи,— спокойно посоветовал я.— Подумаешь, лжет она! Ты даже не представляешь, что такое настоящая ложь, во благо свое.

— А ты сам представляешь?

— Я лгун матерый, талантливый,— сказал я.— Кто куриные яйца выдавал Владыкину за цаплиные? Кержун! Кого извещал журнал, что повесть будет напечатана в декабре? Его же, Антона Палыча... А шампанское, между прочим, знаешь какое? Мускатное. Ты любишь иногда отведать мускатное шампанское?

Мы были уже за городом. Я включил дворники и повел «Росинанта» вальсирующими зигзагами,— хотелось хоть как-нибудь развлечь Ирену: черт догадал меня оставлять ее в той загаженной подворотне!

— Это он танцует под музыку Шульберта,— сказал я.— Между прочим, а тебе известно, что настоящая фамилия Коперника — Покорник?

— Не надо, Антон,— невесело сказала Ирена.— И не обращай на меня сейчас внимания. Я совсем стала истеричкой... Дома ад. Пока тихий. Там что-то подозревают и... домогаются предъявлять мужнины права... Вдруг!

Я выровнял ход «Росинанта» и стал следить за дорогой и спидометром.

— Почему ты притаился?

— Нет, я ничего,— сказал я.

— Если бы ты знал, с каким зоологическим отвращением я ненавижу его пошлые руки, возмутительный затылок, лоб... Все, что он теперь говорит и делает, мелочно, надзирательски дотошно и нудно. А как он до

омерзения противно чавкает, когда ест... И вообще. Это какая-то казематная пытка, а не жизнь! С ума можно сойти...

Я остановился и обнял ее.

— Почему ты не хотела сказать мне об этом раньше?

— А как ты спрашивал? Ты знаешь, что было в твоих вопросах? Знаешь?.. Не надо так больше. А то я пропаду...

Легко было сказать, не надо так больше. Чего не надо? И кому?

Но я обещал.

Оказывается, это очень заманчиво — спокойно, удобно и безответственно — быть у кого-то покорником. Это что-то вроде усердного сироты — придурка на чужой счет, но которому почему-то платят тем охотнее, чем ты покорнее и беспомощней. Я поступал и все делал так, как хотелось Ирене,— я охотно предоставил ей полную свободу и возможность справляться и распоряжаться одной — и своим «тихим» домашним адом на Перовской, и мной, и собой. Пожалуй, на мне тогда сбывалась и подтверждалась древняя притча, что из блаженного дурачка и плач смехом прет, — мне в самом деле было отчего-то весело и беззаботно. Я не воспротивился, когда однажды в обеденный перерыв Ирена забрала у меня ключ от квартиры и поехала на Гагаринскую,—ей понадобилось самой постирать мне рубашки и прибрать комнату, но без меня. Тогда она увидела на секретере все те двадцать четыре надгоревшие свечки, и это увеличило ее надсмотр и заботу обо мне: по утрам, когда я приходил в издательство, она сразу же допытывалась, что я ел. Мне было самодовольно-приятно, что она беспокоилась, если я иногда не завтракал, и я стал говорить ей неправду, будто не ел. Она тревожилась, когда замечала, что у меня хмурый вид, и я мрачнел нарочно. Меня захватно, как одуряющий сон после длительной пьянки, одолевала какая-то подлая сила понуждения к жалобе, к притворным капризам, к ожиданию утешений и ухаживания. Я дошел до того, что придумал себе резь в желудке; и Ирена запретила мне к у ш а т ь, черт меня подери, грубую пищу и несколько раз приносила из дому сметанковые сырники, упрятанные в целлофановый мешок и обернутые газетами, чтобы не остыли. Сейчас мне

не верится, что я мог дойти до такого позора,— с больным видом и с удовольствием жрать при ней в издательстве эти украденные ею дома сырники и ничего дурного о себе не помышлять! В те дни Ирена усвоила какую-то странную походку с нырком головы взад и вперед при каждом шаге, как ходят голуби, и вся она была напряженно-устремленная и острая, как стрела. А я наоборот. Я осоловело раздобрел и во всем успокоился, и на щеках у меня обозначился розоватый, молочно-поросячий прилив. Трудно сказать, чем оброс бы еще этот мой период покорничества, если бы его случайно не прервал тот самый «бывший» старый художник. Я думаю, что к Ирене его привела сомнительная надежда получить какой-нибудь заказ от издательства,— кирзовые сапоги на нем, короткополая серая куртка-разлетайка, сбившийся к уху узел блекло-узорного шейного платка, завязанного с жалкой претензией на независимую небрежность свободной в своих поступках личности, погасшая трубка в углу рта,— все это кричало о помощи человеку в беде, но по каким-то тайным и сложным законам молодости и силы вызывало невольное чувство протеста и досады. Когда он вошел и, не заметив меня, направился к столу Ирены, я мысленно сказал ему, что пора бы перестать чудить, и он, как мне показалось, понял это. По крайней мере он взглянул на меня так, словно измерял степень моего ничтожества. Я допускал, что моя благополучная с виду внешность вполне могла возмутить его пуританскую душу и он уже трижды имел случай подумать обо мне что угодно: например, что я наследный отпрыск какого-либо чиновного отца из тех, которые ездят на казенных «Чайках», а это для него, несомненно, означало, что самодовольству и невежеству моему нет предела. Допускал я для него и многое другое о себе в том же плане, что не только не обижало меня, но совсем наоборот: это лишь увеличивало мой интерес и симпатию к нему — взъерошенному, немного загадочному и, наверно, талантливому человеку с излохмаченной судьбой. То, что я бессознательно ощутил при виде его кирзовых сапог и байроновского банта, от меня не зависело,— значит, я в самом деле пижон, в моем же мысленном обращении к нему не чудить была голая и чистая обида на то, что он игнорировал меня, ставя на одну доску с Веройванной.

Вот и все, что было у меня к нему. Я понимал, что мне надо оставить его наедине с Иреной,— такие, как он, даже в большой беде не способны обращаться за помощью при ч у ж и х, но я не посмел выйти сразу; потому что это могло быть истолковано им совсем для меня обидно и незаслуженно. Он не поцеловал Ирене руку и не назвал ее Аришей,— он уже зарядился на меня негодующим презрением и поэтому сбился со своего обычного лада в обращении к ней.

— Что-нибудь случилось, Владимир Юрьевич? — с беспокойным участием спросила Ирена. В нашей комнате отсутствовали стулья для посетителей,— их некуда было приткнуть, но полукресло за столом Верыванны стояло свободным, рядом со мной. Я сидел и гадал, как быть — подать его гостю или же воздержаться от своей услуги ему,— он ведь может не принять ее, и тогда Ирена сказала с приказной четкостью:

— Будьте так добры, передайте нам кресло!

Это относилось ко мне. Это было выговором за мою хамскую недогадливость и побочным доказательством для Владимира Юрьевича, что я именно то, за кого он меня принял. С полукреслом получилось так, как я предчувствовал: «бывший», отстранив меня, сам взял его и перенес к столу Ирены. Она воспитывающе поблагодарила меня, а я решил не уходить и оставаться на своем месте,— в конце концов, черт возьми, я находился на службе. Владимир Юрьевич сел в полуоборот ко мне и внушительно, почти сердито спросил Ирену: известно ли ей, что происхождение наших идей о возвышенном и прекрасном неизменно связано с впечатлениями, полученными от всего круглого, законченного, светлого и радостного?

— Конечно, Владимир Юрьевич,— замедленно сказала Ирена со скрытой теплотой.

— Тогда как же вы могли тут допустить такое?

Я глядел в рукопись и не видел, что он там добыл из внутреннего кармана своей разлетайки и передал Ирене.

— Антон Павлович, обратите внимание, ваш «Полет на Луну» вышел в свет, — сказала она, и когда я поднял голову, старик посмотрел на мой лоб ошеломленно и беспомощно,— он, вероятно, подумал, что я автор этого «Полета». Мне не было видно лица Ирены, она высоко держала перед собой книжку, и ее плечи вздрагивали мелко и часто, — тайно чему-то смеялась. Я не знал, как быть, и не опровергал подозрение на свой счет. Возмож-

но, что так или сяк я восстановил бы истину, но Владимир Юрьевич, все еще угнетающе изучая мой лоб, вдруг загадочно и устало сказал:

— Вот оно. Корье пошло на малье, а до дуба никому нет дела!

Он отвернулся от меня и принялся раскуривать трубку. Лицо Ирены я по-прежнему не видел.

— Понимаешь ли, Аришенька,— сказал он ей, будто меня тут уже не было,— дело даже не в удручающей бездарности текста. Вернее, не столько в нем. Но ты обрати внимание на иллюстрации. Ведь это же безобразная коломазь, а не искусство. Коломазь, угрожающая уродством впечатлительности ребенка! Чего стоит, например, одна эстетическая сторона того рисунка, где повредивший ногу профессор ездит на Луне верхом на мальчике Пете, не говоря уже об экспрессии штриха и цвета этой, с позволения сказать, картинки! После нее ребенку обязательно приснится кошмар, обязательно! Бескрылость унылой фантазии иллюстратора феноменальна. Взять и изобразить какого-то староколхозного сторожа в качестве охранника ракетодрома с нелепыми амбарными ключами, в клубах пара от самовара перед ним! Что же это такое, голубушка? Ты не можешь объяснить? Я понимаю, что всякие жизнерадостно увлеченные пройдохи с гибкими спинами всегда и всюду и каждый по-своему урывали и урывают у простодушного общества свой гоголь-моголь, но нельзя же отдавать их спекулятивной предприимчивости литературу, живопись!

Ему не обязательно было взглядывать в мою сторону при упоминании гоголя-моголя, — я и без того понимал, что заключительная часть возмущенной тирады насчет жизнестойких пройдох адресовалась мне. Я со стыдом подумал о сырниках, о «своем» отзыве Владыкину на рукопись Элкиной и совершенно неожиданно и необъяснимо для самого себя ненужно вступился за автора «Полета на Луну». Я сказал, что, как внутреннему рецензенту рассказа , мне лучше посторонних известны его достоинства, и прежде всего то, как в нем отражена победительно-героическая линия. Ирена с заботливым удивлением посмотрела на меня, но ничего не сказала. Молчал и «бывший», — у него почему-то погасла в тот момент трубка, и он занялся ею.

— Конечно, рассказ и рисунки к нему не бог весть какая находка,— посреднически сказала Ирена,— и я

думаю, что ни то ни другое не должно вызывать к себе больше того, что оно заслуживает... Скажите, как вы поживаете, Владимир Юрьевич?

— Как видишь, Ариша ,— с достоинством сказал он. — Кажется, Дюма говорил, что для того чтобы не казаться смущенным, надо быть наглым, но лично я так и не усвоил такую простую мудрость!

Это был хотя и неудачно прилаженный, но отличного веса булыжник в мой огород. Я вник в рукопись и сделал вид, что ничего не слыхал. Ирена дважды выдвинула и захлопнула ящик своего письменного стола,— мне предлагалось взглянуть на нее, чтобы получить приказание выйти из комнаты. Я сказал про себя «черта с два» и «не понял» сигнала. Дым от стариковой трубки медвяно пахнул не то цветом липы, не то желтого донника. Может, сушил и подсыпал для неспорости в табак? Я смотрел в рукопись, но краем глаза видел, как вкусно курил и хорошо уверенно в чем-то — очень независимо и гордо-задумчиво — сидел в чужом полукресле старик. Перед ним на краю стола лежала рабочая рукопись Верыванны, которую «дотянула» Ирена, и он осторожным подсовом ладоней приподнял ее и взвешивающе покачал на руках.

— Какой фолиант! Какая безудержная словесная расточительность! Видно, от этой хвори совсем не стало никакой мази!

Он не положил, а посадил рукопись на место, как сажают обратно на под недопеченную ковригу. Ирена неестественно засмеялась.

— Я прав, Аришенька,—наставительно сказал Владимир Юрьевич,— количество страниц современной повести или романа не должно превышать предела человеческого века — цифры сто, потому что написать книгу все равно что прожить жизнь. Я имею в виду талантливую книгу и яркую жизнь! — специально, наверное, для меня произнес он эту фразу. — Лессинг призывал работать над страницей прозы как над статуей, а наш Бабель... вы, надеюсь, слышали о таком писателе? — почему-то сострадательно обратился он ко мне. Я молча поклонился ему. — Так вот он установил, что никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя!

У него снова погасла трубка, но он не стал раскуривать ее и собрался уходить. Ирена вторично посигналила

мне ящиком стола, но я опять «не понял» намека и подумал, что устойчивость — непреодолимый враг управления!

— Я провожу вас, Владимир Юрьевич,— нервно сказала она «бывшему». Он не попрощался со мной и даже не взглянул в мою сторону. Я попытался убедить себя, что его пренебрежение нисколько меня не задело, и попробовал работать, но это оказалось невозможным, — во мне что-то разорилось, что позволяло легко и бездумно приводить в удобочитабельный вид «Степь широкую». Ирена вернулась минут через двадцать, я спросил, ради чего она выставила меня на посмешище с этим дурацким «Полетом».

— А как бы ты иначе узнал, что изрекали Дюма, Лессинг и Бабель?— полушутя сказала она и посмотрела на меня серьезно и грустно.

Старик, оказывается, приходил, чтобы занять у нее пять рублей.

После работы я, против воли Ирены, увез ее к «себе», в лес. Домой она не позвонила. Мы впервые тогда не разожгли костер, потому что Ирена заснула на сиденье, уткнувшись лицом мне в колени. Она спала, а мне хотелось очищающе покаяться ей в своей брехне насчет рези в желудке и рассказать, как свински безмятежно я жил подле нее эти дни, но будить ее было нельзя,— она спала так безжизненно, прибито и доверчиво мне преданно, что от напряженной затаенности у меня начал болеть затылок в том месте, где была метина от свинцового котяша... Ее нельзя было будить, а боль моя все раскалялась и ширилась, и я стал осторожно массировать затылок сперва одной рукой, потом второй.

— Слушай, Антон, — не шевелясь, слабо позвала Ирена, и я решил было, что это она во сне. — Тебе никогда не казалось, что у нас самая обыкновенная и банальная... — Она запнулась, потому что не хотела произнести ни слово «связь», ни «интрижка».

— Любовная история, что ли? — подсказал я.

— Да. Изрядно замызганная в современной литературе. Знаешь, этот извечный, надоевший всем треугольник!

Я сказал, что любви, если она запоздалая, без треугольников не бывает, и дело не в треугольниках, а в

бездарности авторов, дерзающих бормотать об этом. Я подумал и предположил еще, что для того чтобы написать книгу о любви, нужен большой и свободный талант.

— Что значит свободный?

Ирена по-прежнему лежала, уткнувшись лицом мне в колени.

— Как у Толстого и Флобера,— объяснил я.— Они ведь тоже писали о треугольниках.

— Да, конечно,— согласно сказала Ирена.— Но я все-таки просто-напросто твоя любовница.

— Ты никогда не была моей любовницей!— сказал я.

— А кто же я?

— Возлюбленная моя жена, — сказал я. — Давай, пожалуйста, уедем! Выкрадем Аленку и уедем! Иначе ты истерзаешь себя.

— Куда мы уедем? — заморенно спросила Ирена и приподнялась. Я засветил плафон, достал с заднего сиденья «Атлас шоссейных дорог» и раскрыл его на сорок шестой странице.

— Например, в Орел или в Брянск.

— Нет, давай искать города с названиями поласковей, — попросила Ирена. — Смотри: Нежин... Лебедин... Обоянь... А что мы там будем делать?

— Ничего, что дало бы право потомкам плюнуть на наши могилы,— сказал я.

— Ого! Это уже кое-что значит, — пресно улыбнулась Ирена.

— Я напишу там вторую повесть, — серьезно сказал я.

— О чем?

— О нас с тобой.

— Она будет называться «Куда бегут гонимые»?

— Нет, иначе: «Вот пришел великан».

— Да, — горестно сказала Ирена, — пришел великан... Великан! О нас с тобой писать нельзя. Мы, дорогой мой, слишком отрицательное явление... И какой ты великан! Ты мальчишка... маленький и жалкий, как и я сама...

Она тихо и безутешно заплакала, и я, как в тот наш давний раз, стал щепоткой пальцев обирать с ее ресниц слезы. Они были веские, теплые и большие, как поспелый крыжовник...

Новые качества, как известно, приобретаются за счет потери старого, но оказывается, быть покровителем и не сбиваться на мелкое тиранство почти невозможно. Ирена стойко переносила свое покорничество, я же во многом повторял ее в своих заботах о ней, — по утрам допытывался, что она ела, и допрашивал, почему у нее ржавый голос и странный взгляд. Я тоже стремился подкармливать ее и покупал то шоколадку, то пирожное, то тыквенные семечки, потому что любил их сам. Тогда на рынке появились оранжевые круглые дыньки с юга. Стоили они от двух до четырех рублей штука, и на рассветах, до выхода милиционеров на перекрестки, я мотался на «Росинанте» по городу, подвозя тех, кто спешил к своему горю или к радости. Брал я — сколько давали, и на дыни обычно хватало. Ели мы их украдкой, разделив на равное количество скибок и запрятав в ящики наших столов. Свою долю я уничтожал мгновенно и с великим наслаждением, а Ирена ела долго, с какой-то вымученной гримасой страдания, и мне в голову не приходило, что она просто-напросто терпеть не может дыни. Никогда, ни даже вот теперь я не в силах заставить себя понять, как это человек, которого ты любишь, может иметь другой вкус или взгляд на то, что самому тебе нравится...

Наверно, с Веройванной случилось в Сочи что-то неправомерно хорошее, похожее, надо думать, на бунинский «Солнечный удар», потому что, явившись на работу, она была безразлично отрешена от себя самой и от нас с Иреной. Она пребывала в каком-то углубленном сомнамбулическом трансе, и все в ней — сыто-печальная поволока глаз, валко-расслабленная походка, безвольная и как бы послехворевая модуляция голоса—невольно понуждало к участию и беспокойству за нее, изнеможденно где-то парящую, и мы с Иреной без сговора всячески старались не помешать чем-нибудь этому ее парению. У нас в комнате установилась тогда прочная рабочая атмосфера,— мы целыми днями молча и усердно правили рукописи: я — «Степь широкую», а Ирена — «Черный фонтан», тоже очень толстый чей-то роман о нефтяниках. Вереванне нечем было заняться, — ее рукопись, которую добила Ирена, следовало сдать Владыкину, а он не явился пока из отпуска. На этом основа-

нии, как загруженный делом человек, я мог бы курить в комнате, но на то надо было спрашивать теперь разрешение у Верыванны, и я предпочитал выходить в коридор. Такие мои походы не могли, понятно, не производить колебаний воздуха и вульгарного стука каблуков, а это возвращало Веруванну к действительности и она всякий раз провожала и встречала меня с немым удивлением, будто силилась вспомнить, кто я такой и почему нахожусь тут рядом с нею. Она томилась не то грезой о скоро прожитом, не то ожиданием какой-то близко грядущей услады, потому что часами сидела, устремив взгляд на телефон. Вид у нее был блаженно-отсутствующий, будто она нежилась в хвойной ванне, но когда фыркал телефон, рука ее хищно металась к трубке, и Вераванна не говорила, а почти пела — «вас слушают». Было ясно, что она ждала чей-то голос в телефонной трубке, и я написал и украдкой передал Ирене записку, в которой звал ее возблагодарить бога за то, что он наделил человека любовной сладкой мукой, чувством братства, товарищества и вообще альтруизмом, чем царственно отличил его от животного. Ирена взглядом приказала мне не дурить, а у самой колюче торчал в зрачках смех, и я видел, что ей тоже хочется написать мне записку, и только опасность нашей «цепной реакции» мешала этому.

Так прошло несколько дней. Мы с Иреной ни разу не выехали «к себе»,— она не знала, куда отправится после работы «друг семьи», домой или к ней? До сих пор Вераванна почему-то не показывалась на Перовской, а там ее, видите ли, ждали и ждут с большим нетерпением.

— Пожаловаться на тебя хотят?— спросил я, когда Вераванна отлучилась из комнаты.

— Возможно,— безразлично сказала Ирена. Глаза ее все время оставались набитыми смехом, и вообще вся она преобразилась и стала собой, давней.

— А как насчет моего переселения?— напомнил я.— Отпало?

— Я тебе переселюсь, шушлик несчастный! Сиди и работай.

Было похоже, что она намеревалась опять командовать мною, и я не собирался тому противиться, потому что мне хотелось видеть ее сильной.

В те пустые мои вечера я, по настоянию Ирены, прочел книжку Владыкина и после этого трижды видел во сне своего отца. В двух снах он был там еще живой... Три утра я вел с Владыкиным трудные мысленные беседы, — мне хотелось знать, была ли там хоть какая-нибудь возможность уцелеть человеку сильному? Он кротко спрашивал, что это значит, и я объяснил, как мог. «А мы никогда и ни в чем не сомневались», — отвечал Вениамин Григорьевич. «Я знаю это», — говорил я ему, и у нас начиналось все сначала, и я так и не смог понять, почему мой реабилитированный потом отец погиб, а он, Владыкин, остался жив и даже написал вот любопытную, как сказала Ирена, книгу!.. Наверно, я в чем-то был тут не прав. Сердце было не право. Ему ведь не всегда прикажешь... И разве я не должен остаться благодарным Владыкину за то, что трижды подряд видел тогда во сне своего отца?..

Первый снег, если он выпал тайно, ночью, хорошо торить первому, до пробуждения дворников, но для этого надо, чтобы на тебе были новые темные ботинки на молнии, легкая зеленая на белом меху с исподу шведская куртка, а на голове зимний финский берет с козырьком и помпоном на макушке. Тогда, один во всем городе, ты можешь вообразить себя кем угодно, вплоть до наследного принца из старинной книжки, только это, понятно, не нужно показывать встречным: им ведь ничего не объяснишь, их же не заманишь в свое детство и юность... От Гагаринской до Перовской я так и прошел — наследным принцем, и те, кто мне встречались, ничем и никак не протестовали против этого, — может, они тоже все были князья и графини, если поднялись в такую же рань, как и я. В белом чистом утре голландский особняк в своем отлете казался строгим и чопорным, как и положено замку, где обитают принцессы, и черт был с ним, с Волобуем,— он мог присутствовать в замке в роли мажордома или как это там еще называлось! Я поприветствовал все три ряда окон особняка, потому что не знал, на каком этаже жила Ирена, потом смелым шагом — никого ведь не было — прошел по снегу до самых дверей дома, а назад к тротуару вернулся по своему следу, и получилось, что я вошел в дом и там остался... Город просыпался нехотя и долго,— нежился, и как в

детстве, когда я оказывался на воле, меня непреодолимо потянуло к чужим окнам. За каждым из них, как и тогда при моих побегах из детприемников, текла чья-то загадочная жизнь, складно и напрочно заселенная недоступным для меня уютом, семейной спаянностью и согласием на тесноту. Заглядывать в чужие окна лучше всего в кривеньких переулках с низкими деревянными домишками, и делать это надо ранним утром или поздним вечером — больше увидишь. Тогда семья обычно бывает в сборе, за завтраком или ужином, и на столе может оказаться самый настоящий старинный самовар и разлатые, тоже старинные, синецветастые чашки, — значит, тут у кого-то живы дед или бабка, отец или мать...

На работу я опоздал не на много — минут на двадцать: после чужих окон я долго и невесело размышлял о себе и об Ирене, потом вспомнил о снеге и о близком январе, когда появится в журнале моя повесть, и мне стало легче. Я поздравил обеих женщин с новой зимой в их жизни, и Вераванна никак не отозвалась на это,— тогда замурлыкал телефон, и она рванулась к трубке, а Ирена обыскала меня взглядом и скосилась на берет, — помпон-то небось торчал как плюмаж. «Где ты шаландаешься?»— ревниво спросила она глазами. Я ответил, что возвращаюсь с раута у голландской принцессы. Она недоуменно пожала плечом. «Ничего не поделаешь, трудно быть красивым принцем», — грустно сказал я бровями. «Не поняла», — тревожно ответила она ресницами.

— Какое нынче божественное утро, Ирена Михайловна!— вслух сказал я, и она успокоилась. На все эти наши вопросы и ответы нам понадобилось всего несколько секунд,— Вераванна только успела пропеть в телефон свое темно-ожидающее «вас слушают». Нам вообще редко звонили и почему-то чаще всего не по адресу.

В тот раз, как я предполагаю, кто-то сгрубил Вереванне, потому что она с грохотом опустила на рычаг трубку и у той отлетела головка микрофона. Она упала на пол, к моим ногам, и я поднял ее и положил рядом с телефоном у локтя Верыванны, — головка обломилась на резьбе. Возможно, мне следовало при этом сказать что-либо о непрочности пластмассы или же как-нибудь иначе выразить Вереванне свою солидарность, что ли, но вместо этого черт меня дернул зачем-то поклониться ей. Молча.

— Чего вы паясничаете тут? — разъяренно сказала она. — Кочервяжьтесь, пожалуйста, перед теми, кому это нравится!

Я извинился, снял берет и куртку и сел за свой стол. Мне нельзя было взглянуть на Ирену: Вераванна неправильно произнесла слово «кочевряжьтесь», переместив в нем буквы «р» и «в», а это грозило нам опасностью «согласованного» смеха...

Первая половина ноября протянулась для меня столетием. Ирена вторую неделю не появлялась в издательстве, и я не знал, что с нею случилось: Вераванна не разговаривала со мной, а к телефону на Перовской неизменно подходил Волобуй. Я звонил туда чаще всего вечерами, после работы, и Волобуй каждый раз с достоинством говорил «да-да» и «вы не туда попали». Голос его звучал бодро, и это обнадеживало меня: там, значит, ничего страшного не произошло. Могла же она прихворнуть ангиной, например. Тогда почти все время шел мокрый тяжелый снег. Над «Росинантом» образовался могилообразный сугроб, и я снял для него в аренду за двенадцать рублей в месяц трущобную закутку в одном из тех переулков, где были деревянные дома. После этого совсем стало нечем жить: на работе не было Ирены, а дома «Росинанта», и по ночам не хотелось ложиться в свою раскладушку, а по утрам вставать. Худо мне было с Веройванной. После моего немого поклона ей, когда у телефонной трубки отломилась головка микрофона, она увеличила заряд своей ненависти ко мне, и я до сегодняшнего дня так толком и не понял, в чем же у нас было дело, как это я смог возбудить у нее такой ядерно мощный и затяжной приступ злобной обиды. Предположение Ирены о стремлении Верыванны называть меня своим «шушликом» было просто противно и невероятно. Я только знаю, что Вераванна после возвращения из Сочи так и не дождалась обещанного и, наверно, нужного ей звонка, что «солнечный удар» у нее прошел, — недаром же телефон после его починки оказался на столе Ирены, и что повинным во всем этом оказался я, мой рост, моя куртка, берет с помпоном, моя фамилия...

В эти дни, без Ирены, у меня произошла нечаянная стычка с Владыкиным, о чем я, впрочем, совсем не жалею. Наоборот. Стычка эта вышла из-за Хохолкова,

автора рассказа «Полет на Луну»,— тот явился, чтобы вручить его Вереванне с дарственной надписью. Как известно, каждое литературное произведение обладает удивительным свойством проявлять не только духовный, но и физический облик автора, — по крайней мере сам я в любом стихотворении Пушкина или Блока, в каждой строке Толстого или Чехова ясно вижу их самих. Я представляю, какого они были роста, какого цвета у них глаза и волосы, как они разговаривали, улыбались или гневались, как ходили и как сидели. Нет-нет, тут полностью исключен самообман, будто мы потому только видим этих писателей такими, что прежде уже знали их портреты. Ничего подобного. Каждая книга похожа на своего автора, и каждый автор — на свою книгу, — тут уже ничего нельзя поделать, хотя вполне возможно, что многие беллетристы не хотели бы быть схожими со своими произведениями. Хохолков был здорово похож на свой рассказ, похож решительно всем: белесостью наивно-радостных глаз и роскошной, но отчего-то смешной на нем долгополой дубленкой, хитроватым утиным носом и замшевыми ботами на желтых латунных пуговках. К дубленке не шли летние вельветовые брюки цвета осенней болотной травы, как не подходила к ней и черная, отечественного производства каракулевая шапка пирожком. Когда он появился и восторженно засмеялся навстречу Вереванне, я почему-то решил, что это окололитературный жук из тех, что со страшной силой вились вокруг издательства в вожделении захватить чью-нибудь «самотечную» рукопись для «внутренней» рецензии,— они браковали их легко и с ходу одними и теми же фразами-конструкциями вроде крупнопанельных ферм, из которых строят теперь стандартные дома. Эти ребята всегда казались мне почему-то повышенно веселыми, и дело, наверно, было просто в том, что видел я их обычно в дни выдачи гонорара. Он с чувством поцеловал Вереванне руку, и она суетно заволновалась.

— Аркадий Маркович, дорогой наш, куда же вы запропастились?

Она сказала это подобострастно, и тот снял шапку и во второй раз приложился к ее ласте. На его голове просвечивалась круглая темечная лысина, замаскированная начесом. Свою преждевременную плешь не каждый, конечно, может носить с грацией, но настоящий

мужчина, по-моему, не должен возиться с нею как с позором, который надо скрывать.

— У вас, кажется, новый сотрудник? — сказал он Вереванне обо мне. Она кручинно ответила «представьте себе», и я вынужденно привстал со стула,— как-никак, а меня вроде бы рекомендовали для знакомства.

— Аркадий Хохолков... Не жмите, пожалуйста, крепко руку, — предупредил он меня. Я машинально, вслед за ним, тоже назвал свое имя и фамилию. Вераванна тогда откровенно фыркнула, и это помешало мне исполнить странную просьбу Хохолкова,— я пожал его толстоватую короткую ладонь с нормальной в таких случах крепостью. Он никак не среагировал на это, и я не поверил, что у него болит рука...

Заносить меня начало позже, уже после того как Хохолков многозначительно-молча и стоя вручил Вереванне рассказ. Вераванна растроганно приняла его в обе руки и, не читая надписи, возбужденно и шепеляво сказала «шпачибо». Когда они сели, Хохолков замедленным движением — как после долгой изнурительной дороги — достал из кармана дубленки непочатую оранжевую пачку сигарет «Кэмел». Он прикурил от газовой японской зажигалки,— перламутровой, плоской и изящно маленькой. Точно такую у меня прихватили вместе с брюками те четверо молодцов в беретиках.

— Ну? Рассказывайте. Где вы пропадали? — западающим шепотом, навалясь бюстом на стол, сказала Вераванна. Руки она держала на рассказе. Хохолков затянулся сигаретой и замученно прикрыл веки. Вот тогда меня и начало заносить, — наши столы ведь почти соприкасались, и я, глядя в рукопись, невольно видел и Веруванну и Хохолкова. «Ну, пожалуйся, пожалуйся, что ты, мол, смертельно устал. Просит же человек», — мысленно посоветовал я Хохолкову.

— Страшно устал, Верочка, — сказал он, а я поспешно закурил «Приму».— Только что вернулся из загранки... Вы представляете?

Он стал рассказывать о Токио. Все, что он говорил, соответствовало истине,— не только, наверно, в Японии, но и в любом заокеанском большом городе советский человек — особенно русский — в самом деле быстро надсаживается духом и телом. Его сердце сразу же начинает там ныть и проситься домой, в свой родной Саратов или Бердичев, безразлично. Причин этому много:

и наша извечная и труднообъяснимая заторможенность — если мы всего-навсего лишь рыбаки или туристы а не дипломаты — к принятию чужого языка, нрава и вкуса; и пугающая оголтелость безустально жаждущих фунтов и долларов; и сознание собственной потрясенности и беспомощности в том сумасшедшем-сумасшедшем мире; и обновленно — всегда обновленно!— возгорающаяся тогда любовь все к тому же самому Саратову. В то же время мне по собственному опыту было известно, что неожиданно попавший за океан наш человек не очень охотно признается грамотному соседу в своих впечатлениях,— тут ведь легко можно навлечь на себя подозрение в степной отсталости или показаться просто-напросто трепачом. Во всяком случае говорить об этом бывает не легко и не просто: т а м, между прочим, попадается и такое, что хочется навсегда увезти с собой.

Хохолков жаловался на свою усталость от «загранки» с каким-то сладким упоением, и то, что он не спрятал, а оставил на виду у Верыванны сигареты и зажигалку, не снял дубленку и парился в ней, что на нем были «художественные» летние штаны и зимние полумужские-полуженские боты, все это каверзно мешало мне поверить в искренность его жалобы, хотя сам я был, возможно, вдвойне больший тряпичник, чем он.

— Будете писать теперь книгу, да?—вкрадчиво спросила Вераванна. Хохолков обремененно наклонил голову,— куда, мол, денешься, а я подумал, что надо было подать ему не пять, а только два пальца — средний и указательный, раз он просил не жать руку. Подать, и все. И сесть как ни в чем не бывало. Затем мне пришла в голову совсем шальная мысль — взять, поплевать себе на ладонь, подойти к Хохолкову и шлепнуть по темечку. Шлепнуть, конечно, несильно, но чтобы все-таки получился сыро чмокнувший хлопок. Что бы после этого было? Ну что? Я тогда же пристыженно рассудил, что во мне только потому, наверно, сохранился запас глупого ребячества, что его не привелось израсходовать вовремя, в детстве...

Когда Хохолков ушел, я спросил у Верыванны, чем был вызван ее эмоционально сочный смех.

— Как это чем?— негодующе вскинулась она,— взъярилась, видно, из-за «сочного смеха».— Если представляется человек с писательским именем, а к нему, видите,

тоже лезут с собой, то это странно даже! Как говорится, куда рак с клешней, туда и конь с копытом!

— Это говорится наоборот, но вы обмолвились правильно,— сказал я.

— В чем это я обмолвилась правильно?

— Насчет рака,— сказал я.— Разве этот плешивый потешник в самом деле писатель?

— А кто же он, по-вашему?

— Угодник его знает, — ответил я. — Что он написал-то?

— Две повести и вот этот рассказ!

Вераванна помахала перед собой «Полетом на Луну», как веером. Я засмеялся и сказал, что это не рассказ.

— А что же?— визгливо спросила она.

— Это? Чепуха-с. Этакий аммиачный пар-с... И почему вы пищите? Я же не щекочу вас под мышками,— невинно сказал я. Она схватила со стола рассказ и уже из коридора, из-за двери, крикнула, что я хулиган.

Без Верыванны — она не вернулась после нашей беседы — я закончил в тот день правку «Степи широкой» и позвонил Ирене. Волобуй сохранял все тот же бодро-благополучный голос, и я поблагодарил его, вместо того чтобы извиниться за ошибочно названный номер: я окончательно поверил, что там ничего страшного не случилось. Просто она заболела немного ангиной, и все. А Волобуй... что ж Волобуй! Он должен оставаться на своем месте и вести себя как следует... Ухаживать и все такое. Это хорошо, что он боевитый и заботливый... Пусть себе там мажордомит! Это хорошо, что он заботливый... С этим примирительным чувством к Волобую я и отправился к Вениамину Григорьевичу, когда меня позвали к нему в конце рабочего дня. Рукопись я захватил с собой, полагая, что это и есть причина моего вызова к начальству. Был альпийски мягкий, не морозный и не слякотный день, и витражные косячки в окне кабинета Владыкина тлели притушенно-меркло. Вениамин Григорьевич поздоровался со мной без руки,— переставлял на столе подставочку для карандашей, и я сказал «слушаю вас» и не стал садиться.

— Как у вас обстоит дело с рукописью?— надсадно, будто у него болело что внутри, спросил он, глядя на подставочку. Я сказал, что роман можно сдавать в набор.

— Ну, это уже мы...

Он не докончил свою мысль. Я положил перед ним «Степь» и, когда отступил на прежнее место между креслами, нечаянно прищелкнул каблуками. Вениамин Григорьевич болезненно поморщился,— прищелк получился у меня по-солдатски крепкий. Тогда у нас образовался тягостный провал времени, заполненный только тем, что у селенологов называется реверберацией,— это когда звучание живет еще некоторое время после выключения его источничка.

— Все? Мне можно идти?— спросил я, и это тоже вышло у меня по-военному. Владыкин сумрачно и опять почему-то трудно сказал «да нет, минуточку» и неловко. кренясь на бок, достал из ящика стола рассказ Хохолкова.

— Вот вы помните, товарищ Кержун, что говорили мне об этом произведении, когда оно было еще в рукописи? — выразительно спросил он. Я сказал, что помню. — А почему же теперь вы считаете его фарсом?

— Фарсом?— переспросил я. Владыкин не ответил. Он смотрел не на меня, а на подставочку, и я понял, что тут полностью искажена суть нашего разговора с Веройванной и что я не имею никакой возможности восстановить правду. Ну как я мог объяснить, что назвал рассказ Хохолкова не фарсом, а паром, произнеся это слово с приставкой буквы «с»? Я понимал, что отвечать на вопросы мне следует спокойно и обстоятельно, но дело у нас осложнялось не только тем, чтобы восстановить правду: надо было исходить еще и из того, что известно на этот счет Владыкину. Осложнялось наше дело еще и тем, что Вениамин Григорьевич был для меня тот человек, перед кем я всегда чувствовал себя скованным, безвольным и даже в чем-то виноватым. Я знал людей — например, капитана нашего траулера и его старпома,— при общении с которым и ты ощущаешь себя свободным, деятельным и смелым,— одним словом, достойным, и есть такие, перед кем становишься ниже, чем ты есть на самом деле. Вениамин Григорьевич был для меня этим, принижающим мою сущность человеком, и поэтому я не стал опровергать, будто не называл рассказ Хохолкова фарсом: тут мне все равно не поверили бы.

— Хотелось бы знать, товарищ Кержун, когда вы были искренни,— крепнущим голосом сказал Вениамин Григорьевич,— в первый раз или теперь?

Мне тогда подумалось, что Диброву я мог бы подробно рассказать обо всем, что на самом деле произошло утром,— как Хохолков предупреждал меня не жать ему крепко руку, а я все-таки пожал ее, как он «забыл» на столе американские сигареты и потел в дубленке, что говорил о своей «загранке» и как мне захотелось в это время поплевать себе на ладонь... Я бы сказал Диброву о «паре-с» и о том, как Вераванна обозвала меня хулиганом, заменив в слове букву «х» на «ф». Наверно, он в этом месте обязательно расхохотался бы, а меня понапутствовал каким-нибудь ироническим мужским советом, как в тот раз, когда ему доложили о нас с Иреной...

— Что же вы молчите?

Вениамин Григорьевич сказал это осуждающе, с примесью сожаления о моей несомненной для него неискренности. Мне почему-то вспомнилось, как я зарезал ему весной курицу, и стало обидно и досадно на себя, и я почти физически ощутил, как внезапно спала и улетучилась его странная власть над моим мужеством. Я сел в кресло и вежливо предложил ему сигарету.

— Это, конечно, не «Кэмел», но курить можно,— сказал я. Он молча и протестующе завозился на своем стуле. Тогда я закурил сам.— Значит, вас интересует, Вениамин Григорьевич, когда я был искренним в оценке рассказа «Полет на Луну»?— спросил я сквозь дым.

— Вот именно,— с настороженной сдержанностью подтвердил он.

— В таком разе вынужден огорчить вас. Искренним я был сегодня,— сказал я. Мы выжидательно посмотрели друг на друга. На столе не было пепельницы, и во мне шелохнулся озорной соблазн стряхнуть нагар с сигареты в подставочку.

— Выходит, вы... врали вначале?— логично заключил Вениамин Григорьевич, и я заметил, как порозовел и набряк рубец шрама на его щеке. — Почему же вы так поступили?

Я ответил, что на это меня вынудили исключительные обстоятельства.

— Вы ведь дали мне рассказ на отзыв, когда он был уже сверстан и проиллюстрирован...

— А вам откуда это стало известно? — прервал он меня.

— В данном случае важен факт. И не повышайте, пожалуйста, голос,— сказал я, хотя на самом деле он не

повышал. Мы снова примеривающе посмотрели в упор друг на друга, и Вениамин Григорьевич нажимно спросил, выразил ли я свое подлинное мнение, когда писал отзыв на рукопись Элкиной. Я ответил, что «Позднее признание», на мой взгляд, отчаянная исповедь очень одинокой и, наверно, хорошей женщины, но, для того чтобы повесть приобрела хоть какой-нибудь общественный интерес, автору не хватило литературной сноровки.

— Всего лишь сноровки?— с грустью надо мной спросил Вениамин Григорьевич, а я подумал, что могу тут забрести дальше, чем следует, запутаться и подвести Ирену, — отзыв-то писала она.

— Я имел в виду мастерства, — сказал я.— Это в значительной степени относится и к бездарному рассказу Хохолкова!

Сигарета моя истлела до основания и обжигала пальцы. Я поплевал на нее и понес окурок за стол Владыкина, к окну, где стояла корзинка для бумаг. Вениамин Григорьевич с опасливым любопытством до конца проследил за моими действиями и, когда я вернулся к креслу, встал сам.

— Видите ли, товарищ Кержун, — начал он, — если вам приходится у нас трудно, то... мы не станем вас удерживать.

У него были безмятежно добрые глаза. Я выждал некоторое время и сказал, что решение вопроса о своем увольнении предпочел бы услышать от директора издательства.

— Если вы, конечно, не возражаете.

— Да нет, вы неправильно толкуете,— поежился Вениамин Григорьевич,— мы не собираемся увольнять вас сами, понимаете?

Я сказал, что понимаю, но что в этом случае мне придется просить у товарища Диброва отсрочку на подачу заявления.

— До января,— сказал я,— пока выйдет моя повесть. Вы не согласились бы поддержать меня в таком ходатайстве?

— А где это... должно выйти?— не сразу, поборовшись с чем-то в себе, спросил Вениамин Григорьевич. Я назвал журнал. Нас разделял стол, а не поле, и поэтому мне хорошо было видно, что Владыкин, как и в тот первый раз, когда я из «чувства самосохранения» соврал ему, не поверил сказанному мной.

— Отношение редакции у вас с собой?

— Кажется, да,— неуверенно сказал я. Мне показалось нужным побыть немного растерянным, потому что «отношение» действительно существовало теперь и лежало в записной книжке в заднем кармане моих брюк. Я видел, как неможилось Вениамину Григорьевичу — застигнуть меня во лжи с глазу на глаз,— слабым людям это почему-то легче делать при свидетелях, и поэтому, наверно, он взглянул поверх меня, на дверь: вдруг кто-нибудь войдет! Из своих, конечно. И лучше всего, чтобы это была, понятно, Вераванна...

— Да-да. Извещение со мной,— равнодушно сказал я.— Хотите взглянуть?

Уже после того, как Владыкин взял у меня сложенное вчетверо письмо, мне вспомнилось, что вверху бланка, над оттиском названия журнала,— весенне-зеленым, кратким и счастливым, как молодость, красным карандашом я написал три огромных по величине букв слова — ура, уро и уры. После «ура» стоял всего лишь один восклицательный знак, а «уро» и «уры» я отстолбил многими... Я написал это уже давно, и разве на самом деле не слышится в окончании слова «ура» «о» и «ы», если выкрикивать это слово громко и счастливо? Еще как слышится!..

Вениамин Григорьевич дважды прочел письмо, аккуратно сложил его вчетверо и вернул мне.

— Что ж... Это их дело,— с полувздохом сказал он и сел за стол. Я спрятал письмо и остался стоять.— Мне все же, товарищ Кержун, непонятно, почему вы так... невоздержанно отозвались о рассказе «Полет на Луну»? Да вы садитесь. Нам все-таки надо поговорить.

Я поблагодарил его, сел и сказал, что написать рассказ это все равно, что прожить год жизни.

— Я имею в виду талантливый рассказ и яркий год жизни, — сказал я. — И вообще над страницей прозы нужно работать как над статуей!

Черт знает, зачем я говорил ему все это, но выслушали меня без возражений и вопросов...

Новая рукопись, которую вручил мне для работы Вениамин Григорьевич, называлась «Солнечные брызги». В ней было около четырехсот страниц. Вениамин Григорьевич сказал, что было бы хорошо сдать ее в производство в феврале.

Утром шел снег. По дороге в издательство я завернул на Перовскую, дошел до дверей особняка и вернулся на тротуар по своему следу. Вераванна оказалась на месте: она сидела с видом хозяйки положения, времени и пространства.

— Гут морген!— обольстительно сказал я ей.— В такую погоду хорошо промчаться на тройке по полю с любимым человеком. Вы не находите?

Она с неприступным видом читала рукопись.

— Но предварительно этим двоим следовало бы выпить по шашечке шерного кофе с ямайским ромом,— сказал я. Наверно, мы так или сяк вцепились бы словесно друг в друга, — я не собирался оставлять без комментария ее вчерашний доносный побег к Владыкину, но нам помешала Ирена, возможно, помешала зря: мало ли как после того развернулись бы события? Может, все вышло бы как-нибудь иначе, лучше... А впрочем, едва ли эта помеха имела какое-либо значение... Ирена появилась как видение. Она была в белой коротенькой шубе и в белой меховой шапке — вылитая снегурка, и я, увидев ее, встал за своим столом. Я так и не понял, что она тогда приказала мне глазами — тревожными, черными и большими на бумажно-белом исхудавшем лице: то ли немедленно сесть, то ли выйти, и я ничего из этого не сделал,— не сел и не вышел из комнаты. Я набрал в грудь воздуха и, немного задохнувшись, сказал, что рад ее видеть.

— Я вас тоже, Антон Павлович,— сдержанно и полуохрипше сказала она. Глаза ее что-то приказывали мне и одновременно спрашивали.

— Что с вами случилось?— радостно вырвалось у меня. Веруванну я не видел и не слышал, — так она подкопно притихла.

— Как у вас тут душно,— отвлекающе сказала Ирена. Я потом уже сообразил, что мне нельзя было выбегать из-за стола и помогать ей раздеться, но дело в том, что я забыл о Вереванне.

Когда вы на виду у кого-то неожиданно в чем-то спохватываетесь и пугаетесь, то сразу же начинаете давать отбой, то есть поступать и вести себя противоположно тому, как поступали секунду назад, и это всегда выходит неуклюже и переигранно. Мой «отбой» заключался в том, что я, вспомнив о Вереванне, спешно и молча вернулся на свое место с Ирениной шапкой в руках, и Ире-

не пришлось самой забирать ее с моего стола и молча относить к вешалке. После этого я приложил все усилия к тому, чтобы напустить на свою физиономию ленивое равнодушие не только к появлению Ирены, но ко всему на свете. У нас тогда установилось подозрительно-выведочное молчание,— Вераванна не обмолвилась с Иреной ни словом: она притаенно следила за нами, глядя в рукопись. Мы тоже читали. Временами я краем глаза проверяюще взглядывал на Веруванну и видел все тот же устойчивый, иронически загадочный контур ее лица,— она походила на предворотнего сторожевого сфинкса у какого-нибудь старинного ленинградского особняка. Мне злорадно подумалось, ну как бы она произнесла слово «сфинкс»? Свинкс небось? Я вызывающе густо задымил «Примой», это не «Кэмел», черт возьми,— Вераванна шумно снялась с места и вышла из комнаты.

— Я увидела тебя утром в окно. Как ты оказался на Перовской? Что случилось? — спросила Ирена. Я ответил, что ничего не случилось.

— Смотри в рукопись, Вера может войти каждую секунду... Я собиралась на работу в понедельник, а сегодня только среда, понимаешь?

— Конечно,— сказал я в рукопись.

— Нет, не понимаешь. Вера знала об этом и все же не поинтересовалась, почему я вышла сегодня.

— Ну и пусть. Она просто каменная баба,— сказал я.

— Слушай меня. Ей известно, что нас якобы застали... когда ты целовал меня.

— И она донесла ему?

Во мне ожила прежняя ненависть к Волобую.

— Нет... Допытывалась у меня, правда ли это... А каким образом оказался на моем столе телефон? Не знаешь? Смотри все время в рукопись. Что тут у вас произошло? Вера рассказывала вчера, но я мало что поняла. Ты в самом деле оскорбил ее и Хохолкова? Она ходила жаловаться Владыкину. Он тебя вызывал?

— Да,— сказал я.

— Ну? Говори скорей!

— Все в порядке,— сказал я, — мне выдана для работы вот эта новая рукопись. А что было с тобой? Ангина?

— Грипп,— быстро ответила Ирена.— Это ты звонил вечерами?

— И по утрам тоже,— сказал я.— Нам нельзя встретиться сегодня?

— Как? Где? А Вера? И я очень плохо себя чувствую...

Вошла Вераванна. Она в самом деле была сильно похожа на каменного сфинкса с плоским, таинственно-ухмыльным лицом.

В облике Ирены проступило в эти дни что-то жалкое и непосильно-мученическое. Она усвоила какую-то напряженно-неуверенную походку, причем ее заносило тогда в сторону, будто она пробиралась в полутьме и опасалась натолкнуться на преграду. Я заметил, что время от времени у нее судорожно и коротко вздрагивала голова, стшатываясь вбок и вверх, и то, что она сама не замечала этого, внушало мне страх и боль за нее. Во всем, что происходило с Иреной, я винил Веруванну. Это не позволяло мне выдерживать проверку на интеллигентность своего поведения: я непомерно часто курил, перейдя с «Примы» на «Аврору», — сигареты эти источали небесно-синий, подирающий горло дым, и Вереванне волей-неволей приходилось то и дело оставлять нас с Иреной одних.

— Ну зачем ты это делаешь? Разве она не понимает? — нервным шепотом корила меня Ирена, не отрываясь от рукописи. В такие свободные от Верыванны минуты мы выяснили, что я не смею пригласить Ирену к себе, — за этим приглашением, независимо от моего намерения, все равно будет скрываться оскорбительный для нее нечистый предумысел пошлых любовников, а кроме того, в моем доме жил ведь Владыкин. Ирена могла появиться на Гагаринской раньше, до того как она еще не чувствовала за собой «состава преступления», теперь же это исключалось безоговорочно.

Накануне выходного, уже перед концом работы, я сказал Ирене, что буду ждать ее завтра на рынке у входа в овощной павильон.

— Нам надо спокойно поговорить хотя бы десять минут. Неужели ты не можешь отлучиться за продуктами?

— Нет. Это он делает сам!— У Ирены резко дернулась голова. — Но я смогу пойти в центральную библиотеку. По субботам она открывается с двенадцати часов... Смотри, пожалуйста, в рукопись.

— А, будь она проклята!— сказал я.

— Пожалуйста, прошу тебя... И не кури так часто. Мне ведь придется выходить вместе с Верой. Она и так уже...

Я не знал, что это «она и так уже», потому что явилась Вераванна. Она почему-то не оставалась в коридоре больше минуты,— наверно, считала, что за это время дым от моей сигареты улетучивался полностью.

Библиотека работала по выходным не с двенадцати, а с двух часов дня до одиннадцати вечера. Было ветрено, и несло мелкой крупой, секущей лицо. Я зашел в соседний с библиотекой подъезд. Минут через двадцать Ирена показалась в конце улицы. Ветер дул ей навстречу, и она шла осторожно, мелкими скользящими шагами, как ходят в больнице те, кому разрешено самостоятельно являться на перевязку. В подъезде, куда я поманил ее издали, сквозяще гудел ветер.

— Встретил там знакомых?— встревоженно спросила Ирена осипшим голосом. Я сказал, что библиотека откроется только в два часа.— Как же теперь? Мне нельзя оставаться на холоде... А где твой «Росинант»?

Я объяснил. В просторных рукавах шубы ее острые локти дрожали хило и зябло. Ирена высвободила их из моих рук с жалкой нездоровой гримасой, будто я причинил ей боль.

— Не трогай меня, Антон. Я пойду домой... Но мне нужно было что-то сказать тебе... А тут нельзя.

— Зайди вот в ту нишу и прислонись к стене, она совсем чистая,— сказал я,— сейчас найду такси.

— Нет-нет, в такси говорить об этом тоже нельзя, слышишь? Не надо!

По улице я побежал под ветер — шансы отыскать пустое такси в том или в этом конце ее были равноценны. Я не догадывался, что намеревалась сказать мне Ирена, и все же страшился и не хотел этого разговора,— он не мог быть благополучным для меня при этой ее походке и жалкой больной гримасе, когда я дотронулся до ее локтей. Не мог! Я бежал и надеялся, что такси мне не попадется. Не встретится. А если и попадется, то Ирена сама ведь предупреждала, что там разговаривать будет невозможно. Завтра же, в воскресенье, мы никак не сможем увидеться, а до понедельника все образуется. Мало

ли как! Надо только переждать немного — и все. Как в тот раз, когда пришло письмо из журнала... Такси вынырнуло из переулка прямо передо мной. «Не заметить» на холоде его ярый зеленый глаз оказалось бы невероятным для кого угодно, и я поднял руку. В машине было по-летнему тепло: юный шофер сидел без пиджака, в одной белой нейлоновой рубашке,— это удачно оттеняло его темные стильные волосы, разделенные пробором как у Иисуса Христа.

— Вон в том подъезде заберем человека, высадим его возле Перовской, а сами поедем на Гагаринскую,— сказал я ему, садясь рядом. Он кивнул. У подъезда, не выходя на тротуар, я открыл заднюю дверь и, когда Ирена медленно и боязливо пошла к машине, подумал с отвращением к себе, как хотел поплевать Хохолкову на плешь, как презираю Владыкина за его будто бы смиренно-холопское лукавство, хотя сам я просто-напросто детприемовский подонок, если способен — вполне был способен! — оставить Ирену одну с ее «неблагополучной» для меня тайной. Как только она осторожно уселась на заднем сиденье за моей спиной, я приказал шоферу ехать в аэропорт.

— Трояк за скорость,— сказал я. Он с уважительной завистью посмотрел на мою куртку.

В аэропортовском кафе было чисто, а главное, безлюдно, и мы выбрали угловой столик под фикусом и сели спиной к дверям. Я заказал бутылку шампанского, тарелку креветок и плитку шоколада «Цирк», так как «Аленки» не оказалось. Мне очень хотелось сказать Ирене что-нибудь веселое, но она недоступно, с предслезным напряжением смотрела в окно на заснеженное аэродромное поле, где устало сидели белые самолеты, и ничего радостного не приходило на ум. Я бесшумно открыл бутылку и налил шампанское в бокалы.

— Антон, я сделала... Я была беременна,— жалобно сказала Ирена в окно, и голова ее дернулась вверх и вбок. То, что воровато прошмыгнуло тогда в моем мозгу, было оскорбительной несправедливостью к Ирене, и она, наверно, уловила это, потому что обернулась ко мне лицом.— У меня есть знакомая, врач... Никто ни о чем не догадался...

Моему телу вдруг стало больно. Мне было больно всюду, и я молча глядел на Ирену и не выпускал из рук бутылку. Ирена наклонилась над столом и заплакала.

Слезы ее булькающе капали прямо в бокал с шампанским, но я не смел отставить его в сторону, боясь шевельнуться и задеть ее локоть.

— Это долго не будет, — сказал я издали, — это потом пройдет.

Я имел в виду свой страх прикоснуться к ней, ее болезненную походку, отвратительный нервный тик головы.

— Как... Что пройдет? — спросила Ирена. Она отдалилась от стола и раскосо посмотрела на меня влажными глазами.

— Дай мне руку. Ты не бойся, я осторожно. Я только подержу,— сказал я. Она уронила мне на колено руку и опять заплакала. Рука ее была горячая и сухая, и на каждом ногте метились жемчужные крапинки — ногти цвели. Под ними ритмично толкалась, то напорно приливая, то отходя, прозрачная розовая кровь, и я наклонился и неощутимо для губ поцеловал каждый палец в отдельности, каждый в ноготь.

— Ты будешь и после... Таким же останешься?

Она, значит, знала о моем страхе и боли всего моего тела, но глаза ее по-прежнему были тревожно-раскосыми и влажными.

— Я закажу себе водки, ладно?— попросил я.

— Конечно,— согласилась она.

— Я выпью полный стакан, а шампанское не буду. Тебе, наверно, тоже нельзя, правда?

— Нет. Пей один... А что все должно пройти? О чем ты говорил?

— Ты же знаешь,— сказал я.

— Только это?

— И еще блажь твоя.

— Моя?

— Тоже мне великанша,— сказал я.— В шампанское наплакала. Как не стыдно! Дай я это выпью...

Минут через тридцать я отправил ее домой в такси, а сам решил ехать автобусом. Он долго не приходил, и я вернулся в кафе и заказал еще немного водки, а после часа полтора смотрел в окно, как взлетали и садились белые самолеты. Я думал, что своего сына назвал бы Павлом. А дочь Мариной, в честь мамы...

В издательстве я стал появляться раньше всех,— надо было каждый раз незаметно положить в стол Ирены то кулек изюма или тыквенных зерен, то горсть кон-

фет «коровка», то еще что-нибудь, что любил я сам. Все это так и оставалось в столе, в дальнем углу, аккуратно сложенное и прикрытое бумагой,— я ни разу не уследил, когда Ирена умудрялась раскладывать по ассортименту эти мои несчастно посильные приношения! У нее перестала дергаться голова. Ходила она теперь тоже нормально. Я снова перешел на «Приму» и курить выходил в коридор. С Веройванной у меня установилось что-то похожее на перемирие: она держалась замкнуто, но с недоумевающей опаской, — возможно, ей было непонятно, каким образом мне удалось уцелеть тут после ее жалобы Владыкину. Я урывками рассказал Ирене о той своей беседе с Вениамином Григорьевичем.

— Ты его ушиб письмом из журнала, и он растерялся,— рассудила она. — Кроме того, неизвестно еще, какой благой умысел владел им, когда он давал тебе новую рукопись. Ты ее прочел предварительно?

— Она мне нравится, — сказал я. — Грамотная, интеллектуальная штука.

— Ну что ж, это хорошо. Но в дальнейшем ты должен учитывать, что Владыкин из тех людей, кто благозвучие предпочитает истине. А ты ему вдруг «бездарный рассказ». Он ведь редактор его...

— Я тебя очень люблю! — сказал я.

— Тише, сумасшедший!

— Плевать! Кто автор повести «Куда летят альбатросы»?

— Ну ты, ты! Мой Кержун!..

Глаза ее черно блестели и хорошо, нужно нам обоим, косили к переносью.

В том, что у нас с Веройванной исподволь назревало безобразное столкновение, повинна сама жизнь. Во-первых, декабрь тогда не двигался с места. Он представлялся мне серо-темным железнодорожным составом товарняка из тридцати одного вагона, застрявшим в степи под снегом и наледью. Эти вагоны-дни были пусты и промозглы. Они закрыли путь для января — моего сияющего огнями и гремящего музыкой голубого экспресса под сине-белым флагом, на котором была изображена чудесная морская птица альбатрос. Декабрь был самый люто безденежный месяц в моей жизни. К

тому же он был еще глухонемым — мы с Иреной ни разу не встретились одни, с глазу на глаз, без Верыванны. Известно, что чем ожесточеннее становится человек, тем беднее он чувствует себя на свете. Я стал нетерпим и раздражителен. По утрам, выходя из дому, я не мог, например, не шугнуть на разлохмативших от холода, смуглых, как цыгане, голодных воробьев,— ютились, наверно, по ночам в дымоходах: эта их зимняя судьба напоминала чем-то мою и вызывала не сочувствие, а ярость. В одно из таких утр к моему настроению калёно пристыло стихотворение о том, что «нас тогда сыпучим снегом засыпало. И сказал я: мама, мама, что так мало. Шоколад молочный помню, и фисташки, и с японскими цветочками бумажки. Марки старые, журнальные картинки и с базара украинские кринки. Сердце билось, сильно билось и устало. Все шепчу я: мама, мама, что так мало...»

Мне показалось, что это стихотворение поляк Ярослав Ивашкевич написал о нас с Иреной, и я положил его ей в стол. Делать это мне не следовало: Ирена, прочтя стихотворение, расстроилась и тугой стремительной походкой вышла из комнаты, полуотвернув от нас с Веройванной лицо. Пойти следом за ней я не мог, и меня обжигающе возмутила крепостная каменная прочность, с какой Вераванна восседала на стуле. Так могут сидеть, подумал я, только те, у кого нет никакого страха собственной недостойности перед величием, скажем, Толстого или Бетховена, кто самоуверен и нахален в суждениях обо всем, что живет в мире и чем живет мир помимо хлеба.

Мне очень хотелось растрепать ее как нелепую тряпичную куклу.

Ирена вернулась, прошла к своему столу и попросила у меня сигарету.

— Но это не «Кэмел», Ирена Михайловна, — сказал я, — от моей «Примы» вы завянете, как повилика в зной.

При чем там была повилика — сказать теперь трудно, упоминание же «Кэмела» не произвело на Веруванну никакого впечатления: она как раз тогда обнаружила в своей рабочей рукописи досадный просчет автора и озабоченно и важно посоветовалась с Иреной, как быть,— тот взял и вывел пять отрицательных персонажей на трех положительных героев.

— А вы переставьте их наоборот,— порекомендовал я. Ирена закашлялась и загасила сигарету. Вераванна не удостоила вниманием мое конструктивное предложение. Минуты две спустя она спросила у Ирены, что такое рундук.

— Большой такой ящик в виде ларя,— торопливо сказала Ирена, боялась, видно, что меня снова черт дернет за язык.

— А омшаник?

— Яма, поросшая мхом.

— Да нет, Ирена Михайловна, это погреб, куда пасечники в старину укрывали на зиму ульи,— сказал я только для того, чтобы нам встретиться глазами. Мы и встретились, и я приласкал ее взглядом и укорил себя за стихотворение Ивашкевича.

— Смотрите-ка, какая энциклопедическая осведомленность,— картаво, с леденцом, наверно, под языком, надменно проговорила Вераванна. Я обернулся к ней и сказал, что помимо этого знаю еще, что согласными называются звуки, при произнесении которых воздух в полости рта встречает какую-нибудь преграду. Вераванна предположила, что на этом заканчиваются мои познания русского языка.

— Вы заблуждаетесь,— сказал я,— мне, например, известно и такое редкое русское слово, как труперда. Труперда! — повторил я. Вераванна защемленно крикнула, что я хам, а я в свою очередь обозвал ее дурой...

Когда на второй день с утра я пошел к директору, на мне все было выглажено, и галстук я повязал не двойным, а одинарным узлом, как носил он, манжеты моей рубашки выступали из рукавов пиджака на такую же примерно длину, как выпрастывались у Диброва его манжеты. Мне представлялся мой приход к нему не только достойным, но в какой-то степени даже доблестным, поскольку я добровольно решил посвятить его в сложность наших отношений с Веройванной. Дибров встретил меня приветливо, с прежним оценивающим промельком в своих трудных глазах. Он пригласил меня сесть и спросил, что нового. Тогда возник большой тщеславный искус сказать ему о своей повести и молодежном журнале,— мне дорога была симпатия этого человека, но я удержался, так как давно предрешил войти однажды в этот кабинет окончательно полноправ-

ным автором, и надо было только узнать, уместно ли будет учинять на журнале дарственную надпись,— ее я продумал тоже давно и тщательно.

Дибров умел слушать не только ушами, но главным образом глазами, и это, пожалуй, была основная начальная причина того, что минут через десять я испытывал перед ним великий стыд и позор. Сперва в его глазах приметно проступало живое и немного снисходительное сочувствие ко мне, затем в них появилась ирония, разбавленная разочарованием, а под конец — не то недоумение, не то досада пополам с нетерпением,— дело было в том, что я не мог объяснить ему, на чем мы разошлись с Веройванной по работе. Деловых разногласий, которые мешали бы нам нормально исполнять свои служебные обязанности, а значит, и давать повод к административному вмешательству в них директора, не существовало. В чем же после этого был смысл моего посещения директора? Такого служебного смысла в нем не было и не могло быть: я самовольно присвоил себе право обратиться к нему как к человеку, знающему меня лишь по двум моим предыдущим посещениям этого кабинета, когда я выглядел тут по меньшей мере мальчишкой, нуждавшимся в директорском снисхождении. Оно мне и было оказано. Чего же я хочу сейчас? Этого я толком не знал. И тогда Дибров недовольно сказал:

— У тебя, дорогой мой, получается как в старой русской поговорке — не все работа у мельника, а стуку вволю.

Я казался себе ничтожным и каким-то мусорным.

— Тебя надо пересадить куда-то, а куда — вот вопрос! — возбужденно, с неожиданным пылким участием ко мне сказал вдруг Дибров, до белков округлив глаза. — Запутался, понимаешь, среди двух женщин и барахтается!

Поколебать эту его глобальную убежденность в том, что я запутался между Лозинской и Волнухиной как воробей в застрехе, было не только невозможно, но, как я мгновенно сообразил, и не нужно,— Дибров ведь не выводы делал о моем аморальном поведении, а доброхотно устремился высвободить меня из застрехи. Та бессмысленная улыбка, что расцвела на моем лице, почему-то еще больше воодушевила его на непрошеную помощь в переселении.

— Пойдем посмотрим, что можно будет сделать,— сказал он и поднялся раньше меня. Это хорошо, что Ирена не видела, как по-адъютантски неуклонно следовал я за Дибровым по коридору издательства в том нашем изыскательном походе. Дибров стремительно шел впереди, а я сзади и чуть сбоку. Я сохранял дистанцию шага в полтора, которая, как мне казалось, вполне гарантировала перед встречными мою самостоятельность и независимость. По пути Дибров открывал двери кабинетов, с порога здоровался с их обитателями и тут же направлялся дальше, не оглядываясь на меня. Каждый раз я норовил оказаться в створе открываемых им дверей в кабинеты: со стороны все это могло быть похоже на какую-то инспектирующую проверку директором в моем сопровождении прилежности своих подчиненных. У седьмого из числа проверенных нами кабинетов на двери висела стеклянная табличка, извещавшая золотыми буквами, что это редакция поэзии. В кабинете, развернутый наискось от окна к углу, стоял стол, а за ним прямо и низко, как школьник за партой, сидел подросток-мужчина с лицом залежавшегося яблока, — оно лоснилось и в то же время увядше морщилось, и невозможно было определить, сколько лет этому товарищу — шестнадцать или тридцать два. Тут, наверно, помещались в свое время два стола, потому что справа от дверей на полу у стены пустовал второй телефон, скрытый стулом. Когда Дибров вошел в кабинет, телефон этот звонил. Дибров наклонился и снял трубку, но в аппарате звякнул отбой.

— Товарищ Кержун, переносите свой стол и располагайтесь здесь! — начальственно сказал мне Дибров, указав на стул, под которым стоял телефон-беспризорник. Я поблагодарил и пошел по коридору. Я шел медленно, потому что не знал, как объявить Ирене при Вереванне о своем внезапном переселении и как мне, не роняя достоинства «пижона», перетащить стол... Позади себя я слышал удалявшиеся по коридору шаги Диброва и, когда оглянулся, то увидел рядом с ним хозяина моего нового кабинета,— он, ступая почему-то на носки ботинок, протестующе говорил что-то Диброву.

— Лично вам, уважаемый товарищ Певнев, это ничем не грозит. Совершенно! Занимайтесь, пожалуйста, своим прямым делом, за что государство платит вам деньги!

Это сказал Дибров жестко и сильно, и я с отрадой подумал, как ладно подходит он к своей замечательной должности и как эта должность здорово подходит к нему!

Хотя стыд и считается нормальным нравственным чувством любого порядочного человека, все же лучше как-нибудь избегать его, потому что в этом состоянии ты непременно оказываешься в глазах твоих ближних не только жалким, но и смешным. Я не нашел способа словесно или молча внушить Вереванне, что добровольно ухожу из комнаты, и получилось, будто меня выдворили отсюда после той ее «хохолковской» жалобы Владыкину. Так по крайней мере думалось мне, когда я под тревожно-утайными взглядами Ирены начал разбирать свой стол. Я неудачно снял крышку, прислонив ее к себе внутренней стороной, и вся накопившаяся там пыль и паутина осели на мой костюм. Мне бы так и выйти в коридор, чтобы на обратном пути за остальным почиститься, но в презрительном протесте против Верыванны я с грохотом опустил крышку на пол и угодил себе кромкой на ноги. Я тогда панически струсил, что не вынесу эту дикую пронзительную боль и со мной может случиться то, что происходило в таких случаях в детстве,— неудержимо постыдный грех по-маленькому, когда ты ничего не можешь сделать, когда легче бывало прервать крик, чем прекратить то. В пыли и паутине, да еще с искаженной от боли, стыда и страха физиономией, я, конечно, не мог не вызвать у Верыванны здоровый утробный хохот, и неизвестно, сумел бы я удержаться от ответной грубости, если б не Ирена.

— Может, вам помочь, Антон Павлович? — ради предотвращения нашей прощальной ссоры с Веройванной спросила она, и меня возмутило, что в ее голосе не было ни скрытого страдания, ни тревоги за меня,— наверно, не заметила, как я ушибся, а кому же надо было замечать это в первую очередь, черт возьми, если не ей! Не думаю, что я картинно выглядел, когда вышвыривал в коридор крышку стола, а потом выволакивал обе тумбы..

Нет, стыд — не слишком ценное духовное достоинство. Он кого угодно способен превратить в дурака...

Было ясно, что с Певневым у нас не получится гармоничное сосуществование,— он молчаливо отверг мое корректное извинение за невольное вторжение и не назвал свое имя-отчество, когда я представился ему сам: до того дня я ни разу не видел этого человека, а стало быть, и он меня тоже. Мне был понятен этот его святой неуклюжий протест,— сидеть вдвоем в кабинете — значит, наполовину умалить перед авторами, особенно начинающими, высоту своего редакторского пика, и развернутый от угла к окну стол не будет уже овеян для них неким мистическим значением, хотя местоположение моего стола не может не подчеркивать мою как бы второстепенную роль в делах этого кабинета. Я предпринял еще одну сомнительную попытку примирения на будущее и с видом парня-рубахи спросил, как у нас обстоят дела с курением,— пепельница на первом столе отсутствовала.

— Я лично не курю и просил бы...

Голос Певнева звучал по-женски. Я сказал, что все понятно. Мне все еще было лихо от своего безобразного «волокушного» ухода под отвратительный сытый хохот Верыванны, и требовалось что-то сделать, чтобы встать в прежний рост перед Иреной и перед самим собой. Теперь у меня был личный рабочий телефон. Я полуотвернулся от Певнева и позвонил Ирене.

— Вас слушают,— неприветливо сказала она. — Алло!

— Добрый день, Альберт Петрович, говорит Кержун,— сказал я.

— Здравствуйте... Николай Гордеевич,— на секунду запнувшись, ответила Ирена.

— Хочу предупредить вас, что с нынешнего дня я перебрался на новое место,— сказал я.

— Вы, кажется, были в творческой командировке?

— В кабинет редакции поэзии,— сказал я. — Номер моего телефона два девять ноль тридцать четыре.

— Это любопытно.

— Так благосклонно соизволило решить начальство, потому что здесь несколько попросторнее,— сказал я не столько ей, сколько Певневу.

— Вот как!

— Теперь такое дело. История слова труперда связана с именем Пушкина. Он называл так княгиню Наталью Степановну Голицыну.

Ирена слушала.

— Вот именно. Просто толстая и глупая бабища,— сказал я. — Она не принимала у себя Пушкина, считая его неприличным. Пижоном того времени, так сказать.

— Я этого не знала,— живо сказала Ирена.

— Так что вы смело можете оставить это слово в своей памяти как вполне правомочное. Конечно, Пушкин произносил его с прононсом, на французский лад, но это ведь не меняет сути.

— Очень хорошо, Николай Гордеевич, что вы сообщили мне это вовремя. Такие исправления лучше вносить до корректуры.

— Пожалуйста,— сказал я. — Вы не могли бы навестить меня сегодня вечером?

— Нет, Николай Гордеевич. Этот абзац у вас я опустила полностью, потому что в нем пробивается какая-то рискованная двусмыслица. Может, вы переработаете его, не нарушая идеи?

— Жаль,— сказал я.

— Хорошо. Потом сообщите мне... Всего доброго!

— До свидания,— сказал я.

Январь надвигался на меня как гроза, после которой должно произойти обновление мира, когда в нем останется для меня только восемь простых беспечальных цветов — голубой, синий, зеленый, оранжевый, красный, белый, желтый и фиолетовый, а все остальные — и прежде всего серый — исчезнут! Я ждал и боялся января и себя в нем. Как это все будет? Как я смогу перевернуть обложку журнала и не ослепнуть при виде своей фамилии, не упасть и не закричать о помощи под непомерной тяжестью того неизъяснимо радостного и громадного, что обрушится тогда на меня одного!..

Это именуют по-разному, в зависимости от того, кто вы есть, и каждый называет это для себя исчерпывающе точно: один — везением, второй — случайностью, третий — как ему бывает доступно, но оно, независимо от всех эпитетов, в самом деле извечно существует среди нас и ради нас, людей, только место его находится где-то поверх земли, ближе к небу. Оно — это то, что иногда и как бы в последний миг исполняет тайное

устремление вашего сердца, и я лично склонен называть это судьбой. Ей, судьбе, было угодно, чтобы тридцатого декабря в одиннадцать часов утра Певнев отлучился из кабинета минутой раньше звонка Ирены.

— Это говорит Альберт, — после своего отзыва сказала она басом, и я понял, что ей весело и рядом никого нет.

— Я хочу тебя видеть, вредная ты шалавка! — сказал я.

— Ты что, один там?

— Да, но могут войти.

— Слушай,— сказала она,— я сейчас насчитала в городе шесть «Росинантов», и все они хуже твоего...

— В десять раз! А ты где? — спросил я.

— Возле центрального универмага. Всем нашим добродетельным семейным дамам твой высокий покровитель неофициально разрешил сегодня и завтра готовиться к встрече Нового года. А поскольку ты одиночка...

— По твоей вине, — перебил я. — Где мне ждать? Она сказала.

— Только сам не выходи из машины, слышишь?

— Да-да, Альберт Петрович, я сейчас же отправлюсь туда, но это займет минут сорок,— сказал я без всякого воодушевления, потому что вошел Певнев.

Бегать можно тоже по-разному и опять-таки в зависимости от того, кто бежит, как и в какое время суток. Я принял спортивно-тренировочную позу и взял размашисто-плавный темп как самый безопасный, — в этом случае ваш деловито сосредоточенный взгляд, устремленный в неведомую даль на линии бега, не вызывает у встречных пешеходов никаких обидных для вас моральных посулов. С таким чемпионским выражением лица можно бежать не только по краю тротуара, но и по мостовой с полной уверенностью, что вам не помешает ни грузовик, ни автобус, ни милиция...

Площадка у дверей чужого сарая была расчищена, и «Росинант» завелся без прокрута ручкой, от стартера.

— Соскучился? — сказал я ему. — А знаешь, кто решил вызволить тебя на свет божий? Впрочем, ты ведь железный. Слепой. Немой. И глухой... Нет? Ты все видишь, слышишь и чувствуешь? Ну не обижайся. Это я пошутил. Ты у меня хороший. Как и я у тебя. И она

у нас с тобой хорошая. Она у нас просто золотой ребенок... Помнишь, как она сказала, что ты маленький и бедненький? Это она нечаянно обидела тебя, любя. Она сейчас ждет нас, и ты веди себя при ней, пожалуйста, как подобает настоящему благородному грандживотному, ладно? Я думаю, что правую щетку дворника надо снять. Она нам ни к чему, понимаешь?..

Я управился быстрей, чем обещал Ирене: на условленном месте ее не было. У меня не оказалось сигарет, и я сбегал в гастроном и купил пачку «Примы» и четвертинку водки. В сдачу с моих последних, непотребно замызганных двух рублей кассирша вложила в мою руку как подарок несколько двухкопеечных, новых и почему-то теплых монет.

Тогда выдалась тихая волглая погода. Липкий крупный снег падал густо, празднично и веско, и люди под ним утратили свою обычную сутолочную неприютность, и лица у них не казались буднично-серыми и неприступными. Все, что мне виделось,— люди, машины, дома, деревья,— все метилось каким-то чутким налетом робко подступающей новизны: вот-вот что-то должно было случиться впервые, хотя сути и имени ему никто еще не знает... Ирена появилась как предтеча этого тихо грядущего всеземного ликования.

Она была вся белая, возбужденная, с какими-то радужными продолговатыми коробками и пакетами.

— Ты кто? — сказал я ей. Она сложила на заднее сиденье коробки и пакеты, а сама села рядом со мной.— Ты откуда? — спросил я. Ирена приложила указательный палец к губам,— это означало, чтобы я молчал или разговаривал шепотом. Было хорошо от всего, что уже случилось и могло еще случиться до вечера. Заднее и боковые окна «Росинанта» плотно залепило снегом, и в чистый полукруг лобового стекла, где моталась щетка дворника, виделся я один. Я ехал медленно и свободно — вот едем и едем, и никто, кому не надо, не видит нас, потому что в тот день этих «кому не надо» на улицах не было. Мы немного поколесили по центру. «Росинанта» влекла какая-то неведомая притягательная сила на набережную к мосту в сторону Гагаринской, но Ирена там властно простерла перед собой указательный палец, и я понял, что это перст, а не палец, и что мне следует ехать прямо, минуя мост.

— Ты уже больше не шалавка, да? — спросил я. Она утвердительно кивнула головой. Шапка ее при этом сдвинулась набок, преобразив ее в озорного школяра, и мне стало трудно держать на руле руки.

— Ты с ума сошел! Врежемся ведь! — шепотом сказала она. — Поедем за город. Что в радиаторе? Вода или антифриз?

Я не ответил. Мир за окнами «Росинанта» быстро обретал свои повседневные краски.

— До чего же ты дик! — погасше сказала Ирена. — Ну что я, по-твоему, не могла самостоятельно узнать, что такое антифриз? Разоришь ведь, все разоришь сейчас!

— Черта с два! — сказал я, потому что Ирена готова была заплакать. — Черта с два! Ты по-прежнему оттуда, сверху!

— Нет. Ты стащил меня в подвал! И сам залез туда... И Волобуя покликал... и всех!

Это так и было, будь оно проклято! Я подрулил к тротуару, снял берет и трижды поклонился в колени Ирене, как кладут поклоны иконе верующие.

— Что ты делаешь?! Перестань сейчас же, я не хочу! — сказала Ирена, подвигаясь ко мне. Мы поцеловались по-земному, чуть не задохнувшись, а затем поехали вперед, к себе в лес, так как больше нам некуда было ехать...

Озарение мира исходит из нас самих, от нашего внутреннего светильника: во мне он вспыхнул тогда с обновленной яркостью, и потускневший было день опять засиял волшебным светом проступающего в нем торжества. Ирена снова была вестницей праздника, но уже не тихой и таинственной, а какой-то самоуверенной и властной,— когда нас, например, обгоняла «Волга», она непререкаемым жестом указательного пальца приказывала мне обойти ее, и глаза у нее презрительно суживались. Я невольно тогда засмеялся, подумав о нашей безопасности за заснеженными стеклами «Росинанта».

— Ну и что? В скрытом кукише тоже есть утеха,— сказала Ирена. — И ты не позволяй им обходить нас! По крайней мере сегодня!

Четвертинка сидела у меня в правом внутреннем кармане куртки. Временами, на ухабах, она мелодично

булькала, и Ирена будто невзначай кренилась к моему плечу и недоуменно прислушивалась, по-детски поднимая брови, но меня ни о чем не спрашивала. Я тоже не спрашивал ее о коробках и пакетах, хотя все время помнил о них и гадал, что там могло быть...

Застряли мы бездарно, прямо у края дороги, когда въезжали в лес,— «Росинант» сел днищем на снежный валик, а лопаты с нами не было, и задние колеса, провиснув, свободно пробуксовывали в пожелтевших залоснившихся колейках. Снегу на нашем лесном проселке было немного, по щиколотку, но возле еловых кустов я тонул до коленей. Ветки не помогли. Ирена за рулем — тоже: по ее мнению, во мне не хватало лошадиной силы, чтобы стронуть «Росинанта» с места,— он реактивно выл и не двигался ни взад ни вперед.

— Ты зря огорчаешься,— сказала Ирена, когда я вытряхивал снег из ботинок — все равно тут лучше, чем там,— показала она в сторону города. Ее изводил неуместный, на мой взгляд, смех, и я заподозрил, что она вряд ли в лад с моими усилиями переключала скорости. — Конечно! Я думала, что ты тащишь его вперед... Как Санчо своего осла... Помнишь?

— Вот заночуем тут, тогда будешь знать,— сказал я.

— Такая придорожная идиллия невозможна,— возразила Ирена, — любой проезжий шофер-общественник обязательно заинтересуется, зачем мы пытались свернуть в лес, сообщит о нашей беде автоинспекции, а она... Тут ведь рядом.

В смехе Ирены пробивалось беспокойство. Я поцеловал ее и пошел на дорогу. Снег падал густо и тихо, и видимость была плохая. Минут через пять мимо меня в город прошел «МАЗ», но я не решился поднять руку. «Колхиды» и «Татры» тоже нельзя было останавливать: такими солидными машинами, как правило, управляют пожилые опытные шоферы, которым не объяснишь, что моего «Росинанта» взяло и занесло на обочину. Я, скажем, затормозил неудачно, понятно, а меня развернуло и занесло, потому что снег скользкий, а колеса лысые. Совсем без протектора. Ну вот и занесло. А жена, понимаете, сидит и беспокоится... Нет, это им не скажешь. Из-за помпона на берете. Из-за куртки. Из-за Ирены. Никто из городских не поверит, глядя на нас, что она моя жена. Никто.

И я стал ждать полуторку со стороны города, и хотелось, чтобы она была колхозная. Я ходил по дороге взад и вперед вблизи «Росинанта»,— шагах в двадцати он уже не проглядывался в снежной пелене, и тогда становилось тревожно, несмотря на то, что меня попрежнему не покидало ощущение кануна праздника.

Это осталось невыясненным, припомнил меня рыжий владелец «Запорожца» или нет, а я узнал его сразу, как только он застопорил перед «Росинантом» грейдер — трехосную махину, выкрашенную в кроваво-бурый цвет. Красное на снегу — зрелище неприятное, в нем таится что-то отталкивающее и раздражающее, но в тот раз я не испытал ни тошноты, ни головокружения, как это обычно случалось, когда я видел красное на снегу.

— Кукуешь? — крикнул рыжий сквозь гул мотора, и мне подумалось, что эта моя тут встреча с ним сильно отдает злорадной насмешкой судьбы над Волобуем. — Не проскочил?

— Буксует, гад!

— Ну?

— Засел вот, как видишь!

— Чувиху, что ль, волокешь в лес?

— Да нет... Жена, понимаешь, захотела дочурке елочку выбрать,— сказал я.

— Свисти кому-нибудь,— захохотал рыжий. — Залазь, покажешь место, где будете пилить елку!

Я влез к нему в кабину. Он с хвастливой небрежностью, чуть было ни ударив «Росинанта» выносными колесами, двинулся в лес, опустив нож до основания.

— А потом столкну на чистое место. Бабец ничего? Или так себе?

— Не знаю... Смотри вперед, а то сосну заденешь, — сказал я.

— Неужели свежак? — азартно изумился он?

— Ну, свежак, свежак,— сказал я.

— Мать его впоперек, тогда тем более незачем домой, раз такое дело с тобой! — Грейдер он вел как игрушку по столу. — Пни заметны, так что не страшно,— объяснил он мне. — Говори, где завернуть. Может, вон на поляне за теми кустами? Ни хрена не будет видно, слышь!

Мы были как сообщники по темному сговору, оскорбительному для Ирены, но я ничего не мог поделать, потому что полностью зависел от этой богом подосланной мне бесстыжей рожи, на которой отображалось все, что хочешь — озорство, мужская поощрительная солидарность и добродушная зависть ко мне. Мы сделали так, как он посоветовал,— развернулись на поляне в стороне от проселка, где зеленой купой темнели кусты можжевельника. Мы объехали их дважды, до дерна счистив снег в отвал от кустов.

— Ну вот тебе и штраса. Подашь тут задом в прогал и... — Лохматый конец фразы рыжий досказал мне на ухо. Я достал четвертинку и всунул ее в карман его телогрейки.

— Больше ни черта нету,— братски заявил я,— получка будет только завтра, понимаешь? Так что ты не обижайся, пожалуйста, добре?

— Да ладно,— сказал он,— у самого-то осталось что-нибудь тяпнуть?

Мне было бессовестно жаль четвертинки, и он это понял.

— Как же ты без гари будешь? Не! Возьми назад. Бери-бери! Ты ж без заправки не справишься...

Я благодарно сказал ему в душе, что он замечательная рыжая сволочь, и нахально забрал четвертинку назад.

Остатком этого нашего великодня распоряжалась Ирена. Она не разрешила мне загнать «Росинанта» в прогал заросли, потому что в продолговатых радужных коробках лежали елочные шары, а их надо было развесить на можжевеловом кусте, стоявшем в середине купы. В серых бумажных пакетах оказались мои кульки с изюмом, тыквенными зернами и конфетами, что я приносил когда-то ей, и была еще бутылка шампанского, хала и банка маринованных слив. Был еще — первый за все мои тридцать лет! — новогодний подарок мне — ручные часы на белом металлическом браслете. Такие же самые, что я ношу и теперь... Когда она надевала мне их на руку, я глядел на макушку наряженного нами куста,— тогда волей-неволей приходилось подставлять лицо летящему снегу, а он, как известно, быстрей всего тает во впадинах глаз...

В машине я сказал Ирене, что у меня было всего два рубля и на них вот закуплены пачка сигарет и четвертинка.

— Значит, это водка у тебя звучала? — растерянно спросила она. — Ну и пусть! И хорошо! Все равно нам радостно!

Было непонятно, кого она утешала — себя или меня и что ей чудилось, когда «звучала» четвертинка...

Тридцать первого мело снизу и сверху, и у подъезда, где я поставил с вечера «Росинанта», образовался сугроб. Было тревожно за нашу «штрасу», за шары на кусте,— их могло посрывать, и было досадно, что январь отделялся от меня еще целыми сутками — пустыми, лишними и ненужными. Я решил, что «Росинанту» лучше зимовать тут,— мало ли когда он может понадобиться, да и вообще будет веселей, если он останется дома, со мной. Кому-то же надо оставаться со мной?

На улице мело во все концы и пределы, и на автобусной остановке люди жались кучками, чаще всего тесными парами. Во мне все больше росла тоска и обида на то, что наш с Иреной вчерашний день оказался скоротечным и обманным,— от него ничего не осталось, чтобы в этом можно было жить всегда. Во вчерашнем дне все было выдумано нами самими, потому что вернулись мы каждый к себе, поодиночке, в свою «волобуевскую» реальность. И Волобуй, между прочим, никакой не мажордом, а законный Иренин муж, отец ее и своего ребенка. А я — приблуд! К тому же — нищий. Нищий приблуд-пристебай с помпоном на финском берете! Флакона духов не мог подарить ей! Что может быть унизительнее?.. А как я принял от нее часы, господи! Растрогался, видите ли, а того не подумал, что они могли быть куплены на деньги Волобуя! На его выслуженную в тюрьме пенсию!..

Я не стал дожидаться автобуса и пошел пешком, уверив себя, что у меня нет четырех копеек на билет. Нет и не будет, и январь мне ничем не поможет, и что так мне и надо! Я шел и ждал, что с меня вот-вот снесет берет, но что я не погонюсь за ним и не подниму, потому что это тоже надо было, чтобы его сорвало и унесло метелью. Она мела, задувала то с боков, то в спину, а надо было все время хлестать мне в лицо,

и я несколько раз переходил на противоположный тротуар, возвращался назад и опять пересекал мостовую, но везде оказывалось то же самое. На мосту я снял часы и швырнул их через перила. По моему расчету, они должны были долететь до воды за пять секунд, и за это время я трижды мысленно поймал их и четыре раза бросил снова.

После обеденного перерыва я узнал, когда получал свои сорок пять рублей, что издательским женщинам зарплата была выдана тридцатого. И хотя это открытие ничего не меняло,— если Ирена и купила часы на свои деньги, жить-то она будет за счет Волобуя,— все же я испытывал какое-то очищающее меня чувство облегчения. После работы я отправился в универмаг. Часы стоили тридцать три рубля, а браслет два. Я купил еще духи «Серебристый ландыш» и синеглазую, косящую к переносью губастую куклу-неваляшку. Я попросил продавщицу не завертывать ее и пошел домой пешком. Метель поутихла, но прохожие встречались редко. Куклу надо было то и дело перемещать из-под правой мышки под левую, а из-под левой — под правую. Тогда она звонила — сдвоенно, мелодично и приглушенно-жалобно, и прохожие приостанавливались и оглядывались на меня удивленно и чего-то ожидающе. Но их было мало...

Дома мне срочно понадобилось мыть пол. По свежевымытому полу хорошо ходить босиком, а когда он высыхает и твои следы становятся не видны, то тебе никто ведь не мешает вымыть его снова, уже в обратном порядке — сначала в кухне, затем в коридоре, а после в комнате...

В половине одиннадцатого мальчик-почтальон, обутый в громадные лыжные ботинки, принес телеграмму. Мне! В ней говорилось: «Пусть новый год войдет твою комнату добрым великаном золотым мешком подарков радостей клюве белой птицы альбатроса тчк твой альберт».

Мой Альберт, конечно, не знал, что у белых альбатросов черные крылья. В воздухе они у них никогда не трепещут и не смежаются и видны на далеком расстоянии, как все черное под солнцем. Так что альбатрос — птица скорей всего черная, а не белая!..

С первых же дней января я стал жить ожиданием бандероли. Я помнил о ней непрерывно — на работе и дома, на улице и в автобусе, с утра и до ночи. По необъяснимой для меня самого убежденности бандероль должна была прийти семнадцатого, и это нечетное число постепенно приобретало в моем воображении недоброе значение урочного срока судьбы, когда мне суждено будет узнать, помилован я или обречен,— мне не верилось до конца, что «Альбатросы» в самом деле будут опубликованы: в бандероли может оказаться и рукопись. Дома я навел тогда идеальную чистоту и порядок. Все предметы моего обихода: оба стула, чайник, вилка, ложка, пепельница — строго-настрого определились на отведенных им местах в положении дружелюбного ожидания надобности в них. Это выражение гостеприимного ожидания достигалось тем, что чайник, например, всегда теперь был обращен носом навстречу входящему в кухню и дужка у него была приподнята, — только протяни к нему руку; ложка с вилкой лежали в кухонной тумбочке лоном и зубьями вниз, а не вверх,— тоже только возьми, пожалуйста. По утрам, отправляясь на работу, я прихватывал кусок халы и крошил его на заснеженном кузове «Росинанта» — воробьям. В автобусе я спешил поблагодарить кондуктора за билет. Я был предельно чуток и вежлив со всем миром, задабривая и подбивая на ответное милосердие то неизвестное и безликое в нем, что грозило мне пятницей под семнадцатым числом.

С Иреной мы не виделись, но изредка я звонил ей по рабочему телефону, «ошибаясь номером». Так мы уточняли, что оба живы и здоровы.

В те дни я предпринял еще одну попытку сблизиться с Певневым, но это ни к чему не привело. Зло, как я понял тогда, крылось не во мне, а в посетителях, особенно тех, что впервые переступали порог нашего кабинета: они почему-то сразу же направлялись к моему столу, а я не мог не встречать их с повышенным вниманием, потому что по одержимости и тайному чаянию сердца был им родней. То были поэты. Вернее, кто жаждал быть ими. Между прочим, я тогда открыл, какая глубокая пропасть разделяет городского и периферийного графомана. Представитель города мрачен, настырен и загодя враждебно предубежден к твоему приему его стихов, а периферийный нежно застенчив и

склонен к раболепию и угодничеству. Эти мне нравились больше первых, но и городским я не отказывал в ласке, прежде чем направить их к столу Певнева. Там все они наталкивались на хмурый привет специалиста по поэзии и по уходе прощались со мной с пламенной надеждой на новую и лучшую для них встречу. Певнев не понимал, каким огнем горели сердца этих людей и мое тоже. Он был полностью лишен чувства юмора, и ему приходилось плохо со мной в одном кабинете.

Журнал пришел шестнадцатого, а не семнадцатого. Он открывался моей повестью, но я не смог прочесть в ней ни единой строчки,— буквы разбегались, копошились и смешивались, а от страниц возбуждающе несло почему-то терпким запахом муравьиного спирта, и было невозможно отвести глаз от своего снимка: я вышел на нем широколобым, нахально прищуренным и высокомерным. Я впервые в жизни познал тогда, что бремя личного счастья тяжелей бремени горя,— в беде всегда остается надежда на лучшее впереди, а тут все сбылось полностью и до конца, и новое, что за ним должно последовать, не проглядывалось, поскольку время остановилось на той высшей точке хорошего, лучше которого ничего уже не могло случиться. Было все так, как я предчувствовал: мне хотелось закричать, и я знаю теперь, почему дикарь-одиночка издавал протяжный победный вопль, когда ему выпадала удача на охоте или в схватке с врагом,— он вопил не только от ликующей радости, но и от страха не справиться с ней в одиночку, он призывал на помощь! В «Росинанте» было холодней, чем на дворе. Я посидел с ним несколько минут наедине, пообещав ему новую резину на все четыре колеса, как только получим гонорар. Он сильно настыл, и клаксон звучал сипло и перхотно, так что никакого возвестно-торжествующего сигнала у нас не получилось.

Певнев не поднял глаз, когда я вошел. Как всегда, он неважно выглядел за своим наискось развернутым столом,— свет от окна бил ему в затылок, отчего лицо его делалось в полутени еще более плоским и как будто заношенным. С тех пор как я вселился к нему, он, между прочим, ни разу не переменил галстук — коноп-

ляно-зеленый, перекрученный, как мутовка, и рубашки тоже менял редко,— возможно, потому, что они были немаркого цвета. Если бы Певнев не был по отношению ко мне такой занудой, я бы давно, пожалуй, посоветовал ему — как коллега, конечно, — навести порядок в своей одежде и прежде всего подумать о кальсонах: когда он сидел, кальсоны всегда выпрастывались из-под штанин. Сам он, понятно, не замечал этого, но каково было другим видеть издали, от дверей, раздерганные концы тесемок на его худосочных лодыжках! Можно ведь скрадывать их носками, а не повязывать, черт возьми, поверх! Я бы попросил его уважить кое в чем и меня,— не шмурыгать, например, поминутно каблуками ботинок по полу, потому что трение резины о паркет исторгает такой же царапающий душу звук, как и скрежет зазубренного скобла по стеклу. Певнев читал не то «Огонек», не то «Крокодил» и не ответил на мое приветствие. Мне подумалось, как прочно и густо соединилось и перемешалось в нем ничтожное с жалким и что дурное в соседе аморально оставлять незамеченным. Особенно тогда, когда ты ощутил за собой коекакую личную силу. Верно же? Поэтому я сказал ему, что мне показалось, будто я поздоровался с ним, войдя в комнату. Он буркнул, что это, мол, вполне возможно.

— Я убежден, что поздоровался с вами, — сказал я.

— А вас к этому никто не вынуждал,— ответил он.

Я объяснил, что дело не в нем, а во мне, так как я поневоле должен быть с ним вежливым, раз он сидит со мной в одной комнате.

— Это вы сидите со мной, а не я с вами! — взорвался Певнев. — А кроме того, я не считаю для себя обязательным быть с вами вежливым!

Я сказал, что в таком случае он может считать, что я не считаю для себя обязательным с сегодняшнего дня курить в коридоре. Он ничего не ответил, и я разделся, сел за свой стол и с отвращением закурил, потому что на голодный желудок курить не хотелось.

— Что вам, товарищ Певнев, не нравится во мне? — спросил я.

— А почему вы должны обязательно нравиться мне? — сказал он. — Вы же не балерина?

— Вроде бы нет,— рассудил я,— а вы питаете к балеринам особую симпатию?

— Я ни к кому не питаю особых симпатий,— ответил он раздраженно. — И не мешайте работать!

— У меня создается впечатление, что вы не очень любите людей, не уступающих вам в физическом обаянии, — сказал я, — и если это относится только к мужчинам, то можно предположить, что вы находитесь в климактерическом периоде.

Мне тогда показалось, что Певнев собрался встать и выйти, но он только шмурыгнул каблуками по полу и остался на месте. Я снял телефонную трубку и позвонил Ирене. Она отозвалась слабым тусклым голосом.

— Рад вас приветствовать, Альберт Петрович! — сказал я нежнее, чем нужно было.

— Я одна,— ответила Ирена. — У тебя что-нибудь случилось хорошее?

— Да! — сказал я. — Сегодня утром.

— Что? Журнал пришел?

— Совершенно верно!

— Ну? Говори скорей!

— Его повесть напечатана!

— Чья?

— Ну того, кто там на снимке. Он совсем не похож, и я его не узнал...

— Господи! Поместили чужой?

— Нет. Просто он вышел чужим. Самонадеянным и надутым,— сказал я.

— Ну еще бы! Поздравляю тебя! Так им и надо!..

— Я заверил там, что вы тоже придете сегодня.

— Куда я приду? Что ты выдумываешь?

— Там просили не позже семи,— уточнил я время.

— Это невозможно.

— Там гарантируют достойный нас прием,— пообещал я.

— Нет... Принеси мне, пожалуйста, журнал на работу. Я несколько дней буду тут одна, понимаешь?.. Ну все. Ко мне пришел автор. До свидания.

— Ну разумеется. Черные костюмы, белые рубашки и темные галстуки,— сказал я в немую трубку, для Певнева. — В том-то и дело,— помедлив, сказал я опять. — Там убеждены, что вслед за талантами непосредственно идут те, кто способен ценить их. Вот именно! Я заеду за вами на своей машине. До свидания.

Видел бы Певнев мою машину!

В первых числах февраля мальчик в больших лыжных ботинках принес мне утром извещение на денежный перевод. Цифра была четырехзначная. Я поблагодарил мальчика и не узнал свой голос — он срывался на какие-то колоратурные ноты. На улице было тихо, морозно и сияюще, но я чувствовал себя так, будто отстоял на траулере две бессменные вахты в штормовую погоду,— меня пошатывало и водило по сторонам. На почте росла в зеленой кадке серая пальма, и я посидел за ней на подоконнике, а потом кое-как заполнил талон перевода.

— Сберкасса в пятом окне. Будете оформлять вклад? — спросила кассирша. Я сказал «нет» и снова не узнал свой голос. У меня разболелся затылок и перед глазами миражно мельтешились два красных светляка. В телефонной кабине — там же, в почтовом зале, — на деревянной полочке лежали белые женские варежки. Из раструба одной из них торчал кончик пятерки и автобусный билет. Я сообщил Ирене, что получил гонорар и нахожусь на почте. Она помолчала и сказала, что рада это слышать.

— Я неважно себя чувствую и боюсь не дойти домой,— пожаловался я.

— А как же быть, Николай Гордеевич? Я сдаю на этой неделе вашу рукопись. Вы когда уезжаете? — спросила Ирена.

— Я буду сидеть тут, за пальмой, — сказал я.

— А прислать вставки с кем-нибудь не сможете?.. Ну что ж делать. Тогда я подъеду минут через пятнадцать сама. Адрес ваш у меня есть...

Я прошел за пальму и стал смотреть в окно. Боль в затылке и миражные светляки не пропадали, и я вспомнил Бориса Рафаиловича и тетю Маню и подумал, что им купить. Потом я увидел Ирену. Она перебегала улицу прямо напротив почты, расставив руки, как бегают дети по льду. Шапка на ней сидела набекрень, и на руках были белые варежки.

— Что с тобой? — спросила она, когда зашла ко мне за пальму. Варежки ее были такие же, что лежали в телефонной кабине. Такие же самые. — Что случилось? Тебе плохо?

— Да нет. Уже нет,— сказал я. — Просто мне не удалось преодолеть звуковой барьер.

— Какой барьер? О чем ты говоришь?

— О своем авторстве,— сказал я,— высота и скорость оказались большими, а голова маленькой. Не вынесла...

— Глупости! Ты просто устал... хочешь, посидим где-нибудь в кафе? Днем там, наверно, бывает пусто.

— У меня дома новогодний подарок тебе. Может, заберешь? — сказал я.

— Не хитри,— поморщилась Ирена.

— Кукла-неваляшка и духи. С тридцать первого декабря лежат.

— Почему же ты молчал все время?

— Все стоило около четырех рублей, но сегодня мне не стыдно подарить тебе это,— признался я.

— Потому, что имеешь возможность купить подарок подороже?

Я снял с ее левой руки варежку и заглянул внутрь. Там лежал автобусный билет и пятерка. Телефонная кабина плохо проглядывалась из-за пальмы, и я сходил к кабине, но ничего там не обнаружил. — Ты в телепатию веришь? — спросил я и рассказал о варежках.

— Пойдем домой, я провожу тебя,— беспокойно сказала Ирена.

— Думаешь, я спятил? Я видел варежки так же отчетливо, как вижу сейчас тебя,— сказал я.

— Ну и ладно, и пусть!

— Но я же их трогал,— сказал я. — И билет видел. И пятерку.

— Когда ты звонил, у меня не было ни билета, ни пятерки. Ее принес Владимир Юрьевич перед моим уходом, когда я уже оделась. Пойдем, пожалуйста, домой!

На улице Ирена приказала мне идти впереди, и когда возле гастрономических магазинов я задерживался и оглядывался на нее, она стопорила шаг и тоже оглядывалась назад.

Мы впервые были у меня дома вместе. Ирена сняла варежки и шапку, а шубу запахнула на себе как перед дальней дорогой, и я не стал просить ее раздеться и сам не снял куртку. Кукла и духи стояли на откинутой крышке секретера возле свечек, и Ирена прошла туда мимо незаправленной раскладушки как по обрыву над пропастью.

— Больше у меня ничего нет,— сказал я ей вдогон. Я имел в виду не только духи и куклу. Кроме халы и растворимого кофе, дома ничего не было из еды. —

Может, мне все-таки сбегать в магазин за чем-нибудь?

— Нет-нет! Я тороплюсь на работу, — не глядя на меня, жестко ответила Ирена. Тогда я сообщил ей, сколько получил денег. Она нервно толкнула куклу, и та прозвонила печально и чисто. — Ты в самом деле... почувствовал себя на почте плохо?

— Ничего я не почувствовал! — сказал я. — И ты тоже с некоторых пор ничего не чувствуешь! Наладились дома отношения с нового года?

Она как под хлыстом обернулась ко мне.

Я знал свою способность к мгновенному саморазорению и к оскорблению того святого-заветного, чему в эту секунду безгласно кричишь-каешься в своей преданности и любви. Я знал за собой эту темную и беспощадную силу слабости и, чтобы не дать ей обрушиться на Ирену, сказал, что я детприемовский подонок, что у меня ничего не болело и не болит и о варежках я наврал с умыслом, чтоб заманить ее на Гагаринскую.

— Вот! — сказал я. — Нравится?

— Не болтай! — заступнически сказала Ирена издали. — Ты все это придумал на себя сейчас! Я же вижу... Глупый! Пойдем, пожалуйста, отсюда. Нам нельзя тут быть. Мы тут чужие...

— Куда мы пойдем? В издательство?

— Поедем к себе в лес.

— Он же не вездеход,— сказал я о «Росинанте».

— А может, тот человек опять там окажется с трактором.

— Это был грейдер, — сказал я. — И что тот человек подумает о нас? Тебе же это не безразлично, правда?

— Совершенно безразлично. Важно, что я сама подумаю о себе и о тебе.

Это не совсем соответствовало правде, но я не стал перечить. Духи Ирена забрала, а куклу оставила, так как ее некуда было спрятать, да и звонила она не всегда кстати...

У «Росинанта» оказались спущенными оба задние колеса. Судя по рваным дыркам в полотне покрышек, проколы были учинены чем-то толстым и трехгранным,— скорей всего заточенным напильником. Ирена

ждала меня на ближайшей автобусной остановке, куда я должен был подъехать на «Росинанте». До обеденного перерыва в издательстве оставалось несколько минут, и мы решили отправиться в аэропортовское кафе. Таксист нам попался старый и мрачный,— бывают такие люди с заклёкло-кислыми физиономиями, которые сразу наводят тревожные мысли о прободении у них язвы двенадцатиперстной кишки. Это очень неприятный народ, склонный к зловредному перекору, когда их просишь о чем-нибудь. Я сказал «пожалуйста, побыстрей», и шофер поехал со скоростью сорока километров в час. Мы сидели на заднем сиденье. Я украдкой обнял Ирену и прижал к себе.

— Ну вот видишь,— шепнула она.— Теперь мы совсем-совсем свои.— Она пригнула мою голову и сказала на ухо, кем чувствовала себя у меня дома. Слово было темное, но она произнесла его свободно и трогательно, и я поцеловал ее, а шофер резко увеличил скорость,— наверно, видел нас в зеркало. Как в тот раз, в кафе было чисто и нарядно, но угловой столик за фикусом оказался занятым. Мы выбрали место напротив. Я подал Ирене карту-меню и, когда сел, то отрадно ощутил уютную помеху в заднем кармане брюк, куда переложил деньги из внутреннего кармана куртки.

— Ты, конечно, уже выздоровел, — насмешливо сказала Ирена. У меня и в самом деле все прошло. — Чем ты намерен попользоваться?

Я ответил.

— Еще бы! Значит, бутылка полусладкого шампанского...

— Три,— сказал я. Ирена внимательно посмотрела на меня и согласно кивнула. Мы заказали закуски — много, чтобы заставить весь стол,— и шесть плиток шоколада.

— Пусть лежат горкой,— почему-то сиротски сама себе сказала Ирена. Я погладил ее руку и пригрозил великаном. За нашим прежним столиком у фикуса сидели три девицы, схожие между собой как инкубаторские курчата. У них было две бутылки не то портвейна, не то вермута, и они лихобойно пили это из водочных рюмок. Шампанское я открыл бесшумно, хотя очень хотелось выстрелить пробкой в потолок.

— За твою повесть!— сказала Ирена, вставая, и высоко подняла бокал. Она пила дробными медли-

тельными глотками, неудобно запрокинув голову, и мышцы у нее на шее некрасиво напряглись и выпятились, обозначив глубокую контрабасную ямку. Девахи тогда громко засмеялись. Они курили и глазели на нас, и Ирена присмирело села и поправила воротничок блузки. Глупая! Каждая из этих тройняшек была там старее ее лет на сорок. Каждая! Я расставил бутылки поперек стола фронтом на фикус, а в их интервалах разложил шоколад. Ребром.

— Как ребенок,— проговорила в тарелку Ирена.— Ну перед кем ты? Они же дурочки. И годятся нам... в племянницы.

— С такими коленками?— сказал я.— Ты посмотри, что это такое! Они у них как ольховые чурбаки. Терпеть не могу тупые коленки!

— Не переигрывай,— сказала Ирена.— Это ты за меня обиделся на них, да?— кивнула она на девиц.

— Расстегни воротничок блузки, — посоветовал я.

— Зачем?— изумилась она.

— Тебе будет свободней.

— Нет... Уже все в порядке... Я только на секунду забыла, что ты мой ровесник.

Она все-таки передвинула свой стул спиной к фикусу и отвлекающе спросила, как я полагаю, целы ли наши шары в лесу.

— Ешь, — приказал я. — Помнишь, что говорила бабка Звукариха? И вообще, как твои дела?

— Хорошо... Устроила на работу в издательство Владимира Юрьевича. Ретушером... Между прочим, он сегодня спрашивал, куда ты делся. Дать ему твою повесть?

Я разлил шампанское. Оно было чересчур холодное, и я обхватил Иренин бокал руками и стал его греть. Ладони сразу же занемели, и создавалось ощущение, будто меж пальцев снуют и жалят маленькие юркие муравьи, что живут в гнилых пнях по берегам озер. Эти паскудные белесо-желтые твари невероятно злы: я не раз наблюдал, как они нападают на большого красивого черного муравья из лесной пирамиды и умерщвляют его отвратительным конвульсивным приемом, впиваясь ему в места сочленения. Я рассказал об этом Ирене и признался, с какой ребяческой обидой на запоздалое мщение злу постоянно поджигал гнилые пни, когда писал в лесу возле озера своих «Альбатросов».

— Да-да. Желтые муравьи...— сказала Ирена, невидяще глядя сквозь меня.— А известно тебе, что можно, оказывается, люто ненавидеть человека за то, что он мучается из-за тебя?— спросила она вне всякой связи с моим рассказом о муравьях. Я не хотел, чтобы с нами был тут сегодня Волобуй, и сказал, что ее шампанское уже согрелось.

— Нет, погоди... Ну почему он не может... взять и умереть! Без болезни... У мужчин его возраста сплошь и рядом случаются во сне сердечные припадки!

— Давай, пожалуйста, выпьем, — предложил я.

— Это подло, что я желаю ему, но ведь я думаю об этом, думаю! И ты сам спрашивал, как у меня дела...

Я выпил один, без нее, а после мне понадобилось обрезать края у ломтиков сыра и переставить с места на место тарелки с разной едой. Вообще на столе было ненужно тесно. Ирена оцепенело смотрела на свой невыпитый бокал,— на дне его зарождались и нескончаемо струились и струились бурунчики солнечных росинок, и черт знает откуда их столько там бралось! Мы помолчали некоторое время еще, потом Ирена подозвала официантку, и я заплатил по счету.

Если б нам не встретился тогда Дибров, я бы не сказал Ирене, что произошло со мной за столом, когда она смотрела на свой кипящий бокал и ждала от меня утешения и защиты: она показалась мне в ту минуту мизерной, злой и... старой. Помимо Волобуя, за которого непостижимо по каким законам вступилось все мое существо без спроса у меня, я с отвращением подумал почему-то об украденном ею блине и снова, как в тот раз осенью, не смог постичь, как он уместился на ее голове! Мы вышли из кафе порознь, потому что я решил забрать с собой шоколад и обе непочатые бутылки шампанского. Ирена успела одеться и спускалась по лестнице, — кафе было на втором этаже. Я подал гардеробщику номерок и юбилейный рубль, и он помог мне надеть куртку. Между прочим, в виде «чаевых» металлический рубль, оказывается, вручать свободней и проще, чем бумажный, и принимать его тоже, наверно, удобней, — во всяком случае мы с гардеробщиком простились с обоюдным удовольствием друг от друга. Диброва я заметил с площадки, когда повернул на нижний

марш лестницы, — он поднимался в кафе, и с ним был высокий смуглый мужчина в узорных иркутских мокасинах и оленьей дохе. Они только что разминулись с Иреной, и я видел, как Дибров поклонился ей энергично и вежливо. У меня мелькнула мысль побежать назад и зайти в туалет, но наверху был гардеробщик, с которым я так представительно расстался. Когда мы сошлись, Дибров вскользь и рассеянно взглянул на меня и отвернулся, но я все же успел поклониться ему энергично и вежливо. Он не ответил и прошел мимо. Он вообще, как мне показалось, не узнал меня в моем невиданном им берете с помпоном, с бутылками шампанского, которое я нес на сгибах локтей, под грудью, как держат котят, кто их любит.

Ирена стояла внизу и насмешливо смотрела, как я спускался по лестнице.

— Все равно что в бездарной книжке для завязки конфликта,— сказала она о встрече с Дибровым.— Ты с ним поздоровался?

Она не проявила ни смущения, ни растерянности, но на всякий случай я заверил ее, что он меня не узнал.

— Потому что ты так картинно держишь бутылки?

Я не видел причин для оптимизма и сказал ей об этом.

— Ничего нам не будет. Надо только объяснить ему, по какому случаю мы оказались тут в рабочее время. Занеси ему завтра журнал, он уже появился в киосках. А об остальном Дибров знает,— сказала Ирена.

— О чем он знает?— спросил я.

— Ну о нас, господи!

Я ничего не понял. Бутылки оттягивали руки, и стоять у лестницы было неудобно и небезопасно: Дибров мог не задержаться долго в кафе. Мы прошли через вестибюль в зал ожидания, где почти никого не было, и сели там в углу на деревянный диван с высокой сплошной спинкой. В окно нам был виден аэродром.

— Понимаешь, я не хотела говорить тебе... Нас тогда застал Певнев и доложил Диброву,— сказала Ирена.

— О том, что мы целовались?

— Да. Мне проболталась Вера.

— А ей кто сообщил?

— Тоже Певнев. Он ее заместитель по месткому.

— Зачем ему понадобилось доносить Диброву?— спросил я.

— Певнев... холостой,— сквозь зубы проговорила Ирена.

— Так что же из того?

— Он всю жизнь холостой. Ему нельзя иначе... Ну что ты так на меня смотришь?

— И поэтому ему не по силам видеть тех, кто целуется? Опарыш из общественной уборной!— сказал я. Ирена подозрительно поинтересовалась, что это такое, и я пристойно объяснил.

— Фу, какая гадость! — брезгливо сказала она. — А знаешь, как Вера произносит теперь твою фамилию? Ержун.

— Понятно,— сказал я.— Но почему ты решила, что Дибров станет нам покровительствовать?

— Дело не в покровительстве. Таким эгоцентричным людям, как Дибров, приятно сознавать, что поддержка избранных уравновешивает презрение множества, понимаешь?.. Хочешь знать, что он мне очень нравился? До тебя.

— Ты шалава!— задето сказал я.

— А ты Ержун!.. Может, объяснишь, что с тобой случилось в кафе? Все продолжаешь ревновать?

Я не смог ей солгать и только утаил, что подумал о блине: как он уместился на макушке ее головы.

— Глупый,— пораженно сказала Ирена,— ты все воображаешь, что я оттуда, с неба, — показала она на потолок,— а я земная. И живая... И люблю тебя вполне по-бабски. Но я не уйду оттуда сама. Мне это не по силам... Поэтому временами я начинаю придумывать и хотеть для своего освобождения от него такое, что у тебя волосы встанут дыбом, если рассказать! А ты, конечно, лучше меня... Ты же не только из-за мужской солидарности вступился за него, ты просто благородный и добрый...

— Черта лысого!— сказал я с беспощадностью к себе. — Я хуже тебя в тысячу раз! Одно время я легко мог стать преступником...

— Не болтай, — беспокойно перебила Ирена. — Как это могло быть? Что ты хотел с ним сделать?

— Да не с Волобуем. Я тогда еще не знал тебя и жил в лесу, когда писал повесть,— сказал я.

— Ну?

— Я каждое утро мечтал, что вот вылезу сейчас из палатки, оглянусь, а он висит вниз головой.

— Кто?

— Шпион иностранной разведки. Парашютист. Мертвый... Стропы парашюта зацепились за верхушку сосны, а он напоролся грудью на сук...

— И это так и было?!

— Да нет! Но все равно ведь я ждал его, гада, чтобы обобрать, понимаешь? Их снабжают кучей денег. Ну вот. Обобрать и оставить висеть и никому не сообщать, представляешь?

— Конечно, не сообщай!— преобразилась в школьницу Ирена.— И мне тоже хочется обирать с тобой! Я буду подсаживать тебя, когда ты полезешь на сосну. А он... не разложился?

Я сказал, что предусмотрел и это.

— И как же?

— Не дышу, не смотрю и работаю на ощупь. Хуже всего то, что в его комбинезоне восемь карманов на застежках «молния», а у меня одна рука.

— А где вторая?

— Мне же надо держаться за сосну.

— А почему ты не обрежешь стропы, чтобы он упал? На земле ведь быстрей и легче работать!

— Тогда будут все улики, что он обобран,— возразил я.

— Да, это верно... Ну давай дальше. Как только ты ограбил его, мы сразу же уехали, да?

— Немедленно, но предварительно я обмотал колеса у «Росинанта» материей от палатки.

— А с какой стати нам жалеть ее? Купим новую... Ну давай дальше!

— Шалапутная ты, — сказал я, — человек кается тебе в своей нравственной неполноценности, а ты чему-то радуешься!

— Я тебя по-дикому люблю,— с болью сказала Ирена.— Поцелуй меня, тут никто не увидит...

После этого мы посидели немного молча и тесно. В окно нам были видны белые тихие самолеты и отвратительные на фоне снежного поля красные бензозаправщики.

— Покайся мне еще в чем-нибудь морально неполноценном, — попросила Ирена. Я покаялся, с каким затаенным мелочным тщеславием переживаю свое авторство и как всю эту зиму, особенно в январе, самым пошлейшим образом, стыдно и недостойно обшаривал глазами полы в продовольственных магазинах, когда

заходил туда за кефиром и халой. Все, думалось, вот-вот увижу потерянный кем-нибудь трояк, а то и десятку.

— Это у тебя осталось от детства,— утешающе сказала Ирена.— Я сама до сих пор ищу эти проклятые трояки, хотя сроду ничего не находила... Может, тебе сегодня и варежки с пятеркой померещились поэтому?

— Нет, я тогда уже ощущал в кармане тысячу шестьсот сорок восемь эр, — сказал я. — Ты бы не смогла взять у меня немного?

— Зачем они мне?

— Мало ли! Плащ себе купишь, — подсказал я.

— А дома что скажу, где взяла деньги?

— Выиграла, мол, по лотерейному билету. Или нашла в магазине.

— Не болтай.

— Вот видишь!— сказал я.

— Ты бы лучше приобрел себе диван... Эта твоя несчастная раскладушка... — отчаянно проговорила Ирена. Я поцеловал ее, и мы опять посидели молча и спаянно. Потом я купил в аэропортовском книжном киоске три номера журнала со своими «Альбатросами» и несколько газет,— в них мы завернули бутылки: Ирена согласилась передать их от меня вместе с журналом Владимиру Юрьевичу, так внушительно объяснившему в свое время Вереванне, чем пахнет очищенная от коры ореховая палка и третья бутылка шампанского...

В город мы вернулись на автобусе. По мнению Ирены, я мог не являться в издательство, так как до конца рабочего дня осталось полтора часа.

К Диброву я не пошел. Другое дело, если бы он вызвал меня для объяснения сам. А так... Он ведь тоже в рабочее время направлялся в кафе! Зачем же нам было смущать друг друга? Недаром же он «не узнал» меня?

То, что директор издательства мог появиться в аэропорту по уважительному делу — провожал или встречал, скажем, кого-то, — я не хотел предполагать. Мне было удобней думать, что он очутился там по сугубо личному поводу, как и я сам.

Дарить — хорошо. Тут одним разом достигается слишком многое: и сознание собственной широты и щедрости, и удовольствие от того, что ты можешь кого-то обрадо-

вать и растрогать, и надежда, что твоим покупательским способностям никогда не будет конца, и многое другое, что поднимает человека ввысь. Дарить — хорошо, если знать, что за этим желанием ничего не скрывается, кроме благодарности тем людям, кого ты собрался наконец отдарить. Тете Мане я углядел большую толстую шаль с бахромой, — меня привлекло в ней то, что ее вполне можно было назвать пледом, а не шалью. А плед это плед! Сложнее было с подарком Борису Рафаиловичу: тому ничего не подходило, чтобы я тоже был доволен. Я подумал о надувной лодке и спиннинге, но было неизвестно, рыбак ли он, да и как бы я заявился в больницу с такой ношей? Там наверняка есть свои Верыванны и Певневы, при ком не подаришь и не возьмешь. По этим же причинам не годились и ружье, и палатка. Поразмыслив, я нашел, как мне казалось, самое лучшее, что ублаготворяло нас обоих,— в гастрономических магазинах оставались с нового года принуднаборы в целлофановых мешках: к бутылке армянского коньяка туда были засунуты кое-какие кондитерские неликвиды и отличные, овальной формы палехские шкатулки, на которых царевич убивает из лука черного коршуна над белой лебедью. Из трех таких мешков я собрал два — один себе, а второй, посолидней, Борису Рафаиловичу. В его шкатулку я вложил свои модные янтарные запонки,— они хорошо смотрелись там в жарком малиновом углублении, и это не могло ему не понравиться. Мне хотелось, чтобы «Альбатросы» понравились ему тоже, и я учинил на журнале краткую надпись и поместил его в мешке так, чтобы он скрыл бутылки. В гардеробной больницы я сказал бабушке, принявшей у меня берет и куртку, что иду в хирургическое отделение. Она поглядела на стенные часы, точь-в-точь как глядела, бывало, Звукариха на солнце, — из-под руки, и с добром к больным сказала, что до наведывания их еще двадцать минуток.

— Погуляй пока в колидоре, — посоветовала она. У гардероба никого не было, и я слазил рукой в задний карман брюк и захватил там что попалось.— Заругаются ж, милай!..

Я подумал, что ей, наверно, впервые привелось тут получать наградные от посетителя,— руку с трояком она отвела назад и сама смотрела на меня растерянно и виновато. Я ласково солгал ей, что меня ждет Борис

Рафаилович. Тогда она пошла в глубину гардеробной и вынесла новый халат на пуговицах и с тремя карманами...

...Когда мне приходилось видеть в кино лыжника, взлетавшего с трамплина, я воображал себя им. Слушая знаменитого музыканта, я играл вместо него. Я плавал лучше всех в бассейнах, был непревзойденным художником и оратором: после моего выступления в суде виновные раскаивались, а судьи плакали. В цирках я пролетал под куполом и выкрикивал «оп-ча», когда зрители тревожно разражались всеобщим «ах». В первую Отечественную войну я был попеременно то князем Андреем, то Багратионом, а в последнюю — то Кожедубом, то Рокоссовским. Я дважды погибал на дуэли, так как в первый раз был Пушкиным, а во второй — Лермонтовым. Гарибальди, Овод и полковник Пестель тоже были я. В тот раз в больнице у зеркала, увидев себя в белоснежном врачебном халате, я с ходу превратился в хирурга. Я блестяще делал сложнейшие операции на сердце и на черепных коробках и сюда явился на консультацию по приглашению Бориса Рафаиловича: в моем желтом пузатом получемодане-полупортфеле укрываются всевозможные новейшие инструменты, медикаменты и бог знает что еще!..

Борис Рафаилович сидел у себя на топчане для осмотра больных в скорбно-обиженной позе мученика, окончательно потерявшего веру в людскую благодарность, а это значило, что пациент, которому он сделал сегодня операцию, чувствовал себя отлично. Нехорошо было только то, что с плоского расплющенного топчана неряшливо сбилась простыня, жутко оголив черный заглянцевелый дерматин, и что халат на докторе был мятый и несвежий. Я приютил свою ношу в угол за вешалкой, а потом уже поздоровался.

— Ты не мог показаться мне раньше?

Тон был ворчливый и изнуренный, и я опять подумал, что с оперированным все слава богу.

— Не мог?

— Не мог, доктор,— сказал я.

— Почему?

— Тогда я не был бы сегодня хирургом,— ответил я. Он испытующе посмотрел на меня, но позу не переменил.

— Ке-ем?

— Вы не замечаете, какой на мне халат?— спросил я, и мне почудилось, что он что-то понял и даже проникся к моей ребячливости подобием снисходительности.

— Покажись!

Он сидел, а во мне как-никак было метр восемьдесят три, поэтому я опустился на колени, обернувшись затылком к топчану.

— Да не так... Встань!— досадливо приказали мне.

— А какая нам с вами разница?— сказал я.

— Мне неудобно!

— А там уже ни хрена, доктор, нет, — сказал я, — там давно заросло... Ну все?

— Все!— не притронувшись к моей голове, сказал он.— Тоже мне... Шевелюра, как у пуделя. Завиваешься в парикмахерской, что ли?

Мы тогда уже стояли друг против друга, и я обратил внимание, что волосы Бориса Рафаиловича вполне могут звенеть, если к ним прикоснуться,— на висках они металлически светились и казались жесткими, как струны.

— Можно теперь перейти к неофициальной части?— спросил я его, показав в сторону чемодана.

— Нет,— властно сказал он, уходя от меня к столу. — Я не уверен, что ты не попадешь ко мне еще раз. С аппендиксом, например.

Я осведомился, что тогда будет.

— Не стану оперировать. Вообще не приму в отделение!

— Примете. Вы же знаете, что я хороший мужик,— сказал я. Мешок был перехвачен розовой лентой,—они так и продавались, только при переупаковке я попышней завязал бант. Журнал не скрывал бутылки полностью: их головки высовывались и золотисто сияли, и когда я поставил мешок на стол, он внушительно-веско брякнул.

— Ты убежден, что с головой у тебя в самом деле все в порядке? Сейчас же убери!

Это было сказано оскорбленно, грубо и, по-моему, не шибко медицински грамотно, поскольку речь шла о моем все-таки залатанном черепе. Я забрал мешок и

пошел к вешалке, где оставался чемодан с пледом для тети Мани.

— Я не о том!— крикнули мне в спину.— Ты здоров, как лось, но надо же хоть что-нибудь да соображать!

— Вот именно. Сожалею, что мы оба ошиблись, — сказал я из угла. Я не обиделся и не испугался, но мне почему-то стало тоскливо и муторно.

— В чем это мы оба ошиблись?

Я сказал, что принес сюда свою повесть, а не тамбовский окорок.

— Какую повесть? И что значит свою?

— Это значит, что она написана мною,— объяснил я. Чемодан не застегивался: в звеньях «молнии» увязла бахрома от пледа.

— А где она, эта твоя повесть? Я пока что видел две бутылки водки!

— Три, — уточнил я. — И не водки, а коньяка!

— Ах, вот что! И в этом заключается наша обоюдная ошибка? Где повесть?

Я подал ему журнал. Мне было выгодно казаться незаслуженно обиженным,— это позволяло сохранять на лице «взрослость», когда доктор трижды сличающе взглядывал то на меня, то на мой журнальный снимок, а затем недоуменно-ревизионистски листал страницы в поисках конца повести: наверно, хотел знать, насколько она велика.

— И это ты написал сам? Лично?

Помочь мне ничего уже не могло, — мои губы самопроизвольно раздвинулись тогда в громадную восторженно-дурацкую улыбку, которую невозможно было ни согнать, ни спрятать. Борис Рафаилович тоже улыбнулся, но коротко и снисходительно.

— Что ж, рад за тебя, — сказал он. — Значит, вечер показал, какой был день. Ты после больницы написал это?

Я сообразил, что утвердительный ответ для него важнее истинного, и молча кивнул.

— Очень хорошо! Сегодня же начну читать.

— Можно вызвать сюда тетю Маню? Я купил ей плед,— счастливо сказал я.

— Пле-ед?— странно переспросил Борис Рафаилович.

— Ну, шаль,— пояснил я. Он кинул в ящик стола журнал и крикнул, что никакие пледы Марье Филиппо-

вне уже не нужны, потому что она умерла еще осенью! От инсульта! Понимаю ли я, что это такое? Я не знал и до сих пор смутно представляю, что значит инсульт, но он говорил о нем так, будто именно я, живой и здоровый, да еще он сам, хирург, повинны перед всеми, умершими от этой проклятой болезни... Когда я собрался уходить, он ворчливо приказал оставить ему бутылку коньяку. Я оставил все три. Я закатил их под топчан, к самой стене...

Как и было условлено, я в положенный срок сдал Владыкину свою рабочую рукопись и получил новую. Вениамин Григорьевич выглядел благостно, чистенько и розово,— наверно, сходил с утра в баньку и хорошо попарился. Я подумал, что ему в самый раз сейчас пришелся бы мой напрасно купленный плед, но не здесь, разумеется, а дома, в кресле перед радиоприемником или телевизором. По тому, как он неторопливо-важно вручил мне новую рукопись, по тихой, сочувственно-горестной полуусмешке, застывшей на его лице, я спокойно догадался, что он видел журнал с моей повестью, но что это не поколебало его неотступность в суждении о ее непригодности для печати. Я не собирался в обход Вениамина Григорьевича предлагать Диброву повесть к изданию,— на этот счет у меня были другие планы, и поэтому не испытывал ни злорадства, ни досады. Я понимал, что «Альбатросы» не могли нравиться Владыкину. Он был не способен тревожиться из-за того, что важно для людей моего возраста. Только и всего!

Между тем земля вертелась и вертелась, и солнце каждый день всходило и всходило с востока. Был уже март... В наших отношениях с Певневым образовалась тогда новая полоса взаимного отчуждения, — он встречал меня с таким выражением, будто подозревал или наверняка знал, что у меня произошло или вот-вот должно произойти какое-то приятное для него недоразумение с правосудием, я же в свою очередь считал потребным скрыто презирать его, чтобы не терять уважения к себе. Мне нравилось изводить его издали и обиняком. Однажды я позвонил при нем Альберту Петровичу и спросил, известно ли ему, что отвечал Куприн в начале

своей писательской известности тем господам, которые предумышленно произносили его фамилию с ударением на первом слоге? Ирена не знала.

— Он настоятельно советовал им не садиться без штанов на ежа, — сказал я.

— Не дразни ты его там и не злись сам, — засмеялась Ирена. — Чем плохо звучит «Ержун»? Мне нравится!

— Я тоже в восторге, — сказал я, поняв, что она одна. — А как вы находите заповедь от Иакова «Да будет всяк человек скор увидети и косен глаголати»?

— Он уже, наверно, догадывается!—сказала Ирена.

— Нет, — возразил я, — вы ошибаетесь. Утверждение, что благосклонность к подлецам не что иное, как тяга к низости, принадлежит не библейским пророкам, а греческому философу Теофрасту. Он был современником Платона.

— Откуда ты нахватал все это? — удивилась Ирена.

— Да-да, — сказал я, — рассуждение, что только редкие и выдающиеся люди сохраняют в старости деятельный и смелый ум, тоже принадлежит древним грекам. По их мнению, старики всегда склонны задерживать бег времени. Кстати, — сказал я, — вы не задумывались, почему Наполеон громил пруссаков, превосходящих его войска по численности в два или три раза? У тех командовали старцы, а наполеоновские маршалы были наши с вами ровесники! Вот!

Певнев до конца тогда высидел за столом и ни разу не скорябнул каблуками, — слушал, но я так никогда и не узнал, как он понял притчу о стариках. Неужели тоже принял на свой счет?

В том тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году весна была буйная и ранняя: уже в начале апреля молочницы приносили в город фиалки и подснежники, и каждое утро по дороге в издательство я высматривал на подсохших тротуарах свою прошлогоднюю цыганку, — ей бы следовало попасться мне с пучком «колокольцев» или «мятух», и люди увидели б тогда, какое платье, черт возьми, могло оказаться на ней в следующее утро!

«Росинант» обрел все, что было ему обещано, и даже больше: кроме колес, я заменил аккумулятор и сигнал, — новый звучал гармонично и важно, что нам и требовалось. Мне давно мешал плед. С ним сразу же незримо поселилась в моей комнате тетя Маня, а это разоряло весну и заставляло не забывать то, о чем не хотелось помнить... С пледом нужно было срочно что-то делать. Я не мог передарить его бабке Звукарихе, — не та она была для меня бабка, кому он подошел бы со своей траурной бахромой, с тенью смерти в каждой своей шафранной клетке. Строго говоря, с ним нельзя было ни расстаться, если отдать кому-либо чужому, ни сохранять по ночам дома, и я застлал им сиденья «Росинанта». Это показалось мне единственным компромиссным выходом из положения для всех нас, своих, живых и неживых, так как «Росинант» был не только «своим», но и бессмертным. Все-таки он был железный...

В тот день, когда мы с Иреной оторвались наконец «к себе», в лес, я позвонил ей при Певневе и спросил, известны ли моему другу исторические комментарии русской императрицы Екатерины Великой к портрету королевы неаполитанской Иоанны Второй?

— Нет, Николай Гордеевич, книга ваша давно в производстве, — вежливо ответила Ирена, — а что вы хотели?

— В таком случае слушайте, — сказал я Певневу, а не ей. — Красавицы, знатные дамы и государыни должны походить на солнце, которое разливает свой свет и лучи на всех и каждого так хорошо, что каждый это чувствует. То же самое должны делать эти великие и красивые, расточая свою красоту и прелести тем, кто к ним пылает страстью. Прекрасные и великие дамы, могущие удовлетворить множество людей либо своей нежностью, либо словами, либо прекрасным лицом, либо обхождениями, либо бесконечно прекрасными доказательствами и знаками, либо прекрасными действиями, что более всего желательно, не должны отнюдь останавливаться на одной любви, но на многих, и подобные непостоянства для них позволительны и прекрасны. Кавычки закрыты, — сказал я. Певнев снялся с места и вышел, негодующе хлопнув дверью, — не перенес бедняга екатерининской озорной насмешки над великосветскими ханжами и уродицами.

— Это, конечно, любопытно, — озадаченно сказала Ирена, — но я бы не решилась представить такую вставку на визу главному редактору. Дело в том...

— Все ясно,— прервал я,— мой целомудренный лирик только что сбежал, поэтому слушай сюда. Я буду ждать тебя в конце набережной. Сразу же после работы. Ладно?

— Вот именно, — ответила Ирена, — дело не в возможности задержки набора, скажем, на час или на два, а в том, что вы только что правильно заметили сами.

Я сказал, что она гениальный ребенок и что мы будем ждать ее с «Росинантом» в конце набережной с шести до восьми.

Ручей еще не улегся в свое русло и вполне мог считаться маленькой речкой. Мы назвали ее «Колочёсиком», — придумала Ирена, а что это означало — бог весть. Уже кудрявилась и зеленела прибрежная ольха, и на вербах падуче висели длинные пушистые серьги. Всюду под кустами из-под бурой слеглой листвы пробивалась несметная сила фиалок, но мне не было позволено собрать букет: Ирена сказала, что они и так наши. Мы отыскали гряду можжевельника. Шаров там не оказалось, но это не огорчило нас, — Ирена решила, что их сняли ребятишки. Девочка и мальчик. Понимаю ли я, что они унесут после этого в своих душах на всю жизнь, до самой смерти? Я сказал, что понимаю. Это ж им не блин и не трояк пьяного сторожа.

— Дурак, — обиженно сказала Ирена, а я приободрил ее великаном. В лесу было покойно, сиренево-сумрачно и торжественно, — мы как будто вернулись домой из отпуска, проведенного «дикарями», явились усталые, но здоровые, на исходе дня, а дом у нас прочный, прохладный и чистый, — ремонт был без нас, и мы бродим и бродим по нему в полумраке, и нам невозможно отодвинуться друг от друга, и разговаривать мы можем только шепотом...

Потому, что Ирену, а затем и меня, сморил и опьянил лесной бражный дух, и оттого, что мы оказались тут в недоступной безгрешной вышине для всех и для самих себя, нас предательски и ненужно застигла ночь. Ирена спала на моей левой руке, укрывшись пледом, и когда я, очнувшись первым, осторожно попытался высвободить часы, она встрепенулась и спросила, сколько

времени. Я засветил плафон. Было половина третьего.

— Что же теперь делать? Ты не знаешь, где я была? Придумай скорей! Где я была?!

Я погасил плафон, чтобы не видеть ее обезображенной страхом, и мы молча, скрыто враждуя из-за помех друг другу, установили сиденья. В свете фар бурунно тек и клубился ползучий приземной туман, и мы не скоро выбрались на шоссе. Там я вслух подумал, что самое лучшее — ехать на Гагаринскую. Навсегда. Потом, сказал я, заберем Аленку. Издадим повесть. И напишем вторую.

— Ну что ты ползешь, как вошь по нитке! — истерично выкрикнула Ирена. Такое ей не следовало произносить. Я знал, что в детприемниках не учили изящной словесности, но это ничего не меняло. — Что я скажу дома? Не знаешь?

Больше ста пяти километров в час «Росинант» не мог выдать. Он вихлял и дребезжал. Улицы города были пусты, и я не сбавил скорость и не стал включать дальний свет. Перед особняком на Перовской «Росинанта» юзом развернуло носом на площадку, — я резко затормозил, и фары высветили там Волобуя. Он был в кожаном пальто, блестевшем, как кольчуга. Он стоял у дверей дома и заслонялся рукой от света. Фары ослепляли его, но мне казалось, что он видит нас насквозь.

— Остаешься? — спросил я Ирену. Она с мольбой и ненавистью посмотрела на меня и вышла из машины. Волобуй стоял на прежнем месте, и я тогда понял, что никогда не расставался с тайным желанием отомстить ему за нашу с Иреной неволю в открытую, лицом к лицу, во весь рост. Ирена подвигалась к нему медленно, виновато-покорно, без порыва к самозащите и без надежды на чью-либо помощь. Он что-то сказал ей, чего я не расслышал, и вдруг не пошел, а покатился к ней навстречу, клонясь вперед и отведя зачем-то руку назад. Их разделяло шага три, когда я очутился на площадке в створе фар и крикнул Волобую, что превращу его в пригоршню кожаной пыли, если он посмеет тронуть эту женщину, — так я невзначай оскорбил Ирену: разве она была «этой»? Под моим окриком она побежала мимо Волобуя и скрылась внутри дома, а Волобуй, свирепо оглядев меня и попятясь из полосы света, позвал испуганно и захлебно, как тонущий при выныркаx из воды:

— Милиция! На помощь! Милиция!

— Отправляйся спать, — сказал я, не видя его. — И чтобы все было тихо, понял?

Он снова где-то там в темноте покликал милицию, но слабо, жалко, старчески, и я пошел к «Росинанту».

Все, что произошло потом, было стремительно кратко по времени и недостойно нас с Иреной, но это произошло и заменить его в повести мне нечем... В ту ночь я долго колесил по кругу — набережная — центр — Перовская в надежде подобрать Ирену с чемоданом или узлом, — с узлом было бы даже трогательней: человека, значит, гнали, и он спешил уйти. Во всем особняке на Перовской светились только два окна на третьем этаже. В пять часов свет там потух, и я поехал домой. У меня было время вымыть полы на кухне, в коридоре и в комнате. Под моим раскрытым окном сухо и размеренно шаркали и шаркали метлой. Я снял с секретера куклу и незаметно для женщины, подметавшей улицу, выпустил ее из рук вниз. Она прозвонила дважды. Сперва когда ударилась и покатилась по тротуару, а затем немного погодя, когда ее подняли. В девять часов у подъезда издательства я увидел пустую волобуевскую «Волгу». Пожалуй, сбывалось мое ночное предположение, — там заключен сепаратный мир: иначе в их квартире свет не горел бы так долго и для меня бесполезно. С нынешнего дня Ирене, значит, разрешено самостоятельно пользоваться «Волгой». Что ж, на здоровье! Пожалуйста! Сколько угодно!.. Только куда мы с нею денем себя и все наше? Что она с Волобуем думает на этот счет?..

Плащ и шляпенка Певнева скуднели на вешалке, а самого его не было. Чтобы подтвердить догадку насчет «Волги», я набрал номер рабочего телефона Ирены, но после третьего гудка отозвалась Вераванна. Отключаться молча я не решился и спросил через кулак, когда приезжать за бочками.

— Какими еще бочками! Это издательство, — суматошно ответила она. Я сказал, что впервой слышу про такую контору, и повесил трубку. Оставалось позвонить на Перовскую и, если Волобуй окажется дома, то спросить у него то же самое. Трубку сняла Ирена. Я не ожидал этого и промедлил с голосом.

— Это ты? — безжизненно сказала она. Кроме меня, ей некого было так спрашивать. — Говори, я одна.

— Ну? — спросил я обо всем сразу.

— Нет-нет, — ответила она, — ничего такого не было... Я сказала, что в Москве напечатана твоя повесть, которую я редактировала, и ты пригласил своих друзей... и меня, как редактора, в ресторан... Ты был пьян и поэтому ударил его, не зная, что он мой муж.

— Ударил? — уточнил я.

— Ах, Антон! Зачем ты это сделал?

— Ну ладно, пусть, — сказал я, — а где он теперь?

— Поехал на рынок за продуктами. Сейчас должен вернуться, и я пойду на работу. Ты не звони мне несколько дней, ладно?

Я умолчал о «Волге». Мне показалось беспощадным сказать ей такое издали, одной: было ведь ясно, что Волобуй тайком от нее явился в издательство искать на нас управу.

— Ты все-таки приходи обязательно, — попросил я.

— Но ты мне не звони. Долго-долго не звони.

— До свидания, — сказал я.

— Нет, погоди. Я все думаю и думаю... Может, тебе все-таки уехать? Пожалей нас, Антон!

— Вас? — переспросил я.

— Да. Меня и Аленку... Мы не можем с тобой... не смеем приносить мою девочку в жертву чему бы то ни было, слышишь?

Я мысленно поцеловал ее в глаза и совершенно явственно ощутил на своих губах теплую солоноватую горькость.

— Ты что там? — тревожно спросила Ирена.

— Ничего. Перестань плакать, — приказал я.

— Господи! Что же нам делать?.. Антон, родной мой, послушай... хочешь, я оскорблю тебя? Я знаю, что тебе сказать. Тогда нам легче будет расстаться.

— Да-да,— сказал я. — Приходи, пожалуйста, на работу. Ладно?

Певнев явился минут за пять до обеденного перерыва. Он прошел к своему столу и, не садясь, объявил мне неожиданно помужавшим голосом, что в шесть часов на месткоме назначен разбор моего персонального дела в связи с письменным заявлением мужа сотрудницы издательства Лозинской подполковника в отставке Волобуя Лавра Петровича. Мое присутствие, предупредил

он, обязательно, так как в ином случае дело будет передано в судебные органы. Он тут же вышел с брезгливым видом опоганенности, а я позвонил Ирене, и мы встретились на лестничной клетке своего этажа. Тогда я впервые взял ее под руку при всех сотрудниках — они шли в буфет на третий этаж — и повел по коридору к окну, где стояли два стула. Там я сообщил ей о персоналке-распиналке и сказал, что вот пришел великан. Большой, большой великан. Такой смешной, смешной. Вот пришел он и упал, сказал я ей. Всю нашу жизнь — нашу жизнь! — я говорил ей эти слова, когда ничего другого нельзя было придумать...

Около четырех часов звонком по телефону меня вызвал к себе Дибров. Я зашел в туалетную и осмотрел себя в зеркало. На мне все было как надо. Дибров не поздоровался со мной и не предложил сесть. Когда я подошел к его столу, он, внимательно и холодно оглядев мою шевелюру, сказал, что не то диво, что кукушка по чужим гнездам лазит, а то, почему своего не вьет.

— Слыхал такую поговорку?

— Нет, — сказал я.

— Напрасно. А то, что по кривой дороге прямым путем не ездят?

— Эту слыхал.

— Ну вот. Характеристика моя нужна?

Я тогда заметил на его столе журнал с моими «Альбатросами». Наверно, Дибров уследил направление моего взгляда, потому что тут же непререкаемо сказал:

— Лоб может быть и широким, но от этого в голове еще не всегда бывает просторно... Садись и пиши заявление об увольнении. Дату проставь двумя неделями раньше сегодняшнего числа. Это значит, что ты свободен со вчерашнего дня, понятно?!

— Да, — вырвалось у меня фистулой.

— Ну-ну! — строго сказал Дибров. — Тоже мне, альбатрос!..

Ирене я позвонил домой в половине шестого из своей будки возле моста и объявил, почему не состоится распиналка. Она часто-часто задышала в трубку и вдруг отчаянно-решительно сказала такое трагически бессмысленное и вместе с тем жертвенно-готовно принять

там помилование на любых условиях, что я «поверил» ей и оскорбил ее тоже. Мне понадобилась всего лишь неделя, чтобы продать квартиру, «Росинанта», лодку, палатку и собраться в дорогу. Все эти дни я заряжал себя обидой к Ирене, — мне надо было придумывать многое и разное, чтобы столкнуть ее вниз с той высоты, на которой она была, и этим помочь себе в сборах к отъезду. Тогда во мне сидело два Кержуна — один я, настоящий, знавший всю лазурно чистую и возвышенную правду об Ирене, и второй — чужой мне и ей, очень похожий на мой снимок в журнале. Он убеждал меня, что Волобуй загнал Ирену в угол и там помиловал, так как покаянных и слабых не убивают, а берут в плен. Правда, в плен еще и попадают, если ты ранен или контужен. Или устал и отчаялся в сопротивлении. Но в таком случае это — сдача, а добровольная сдача в плен врагу — измена и предательство. Так или нет?

Этот второй Кержун нарочно не знал, что служил Ирене с Аленкой, а не мне. И все же он здорово мне помог. Только он один...

В небольшом старинном городе с милосердным названием я устроился слесарем-водопроводчиком в одном тихом домоуправлении. Мне дали комнату, и за полтора года, вернее за пятьсот тридцать ночей, я написал эту повесть. Для всех нас в ней я долго и трудно подбирал чужие имена и фамилии, и только «Росинанта» не мог назвать как-нибудь иначе. Но «Росинант» и есть «Росинант». Он ведь все-таки железный. Он же глухой. И немой. И слепой...

1971

...И ВСЕМУ РОДУ ТВОЕМУ[1]

Шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга — густая и туманно-седая, как это и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно едко: бензин так и не выветрился за ночь, и свиная кожа стала неряшливо пегой, а не первозданно желтой как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может, только из-за этого перчатки сильно воняли. Денис с петушиным вызовом всему свету сказал сегодня утром, когда пора было прощаться:

— Ничего, пап! Все равно ты еще как... знаешь кто?

Уже одетый, Сыромуков стоял тогда в коридоре и под горькую мысль «глаза б мои не глядели» рассматривал себя в зеркало. Он притаенно напрягся, ожидая, но Денис долго искал — в почтенных книгах, конечно, — на кого там вознесенно похож его отец, и ничего не нашел.

— Ладно, — бесстрастно сказал Сыромуков.—Ты тоже похож на него.

— На кого? — ревниво спросил Денис и вытянулся перед зеркалом до хруста в позвонках. Сыромуков опустил плечи, умалившись в росте, и все получилось так, как надо было: хохол на макушке Дениса торчал вровень с беретом на голове отца.

— Ну вот. Видишь? Осталось каких-нибудь сантиметров пять, — серьезно сказал Сыромуков. — Это как раз на четыре недели, даже меньше.

Денис согласно кивнул — верил, что подрастет на пять сантиметров за месяц, а Сыромуков досадливо по-

[1] Повесть осталась неоконченной и была посмертно напечатана в журнале «Наш современник», № 11, 1975 г.

думал: до каких пор сын пребудет ребенком — лет до восемнадцати? Или до тридцати?

Впрочем, он возмужает сразу же, как только настанет тот день. На фронте такое происходило с ребятами сплошь и рядом. Командовал же он сам остатками роты? Командовал! Почти целые сутки... Со свистом... Он отъял его из руки капитана Ершова, когда тому... Да и не отъял, а выломил, потому что пальцы ротного уже окоченели, а свисток казался суеверно необходимым: все надо было делать в бою так, как делал капитан...

— Ну, будь жив и здоров! — приказательно сказал Сыромуков, и Денис по-ребячьи ответил: «Хорошо». Они, отступив от зеркала, взрослым рывком пожали друг другу руки, но Денис чуть-чуть задержал в захвате ладонь отца и пожал ее сильней и судорожней, чем это бывало раньше, если им приходилось расставаться. Из своей комнаты — ждала там чужая, пока простятся свои, — в коридор вышла Филипповна, их приживальная хозяйка, бывшая нянька Дениса, древний божий одуванчик, «буся». Она ненужно спросила Сыромукова, не забыл ли он свои лекарства, а у самой губы скорбно собрались в трубочку, и Сыромуков с осторожной преданностью — как покойника — поцеловал ее в лоб.

Заказанного с вечера такси у подъезда не было. Еще не совсем рассвело, и фонари горели под мгой взъерошенно и тускло. Перчатки, конечно, следовало вынести с вечера на балкон. Денис же возмужает сразу, как только... Может, это случится весной. В марте, например. Тогда через месяц обновится мир, а это захватит и уведет его в сторону... В мае все оживает и возрождается. В мае выводятся аистята... И начинается рыбалка.. Но Денис до сих пор не умеет насаживать червя. Не то боится, не то брезгует. А возможно, и жалеет... Любопытно, сколько их там, внизу, пород? Шесть или двенадцать? И с чего они начинают? С мозга? Или с сердца?

Заказанная машина не появлялась, и Сыромуков решил идти к стоянке. Мягкий венгерский чемодан на весу выгибался и круглился, как бурдюк, и было опасение, что поклажа сомнется к чертовой матери и что сквозь звенья «молнии» просочится сырость и рубашки пожелтеют.

— Надо было покупать отечественный турсук с железными нашлепниками по углам! — вслух сказал себе Сыромуков и неизвестно на кого разозлился. Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски роскошным рокотом, обдав его грязью, — шофер, наверно, поддал газу, а Сыромуков подумал, как много развелось на свете разного оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случалось с его сердцем часто и уже давно, — оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так под горлом — стесненно затихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним через долгую, как целый век, паузу второй, потом третий, а после начиналась скачущая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Это — страх — каждый раз было новым, свежетрепетным ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, как граната, а страшилось все тело и больше всего глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение — они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, вскидывались и опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе, зачем они это проделывали.

— Ну вот и все, — сказал Сыромуков и достал из кармана пальто стеклянный цилиндрик с нитроглицерином. Он знал, что после приступа это лекарство уже не нужно, но все же всякий раз, если приступ застигал его на улице, покорно глотал белое зерно.

Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким черепичным навесом, — наверно, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут на всякий случай окажется сухое место. Рыжий сгорбившийся чемодан показался ему отсюда бездомной намокшей собакой, и Сыромуков крадущимся шагом пошел к нему, словно намеревался поддеть его ногой. До ближайшей остановки такси было три прогона в автобусе, но на-

чинался утренний час «пик», и Сыромуков не решился рисковать, — в костоломной давке при посадке и выходе застежка «молния» на чемодане могла порваться: это все же заграничная штука, черт бы ее побрал, а не отечественный окованный турсук на замках. С тем-то, пожалуйста, с тем куда угодно!

Сердце работало нормально, в нем только чувствовалась ставшая давно привычной, ровная и тихо ноющая боль, похожая на зубную, когда там где-то глубоко в корне образуется свищ. Маленький. Начальной стадии свищ, с которым можно примириться и жить... если, конечно, не нажимать на зуб сильно. Не есть, например, хлебные корки. Копченую колбасу. Не разгрызать сухари... То же самое и с сердцем — не надо на него нажимать. Ну, не совсем, скажем, не нажимать, а стараться отвращать его от лишних «затвердевших» мелочей жизни. Тут всегда с большой пользой для него работает чувство юмора. И еще рассудительность. Вот, к примеру, тот таксист, что не остановился. Во-первых, он, возможно, торопился по вызову. «А к тебе он явился по вызову?» Не в этом дело. Допустим даже, что он ехал не по заказу, а так. «А ты в это время шел по кромке тротуара и поднял руку...» Минуточку! Нужно всегда объективно и по возможности быстро вникать разумом в подлинную суть любого человеческого поступка и результаты такого исследования сообщать сердцу. Тогда все будет в порядке. «Потому что на основании полной информации нельзя принять никакого решения?» Да нет... дело ведь в том, что на таксистов подают жалобы, если те подбирают бродячих пассажиров помимо стоянок. А в автоконторах по этим жалобам принимаются меры к нарушителям, понятно? Значит, бессердечность и хамство таксистов тут ни при чем. Да и вообще не бывает сердечного хама. Ну что такое хам с сердцем? Абсурд! «Словом, надо уметь оборачиваться в будень изнанкой, а в праздник лицом?»

— Хреновый ты философ! — сказал себе Сыромуков. — Нельзя ведь жертвовать истиной ради какого бы то ни было интереса!

Стоянка такси была уже недалеко, и там бездельничало несколько машин.

Потому, что шофер аккуратно внедрил чемодан в чисто прибранный багажник, что сиденья новой «Волги» еще не обшарпались и в машине было уютно, что

на ходу в ней ничего не дребезжало, а при подъеме в гору мотор не завывал в немощном надсаде и ему не надо было помогать напряжением сердца, Сыромуков отрадно почувствовал то покойное удовлетворение, которое всегда приходило к нему, когда жизнь вдруг представлялась прочной и благополучной. Он сел не рядом с шофером, а на заднее сиденье, один, проворно и праздно, и ему захотелось ехать долго и неизвестно куда. В этом всеприветном состоянии духа он ощутил почти самодовольное уважение к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему. «Ты еще достаточно молод и долго останешься таким, и значит, с Денисом тоже все будет в порядке».

— Все надежно и все хорошо! — нечаянно громко проговорил он.

— Да, машина будь здоров, если б не передние подшипники, — по-своему понял его шофер.

— А что? Подводят?

— Летят на третьей тыще. С «Запорожца» поставлены, понимаешь?

— Исправят со временем, — убежденно сказал Сыромуков.

— Понятно, что исправят, — согласился шофер. — Но я тебе скажу: самая правильная машина для нашего брата-таксиста был «Москвич». Точно говорю!

— Мал ведь, — возразил Сыромуков.

— Не играет роли. Все равно по одному больше возишь. Зато там расход горючего меньше и управление легче... Там, бывало, знаешь как? Едешь, допустим, ночью и левой рукой рулишь, а правой настроение создаешь. Сколько угодно!

— Кому? — не понял Сыромуков.

— Ну кому! Понятно, пассажирке, ежели она не против и сидит рядом, — засмеялся шофер. Ему было лет тридцать пять, и то, что он посчитал уместным сказать Сыромукову про настроение, означало только одно — Сыромуков сошел за его ровесника, в крайнем случае за сорокалетнего, с кем еще можно толковать на озорные мужские темы. «Да-да, все пока хорошо и надежно, — подумал Сыромуков, — и этот шофер, видать, отличный малый с крепким нутром. Такие жизнестойкие, круглые душой люди очень нужны. Они помогают ближним своим — тем, кто немного устал, — создавать

некую радужно-бездумную моральную преграду для психической уязвимости. С таким народом полезно общаться... даже если они тяготеют к матерным словам. Подумаешь, великая беда!»

— Закурить можно? — бодро, с предчувствием чего-то еще лучшего спросил Сыромуков.

— Вот чего нельзя, брат, того нельзя, — помедлив, ответил шофер. — Понимаешь, мы с напарником договорились: ни самим чтоб, ни другим. Так что извини.

Сыромуков поспешно сказал «конечно» и спрятал сигареты.

Здание аэровокзала всегда производило на Сыромукова удручающее впечатление своим бегемотно-тяжелым видом, так как построили его тут уже давно, сразу же после войны, и руководящей идеей эстетически слепого архитектора, как полагал Сыромуков, не были избраны ни гармония, ни забота о парящем настроении пассажира. И у входа, и внутри самого здания было много массивных приземистых колонн, возведенных одна возле другой, но не несущих на себе почти никакой нагрузки. Склеп. А вернее, заземленный пантеон чьей-то давно померкшей славы, подумал Сыромуков, но тут же отметил, что сооружено это прочно, на века. Уже шла регистрация билетов на кавказский рейс, и Сыромуков стал в очередь: самолет отлетал в восемь, а на место прибывал в одиннадцать с минутами,— в Киеве была промежуточная посадка. Сыромуков плохо переносил высоту. Сердце в полете как бы разбухало, опускалось вниз, на желудок, и щемило так, что не помогали ни валидол, ни кордиамин. В сущности, он так и не выяснил до конца, что было причиной его дурного самочувствия в самолете — только ли больное сердце или же — помимо него — самая настоящая боязнь живота за благополучный исход полета. Изначальным всегда был тайный ребяческий страх у самолетного трапа, сердце же опускалось и щемило позже, когда взревывали турбины и следовало пристегиваться ремнями к креслу. Но как бы там ни было, а Сыромукову все же хотелось считать, что повинно во всем этом сердце, что страх появляется из-за него. Только из-за него.

— Вы будете крайний?

Сыромуков оглянулся и с нажимом ответил, что он последний. Спрашивал по-девичьи краснощекий молоденький лейтенант в отлично сшитой новой шинели. Фуражка с веселым задором сидела на его белесой голове, и белый шарф выпрастывался из-за воротника шинели по-уставному узкой кокетливой полоской. Эта опрятность в одежде лейтенанта и весь его радостно-удачливый облик погасили в Сыромукове досаду на то, что тот произнес слово «крайний», ибо с удачливыми по виду людьми ему казалось безопаснее летать в самолете. Он поверяюще оглядел очередь и заметил в ней двух высоких молодцов кавказского типа в глыбовидных кепках и в одинаковых темно-зеленых нейлоновых куртках. Парни не выпускали из рук громадные дорогие чемоданы, и это тоже успокаивающе подействовало на Сыромукова: дети гор в последнее время сильно полюбили Прибалтику, благополучно доставляя сюда на Ту-124 виноград и мандарины и безаварийно увозя местный ширпотреб, главным образом ковры. Сыромуков решил сидеть в самолете рядом с лейтенантом или же с теми двумя...

Вылет задерживался сперва на час, потом еще на два, и посадку объявили в одиннадцать. Мга прекратилась, но небо было рыхлым и низким, насплошь затянутым тучами. На сыром аэродромном поле тесно стояли элегантные, хищно устремленные вперед самолеты, и, как всегда при виде их, Сыромуков испытал смутную обиду на свою судьбу — одного десятка таких «тутушек» хватило бы тогда, когда он командовал остатками роты под Ржевом. Да что там десятка! Хватило бы и пяти, даже трех, — каждый ведь небось может поднять две сотни пятидесятикилограммовых фугасных дур!

«Черт бы вас побрал!» — восхищенно и тихо обругал он в душе авиаконструкторов, опоздавших помочь ему тридцать лет назад. У нижней ступеньки трапа аристократически красивая девица, похожая на лермонтовскую Мери, проверяла билеты и паспорта. Благополучный лейтенант, стоявший впереди Сыромукова, лихо козырнул ей, прежде чем подать документы. Потом он козырнул вторично, когда взял их назад.

— Не задерживайтесь! — строго сказала ему «княжна», и Сыромукову это понравилось непонятно почему.

Свой посадочный талон, билет и бессрочный потрепанный паспорт он подал и принял безразлично-небрежно, не снимая с руки перчатку и избегая взглядом девушку, — тоже, как ему хотелось думать, неизвестно почему. Ни рядом с лейтенантом, ни позади тех двух в кепках сесть не удалось — каждый стремился занять свое кресло, указанное в билете, и в салоне образовалась толкучка. Соседом Сыромукова оказался человек неопределенного возраста с продолговатым, болезненно землистым лицом. Он доверчиво, с мягким прибалтийским акцентом сообщил Сыромукову, как только уселся, что едет на курорт по бесплатной путевке.

— Вы тоже, может быть, в Ессентук?

— Нет, я дальше,— ответил Сыромуков и тут же, укорясь своей сухостью, вежливо, хотя и не без наставительности объяснил, что ессентукские воды давно признаны самыми лечебными в мире. Сосед деликатно кивнул. Ремнями пристегивались не все, но леденцы, которые внесла в салон «княжна», брал каждый. Скрытно от соседа Сыромуков положил себе под язык лепешку валидола и, глубоко втиснувшись в кресло, развернул газету — начинался взлет. Американцы, черт возьми, продолжали бомбить Северный Вьетнам... Они летают там на малой высоте, потому что иначе их сбивают ракетами. Это, наверно, очень просто — сбить высоко летящий самолет отлично сделанной ракетой. Они, надо думать, похожи на торпеды. Такие сигарообразные. Блестящие такие. Хорошие ракеты. Наши! Все-таки у нас — все прочное и добротное...

Ощущение земной тряски оборвалось внезапно, но в воздухе самолет чуть-чуть провалился, как бы осев на секунду в яму, и сердце у Сыромукова тоже провалилось — он не переносил невесомости. В иллюминатор было видно накрененное крыло самолета, вернее, начальная его часть. Заклепок там хватало. Они отстояли одна от другой не дальше сантиметра, и Сыромуков оценил это как большое достоинство в самолетостроении — прочность ничему не вредила. Никогда. Хотя оконечность крыла не проглядывалась из-за тумана, Сыромуков решил, что заклепок там должно быть еще больше, раза в два. Наконец самолет пробился за пределы туч и сразу же перестал крениться и вздрагивать. Салон озарился солнечным светом, а табло погасло — разрешалось курить. «Княжна» по внутреннему радио хозяй-

ски вежливо предупредила уважаемых пассажиров, что в полете воспрещается пользоваться фотоаппаратом, сообщила фамилию командира корабля, скорость и высоту полета, температуру воздуха за бортом: там было сорок четыре градуса.

— Колодно небе! — дружелюбно сказал Сыромукову сосед. Он предложил сигарету, но Сыромуков поблагодарил — под языком у него в помощь ноющему сердцу лежала горько-холодная лепешка валидола. Она будет лежать там, если не сосать усиленно, еще минут пятнадцать или двадцать. В «Огоньке» ничего не было для воздушного чтения, зато в «Смене» оказалась любопытная притча об итальянском короле Умберто Первом. Король и похожий на него ресторатор по имени Умберто родились будто бы в один и тот же час, женились одновременно на девушках с одинаковыми фамилиями, в одни и те же даты у них появились сыновья и дочери, которых нарекли тождественными именами. Оба двойника — и король, и простолюдин — погибли в один и тот же день, но с той только разницей, что ресторатор попал под колеса кеба, а короля пристрелил террорист. В этой истории все было хорошо, кроме конца, — кому такое надо! Жили бы и жили себе эти Умберты. Но черт угодил ресторатора под какую-то там повозку. В пьяном состоянии, конечно. И поскольку его жизнь фатальным образом была связана с судьбой второго Умберто, то и тому предстояло умереть одновременно с ним, хотя и другим способом. Это и понятно. Не мог же рок — или какая-то там надмировая непостижимая сила, называй как угодно! — толкнуть короля под колесо уличного рыдвана. Его величеству и смерть возвышенная. Для того и существуют — ну пусть существовали! — террористы... Кстати, убийцу, конечно, схватили и повесили. Но могло же статься, что у него был свой двойник. Не обязательно в Италии, а вообще на земном шаре. Как же в этом случае? Получается, что тот тоже должен погибнуть? Даже будучи ни в чем не повинным? Очевидно, так. А вообще-то люди, в сущности, все двойники. Все до единого. Может, оттого за безумные античеловеческие преступления одного какого-нибудь мирового выродка в конечном итоге расплачивается жизнью не один человек, а тысячи. Даже миллионы, потому что тогда происходит некая кошмарно-кровавая цепная реакция... Да-да! Люди — двойники. И поэтому каж-

дый обязан вести себя достойным образом. Всегда! При любых обстоятельствах!..

Это рассуждение Сыромукова прервал летчик, скорее всего бортинженер, зашедший в салон из пилотской кабины. Он был приземистый, темноволосый, в курчавых бакенбардах на кирпичном курносом лице — вылитый Давыдов из «Войны и мира», как отметил Сыромуков под успокаивающую мысль, — что летному составу, надо полагать, запрещено пить. Давыдов прошел в хвост самолета, но вскоре вернулся и в проходе возле кресла Сыромукова отогнул с пола край ковровой дорожки. Он приподнял крышку оказавшегося там люка и неловко полез в него, подсвечивая себе карманным прожектором. Такие фонарики продаются свободно в любом хозларьке; ими в осенние вечера вооружены все ребятишки страны, и неужто для бортинженеров реактивных лайнеров не существуют светоизлучатели, которые своей, скажем, необычной формой внушали бы большую степень доверия к их надежности. Это во-первых. А во-вторых, почему внутренность самолета затемнена? Что тут хорошего — тьма, заключенная в алюминиевый цилиндр, несущаяся при солнце за облаками? И что вообще понадобилось там этому гусару? Сыромуков окинул взглядом салон и увидел, что все пассажиры напряженно смотрят в сторону люка. Смотрели туда и те благополучные парни с гор, при этом они одновременно забрали с сетки свои кепки и насадили их на головы — синхронным движением рук. В люке тем временем что-то справно щелкнуло, и электрический свет заполнил чрево самолета. Оно было пустым, но вдоль видимого Сыромукову противоположного борта пролегал толстый сноп проводов — красных, желтых, синих и каких угодно. Временами на них наползала перемежающаяся тень: бортинженер что-то делал там, никому не видимый, и Сыромуков оторопело подумал, неужели он знает и помнит назначение каждого провода в такой охапке? Невероятно! А что происходит, если в одном из проводов образуется надрыв или замыкание? Падение? Или взрыв? Конечно, этого не может быть... Случается, возможно, но очень редко. Очень! Между прочим, экипажи пассажирских лайнеров лишены права пользоваться и парашютами, потому что их просто не дают им, а это тоже что-нибудь да значит! Но все же, сколько это продолжается? Минуты три или

больше? И как тогда ведут себя люди? Что они делают? Целуются, прощаясь? Или же кричат? Сходят с ума? И умирают от страха до того, как самолет врежется в землю? Этого никто не знает, потому что не остается свидетелей... А вообще-то надо обниматься и что-нибудь говорить друг другу... например, о том, что это продлится недолго. Или что мы останемся живы, раз пристегнуты ремнями. Да мало ли что найдется тогда сказать!.. А как потом устанавливают, кто был кто? По документам и билетам, конечно. Это ведь остается целым...

В правом кармане пальто Сыромукова лежали желуди. Пять штук — накануне отлета он с Денисом был в лесу. Ну, желуди едва ли вызовут удивление, а вот кальсоны! Главное, что они с широченной отвисшей мотней и сиреневые. Надо же вырабатывать такую срамоту! Как запустили сорок лет назад, так и гонят. Да, такие несуразные кальсоны ничего не могут вызвать, кроме презрительной насмешки. А это совсем ни к чему. Нельзя, чтобы на Дениса легла хоть малейшая тень унижения за отца! Черт дернул надеть их!..

Сыромуков посмотрел в иллюминатор. Скошенное назад крыло самолета сверкало тускло и льдисто, и заклепок на его оконечности в самом деле было раза в два больше, чем у основания. Чистое небо синело какой-то прореженной утренней лазурностью, а под крылом, глубоко внизу, снежно белело сугробное поле беспредельных облаков. Самолет шел с прежней неощутимой плавностью, и в гуле турбин не прослушивалась какая-нибудь посторонняя нота. Сыромуков не уследил, когда бортинженер покинул люк. Ковровая дорожка лежала на своем месте, и все пассажиры сидели в прямых покойных позах, и большие кепки парней-грузин громоздились на сетке одна поверх другой...

Из Минеральных Вод до Кисловодска Сыромуков подрядил такси. Шофер запросил двенадцать рублей, и он согласился, так как с сердцем было нехорошо. Гудела голова, и в ушах с неприятным ломким хрустом шелестели барабанные перепонки. Он уже сидел в машине, когда к шоферу подошли мужчина с женщиной, и тот взял их за дополнительную десятку. Сыромуков предложил даже переднее сиденье и перешел на заднее. Супруги почему-то посчитали нужным поблагодарить его за учтивость. Сосед Сыромукова сразу же отвернулся от него, заглядывая в окно. Женщина тоже се-

ла вполоборот к шоферу, по чему Сыромуков решил, что его попутчики — тайные любовники, пробирающиеся на курорт: тех всегда преследует опасность быть внезапно опознанными. Ехали молча, и было неизвестно, что лучше — отчужденная замкнутость, позволявшая каждому держаться в свободной независимости созерцателя предгорной природы, или же так называемая сердечная общительность, когда вынужденно приходится подлаживаться под тон случайного собеседника, даже если тот окажется дураком. Было хорошо вот так расслабленно и безответно сидеть и смотреть, как проносятся назад по обочине шоссе белые домики, заслоненные не то яблонями, не то другими какими-то садовыми деревьями с бурой лохматой листвой; как чарующе неколебимо текут из глинобитных труб этих домиков голубые дымы, — кизячные, наверно; как в жухлой пропыленной траве по канаве возле дороги бродят белые куры и белые козы; как на теплом розовом небе возникает и надвигается громада Бештау. Это все склоняло к покою и побуждало верить, что тут живут люди, зачарованные безмятежным потоком таких вот тихих розовых дней, и что никому из них не знакома зубная боль в сердце...

В Кисловодске совсем не чувствовался ноябрь. Здесь стояла настоящая августовская погода, когда небо бывает пронизано сокровенно нежной и глубокой просинью и на нем явственно проглядываются сверкающие нити парящей паутины. Да, в этой благословенной котловине со своим микроклиматом царило еще лето, и курортный народ гулял по улицам в легкой одежде, хотя попадались кое на ком меховые шапки, валенки и даже мокасины — то были люди с Севера. Попутчики Сыромукова вышли в центре у нарзанных ванн. Женщина напряженно и прямо, как по бревну через пропасть, направилась к противоположному тротуару, а мужчина умышленно долго возился с бумажником, пока нашел там две пятерки.

Шафранные корпуса санатория, куда направлялся Сыромуков, стояли особняком, вознесясь над городом. В последний раз Сыромуков лечился в нем зимой шесть лет назад и помнил, как худо ему пришлось из-за сожителя по палате: тот почти каждый день после обеда

с вежливым напорным нахальством просил его погулять — сам понимаешь, часик-другой по «Храму воздуха», — а там дуло со всех сторон, и поневоле приходилось забираться в дымно-вонючую шашлычную. Сожитель этот был директором какого-то степного овцеводческого совхоза, могучий и денежно богатый мужик, полностью неуязвимый с моральной стороны: им так и не удалось тогда ни разойтись по разным палатам, ни поссориться, несмотря на то, что овцевод временами предпочитал почему-то любиться не в своей кровати, а в сыромуковской. Он не мог толком объяснить, что влекло его на чужую постель, и только бездумно хохотал и совершенно искренне — «ну братски, понимаешь»? — предлагал Сыромукову воспользоваться в любое время его кроватью. Сыромуков вдруг застиг себя на мысли, что хотел бы снова повстречать того степняка и — поселиться с ним в одной палате. Он не стал рассуждать о причине этого странного своего желания, так как к нему примешивалась горечь какой-то неосознанной утраты, а печаль о прошлом — первый признак старости, и больше ничего.

На площадке у главного корпуса своего санатория Сыромуков расплатился с шофером и пошел к подъезду мимо скамеек, где под заходящим солнцем сидели курортники — человек десять или пятнадцать мужчин и женщин неопределенного возраста, — они все были в синих лыжных костюмах с белой каймой по воротнику. Точно такой же костюм, называемый в Прибалтике тренингом, вез с собой и Сыромуков. Он купил этот тренинг с великим трудом перед самым отъездом, что называется, достал и поэтому втайне рассчитывал на его неповторимость.

— Послушай, друг! Бурдюк свой забыл!

Шофер держал чемодан так, как только, наверно, можно и нужно держать плохой бурдюк с большим вином, — обеими руками между расставленных ног. Шофер смеялся, и люди на скамейках тоже. Тогда на Сыромукова пала та гневно-страстная секунда затмения реальности, когда он бывал способен на вполне безрассудный поступок во имя своего достоинства, — он чуть-чуть не сказал шоферу, что дарит этот бурдюк ему. В регистратуре сестрица отобрала у Сыромукова курортную карту, путевку и паспорт, а взамен вручила ему талон в столовую и сообщила номер его комнаты. Пу-

тевка у Сыромукова была дорогой, в «палаты люкс», как значилось на ней, но то, что палата помещалась на третьем этаже, а не на первом, как он рассчитывал, что ее трехзначный номер состоял из нечетных цифр и на медном кольце громадного ключа, который выдали ему в гардеробной, болталась нечистая деревянная рукоятка, похожая на кляп из бочки, вселяло сомнение насчет «люкса». Гардеробщица сказала, что заносить в палату чемодан запрещено.

— Но там нужные мне принадлежности, — возразил Сыромуков.

— Чего надо забери, а его сдай в камеру.

— Хорошо, я проделаю это позже, — сказал Сыромуков. В сердце вонзился маленький острый клещ и грыз и грыз его откуда-то изнутри, куда он не забирался прежде.

Палата оказалась в самом деле по-люксовски обставленной на двоих, большой светлой комнатой с высоким видом на Эльбрус, до его золотого на голубом небе седла отсюда чудилось не дальше пяти или шести километров. Сыромуков опустился в кресло и вместе с ним пододвинулся к раскрытому окну. Было тихо, одиноко-пустынно и почему-то жаль Дениса. Что он сейчас делает на краю света, один, в скучной мге Прибалтики? Наверно, смотрит телевизор. А потом поужинает и ляжет спать. Но поужинает ли? Что ж. Ты сам тоже не будешь ужинать и ляжешь спать, а утром напишешь ему письмо, как и обещал. Сразу же по приезде. Вот и все. И нечего подкалывать себя булавкой! Собраться и уехать домой ты всегда волен в любую минуту!

Вечер наступил сразу же, как только солнце зашло за Машук, но сумерки долго оставались прореянными таинственным изумрудным светом, будто мир проглядывался через витражный осколок. Такой свет покоил душу и одновременно вызывал пронзительную тоску. Сыромуков дождался времени ужина и по безлюдью за два похода перенес из гардеробной в палату содержимое чемодана, а его, обмякший и усохший, как вымя яловки, сдал в камеру хранения.

Проснулся Сыромуков на рассвете — утро наступило тут часа на два раньше, чем дома, в Прибалтике. Где-то далеко, не то в низине, не то в горах, протяжно и весело, как весной, пел петух, и на корзине под окном палаты натужно и страстно ворковали голуби. Бы-

ло непривычным и странным тут сухое сизовеющее небо, празднично засеянное крохотными бестрепетными звездами, гаснущими ласково и замедленно. «Это все мне явилось оттуда, из детства, — с тихой радостью вспомнил Сыромуков, — это же давнее пасхальное утро, и ты ждешь мать из церкви с освященным куличом. На тебе новая ситцевая рубаха и новые молескиновые штаны, и ты ждешь на крыльце хаты, а на небе точно такие же кроткие зоревые звезды, и в соседних дворах возвестно поют петухи. Ты ждешь, чтоб разговеться крашеным яйцом и громадной легкой скибкой кулича. Если б только знал Денис, что это такое на вкус!» А вслед за безмолвной священной едой наступал великий солнечный день, колокольный трезвон, яркие наряды девок на выгоне, разноцветная яичная скорлупа на молодой траве...

Не спеша, стараясь сохранить в себе ощущение весны и праздника, Сыромуков оправил постель, побрился, принял ванну, а потом выбрал лучшую рубашку и любимый галстук. Костюм сидел на нем статно и влито, и Сыромуков никому бы не признался, что его почему-то молодо радовала эмблема марки голландской пошивочной фирмы на левом внутреннем кармане пиджака, — там был изображен оранжевый петух с весенней масличной веткой в клюве. Перед зеркальным трельяжем Сыромуков стоял умышленно близко к стеклу, чтобы видеть лишь воротничок рубашки, галстук и пиджак, так как начес на просвечивающуюся плешину вдоль темечка решено было сделать после письма Денису, перед уходом из палаты.

Письмо получилось каким-то ребячески восторженным, а это Денису не годилось. Ему надо помогать мужать и огрубляться! Ну, что хорошего в этом сюсюкающем «родной мой мальчик»? «Не хватало, чтобы ты еще назвал его сироткой. Хочешь, чтобы он заплакал там? Давай пиши так: чижик, мол, привет! Да и не чижик, а просто — сын, как, мол, у тебя дела? Я, мол, доехал благополучно... и скоро вернусь. Погода тут чудесная, светит солнце, поют петухи...»

Плешь маскировалась мелкими зигзагообразными взмахами расчески с затылка наперед. Тогда остатки прежнего буйства волос пушились и небрежным грибоедовским коком укладывались над лбом. На ветру или при малейшем сквозняке волосы дыбились, заносясь

назад, и поэтому Сыромуков не ходил по улице без берета. Он понимал, что это глупо, хотел быть моложе, а не старше себя, но все его попытки породниться со своим отражением в зеркале безысходно кончались бунтом сердца против самого себя. Не вышло у Сыромукова братание с самим собой и сейчас, несмотря на то, что его все еще не покидало чувство соприкосновения с детством.

Из-за гор всходило красное близкое солнце. С «Храма воздуха» доносились взревы баяна и команды физзарядки, потом мощный хор рванул там знакомую с пионерских времен «Как родная меня мать провожала». Сыромуков растворил окно и до конца прослушал песню, глядя на солнце, чтобы убедить себя, будто это и есть причина слепящих слез, набухавших в глазах. Сердце было согласно на уютный для себя обман, оно билось мерно и небольно, и Сыромуков, аккуратно приладив на голову берет, вышел из палаты. Плотная ковровая дорожка в длинном широком коридоре по-больничному заглушала шаги, и лучше было идти у ее кромки прямо по паркету, скрипевшему, как крещенский наст тогда в деревне. Из глубины коридора ему навстречу стремительной четкой походкой двигался высокий человек в темном щеголеватом костюме и с беретом на голове. Человек шел не по ковру, а по паркету прямо на Сыромукова, словно не видя его, и то, как независимо держал он голову, как вызывающе сидел на ней берет — с напуском вперед и чуть набок, как надменно вскидывались и опускались на паркет его долгоносые сверкающие башмаки, вызвало у Сыромукова необъяснимо упрямое чувство протеста и желание отпора встречному. Не сбиваясь с походки, он загодя отвел от него глаза, решив не уступать ему дорогу, и чуть-чуть не столкнулся сам с собой в громадном стенном зеркале, вовремя заметив справа от него большую шахту лифта и марш лестницы. На первом этаже возле лифта толпились толстые пожилые курортники и курортницы, вернувшиеся, наверно, с физзарядки. Их было много, безобразно выпуклых в синих лыжных костюмах с белой каймой по воротнику, и никто из них не желал подняться пешком к себе на второй или третий этаж.

«Ногами надо работать, окороками», — мысленно посоветовал им Сыромуков, решив, что надевать свой тре-

нинг не станет. Он миновал физкультурников чуть ли не строевым шагом, опасаясь, все ли на нем в порядке не только спереди, но и сзади. Еще не было восьми часов, и Сыромуков рассчитывал оказаться первым в регистратуре, чтобы получить курортную книжку и направление к врачу, но там уже ожидали приема несколько человек, судя по всему, только что прибывшие московским утренним поездом. Он занял очередь, отметив про себя, что никто тут не был моложе его, если не считать девушки-карлицы в модном кожаном пальто-макси и серебряной шляпке-цилиндрике, надетой высоко и прямо. Малышка назвалась последней в очереди. Она отчужденно стояла в уголке, так как места на двух диванах были заняты, и эта нелепая шляпка на ней и раздутые колоколом полы пальто, доходившего почти до паркета, делали ее похожей на бутылку из-под шампанского. Такие, сочувственно подумал Сыромуков, слишком чувствительны и самолюбивы. Они постоянно находятся в повышенном психическом напряжении, так как каждую секунду ждут нанесения урона себе. Еще бы! Эта, например, не сядет на диван, если освободится место, потому что успела уже обидеться на всех тут за невнимание к ее отторженному крошечному величию! Как она оцепенело и неприступно смотрит перед собой. Какое благородное презрение кипит в ее судорожно подозрительном сердчишке ко всем этим ленивым тушам, воссевшим на диванах и вынудившим ее очутиться на виду у всех со своей обездоленностью. Да еще последней в очереди. Всегда и все ей последнее!.. Кем считает она их — и тебя тоже? Дураками и дурами, конечно, потому что сама, наверно, умненькая и злая, как все убогие, — у них выдается много времени для всяческих горьких раздумий. «Она недаром выбилась на курорт в глухой осенний сезон, когда здесь собирается разная старая заваль, на чьем фоне еще может выделиться ее единственное достоинство — молодость», — подумал Сыромуков и пошел к лифту, и взял там пустующее полукресло. Еще на середине пути, возвращаясь с ношей, он заметил, как защитно напряглась, подавшись в угол, карлица, взглянув в его сторону и тут же отвернувшись, — у нее не было уверенности, что он не нанесет ей сейчас новое унижение. Сыромуков подумал, что, если она заупрямится, сам он тоже не сядет. Но все обошлось благополучно. Девушка жеман-

но, со старомосковским распевом на букве «а» поблагодарила его и опустилась на краешек полукресла, страшась оторвать ноги от пола. В регистратуру заходили по двое. При выдаче курортных книжек там брали за что-то полтора рубля, и у москвички не оказалось мелких денег, а только «четвертные билеты», как она сообщила регистраторше протяжно и беспомощно. Сыромуков поспешил ей на выручку и заплатил трояк за двоих.

— Благодарю ва-ас, — сказала она, когда вышли в коридор. — Но как же я верну долг? У меня скверная зрительная память на людей.

— Не беспокойтесь, я вас запомню сам, — ответил Сыромуков.

— Да? — сухо произнесла она.

— Я художник, поэтому зрительная память у меня отличная, — безоглядно и противно для себя солгал зачем-то Сыромуков. Малютка помигала на него длинными кукольными ресницами, и Сыромукову показалось, что она присела в книксене.

— Ну хорошо. Тогда подойдите, пожалуйста, ко мне сегодня в столовой.

— Да-да, не беспокойтесь, — нетерпеливо сказал Сыромуков. Ему было досадно за свое вранье и хотелось поскорее отправить письмо Денису. Почтовые ящики — один красный для авиаписем и другой синий, под простые, — стояли на табуретках в вестибюле. Он опустил письмо в красный и тут же подумал, что напрасно написал Денису про петухов и солнце. Это может вызвать у него тоску по весне, а рассеянности на уроках там и без того хватает. Ему надо писать отсюда деловые письма. Серьезные. Занятые. В конце концов лечение — тоже труд, а не удовольствие. Как для него там математика, например. Или физика. И свободного времени, надо написать ему, тут не очень много. Везде и всегда нужен труд и труд. Только и всего!

«А ты в самом деле начнешь тут лечиться, — сказал себе Сыромуков. — Ты будешь выполнять все процедуры, что назначит врач. Кроме, конечно, физзарядки на «Храме воздуха». Это тебе не обязательно. Заряжаться можно самостоятельно у себя на балконе. А все остальное — беспрекословно!»

Он вернулся в корпус и отыскал кабинет, где проводились антропометрические измерения. Рост его остал-

ся прежним, давним, военным,— сто восемьдесят три сантиметра, а вес достиг семидесяти пяти килограммов: на четыре больше, чем было шесть лет назад, когда он взвешивался в этом кабинете.

На воле было чисто и высоко. Вершина Эльбруса уже сияла слепяще и знойно, а в распадах гор текуче копился сквозяще-сизый туман, и казалось, что там таится какая-то нежная подарочная тайна миру на этот день. Площадка перед корпусом оставалась пока в тени, но все скамейки были заняты курортным людом в тренингах — новых, не вылинявших и еще издали пахнущих уксусной эссенцией. Курортники сидели прочно и молча, и все держали в руках голубые фаянсовые кружки с парящими на них золотыми орлами — попили натощак нарзан и теперь дышали горным озоном, ждали солнца и целебного действа выпитой воды. Площадку окаймляли тополи и айвы, и под ними, с метелками, мешками и шестами-битами, копошились санаторные уборщицы — обивали и сгребали листву. Они поглядывали на скамейки, приглушенно переговаривались и хохотали, а там делали вид, будто ничего не замечают и не испытывают никакой неловкости. Было ясно, что уборщицы потешались над толстяками и толстухами, считая, что для их здоровья полезно порастрясти жир, и Сыромуков весело согласился с ними. Он чувствовал, как звенит в ушах от голода, потому что не ел целые сутки, но тело ведь не знает, что это не от беды, а только от прихоти. Ну, не совсем от прихоти, а и от сердца, потому что оно лучше работает, когда хочется есть, и еще из-за солидарности с Денисом, если он там не поужинал почему-либо вчера. Он подумал, что хорошо сделал, захватив с собой пять белых рубашек и кучу носков, — можно будет менять каждый день, и хорошо, что на внутреннем кармане пиджака живет оранжевый петух и что у берета сам собой получается задорно легкомысленный напуск. Уборщиц, пожалуй, надо было бы чем-нибудь одарить. Подойти и одарить ради этого несказанного утра, невообразимого неба и той хрустальной таинственности, что залегла в ущельях гор. Тут уместны были бы небольшие шоколадки в ярких обертках. Или крашеные яички! Тогда можно было бы — в шутку, понятно, — сказать каждой

из них: Христос, дескать, воскрес, и почтить древний обряд с поцелуями... «Старый ты пшют в берете, — поощрительно сказал себе Сыромуков. — Лысину-то прячешь небось? Маскируешь? Что ж, недолго осталось... Он попятился назад, в вестибюль, потому что сердце споткнулось и замерло, подскочив к гортани, стремительно набухая там теснящей мукой зажатости и страхом. Как всегда, руки его вскинулись к голове, а глаза метнулись по сторонам, но сердце опало на свое место, будто вырвалось из петли, и трижды толкнулось сильно и больно.

«Это от перемены климата, — безгласно прокричал себе Сыромуков. — Это сейчас пройдет, ты только дыши поглубже!»

Он стоял у колонны вестибюля и обеими руками ненужно трогал и трогал берет, ощущая лопатками ознобную прохладу шероховатого туфа. «Прохлада — хорошо, это все равно что холодный компресс на грудь, если успеть с ним вовремя, — думал Сыромуков. — Не надо только глубже. Тут чистый кислород... И правильно делают эти жизнелюбивые люди, что сидят там на скамейках и дышат озоном. И ничего нет зазорного в том, что все они в одинаковых нелепых тренингах. Кому это мешает? И пусть они пьют свой сульфатный или доломитный нарзан, раз это им нравится...»

Когда уже можно было оставить берет в покое, Сыромуков небрежно, как леденец против курения, кинул в рот таблетку валидола и осторожным куцым шагом, чтобы не сбивать дыхания, прибедненно миновал скамейки. Недалеко за ними был, оказывается, бассейн без воды, окруженный зелеными кустами туи. В тесных нишах этих кустов скрывались узенькие, с крутыми неудобными спинками лавочки; никому бы и в голову не пришло прилечь на них. Сыромуков примостился на лавочке и стал глядеть в небо, запрокинув голову и дыша раскрытым ртом, — вблизи никого не было.

— Лавочки тут — хорошо, — отвлекающе, без участия губ сказал он. — И это ничего, что они узенькие. Это ничего. А бассейн всегда можно наполнить водой. Когда угодно...

Небо уже по-дневному углубилось и посинело, и в нем обманчиво медленно плыл, звездно искрясь, крошечный истребитель, оставляя за собой бурунно-белую инверсионную полосу.

— Военные летчики тоже знают это, — на какую-то еще нечеткую свою мысль вслух отозвался Сыромуков. «То есть самые умные из них», — подумал он. Как тот француз, сбитый немцами уже в конце войны. Он был на всякий случай графом и писателем. Рыцарская такая фамилия... Запамятовалась. Да это и не важно. Потом, когда не нужно будет, вспомнится. Он сказал, что плевать хотел на пренебрежение к смерти, если в основе его не лежит сознание ответственности. Без того оно лишь призрак нищеты духа, и больше ничего. Хорошо сказано. Смело и точно, — ему часто грозила смерть. Интересно бы знать, каким он бывал после этого? Тоже становился во всем сговорчивым и доброжелательным к миру? Вот как ты сейчас, когда тебя умилили эти пехтери на скамейках? Возможно. Иначе ему не удалось бы написать книгу «Земля людей». Как же его звали? Забыл... И все же человека всякий раз подстерегает глупость, если он подвержен страху смерти. В тот момент его покидает воля и у него происходит распад связей. Он готов тогда благословить все сущее, красивое и безобразное, возвышенное и низменное. Все, дескать, благо, все добро и чудо. Значит, в этом случае получается, что страх облагораживает человека, поскольку он — пусть даже временно — становится доброжелательней к миру? Нет. Этого не может быть. Страх — чувство подлое по своей сути. Он всегда мешал жизни. Он прародитель лицемеров, предательства, холопства. Да мало ли!.. И все же за ним надо признать и некоторую творческую силу: он ведь учит людей приспосабливаться к условиям бытия, верно? Да, но только приспосабливаться, а не подчинять условия себе. Страх всегда обрекал человека на рабство и пресмыкательство!.. Ладно. Пусть так. Но при чем тут люди на скамейках? Почему ты посчитал свое умиленное чувство к ним ошибкой? Да никто ничего не посчитал! Просто дело в том, что сытый субъект всегда опасен своим самодовольством и безучастностью. У такого умри на глазах — не отзовется. В то же время он склонен предъявлять нахально повышенные требования к деятельной личности, хотя сам всю жизнь препятствовал развитию этой личности...

«Ты бы лучше посидел спокойно, — приказал себе Сыромуков. — Ты приехал сюда лечиться, а не философствовать. Сиди и дыши... Но лечиться я не буду, —

тут же подумал он. — Этого делать еще нельзя, потому что тогда наступит конец еще при жизни... Но ты ведь только что был согласен исполнять все, что предпишут врачи... Это я обещал не себе, а Денису. И взвешивался для него. Я буду принимать нарзанные ванны и циркулярный душ. Как в тот раз...»

Самолета в небе уже не было, а полоса изломалась и расплылась. Сердце еще ощущалось, только во рту тошнотворно саднило от валидола и бурно урчало в пустом желудке. Если не ходить сегодня к врачу, то сидеть тут и ждать час завтрака не имело смысла. Сыромуков помнил, что кафе в городском парке открывалось рано, и в это время там бывало чисто и пусто, и на столиках стояли вазы с красными розами. «Я закажу чебуреки, — решил он. — Или лучше шашлык и бокал шампанского. Сладкого. Между прочим, от рюмки коньяка тоже ничего не случится».

В город можно было спуститься по асфальтированному терренкуру, но рядом в алычовых и боярышниковых кустах пролегала растоптанная самочинная тропа, засоренная обрывками газет, окурками и опавшей листвой, и Сыромуков пошел по ней, — ее тут проторили, конечно, здоровые и веселые люди. Вроде того овцевода. Хорошо бы повстречать его сейчас на этой тропе. Одного, понятно. Пускай бы он шел снизу, из города, только что тяпнувший перед завтраком. «Впрочем, это невероятно», — подумал Сыромуков без всякого сожаления, потому что ему услужливо и радостно вдруг вспомнился другой человек — направщик бритв, местный старик горец с обезволивающими черными глазами ведуна. Он располагался при входе в парк у грота Лермонтова. Деревянный станок его, отдаленно похожий на прялку, был оснащен различными трансмиссиями с точильными кругами и всевозможными — латунными, бронзовыми и медными — шкивами, колесиками, шестеренками, валиками, шатунами, и все это начищенно сверкало и горело, скользило, крутилось и вертелось в разных направлениях, как только старик нажимал ногой педаль, и невозможно было отвести глаз от станка — он зачаровывал и оцепенял, как затухающее пламя в осенние сумерки. Старика постоянно окружала толпа. Он работал, а люди смотрели. Вполне возможно, что все они были сердечники, приходившие к станку, как на врачующую процедуру: возле него можно было

простоять с утра до вечера и ни разу не вспомнить о сердце. Старик все время был занят, он точил собственные бритвы. Сыромуков понял это на третий день похода к нему, а в следующий раз принес две только что купленные бритвы и с тех пор направлял их ежедневно — то одну, то вторую. Старик не показывал вида, что приметил его, — точил и точил, только плату сбавил наполовину против первого раза. Его следовало повидать до кафе, отрадней будет сидеть и ждать еду, решил Сыромуков. Но какой дурак пьет с утра коньяк, да еще в одиночку! Вот если бы этот колдун с гор взял и согласился...Станок же можно будет поставить перед окном кафе, чтобы все время видеть и не беспокоиться...

Внизу воздух был теплым и вкусным — в санаторных столовых накрывали столы к завтраку. В улицах царил покой, и норовилось идти так, чтобы металлические косячки каблуков прилегали к тротуару печатно ладно, и не шаркающе, тогда возникало звонисто-чистое эхо, будто кто-то — мало ли! — идет тут при шпорах. Старика на месте не было, и Сыромуков, торопясь, заверил себя, что он, наверно, запаздывает по какой-нибудь уважительной причине. Могут же, например, возникнуть в станке неполадки? А сам он, конечно, жив и здоров. Ему тогда было... ну, от силы семьдесят, а горцы живут по полтораста и больше! Сыромукову хотелось, чтобы все в этом его первом курортном утре было справно и ладно, и он снова мысленно повторил, что со стариком все благополучно и что сам он поступил хорошо, придя на свидание с ним, — в конце концов всегда счастлив тот, кто видит в своем действии следы собственной воли. Он прошел к гроту, но вход в него оказался заделанным толстой стальной решеткой, заключившей в промозглой каменной дыре невеселый бюст поэта. Решетка не только не вписывалась в идею грота, но в корне подрывала и перевирала его смысл, и надо было искать оправдание действию тех, кто ее поставил тут, и верить, что ими руководила похвальная цель. Сыромуков, возможно, придумал бы для себя эту цель, не уходя от грота, но в верховьях парка — в стороне кафе — уже несколько раз булькающе запевал не то соловей, не то иволга, и это было пугающе маняще и невероятно: соловей в ноябре! Разъяснилось все просто и буднично: в центре парка Сыромуков еще издали увидел длинного сухопарого человека с лихими казачь-

ими усами, вспомнил и узнал его. Как и шесть лет назад, на нем был закирзовевший брезентовый плащ с полуоторванными накладными карманами и непотребно грязная парусиновая сумка, по-побирушьи свисавшая с плеча, где он хранил запас глиняных соловьев. Маскарад с одеждой и сумкой придумал, конечно, не от добра — как-никак он занимался частнопредпринимательской деятельностью, а товар его раскупался с ходу, и все же он не вызывал к себе сочувствия, так как всегда был почему-то остервенело зол и груб с покупателями, — надоели, наверно. В тот, прошлый, раз Сыромуков привез Денису такого соловья, но в первый же день сын разбил его и потом долго плакал и просил снести глиняные осколки в мастерскую. Стоило ли покупать соловья теперь и ожидать возможное горе? «Но этот тип засвистит сейчас специально для меня, поскольку больше тут никого нет,— подумал Сыромуков,— и «не услышать» и свободно пройти мимо него будет немыслимо». Усатый и в самом деле при подходе Сыромукова издал две переливчатые трели, свирепо глядя куда-то вбок и в сторону, и Сыромуков купил у него двух соловьев и посадил их в карман пиджака, где был изображен петух с веткой.

В кафе было чисто и безлюдно, и на столиках алели свежие астры.

Через час Сыромуков приблизительно знал, какой формы и цвета будет там у них аппарат стопорения времени — вроде портсигара из какого-нибудь лунномерцающего невесомого сплава, а кнопка — они назовут ее как-нибудь иначе, таинственней и торжественней — будет, наверно, рдяно-багряная, как человеческая кровь. Впрочем, цвет этот тревожный, и они не захотят его. Кнопка, надо полагать, будет лазурной или зеленой. Аппарат сохраняется на груди, как носили когда-то верующие ладанку, и когда человеку понадобится, когда ему станет в какое-то мгновение до сладкого изнурения хорошо и радостно жить, он дотронется до кнопки, и мгновение остановится. «Да, им, будущим, не понадобятся на костюмах гарусные петухи для бодрости, — с жадной завистью подумал Сыромуков, — но что они будут говорить о нас, господи! Неужели станут стыдиться, как стыжусь я сам Смутного времени,

Малюты Скуратова, Гришки Отрепьева — да мало ли! Но Куликовская битва, но Бородино, но полковник Пестель, дворцы Варфоломея, Растрелли, разгром фашизма, полет Гагарина... Нет, черт вас там подери со своими аппаратами времени, нет! Вы только тем и будете знамениты, что мы жили на земле раньше вас и доводимся вам родней!»

— Понесся! — усмехнулся над собой Сыромуков, — а Денису удивляешься, что на уроках, забывшись, он выхватывает деревянный пистолет и пуфпукает под ноги учителю!..

К гроту возвращаться не хотелось — лучше было «не помнить» о решетке и не думать ничего тревожного о точильщике, если его не окажется на своем месте. Курить бы тоже не следовало, чтобы подольше сохранить в себе ощущение чистоты и здоровья: сердце билось ровно и только чуть-чуть учащенно, но одна сигарета, подумал Сыромуков, ничего не будет значить, поскольку она с фильтром. Он пошел к своему санаторию кружным путем, мимо «Храма воздуха», и те курортники, что встречались ему, взглядывали на него любопытно и весело— напуск берета, наверно, потешал, но поправлять его не тянуло. Было по-летнему тепло, почти знойно. В горах миражно дрожал и струился разогретый воздух, и высоко над котловиной города трепыхалась большая стая голубей. Все это хотелось задержать в мире и в самом себе. Хотя бы на полдня или в крайнем случае часа на три... Но как же я узнаю, спохватился Сыромуков, что должно было быть вслед за этим! Я, скажем, застопорюсь, а на эти мертвые для меня мгновения жизнью, возможно, намечалось еще лучшее! Выходит, что я в таком случае лишусь его? Нет, это не годится! Аппарат времени не нужен! С ним можно уготовать для себя черт знает какие необратимые утраты! Надо, чтобы всегда, каждую секунду человек ждал и хотел прихода нового. Недаром ведь кто-то из великих писателей сказал, что день опять обрадует меня людьми и солнцем и опять надолго обманет меня...

Сыромуков помнил и конец этой краткой благодарственной молитвы в честь жизни: где-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голых и от века пустынных горах, но цитировать его не стал. Он оглядел Машук и Бештау и решил, что вторая сигарета так же не повредит ему, если курить вползатяжки. День су-

лился так и пробыть до вечера, каким зародился — сизо-розовым по окраске и пасхальным по незримому в нем торжеству. Идти в гору было легко, потому что приходилось то и дело останавливаться и затаиваться: в притропных кустах боярышника копошились и флейтисто свистели какие-то продолговатые черные птицы — обклевывали ягоды, и Сыромуков попробовал ягоды тоже и убедился, что это сладко. На площадке перед санаторием несколько курортников состязались в меткости забросов резиновых колец — их надо было метров с двадцати накинуть на деревянные штыри в квадратном щите, помеченном цифрами-очками. Когда Сыромуков вышел к площадке, кольца кидала пожилая коренастая женщина в белой курортной фуражке и синем тренинге, и то, как она наторело, сноровисто сажала и сажала кольца на один и тот же кляп, как в момент броска по-девчоночьи тоненько вскрикивала, взбрыкивая короткой толстой ногой и крутым вздорным задом, возмутило Сыромукова. Он тут же подумал, что своей надменной походкой и беретом сам он так же, наверно, способен вызвать протестующее чувство в другом, но это не погасило в нем странного и неосуществимого желания: подойти и шлепнуть ладонью по курдюку разрезвившейся старухи, чтобы не дурила!

В гардеробной не оказалось ключа от палаты, а это могло означать, что появился сожитель. Сыромуков заклинающе попросил судьбу, чтобы она послала кого угодно, только не инвалида с протезом ноги, — тогда все двадцать пять суток превратятся тут в пытку виноватого сопереживания чуждой давней боли и чужой физической неполноценности: ведь кровати стоят почти смежно, и каждую ночь протез тоже будет с т о я т ь рядом.

Ключ торчал в двери. Сыромуков постоял, прислушиваясь к шорохам в палате, и, когда ему почудился там аритмичный кожаный скрип, постучал в дверь.

— Войдите, пожалуйста, — слабо сказали за ней. Да, конечно. Интеллигентный инвалид. Такие всегда вежливы и просветленно печальны. Отселиться будет невозможно, не нанеся ему травмы, подумал Сыромуков, и, значит, придется уезжать раньше. Впрочем, сейчас все выяснится, только надо войти поприветней для него. В сущности, ты ведь сам тоже инвалид...В палате пахло одеколоном и каким-то грустным черемушным ароматом, и у зеркала, лицом к двери, стоял на своих

собственных ногах опрятный поджарый старик с белым наивным лицом. Он с робким интересом смотрел на Сыромукова, загодя готовя правую руку, и Сыромуков с благодарной радушностью пожал ее, назвав свое имя и отчество.

— А меня зовут Павел Петрович Яночкин, — представился сожитель. — Вы давно уже здесь?

Сыромуков сказал.

— Ну, значит, и уедем разом. Поездом прибыли?

— Летел. А вы?

— Я, знаете, сплоховал. Угодил в купе с пьяницами. И от самой Москвы дым, крик, матерщина. Вы, извините, тоже курите?

— Изредка. Не переносите никотин?

— Терпеть не могу, хвораю тогда, — жалобно сказал старик. Глаза у него были младенчески синие и просящие. Сыромуков готовно пообещал, что курить в палате не будет. Сожитель понравился ему. Он, оказывается, не против коньячку и сухого винца, если под культурный разговор, но вот курить не надо бы.

— Договорились, Павел Петрович, все будет в порядке, — сказал Сыромуков, — но вы тоже примите на себя одно джентльменское обязательство, согласны?

— Пожалуйста, Родион Богданович. Какое?

— Не приводить в палату после своей шестой нарзанной ванны женщин и не укладываться с ними на мою кровать.

— Ах, чтоб тебе пусто было! — восхитился сожитель. — Не-ет, я, брат, на эти дела уже не гожусь. Зубы не те. Это тебе, молодому, одно на уме. Да я мешать не буду, я люблю побыть на воздухе, так что не беспокойся.

Сыромуков прикинул, сколько могло стукнуть Петровичу, — не больше, наверно, шестидесяти, и решил, что разница в двенадцать лет предоставляет тому привилегию обращаться к нему на «ты».

Как все безотцовцы, Сыромуков с детства был стыдливо застенчив в незнакомой ему среде. Он тогда — особенно на первых порах — замыкался и каменел в неприступной самозащитной позе, духовно напрягаясь почти до физического страдания, вызывая ответную неприязнь и отпугивая от себя прежде всего простых и общительных людей. Он знал за собой этот не истребленный возрастом ребяческий недостаток, граничащий

с пороком, но ничего не мог с ним поделать. Временно избавившись от трудной для себя церемонии не постепенного, а одновременного знакомства с дружным, как это представлялось, коллективом стола, когда Сыромуков под милосердным для себя предлогом не пошел ни вечером, ни утром в столовую, он перед самым обедом внезапно осознал неотложную необходимость положить деньги в сберегательную кассу. Еще в кафе, лишь только официантка принесла в графинчике коньяк и в его смугло пламенеющем настое Сыромуков увидел свое далекое отражение, ему пришлось пережить минутное чувство щемящей вины перед Денисом: там дождь, уроки, тоска по отцу, а тут цветы, коньяк спозаранку и двести десять рублей, неизвестно для чего взятые из дому! Тогда и было решено спрятать куда-нибудь подальше от себя полтораста рублей, чтоб привезти их назад. От этой утешной мысли на душе сразу полегчало и о деньгах забылось, но теперь вспомнилось снова и очень кстати, — в столовую можно будет пойти к концу обеда.

Оказия с вкладом оказалась не такой уж затяжной, как хотелось бы Сыромукову, — сберкасса находилась на территории санатория в здании почтового отделения, и перед окошком кассы стояли всего лишь два человека — мужчина в коверкотовом костюме и кожаной кепочке с пуговкой на макушке и рыжая девица с добрым счастливым лицом. Они считали деньги в помятых тройках, пятерках и десятках, которые мужчина доставал из кармана пиджака и брюк небольшими порциями. Он добудет, а она пересчитает и отложит в сторонку. Тогда он снова слазит в карман, и она опять пересчитает.

— Ну вот! Я говорю, гитару, мол, тебе! Все равно достану путевку раньше, ага, а он мне сызнова свое! — во весь голос, будто они были тут вдвоем, говорил мужчина, а девица неловко и блаженно смеялась, не прерывая счета. Сыромуков сиротливо следил, как постепенно росла и росла на подоконнике сберкассы стопка разноцветных замусоленных бумажек, и было непонятно, что источало противно-сытый припах ворвани — то ли руки мужчины с глянцевито-мазутными каемками под ногтями пальцев, то ли его кепочка, то ли деньги. Свои три новые пятидесятки он подал в окошко независимым жестом состоятельного человека, который

знает по опыту, что на курортах удобнее оставлять при себе побольше мелких, а не крупных денег, так как в этом случае высвобождается драгоценное время при различных там мелочных тратах. По-видимому, операторша сберкассы разделяла это правило солидных людей, потому что, заполнив книжку, пожелала вкладчику всего хорошего.

В столовой уже схлынул активный эшелон обедающих, и за столами разреженно сидели припоздавшие. Еще от дверей Сыромуков увидел и узнал метательницу колец — она занимала место у третьего стола самого уютного приоконного ряда, и в силу того необъяснимого закона, по которому Сыромукову при любом дележе всегда доставалось наиболее нежелательное, он разоренно подумал, что его непременно определят за этот стол. Он сдал свой прикрепительный талон диетсестре, и она указала ему третий стол у окна и назвала номер салфетки — тоже третий. Сыромуков покорно поблагодарил. На метательнице колец была все та же белая фуражечка и синий тренинг. Она сидела по-мужски, завалясь на спинку стула, широко и вольно расставив ноги. Сыромуков с поклоном поздоровался и сел на свое место.

— Новый?

— Простите? — сказал Сыромуков, хотя вопрос расслышал.

— Откудова?

— Я из Прибалтики. А вы?

— Из Риги, что ль?

— Нет, — сказал Сыромуков и назвал город.

— А-а!

По тону это походило на «нелегкая вас носит сюда»! Сыромуков взял со стола свою салфетку и, умышленно критически осмотрев ее, бросил на место — это должно было означать, что салфетка могла быть свежее. Такой, к каким он привык к Прибалтике, черт возьми! Соседка не обратила внимания на этот его жест, которым он надеялся создать для себя силовое поле защиты, и вызов не достиг цели. Тогда Сыромуков подумал, что он просто-напросто теряет чувство юмора, что тут надо быть снисходительней и терпеливей.

— Вы, наверно, давно уже здесь? — дружелюбно предположил он.

— Сколько мне надо.

— Извините, — четко сказал Сыромуков. К столу, толкая впереди себя двухэтажную тележку, заставленную тарелками, подошла официантка. Она заморенно осведомилась у женщины, что та заказывала на обед, а перед Сыромуковым поставила вегетарианский суп, котлеты и компот.

— А завтра уже по заказу будете,— сказала она ему.— Завтрак у нас начинается...

— Погоди, это ты подавала мне утром?— перебила метательница. Официантка спрятала руки под передник и повинно призналась:

— Да. Что-нибудь не так?

— А почему ж я тебя не узнала? Ты похожа на эту нашу вторую, как ее...

— На Клаву? Нет, Клава же блондинка. А я Вера.

Она успокоенно и коротко вздохнула, а Сыромуков в упор взглянул на свою соседку. У нее были черные стоячие глаза и крепкое дубленое лицо монгольского типа. Она сидела в прежней бесконтрольной позе, и Сыромуков почувствовал, как в нем снова зарождается и нарастает смутная неприязнь к этой женщине, по всей вероятности его ровеснице. Кто она? Буфетчица? Кассирша универмага? Или просто чья-то жена? Впрочем, судя по управлению моторикой своей речи, она скорей всего какая-нибудь начальница на небольшом пространстве — заведующая, например, пошивочной мастерской или дамской парикмахерской. Этакая торжествующая саламандра, подумал он, и в это время соседка басом объявила официантке Вере, что на первое у нее заказаны щи с яйцами. Сыромуков откусил большую долю хлеба и наклонился над тарелкой. Ему удалось скрыть лицо, но полностью подавить приступ шального смеха он не смог. Корчась и вздрагивая, он все ниже и ниже склонялся к столу, и все могло кончиться непристойным прысканьем, если бы метательница не спросила подозрительно, что с ним.

— Зуб, — задушенно сказал Сыромуков. — Извините ради бога.

Ему едва ли поверили, потому что сочувствия не последовало.

В вестибюле Сыромукова караулила малютка, и по тому, как она чопорно двинулась к нему навстречу, бли-

зоруко щурясь и странно неся впереди себя опущенные руки, он понял, что ее с самого утра угнетает сознание невозвращенного долга. Сейчас отдаст два рубля, подумал Сыромуков, и отсчитывать ей тут полтинник сдачи будет немыслимо — оскорбится. Он сострадательно заметил, что ей трудно держать так, впереди себя, руки, что каблуки ее кукольных лакированных туфель непомерно высоки и неустойчивы, а гофрированная юбка чересчур и умышленно коротка: икры ног у малышки были красиво выпуклы и упруги. Она вышагивала серьезно и строго, глядя поверх головы Сыромукова, и он еще издали преувеличенно дружески спросил, как ее дела.

— Благодарю вас, у меня все хорошо, — важно сказала она и, подойдя, протянула два рубля, сложенные вчетверо,— хранила в кулачке.— Спасибо, что выручили. Я во время завтрака искала вас, но не нашла.

— Да ведь не к спеху, — возразил Сыромуков. Рубли были теплые и волглые, и он поспешно сунул их в карман. — Сдачи не ждите. Засчитано в проценты.

— Ладно, наживайтесь,— произнесла она низким детским голосом и улыбнулась коротко и мелко, скрывая попорченные зубы. Сыромукову захотелось сказать ей что-нибудь ободряющее, чтобы это прозвучало шутливо и утешительно, а не отечески-снисходительно, но ничего такого не придумалось. Она осторожно и чинно ступала рядом с ним по скользкому паркету, набираясь решимости для какого-то нужного, видать, для нее вопроса, и он вспомнил, что отрекомендовался ей художником. Сейчас она признается, что тоже художница, решил он. Да и почему бы ей не писать? Акварельки, например? Идти рядом с ней было неудобно — приходилось ступать семеняще, подлаживаясь под ее шаги, и жило опасение, что она вот-вот поскользнется. Беспокоил и ее серебряный цилиндрик, надетый высоко и прямо и непонятно каким чудом державшийся на голове: его непременно надо будет подхватить рукой, если малышка вздумает взглянуть на собеседника.

— Скажите, а вы тоже москвич? — минорно спросила она в пространство, глядя перед собой, и, когда Сыромуков ответил отрицательно, почти торжественно заявила: — Я так и подумала, что вы нерусский!

— Да нет, я коренной кацап: только живу в Прибалтике, — сказал Сыромуков. Девушка исподволь по-

смотрела на него, и Сыромуков почувствовал себя так, словно отказал бедняку в помощи. Она, вероятно, читала или знала понаслышке, что прибалты отличаются высокой степенью уважения к женщине, что им свойственна субтильность в обхождении и они скорее извинят ей хромоту, чем вывих души. «Это, конечно, что-нибудь да значит для особы с комплексом физической неполноценности, не лгать же мне, что я латыш или литовец»,— подумал Сыромуков. Сам он тоже не шибко обожал москвичей — те обычно попадались ему нагловато- уверенные от суетного сознания своей столичности и решительно все на свете знающие и не умеющие слушать собеседника. Это в них раздражало, но личной обиды не причиняло. Здесь же, по всей видимости, был особый, немного грустный и комичный случай, как в старинной притче о старухе, которая всю жизнь обижалась на Новгород, а он и не знал об этом.

Они вышли на волю. Сыромуков надел берет — с гор подувал сухой теплый ветер, грозивший разорить его начес. Малютка тоже накинула на плечики шелковую косынку и стала еще приземистей. Она спросила, в какой стороне «Седло», и Сыромуков показал.

— А «Красное солнышко»?

— Вон там. Хотите пройти?

— Нет, я ведь здесь впервые, — сиротски ответила она. Сыромуков неуверенно сказал, что может составить ей компанию. Она распевно поблагодарила. Было жарко. Асфальт терренкура, ведшего в горы, размяк под солнцем, и каблуки туфель спутницы увязали в гудроне. Ее следовало взять под руку, но Сыромуков не решился на это, так как плечо малютки, рассчитал он, окажется тогда прямо у него под локтем и придется идти перекосясь. Наверно, со стороны они выглядели карикатурной парой, так как все обгонявшие их курортники, шедшие в одиночку или группами, любопытно оглядывались на них, а встречные, сходясь с ними, замедляли шаги и даже приостанавливались. Сыромуков, не желая того сам, все дальше и дальше отстранялся от спутницы, примеривая, за кого она сходит при нем на взгляд этих людей,— конечно же, не за дочку! Выручило его сердце. Когда он вскинул к голове руки и стал глотать воздух, малютка вскрикнула, но он взглядом приказал ей замолчать и помочь ему дойти до скамейки у поворота терренкура. Она торкнулась к нему под

мышку, и они пошли, мешая ступать друг другу, и тоскливый страх, как всегда захлестнувший сознание Сыромукова, все же позволил ему удивленно отметить, что его поводырь крепко устойчив и женственно гибок. На скамейке — и опять с зверушачьей понятливостью — малютка догадалась по взгляду Сыромукова, что нужно достать из его внутреннего кармана лекарство, и сначала ей попались соловьи, а потом только стеклянная гильза с нитроглицерином.

— Ну вот и все,— немного погодя сказал Сыромуков.— Сейчас двинемся дальше.

— Никуда мы не двинемся. Это совсем глупо! — сказала малютка.

— Что глупо? — не понял Сыромуков.

— То, что вы пошли в гору с больным сердцем.

— А оно не верит в это. И вообще оно у меня не больное,— сказал Сыромуков. Ему было теперь покойно, ото всего свободно и просто.— Как вас величают? — спросил он.

— Лара Георгиевна Пекарская. А ва-ас?

Он назвался.

— Ну и зачем вы пошли?

— Так мне вздумалось, Лара Георгиевна.

— Пожалели меня?

— Не понял вас, — солгал Сыромуков.

— Не лукавьте.

— В мои годы лукавить с девушками грешно. Хотите, подарю вам соловья? В него надо залить воду и подуть вот сюда. Тогда он начинает петь.

— Да-а? Спасибо. А вам не жалко будет?

— Нет, Денису хватит одного.

— А кто это?

— Мой сын.

— Он маленький?

— Ростом? С меня.

— Денис,— протяжно произнесла она.— Слишком старинное имя выбрали вы своему сыну. Это, наверно, ваш художественный поклон исконной России издали, да?

— Может быть,— неохотно сказал Сыромуков.— Так звали одного сказочного старика в селе, где я родился... Между прочим, сам я архитектор, а не художник.

— А что вы строите?

— Крупнопанельные коробки. Я работаю на опорно-показательном домостроительном комбинате.

Он тут же пожалел, что не смог сладить с ноткой жалобы, которая пробилась в его голосе. Малютка пытливо посмотрела на него и как бы утешающе сказала:

— Но в вашей работе тоже ведь должны проявляться лучше свойства человеческой души. Я имею в виду широту мысли, смелость, пафос.

— Конечно, — осторожно согласился Сыромуков. Было небезопасно слышать от нее такие монументальные слова — маленькие всегда бывают помешаны на грандиозном, и это делает их смешными.

— Тогда почему же вы как будто недовольны своей профессией?

— Не профессией. Собой,— досадливо получилось у Сыромукова.— О таких, как я, говорят обычно, что они всюду совались, а нет нигде...

— Это печально. Но такому человеку может мешать лишь единственное — он, очевидно, обнаруживает претензии, чуждые его специальному назначению, а это называется витать в облаках.

— И только?— оторопело спросил Сыромуков.

— Нет. В ином, лучшем для него, случае ему, значит, не хватает энергии и бойцовских качеств.

— Очень, простите, книжно,— сухо сказал Сыромуков.

— Вы не признаете за книгами мудрости?

— Смотря за какими. За современной беллетристикой нет.

— Любопытно, почему?

— Трудно ответить. Возможно, дело в том, что большинство нынешних писателей представляются мне чересчур резвыми и здоровыми, извините, мужиками, и поэтому чужая человеческая жизнь в их сочинениях похожа не на кардиограмму сердца, а на прямой вороненый штык.

— Не понимаю, при чем тут физическое состояние автора той или иной книги,— сдержанно возразила малютка. — Речь может идти только о степени его талантливости. Вы не согласны со мной?

— Не берусь спорить. Тем более, что сейчас, насколько я могу судить, во всем мире охотно читаются

только те книги, которые противоречат жизненной правде, — сказал Сыромуков.

Лара Георгиевна натяжно подумала и несмело заметила, что жизненная правда временами кажется слишком грубой, и читатель, естественно, тянется к красивой сказке, к возвышающему его обману. Что же в этом плохого? Сыромуков молча повозился на скамейке. Он только что убедился в полном забвении имени собеседницы и теперь не знал, как быть. Не представляться же друг другу снова? Да и на кой черт, решил он и достал сигарету.

— Вам же, наверно, вредно курить, Родион Богданович,— сказала Лара Георгиевна, и Сыромуков немного помедлил со спичкой — ему вдруг захотелось, чтобы у него взяли и отобрали сигарету. По каким-то потайным тропам к нему неизвестно почему прихлынула живая, как боль, тоска по Денису, и он подумал, что не вынесет тут месяца без него. Да и зачем это надо? Он докурил сигарету и, будто вспомнив о чем-то важном и неотложном, предложил спутнице вернуться в санаторий.

Домой манило с такой силой, словно все там горело и гибло. Так всегда бывало в первые дни, куда бы Сыромуков ни уезжал надолго, и он знал, что если возвратиться досрочно, то дома наступит тягостная тоска по неизжитому и оставленному на стороне. Эта несчастная привычка к самогонимости оставалась в нем с детства. Тогда он частенько убегал из школы домой, а найдя все прежнее в хате, стремился очутиться в ином месте — мать не могла объяснить ему, что значили слова «чужак» и «подкрапивник», которыми обзывали его не только ровесники в школе, но и взрослые на селе, и только советовала обходить злых людей стороной. Особенно трудно жилось веснами. В эту пору скрыться от людей было почти некуда, а в хате не сиделось, потому что тогда становилось почему-то всего-всего жалко, что оставалось без тебя поодаль: чибисок на лугу в низине и спящих грачинят в пегой березовой роще на бугре, одинокого серебряного ветряка в поле за выгоном и сизой кудлатой ракиты в овраге над речкой; и надо было побыть возле церкви, где заезжие с чужой стороны — и потому хорошие люди — устанавливали карусе-

ли к празднику, и хотелось в то же время увидеть свое отражение в гулко-погибельной глубине колодезя, и быть еще там и там, но раз ты будешь там, то тебя не окажется тут, и с этим невозможно было смириться. Позже, в студенческие годы, бега-погони к «ветрякам-лугам-ракитам» прекратились сами собой — этого просто не стало рядом, но вместо них явилось новое — еще не изведанная даль. Ему казалось, что не только за горизонтом, но в любом соседнем квартале люди живут в какой-то загадочной любви и радости друг к другу, и его непреодолимо влекло туда. Жить и учиться с такой непоседливостью становилось все трудней и трудней, это перерастало в недуг, и тогда ему попалась повесть Стефана Цвейга о гонимом человеке. Устрашась, что он тоже может стать амоком — ну пусть не совсем, а лишь наполовину, — он напряг всю свою волю, чтобы оставаться там, где был. Помогла ему в то время и вычитанная где-то французская пословица, что если нельзя иметь того, что любишь, то надобно любить то, что имеешь, а вскоре разразилась война, потом наступил мир, и со временем опасение завязки в нем чудной и жуткой болезни полностью забылось, но недавно он открыл, что в минувшую зиму Денис не раз и не два заявлялся домой в большие перемены, — «забывал ребенок учебники, — сказала бабуся, — а ей наказывал, чтобы не проговорилась отцу. Ну она и... молчала. Какая ж тут оказия?» Он, наверно, успевал к началу следующего урока, так как школа находилась рядом, но дело заключалось не в этом, а в том, что Денис, стало быть, бегал по его «тропинкам». Если даже не считать это в мальчике родовым пороком, все равно ему грозила большая беда впоследствии — отторженность от людей, а от них прячутся обычно по двум причинам: когда ты стыдишься себя или когда убежден, что ты лучший среди равных. Как правило, ко второму выводу приходят от первого, иначе такому беглецу не за что будет держаться в жизни, и тогда он становится изгоем. А в одиночестве человек неизбежно приходит к ожесточенному убеждению, что отречение от обиходных коллективных правил требует от индивида мужества и моральной красоты, что опустошенность не что иное, как одна из стадий нравственного развития, и что настоящий мужчина должен идти против течения. Рыцарски? Еще бы! Но с высоты своих злых и горьких лет Сыромуков не мог

пожелать всего этого Денису, ибо за всем этим непременно будет скрываться его полнейшая беспомощность в практических делах. Было очевидно, что Дениса что-то угнетало в нем самом или же он подвергался насмешкам и оскорблениям в школе. Но каким и за что? За инфантильность? За то, что он застенчив и робок? Что его бросила мать? Все может быть. Расспрашивать об этом сына в упор Сыромуков не решился, это значило бы увеличить в его глазах значение того, что заставляло мальчика страдать втихомолку, и Сыромуков ограничился внушением ему ветхой истины, что все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Под этим подразумевалась необходимость воспитания в себе силы воли, самоотверженности и мужества, но Денису надо было еще как-то помочь создать новые связи с ровесниками, научить его преображать в дружбу свои повседневные отношения с ними. Но как помочь? Чем? Примеры из личного жизненного опыта здесь не годились — пришлось бы лгать, потому что не то было время и не те требования предъявляло оно своим ровесникам, а Сыромуков хотел, чтобы в Денисе уживались такие разнородные достоинства, как независимость и чуткость, убежденность и склонность к сомнениям, упорство и нежность, правдивость и деликатность, непримиримость и милосердие. Да мало ли! Возможно, что все так и сбудется — время само поможет потом Денису, а сейчас нельзя поощрять его к легкомысленности и нетерпению сердца, нельзя возвращаться до истечения срока путевки, хотя домой манило так, будто все там проваливалось в тартарары...

Когда Сыромукову приходилось отказываться от своей мечты, он становился беспомощным и сам себе жалким. Тогда в его мозгу начинала назойливо звучать какая-то похоронно-баюкающая мелодия под бессмысленные и немые слова: туторки-муторки, туторки-матуторки. Под эту мелодию надо было ходить взад и вперед на небольшом пространстве, равном комнатному, и напев в конце концов забывался, вытесненный какой-нибудь грезой или воспоминанием. В вестибюле санатория было слишком просторно и пустынно: длились послеобеденные тихие часы, и Сыромуков вспомнил о гроте и пошел в город, но точильщика там не было...

Он поужинал в том же самом кафе — хотелось, чтобы вечер дня хоть чем-нибудь был похож на утро.

В широкой новой пижаме Яночкин навзничь лежал в своей постели, благостный и смиренно ясный, ожидающий чего-то радостного для себя. Затененный абажуром свет ночника на его тумбочке лампадно озарял палату, храня в углах покойный полумрак. Сыромуков бесшумно запер за собой дверь и полушепотом поприветствовал Яночкина с добрым вечером.

— Управился?— исповедующе спросил его тот.

— Прожил день,— меланхолично сказал Сыромуков.

— И как? Успешно?

— В общем, благополучно. А как вы?

— Видел тебя днем. Ви-идел, брат! Думаешь, не коротковата для твоего роста? Она ж тебе до пупка!

Яночкин смеялся дробным горошковым рассыпом, и было неприятно видеть, как противоестественно сладко жмурились у него глаза. Сыромуков без укора сказал ему, что он, оказывается, озорник, и стал раздеваться. Вообще-то все было в норме — повод к этим неожиданным вечерним пошлостям подал Яночкину он сам, когда говорил ему утром о шестой ванне.

— Что слышно, Павел Петрович, на нашем лечебном фронте?— немного неприязненно спросил он, распяливая пиджак на вешалке,— у них еще было время расставить себя по своим местам. Яночкин, подождав, ответил, что принесли квитки на завтрашний врачебный прием и посуду под анализы.

— Я уже заполнил свою,— сообщил он. Сыромуков сдержанно сказал: «На здоровье»— и пошел в ванную, но теплой воды не было, и красный кран фыркал всухую. Яночкин не знал, когда она кончилась. Он по-прежнему блаженно лежал в своей большой курортной кровати, сине блестя разгулявшимися детскими глазами, и Сыромукову почему-то уютно подумалось, что этому человеку, вероятно, никогда не грозила какая-нибудь серьезная опасность в жизни и что он, слава богу, до сих пор, как видно, не помышляет о смерти.

— Хорошо жить, правда, Петрович? — страстно сказал Сыромуков. Яночкин ответил, что в последнее время он почти каждый год ездит на курорты, но здесь впервые. Надо сначала оглядеться, а потом решать, хорошо тут или плохо.

— Да, конечно, — кивнул Сыромуков. Он достал из тумбочки одеколон и смочил лицо.

— Слушай, Богданыч,— позвал Яночкин, повернувшись набок,— я вот все ломаю и ломаю голову, кто ты будешь по занятию.

— И что, определили? — без интереса спросил Сыромуков.

— Сейчас скажу... Ты скорей всего спортсмен. Или артист. Угадал?

— Нет,— сухо ответил Сыромуков.— Я, к сожалению, всего-навсего так называемый зодчий. Так что, как говорится в миру, кесарю — кесарево, а слесарю —слесарево.

— А-а?

— В том-то и дело. Будем спать?

— Как хочешь... Рановато вроде,— неопределенно сказал Яночкин. Он, повозясь, потушил лампу, и тогда Сыромуков подсунул под свою подушку валидол и нитроглицерин. В наступившем сумраке стало как будто бы прохладней, и казалось, что расстояние между кроватями увеличилось вдвое. Окна приходились в ногах кроватей. Они остались незашторенными, и через их верхушки были видны большие надгорные звезды с густыми и резкими пучками лучей. Яночкин пару раз протяжно вздохнул, и Сыромуков, спохватясь, пожелал ему спокойной ночи.

— Не спишь?— подал голос Яночкин.

— Собираюсь,— сказал Сыромуков.

— А отчего ж луна не сохранила свою атмосферу?

— Да ведь неизвестно, была ли она там?

— Ну, а если перебросить туда излишки кислорода от нас?

— В баллонах?

— А как угодно, об этом пускай ученые думают.

— И воду тоже?

— Нет. Раз там будет воздух, то появятся тучи, пойдут дожди и накопится вода!

— В самом деле?— удивился Сыромуков.— А зачем это нужно?

— Чтоб американцев опередить. Тут, брат, вопрос политики. Надо глядеть вперед, понял?

— Не совсем,— мягко сказал Сыромуков,— я, Петрович, житель Земли, и поэтому меня в первую очередь интересуют местные, а не космические проблемы. Политика же — штука деликатная, и заниматься ею поголовно всем нельзя.

— Это почему?

— Потому что она способна помешать простому человеку делать то, что он должен делать. Я хочу сказать, что кому-то надо уметь шить штаны, рыть уголь, понимаете?

Яночкин скучно заметил, что это неправильное рассуждение, и замолк.

Оттого, что засыпать стало с некоторых пор опасно и трудно из-за внезапных тогда и не поддающихся словесному объяснению взрывов ужаса в теле, Сыромуков приучил разум уводить себя на безоглядно далекие прогулки в прошлое. Для этого лучше всего подходило детство с одним и тем же, не то выдуманным, не то существовавшим когда-то в самом деле громадным розово-сияющим летним днем, и несмотря на то, что все в нем уже было изжито и исхожено, все равно в него надо и надо было идти снова: тогда с сердцем ничего не случалось и сон наступал незаметно. Такие путешествия надлежало совершать с закрытыми глазами — в темноте больше почему-то виделось, и надо было держать левую руку на груди, а правую под головой, над тем местом подушки, где обычно лежало лекарство. Он был давно уже в дороге, и память его уже туманилась, скользя к грани забытья, когда Яночкин клекотно поперхнулся и дыхание его оборвалось. Сыромуков открыл глаза и прислушался к тому, как по-мертвому тягостно цепенеет тишина у кровати Яночкина и как бурно колотится у него самого сердце, справляясь с внезапностью яви. Имя и фамилию Яночкина он забыл, упомнив лишь отчество, но окликать так окороченно человека, который, возможно, умер, казалось кощунственным.

— Яков Петрович! Алло! — позвал Сыромуков. Яночкин шумно выдохнул ртом воздух, но не проснулся. Он, оказывается, был храпуном — не мирным, не носовым, а глубинно горловым, когда спазматически прерывистое дыхание спящего напоминает хрипение удавленника. Сыромуков некоторое время отдыхающе лежал, глядя на синий квадрат окна. Яночкин спал, и было безнадежно ясно, что никакое усилие воли не поможет «не слышать» его тяжелый храп. Звезды за окнами зрели и лучились. Изредка они срывались и неслись по

небу, прочерчивая мгновенно гаснущие огненные полосы. Сыромуков попытался удивиться грандиозности световых тысячелетий, прошедших с момента гибели этих звезд, но Яночкин снова затих, захлебнувшись, и надо было напряженно ждать и надеяться, что дыхание у него возобновится. Чтобы облегчить гнет таких пауз, Сыромуков сам начинал дышать глубоко и редко, сознавая в беспомощной отчаянности, как растет в нем невольная мстительная враждебность к сожителю. Паузы неизменно сменялись благополучно-прорывным всхрапом, и тогда возмездно хотелось верить, что Яночкин храпит лишь потому, что с вечера не проникся мыслью об ответственности своего поведения во сне — его ведь занимала идея переброски воздуха на Луну, и поэтому в подсознание не поступило никакого предупреждающего сигнала! Старый чубук!.. Вообще храпу подвержены чаще всего эгоисты с безмятежной судьбой и не растраченным здоровьем. Они храпят от телесного удовольствия, а не оттого, что им снятся кошмары... Кстати, у него какие-то поддельные глаза. Слишком наивно тихие и в то же время внимательные, как у снайпера... Его все же надо, наверно, разбудить. Вежливо, конечно. Мол, повернитесь на бочок... И минуту спустя он захрапит с новой силой. Что тогда? Еще раз растолкать? Дескать, извольте теперь лечь на спинку?! Если бы он был моложе. Или хотя бы ровесником. Тогда все было бы проще. Какого, мол, дьявола! Веди себя прилично! А сейчас... Даже имя его запамятовалось, и «Якова» он воспримет за насмешку или пренебрежение... Собственно, а в чем дело? Ну и пусть себе захлебывается! Чем ему это грозит!.. То есть как чем? Он же не дышит, поди, по четыре минуты! С ума можно сойти!..

Сыромуков свесил руку и нащупал возле кровати свой башмак — легкий, поношенный, с металлическим косячком на каблуке. На пятом хлопке им по паркету Яночкин обрел дыхание и заворочался, сладко почмокав языком. Он посапывал теперь спокойно и ровно, а Сыромуков, высоко полулежа на подушке, бессмысленно смотрел на звезды и ждал его храпа. Спать не хотелось — веки не смежались, ломило в затылке, ныло сердце. Наконец Яночкин захрапел, и Сыромуков с злобной радостью подумал о себе, что, в сущности, он невропатическое ничтожество, лишенное всяческой способности к защи-

те, и что Дениса ожидает в жизни то же самое: он никогда не сможет ответить хаму, шельме или дураку его же оружием — нахальством, притворством или угрозой! Ни силы, ни решимости! Что в этом ценного? Кому такое нужно?

— А какой это болван решил, что мы не нужны жизни?— нечаянно громко и властно сказал Сыромуков.— Почему же тогда ты, ты, а не кто-то другой командовал партизанским отрядом? Почему? Ну?

Он агрессивно посмотрел в сторону Яночкина — там затих храп, и вдруг вспомнил имя его и фамилию. Яночкин приглушенно кашлянул, неслышно выпростался из-под одеяла и ныряющей походкой повлекся в туалет. То, что он не зажег ночник на своей тумбочке и не надел шлепанцы, что дверь в туалетную комнату отворил и прикрыл не рывком, а медлительным потягом, что, укрывшись за ней, долго и тихонько чюрюкал в унитаз, устыжающе подействовало на Сыромукова, — этот его «Яков», оказывается, был доступен чувству жертвенности и альтруизма.

«Вот так!»— мысленно сказал Сыромуков и подумал, что, наверно, невозможно ожесточаться против кого бы то ни было без раздражения самим собой. Да-да! Хочешь жить в ладу с собой, будь ласковей с другими. Ну хотя бы мягче, черт бы их побрал!.. Это же неверно, будто храпят одни лишь эгоисты и здоровяки. Разве не может человек страдать какой-нибудь хронической болезнью носоглотки? Мало ли!..

Яночкин вернулся и лег так же крадучись и неслышно, и это увеличило у Сыромукова дозу доверчивости к нему, породившую надежду заснуть одновременно с ним,— надо было, только не мешкая и не отвлекаясь ничем побочным — звездами тоже,— отправиться в путь, в свое детство. Да-да... «Помнишь, с чего начался т о т день?— с каким-то счастливым полетным устремлением спросил себя Сыромуков.— Он начался с запаха меда от оранжевых чашек тыквенных пустоцветов. В них занято возились и туго гудели шмели, а подсолнухи стояли лицами в ту сторону, откуда приплывали изнурительно торжественные колокольные звоны, и на них сокровенно чисто и сладко сияла роса... На тебе тогда была новая розовая рубаха — мать сшила из своей кофточки, и ты хотел сделать дудку из стебля тыквенного листа, но каждый из них хранил в своем углублении

выпукло круглую росяную каплю, отражавшую небо, колокольный звон, подсолнухи, тебя самого с ножиком в руках, лупастого и розового... Ты тогда не перенес бремени восторга от этого сияющего утра, обнял подсолнух и заревел в голос, а когда тебя отыскала мать, ты солгал ей, оклеветав шмеля... Шмеля... В школе потом ты выучил стихотворение про него. Он был черный, бархатный, с золотым оплечьем... Осенью он заснул на красной подушке увядшего татарника, а угрюмый ветер сдул его в бурьян... Золотого, сухого шмеля...»

Несмотря на то, что утро выдалось совершенным повторением вчерашнего утра — тот же натужно-призывный голубиный стон на карнавале под окном, такое же высокое синее небо и та же четкая близость Эльбруса,— Сыромуков, однако, встретил этот свой новый курортный день с подавленным и мрачным настроением. Было досадно и муторно от своих вчерашних побегов к гроту и в кафе, от того, как сдавал в сберкассе свои несчастные крупные купюры, от ребячливого подарка глиняного соловья той коротышной девице. Все это представлялось теперь каким-то мусорным вздором, а не достойным поведением безнадежно больного и пожилого — да, старого, давно уже старого! — человека, и здешняя погода казалась тоже несерьезной по времени года — она тут случайная, микрорайонная, а не природно законная, как везде!

Шел уже девятый час, когда он встал с кровати. Яночкин отсутствовал. Постель его была заправлена по-девичьи аккуратно и легкомысленно: с двусторонней складкой на покрывале и стоймя уложенной подушкой, вызывающей зудливое желание повалить ее и смять. Настроение окончательно испортили посудинки с экскрементами Яночкина, заботливо выставленные в туалетной комнате, прямо перед унитазом. Проделывать то же самое не только было противно, но казалось непристойным, и Сыромуков решил, что обойдется так, без анализов. Он находился в той полосе духовного самочувствия, когда с безоглядным упрямством хочется поступать наперекор самому себе, и поэтому надел тренинг, а ноги сунул в лосиные полутуфли-полутапочки, вполне годные, как он злорадно отметил, для покойника. Было заманчиво заявиться в таком костюме в сто-

ловую — чем он лучше или хуже других! — но есть не хотелось: садиться за стол с живым впечатлением от усердия Яночкина в заботе о своем здоровье представлялось так же немыслимым, как закуривать, например, вблизи трубы действующего крематория.

На прием к врачу Сыромуков пошел на полчаса раньше назначенного срока, но у дверей кабинета уже скопилась мужская очередь, и он оказался восьмым. Это был пожилой и солидный народ с медалями и орденами, давно и бесповоротно, видать, уверовавший в уникальность своего застарелого недуга, что и позволяло каждому тут держаться с затаенным превосходством над соседом по очереди. Отправлявшийся в кабинет врача оставался там возмутительно долго, но, несмотря на это, среди ожидающих не было и намека на взаимное отчуждение или ропот. Сыромуков как притулился на стуле возле колонны, так и не шелохнулся там на протяжении полутора часов, — была какая-то расслабленная оцепенелость в теле и была смутная мешанина то смиренных, то непреклонных мыслей о тщете человеческой в смешном и жалком старании удержаться хотя бы за край жизни, когда она, грохочущая и вечно юная, уносится прочь... Ему уже хотелось есть, и он тоскующе подумал, как хорошо было жить весь вчерашний день и что сегодня можно будет снова сходить в кафе и выпить немного коньяку, рюмки две, в последний тут раз...

Врач, молодая женщина кавказского типа, сидела за столом, выложив на него руки, и смотрела в окно. Рот ее был полураскрыт, как у цыпленка в жару, и когда Сыромуков вошел и поздоровался, она насильным усталым движением убрала со стола руки, но сама еще несколько секунд продолжала следить за чем-то не то в горах, не то в небе.

— Вы, наверно, устали. Я могу прийти завтра,— сказал от дверей Сыромуков, успев подумать, что сам он ни при каких обстоятельствах не смог бы, будучи врачом, осматривать больных старух. По-видимому, врач превратно истолковала его сочувствие к себе, восприняв это за проявление недовольства оказанным приемом,— Сыромуков заметил, как в короткой страдальческой гримасе поджались у нее губы.

— Проходите и садитесь. Как ваша фамилия? — деловито спросила она. Сыромуков сказал. Они встрети-

лись взглядами, и он попытался улыбнуться в надежде вызвать к себе ее доверие. Глаза у нее были странные, редко попадающиеся — орехово-золотые и продолговатые, и когда Сыромуков извиняюще и беспомощно улыбнулся, в них отразилось недоумение пополам с тревогой. Чтобы погасить в себе нарастающее желание отпора, — «она, вероятно, считает меня тихим психом», — Сыромуков летуче подумал, что ей совсем не мудрено самой тут спятить, и опять улыбнулся конфузливо и виновато.

— На что жалуетесь? — недоступно спросила врач.

— Ни на что, доктор, — сказал Сыромуков. — Назначьте мне, пожалуйста, нарзанные ванны и циркулярный душ. Исследовать меня не обязательно.

— Даже так! А почему именно циркулярный душ? Вы лечились когда-нибудь физиотерапией?

— Нет, не лечился.

— Сколько вам лет?

— Пятьдесят! — с невольным вызовом ответил Сыромуков. Грузинка посмотрела в его курортную карту.

— Сорок восемь ведь? — полувопросительно сказала она.

— Какая разница!

— Раздевайтесь, товарищ Сыромякин. Вот там,— показала она на белую вешалку возле кушетки. Он подумал, что она умышленно исказила его фамилию, и когда стащил через голову тренинговую куртку, а затем и майку, когда увидел себя со стороны с дико всклокоченными волосами и оголившейся плешью, с запавшим плоским животом, конусно поросшим жесткой прямой щетиной, начинающей седеть, то не только не обиделся, но сам проникся к себе чувством отвращения и стыда. Под мысль «ну и черт со мной» он так добросовестно дышал и не дышал по приказанию врача, что голова начала туманно кружиться и была опасность не устоять на ногах. Осмотр затягивался. Надо было ложиться, вставать, упирать руки в бока и по-физзарядному, избегая глаз врача, приседать и выпрямляться, снова ложиться и опять вставать, и за все это время сердце ни разу не споткнулось и не подпрыгнуло, будто грузинка подменила его тут раз и навсегда. Сыромукову было противно ощущать и переносить едко-кислый запах собственного пота, выступившего в поросли живота, и казалось неве-

роятным и противоестественным, чтобы эта красивая молодая женщина в элегантном тугом халате, пахнущем прохладной фиалковой чистотой, не испытывала к нему брезгливого отвращения.

Она долго заполняла «историю» его болезни. Писала она старенькой китайской ручкой, протекающей над пером, и поэтому указательный палец грациозно грозяще держала на отлете. Она не назначила ему ни нарзанных ванн, ни душа. Она сказала, что «все выяснится» после электрокардиограммы, рентгена и анализа крови, и Сыромуков не стал спрашивать, что должно выясниться.

Тут рухнула его надежда на постороннюю деликатную помощь в расселении с храпящим сожителем — Сыромуков был убежден, что грузинка отнесется к его просьбе как к привередливому капризу, поскольку он уже требовал назначения себе водных процедур без врачебного осмотра. Он вышел из кабинета с безрадостным самоутешением, что Яночкин храпит не умышленно и что с этим надо примириться до конца.

В палате было по-летнему знойно, хотя на раскрытых окнах полоскались и парусели белые шелковые шторы, за ними тек по-вчерашнему роскошный пестрый день, и из него доносились чьи-то голоса и смех, и где-то внизу, в городе, звучала музыка. Сыромуков снял с себя тренинг, умышленно взлохматив голову, и подошел к зеркалу. Оттуда на него надвинулся юношески стройный, но лысеющий тип с взыскующим взглядом полинявших глаз, в углах которых скопились гнусные беловатые сгустки, черт знает откуда там взявшиеся.

— Одёр,— тихо и горько сказал Сыромуков.— Одёр...

Он не увидел в своем отражении ни достоинства, ни уверенности, и ему захотелось еще раз, как бы уже посторонне, поприсутствовать на своем позоре там, в кабинете врача, но больше трех раз присесть и встать перед зеркалом он не смог,— до такой степени это выглядело отталкивающе и непереносимо. Были остры и жалки четко выпятившиеся кости ключиц, почти ребячья тонкая шея с кукишем адамова яблока, смуглые бородавки сосцов на неразвитой груди, удлиненный запалый живот в какой-то козлиной шерсти конусом. Всему этому никак не соответствовало настороженное выражение

глаз, так как серьезность их в такой ситуации была до комичности смешной.

— Пшел вон! — вчуже от себя сказал он в зеркало, и в это время в палату без стука вошла уборщица. Она заботливо спросила, «чи это он не пописал и не покакал для анализов», и Сыромуков, загородив руками живот, трагически кивнул.

— Что ж так?

— Это мне не нужно,— тоже на полушепоте, в тон ей ответил Сыромуков.

— Та мене ж ругають за то, милой! Я ж и санитарки должность сполняю тут, чуешь?

Сыромуков беспомощно пообещал сделать все завтра утром, и хохлушка ласково сказала: «Ну то добречко». После ее ухода он принял душ, и когда одевался, то в примирение с собой отметил, как долго все-таки служат ему носильные вещи — майки, рубашки, костюмы и даже ботинки. Лет по пять служат, и дело тут, конечно, не в аккуратности бедности, а в более достойной причине, как, например, легкость походки. Ему хотелось, чтобы это было именно так, а не иначе, и он подумал, что в войну на фронте в первую очередь погибали увальни, неряхи и растрепы. Поди объясни теперь кому-нибудь, почему так получалось, но он знал, как часто спасало его в бою сознание своей щегольской подтянутости и выправки, — это когда он помнил, а он ни при каких обстоятельствах не забывал о том, что на нем отлично сидят гимнастерка, брюки и шинель, в нарушение устава перешитые взводным солдатом-портным, что на ногах у него туго урезанные по икре сапоги, и что он ладно затянут новой скрипящей и пахучей амуницией. Сознание этого не только сообщало телу ловкость, подвижность и быстроту находчивости, но странным образом вселяло в душу почти фатальную веру в неуязвимость: не могло, не могло того произойти, чтобы его убили!..

Он решил, что к зеркалу не стоит подходить близко, даже будучи одетым,— совсем другое дело встречаться со своим отражением издали, шагов за пять-шесть, когда ты в состоянии видеть себя в общем плане, а не в каких-то там крохоборных мелочах! Он спустился вниз и сдал гардеробщице ключ. До обеда оставалось еще около часа времени, и в вестибюле у столиков за колоннами шла грохотная игра в домино под победные

клики «отдуплившихся» и негодующую ругань оставшихся «козлами». Приступ настиг его у выходных дверей, и он кинулся назад, к пальме возле окна. Там стоял шахматный столик с громадными самодельными фигурами, и возле него, скрытый пальмой, он проделал руками все те движения, что полагались в таких случаях, дождался притока воздуха в грудь и проглотил лекарство. Его никто тут не видел, и все же ему понадобилось какое-то время, чтобы с видом заинтересованного чем-то человека постоять у окна, хотя в нем ничего не виделось, кроме пустого неба. Желание идти в кафе пропало. Он сыграл сам с собой партию в шахматы, размышляя над тем, почему сердечники, когда им становится худо на улице, бессознательно стремятся укрыться от людей в ближайшую подворотню или прижаться к витрине магазина. Дескать, стою и смотрю себе, и никого это не касается. Да и что им может помочь? Вот уже воистину, кто умирает в одиночку!

...Еще от дверей столовой Сыромуков заметил свою малютку, одиноко питавшуюся за столом в центре зала. Он тогда же посмотрел в сторону своего стола и увидел метательницу колец, сидевшую в позе Стеньки Разина в челне. Ему показалось, что при его появлении она презрительно фыркнула, и в пику ей, оскорбясь и внешне подтянувшись, он вскинул руку и помахал малютке приветственно и радушно. Та энергично покивала ему головой и тоже помахала ручкой. Сейчас она скажет «чао», неспокойно подумал Сыромуков. Он молча поклонился соседке по столу и уселся на свое место. Подавала чернявая Вера, услужливая и кроткая. Она спросила, что ему принести, так как заказ на обед не сделан, и он сказал, что доверяет ее выбору.

— А ему у нас не ндравится,— сказала метательница, будто Сыромукова не было рядом.— Он брезгает.

— Правда? — наивно и трогательно удивилась Вера.— Отчего?

— Нет-нет, — сказал Сыромуков, — мадам изволит неудачно шутить.

— А чего мне шутить-то! Я всегда говорю правду. По-русски. Приедут тут незнамо откудова и выпендриваются...

Сыромуков испугался — могла вспыхнуть нелепейшая застольная перебранка, если он не найдет правильной линии собственного поведения. Он прямым

холодным взглядом попробовал подавить эмоции соседки, но это не принесло никакого результата: она, видать, плохо владела своими страстями. По ее терракотово-красному лицу было видно, как тут глубинно возмущены. Сыромуков и сам сознавал, что «мадам» слетело у него с языка неосторожно, но переигрывать сцену было поздно. Да и как иначе он назвал бы ее? Гражданкой? Милой женщиной? Он тоскливо подумал, что, в сущности, от него требовалось тут всего-навсего одно какое-нибудь веское слово, равноценное ее выпаду и скрыто угрожавшее ей непонятными, но возможными неприятностями. Наверно, на его месте более решительный человек так бы и поступил. Он бы указал ей на родной угол, и все было бы в порядке раз и навсегда! Ты ж изволь вот сидеть и трусливо гипнотизировать ее, чтобы она не прорвалась базарной бранью.

— Пожалуйста, извините меня... Я, кажется, нечаянно обидел вас,— сказал он. Официантка подкатила к столу тележку, и надо было с преувеличенной осторожностью принимать у нее тарелки, усиленно благодарить, а потом сосредоточенно и торопливо есть. Он попытался осудить себя за повторную утрату тут чувства иронии и соразмерности — какие могут быть амбиции перед человеком, достойным сострадания? Глупо! Да и вообще, нельзя ведь постоянно жить под высоким напряжением. Смешно же! Но досада и раздражение не проходили, и волна ожидания опасности публичного опозорения не отпускала его. Малышка тоже почему-то торопилась с обедом, потому они одновременно поднялись с мест и сошлись в главном проходе. Она протянула руку, и Сыромуков учтиво пожал ее, испытывая боязливое желание оглянуться на свой стол. У него не было охоты вспоминать имя малышки, ни вообще узнавать его. Возле бара, недавно, видать, оборудованного здесь прямо напротив входа в столовую, он приостановился, решив, что ему пора вознаградить себя за пережитое унижение.

— Хотите кофе?— спросил он.

— Мо-ожно, — отозвалась малышка. — А вам не вредно?

— Што такоича? — сказал Сыромуков. — Извольте влезть на табурет и не поучать старших.

Шутка получилась не столь бравадной, сколько неуклюжей,— круглый вертящийся табурет был слишком

высок для бедняжки, и ей в самом деле пришлось залезать на него. Сыромуков заказал кофе и полтораста граммов коньяку. Бармен, молодой армянин с университетским значком, грамотно разлил его в разлатые розовые рюмки — поровну в каждую.

— Чао! — сказал Сыромуков, поднял свою рюмку. — Или это говорят в других случаях?

Малютка неопределенно кивнула. Она пила дробными поклевными глотками, запрокидывая голову и отстраняясь от стойки, а это было небезопасно, так как толстенькие ноги ее не доставали до пола и оставались на весу. Бармен включил магнитофон, и под дикий завыв Тома Джонса она светски спросила Сыромукова, почему все-таки он считает, что хорошее здоровье должно мешать писателю? Очень странное утверждение!

— Разве я когда-нибудь говорил такую ересь?— притворно изумился Сыромуков.

— Да, вчера.

— Я, наверно, имел в виду не физическое самочувствие писателя, а его неспособность плакать над судьбами своих героев. Только и всего.

— Но если эти судьбы радостны?

— Насплошь?

— Да.

— Это, по-вашему, возможно?

— А по-вашему?

— По-моему, нет.

— Почему?

— Потому что...— Сыромуков запнулся,— трудно представить себе человека, который бы всю жизнь оставался на каком-то исходном уровне самосознания.

— Выходит, что радости и счастье доступны только умственно отсталым?

— Да нет, это никак не выходит,— возразил Сыромуков,— и вы, как мне кажется, отлично понимаете, о чем идет речь!

— Ну, может, немного и понимаю...

— И слава богу, что немного,— сказал Сыромуков с наигранной веселостью,— вам совсем незачем стариться преждевременно. Хотите еще коньяку?

— Нет, я могу опьянеть, и вам тогда придется каждую минуту отвечать на мои «почему».

— Становитесь любопытны?

— Смелею,— сказала малышка.— Я, например, могу тогда спросить, что вы испытывали вчера на людях, идя со мной рядом?

Она не смотрела на Сыромукова, попивая кофе и отстраняясь от стойки, и вид у нее был насмешливо дерзкий и даже злорадный. Сыромуков изобразил на лице выражение застигнутости и заказал новую порцию коньяка.

— Что ж, могу признаться,— запоздало сказал он.— Мне было не очень весело тащить рядом с вами свои сорок восемь лет. Не хочу, знаете ли, чтобы меня считали старым...

Он и сам удивился нечаянной правде в своем заведомо лживом ответе на ее уличающий вопрос и, чтобы не упустить этой мгновенной вспышки откровения, сказал еще:

— Кроме того, я вчера сразу же забыл ваше имя. Из-за склероза, понятно,— прибавил он поспешно.

— Ну, будем считать, что мы квиты,— сказала она,— звать меня Ларой, и я, представьте, тоже забыла ваше отчество. Денисович, да? А ваш сын Богдан, верно?

— Наоборот, но может сойти и так,— ответил Сыромуков и разлил по рюмкам коньяк.— Вот видите, мне уже неудобно сказать вам ни «чао», ни «салют».

— Почувствовали себя старше, сообщив мне свои лета?

— Что-то в этом роде,— признался Сыромуков.

— А вы вообразите, что вам тридцать пять. В этом случае мы окажемся ровесниками.

Он поклонился ей, не поняв толком, шутит она или издевается. Но, может, ей в самом деле тридцать пять лет? Маленькие собачонки до конца остаются щенками. Недаром у нее так по-взрослому развиты бедра... У Сыромукова вспорхнула неприятная для самого себя мысль: знала ли она мужчину и как это могло произойти? Партнер был под стать ей ростом? Несомненно... И все равно едва ли это у них было похоже на таинство любви. Нет. Это как саморастление несовершеннолетних!

— Кто вы по специальности, Лара Георгиевна?— спросил он.

— Я работаю в одном НИИ,— с значительной безразличностью ответила она. Сыромуков иронически заметил, что звучит это внушительно.

— И что вы там делаете?

— Ничего особенного. Перевожу временами кое-какие статьи из английских и французских периодических изданий.

— Понятно,— почтительно сказал Сыромуков. Он заплатил за коньяк и кофе, передав бармену два рубля на чай. Наличных денег при себе оставалось три десятки, а это значило, что за неполные тут двое суток профершпилено около тридцати рублей. Ничего себе гусь! Его обидела небрежность бармена, с которой тот бросил в ящик деньги, и то, что он не поблагодарил за чаевые. Сыромукову совсем не хотелось, чтобы у малютки возникло подозрение, будто он скуп, черт возьми, или беден. Наверно, она заметила его нерасположение к бармену и, когда они отошли от стойки, сказала, что не может понять, как этому молодцу с университетским значком удается ладить со своим занятием. Сыромуков охотно воздал бы бармену, но не с этого конца. Занятие его как занятие. Есть сколько угодно вредней и хуже. В конце концов малый служит людям. И себе, конечно.

— Что ж, он почти приблизился к идеалу древних греков — веселью и удовольствиям,— сказал он.

— Насколько я знаю историю, это их и погубило,— учено заметила Лара.

— Да. Их не спасла даже христианская религия. Они просто выродились. Теперешний грек — это, кажется, помесь цыгана с гунном, — оживленно сказал Сыромуков,— невежа бармен получил свое сполна.— Лара, по-птичьи скривив голову, зыркнула на него снизу и невинно осведомилась, а кто, по его мнению, вообще современные советские люди. Сыромуков сбился с подлаживающего шага и настороженно спросил, что имеется в виду.

— Духовные ценности. Развитие исторического характера нации, прочность культуры, морали и все такое,— смиренно ответила она.

— Ах, вот лишь это,— разочарованно сказал Сыромуков,— но видите ли, если к этому делу подходить с позиции архитектора, то надо заметить, что в любом локальном решении о заселении новых районов почти неизбежен некоторый сумбур и хаос, так как оно исключает научно обоснованное размещение застройки в каждом отдельном случае. Понимаете?

— Вполне. Вы, кажется, испугались моего вопроса.

— Да нет, с какой же стати? Вы просто хотите, чтобы я уклонился от подчинения нормативам.

— Каким это?

— Действующим в этот момент. Ведь всякий архитектурный проект должен иметь еще и связь с определенными условиями жизни людей, а не только красиво вписываться в ландшафт и флору. Хотите, присядем вон за той пальмой у шахматного столика? У нас будет там неотразимая декорация.

— Хорошо. Но для чего вы говорите все это?

— О пальме?

— Об архитектуре своей.

— Внушаю вам уважение к себе как к современнику современников.

— Сомневаюсь в эффективности вашего метода.

— Это у вас от недостатка информационных данных обо мне. Впрочем, согласно новейшим научно-философским изысканиям сомнение полезно человечеству.

— Вот как! Где это опубликовано? — заинтересованно спросила Лара.

— Не помню,— серьезно сказал Сыромуков,— но суть положения заключается в том, что субъект, лишенный сомнения, не может, оказывается, обладать высокой моралью.

— Но разве, например, Цезарь сомневался в своем величии? А я где-то читала, что блеск императорского солнца не повредил ему. Он был остроумен, очарователен и образован.

Сыромуков снисходительно заметил, что мораль тут ни при чем. Они уселись за пальмой. Он закурил, и Лара тоже попросила сигарету.

— Все же вы уклонились от прямого ответа на мой вопрос, — сказала она, въедливо затянувшись дымом. Глаза ее блестели, и вся она была какая-то шершавая и азартная.

— Вам хочется, чтобы я перечислил отрицательные стороны характера моего современника?— спросил Сыромуков.— Извольте. Он чересчур торопится заглянуть в любой финал. Скажем, в конец своей дружбы, любви, в конец книги, в конец своего пути. Кроме того, он изрядно и повсеместно обнаглел, требуя и получая от жизни больше, чем ему причитается.

— А кто может определить, что и кому причитается!— вскинулась малютка.

— Очевидно, общество. У человека должно быть недосягаемое в жизни,— сказал Сыромуков,— потому что убежденность любого и каждого во вседоступности в конечном итоге сведет на нет творческое усилие таланта, просвещенность, честь, доблесть, трудолюбие и тому подобные высшие достоинства разума и воли!

Некоторое время Лара молчала, затем рассудила, что в его афоризмах — это слово она произнесла с язвительным нажимом — нет логики! То он пытается внушить ей уважение к современнику, то заявляет, что тот — повсеместный нахал. Как же ей быть? Сыромуков, с внезапно опавшей душой, уныло подумал, как сильно он постарел за последние годы. Лет шесть назад он едва ли бы пустился при такой пигалице в какие-нибудь рассуждения с целью блеснуть своей эрудицией! Интересно, догадывается ли она об этом? Очевидно, нет. Иначе ей не пришло бы в голову сделать такой добросовестный вывод из его «афоризмов». Она давно устрашилась внешнего мира, и ей почему-то вздумалось искать у него подтверждения своим каким-то, скорей всего мнимым, достоинствам перед этим миром. Только и всего. А он ударился в напыщенное красноречие. И с какой целью? Хотел, значит, понравиться...

Малютка сидела нервно взъерошенная — как-никак пила наравне, и Сыромуков почувствовал сострадание к ней и к себе.

— Я не обязательно должен быть прав,— сказал он, отвечая на ее вопрос, как ей быть. Она вымученно улыбнулась и возразила, что неправых бьют.

— Кто?— защитно спросил Сыромуков.

— Имеющие на это право!

— Сила еще не право!

— А право — сила?

Сыромуков сказал, что человечество всегда стремилось к этому. По крайней мере, лучшие его представители... Он ничего не мог поделать с собой, — говорить хотелось возвышенно, но причиной тому мог быть и коньяк.

Ларе, оказывается, уже были назначены какие-то послеобеденные процедуры.

Расстались они почти друзьями. А час спустя Сыромуков писал Денису, что тут тоже идет дождь с ветром, дующим с гор, а это хуже, чем там у него в Прибалтике, потому что горный ветер держится стойко. По

целым суткам и даже неделям. Он уверял сына, что лично ему непогода не мешает. Совершенно. Он знает, что нужно добросовестно лечиться, помнит, что прошло уже почти три дня, а когда Денис получит это письмо, до возвращения останется всего лишь дней десять-двенадцать... Сам с собой Сыромуков поладил на том, что рано или поздно, но дождь все равно пойдет тут и что отсутствие каких-либо корыстных намерений по отношению к малютке вполне извиняет его сегодняшнее невзрослое поведение.

На ужин он не пошел.

Яночкин явился часу в десятом оживленный, в белой курортной фуражечке и с двумя бутылками «Киндзмараули». Сыромуков не успел погасить ночник, чтоб притвориться спящим, и тот доложил, что был в городе.

— Свободно, слушай, продают,— удивленно сказал он о вине,— и сколько хочешь. Надо же! А в Москве такое достать трудно.

— Конечно, запаситесь,— одобрил Сыромуков, подумав, что дожить до шестидесяти лет и сохранить себя в такой форме — истинно растительное качество. Он, вероятно, спрячет сейчас бутылки в тумбочку. Еще бы, черт возьми, предлагать ему распить их со мной! С какой стати? И все же... Неужели спрячет? Но Яночкин с бодрым пристуком поставил бутылки на стол, включил большой свет и стал извлекать из карманов мандарины.

— Во! Видал? Знаешь, кто любил это вино? Только его и потреблял... Давай-ка отметим наше знакомство,— с чувством произнес он. Сыромуков сказал, что уже отметился коньяком. Пить чужое вино не хотелось, это грозило моральной кабалой, но все же ему пришлось встать и одеться,— Яночкин с душевным благоденствием облупил несколько мандаринок, приготовил стаканы и торжественно ждал в кресле. Они выпили за знакомство, и Петрович опять назидательно напомнил, кто любил «Киндзмараули».

— Как вот ты считаешь, это был великий человек?— спросил он, чисто светя глазами. Он целиком направил в рот мандаринку и перекатывал ее из стороны в сторону, как горячую картошку. Сыромуков в свою очередь спросил, как ему хочется, чтобы это было.

— А как есть на самом деле, — сказал Яночкин, успев к тому времени управиться с мандаринкой.

— Ну и считайте, что все так и есть, как кажется, — посоветовал Сыромуков,— это спокойнее.

— Да я-то знаю, как мне считать, а вот как ты? Для интереса разговора можно ж и поспорить, верно?

— У нас сейчас ни о чем не получится равный спор, потому что на вашей стороне явное преимущество. Вы старше меня, и я пью ваше вино, к которому вы питаете больше симпатий, чем я,— признался Сыромуков и сразу же пожалел о своей откровенной невежливости! Яночкин сухо сказал: «как хочешь»— и обиженно замолчал. Ладу и миру в палате требовалась какая-то спешная милосердная помощь, и Сыромуков с отчаянной невинностью поинтересовался, дадут ли ему в этом доме выпить еще.

— Да тебе ж не нравится мое угощение! — пораженно возразил Яночкин.— Или это ты нарочно ломался?

— Мне просто совестно,— сказал Сыромуков,— по правилу, угощать полагалось бы мне вас.

— А будто мы последний день!

Яночкину снова стало хорошо, он налил по второму стакану. Речь о достоинстве вина больше не заводилась. Петровичу хотелось потолковать и выяснить ради беседы, как он сказал, кто тут, интересно, прислуживал немцам в санаториях во время оккупации — местное население или пленные. Сыромуков этого не знал. И разве санатории действовали тогда? Да, не все, но некоторые работали. Предателей хватало. Особенно среди пленных, это ведь ясно. Раз ты сдался врагу и остался жив — значит, что? Нет, сам он на фронте не был. По брони шел... Будем вторую бутылку начинать? Как угодно. А в плен, между прочим, люди попадали, а не сдавались, дорогой Павел Петрович. Особенно в сорок первом.

— Ну, мы знаем, Богданыч, как они «попадали». Ты был тогда еще молод...

— Да нет, — протестующе сказал Сыромуков,— мне, с вашего позволения, пришлось воевать! И лично я наградил бы всех пленных, кто остался цел в фашистских лагерях!

— Так из них же власовцы вербовались, — оторопело заметил Яночкин.

— Я сказал, кто остался жив в лагере, — уточнил Сыромуков.

— И каким бы ты их, к примеру, орденом?

Сыромуков сказал, что тут нужен был какой-то особый орден, с особым статусом.

— Чтоб за плен, значит, выходило?

— За страдание и муки.

— Ну, а назвать его как же надо было?

— Может быть, орденом «Скорбящей Матери».

— Гм!

— Не годится?

— Нет,— сумрачно сказал Яночкин.— Скорбная мать тут ни при чем. Вот ежели что-нибудь вроде блудного сына —дело другое. Тут все правильно. Получай и носи свой знак без права снятия. До самой смерти...

Сыромуков внимательно посмотрел в глаза Яночкина — бледно-серебристые, безвольные и почти ласковые, не принимавшие, казалось, участия в беседе и жившие сами по себе, отдельно от мыслей, рождавшихся в его мозгу. Сыромукову подумалось, что в детстве Яночкин, наверно, был нудной плаксой, не переносившим преимущества сверстников, и что оспаривать его не следует, хотя из-за такого потворства между ними создастся неразмыкаемый круг лицемерных отношений почти на целый месяц жизни!

— Спасибо вам за вино, Петрович,— с болезненной гримасой сказал он, ощутив, как зло и часто забилось сердце. Возле окна, куда он прошел, вскинув к голове руки, приступ прекратился, и Яночкин безмятежно спросил его в спину, не пойти ли им погулять перед сном.

— Или поздно уже? Говорят, будто в одиннадцать часов запирают двери и спускают овчарку? Ну и правильно!

— Да-да, — потусторонне отозвался немного сгодя Сыромуков с мятной лепешкой валидола под языком, вглядываясь в фантастично мерцающий трепет далеких городских огней в темной глубине котловины.— Все правильно и все прекрасно!

— А как же! — согласно сказал Яночкин. Он тоже поддался какому-то элегическому настроению, понуждавшему к замедленным движениям и молчанию, и они долго и кропотливо раздевались, а потом старательно укладывались в кровати. Все было покойно и устойчиво. Ночь могла пройти благополучно — после вина Яночкин не обязательно должен храпеть. Он вполне достой-

ный и интересный человек, хотя и с непостижимым порой строем суждений, но мало ли у кого и чем пылает голова!.. И кто знает, может быть, эти злосчастные пленные нечаянно причинили ему в свое время горе или обиду. Мало ли! Жестокость и недобро сами собой не рождаются в человеческом сердце. Для этого нужны причины. Пусть даже ложные...

— Павел Петрович, а где вы работали в войну? — спросил Сыромуков так, когда в голосе бывает в меру и бескорыстного интереса, и уважительности к ожидаемому ответу. Они лежали навзничь, не видя друг друга, и поэтому нельзя было определить по лицу Яночкина, расслышал он вопрос или нет. Сыромуков, подождав, протянул руку к выключателю своего ночника, погасил свет и пожелал Яночкину спокойной ночи.

— А здесь, Богданыч, тоже, оказывается, есть цирк,— бодро сказал тот, — может, как-нибудь сходим?

— Можно и сходить,— безразлично согласился Сыромуков.

— Бывают, понимаешь, фокусы, что ничего нельзя понять, как такое может происходить. Вот, к примеру, номер с карасями. В воздухе ловят удочкой. Над головами зрителей. Живых, в ладонь величиной! Что это, как думаешь? Обман зрения?

— Черт знает,— сказал Сыромуков.

— Или же с карманными часами. У тебя, положим, просят, ты даешь, а их бросают в чугунную ступку и молотят железной долбешкой! А после всю эту окрошку засыпают в ружье, стреляют — и часы вылетают сполна целыми. Во, брат!

— Еще как вылетают,— сказал в потолок Сыромуков, — у меня в партизанском отряде тоже был фокусник. Матрос. Бежавший из немецкого концлагеря. Он мог вынуть глаз и вставить его обратно.

— Чей глаз?

— Собственный.

— Стеклянный?

— Да нет, зачем же. Живой.

Яночкин по-детски радостно засмеялся и повернулся на бок, чтобы видеть Сыромукова.

— А больше что он умел?

— Золотые зубные коронки делал из медных пятаков.

— Настоящие?

— По форме и блеску.

— И куда их?

— Сбывал зажиточным хуторянам, кулачкам прибалтийским, за хлеб и сало.

— Любопытно... А ты, как командир, разрешал?

— Да. Самочинные партизаны нигде не стояли на довольствии, обирать население было нельзя, а этих сам бог велел.

Петрович почти застенчиво заметил, что партизаны не обирали. Ни при каких обстоятельствах. Сыромуков сказал, что неточно выразился. Реквизировали. Кстати, матрос загонял свое самодельное золотишко только тем лесным жителям, кто считал — кому война, а кому имение. На литовском, например, языке эта фраза звучит выразительней, чем в переводе на русский. Кам карас, кам дварас... Яночкин поинтересовался, чем фокусник обделывал коронки. Инструмент же нужен. Сыромуков перечислил, что он имел. Карманную ножовку. Сахарные щипцы. Напильник. Финку. Пинцет. Бархатную тряпку.

— И все?

— Еще пятаки. Их было труднее добывать, чем оружие.

— Ну хорошо. А вот ты заявил, что вы были самочинные. Это как понимать?

— В смысле окруженцев, бывших пленных, беглецов из гетто. Вообще всех тех, кого приготовленно не засылали в тыл с оружием и рациями.

— Понятно теперь... Значит, связь вы ни с кем не поддерживали. А кто же давал вам задания и учитывал действия?

— В том-то и суть, что этим людям все надо было делать самим! — сказал Сыромуков громче, чем требовалось. Они замолчали, и стало слышно, как неприятно сипят в ванной комнате водопроводные краны. Яночкин погасил свой ночник и некоторое время полежал притихше, затем разоренным голосом попытал Сыромукова, сколько таких людей было в его отряде.

— Фокусников? — невинно спросил Сыромуков.

— Да нет. Тех... от кого родные отцы отказывались.

— А! Примерно рота. Хорошая.

Мрак в палате был уже разреженно зыбкий, ласково призрачный — не то привыкли глаза, не то из-за гор всходила невидимая луна,— и на окна надо было смот-

реть сквозь прищуренные ресницы, тогда лучи звезд струнно протягивались к самому изголовью кровати и как будто гасили занимавшуюся боль в сердце — живую и отвратительную, как клещ. Сыромуков подумал, что напрасно пил на ночь вино. Да еще чужое... И совсем зря затеял с Яночкиным этот дразнящий его, неуютный разговор! Он, конечно, не отойдет ко сну, не выяснив, каким образом Сыромуков сам оказался в глубоком тылу у немцев, а сказать ему правду... будет жестоко для него.

Но Яночкин не задавал больше вопросов. Несколько минут спустя он издал хилый неприличный звук и почмокал ртом — заснул, а Сыромуков достал из тумбочки одеколон и спрыснул лицо и подушку. Он повернулся на бок, но боль в сердце сразу же усилилась, и пришлось снова по-стариковски улечься на спину, а лицо прикрыть краем простыни. Так можно было не закрывать глаз и все равно ничего не видеть, а главное — не думать, что Яночкин непременно будет храпеть. Но чем упорнее он убеждал себя, будто не ждет, когда захрапит Яночкин, тем томительней становилось это ожидание, перераставшее в досаду на то, что тот медлит, — храп спокойнее, казалось, услышать наяву, с вечера, чтобы «привыкнуть» к нему и после уснуть самому.

Постепенно в душе Сыромукова стала накапливаться раздражительная злость к тихо спящему Яночкину. Почему-то представлялось, что у него розовое и мягкое темечко и что он лежит, младенчески выкинув руки поверх одеяла, и пускает ртом пузыри. Чтобы не дать воли ожесточенности, Сыромуков предложил себе отвлекающие, как он подумал, вопросы: счастлив ли Яночкин в жизни? И что он под этим разумеет? Есть ли у него семья? Какому богу он молится? Бог, например, дикаря похож на него самого, кроме могущественности... Между прочим, зулусы, почитая души умерших богами, верят, что дети становятся добрыми духами, старики — творящими одно зло. А Яночкин — старик... «Но ты ведь тоже не юнец»,— мысленно обернулся к себе Сыромуков, и ему снова показалась искусственной и ненужной жизни линия своего слюнтяйского поведения с Яночкиным, в которой он не проявил никакой потребности к самоутверждению перед ним. Он сдернул простыню с лица и заглянул на кровать Яночкина. Петрович и в самом деле спал, уложив руки на грудь, дыша ровно

и чуть слышно, как могут спать только здоровые люди с ясной совестью, кому не грозят местью никакие подземные силы. Сыромуков взбил подушку и привалился к ней спиной. Звезды в окнах были на прежних местах, сипели в ванной комнате краны, и продолговатый костяной клещ грыз и грыз сердце. Мысли Сыромукова обратились на эту свою боль. Он подумал, что боль всегда была злом, а оно в свою очередь болью, что только из-за этого, возможно, он негодует сейчас на здорового Яночкина, не спит и ждет его храпа... Но неужели ж зависть и жалость уживаются в человеке разом? Наверно, все-таки уживаются. Зачем? Кто это определил для нас? Жизнь со смертью? Да, вероятно. Они ведь тоже родственницы-антиподы!.. Итак, добро и зло сосуществуют рядом. Значит, если вообразить, что грядущие поколения уничтожат на земле зло, то, стало быть, и добру придется худо: его лишат арены битвы, противника не станет, и оно захиреет в бездействии? Что же тогда будет? Ни добра, ни зла, а что? Всесветная сытая скука и равнодушие?.. Впрочем, почему же непременно это? Люди, очевидно, вырвутся из оков земного притяжения, возродят для себя дополнительные виды и формы искусства, доступные участию каждого, откроют новые миры и галактики, которые надо будет осваивать и, может быть, побеждать...

— Но побеждать — значит нести добро и зло, так? — вслух сказал он и посмотрел на Яночкина. Тому было, наверно, жарко — он разметался и посапывал с свистящим полухрапом, готовым вот-вот перейти в удушье. Не надевая тапочек и невольно копируя походку Яночкина в его вчерашнем ночном рейде в туалетную, Сыромуков прокрался к нему и раскрыл его.

— Давай дыши, хрен семипалатинский! — шепотом сказал он оттуда Яночкину. — Небось о валидоле понятия не имеешь!

Он вернулся на свою кровать и снова попытался думать о родстве боли и зла и противоборстве добра и лиха, но Яночкин тогда стих и обмер, а потом захрапел, и Сыромуков с усталым удовлетворением закрыл глаза. Предстояло, как и вчера, очутиться теперь в том своем волшебном золотом утре с подсолнухами и шмелями, а там... Минуточку, мысленно сказал себе Сыромуков, а как это было, когда мать хотела спрятать тебя в печке? Да-да! Давай с самого начала памяти. Там

тоже почти все годится, чтобы заснуть. Как тогда было?.. В ту пору будто бы свирепствовал голод, но ты помнишь, что мать каждый день розовой мукой древесной червоточины присыпала тебе под мышками, а это значит, что ты был сытый, раз подпревал в складках... Позже, лет трех, ты уже знал, что за изгибом печного боровка в теплых сухих потемках живет у вас домовой Зеленые Уши. Оставалось неизвестным, какой он и на что похож, но страшно от него не было, потому что вещал он вам одно хорошее. Он вещал всегда по вечерам, когда вы укладывались спать. В хате вдруг что-то брякало и звучало, и мать, пригребая тебя к себе поближе, заклинающе, но смело спрашивала:

— К худу аль к добру?!

Наступала долгая тишина ожидания, и, когда вам становилось немного жутко, мать убежденно говорила себе и тебе:

— Слыхал? К добру, сказал.

Ты подтверждал, что слышал, и просил ее рассказать сказку.

Их было три — про лапоть, пузырь и соломинку, сестричку Аленушку с братцем Иванушкой и еще про гусара. Эту мать рассказывала всегда тихо, в подушку, и тебе не нравился ее голос.

— Давай громче! — требовал ты.

— Ну вот,—шептала мать,—приехал он с войны, на побывку. Господи! Погоны горят, пуговки сияют, а хорош сам, а пригож... Тогда была троица. Мы — девки и солдатки — на лугу корогод водили, а он покликал меня при всех, достал десять рублей и говорит: «Катюша...» Звал так меня.

— Ну? — понукал ты.

— Катюша, говорит, сходи ты сею минуту в лавку и набери рожков, ланпасет, подсолнухов, вина-фиялки и всего, чего тебе самой захочется...

— Ты накупила, а он взял и раздал все корогоду, а фиялку выпил сам и пошел, а сапоги сверк-сверк!

— Да нет,— сквозь слезы счастливо возражала мать,— сверк-сверк было потом, через год, когда он приезжал в другой раз, а я провожала его по выгону...

Сказка про гусара на том и кончалась. Но что же тебя привлекало в ней? Что?..

Иногда, если вам не засыпалось, мать ни с того ни с сего начинала смеяться сама с собой и щекотать тебя — шмыгать пальцами по твоему животу. Наверно, ей нравилось, как ты хохотал и барахтался, и продлись эта сладкая мука ее щекотки еще какой-то миг, ты бы трудно и радостно умер, но мать всегда вовремя прекращала щекотку, и вслед за этим наступал изнеможенно блаженный покой, когда хохотать еще хотелось, но уже было невозможно...Так в тебе зародилось опасение, что домовой тоже может щекотаться и обязательно в самом смешном месте — возле пупка. И когда мать отлучалась из хаты, ты залезал на подоконник и прижимался к раме — прятал живот, а спина у тебя щекотки не боялась. Совсем...

И было однажды так. Тогда стояла зима. Ты продышал на замерзшем стекле кружок и глядел на двор. Прямо под окном хаты лежала высокая куча хвороста, и на ней сидела большая черная птица с седой головой. Мать вбежала со двора в хату — красивая и холодная. Она схватила тебя и кинулась было в сенцы, но тут же вернулась к влазу на печку, затем вы очутились в чулане, за ситцевым пологом, где стояла кровать. В хату входили чему-то радовавшиеся, невидимые вам чужие люди. Тебе хотелось туда, к ним, но мать не пускала тебя с кровати и не выходила сама из-за полога.

— Отец наш пришел с войны... Теперь убьет. Обоих, — шептала она, а глаза у самой были крепко зажмурены... Кончилось это так. Ты вырвался, влетел в горницу и в тишине, которая наступила с этим твоим явлением, сказал человеку, от которого прятала тебя мать:

— Здорово ж тебе! Ты на войне родился? А я тут...

Мать заголосила за пологом, а человек в громадных ботинках с длинными голенищами, унизанными желтыми лупастыми пистонами, посадил тебя на колени к себе и с той минуты стал твоим отцом... В ту же ночь домовой ушел из вашей хаты. Навсегда... Домовой Зеленые Уши... А неделей позже ты впервые увидел деда Дениса, или Жялу, как звали его по-уличному... Вы обедаете. Отец сидит на лавке в святом углу под иконой, ты одесную с ним, а мать напротив вас на скамейке. Голову она держит опущенно и покрыта платком низко-низко. Блюдо у вас разлатое, деревянное, цветастое. Ложки тоже. Вы едите щи — густые и горячие, как огонь. Ты тесно льнешь к отцу, и он перекладывает ложку из пра-

вой руки в левую, чтоб было свободней черпать. Мать почти склоняется над столом, и плечи ее начинают вздрагивать мелко и часто.

— Ну чего ты? — горестно говорит ей отец. Ты предательски и радостно сообщаешь ему, что она всю жизнь такая. Сперва смеется, а после щекочется. В эту минуту дверь из сеней распахивается, и шар белого пара вносит в хату человека в дубленой шубе, в заячьей шапке и в желтых лыковых лаптях. Прямо от дверей он ударяется в пляс с присядкой под собственную присказку, навсегда запавшую в твою память.

Во саду ли, в огороде
двенадцать метелок.
Бабы любят мужиков,
ребята девчонок.
Гоп, мои гречаники,
Гоп, мои белые!
Чего же вы, гречаники,
Не скоро поспели!

— Здорова была, Катьк! — говорит он матери и выпрямляется у стола, сняв шапку. Голова его седая, коротко остриженная. Борода маленькая, ладная и блестящая, как иней на окне, а глаза черные, круглые и веселые.

— Родьк, накось вот кочетка!

Это тебе! Пряник-петух душистый, невесомый, с малиновыми разводами по одному боку и с единственным пронзительно голубым глазом-бисеринкой.

— Иду, понимаешь, а кобель ваш «к нам — к нам — к нам!» — наклоняется он к отцу. — Думаю, надо зайтить!

— Ну и хорошо, что наведался,— сдержанно говорит отец. Мать встает из-за стола и уходит в чулан.

— Побалакать с тобой надо,— тихо, но со скрытой крутой силой говорит Жяла отцу и достает из кармана шубы бутылку. Он звонко ставит ее на стол и весело приказывает невидимой матери, чтобы она сходила в погреб за огурчиками. Мать приветно и слабо отвечает, что огурцы есть дома.

— А ты не торопясь холодненьких добудь!

Мать закутывает голову шалью и уходит из хаты, а Жяла садится рядом с тобой и, ковырнув пальцем твой живот возле пупка, говорит отцу странное:

— Слышь, Петро, а ить чей бы бычок ни сигал, а теленочек наш! Как думаешь?

— А я... Все простил и забыл,— не сразу отвечает отец в стол.

— Ты ж, почитай, семь годов пропадал без вести! Так што...

— Да я ж ничего, Денис Григорьич, — отзывается отец и кладет руку тебе на голову.

— Ну, тада все! Тада и рассусоливать нечего! А то мы с моей Андревной наладились, ежели чего, то забрать малого.

Ты не расслышал, что ответил отец Жяле. Наверно, что-то хорошее для тебя, потому что он засмеялся и хлопнул отца по плечу. Мать в это время принесла огурцы, а тебе пора было долго-долго есть своего петуха, и ты бежишь на печку... Потом, позже, ты узнал, почему так несуразно звали деда Дениса: однажды он пригрозил-похвалился, хмельной, на улице, что будто пчела в его пасеке с галку, а «жялы» у них с палку... Жялин пряник... Первый подарок в твоей жизни от чужого человека...

Утром, как только Яночкин тихонько ушел на зарядку, Сыромуков добросовестно исполнил, что обещал накануне уборщице, а после сдал в амбулатории кровь и отсидел положенное время в очередях у кабинетов рентгеноскопии и кардиографии. Никакого намека на дождь и ветер с гор не намечалось — утро снова походило на крашеное яйцо, но из-за солидарности с Денисом Сыромуков был хмур и озабочен. Он запоздал, как и хотел, на завтрак, поэтому стол его оказался свободным. Клава принесла ему кофе, котлеты и манную кашу, и все это он с удовольствием съел, не изменяя мрачного выражения лица. Сердце почти не ощущалось, и о нем не следовало помнить: медициной давно установлено, что боль — естественная, природная функция, помогающая человеку остерегаться опасности, угрожающей его телу. Другое дело перебои и остановки. А боль в сердце — ничего. От нее можно лечиться, что он и начал делать, как и обещал Денису...

День предстоял прогонно пустой, без занятости и прикаянности, а это могло вызвать истинную, а не поддельную хандру и тоску, и Сыромуков наметил для себя ряд неотложных дел, которые надлежало выполнить до обеда: купить газеты, сходить в библиотеку, а после спуститься к гроту — возможно, как раз сегодня старик

появится там со своим точильным станком... Они тут молодцы и живут по сто лет и даже больше... Летуче, вскользь, Сыромуков напомнил себе, что на всякий случай ему предстоит вполне реальная встреча с другим горцем — бывшим своим партизаном Зелимханом, но свидеться с ним следовало в последний срок, перед отъездом. Повод для этой встречи был немного обидный для Сыромукова: Зелимхан разыскал его адрес и объявился сам по делу — требовалась характеристика для будущей, наверно, пенсии. Только и всего. Письмо пришло за неделю до отъезда на курорт, и Сыромуков сочинил ему героическую бумагу и заверил ее в военкомате. На здоровье! Привез он с собой и роскошный альбом-сувенир «Партизаны янтарного края», изданный в Прибалтике на русском, местном и английском языках. В книге был снимок Зелимхана — юного, увлеченно стремительного, похожего чем-то на тура... Сыромуков жертвенно подумал, что в альбоме, поди, килограммов шесть веса, и чемодан провисал и бурдючился главным образом из-за этого. Но теперь уже все равно. Теперь уже нечего. На здоровье... Зелимхан жил где-то тут на улице с печальным и сильным названием Павшие Герои, и пойти к нему надо в самый последний день, чтобы до встречи помнить его тем, прежним, двадцатилетним...

На воле было по-утреннему прохладно, звучно и высоко, и Сыромуков не стал противиться чувству беззаботности и благополучия. В тени на траве еще держалась сизая изморозь, и по ней, хрусткой и ломкой, манило пройтись так, чтобы позади осталась свеже-зеленая борозда, и хорошо было войти в ворох листвы под деревом и гремуче пошуровать его носками ботинок, и хотелось, но на виду людей не смелось, пособирать каштаны — нежно масляные и багряные, как пенка на топленом молоке... Он пожалел о недоступности прикосновения к радости детских утех, свалил берет на ухо и направился к зданию почты. Оттуда поодиночке и группами шли с газетами в руках курортники. Мужчины-толстяки выступали со старательностью грузных людей казаться ловкими и легкими, не замечая, как при каждом шаге высоко и смешно поддергиваются у них штанины, оголяя носки. Сыромуков украдкой проследил, как у него самого выносятся и опускаются ноги, и удостоверился, что брюки его не подтягиваются. Ни-

сколько. Он купил газеты, и в настенном фанерном шкафу просмотрел письма — а вдруг! — но в ячейке под буквой «С» валялись четыре пухлых конверта на имя какой-то Милаиды Сладкой. Что с ней могло случиться? Хорошее или плохое, если она не желает читать адресованные ей письма? Сладкая, видите ли, не очень-то удобная для женщины фамилия... Впрочем, неизвестно и то, какой Сахар пишет ей. И о чем... На какой-то миг в памяти Сыромукова обозначилась и не удержалась фамилия Лары. Тоже что-то связанное с завтраком, но не в пошлом оттенке. Не то Чайницкая, не то Хрустальская. Что-то в этом роде... Он даже не заметил, что примеряет к малютке наиболее благозвучные фамилии: с ее ростом ей было бы совсем ни к чему называться Ситичкиной, например, или Ложечкиной.

На своей лавке у иссякшего фонтана Сыромуков прочел газетные новости. В мире все было по-прежнему. Во Вьетнаме воевали, в Америке бунтовали негры, и, по сведениям бюро погоды, в Прибалтике шел мокрый снег. Денис, конечно, теперь в школе... Кроме соловья, ему надо привезти что-то еще. Фаянсовую кружку с голубым орлом. Лучше бы кавказский кинжал. Хотя бы игрушечный. А бусе — козловые тапочки с розовыми помпонами. Как в тот раз. Их, наверно, продают все на том же месте — возле памятника основателю санатория перед лечебным корпусом, не позже восьми часов утра, пока спит милиция... Но как же все-таки фамилия этой Лары? Изюмская? Крупницкая? Черт знает... Вообще-то бог несправедливо обидел ее. Каких-нибудь бы десяток сантиметров — и все. Что там ни говори, а тело, в сущности, выдает характер. Ум у нее острый, но бедный... Хотя, что можно узнать об уме человека за две беседы? Чепуха!.. Сейчас она, наверно, принимает нарзанную ванну. Неужели это ей нужно? Смешно...

От водолечебницы, куда по пути в библиотеку Сыромуков завернул как бы ради моциона, открывался просторный вид на юго-восточную гряду лилово-сиреневых холмов и гор, за которыми грандиозным сиятельным собором вставал Эльбрус с нависшим над ним белым причудливым облаком, похожим на парящего орлана. Да, верховный зодчий не поскупился тут ни на пределы и замыслы, ни на формы и краски — творил для непостижимой бесцельной вечности, в угоду своей яростной радости свершителя — да будет и это! Здесь, у водо-

лечебницы, было солнечно, и возле портала на скамейках тесно сидели люди в синих тренингах, с рулонами полотенец на коленях, запрокинув лица в небо. Сыромукову незачем было гадать, кто мог загорать в отшибном одиночестве на лестничной ступеньке водолечебницы, — в позе малютки столько крылось зловредно-перекорного, непримиримого, вызывающего на отпор! На ней тоже был тренинг, но не синий, а голубовато-аспидный с металлическим отливом, как у жемчужной мухи. Она читала книгу — на солнце-то! — и Сыромукову озорно подумалось, что было бы, если б он, подкравшись, щелкнул ее в макушку мизинцем? Нет, у нее может случиться стресс... «Да и не в твои лета шутить так. И не с ней...»

Он все сделал для того, чтобы малютка заметила его сама, и медленно пошел мимо нее, вполшага от лестницы, напялив очки и глядя в газету. На обратном его рейде Лара подняла глаза от книги, и получилось все так, как ему хотелось. Она первой поздоровалась, трогательно щурясь против солнца и не двигаясь с места. Сыромуков молодым движением сел рядом с ней на ступеньку, подумав о брюках, что гранитная пыль отчищается легко.

— Разве вам не жарко в этом своем десантном берете? — распевно сказала Лара. Было непохоже, чтобы она вкладывала в вопрос какой-нибудь иронический смысл, но Сыромуков защитно напрягся и в свою очередь спросил, как она сама чувствует себя в своем змеином выползне?

— Харашо-о — польщенно ответила Лара, — а почему вы в очках? Вы же не читаете сейчас.

— А мне так легче будет руководить вами,— сказал Сыромуков,— вы не сможете поймать мой взгляд, если я буду в очках. Что вы читаете?

Она протянула ему томик стихов в радужной суперобложке со снимком автора. Поэт был запечатлен в позе атакующего боксера, задом к читателю.

— Сила! — сказал Сыромуков, возвращая книжку.

— Он вам не нравится? — спросила Лара.

— Мне трудно воспринимать его напевы за мысли. Этот боксер не разбудит дедовских могил.

— А ваш Есенин разбудил?

— Не любите златоглавого? А как же вам удалось запомнить его строку насчет напевов и могил?

— По этой самой причине. Помнишь ведь не только то, что любишь. Чаще всего наоборот.

Сыромуков сказал, что она мужественный человек. Лично он не осмелился бы признаться кому-нибудь в непонимании чего-то прекрасного.

— А что это такое — прекрасное? — полунасмешливо осведомилась Лара.

— Наверное, все то, что отличается от пошлости, как форма от безобразия, и постигается без усилия,— осторожно ответил Сыромуков и подумал, что его опять, как вчера, начинает заносить в дебри красноречия. Он снял очки и берет — было в самом деле жарко, и по тому, как малютка посмотрела на его голову, устыженно догадался: начес разорился, обнажив плешь.

— Это у вас прическа под Тита Ливия? — с простодушием кроткой дурочки спросила Лара, но вид у нее был вполне невинный. Сыромуков в тон ей сказал, что скорей всего под Сысоя Лысого, и сразу почувствовал себя легче,— скрывать плешь тут было уже незачем.

— Не могу примириться. Ощущаю это как какой-то мелкий и для всех открытый позор без вины, — доверчиво пожаловался он, потеребив волосы.— И представьте, чувство это растет пропорционально лысине, понимаете?

Лара согласно кивнула, но сказала, что не представляет, как могут занимать такие ничтожные пустяки серьезного мужчину.

— Все еще хотите нравиться не только женщинам, но и девушкам? — с намеком на улыбку спросила она.— А как супруга относится к такому вашему пристрастию?

— Никак. Ее у меня нет. И пристрастия к девушкам тоже, — ответил Сыромуков.

— Но вы говорили, будто у вас сын, — напомнила Лара, следя за его лицом. Сыромуков, полуотвернувшись, сказал, что жена бросила его тринадцать лет назад, уйдя к другому.

— Бедный,— откровенно издевательски сказала малютка,— и лысеете вы без вины, и жена оставила вас одного с ребенком. Ай-я-яй!.. Но вы тактически правильно поступаете, Родион Богданович. Женщины испокон веков любят утешать одиноких и непонятных. Это проистекает у них из так называемого материнского инстинкта. Между прочим, они тогда не противятся тому, чтобы ими руководили. Даже без очков... Вы не опаздываете?

— Куда? — спросил Сыромуков.

— На процедуру.

— Нет. Мне не нужно,— досадливо сказал он.— А почему вы заговорили со мной в таком тоне? Какая муха укусила вас?

— Не переношу, когда избранники природы прикидываются несчастненькими,— злобно сказала Лара.— Эта роль им не подходит. Другое дело карлики, вроде меня... Скажите, у вас в самом деле больное сердце? Или...

Она не докончила фразу и посмотрела на Сыромукова уличающе-допросным взглядом. Он закурил и оскорбленно сказал, что все выдумал. И сердце, и лета свои, и уход жены. Ну, и что из этого следует?

— А то, что вы какой-то, извините, неестественный, выставочно-показной, — резюмировала малютка. — И имя-отчество у вас книжное, выдуманное. И сына вы назвали претенциозно — Денис! Кстати, а как ваша фамилия? Как она звучит?

— Правильно звучит! — сказал Сыромуков и с нажимом, по слогам, дважды повторил свою фамилию.

— Как псевдоним, — определила Лара.

— Рад слышать, но я не сам придумал ее! — возразил Сыромуков.

— А имя сыну?

Он сказал, что нарек так Дениса из противодействия натиску пошлой моды на заграничные имена. На Маратов, Робертов, Ричардов, Аполлонов. До известного времени такой Аполлон еще так-сяк может вписываться в родное пространство, но потом его ведь придется величать по батюшке. А тот — Сидор. И получится как в старинной русской поговорке — без порток, а в шляпе.

— Весьма изысканное выражение! — саркастически сказала Лара.— Вы, значит, современный русофил. А скажите, пожалуйста, какого стиля придерживаетесь вы в архитектуре? Псковско-византийского?

— Нет. Лазурного, вообразите себе,— едко ответил Сыромуков.

— А что это значит?

— Это значит — города вечного солнца, музыки и радости!

— Любопытно. И как встречались ваши проекты?

Вы как будто говорили мне... образно так... что всюду совались, а нигде вас нет. Как это понимать?

— Прямолинейно. Проекты мои встречались молчанием.

— Почему?

— Те застройки, что я предлагал, пока что неосуществимы.

— Но вы с этим не согласны, конечно?

— Вполне согласен.

— И тем не менее...

— И тем не менее! — раздраженно перебил Сыромуков и надел берет.— Хотите со мной в город?

Лара замедленно кивнула и с разоряющей покорностью спросила, надо ли переодеваться.

— Вы подождете меня? Я быстро,— жалко сказала она.

С того места, где Сыромуков условился ждать, Эльбрус не проглядывался, заслоненный деревьями, и оставалась надежда, что облако-орлан над ним цело,— все величественное не исчезает ни с того ни с сего! Справа, с северной стороны за городской низиной, далеко просинивались пологие взгорья, и там по невидимой дороге картинно ехал крошечный всадник, которого вполне можно было принять за Печорина или Казбича, но как ни старался Сыромуков отвлечься, это ему не удавалось; самоощущение у него было такое, будто он проглотил запеченную в булке муху, приняв ее за изюм, а булку ел черт-те зачем, не испытывая голода. Было муторно на душе, стыдно себя, и хотелось припомнить что-нибудь задорное и отталкивающее в ребяческих проступках Дениса — от этого почему-то становилось легче ждать. Беседа с Ларой представлялась Сыромукову какой-то мусорной перебранкой, в которой он оказался в роли защищающегося с неверным и фальшивым тоном, обязывающим продолжать отношения, но главное из стыдного было в другом — он не мог ответить себе, зачем ему понадобилось каяться в позоре своей намечающейся лысины, кокетливо жаловаться на молчание, с каким встречались его л а з у р н ы е, видите ли, проекты, и выдумывать, будто жена ушла к другому? Ничего подобного ведь не было, она ни к кому не уходила, ни к кому! Нехорошо было и все остальное в бе-

седе-перепалке, в особенности же Сыромукова неприятно озадачили слова малютки о том, что он неестественный, выставочно-показной, — его бывшая жена не раз и не два говорила ему совершенно обратное, совершенно: там возмущались его усредненностью и «стертостью».

— Поди объясни кому-нибудь, что это значит! — сказал Сыромуков и выругался темно и непутево в месть и унижение себе. У него были сложно запутанные чувства к ушедшей жене: рядом с обидой в нем все больше и больше росло теперь сожаление к ней и сострадательное прощение того, что в совместной их жизни порождало его враждебность и ненависть. Оттого, что место ожидания Лары походило на скрытую засаду и было неизвестно, за каким дьяволом он пригласил ее в город, Сыромуков не только без горечи, но почти с уважением оглядел мысленно свою супружескую жизнь, показавшуюся ему остовом недостроенного и заброшенного дома, возводившегося по вполне лазурному проекту.

— Попробуй расскажи кому-нибудь толком, что у вас случилось! Как началось это ваше строительство и чем оно закончилось! — опять сказал он вслух и подумал, что не только посторонний человек, но даже сам он уже давно и сомнительно полуверит себе — да было ли все это на самом деле? Шел ли он в действительности тогда в форме немецкого лейтенанта? Шел? Или это перенесено на себя из многосерийных боевиков про партизан-разведчиков?

Но в том-то и дело, что шел. В том-то и дело!

Тогда, в сорок третьем, весна в Прибалтике наступила рано, уже в апреле в лесах зацвели дикие яблони и появились кукушки... Я недавно узнал, подумал Сыромуков, что тоскует-кричит не кукушка, потерявшая детей, а самец. Да-да, самец, и черт с ним, такая, значит, у него судьба...

На то, чтобы мысленно окинуть ту свою партизанскую весну, лето, осень, зиму и снова весну и лето уже нового, сорок четвертого года, Сыромукову понадобился один короткий миг — это все равно, как если б лучом карманного фонаря поверочно высветить в темном подвале сложенное тобой же добро и удостовериться, что все там цело, все остается на своем прежнем месте. Другое дело заново перебирать-раскладывать это добро-недобро. Сыромуков подумал, что навряд бы он справился с такой задачей. Какие-то клади пришлось бы

оставлять неприкосновенными, а что-то именовать иначе для понятности людям, так как нажить эта принадлежит всем, а не кому-то одному... И тем не менее он все-таки шел в форме немецкого лейтенанта. В том-то и дело!.. Тогда, в апреле сорок третьего, к его группе нечаянно пробилась толпа бедолаг, бежавших из какого-то барак-лагеря на торфоразработках. Их было шестнадцать человек с палками-посохами в руках. Как и полагается, ими уже путеводил свой лидер, организовавший побег,— паренек лет девятнадцати. Нет, они не кинулись обниматься, все двадцать шесть сыромуковцев — сам он тоже,— встретили их молча, и бедолаги стояли тесно сбитой кучей, с мольбой и страхом глядя на тех, кто до этого грезился им как осанна верующим. Эту безоружную ораву больных и голодных доходяг сыромуковцы поднять не могли. Беглым предстояло брести своей дорогой на восток, и лидер их, возможно, получил бы немецкую винтовку, лишнюю в группе, но в последний момент Сыромуков заметил торчащий у него за гашником столовый ножик с деревянной ручкой.

— А ну, покажи, — потребовал он.— На хуторе добыл?

— Так точно, товарищ командир! — по-военному ответил лидер. Острие самодельной косенки было, как огонь, успел наточить.

— Выпросил или украл? — возвращая ножик, спросил Сыромуков.

— Дома была одна старуха. По-русски она не понимала...

— Но хлеба дала?

— Так точно! И сала тоже!

— Какое у тебя воинское звание?

— Старший сержант... бывший.

— Почему бывший, раз ты живой? Кто тебя демобилизовал?! — прикрикнул Сыромуков.

— Не знаю... в плен же попал. Не бросайте нас, товарищ командир. Мы же свои...

Сыромуков не узнал, кто сказал тогда, что за линией фронта проверят, свой он или чужой. Это было выдано с дрянным полусмешком превосходства сильного над слабым и как бы правого над виноватым. Сыромуков, как под ударом, обернулся на эти слова. Его

люди стояли, демонстративно покоя на животах игрушечно ладные немецкие автоматы. Да, это у них было. Уже было. Но перед кем же похваляться? И зачем? Затем, что им, вооруженным, не будут потом заданы вопросы, чьи они родом? Не будут? А ведь всего лишь семь месяцев назад он точно так же вел их, голодных и безоружных, на восток, только толпа та была раза в три больше этой: в товарный пульман, откуда они бежали, немцы загоняли по сорок восемь человек... Сейчас невозможно было узнать кого-нибудь из них, тех, саласпилсских. И нельзя было — не нужно в лесу — устанавливать, кто бросил камень в этих. Он метко попал в цель, вожак беглецов заплакал, а Сыромуков приказал ему построить своих людей.

— За что, товарищ командир? Мы же все раненые были! Не губите!

Он упал на колени, а люди его шарахнулись в глубь леса, но не врассыпную, а кучей, хватаясь один за другого. Потом, секундами позже, выяснилось все, и было трудно удержаться от желания ударить лидера за сумасшедшую мысль и за то, что подчиненные его не знают, как спасаться в лесу из-под расстрела в упор... Осипшим голосом, подстегнутый каким-то устрашающим восторгом перед собственным решением, которое возникло у него, как возникает в человеке порыв к подвигу, Сыромуков объявил беглецам, что властью, данной ему как лейтенанту и разведчику генерального штаба Красной Армии, он восстанавливает им воинские звания и зачисляет в свою спецгруппу. Так был удостоверен смутный домысел его людей, кто такой на самом деле их командир. Сыромуков знал о существовании этой ложной на его счет догадки, но внятно не подтверждал и не опровергал ее: она не только предоставляла бывшим пленным основу для личных надежд на жизнь, но в первую очередь подчиняла их поведение интересам высшего порядка. Тайно, про себя, он уже давно решил, что только э т о — вера в его мнимую миссию — может придать нравственно ценный смысл их поступкам, помочь им — и ему самому тоже — не превратиться в обыкновенных мародеров. Другое дело, как все это будет. Сумеет ли он держать себя так, чтобы, не роняя достоинства генштабиста, не присваивать в то же время его привилегии. И как быть потом перед своими э т и м и и

своими т е м и, что придут? Сможет ли он объяснить, для чего ему понадобилась ложь? Наверно, все-таки сможет. Бежавших из лагерей будет все больше и больше. Они тут без знамен и без надежд. Им нужен, нужен генштабист со своей полномочной властью и силой, милостью и защитой, и не его вина, что такого человека среди них нет!..

Может быть, только тот, кто по злой воле судьбы оказывался в недосягаемости законов своей страны и за чертой доступности ее послов, в состоянии понять, как отрадна бывает минута обретения над собой сладкого бремени защитной власти этих законов! Хотя русский человек склонен легко переходить от неприязни к любви и от печали к радости, все же тогда в прибалтийском лесу был несомненный повод для того, чтобы каждый побратался со всеми, а все с каждым...

Так пополнилась в первый раз группа Сыромукова, и уже на второй день положение ее усложнилось вдвое. До сих пор она жила летуче, не отвлекаясь от главных шоссейных дорог. Свалить в кювет любую автомашину, если она шла без сопровождающего броневика, не считалось трудным делом — для этого достаточно было двух автоматов, чтобы один бил по кабине, а второй по кузову. В «бьюссингах» и «опельблицах» попадалось не только оружие. В крайнем случае запас еды пополнялся при переходах, чаще всего на встречных хуторах лесников или старост — людей богатых и враждебных. Теперь же группа утратила свою жизнеспособность, затаборившись на одном месте: после братания и еды на новичков напал не то какой-то злостный понос, не то дизентерия. Они все оказались пораженными вшами, чесоткой, струпьями да болячками, и заряда жертвенной любви к ним у сыромуковцев хватило ненадолго. Больные лежали в шалаше из еловых лап и сосновых веток. В его крыше была дыра, но дым от костра не всходил вверх, а стлался понизу, гася пламя, и доходяги по ночам мерзли и задыхались. Уже на вторые сутки Сыромукову стало ясно, что тут ничего нельзя было поделать, если б даже все его двадцать шесть человек оказались разведчиками генштаба, решительно ничего, кроме единственного — сняться с места и уйти. Одним. Оставив тех в шалаше с замаскированным костром. Но генштабистом был он один на всех — и для этих, и тех, и, главным образом, как ему казалось, для тех, только

что восстановленных в воинских правах. Бросать их было нельзя. Тогда сама собой разрушалась и оподлевала идея его самозванства. Тогда им, вооруженным, прямой путь в бандиты. Чтоб пограбить и пожить, а там... Нет, бросать новичков было нельзя, но другого выхода Сыромуков не видел. Он быстро убедился, что до самозванства ему было легче командовать. Тогда требовалось лишь улавливать согласное желание всех и в соответствии с ним принимать решение. Теперь же все изменилось. Теперь люди безропотно помалкивали, ждали его приказа, что им делать и как быть. В их поведении появилось что-то скованное и притушенное; они стали отдаленнее от него. Сыромуков не знал, что надо было делать, и скрытно возненавидел тех, что лежали в шалаше. Никому и никогда он не признался в том, как заклинающе горячо призывал на них тихую легкую смерть, чтобы она прибрала их одним освобождающим махом, враз. Тогда бы их почетно похоронили в общей могиле, как воинов и братьев, и группа снялась и ушла бы своей дорогой.

Но заклятья не действовали, доходяги оставались живы — им, обретшим права людей и солдат, нельзя, наверно, было так бессмысленно погибнуть. Сыромукову показалось тогда нужным покаяться бывшим пленным, что он обманщик, что настоящий разведчик не станет объявляться перед строем, о чем им следовало бы знать... Он представил себе — тут, перед шалашом! — этого настоящего разведчика. Подумаешь, какая засекреченность!..

И Сыромуков раздумал каяться... Сейчас бы он ни за что не согласился поглядеть на себя — того себя — даже издали. Что тогда с ним было? С какой стати он взял и надраил песком пуговицы на своей нелепой железнодорожной шинели? Она была черная, безобразно широкая и длинная, и латунные пуговицы ее чистить не следовало хотя бы потому, что на них изображался какой-то витязь на вздыбленном коне, а не своя красноармейская звездочка. Голенища яловых, польского фасона сапог тоже не надо было подворачивать, — на кой черт, ведь ходил же до этого в нормальную длину, а тут вдруг срочно понадобилось! Зачем? К какому смотру готовился? Утверждался, значит, в «генштабстве», зас...! Еще мельче и недостойнее было то, как он на тре-

тьи сутки братания воровски ловко спрятал свою беспомощность и растерянность за напущенной на себя неприступной таинственностью. Дескать, я знаю, что делаю, все учтено и выверено, и обсуждать что-нибудь тут нечего! К тому времени кончилась еда. Хотя никого из братвы не приходилось учить, как находить насущный свой кусок, все же добыть его без риска навлечь на себя карателей возможно было лишь в движении, а не сидя на одном месте.

В тот день он с утра не вылезал из своего командирского шалаша и с великим усердием провинившегося человека работал — протирал «вальтер». Это занятие, как и чистка пуговиц, тоже было ненужным и несрочным, но все же ему сообщался кое-какой смысл: оружие есть оружие, оно требует ухода и догляда. Он работал и думал, что выходить ему из шалаша только с подвернутыми голенищами и начищенными пуговицами немыслимо, что он обязан отдать людям какое-то обнадеживающее их распоряжение, в котором проявилась бы и его командирская уверенность. Он поискал, чем бы возмутиться по хозяйству лагеря, но приказывать людям было нечего. Они сами, по заведенному между собой порядку, распределяли на стоянках время смены друг друга в секторах, знали, чем грозит осечка или невыброс стреляной гильзы, и свои автоматы содержали в добре. Нет, приказывать братве на стоянке было нечего; и все же повод проявления «генштабской» воли в конце концов отыскался: Сыромуков распорядился принести ему в шалаш «штабной сейф». Это был фельдпостовский парусиновый мешок величиной с матрац, клейменный черными чернилами орлами. Четыре таких мешка с письмами и посылками на восточный фронт попались группе в подбитом «блице» минувшей зимой накануне Нового года. Писем как раз хватило на скорый обогревной костер — в тот день дул низовой промозглый ветер. Посылки были разной величины, но даже самые большие не превышали размера упаковочных картонок для дамских туфель, и все они уместились в одном мешке. Его несли поочередно, то и дело сменяя друг друга, и причина такой взаимовольной предупредительности была не в тяжести мешка, а скорей всего в святой ревности приобщения к тому, что в нем находилось. Досмотр посылкам учинили на первом же привале, и начался он с больших, окрещенных «гауптмановскими».

Там лежали настылые, в фольговом серебре и золоте, шоколадные плитки, красочно расцвеченные пачки сигарет, грецкие орехи, брикеты галет и печенья. То же самое, но потусклей и помельче было и в средних, «фельдфебельских» коробках. Их досмотрели с таким же чинным сознанием своего права на это, как и «гауптманские», и, может быть, каждый считал и верил тогда, что эти новогодние подарки посланы ему самим господом богом... Маленьких посылок-пакетов оказалось раза в три больше, чем офицерских. Им не стали придумывать название — было ясно и так, что это солдатские. В той, что вскрыли первой, лежал в какой-то запретной сокровенности начавший плесневеть пирог домашней выпечки, серые, грубой вязки носки, три или четыре витые елочные свечки и фотокарточка старой женщины, покрытой темным платком на русский манер. На привале установилась трудная пустая тишина, пока посылка переходила из рук в руки. Ее водворили на место, в мешок, и кто-то из братвы крикнул, что хватит тех, больших, мать их в закон и веру, а эти холостить не надо, никто не нуждается... Сыромуков ушел тогда в лес, борясь с удушающим комком, подкатившим к гортани, а вернувшись на поляну и все еще стыдясь своей минутной слабости, остервенело скомандовал поход. Он так и не узнал, потому что не хотел знать, куда делись эти солдатские посылки, когда и где братва похоронила их. С той зимней поры мешок и превратился в «сейф». Его мыслилось предъявить потом одновременно с самим собой тому, кто будет ведать дальнейшей судьбой бывших пленных, и предполагалось, что чем больше окажется в нем разной трофейной клади, тем благополучней сойдет та встреча...

Этот-то «сейф» и был доставлен в шалаш Сыромукова. В щель лаза он видел лишь сапоги того, кто его принес,— тупоносые, на двойной подошве в железных шипах, с удобно короткими голенищами в раструб. Брюки и шинель на парне тоже, конечно, были немецкие. Сыромуков впервые тогда подумал, что грядущая встреча со своими может обернуться лихом, если братва будет одета и обута так же, как и власовцы,— поди там определи сразу, чей этот малый родом и откуда он... Тот доложил тем временем об исполнении приказаний, назвав Сыромукова не командиром, как

это было принято в группе, а товарищем лейтенантом, и попросил разрешения идти. Он стоял по команде «смирно» — это было видно по сапогам, и повернулся кругом по-военному собранно, и с места шагнул с левой ноги. Он, наверно, считал, что если воинское достоинство возвращается каким-то там пришей-пристебаям, только что сбежавшим из плена, то ему, кадровому сыромуковцу, сам бог велел числить себя военным. По его уходу Сыромуков ощутил себя полностью раздавленным сознанием неспособности оправдать надежды обманутых им людей... Сейчас ему не хотелось задерживаться памятью над тем, как он примеривающе нянчил «вальтер», мстительно отсылая братву самостоятельно решать, что делать с собой и с доходягами. Вспоминать об этом не хотелось потому, что даже теперь невозможно было определить, какая причина помешала тогда ему: мысль о таком злостном своем дезертирстве или же протестующий ужас тела перед вонючим куском железа. Но скорей всего это намерение было неискренним, выблудочным, чтобы потерзаться жалостью к себе. Недаром же он забыл о пистолете, как только в шалаш влетели две лимонницы. Они огненными лоскутками заметались в зеленой тьме, и он долго следил за их слепым трепетным порханием, сам дивясь тому, с каким душевным напряжением, доходящим до физического страдания, ждет их излета на волю, а когда загад сбылся, подтянул «сейф» к ногам. Мешок был завязан нарочно окороченным для того трофейным поясным ремнем. Его пряжка покрылась налетом сизой окиси, но буквы девиза «готт мит унс» проступали на ней выпукло и почему-то блестели. Сыромуков знал смысл этого изречения и никогда не спотыкался на нем разумом — мало ли было кощунств на земле и помимо, но в тот раз он с безысходной смутой подумал, что даже вот у фашистов есть свой бог и свой Адольф Гитлер, а от него с братвой и от тех, что повалом лежали в вигваме, давно оступились все небесные святители...

Бесцельно, но сосредоточенно он стал доставать из мешка трофеи — бумажники с документами и марками, оторванные с мундирной тканью солдатские и офицерские погоны, затихшие часы, кресты и медали, губные гармошки, карманные фонари, портсигары, автомобильные ключи зажигания — и неизвестно зачем расклады-

вать подле себя. Дрязг этот отдавал сложно соединенным запахом слежавшейся нечистоты, железной ржавчины, солярки и еще чем-то невыразимо отвратным. С бессознательной брезгливостью и опаской, будто он захватывал живую мерзкую тварь, Сыромуков выбрасывал и выбрасывал из мешка, что попадалось под руку, и, когда там ничего не осталось из мелочи, безнадежно подумал, что едва ли этот хлам послужит хоть каким-нибудь свидетельством перед своими, что он с братвой тоже не чужой. Наверно, придется еще доказательно объяснять, как это собиралось, для чего и по чьему распоряжению... Его тогда впервые настигло раздумье, почему этот дурацкий мешок с муторной поклажей ни разу не навел братву на догадку, что их командир — такой же бывший пленный, как и они сами? Отчего они считают, что он неспроста куковал с ними в лагере? В чем тут причина? В том, что он организовал побег? Или же в том, что человеку хочется обманываться, если это сулит хоть какую-нибудь надежду?..

В мешке оставалась еще самая главная кладь — три жандармские нагрудные бляхи и комплект офицерского обмундирования. Кладь эту Сыромуков выбрал из мешка напоследок — хотелось убедить самого себя, что не все там дрязг и бирюльки. Предполагалось, что обезвреженные знаки жандармской власти должны будут произвести впечатление на любого своего тыловика-дознавателя — если, конечно, не распространяться насчет того, как они были добыты. Встреча с жандармами не потребовала от братвы ни жертвенного подвига, ни даже мало-мальского солдатского риска: те были укобенены безобразно грубо, легко и безжалостно, а главное, случайно: они шли по шоссе, ведя заглохший мотоцикл и никто из них не успел схватиться за оружие или залечь в кювет. Уже мертвых, братва продолжала расстреливать их вблизи, и ей нельзя было приказать прекратить победно-яростную стрельбу... Да, отсвета воинской доблести на трофейных бляхах, пожалуй, не было — жандармы полегли, как быки под обухом. Черт догадал их погибнуть без ответных выстрелов! Не удосужились выпустить хотя бы одну-единственную очередь! Тогда б кто-нибудь из ребят мог быть убит... а лучше всего ранен, в левую, например, руку, и с бляхами все вышло бы по-другому. Как-никак, а была бы стычка, кровь...

Не много солдатской славы, как ее понимал Сыромуков, причиталось его людям и от тюка с офицерским обмундированием — два месяца назад «адлер» так же был подбит из засады, и оба немца в нем — ефрейтор-шофер и этот Курт фон Шлихтинг — едва ли успели подумать о сопротивлении: машина перелетела кювет и врезалась в сосны. Ефрейтору угодило в голову, а на лейтенанте пулевые метины отсутствовали — разбился сам. На нем была щегольская шинель и сизо-белесый, с серебряным аксельбантом мундир, лакированные сапоги и миниатюрная кобура хромированного браунинга. В его бумажнике оказалось около тысячи рейхсмарок, надписанная фотография Геринга и личные документы. Он был каким-то там «фоном», хотя и без крестов. Он, несомненно, должен был считаться знатной шишкой, поскольку даже в машине сидел в лайковых перчатках, и поэтому обмундирование его попало в «сейф». Полностью...

Тюк был завернут в домотканое рядно и перевязан веревкой, похожей на вожжи, а откуда это взялось, Сыромуков не знал, не помнил такого своего распоряжения — д о с т а т ь у хуторян попону,— братва, значит, сама, помимо него, заботилась о сохранности трофеев. «Что ж, может, это и пригодится. Пусть не все, но хоть что-нибудь. Да и кто знает, сколько накопится в «сейфе» тех же самых блях, пока придут свои. Их, возможно, будет тридцать, а не три!.. И вообще любой трофейный запас мешку не порча. Нет, не порча! К нему можно будет приладить потом носилки, чтоб таскать вдвоем или вчетвером,— мало ли что еще в нем окажется, будь он проклят!.. Все еще без смысла и цели Сыромуков развязал тюк. Шинель, френч и бриджи почти не смялись, но фуражка сплюснулась и покривилась, приняв несерьезный, прощелыжный вид. Ее, наверно, следовало набить мхом и выправить, иначе какой дурак поверит, что такая лепеха принадлежала родовитому арийцу, разъезжавшему в «адлере». Чтобы придать фуражке первоначальный кандибобер, Сыромуков насадил ее на колено, и тулья выпрямилась. Он ради любопытства примерил фуражку — она пришлась точно впору — и ощупал ее края. Тулья топорщилась, как ей и полагалось, и только немного кренилась набок. Вслед за фуражкой, но тоже лишь в угоду ребяческому порыву состязания с мертвым избранником человечес-

кой породы, он надел галифе, френч и сапоги. В шалаше нельзя было выпрямиться во весь рост, но, и стоя на коленях, Сыромуков ощущал, как подхватно ладно облекла его тело эта чужая воинственная одежда. Тогда он открыл, что в нем все еще не истреблена потаенная вера в неуязвимость на этой войне, и рядом с мыслью о позоре своего ребячества — «люди ждут приказа, что им делать, а ты тешишься примеркой фашистского мундира!»— рядом со стыдом этого самоуличения в нем жила и светилась какая-то своевольная искра упрямого торжества. Он придвинулся к лазу шалаша и прислушался, пытаясь вылущить для себя только те звуки табора, в которых проявилась бы его тревожная бедственность, и сразу же отметил, как по-весеннему ласково и сокровенно блестели иглы крошечных елок, росших перед шалашом и смятых сапогами того парня, что принес «сейф», услышал приглушенные стоны доходяг, но не омрачился ими,— незаконное чувство бодрости не поддавалось никакому укору совести... Он до сих пор отчетливо помнил, с каким счастливым чувством первооткрытия нашел в кармане фоншлихтингского френча хромированную зажигалку и ярко-зеленую пачку сигарет на десять штук. Обычно трофейное эрзац-курево сгорало за три затяжки и отдавало дымом пересохшей соломы, а эти сигареты курились с замедленной постепенностью и пахли настоящим табаком. Он помнил и то, как решил не возвращать в «сейф» перочинный ножик с перламутровым черенком о четырех лезвиях — «возьму себе», решил, как о нечаянно обретенной потере, и взял, не постыдился... В груде трофейного дрязга лежали и другие заманчивые сокровища — например, те же губные гармошки, и осталось неизвестным, какую из них, металлическую или деревянную, он выбрал бы себе, если б ему не помешали. Тогда за шалашом возникли шаги, и он услышал, как кто-то из братвы сказал вперемежку с матом, что это, мол, называется скинуть сапоги, а самому обуться в лапти.

— Жди, падла, прическу. Конец нам тут будет разом с доходягами!

Ему с угрюмой обреченностью заметили, что это не его телячья забота.

— А мне лично все одно, что мед, что патока,— сразу сдался ожидавший прическу.

— Ну вот и сопи в тряпочку,— вразумили его.— Сухомятому видней, что к чему, понял?!.

Кличку в группе носил каждый, чаще всего озорную или малопристойную. «Сухомятым» братва заглазно звала Сыромукова. И что ему, оказывается, было видней всех, что к чему. Ему одному!.. Даже теперь, тридцать лет спустя, он не мог с уверенностью сказать себе, что тогда потрясло его до восторженно-сладких слез — немая благодарность братве за ее преданную верность или же ликующая радость прозрению, озарившему его мозг и грозным гулом отозвавшемуся в сердце, — он нашел выход и знал, как ему следовало поступить!..

Лара подошла неслышно сзади и по-детски капризно пожаловалась, что ее задержал в палате врачебный обход. Она несла в руках небесную мохеровую кофту и черную круглую сумку в медных нашлепках, а на самой был серебряный шлемик, белые туфли на платформе и темное вязаное платье, сквозящее в ячейки чем-то тревожно малиновым, напоминавшим плоть младенца, которого искупали в непомерно горячей воде. В ее доверительной жалобе на задержку врачами Сыромукову почудилась притягательная претензия на его суверенитет, и он возмутился отвращающей модностью ее платья, толщиной подошв у туфель и сумкой, похожей на щит. Мальбрук в поход собрался!.. Ему попрежнему не было ясно, за каким чертом он пригласил ее в город, и было стыдно за свое вранье об уходе Елены к другому. С какой стати сбрехал? Зачем? Какая-то подлая старческая суета и безудержь...

— Почему мы стоим? — подозрительно спросила Лара. Она, наверно, что-то уловила в его настроении.

— Но тут ведь негде сесть,— перекорно сказал Сыромуков. Лара сосредоточенно посмотрела на него снизу, и он заметил, как некрасиво и жалко задрожал у нее подбородок, а руки с ношей приподнялись и вынеслись вперед.

— Вы же хотели показать город... Не будете уже?

— А что там...

У него на этом слове споткнулось сердце, но не обрывно и не глубоко, так что он не успел испугаться. Он захватил ртом большую дозу воздуха и задержал его, а Ларе погрозил пальцем.

— Что такое?— смятенно спросила она.

— Тихо, — на выдохе сказал Сыромуков таинственно, — мы сейчас пойдем в город. Дайте, я понесу вашу кофту.

Он взял у нее кофту и уложил на свое плечо. От нее пахнуло загадочно, свежо и нежно, как пахло, бывало, от повилики после грозы, и Сыромуков вдруг растроганно ощутил тихое чувство прикосновенности к чему-то сокровенному и забытому. Он спросил, какие на кофте духи, и Лара с безразличным видом ответила, что это «Шанель».

— Никак не воскрешу, что связано в моей жизни с этим запахом,— сказал Сыромуков.

— Неприятное?

— Нет, светлое.

— Когда долго помнится запах, возрождающий картину прошлого, это называется эманацией памяти, — объяснила Лара. Сыромуков изобразил на лице почтительность, а сам подумал, что ей больше подходит имя Эманация, чем Лара. Ему опять пришла шальная мысль щелкнуть ее мизинцем, и, чтобы скрыть глаза, он с учтивой изысканностью склонил голову, пристукнув каблуками и старомодно согнув калачом правую руку. Лара важно приняла ее и оглянулась по сторонам, но поблизости никого не было. Сыромуков коротким поощрительным движением пожал ее локоть, и она ответила ему благодарным взглядом. Они установили размер шага, удобный для обоих, и пошли под уклон терренкура, еще пустынного и влажного от ночной росы. Кофта держалась на плече Сыромукова грациозно и цепко, как ручная белка, и запах духов от нее исходил не постоянным током, а промежуточными волнами, как и следовало, чтобы не привыкнуть к нему. Лара шла увлеченно, будто ее манила вперед серьезная цель, и шлемик ее плыл у плеча Сыромукова без кренов и покачек. В притропных кустах боярышника сыто и музыкально верещали птицы, в горах и в небе было покойно и вольно, и Сыромуков подумал, что Денису придется все-таки написать правду, как хорошо тут жить. Он спросил у Лары, довольна ли она своим курортным уделом. Она, оказывается, не решила еще, довольна ли, потому что все, от чего человеку бывает хорошо, дается ему, к сожалению, трудно, и что надо всегда начинать с себя, тогда возможен успех.

— Успех в чем?— не понял Сыромуков.

— Во всем. Вот мне, например, уже легче идти с вами, как только я предупредила, что не ошибаюсь насчет своего роста. И вам, как мне кажется, тоже не стыдно теперь со мной. Я права?

— Это вздор. Ваш рост...

— Идеален,— в нос сказала Лара.

— Не в этом дело,— запутался Сыромуков.— Хотя мне лично стало значительно свободней после того, как отпала необходимость скрывать перед вами свою лысину. Это точно!

— Но то же самое произошло и со мной. Против чего вы протестуете?

— Да я не протестую, а только хочу сказать...

— Что вы проникаетесь гордым достоинством перед встречными, идя со мной рядом, да?

— Вы язва,— восхищенно сказал Сыромуков.— Кстати, а вам не холодно в таком кисейном платье?

— В кисейном? Но оно же на чехле. А вы что подумали?

— Почти непристойное.

— Очень мило! С каких же это пор человеческое тело непристойное зрелище?

— Наверно, с тех самых, как с него исчез след рая, — ответил Сыромуков. Лара заметила, что всякие разумные примеры или доводы способны наносить обиду собеседнику, поэтому лучше их не приводить.

— Кстати, я хотела попросить у вас прощения за... ну, вы знаете, вам нравится руководить другими.

Сыромуков принял покаяние, а от приглашения руководить другими отказался, так как с детства якобы боялся и ненавидел тех, кто распоряжается чужими делами.

— Вы слишком непостоянны, — упрекнула Лара.

Сыромуков сказал, что он любит движение.

— Это исключает последовательность?

— Конечно. Разнообразие всегда было врагом его.

— Вы хотите сказать, что правило боится оригинальности?

— Безусловно. Особенно когда это правило опошлено.

— А что такое пошлость?

— Стократная повторимость. Или стихийная расхожесть моды на что-нибудь. На ваши мини-юбки, напри-

мер, седые парики, на наши бороды, нелепые галстуки лопатой, на иконы, подсвечники.

— На портреты того же самого Есенина и Хемингуэя, — невинно подсказала Лара.

— Конечно, — сказал Сыромуков.

— Значит, пошлость — массовость? Но ведь в это понятие заложена идея блага для всех. Интересно, как вы вывернетесь сейчас.

— Ну и пусть заложена, — сказал Сыромуков, — но не станете же вы отрицать, что главным в идее блага считается теперь потребительство и наслаждение?

— Допустим. А почему?

— Очевидно, потому, что главным органом индивидуальной жизни является все-таки пищеварительный канал.

— О господи! Сама я тоже люблю говорить иногда несуразности назло так называемым праведникам, а вот слушать чужие благоглупости спокойно не могу. Вы не знаете, в чем тут дело?

— Не впадайте в панику, — сказал Сыромуков, — наличие у нас пищевода совсем не означает, что над человеком, — но над Человеком, заметьте! — не довлеет еще и благородный груз так называемого категорического повеления.

— Не зависяще от него самого? Что же это такое?

— Чувство долга, чести, самопожертвования.

— Но это тоже остается лишь в идеале, извините за выражение, поскольку здесь требуется человек с большой буквы, как вы сказали?

— Нет, — возразил Сыромуков, — не человек-исключение требуется, а благоприятные условия для осознания каждым...

Он осекся — из-за поворота терренкура навстречу им вышла женщина, внезапно остановленная тем знакомым Сыромукову преградным толчком взрывного испуга, когда человеку кажется, что он уже просрочил время, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Она была чудовищно толста и громоздка и стояла в напряженной позе ожидания конца удушья, как определил ее приступ Сыромуков, успевший мысленно обругать врачей за то, что они разрешают таким людям шляться по горам. Он подумал, что нитроглицерин поможет ей, но достать стекляшку не успел, заметив, как покойно-

справно больная попятилась к кромке тропы, благополучно удерживая в руке полиэтиленовый мешок с апельсинами. Она приложила к надбровьям козырек ладони и с откровенным горестным удивлением глядела на Лару. Сыромуков загораживающе вынес вперед плечо, на котором лежала кофта, не зная, как ему поступить, если эта овсяная скирда возьмет и причетно заголосит: «а-я-яй, да господи же ты, боже мой!» Он покосился на свою спутницу и увидел, что сумку она несет впереди себя, болезненно глядя куда-то вверх и вбок. Они сбились с шага, потому что Лара попыталась высвободить свою руку из-под локтя Сыромукова, но он не выпустил ее и неестественно громко сказал, что то категорическое повеление, о котором они говорили, проявляется главным образом в условиях всенародных бед и войн в первую очередь у людей с большой душой, а не телом.

— Уразумела ты, в чем тут дело? — спросил он, когда они поравнялись с курортницей. Лара предслезным шепотом сказала, что все это пустые слова и что она не желает утешений.— Не капризничайте по пустякам,— отечески сказал Сыромуков и волоком, чтобы разорить начес, стащил с головы берет. — Извольте-ка нести вот этот мой десантный доспех, а то в нем жарко. Кроме того, некоторым бывшим военным пора, я думаю, надеть очки. Вы не находите?

Он преднамеренно низко склонил голову, когда передавал берет, и по тому, как Лара подлаживающе сменила шаг, решил, что деликатный баланс их индивидуальных достоинств восстановлен снова.

Терренкур вывел их к санаторию «Россия». Его гранатовое куполообразное здание было, по убеждению Сыромукова, одним из лучших в Кисловодске — архитектору удалось вдохнуть в свое творение живое настроение радушия и привета. Это как бы запрограммированное здесь обещание добра не только витало над самым зданием, но и распространялось окрест, и Сыромуков таинственно сказал о нем Ларе. Он убежденно объявил, что из всех искусств архитектура самое неотразимое доказательство того, что над людским родом никогда не тяготело и не тяготеет проклятие зла, ибо человек непорочен от рождения, раз способен возносить величественные храмы самому себе и богу. Лара мягко осведомилась, кто же тогда наполнил мир изу-

верствами? Бог, а не сами люди? И куда в таком случае человечеству деть своих иродов? Сыромуков хотел сказать, что любое преступное дело все равно регистрируется где-то там на незримых нам горних скрижалях и в конце концов наказывается неким внечеловеческим законом, но это показалось ему смутным и напыщенным доводом. Он промолчал и подумал, как все-таки легко стащить на землю того, кто взовьется на минутку под купол неба. Раз — и тот очутится на своем окровавленном песчаном шарике, накопившем слишком много темных летописей!

— Вот видите, как просто загнать оппонента в угол каким-нибудь ржавым историческим жезлом, — полусерьезно сказала Лара, — хотя мне совсем не хочется спорить с вами. Хотите знать, почему?

Сыромуков кивнул.

— Но я скажу только то, что касается лично вас. Так вот, мне вы показались сейчас совсем другим, а не тем, что я думала о вас раньше. Вы, оказывается, не до конца еще прошли сквозь такие эмоциональные стадии, как сомнение и разочарование. И когда вы споткнулись на ироде, я еле удержалась, чтобы не помочь вам.

— Оттащить его на обочину истории? — засмеялся Сыромуков. — Но в нем, поди, пудов пять или шесть веса. Как в той женщине с апельсинами.

— А я хотела призвать на помощь Достоевского. Ведь он будто специально для вас сказал: «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!»

Было неясно, что она имела в виду, подав Сыромукову эту утешительную милостыню, — его ложь об уходе жены к другому или полупризнание, что он не состоялся как архитектор. Но, возможно, она просто хотела понравиться, зная по-женски прозорливо, как любит мужчина, когда его жалеют и превозносят.

— Так и заявил? — спросил Сыромуков в сторону, сам дивясь тому, как отрочно-больно толкнулось ему в сердце это утешение. — Никогда не увлекался и не понимал его, — сказал он о Достоевском. Лара с заботливым удивлением взглянула на него, но ничего не возразила и шла свободной раскованной походкой, погасив свои позиционные огни, согласная не противоречить. Через улицу, напротив «России», бульдозеры стирали с лица земли деревянные мансарды, утайливо раз-

бросанные в зарослях холма. Эти летние подсобные гнезда санаториев были различных стилей, форм и окрасок, построенные невесть когда, и теперь на их распланированном прахе сооружались бетонные типовые коробки всесезонных лечебных корпусов. Сыромуков остановился и стал закуривать, освободив руку Лары. Было безветренно, но спички почему-то гасли, и когда он повернулся спиной к стройплощадке, Лара певуче сказала о бульдозерах:

— Ка-акое варварство!

В душу Сыромукова нужно улеглось это ее возмущенное восклицание, но в то же время он уловил в нем и лицемерие в угоду себе, невольному неудачнику.

— Тут всего-навсего голая необходимость, а не варварство, — холодно сказал он. — Кроме того, никто из нас не застрахован от безвкусицы и отсутствия воображения. Только и всего.

— Вы так считаете? — вкрадчиво сказала Лара.— Но не потеряет ли в таком случае наше зрение способность к восприятию красоты? Мы не ослепнем эстетически?

Сыромуков ответил, что слепые хотя и не видят солнца, но теплоту его чувствуют, так что все тут в порядке.

— Я вас чем-нибудь обидела? — спросила она.

— Нет-нет, — спохватился Сыромуков, — я забыл, как это называется, когда запах оживляет забытую быль, и все пытаюсь вспомнить.

Лара напомнила, как это называется, и он взял ее под руку.

Точильщика бритв на месте не оказалось. У грота Лермонтова организованно толпились вокруг своих вожатых экскурсанты из разных санаториев, и протискиваться к казематной решетке дикарем едва ли было разумно. Здесь, в низине парка, совсем по-летнему млели цветы на газонах и даже душно парило, но Ларе вздумалось зачем-то надеть кофту на виду экскурсантов, что могло вызвать иронию, а то и открытую насмешку над галантностью Сыромукова, если бы он помог ей одеться. И он, как нашкодившего котенка, взял кофту за воротник и передал ее хозяйке. Лара сказала «благодарю», но без обиды. Они медленно и порознь пошли в верховье парка, задерживаясь у фотовитрин подле рукотворных утесов, на которых топыри-

лись ветхие чучела орлов с расширенными крыльями и пусто сквозящим зрачком стеклянных глаз. В створках витрин приманчиво красовались групповые и одиночные цветные фотографии с надписями: «Привет с Кавказа», и орлы на снимках выглядели по-живому внушительно. Отклонясь от главной пешеходной дорожки, они вышли к тесному и глубокому руслу Подкумка. Перед ним росли заповедно-гигантские деревья, название которых Сыромуков не знал, но Ларе представил их кипарисами, — это звучало экзотичней, чем, например, ясень или вяз. Меж этих «кипарисов» в синем сумраке как будто залегала какая-то первобытно-непорочная тайна, побуждавшая к раздумью и печали. Сюда не доносились никакие шумы и пока еще не достигало солнце, и воздух тек разнослойными волнами — то атласно сухо, то прохладно и влажно. Лара показалась тут еще меньше, прислонясь к могучему дереву, оголенному от коры, величественно погибшему стоя. Она сняла шлемик, кинув его рядом с сумкой у подножия дерева, и с истеричной вдохновенностью на запрокинутом лице, зажмурившись, начала декламировать гортанным низким голосом: «За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет... Для беглеца мне сад пошли: без ни — лица, без ни — души! Сад: ни шажка! Сад: ни глазка! Сад: ни смешка! Сад: ни свистка!.. Скажи: довольно муки — на сад — одинокий, как сама... На старость лет моих пошли — на отпущение души».

Сыромуков оторопело увидел, как из-под смеженных ресниц по щекам Лары катятся слезы. Первым неосознанным порывом его было утешающе погладить малютку по голове, — ну что, мол, такое — но наперебой этому появилось новое властное желание — прервать ее плач окриком, не юродствовать и таким образом помочь самому себе достойно перенести беспощадную пронзительность этих цветаевских стихов.

— Идемте на солнце! — клекотно распорядился он. Лара, по-детски всхлипнув, подобрала сумку и шляпку, и Сыромуков подумал, что ему надо, надо было погладить ее по голове.

На главной тропе им повстречался соловьиный мастер в своём страшном коновальском плаще с полуоторванным карманом. Он, вероятно, успел распродать утреннюю порцию товара, потому что не засвистел при их подходе.

Лара была молчалива и сумку временами несла впереди себя.

В санаторий они вернулись прежним путем, и там в продовольственном ларьке Сыромуков счетно купил четыре апельсина и две плитки шоколада, чтобы все это делилось поровну.

Ключа в гардеробной не оказалось — Яночкин, наверно, отдыхал до обеда, и, чтобы не беспокоить его, Сыромуков решил не подниматься в палату. Он припомнил, что бильярдная размещалась на первом этаже в конце коридора, и отыскал ее. Стол почти целиком загромождал комнату. На нем лицом к двери в одиночестве сидел лысый пунцоволикий старик в солдатской гимнастерке и что-то выкраивал из кожаного лоскута. Вместо правой ноги у него была деревяшка. Она горизонтально, как ствол противотанковой пушчонки над бруствером окопа, лежала на борту бильярдного стола, нацеленная на дверь, и отполированные шляпки медных гвоздей, крепившие резиновый кружок к рыльцу ходульки, блестели притягательно тревожно.

— Чо хотел? — окликнул старик, когда Сыромуков попятился в коридор. — Сыграть думал? Давай сгуляем, коли делать не хрена!

Было ясно, что он служит тут маркером, но гонять вокруг стола одноногого человека не представлялось достойной забавой. И в то же время из-за этого его увечья ему нельзя было нанести обиду отказом сгулять. Существовала и побочная причина для игры: выждать спад обедающих в столовой, но на этом умысле Сыромуков не хотел задерживаться, чтобы не признавать его. Он вернулся в бильярдную, успев отметить, как ловко и мягко спрыгнул старик со стола. От него еще издали несло перегарным смрадом, и то, как он вожделенно зырнул на апельсины в руке Сыромукова, окончательно убедило того, что играть с ним надо.

— На интерес махнем? — проискливо спросил старик. — Я вчерась врезал, мать его...

Сыромуков протянул ему оба апельсина и сказал, что сам он тоже, мать его, вчера немного тяпнул. Он не только без насилия над собой, но с непонятной легкостью и даже охочестью подделался вдруг под стиль речи старика. Тот принял апельсины, отнес их на подокон-

ник и оттуда шало заявил, что играть на такую мутоту даже не подумает.

— Ты чо? Весь русский соглас и совесть растерял? Давай хоть на пару пива сладим, ну!

— Ну сладим, сладим, — согласился Сыромуков, — но я не пью пива и не знаю, где его тут продают.

— Не молоти мне рожь на обухе и не плети из мякины кружева, — сказал старик. — Будто не знаешь про чешеское в баре? Двенадцать градусов как-нибудь!

Он установил шары и выбрал из поставца два кия.

— Какой хошь. Они все без кожаных нашлепок. Американку разыграем? Бей первым.

Сыромуков сначала проделал все, что полагалось, как он считал, любому уважающему себя игроку — покачал, взвешивая, кий, подтянул манжету на левом рукаве рубашки, а уже затем склонился над столом.

— С падающим, — с нарочитой угодой предупредил он партнера. Старик сопроводил удар Сыромукова коротким срамным словом, выкрикнув его бездумно и озорно.

— Ну, заяц, погоди! — дружелюбно сказал ему Сыромуков, сумевший все-таки попасть в пирамиду шаров и раскатить их по столу. Он тоже выдал под руку старика лохматый глагол, и получилась подставка. Сыромуков тычком кия закатил в одну лузу сразу два шара, на этой минуте и прервалась его беззаботная необремененность в поведении со стариком. Оказалось, что у того при каждом шаге рассохше крякала деревяшка, и не в «стопе», а где-то вверху, в той казенной части ее, куда, очевидно, всовывался культяп ноги. И уже нельзя было не думать о том, каким веществом установлено гнездо деревяшки, что в ней скрипит и стонет, чем скреплена трещина, если она образовалась: ремнем, гвоздем или проволокой? Стало неприятно слушать поминутные матюки старика и возмутительно видеть, как он бестолково шырял-пырял концом кия между щепотью серых узловатых пальцев, а шары все же клал с трескучим костяным грохотом, — значит, первый удар скиксовал нарочно. Когда он с особым, ерническим вывертом плеча вогнал в лузу свой последний шар, Сыромуков отнес в поставец кий и сказал, что пойдет за пивом.

— А зачем пинжак одеваешь? — подозрительно спросил старик.

— Пиджак? Ах, да-да, — поморщился Сыромуков. Он забрал кошелек, а пиджак закладно оставил на вешалке и, когда шел по коридору к бару, почувствовал, что сердце бьется в завышенном ритме, лицо азартно, горит, а рубашка под мышками вульгарно взмокла. Так позорно продуть! Два на восемь...

— Ну и что тут такого! — вслух сказал он, неизвестно кого ободряя — старика маркера или себя.

Бармен поздоровался с ним по-приятельски радушно и спросил: «Что будем?» Сыромуков сказал. Пиво в самом деле было пильзенское, в небольших элегантных бутылках. Их понадобилось завернуть, чтоб не нести в открытую, и бармен умело сделал из «Правды» квадратный пакет.

— Послушайте, есть один небольшой принципиальный вопрос к вам, — сказал он, склоняясь к стойке. Сыромуков не без душевной заусеницы — это, оказывается, так и не прошло — увидел на лацкане его заграничной куртки под распахнувшимся халатом лазурный ромб университетского значка. — Скажите, как по-вашему, кто такие хиппи?

Сыромукову показалось, что на психику бармена что-то там немного давило, — он мог, например, вызвать у какого-нибудь солидного курортника с таким же значком публично-благородное негодование по поводу недостойного приложения знаний, бесплатно полученных им от государства и так далее. Вполне мог. Но тогда было непонятно, какого черта он афишировал свое образование, нося в баре значок и не застегивая полы халата! Он явно нуждался в подпорке похиленной амбиции, но поддерживать его какими-то там аналогиями Сыромуков не собирался.

— Хиппи? Это, кажется, американские или английские парни с проснувшейся совестью, — многозначительно сказал он.

— Которые возмутились действительностью, да?!

Бармена почему-то устраивал полученный ответ, уж слишком пылко он обрадовался ему, и Сыромуков дал попятный ход.

— Возможно, — сказал он, — но дело в том, что они не знают, как и в какую сторону им плыть от этой действительности, вот в чем беда.

— А зачем плыть самому, когда тебя буксируют другие?

— Ну, это уже зависит от предпочтения одного способа плавания другому. Кто-то любит водные лыжи, кто-то кроль, а кто-то брасс.

— Но вы забыли еще один английский способ. Называется оверарм. Это когда плывешь на боку.

— Ну-ну, — усмехнулся Сыромуков. — До свидания.

— Всего хорошего, дорогой! — нахально сказал бармен.

Старик маркер ждал стоя, прислонясь спиной к подоконнику, где лежали апельсины, но не на прежнем месте, а прибранно в уголок. Сыромуков осторожно передал ему пакет и сказал, что пиво свежее, хотя сам не знал, так ли это. Старик сбил о кромку подоконника жестяные пробки с обеих бутылок. Сыромуков напомнил, что не пьет пива.

— Как хочешь, — отрывисто сказал старик. Он без передыха выпил из горлышка всю бутылку и прояснено-средоточенно воззрился на Сыромукова, едва ли замечая его, — где-то отсутствовал.

— Хорошо? — тихо спросил Сыромуков.

— Ох! А ты чо? В самом деле не пьешь?

— Не могу. Сердце. Закусите апельсином, будет еще лучше.

К Сыромукову снова возвращалось то первоначальное состояние здесь, когда он не ощущал потребности в самоотчете за происходящее, но было отчего-то грустно и не хотелось оставлять старика одного.

— У меня плитки шоколада есть, хотите? — вспомнил он. Старик не ответил и посмотрел на него мутно и гневно — опьянел на взыгравшем вчерашнем хмеле.

— Ты чо, думаешь, я маркер и больше ничего, да?— крикнул он. — Хрен в сумку! Я тайный сыщик, вот кто!

— Да ладно, — сказал Сыромуков, — вы лучше съешьте вон апельсин. Будет еще лучше. Увидите.

— Махал я твой апельсин! Не веришь про сыщика?

— Да верю, верю, старина. Я тоже сыщик. Такой же. Тайный.

— Нет, не веришь!

Он быстро пьянел, и лицо у него было обиженное и мстительное, — наверно, сознавал сам, что с «сыщиком» вышло плохо, недоказательно, а вот деревяшка была и была при нем, явной, всегда и у всех на виду...

В столовую попадать было еще рано, и казалось, заманчивым, если бы не бармен, выпить рюмки две коньяку, чтобы застопорить вертящуюся в мозгу пластинку с бессмысленным напевом «туторки-муторки, туторки-матуторки», а после этого попытаться убедить себя, что нельзя рассматривать отдельные вещи и события в отрыве от общей оси мира, что при жизни вообще никто и никогда не был счастливым, что ногу старик не обязательно мог потерять на войне, совсем не обязательно. Это во-первых. А во-вторых, он ведь сам сказал... как это? Ну, что на обухе рожь не молотят, а из мякины кружев не плетут. Вот именно. Так что все закономерно, все правильно... И поэтому, может быть, хватило бы даже одной рюмки, если бы не бармен, — видеться с ним в эту минуту не хотелось.

После обеда Сыромуков пошел на почту и там написал длинное родительское письмо Денису, в котором сообщал под конец, что тут, в Кисловодске, по-прежнему дует ветер и хлещет дождь.

Вечер тянулся медленно и тихо. С балкона — палатам люкс они полагались по штату — открывался просторный вид на юго-западную сторону света, где даже после заката солнца пылал и пылал Эльбрус, а небо оставалось подернутым золотисто-алой пылью, будто в том краю шла большая молотьба толокой. Позже небо нежно позеленело, затем покрылось протемью, а это означало, что молотьба на горизонте закончилась и счастливо уморенные люди пошли вечерять. Они будут есть утомившуюся в печке домашнюю лапшу с курятиной. И галушки. И вареники. И еще кавуны. У них, конечно, найдется чего и выпить — прохладная и вкусная, домашней готовки брага. Целая бочка. Дубовая, с чистым медным краном. Пить будут глазурованными глиняными кружками. Брага хмельная, веселая, но они там могут осилить по три и по четыре кружки, потому что все здоровы. Им можно... Это продлится у них долго, потому что пьют и едят они степенно, «не швыдко». Они же не в казенной столовке. Они ведь знают, что такое хлеб. Свой... Ну вот. Да и не следует, месяц же сейчас взойдет! Песни они будут «кричать» на улице. Первой пусть споют про то, куда милый скрылся, ах да где же его сыскать? Он в Ростове нанялся чувалы таскать. А чувалы — не малы, плечушки его болят. И болит его

сердце, гребтится душа... Впрочем, о сердце не надо. Они все там здоровы, все...

Некоторое время спустя на шафранно-аспидном плоскогорье, левее Машука, засветился костер. Виделся не только приземленный косячок пламени, но явственно различался и неколебимо вставший над ним белесый ствол дыма. Это было тоже хорошо — жизненно древне и человечески ладно — далекий костер в полупотемках, но для того, чтобы не погубить очарование покойного созерцания, к костру и на пушечный выстрел не следовало подпускать раздумье — кто его развел, из чего и зачем, ради потехи или по необходимости, один или вдвоем. Сыромуков не смог заставить себя не думать об этом, и зародилась тревога неизвестно за кого, и надо было уходить с балкона. В палате густо пахло скипидаром — днем, вероятно, натирали паркет. Дощечки скрипуче пели под ногами, и у Сыромукова появилась возможность вообразить, как однажды в студеную зимнюю пору позади Некрасова — ну, загонщиком был у него, а то и просто знакомым, мало ли! — он из лесу вышел. Был сильный мороз. И глядь, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз... Беседы с Власом хватило на шесть рейдов от входных дверей до окна и обратно. Разговор можно было и продлить, но мальчишку не следовало задерживать на юру, да и отец ждал его за очередной порцией дров... Влас-Денис, Влас-Денис, живи-трудись и не ленись, на графине не женись, а тоска — хоть удавись, Влас-Денис, Влас-Денис...

Свет зажигать было неразумно — тогда в палату уже никого не зазвать и ничего не заластить, тогда останешься тут наедине с самим собой, отраженным в зеркале. А в темноте еще можно что-то придумать. Вплоть до очередного своего «лазурного» проекта. Черт возьми, всю послевоенную жизнь он только тем и занимался — выводил их путем мечтания. Призраки, появлявшиеся вразрез с реальностью, заданностью и серийностью. А несозвучное эпохе должно умирать не родившись. Вот так! Интересно, кто это сказал? Здоровый, видать, мужик, с хорошо работающим трактом... Да-да. А снег ложится вроде пятачков, и нет за гробом ни жены, ни друга. Кроме Дениса. Да еще буси, если она сама... Но куда мог запропаститься Яночкин? Тоже называется сожитель! Пора бы и вернуться. Собственно, а что такое тоска? Ведь это же обыкновенная депрессия, возни-

кающая из-за осознания какой-либо утраты, чувства необратимости, одиночества и так далее. Только и всего.

— Ох и надоел ты мне! — сказал Сыромуков. — И хотел бы я знать, куда ты исчезаешь, когда у меня останавливается сердце? Ни разу не помог вовремя никаким философским советом или изречением. Ни разу. Проваливаешься куда-то и все! Ах, ты потом возвращаешься сам мудрецом? Ну давай, давай. Никто не против. Но все же, где ты тогда прячешься?.. А вообще-то многое не нужно было. Многое...

Сыромуков не сразу осмыслил, что значили эти слова, произнесенные им не в связь с общим строем мыслей, на что они отзывались и к чему лепились — то ли к лазурным проектам, то ли к отпечатавшейся в памяти мысленно фразе-получастушке насчет женитьбы Власа-Дениса на графине. Он сел в кресло и зажмурился, и через какое-то время стало ясно: не надо было, оказывается, иметь такой дурацкий характер, с которым он всю жизнь невольно обманывался сам и обманывал других. Ну что это такое, скажите, пожалуйста, сулить и с ходу выдавать любому встречному и каждому совершенно непосильные и неоплатные авансы в счет дружбы и преданности! Кто его понуждал, например, приглашать в город эту несчастную Эманацию, чтобы тут же забрать свои «куклы» назад!.. Взять того же Яночкина. Ну для чего понадобилось с таким безудержным приветом и сердечностью встречать его в первый раз, а после духовно отдаляться? И так всю жизнь. И решительно со всеми. Ну-ка, копни только.

— Копай сам! — раздраженно сказал Сыромуков.— Как будто не знаешь, почему и как это происходило!

Когда он открыл глаза, палату затоплял пожарно-дымный, беспокойно мигающий полусвет — через отворенную балконную дверь пробивались беснующиеся рдяные и зеленые неоновые огни с недалекого ресторана на «Храме воздуха». Шесть лет назад там стояла глинобитная закутка-шашлычная, и дышать в ней было нечем. Сейчас, надо полагать, в ресторане хорошо и весело. «И шампанское тут, между прочим, дешевле почти на целый рубль», — подумал Сыромуков и зажег свет. Он переменил рубашку и галстук, почистил башмаки, но начес сделать до конца не успел: явился Яночкин. К нему шла белая фуражечка, моложаво надетая козырьком

к уху, шли два яблочно румяных, нагулянных в вечерней прохладе пятна на щеках, и вообще он крепко шел к себе весь.

— Нарезвились? — с бессознательной завистью спросил его Сыромуков. Яночкин упоенно сказал «ага» и протянул, вынув из-под мышки, пухлую книгу, обернутую газетой.

— Вот слушай, штука интересная! Не читал?

Он был хорош. Он был как ликующий школяр, отхвативший увлекательную книжку, и Сыромуков предположил, что это, наверно, Майн Рид, если судить по заношенности и отсутствию в ней заглавного листа.

— Называется «Ключи счастья», — сказал Яночкин.— Не читал?

— Н-нет, — признался Сыромуков. С годами ему все трудней и трудней становилось читать ширпотребовскую беллетристику, — уже с первых страниц надо было напрягаться и помогать автору сводить концы с концами, не замечать, как он сшивает одними и теми же нитками разноцветные лоскутья своего сочинения, негодовать на его суесловие и фальшь. Осталась классика, мемуарная литература да еще фантастика. Он подумал, что этому тоже не надо было с ним случиться, и вернул книгу Яночкину.

— Ну спеши, спеши, — насмешливо сказал тот, — там возле раздевалки танцы, а твоя жучка забилась за кадушку с пальмой и сидит, ждет. Неужели не мала тебе, а? Или, как говорится, всякую шваль на себя пяль, бог увидит, хорошую пошлет? Ох, пижон ты, пижон!

Сыромуков пристально поглядел на него. На лице Яночкина по-прежнему держался и не вял алый налет, ясно и кротко голубели глаза, и было непросто найти объяснение такому утробному и ровному его цинизму — Петрович как бы совсем не участвовал в работе своего аппарата чувств. Чтобы осадить в себе всколыхнувшуюся душевную муть, Сыромуков попытался расценить слова его как непосредственное проявление им жизненной стойкости — просто он бытоустойчивый, цельный человек вроде того овцевода, что любил укладываться на чужие постели, — но это не помогло: против Яночкина что-то протестовало и звало к отпору. Стараясь не смотреть в его сторону, Сыромуков натужно сказал, что определения «пижон» и «сноб» утратили в наше время

отрицательный смысл, что теперь под этим подразумевается элегантность, утонченность вкуса и вообще порыв личности к развитию не без некоторой, конечно, уродливости в стремлении выломиться из массы.

— А что ж тут хорошего? — скучно спросил Яночкин. — Масса-то, небось, народ, а они тогда кто? С кем же они останутся, если отломятся? Некрасиво, Богданыч, говоришь. Плохо думаешь, раз защищаешь шпану.

— Я говорю не о шпане, — возразил Сыромуков, ожесточаясь. — Речь у нас идет о тех парнях, которые так или иначе, но откликаются на возрастающие эстетические запросы современного общества. Так называемые пижоны и снобы, Павел Петрович, не появляются на улицах в грязных спецовках, не блюют в подворотнях и на лестницах, не похмеляются бутылкой «чернил» на троих и не ругаются матом при женщинах и детях! И многое другое не позволяют себе снобы. Между прочим, этот теперешний аристократ совсем не является представителем какой-либо особой и малочисленной прослойки. Это тот же слесарь, прораб, маляр, таксист и так далее. То есть в меру просвещенный молодой человек с достатком.

— Трепотня, — махнул рукой Яночкин. — Я бы этих твоих аристократов...

— Несомненно, что вы бы их, — перебил Сыромуков, — но сейчас у этих людей нет причин считаться с былым временем!

Он нервно закурил, стоя вполуоборот к Яночкину и внутренним зрением видя, как тот семеняще попятился к своей кровати. Оттого, что Яночкин безмолвствовал и не двигался, следя, в какую сторону тяготел сигаретный дым, мысли Сыромукова разбились на три самостоятельных ряда. Мысли эти были о том, что Яночкину незнакома была бы приблизительная схема абстрактного мышления, что оба они совершенно не умеют спорить, воспринимая ответные доказательства как взаимные оскорбления, и что сам он ведет себя непристойно, обижая человека и оставаясь у него в долгу за мандарины и вино.

— Что же вы молчите? Я забылся и курю, а вы не предупреждаете, — спохватился он.

— Да, ничего, докуривай, раз начал. Балконная же дверь открыта, — безотрадно сказал Яночкин. Сыромуков

ков загасил сигарету и понес ее в туалетную, чувствуя, как изнуренно гудит его тело. Там он переждал перебойный взлет и обрыв сердца, а после приступа умышленно долго мыл руки, ожидая, пока отступит страх и под языком истончится таблетка валидола. Балконная дверь была притворена. Петрович сидел на кровати и хмуро глядел в пол. Сыромуков рассеянно и уже как-то издали подумал о нем, что он счастливо здоров и поэтому позволяет себе роскошь огорчаться по ничтожным пустякам — ну что ему эти пижоны! Ведь не знает, где находится сердце, не знает. В шестьдесят-то лет. Какой молодец! Его требовалось возвратить в прежнее состояние, но формальное извинение едва ли было уместно, так как для него отсутствовал логический повод. Яночкин молчал, и в палате выдалась тягостная минута разобщенности поссорившихся людей.

— Есть компромиссный ход, Петрович, сводящий к ничейному результату наш спор, — с бескорыстной готовностью сказал Сыромуков. — Принимаете?

— Так то будет твой ход, а не мой,— ответил Яночкин.

— Наш, — сказал Сыромуков. — Удобство его заключается вот в чем. Если отнести существующее в мире недобро за счет человеческого заблуждения и недоразумения, то нам ничто не помешает признать, что в своем споре мы не проявили предельной ясности видения сути, а значит, оба и неправы.

— Да я-то в чем же не проявил? — удивился Яночкин. Было похоже, что он мог удовлетвориться лишь полной дискредитацией точки зрения оппонента.

— Ну хорошо, неправ я один, — беспомощно сказал Сыромуков. — Так подойдет?

— А зачем мне твое одолжение? — обиделся Яночкин. — Ты признай порочной свою позицию по совести, а не на словах!

По совести у Сыромукова выходило, что среди его подзащитных пока что больше было званых, чем избранных, что педантизм и высокомерное самодовольство еще не культура и не элегантность, а только их уродливое искажение, подделки и фальшь.

— Вот это другое дело! — одобрил Яночкин. — Теперь ты рассуждаешь, как положено советскому человеку. А то заехал в какое-то моральное болото! В споре, брат, тоже надо уважать себя.

Сыромуков машинально кивнул. Ему неожиданно пришла оторапливающая и одновременно притягательная мысль о том, что, возможно, настанет время, когда вместо индивидуального характера и темперамента человек будет обладать обязательным для него неким унифицированным морально-эстетическим эталоном поведения, и люди начнут новую эру жизни, творя уже не историю племени и нации, а как бы общенародную семейную легенду, исключающую личные судьбы. В этом случае им там будет грозить опасность утратить прежде всего способность смеяться и плакать. Без слез, конечно, обойтись можно, но как жить без смеха? Чем они его заменят?..

Яночкин тем временем разделся и с озабоченной участливостью к себе облачился в пижаму. Он аккуратно поставил в изножии кровати свои плотненькие полузимние ботинки, а рядом разостлал носки, и Сыромуков ощутил, как в палате грустно запахло смертным ароматом привялых васильков. У него самого скопилось уже три пары несвежих носков, и появилась срочная необходимость выстирать их.

— Кажется, теплая вода есть, Петрович, — предположил он. — Вам не понадобится сейчас ванна?

— Мне ж нарзанную делали нынче, — сказал Яночкин. — А на танцы не пойдешь?

— Есть горячая вода, — повторил Сыромуков. — Надо, наверно, воспользоваться, как вы полагаете?

— Давай, а я почитаю на сон грядущий. Интересная, знаешь, штука!

Теплая вода текла прерывисто, красный кран сипел и кашлял зарядами воздуха, но холодная била напорной струей. Стирка получилась не ладной, зато угодной, и Сыромуков отдался над ней свободному потоку мыслей без малейшего усилия изменить хаотичный их бег. Ему почему-то подумалось, что князя Андрея Болконского нельзя вообразить в Бородинском сражении не в том своем белом мундире, в котором он танцевал с Наташей Ростовой на ее первом балу; что разрушение всегда давалось человеку легко, поскольку тут не надо думать. Недаром в старину говорили: ломать не строить, грудь не болит; что бестактность, грубость и хамство — оружие ничтожных и слабых, неспособных иначе достичь своего превосходства над другими; что если ты идешь или едешь медленно, то жизнь покажется огромной;

что невозможно, нельзя было победить русских Наполеону, потому что наши солдаты, надевали чистые рубахи и молились богу перед боем; что надо обязательно увезти домой целыми те три свои пятидесятки; что, в сущности, он уже лет пятнадцать живет в обнимку со смертью, и ничего, привык; что когда твое дело плохо, то поневоле помнишь о существующих в жизни утехах и радостях; что Дениса надо успеть научить в любом случае не отчаиваться и не унывать, а надеяться и верить...

1975

ПРАВО НА ВОЗВРАЩЕНИЕ

24 сентября 1942 года лейтенант Воробьев так отметил свое двадцатитрехлетие: подарил себе — ни много ни мало — свободу. И — кляп им в дышло — пусть снова схватили, пусть из саласпилсского лагеря бросили в штрафной барак шяуляйского — он чистое небо видел!

За неба кусок, за глоток вольного воздуха — неужели ж не стоит собою рискнуть? Ох, земляки вы мои горемычные, стоит! И хоть в железо его заковывай, хоть в каменную яму кидай — а уйдет он и из этого чертом проклятого шяуляйского заколючья...

Ушел. Снова, как под Москвой в 41-м, зажал в правую руку наган и, поблескивая кубарями (мало что сохранил — ни разу не позволил себе прикрыть их перед врагом, отцепить — носил напоказ!), вел и вел верящих в его силу людей на неравный бой. И так до конца, до звездного часа выхода к регулярным войскам.

Тогда уж и заменили ему кубари на погоны. А дорогая награда — медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени — пришла и того позже: через десять лет. У него всегда было так: как горе — так сразу, будто обухом по голове; как радость — то невозможно долгий до нее путь.

Так и в литературе с ним было.

Его боевые собратья — Бакланов, Бондарев, Быков — первым, по сути дела, броском вышли на линию наблюдения критики, а он к этому времени три книги издал, но молчок, будто и не писатель он вовсе, Константин Воробьев.

И дальше — все так же: книги идут тяжело, а выйдя, практически не имеют прессы, если не считать упоминаний в общих статьях и нескольких коротышек-рецензий, появлявшихся, как правило, во второстепенных, периферийных изданиях.

Почему так? Причин тому много, но главная, видимо, в том, что предметом своей литературы Воробьев сделал личный, исключительно трудный, не укладывающийся в рамки обычных человеческих горестей, жизненный опыт. Этот вот опыт, помноженный

на опыт людей, которые, как и сам Воробьев, жили под тяжестью выпавших на их долю неслыханных испытаний, осмысленный и переведенный в русло литературы, и смущал не привыкших к подобному чтению издателей, а за ними и критику.

Воробьев очень страдал, что его «не замечают». Но... Может быть, грех говорить такое, а все же скажу: слава богу, что и тут, на «литературной ярмарке», у него не вышла легкая жизнь. Он так был устроен, что с каждой новой обидой все злее мучил себя за столом. Все лучше писал.

А так ли б то было, появись у него собственная ячейка в литературной обойме?..

Я пишу о Воробьеве и совсем не случайно связываю разговор о его судьбе с отношением к нему критики. Да, на протяжении всей своей жизни в литературе Константин Воробьев крайне нуждался в поддержке, но это не значит, что, жаждая о себе доброго слова, он хоть раз изменил самому себе — потрафил критике, написал такое, что заведомо должно было быть поднято ею на щит.

Нет, такого он не писал. Он знал: двух жизней не хватит, чтобы рассказать людям о том, что он видел, что пережил, что думает по поводу этого виденного и пережитого. А у него — одна только жизнь, да и та приближается к склону. Какое же он право имеет тратить ее на всякие там литературные игры!

Неважный тактик, скажете вы. Никудышный стратег... Должно быть. Но ведь он и в немецком плену кубарей не снимал. А тут — все свои. Достойно ли ему со своими хитрить?

И вот в то время, когда писатели из «его полка» писали об испытанном ими в последние годы войны, он написал о первом. Немногословная — и оттого каждое слово как выстрел в десятку, многодумная — и оттого глубокая, как само знание жизни людей на войне, трагическая по содержанию, оптимистическая по сути, повесть «Убиты под Москвой» не только закрыла своими героями зияющую брешь в обороне столицы — она закрыла собою брешь в художественной летописи Великой Отечественной войны. Сегодня это известно всем, кто знаком с литературным процессом 50—60-х годов.

А когда Воробьев повесть закончил, редактор журнала, куда он ее послал, отписал, что война была отнюдь не такой, какой представлена у него. И в заключение назвал автора «пустым холодильником». «В то время я был сравнительно молод, — незадолго до смерти вспоминал Воробьев, — и такое кухонное сравнение привело меня в состояние столбнячной оцепенелости. Позже я узнал, что этот редактор на войне не был. Повесть отвергли еще многие журналы и издательства. Я не только отправлял ее по почте, но и доставлял, так сказать, нарочно, — говорили, будто личное обще-

ние автора с сотрудниками редакций смягчает их души, но в моем случае этого не произошло. Хуже всего было то, что я бесповоротно терял веру в свои писательские способности... Приниматься за новую вещь не было душевных сил, — «холодильник» не выходил из головы, а безучастность... отвергающих тебя редакторов подкрепляла мысль о твоей бездарности».

Вот тут-то, когда все, казалось, летит в тартарары, когда никчемной и глупой представилась ему вся прожитая после войны жизнь — днем письмоносец, грузчик, киномеханик, конторщик, завмаг, а ночью до одури протабаченные бдения над листом бумаги, и все это неужели кошке под хвост? — и повстречался ему наконец человек, который сразу и безоговорочно в нем разобрался. Словами же выразил он это так:

— Константин Дмитриевич, в своей повести вы сказали несколько новых слов о войне. Повесть мы решили печатать в одном из ближайших номеров...

Цитирую Воробьева: «Я тогда позорно сконфузился. Я заплакал, стыдясь и пытаясь спрятать глаза от Твардовского. Александр Трифонович молчал, глядя мимо меня в окно,— давал мне возможность, как я понимаю сейчас, привести себя в порядок, но тогда мне почему-то подумалось, что он уважает мои слезы, раз молчит, и от этого они были горше и отрадней».

В состоянии ли мы вспомнить и перечислить все то, что сделал для нас Твардовский? Решится ли кто на труд — составить «послужной список» его дел на пользу родной литературе? Если решится, открытие Александром Трифоновичем Константина Воробьева неминуемо пройдет по разряду самых благих из его сотворений...

Теперь Воробьев не как-нибудь там догадывался или подозревал, а знал — точно и определенно: он настоящий писатель. Приходила к нему и раньше гордыня-мысль, что проза его не повторяет всем известных азов. А тут сам Твардовский, верховный для него судья, подтвердил, что доступно ему говорить «новые слова».

Настоящее. Всегда, везде и во всем. Только так достойно вести себя человеку, который взялся в письменной форме судить о жизни людей... Другим не спускал. Но себя-то как крыл Воробьев чуть ли не за все им написанное! Как стыдился он «браво-победно-вылощенных» первых своих вещей, написанных «в лета тщеславно-легкомысленной юности». В кавычках — его слова, а ведь среди этих «вылощенных» вещей повесть «Сказание о моем ровеснике», рассказы «Подснежник», «Ермак», «У кого поселяются аисты»! О вышедшем в 1971 году рассказе «Уха без соли», в котором с редкостной силой он сшиб понятия ненависти и прощения и все это

сумел уместить в русской душе, любя ее и осуждая одновременно,— классика, да и только! — он мне писал, что «получилась не уха, а похлебка с такими компонентами, которые я сроду не использовал в своих блюдах». О повести «Вот пришел великан», которая после появления в журнале «Наш современник» была в короткое время дважды переиздана, писал он так: «Повести той, о которой я часто и гордо думал вначале, не получилось. Это трагично. И выпадает карандаш из рук. Куда я ее дену?.. Получился какой-то недоносок...» В свое время он мучился оттого, что ему казались поделкой «Генка, брат мой», «Почем в Ракитном радости» и даже «Убиты под Москвой». А последнюю свою повесть «...И всему роду твоему» он хотел бросить — так не нравилась.

Ему нравилось думать о том, что еще не написано. Он хотел снова вернуться в огнедышащий 41-й и написать повесть «Это мы, господи!». Мечтал вновь положить перед собой «Крик» и превратить повесть в роман: нацепить ногами вперед вытащенному из концлагеря герою погоны власовского поручика, откормить его хорошенько на немецких харчах, а затем, поставив в охрану того же, откуда вынесен был, концлагеря, дать ему возможность и право организовать и возглавить восстание пленных и уйти с ними в лес... И он страшно раздражался, что текущие дела вынуждают откладывать срок подступа к этим в голове уже написанным книгам — он видел их с начала и до конца.

Эти текущие дела были повестью «....И всему роду твоему», у которой он сам был хозяин: хочешь — пиши, хочешь — не пиши. Но он не мог бросить то, что не доделал, — такой у него был характер.

И еще было в его характере: он не считал себя вправе подгонять рабочий процесс, писать быстро. Потому что «быстро» в его понимании значило «плохо». К концу дня, измочаленный и потухший, вставал он из-за стола, и, если из всего за день написанного, десятки раз переписанного, переправленного, передуманного оставалось несколько крепких фраз, он радовался: день прожит не зря.

Он был из тех писателей, которые знают цену литературному языку. В повестях и рассказах Воробьева, даже тех, что были написаны в первые годы работы, вы не найдете пустых страниц, проходных абзацев, стертых или небрежно друг к другу пригнанных слов. Все на месте, все выписано. У него был абсолютный литературный слух.

И вот этот слух его уловил, что, при всем недовольстве трудно рождаемой повестью, «...И всему роду твоему» получается чуть ли не самой важной для него книгой. Он писал книгу очередную, но вдруг осознал, что именно в ней ему удается выразить

устоявшееся за пятьдесят с лишним лет свое отношение к времени, в котором ему довелось жить, и к человеку, который жил в одно и то же с ним время. Он понял, что получается книга-итог, книга-завет, книга главных его мыслей о жизни людей.

И он полюбил эту книгу. И готов был сидеть над ней дни напролет.

Но все реже и реже выдавались ему теперь погожие дни. Вероломно проникшая в его тело болезнь все чаще оттаскивала от стола. Он любил, мечтал и планировал, а смерть не посчиталась с его любовью, мечтами и планами... И вот мы остались без этой книги-итога Константина Воробьева.

Склоним же головы перед ним, покинувшим нас так рано и неожиданно. Пожалеем, что не успел он дописать свою главную книгу. Но будем знать: и незавершенная, она дает хорошее представление о личности Воробьева, до последней написанной им строки воевавшего за чистоту наших сердец, за честь людей называться людьми.

...Вот стоит герой его неоконченной повести перед зеркалом и, не в силах «породниться» с теперешним своим отражением, маскирует лысинку «взмахами расчески с затылка наперед», а за окном слышится песня, знакомая ему еще с пионерского возраста. И слезы памяти режут глаза... Тут неминуемо и мы вспомним «Тетку Егориху», «Ермака», «Чертов палец», «Почем в Ракитном радости». Вспомним простых деревенских людей, которые в годы жестоких классовых битв на селе преподали страдающему от своего сиротства мальчишке первые уроки доброты, чести и мужества. А не будь этих уроков? Жизнь у героя Воробьева всегда складывалась так, что немудрено было на одном из ее крутых поворотов упасть, сломать себе шею.

...Вот приходит герой неоконченной повести в кабинет врача, измеряет рост, и его сознание с гордостью отмечает, что рост у него остался «прежним, давним, в о е н н ы м,— сто восемьдесят три сантиметра...» И мы неминуемо вспомним «Дорогу мужества», «Крик», «Убиты под Москвой». Вспомним, что герой военных произведений Воробьева всегда лейтенант, выпускник Краснознаменного Кремлевского училища, где все — и курсанты, и командиры — были только одного роста: сто восемьдесят три сантиметра. Как и всех сражавшихся в тяжкие месяцы 1941 года, душит их, мучит непонимание: почему мы отступаем, а не бьем врага на его территории? Но когда идут они в бой, они забывают об этом. Они помнят только одно: они кремлевцы, гвардия, и потому, возвышаясь среди других, видные отовсюду, они дерутся не просто отважно, но и по-рыцарски красиво!

...Вот сидит герой неоконченной повести за случайной бутылкой

вина и, услышав от собеседника, что-де предателей в войну было много, «особенно среди пленных, это ведь ясно», говорит, что он лично «наградил бы всех пленных, кто остался цел в фашистских лагерях!» И мы снова неминуемо вспомним «Крик» и «Почем в Ракитном радости», а еще — «Седой тополь», «Немца в валенках» и «Уху без соли». Вспомним, что не из трусости, не из подлости оказался в плену герой Воробьева, а по общей судьбе многих бойцов 41-го года. И потому он и его товарищи не стелются перед палачами, не вымаливают себе жизнь. С высоко поднятой головой, непокорившимися, непобежденными стоят они перед своими мучителями, готовые не только с гордым презрением принять смерть, но и в любую минуту — выпади лишь она! — броситься на врага и задушить, разорвать, загрызть. Константин Воробьев был одним из первых наших писателей, добавлю еще — одним из немногих, кто нашел в себе мужество «замолвить слово» за незаслуженно выпавших из списка героев войны людей, в условиях куда более сложных, нежели самые сложные условия жизни на фронте, продемонстрировавших непоколебимую верность Отчизне. И низкий поклон за это ему, выполнившему свой долг перед ними, живыми и мертвыми, с кем вместе он переносил надругательства в фашистском плену, а потом — горечь и унижения у себя на Родине...

Сегодня наша литературная критика твердо закрепила за Воробьевым место в обойме военных писателей. Это очень почетно и в общем-то справедливо. Потому что это понятие — военный писатель — включает в себя нечто большее, нежели сам факт, что человек воевал, а потом писал о войне. Здесь прежде всего имеется в виду сам характер писателя — боевой, военный.

Воробьев воевал до последней написанной им строки. Как же она чувствуется, эта «военная косточка», даже в самых «мирных», казалось бы, его вещах! И с каким постоянством, когда ему нужны особо веские аргументы в защиту добра, в порицание зла, он черпает их из знаний войны. Он был убежден, что лучшее в людях проявлялось именно тогда, в пору обрушившейся на них величайшей трагедии. И потому те, с кем вместе он воевал, с кем вместе он победил, в крутые минуты всегда приходят на помощь героям его «мирных» произведений, становятся для них примером чести и чистоты.

Этот вот человек — человек, победивший фашизм и тем самым утвердивший себя в праве думать, говорить и поступать так, как велит ему совесть, — всегда был единственно желаемым для Воробьева спутником в жизни, пускался ли он в очередную дорогу с пером в руке или же просто ходил по земле: гулял, глядел, как живут люди, мечтал, любил, ненавидел.

Он сам был из этих людей, сам был таким. Он усадил себя

за стол и, воскрешая в памяти былое-пережитое, затем мучился и страдал, чтобы люди, прочитав его книги, мучились и страдали меньше, чем он.

Свою последнюю повесть Воробьев писал как никогда трудно. Болезнь подтачивала его силы, когда он сидел еще над предыдущей вещью, а теперь, уже не скрывая своего присутствия в нем, то и дело сваливала в постель. Но он недаром прошел сквозь огонь 41-го года. Недаром дважды совершал побеги из фашистских концлагерей. Недаром вырвавшиеся из-за колючей проволоки военнопленные сделали его своим командиром. В течение тех страшных трех лет он каждый день смотрел смерти в лицо и научился выдерживать ее взгляд.

Он знал, что ему остается немного. Он об этом говорил и писал — незавершенная повесть напитана пронзительным ощущением близкой смерти. Но за два с половиной месяца до нее, после тяжелейшей и окончательно ему объяснившей его положение операции, он все еще продолжал смерти перечить. «Я потихоньку пробую работать... — писал он мне. — А то ненароком сыграешь в ящик...»

Шутил!.. Я перечитываю его последние письма и плачу, и все благодарю, благодарю судьбу, что свела она меня с этим человеком. Другого такого я не встречал: такого красивого в своей любви к жизни, такого мужественного в своем презрении к смерти.

«...И всему роду твоему» — повесть, в которой Воробьев должен был отдать своему теперь уже постаревшему и безнадежно больному, но гордому прожитой жизнью герою свои лучшие мысли, всю мудрость, накопленную за годы собственного пребывания на земле. Успел написать немного: переправив героя на лечение из Прибалтики в Кисловодск, он поместил его в одну палату с тупоумно-вредным стариком Яночкиным, из первых же разговоров с которым нам очевидно, что на этом «участке фронта» будут решаться вопросы недавнего прошлого: познакомил со страдающей из-за своего малого роста комплексом неполноценности молодой женщиной Ларой, завязав здесь беседы о проблемах сегодняшних; сообщил нам, что у героя есть сын, и из слов: «Дениса надо успеть научить в любом случае не отчаиваться и не унывать, а надеяться и верить» — мы поняли, что эта линия в повести будет нести его мысли о будущем.

На этих словах о Денисе и обрывается повесть, ее сплошной текст... Но остались еще разрозненные, порой обрывающиеся на полуслове куски-заготовки к будущим главам — и сразу же раздвигаются и без того далекие горизонты общего замысла повести: снова, как и в написанных им ранее повестях и рассказах, — жизнь довоенной деревни, фронт, плен, партизаны — словом, все то, чем

жил и о чем до последнего своего часа думал Воробьев, должно было быть в этой его итоговой книге. Он всегда писал только на этом материале. И теперь отказаться от него не хотел. И не мог...

По книгам Константина Воробьева можно писать его биографию. Нужно только повести и рассказы выстроить по-своему — не так, как чередуются они в сборниках, а как смыкаются по времени, в котором живет их герой — сначала мальчишка, потом юноша, потом человек мужающий, совсем взрослый, наконец, тот, чьи годы перешагнули через пятьдесят. Все написанное Воробьевым — словно одна повесть об одной жизни.

Началом рассказа об этой жизни надо считать «Сказание о моем ровеснике». Ровесник Воробьева в повести еще не вылез из люльки, а у него уже нет ни матери, ни отца. Бойцы красного отряда, они погибают в схватке с белогвардейцами.

Это очень важный момент. Только что произведя героя на свет, Воробьев тут же отказывает ему в кровных связях, обрывает их. Здесь отправная точка той мысли, что пройдет через все книги Воробьева.

Лишенный родственных уз, всегда сирота, его герой из рассказа в рассказ, из повести в повесть будет искать уз сердечных, будет искать людей, родственных ему по духу и образу жизни. Герой будет этих людей находить, будет счастлив возникающей с ними близостью. И он будет их терять, с каждой новой потерей все более веруя в то, что следующая встреча — сегодняшняя — будет как раз той самой, о которой мечтал он все эти долгие, долгие годы.

День настоящий, как правило, неотделим у героя Воробьева от воспоминаний о пережитом. И не только вспоминает он свое прошлое. Он возвращается в него. Едет в те места, которые в тот или иной суровый для себя момент покинул, встречает людей, с которыми так или иначе был связан, так или иначе влиял на их судьбы.

Он должен разобраться в жизни: где правда ее была, а где неправда Должен разобраться в себе тогдашнем и в себе сегодняшнем, отыскать точки для совмещения двух себя. Ему невмоготу больше так жить — двоиться, и, чтобы прийти к равновесию, надо свести концы с концами, все поставить на свои места. В обретении этого духовного равновесия видит герой Воробьева свою цель, свою радость.

Путь, каким шел герой Воробьева к радости и о котором он поведал читателю, — как на духу, доверительно, ничего не скры-

вая и не затушевывая, — не может оставить холодными ни тех, кому по складу души близки люди с трудными, порой поковерканными судьбами, ни тех, кому любо читать лишь только о людях удачливых, с судьбами прямыми, гладкими и безупречными, как отполированный шомпол. Ибо путь этот лежал не в стороне от тех знаменательных вех, что расставила история на пути движения нашей страны. А здесь равнодушных быть не может...

Итак, герой Воробьева приступает к рассказу о себе. Он опускает годы, когда «под стол пешком ходил», и от момента рождения перебрасывается сразу — как в недавнем прошлом у нас говорили, да и сейчас еще говорят — в пионерский возраст. Ему десять-двенадцать лет. Он сирота — то ли сирота круглый, как в повести «Тетка Егориха», то ли мать у него одна, которая вскоре помирает (повесть «Почем в Ракитном радости»), то ли, как в рассказе «Ермак», при живом отце он все равно что и без отца: чужие они друг другу.

А на деревне в самом разгаре классовая борьба. Термин этот — книжный. Городской. Это в городе дали такое название происходящему в деревне. В самой-то деревне кое-кому так сразу и не разобраться, что же происходит с ними и как тому название. Тем более мальчишке пионерского возраста.

Отнимают у кулаков зерно, скот, имущество. Все это идет бедноте, в общее пользование. Это понять можно. Но не может понять мальчишка, за что вечно пьяный, напустивший страху на всю их Камышинку милиционер Голуб убил тетку Егориху. Два мужика, подчиняясь приказу, сбросили с церкви крест. Бабы вышли на площадь, стали кричать, чтобы крест обратно подняли на купол. Тут и прискакал на своем коне Голуб. И застрелил Егориху из нагана. А Момича, который так любил тетку Егориху и который, не найдя в районе управы на Голуба, решил с ним «расправиться» сам — поломал его саблю да наган, «молчком связал Голуба, а потом всадил на седло и отпустил», — кинули на подводу и под охраной конных милиционеров увезли.

Егориха и Момич были единственными для мальчишки близкими людьми. И вот их не стало.

Взрослый герой Воробьева едет в родное село. Нет, не в Камышинку. В рассказе «Чертов палец» село называется Чекмаревка. Еще не доехал до села, а уже хочется повернуть обратно. В караульщике подсолнухового поля, с которым присел выпить да поговорить, он узнает бывшего председателя чекмаревского сельсовета Якова Семеновича Кочетка. Сейчас Кочеток, для заманивания коршунов привязав за ногу матерого петуха, лупит в небо, а когда-то...

«— Удивительно! Никак не свяжу вас вот теперешнего с тем прежним Яковом Семеновичем. Никак!.. Я запомнил вас верхом на чьем-то кулацком жеребце... Вы носили черные галифе, хромовые сапоги «бульдо» и вот такую же кепку... На меня вы нагоняли самый настоящий подлый страх, я не переставал удивляться отцу, как он вас не боится!

— А почему ему надо было? — сумрачно спросил Кочеток и отложил в сторону хлеб.

— Понимаете, Яков Семенович, — доверительно сказал Кондратьев, — вы ведь не умели тогда нормально разговаривать. Вы постоянно кричали, — на взрослых, на нас, школьников, на собак... Помните, как вы стреляли их? Верхом, из нагана?

— Так их по три штуки у каждой подворотни сидело! У вас и то два кобеля было!

— Один. Мы его Аршином звали, — не забыл Кондратьев. — Вы убили его на погребце, и отец тогда ничего не сказал. Значит, тоже боялся вас!

— Не, с Петраком мы на коротких гужах ходили, он был свой человек, — сказал Кочеток. — А собак по Чекмаревскому сельсовету я решил всех подчистую, так что ваш кобель подлежал тоже!

— Ну, раз подлежал, значит, подлежал, — усмехнулся Кондратьев...»

В дальнейшем Кондратьев узнает, что еще при своем председательстве Кочеток «пустил в разор» дом, в котором находился когда-то сельсовет («По-твоему выходит, кулацкие постройки не нужно было рушить, да? — враждебно спросил он... Кондратьева»). Узнает он и то, что всю оккупацию просидел Кочеток в погребе его, Кондратьева, бывшего дома.

Милиционер Голуб, предсельсовета Кочеток... Нет, не похожи они друг на друга. И различны истоки их самоуправной деятельности. Голуб — типичный авантюрист. Это калиф на час: подошло смутное времечко — вот и властвует. Иное дело Кочеток. Бесчинства свои он творил, так сказать, по убеждению. Он, пользуясь термином тех лет, перегибщик. С тем еще прибавлением, что от природы невыносимо глуп, бездушен, жесток и труслив. Кочеток и сейчас уверен, что собак стрелять было надо, и бывшие кулацкие хозяйства «пустить в разор» было надо, и на людей — на то человеку и власть над другими дадена — кричать было надо... А люди эти, вряд ли видевшие от предсельсовета чего хорошего, когда пришли немцы, спрятали его. Худо ли, бедно, но Кочеток для них олицетворял тогда советскую власть. Советскую власть надо было защищать....

Кто такие Голуб и Кочеток, хорошо понимает герой Во-

робьева, живущий в одно с нами время. Но что понимал тот, маленький, которого за школьной партой учили одному, а жизнь, реальная, повседневная, открывавшаяся сразу же за дверями школы, — другому?..

И снова взрослый герой Воробьева едет в свое детство. И вот — родное село Теперь — Ракитное («Почем в Ракитном радости»). В этом селе четырнадцатилетний Кузьма впервые попробовал взяться за перо. И райгазета его напечатала. А потом — еще и еще. Время было трудное: голод, колхоз обескровлен и изнурен, а он буквально заболел жаждой «разоблачать двурушников, лодырей, рвачей, расхитителей, подпевал, летунов, оппортунистов», как того требовал «Вопросник селькору», присланный ему из редакции, и никак не может унять в себе «общественного деятеля». Он стал бичом родного колхоза. «На муки и горе его становления газета то и дело призывала» через Кузьму «десницу прокурора и меч райотдела милиции...»

Кто же разъяснит несчастному, сбитому с толку мальчишке, что его благие порывы не идут в помощь колхозу, а оборачиваются во вред? И, упоенный как с неба свалившимся на него всесилием и безнаказанностью, Кузьма «разоблачает»... родного дядю. А потом дядя Мирон и Кузьма случайно встречаются на берегу Ракитянки, по которой идет ледоход. Кузьма от страха валится в воду... И — статья. В той же газете «Колхозная жизнь»: «...Мирон Останков накинулся с ножом на селькора, а после сбросил его в весеннюю пучину. Но убийца просчитался! Юный герой, превозмогая мучительную боль раны, спасся и сейчас находится в райбольнице, где советские врачи самоотверженно борются за его жизнь...» И подпись: В. Косьянкин.

В рассказе «Синель» герой Воробьева — юноша — лучше, чем кто-нибудь другой, знает, что любимая им девушка такого же, как и он сам, бедняцкого происхождения. Они вместе росли, вместе учились, вместе вступили в комсомол — он все о ней знает. Знает и то, что отчим ее был кулаком. Кулак не любил свою падчерицу, бил, всячески издевался над ней и унижал, она лишь формально была членом его семьи, фактически — батрачкой. Ни в детстве не считала, ни теперь — студенткой — не считает она, что ее раскулачивали. Раскулачили ее хозяина!

Но он, ее любимый, требует, чтобы она во всем «призналась». Он грозит ей, что если она сама не расскажет о своем «происхождении», то сделает это он — пойдет в райком комсомола и все начистоту выложит. И Синель уходит, уходит от него навсегда.

Злой и жестокий рок повис над молодым героем Воробьева. Все, к чему ни прикасается он, обуреваемый, как ему кажется,

справедливыми намерениями, вянет, отчуждается, глохнет, превращается в немоту. Он думает, что сеет на какую-то высшую пользу, но для людей, которые пожинают им посеянное, его благие порывы оборачиваются вредоносностью.

Родной дядя, любимая... В рассказе «Ермак» молодой герой Воробьева раскулачивает... своего отца. А отец и не кулак вовсе. Он просто не похож — своим образом жизни, своими поступками — на остальных сельчан. Он смел и отчаян, весел и разудал, в нем что-то есть от вольного казака — эдакая широта размаха, независимость, раскованность в действиях своих и желаниях. Вот пожелал он и ушел, сгинул на несколько лет из села. А вернулся (узнали, что был на шахтах, денег заработал кучу) и такую хату отгрохал, что и кулакам не снилась.

И мальчишка — он не живет с отцом, живет другим домом, с матерью, за которую у него на отца «крутая и темная обида»,— с восхищением следит за очередными выходками своего «непутевого» родителя. В нем растет «ревнивое желание походить на него, подражать его неспокойной и непричесанной душе, его приметному, самочинному облику». Но вот герой становится членом ударной бригады по раскулачиванию. И в один прекрасный день вместе со своим старшим и старым другом, предсельсовета Никифором Хомутовым отправляется к дому Ермака.

Хомутов — человек умный, не чета известному уже нам Кочетку. Он понимает, что Ермак совсем не тот, кого надо раскулачивать. Но в то же время Ермак уж больно импозантная фигура, уж слишком режет глаз он своей необычностью, уж ярок чересчур на фоне их бедного, горемычного села. Все равно Ермаку не придется жить, как привык он жить прежде. Не он, Хомутов, так другие не дадут. Пусть лучше он выполнит эту жестокую миссию.

«— Та-ак... Значит, причислили меня к чужим?» — Ермак тоже все понимает.

А понял ли это главный герой рассказа Воробьева?..

Прошли годы, началась война. Двадцатидвухлетний офицер встречает командира, который, к его непомерному удивлению, оказывается Ермаком. И не только удивление вызывает у молодого человека эта встреча, но и недоумение, тревогу. Ведь его раскулачили в свое время.

И ничто, никто не может убедить его в том, что отец — настоящий, правильный человек. Даже Хомутов. Он состоит комиссаром при Ермаке, они дружат и, как маленькие, «называют друг друга уменьшительными именами». Будто не стояли они никогда один против другого, будто не разделял их вовсе классовый ру-

беж. И как понять эти на слух простые, но в то же время никак не укладывающиеся в голове слова Хомутова о прошлом?

«— То был не он! — мрачно, почти угрожающе сказал Хомутов и взглянул на меня как на чужого.

— Неправда! Я же был тогда и все видел...

— А я говорю тебе, что это были не мы! Не я и не он, понял?»

Нет, не понял. И не хочет этого понимать бывший член ударной бригады по раскулачиванию. И комиссар, отчаявшись примирить сына с отцом, с грустью и горечью говорит:

«— Злой ты, Петр... хотя и не повинен в этом! А жизнь все равно заставит тебя понять и принять...»

И жизнь заставила героя Воробьева и понять многое и принять ранее непринимаемое, а кое-что, что когда-то казалось безусловным, каноническим, не поддающимся переоценке, отбросить, забыть, списать в архив.

Ах, как просто это сказать!

И как непросто прийти к этому!

Молодой герой Воробьева рос и формировался в один из самых трудных периодов нашей истории. За десять с небольшим лет он прошел путь от жалости, недоумения и растерянности по поводу смерти тетки Егорихи до твердой, жестокой убежденности, что даже отцу, который был когда-то наказан советской властью, доверять нельзя.

С этим герой Воробьева и окунулся в войну.

Здесь, на войне, и сказал ему Хомутов, что он злой, присовокупив загадочное «хотя и неповинен в этом».

В повестях и рассказах Воробьева о войне герой — всегда лейтенант с кубарями в петлицах, до погон, до просветов и звездочек на них он не дотягивает: попадает в плен. А перед тем — дороги отступления — из-под Белостока на Минск, окружения, бои под Москвой.

Трудно укладывается в его сознании, что перед войной мы летали «выше и дальше всех», а теперь «красные соколы» редкие гости в небе — враг летает; что, «гремя огнем, сверкая блеском стали», не наши танки, а немецкие пашут землю и все оружие против них — ПТР да поллитровка с бензином; что не мы бьем врага на «чужой территории», а он нас — на нашей.

Такая война, разительно непохожая на ту, что ему «обещали», заставляет героя задуматься и о себе. До войны он всерьез о себе не задумывался: так ли уж он непогрешим, так ли уж чист он и честен всегда и во всем, что взял на себя право критиковать, осуждать, разоблачать других?.. Так решительно и проясненно не думает пока и теперь. Такое приходит не вдруг, не сразу. Но он уже

думает, уже не может не смотреть на себя, на свои поступки со стороны. И это уже — движение.

В рассказе «Дорога мужества» герой тащит из-под огня капитана, командира роты. Это святой долг подчиненного — вынести раненого командира с поля боя. Но что это? Не только строки устава, он чувствует, руководят его действиями. Он «взрывно-радостно подумал о защите» под телом капитана. И когда капитана «добили», — об этом нетрудно было догадаться по тому, как тот «резко дернулся и отяжелел»,— герой все же его не скинул в сторону, хотя немцы наседали и надо было не ползти, а бежать. И хотел он только того, чтобы «не бросившие винтовок» бойцы взвода не узнали его, своего командира.

Его учили не бояться смерти, и он считал, что не боится ее. А оказалось — боится. Что ж, это действительно страшно, когда твоя смерть затеряется среди сотен и тысяч других смертей. Но ведь, казалось, ты был готов к этому, готов к безвестной гибели — ведь всегда считал ты себя рядовым своего времени, не больше. Вмешиваясь в жизнь других, ты выполнял обязанности именно рядового, в начальство не рвался, знал свое место и свое назначение — бескорыстно и праведно служить Революции. Только это и было. Так что же случилось? Не спешил ли ты, человек, осуждать других человеков?..

Жизнь на войне обнажает людей до предела. Тут не схоронишь слабость своей души, не схоронишь свое бездумие за спиной директив и лозунгов. Тут определяют люди твою истинную цену, и сам ты себе истинную цену тут определяешь.

Жизнь на войне начинает свою работу: преподает герою первые уроки. Прежде всего надо его научить заглядывать в себя самого. Себя самого судить не бояться.

В том же рассказе герой получает оплеуху от майора Папсуй-Шапко. «Трус! Предатель!» — шипит комбат, вымещая на взводном свой гнев и бессилие: батальон на марше напоролся на немецкие танки, частью разгромлен, рассеян — с майором осталась лишь кучка бойцов. Не ожидая для себя ничего хорошего, лейтенант скрывается от комбата. Он потерял свой взвод. И один идет на восток.

И вот он видит семерых бойцов с винтовками, скатками, противогазными сумками. Короче, в полной форме и при оружии. Значит, отступали в порядке. Страшась их, стыдясь и про себя моля о пощаде (ведь он-то отступал «не в порядке»!), шепча «братцы», лейтенант подступает к ним. И, может быть, еще не одно и не два сказано было бы им «праведных» слова, если бы не узнал он среди этой семерки своего помкомвзвода сержанта Тягунца. Память тут же метнулась к оплеухе, полученной от Папсуй-Шапко.

«Тягунец — щуплепький веснушчатый недокормыш с осиненными глазами — стоял на правом фланге семерки — вел на восток! — и глядел на меня испуганно и ожидающе. Я шагнул к нему, чувствуя, как гневно-уверенно подпрыгнуло у меня сердце, и спросил папсуйским голосом, сам дивясь своей искренней ярости:

— Где взвод?

До этого я держал пистолет стволом вниз, но теперь рука самостоятельно, без моего усилия, поднялась до уровня правого плеча Тягунца, не защищенного скаткой. Я помню, как Тягунец привстал на носках сапог и помертвело сказал: «Товарищ лейтенант», застыло глядя мне в зрачки, и как остальные шестеро одновременно подобрали винтовки по команде «смирно». Вот тогда-то я понял, почему слабые и несправедливые люди, незаконно или по ошибке поставленные у власти над другими, неизменно и в первую очередь стремятся обвинить в чем-нибудь самого сильного и правого, — этим они устраняют из жизни опасность примера и сравнения и утверждают себя в праве на произвол».

Такой уничтожающе-откровенной оценки своему поведению молодой герой Воробьева никогда еще не давал! Хотя — объективно — приходилось совершать ему прегрешения перед людьми и более тяжкие. И этот жестокий, но справедливый суд — не минутное настроение, а результат подспудно накопленного и пока еще ясно не осознанного недовольства самим собой, вызов себе, своему самодовольному бездумию, возведенному когда-то чуть ли не в жизненное кредо.

Когда-то он боролся с теми, кто, по его мнению, вставлял палки в колеса времени. Никакие нюансы в расчет не принимались: одного подозрения хватало, чтобы решить для себя: чужой. На его землю пришел враг; чужой — здесь и думать не надо. Но выясняется, что у него есть еще один враг. Он поселился, и, видно, уже давно, в нем самом. Враг, с которым бороться несравнимо трудней, чем с врагом открытым или с врагом «замаскировавшимся». Потому что он не чужой — он свой, в его плоти, в его крови, в его сердце. Он крепко в нем обосновался и исподволь уже долгое время водил по жизни, выдавая себя за него самого. Этому врагу нет названия, и не угадать, когда он пойдет в атаку — злой, жестокий, несправедливый и бездушный себялюбец. Надо все время быть начеку, надо всегда быть готовым встретить его, дать отпор. Жить теперь нужно только так.

В повести «Убиты под Москвой» герой Воробьева попадает в окружение. Бомбовыми атаками с воздуха, гусеницами танков рота кремлевских курсантов, не успев как следует навоеваться, вмята в землю, раздавлена, разгромлена. Вконец измотанный беготней по схваченному в огненные тиски редколесью лейтенант валится

в полузасыпанную землей воронку и оказывается лицом к лицу с таким же, как сам, загнанным, одуревшим от буреломного грохота взрывов курсантом. Отдышавшись, он «внезапно и жутко» догадывается, что перед ним дезертир, трус и изменник. Смертельная ненависть к этому «мерзкому, скрюченному» от страха человеку кружит лейтенанту голову. Он бьет его в подбородок и на истерический вопль: «Стреляй тогда!» — поднимает пистолет.

И тут он «увидел себя со стороны». До этой секунды он никак не связывал свое поведение с поведением курсанта, а тут связал: он такой же дезертир, трус и изменник, как этот курсант. Его взвод еще не погиб, еще воюет, а он, его командир, обязанный если погибнуть, так вместе со взводом, валяется здесь, живой и здоровый, и тешит себя глупой надеждой: «Может, это пройдет... Как-нибудь пройдет и кончится».

И уже не курсанта — он себя ненавидит! И когда он кричит: «Вставай!.. Там все гибнут, а ты... Вставай! Пошли! Ну?!» — это себе он кричит, это себя посылает под пули, под бомбы, под гусеницы.

Курсант погибает. Единственный свидетель растерянности лейтенанта замолк навсегда. Но не рад тому герой Воробьева. Потому что, погибнув, курсант не увидел, как он поджег танк — и не сгоряча, не со страху. Действия его были разумными, грамотными: швырнув бутылку, он не забыл до того смочить бензином и поджечь паклю, не забыл, что самая уязвимая часть танка называется репица.

Эта победа — не только его первая победа над ненавистным врагом. Это прежде всего первая над собой — ненавистным — победа... С четырьмя винтовками на плечах, с пистолетом в кармане, с бутылкой в руке, голодный, измученный, в горе оттого, что от всей роты остался один, но и счастливый тем, что враг не прошел, он, не оглядываясь на недавнее поле боя, идет к своим.

Идет человек, из своего опыта знающий, что фашистских гадов бить можно. Что именно он будет их бить, такие, как он, вынесшие на своих плечах всю боль и недоумение первых месяцев битвы за Родину.

Это уже воин идет!..

В повести «Крик» герой Воробьева тоже командует взводом на подступах к Москве. Внешне он тот же юноша с кубарями, что и в прошлых вещах. Но за известной нам внешностью совсем другой человек. Другое в нем — это прежде всего отношение к людям, над которыми поставили его командовать. Ему легко с ними, и им легко с ним, потому что не выдавливает он из себя к ним доверие, не заставляет себя их любить, а доверяет им и любит их. «Тридцать обветренных и дорогих мне лиц, тридцать пар все-

видящих и понимающих глаз смотрели в нашу сторону. Что-то горячее, благодарное и преданное к этим людям пронизало тогда мое сердце, и я быстро отвернулся, потому что мог заплакать...»

Знаменательное признание! Если бы раньше герой Воробьева отважился на подобное, ему вряд ли бы можно было поверить. В крайнем случае можно было б счесть эти слова за минутную слабость. И затем простить. Теперь же и мысли такой не приходит. Вся повесть как раз убеждает в том, что герой Воробьева с радостью принял в себя это новое, постепенно, с трудом, но неумолимо подминающее то, что не пришло с кровью, а было наносным, чуждым, неорганическим. И это новое в нем диктует совершенно иную логику его мыслей, его поступков и действий. И нет ничего удивительного, что в ситуации, схожей с той, что была в рассказе «Дорога мужества» и в повести «Убиты под Москвой», герой уже не бросает людей на произвол судьбы, спасая себя. Он спасает людей, приказывая им отходить, а сам остается в прикрытии.

Вместе с ним — помкомвзвода старший сержант Васюков. Первое же появление Васюкова в повести говорит о том, что лейтенант со своим помкомвзвода — близкие люди. На народе они держат себя по отношению друг к другу подчеркнуто официально, а когда остаются одни, то лейтенант — Сережа, а сержант — Коля. Нет, это не панибратство. Это знак величайшего взаимного расположения, доверия и общей их, двух командиров, ответственности за судьбы тридцати дорогих им людей — бойцов взвода...

И вот оба они заперты под замок в сарае, а снаружи скрипят по снегу шаги часового. Плен... Повестью «Крик» начинается новый этап жизни нашего героя.

О чем же первая мысль его, только что пришедшего в себя после ранения и только-только успевшего сообразить, что он в плену? О том, что его ждет? О допросах, пытках и казни? О жалости к себе?

Если б то было раньше, вполне логичным было бы предположить, что именно в это русло устремятся мысли героя Воробьева. Но теперь вот что его волнует в первую очередь: «Всех?» Он спрашивает Васюкова о бойцах взвода. И это не только не противоречит логике его теперешней человеческой сути, нравственно возрожденной на войне, — это единственное, чего от него ждешь.

Здесь, в плену, герой Воробьева как бы прозревает. Люди, рожденные на той же, что и он, земле, не страха, не подозрения были достойны, а глубокой в них веры, любви и бережного отношения. На них держалась всегда и держится — в самый тяжелый свой час — Россия. На таких вот, как этот простой, не шибко грамотный парень Коля Васюков.

Сто раз бы умер лейтенант в первые же дни плена, не будь рядом с ним Васюкова. Только силой, уверенностью, добротой Васюкова он и живет. А кто он для Васюкова, в сущности? Ну, вместе служили, вместе самогон пили, вместе повели взвод на разведку боем, потом одной миной их ранило, а теперь вот они в плену. Не так уж длинен их совместный послужной список.

Но не в послужном списке дело. И не в личной симпатии. Для Васюкова лейтенант прежде всего — человек, вместе с которым они родились на русской земле, вместе с которым пошли они защищать эту горькую землю, с которым вместе — Васюков ни на секунду не сомневался — они еще повоюют. Этот обескровленный, чуть живой лейтенант — единственная ниточка, которая связывает сейчас Васюкова с тем, чего нет для него на свете дороже, — с истекающей кровью Родиной. И он, отшвыривая мысли о собственной гнетущей ране, делает все, чтобы успокоить, выходить, уберечь лейтенанта, а если настанет такая минута, то и закрыть его своей грудью.

И крепок его дух, крепка вера в себя, в таких, как он сам, вышедших сразиться с врагом. Многое ему непонятно, и от этого непонятного душит его бессильная злоба. Но одно он знает твердо и в своем этом знании непоколебим: немца бить можно!

Лейтенант не хочет обременять собой — полуживым — тоже раненого, но быстрее, чем он, ожившего Васюкова. В какой-то момент он предлагает ему даже «смываться» — есть такая возможность. И в то же время он знает: уйди Васюков — ему «хана» тут же. Но Васюков не уйдет, не бросит его. Орден — так на двоих, смерть — так вместе. Это для себя Васюков решил твердо. И на этой его твердости держится лейтенант, из последних, угасающих сил стремясь доказать своему великодушному другу, что тот не зря с ним «валандается», что он достоин этого. И смерть, если такое свершится, он примет достойно.

Васюкова, его самоотреченную, жертвенную преданность тому, кто, как и он сам, попал в отчаянное положение, не раз и не два еще вспомнишь. Это будет тогда, когда память Воробьева вновь возвратится к немецкому плену. Только теперь «исполнять обязанности» Васюкова будет уже главный герой писателя. В рассказе «Немец в валенках» уже сам он — не однажды бежавший из лагерей и всякий раз схваченный снова, а теперь вот посаженный в штрафной офицерский барак — выхаживает напарника по побегам. Но это для нас не откровение, мысленно мы уже видели его в этой роли в повести «Крик». И все же откровение будет. Оно придет вместе со вставной новеллой из повести «Почем в Ракитном радости».

Но прежде — один небольшой разговор.

Герой Воробьева активно вмешивался в жизнь и судьбы многих близких, а порой и незнакомых ему людей. Он убежденно считал, что имеет на это моральное право. Но пришла война, и он усомнился в этом для себя праве. Сомнения явились с первыми же боями. Совсем недавно — в мирное время — вершитель многих человеческих судеб, он оказался не вправе распоряжаться судьбами вверенных ему войною людей. Ибо это качественно разные вещи: влиять на жизнь окружающих, себя им противопоставив — и поставив себя в ряд с ними.

Горькие зерна войны попали на благодатную почву. Они проросли думами о себе сегодняшнем и о себе вчерашнем. Жизнь на войне заставила по-иному взглянуть на людей, на свое отношение к людям. Не злоба, жестокость и подозрительность, а человечность, доверие, взаимовыручка и, если надо, жертва собой ради таких же, как ты, — вот в чем основа отношений между людьми. Вот что дает человеку право чувствовать, быть, называть себя человеком.

К этому пришел, это понял и это принял герой Воробьева.

Он почувствовал себя человеком. Но теперь для него это еще не значит считать себя вправе влиять на судьбы других людей. Когда-то он уже показал здесь свою несостоятельность. И он осторожен, придирчив к себе, он выверяет себя.

Здесь, в плену, не чин и не должность ставят одних людей над другими. Здесь неважно, кубарь ты носил в петлице, шпалу или ромб там, у своих. Здесь важно, что носишь ты в сердце. Чем больше ненависти к врагам в твоем сердце, тем больше любви в нем к людям, с которыми делишь ты злую участь. И если больше у тебя этой ненависти и этой любви, чем у других, люди это почувствуют — не назначат, не выберут, а почувствуют тебя над ними. И пойдут за тобой.

Произойдет естественный человеческий отбор. Хотя, конечно, ни тебе и ни этим людям в голову не придет связать этот факт со столь высокой материей.

Моральное право стоять над людьми, решать за людей их судьбы человек не может дать себе сам. Это право дают человеку лишь сами люди...

А теперь о новелле.

На Светлоголовом — мешок вместо гимнастерки, в мешке три дырки: одна для головы, две для рук. Брюки еле доходят до щиколоток. Герой делает последнюю попытку завязать с ним дружбу. Он предлагает ему суконный китель и диагоналевые галифе умершего рядом с ним на нарах полковника. Светлоголовый говорит: «Пшел... вон!»

Оба они считаются «полудоходягами», остальные в офицерском

штрафном бараке — «доходяги». «Доходяги» умирают по ночам. И, умирая, непременно кличут мать. «Слушать это было страшно, — в мозгу начинало завязываться сумасшествие, и тогда Светлоголовый, не останавливаясь, потому что клопы кусали за ноги, кричал каким-то исступленно-гневным и чистым голосом:

— Послушайте, бывший командир! Ведите себя прилично!

Умирающий затихал...»

Когда пленных офицеров гнали на работу или с работы — обратно в барак, мальчишки бросали в них камни (лагерь размещался в Восточной Пруссии). И если в колонне раздавались стоны и жалобы, Светлоголовый — он ходил в первой четверке — оборачивался и приказывал: «Молчать!», тем самым вызывая огонь на себя. Каменный град сразу обрушивался на него. Он обхватывал голову руками и молчал.

Как-то один из пленных не выдержал и крикнул женщине с корзиной в руках: «Тетенька! Дай крошечку, а?!» — и Светлоголовый наорал на героя, которому (несмотря на то, что тот всего-навсего лейтенант, самый младший на пленных командиров) уже давно приказал ходить позади колонны, подбадривать отстающих: «Вы за чем там смотрите?»

Во время работ на железной дороге один из охранников направляется к Светлоголовому. Думая, что ему угрожает опасность, лейтенант, качаясь от слабости, бежит немцу наперерез. «Немец плыл мне навстречу бесплотным, сизым видением, как дым, и когда мы почти столкнулись с ним, я не выдержал и оглянулся на Светлоголового — видит ли он меня, ведь больше я никогда и ничего уже не сделаю! Тогда немец что-то крикнул и несильно толкнул меня в плечо. Падая, я увидел Светлоголового. В каком-то нелепом ныряющем наклоне и с руками на голове он бежал к нам...» Бежал защищать лейтенанта. Но и лейтенант, и Светлоголовый ошиблись относительно намерений немца. Тот нес Светлоголовому... морковь. Он выделял этого пленного среди всех остальных, уважал этого пленного врага — вконец физически изнуренного, но духом не ослабшего, не сдавшегося, не покорившегося. И мокровь была данью этого уважения.

Светлоголовый не съел морковь. Он поровну разделил ее между «доходягами». Лишь ботва и головка остались ему и лейтенанту. А лейтенант все переживает, что не удалось ему умереть за Светлоголового. И что тот ничего не понял. Но Светлоголовый понял!

— Вы чего? — спросил он.

— Так, — сказал я.

— Ну, ладно! — примиряюще произнес он и стал обрывать

ботву с головки. Он немного подумал, что оставить себе, и протянул мне головку.

— Не возьму! — крикнул я.

— Не валяйте дурака! — шепотом приказал Светлоголовый.— И перестаньте плакать! Немцы ведь смотрят... Отвернитесь сейчас же! Смотрите вон туда! Ну!

Я отвернулся и съел головку...

Светлоголовый умер за месяц до нашего освобождения...»

Эту новеллу рассказывает писатель, герой повести «Почем в Ракитном радости», Константин Останков. Тот, кто его слушает, не хочет верить, что «белоголовый» умер. А он и не умер. Смерть Светлоголового в новелле, как Останков объясняет, литературный прием.

Литературный прием... Лейтенант, лирический герой новеллы, и Светлоголовый — теперь нам становится понятным — один и тот же человек. Один и тот же герой в двух лицах.

А зачем это? Есть ли уж такая у Воробьева необходимость «раздваивать» своего героя? Или, может быть, сделано это лишь в угоду литературному приему — использовать его, если появилась такая возможность?

Надо подумать. А подумав, поймешь Воробьева. И откроешь для себя в этом раздвоении глубокий смысл. Воробьев стремится как можно тоньше и одновременно ярче отразить решающий этап человеческого становления своего героя.

Путаные, тернистые пути вели героя Воробьева по жизни — к себе, человеку. И вот уже рядом, уже ощутим он в нем, этот человек, этот — для него — идеал человека. Но жизнь недаром учила героя, недаром заставляла думать, недаром требовала не давать себе снисхождения, быть жестким к себе и непримиримым. И он, вроде бы уже одержавший над собой победу, все еще продолжает себя экзаменовать, все еще продолжается в нем борьба, все еще гложут его сомнения. Потому что ставка уж очень велика — люди!

Эта вот внутренняя борьба, эти «взаимоотношения» с самим собой и есть в новелле взаимоотношения лейтенанта со Светлоголовым.

Лейтенант ищет дружбы со Светлоголовым. Но Светлоголовый еще не считает, что час их дружбы (читай — слияния) настал. Он приглядывается к лейтенанту, контролирует каждый его поступок, каждый шаг. Проверяет его. Он не подозрителен, он осторожен, Ибо первейшее для него не он сам, а люди, ради чести, гордости и жизни которых он теперь и живет. И он только тогда помягчает, примет лейтенанта, когда убедится, что тот не просто хочет быть иа него похожим, а что достиг его, что стал таким же, как

он. Что теперь и он, лейтенант, тоже оставит себе ботву, а морковь отдаст людям.

Тогда и будет написано: «Светлоголовый умер...» Раздвоение уйдет. Придет слияние. Вновь герой Воробьева обретет свою — но теперь уже совершенно качественно новую — цельность.

Именно так читается эта маленькая вставная новелла из повести «Почем в Ракитном радости». Именно она — по сути своей — заключает, венчает жизнь героя Воробьева в плену.

А дальше что? Ведь мы задались целью проследить, так сказать, биографию героя Воробьева. Как же сложилась дальнейшая его судьба?..

«...Я хороший шофер. Я научился ездить давно, еще во время войны в тылу у немцев в Прибалтике, когда командовал партизанским отрядом. В нем находились одни военнопленные, бежавшие из немецких лагерей. У каждого из них, когда он набредал на отряд, в глазах было... восхищение, мольба и страх, но я принимал этих людей без анкет и допросов, потому что сам был таким, и глаза их успокаивались...»

Эти слова из той же повести, что и новелла. В новелле герой обретает моральное право влиять на судьбы людей, нести ответственность за их жизни Теперь, бежав из плена, он организует партизанский отряд и командует им. Логика последних лет жизни героя правомерно ставит его на эту новую, еще более высокую ступень осознания долга перед людьми. И он до конца выполняет этот свой долг.

Война завершилась. Страна одержала самую великую свою военную победу за всю историю. Но для них, бывших военнопленных, эта победа дороже вдвойне. Она еще для них — «своя великая Победа». Победа над самими собой, над своей, казалось бы, неминуемой смертью. Они из тех пленных, кто перенес чудовищные издевательства, раны и голод только потому, что духом своим, верой были сильней, чем другие, оказавшиеся в их положении. И они сумели совершить невозможное — бежали из лагерей. А потом, снова рискуя жизнью, с таким трудом отвоеванной у смерти, они опять шли в бой с ненавистным врагом. Так повелело им сердце. Так повелела им Родина. И они чисты перед ней, они выполнили свой долг.

Вера в праведность своих дел помогла людям остаться людьми. Но наш главный герой? Имеет ли он право на эту веру? Там, в плену, он имел это право. А теперь? Его победа в войне — над врагом, над собой — не списала вины перед теми, кому причинил он зло еще до войны. Не списала ему себя довоенного, себя прошлого. А прошлое требует полного расчета... Снова читаем «По-

чем в Ракитном радости». Но помним и рассказы — «Синель», «Ермак».

Трудно зарабатывает герой Воробьева прощение жестоко обиженных им когда-то людей. Но теперь он уже признает, понимает, что был перед ними виноват. И это, может быть, самая большая его над собой победа!

Эту победу помогла ему одержать война. Там, на войне, он познал себе истинную цену, познал истинную цену жизни людей. Он научился думать там, на войне. Думать — а потом уже решать: так поступить или эдак.

...Герой Воробьева любит посидеть за рулем. Любит покинуть на время ставшую второй его родиной гостеприимную Литву и отправиться в дальний путь — к зовущим просторам России. Взятая напрокат «Волга» вольно или невольно, но обязательно отыщет дорогу в родное село. И на этой дороге неизменно будет мучить его невеселая мысль: «А не повернуть ли назад?»

И это всегда так. Чем ближе герой Воробьева к родным местам, тем больше одолевают его сомнения: стоит ли ехать дальше? Встреча с детством, с людьми, которых он знал, любил или ненавидел, всегда притягивает его воображение, всегда в нем бьется властное и неумолимое (и безотчетное) желание замкнуть кольцо, поставить над «и» все точки. И всегда вместе с этим желанием соседствует, ходит рядом, живет страх. Нет, не страх, что будет расплата за когда-то содеянное, — всей своей жизнью он искупил вину перед прошлым. Он понял жизнь. Но удалось ли понять ее тем, кто остался в родных местах, кто не шел с ним по жизни вместе. Вот что страшит его. Вот почему терзают его сомнения: ехать или повернуть? И герой Воробьева всегда едет. Пусть прежним остался Яков Семенович Кочеток. Пусть Яшка Кочанок (этот свидетелем был, когда судили дядю Мирона, «подтвердил» вооруженное нападение на «юного героя») в войну стал дезертиром и его пристрелили свои — был подлец, подлецом и подох. Но ведь были на его родине и другие люди. И эти люди не могли не понять происшедших с героем перемен.

Нужно верить. И нужно ехать. Только еще раз надо выверить мысленно свою жизнь, еще раз обосновать, удостоверить перед самим собой право на возвращение.

В одну из таких поездок герой узнает, что дядя Мирон, оказывается, жив, вернулся и по-прежнему работает в колхозе. Герой счастлив. Но как дядя отнесется к нему, к человеку, из-за которого пришлось столько хлебнуть? Как встретит?

Как на суд, он идет к дяде Мирону и называет себя.

«Мало ли каких слов я ждал в ту минуту, но из этого ничего

не сбылось,— дядя Мирон не сразу, молча и дробненько пошел ко мне, глядя куда-то в угол мельницы, и лицо его было белым как мука. Я не знал, с чем он шел, и поэтому не двигался с места. Он подступил ко мне вплотную и не то сказал, не то охнул, и голова его очутилась у меня под мышкой, — до такой степени, оказывается, дядя Мирон был мал ростом. Я обнял его за плечи и зажмурился...

Потом мы стояли друг против друга, и дядя Мирон водил по моему лицу шершавой, как брезентовая варежка, ладонью и спрашивал:

— Да ты чего это, слышь?

— Это так, — сказал я. — Сейчас пройдет...

— Племяш, сгреб его мать! — плачуще сказал дядя Мирон всем, кто был на мельнице. — Я сразу признал, как только увидел. Он, думаю! Так оно и вышло... Племяш!..»

Нет, ни умом и ни сердцем не остались его родные сельчане в том давнем, навсегда ушедшем времени! Они, хоть и шли по жизни другими дорогами, но, как и он, пришли к пониманию, где в жизни правда была, а где неправда. Они простили ему — его тогдашнего. Да что там — простили! Они никогда вины за ним и не числили. Хоть и темными были, а сердцем чистым своим они знали: глупый, сбитый с толку маленький «ховрашок» Кузьма — это одно, а вот Косьянкин, написавший о «юном герое» статью в газете «Колхозная жизнь», и ему подобные — это совсем другое!

С этими вот косьянкиными ох как хочется герою Воробьева «поговорить по душам». Ну, не со всеми — хотя бы с одним из них... Это последнее звено в той долгой цепи, которую так необходимо замкнуть герою Воробьева. Тогда все станет на свои места, все совместится. Тогда он напишет еще одну книгу. Уже есть начало: «Он ударил его в подскулья, а когда тот упал, хрюкнув, как поросенок, он пнул его ногой и, обессиленный гневом, брезгливостью и обидой, сказал упоенно, тихо, почти нежно:

— Вставай и защищайся, гад! Бить буду!»

Но не встретил еще герой Воробьева никого из них. Не встретил он и самого Косьянкина. След его затерялся. Может, прибит он, как Яшка Кочанок, так легко и удало воевавший против своих и полные штаны наложивший, когда пристало идти на войну с чужими, которые тоже умели стрелять. А может... Впрочем, что тут гадать?

Да и стоит ли искать встречи с этим Косьянкиным? Нет, не стоит. Не стоит омрачать приобретенную такой высокой ценой ра-

дость. Лучше наладить машину и опять прикатить в родное село. Там выйдут навстречу ему люди — и обрадуются, увидев, кто к ним приехал. Простые русские люди, зла не помнящие, добра не забывающие. Такие дорогие, такие дорогие...

И сердце снова и снова будет сжиматься от счастья. И сколько будет герой Воробьева среди этих людей, ни на миг не покинет его ощущение спокойной, устойчивой и великой радости. И будет он думать: «Жизнь благо, и бремя ее легко».

Юрий ТОМАШЕВСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕТКА ЕГОРИХА 6
УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ 107
ГЕНКА, БРАТ МОЙ... 168
ПОЧЕМ В РАКИТНОМ РАДОСТИ 198
ВОТ ПРИШЕЛ ВЕЛИКАН... 274
...И ВСЕМУ РОДУ ТВОЕМУ 474
ПРАВО НА ВОЗВРАЩЕНИЕ. *Послесловие* Юрия Томашевского 578

Константин Дмитриевич ВОРОБЬЕВ

ВОТ ПРИШЕЛ ВЕЛИКАН...

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» **Г. Метченко**

Редактор **Е. Абрамович**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **Н. Карнаушкина**

Корректор **С. Смирнова**

ИБ № 1119
Сдано в набор 25.11.86 г. Подписано в печать 29.05.87 г. (переиздание). Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Печ. л. 19. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 33,15. Зак. 111. Тираж 260 000 экз. (1-й завод 1—60 000).
Цена 2 руб. 40 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
103798, ГСП, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Типография издательства «Таврида», 333700, г. Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

Воробьев К. Д.
В 75 Вот пришел великан... Повести. — М.: Известия, 1987. — 608 с., ил.

В книгу собраны повести Константина Воробьева, написанные в разное время. Писателем созданы произведения и о жизни деревни в 20—30 годы, и о людях, прошедших дороги войны, и о проблемах творческой интеллигенции, и о судьбах простых людей труда. Таким образом, творчество К. Воробьева вмещает в себя исследование основных этапов жизни народа протяженностью более чем в 50 лет, где предпринята попытка рассмотреть актуальные, животрепещущие вопросы социального, нравственного и психологического свойства.

В $\frac{4702010200-032}{074(02)-87}$ —49—87 подписное

ББК 84 Р 7

В 1987 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Алимжанов. Под отцовским небом. Повести. Роман.

В. Василаке. Алба, отчинка моя! Повести. Роман. Перевод с молдавского.

К. Воробьев. Вот пришел великан... Повести.

О. Гончар. Собор. Твоя заря. Романы. Перевод с украинского.

Ч. Гусейнов. Семейные тайны. Повести.

С. Дангулов. Государева почта. Заутреня в Рапалло. Романы.

Г. Дочанашвили. Одарю тебя трижды. Роман. Перевод с грузинского.

А. Жуков. Дом для внука. Роман. Повесть.

А. Ким. Невеста моря. Рассказы. Роман.

И. Мележ. Метели, декабрь. Роман. Перевод с белорусского.

Ю. Нагибин. Терпение. Рассказы. Повести.

Повести писателей Латвии. Перевод с латышского.

Ю. Пезгель. Свет в родном окне. Роман. Рассказы.

И. Проскурин. Камень сердолик. Роман. Повесть.

И. Стаднюк. Человек не сдается. Роман. Повесть.